

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Под общей редакцией И.М. Клямкина

Москва 2012

УДК [930+94](470+571)

ББК 63.01(2)+63.3(2)

И90

Под общей редакцией И.М. Клямкина

И90 История и историческое сознание / под общ. ред. И.М. Клямкина.

ISBN 978–5–903135–32–5

Чем объясняется российская политическая цикличность, какова ее социальная и культурная природа? Исчерпала себя историческая колея чередующихся «оттепелей» и «подмораживаний», либеральных реформ и авторитарных контрреформ или еще нет? В какой точке своей исторической траектории находится сегодня Россия, на какой стадии развития пребывает она в контексте ее собственной и мировой истории? Могут ли помочь восполнить концептуальный вакуум в осмыслении отечественной истории и способствовать формированию либерального исторического сознания старые русские либеральные историки? Такие, как Василий Ключевский, Павел Миллюков, Александр Корнилов, Георгий Федотов? Актуальны ли собственные им типы исторического сознания? В чем сходство и в чем различие исторической миссии сегодняшних российских либералов и миссии их предшественников? Почему либералы в России политически всегда проигрывают, и чему учит опыт их поражений?

На эти и другие вопросы ищут ответы авторы книги. И ответы эти не всегда одинаковые, а порой и просто несовместимые. Какие из них более аргументированные и убедительные, судить читателю.

УДК [930+94](470+571)

ББК 63.01(2)+63.3(2)

ISBN 978–5–903135–32–5

СОДЕРЖАНИЕ

«Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь». Предисловие редактора _____ **4**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КАКОЕ НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДОВАТЬ?

ЕВРОПЕЙСКАЯ И «ХОЛОПСКАЯ» ТРАДИЦИИ В РОССИИ _____ **8**

Приложение 1. Андрей Пелипенко. Не было никаких «Московских Афин» и московских Периклов! _____ **72**

Приложение 2. Александр Янов. Заметки о дискуссии _____ **76**

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ _____ **89**

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ _____ **136**

ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ КОЛЕИ? _____ **191**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

УСТАРЕЛА ЛИ ИСТОРИЯ «ПО КЛЮЧЕВСКОМУ»? _____ **246**

Приложение. Владимир Пашинский. Так устарела ли история «по Ключевскому»? _____ **277**

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ПРОТИВ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХАИКИ: ОПЫТ ПАВЛА МИЛЮКОВА _____ **284**

РУССКИЙ XIX ВЕК: ОТ ВЛАСТИ АВТОРИТЕТА К ВЛАСТИ ЗАКОНА _____ **321**

РОССИЯ И СВОБОДА _____ **355**

МИССИЯ ЛИБЕРАЛА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ _____ **395**

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАВЕЛ СОЛДАТОВ. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СУДЕБНИК _____ **440**

«ВЧЕРА НЕ ДОГОНИШЬ, А ОТ ЗАВТРА НЕ УЙДЕШЬ»

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Пословицей, вынесенной в заголовок, эта книга завершается, и ее же мне кажется уместным книге предпослать. Хорошее напоминание российскому обществу, застрявшему между вчера и завтра. Кстати, и чтение книги я бы посоветовал начать с размещенной в Приложении статьи Павла Солдатова о русских пословицах и поговорках. Или, говоря иначе, о мнении народном, складывавшемся веками и оказавшем едва ли не решающее влияние на судьбы страны.

Книга эта — о нашем историческом сознании, соотносящем представления о настоящем и будущем с представлениями о недавнем и давнем прошлом. Прошлое невосвратимо («вчера не догонишь»), но оно в нас и с нами; будущее неотвратимо («от завтра не уйдешь»), но оно изменит нас лишь настолько, насколько мы подготовлены к переменам нашим настоящим. Ну а оно, в свою очередь, опять-таки не свободно от унаследованного прошлого. Мера же свободы и несвободы от него как раз и фиксируется нашим историческим сознанием.

Авторов книги интересует историческое сознание, прежде всего, в его политическом измерении, то есть с точки зрения сложившихся в этом сознании представлений о том, каким было, есть и может (или должно) быть российское государство. А облик и судьбы государств определяются, как известно, не только волей и интересами правителей и властвующих элит. Они определяют и тем, как воспринимает государство и его различные институты население. И статья, с которой я предлагаю начать знакомство с книгой, именно об этом. О том, каков был в народном сознании образ российского государства в те времена, когда Владимир Даль изучал это сознание на материале собранных им русских пословиц и поговорок.

С тех пор прошло почти два столетия. Но то, уже позавчерашнее, народное сознание не может быть не включено в наше нынешнее сознание историческое. Потому что речь идет о позавчерашних культурно-ментальных истоках и нашего вчера, и нашего сегодня. И в первую очередь — о традиции самодержавного правления, довлеющей и над нынешними поколениями россиян. А предопределил ли эта традиция наше завтра, зависит, прежде всего, от того, насколько мы от нее освободились. И еще от того, были ли в российском про-

шлом заявки на иной, альтернативный тип государственного устройства. И еще от готовности современного исторического сознания их актуализировать, соотнести с вызовами XXI века и перевести в политическое целеполагание.

Речь идет не только о заявках, исходивших от оппозиционных мыслителей и политиков, чьи идеи отечественной историей были отброшены. Речь идет и о либеральных и демократических тенденциях внутри самого самодержавного правления, неоднократно наблюдавшихся в ходе его циклической эволюции. Однако эти тенденции, как мы помним, оказывались преходящими; необратимыми они не становились и не стали по сей день, сменяясь авторитарными «подмораживаниями». Отсюда и вопросы, с которыми сталкивается современное либеральное историческое сознание и на которые у него, как правило, пока нет консенсусных ответов.

В книге, предлагаемой вашему вниманию, представлен коллективный поиск таких ответов. Он осуществлялся в ходе дискуссий, проходивших в «Либеральной миссии» в течение последних трех лет. Какие же это вопросы?

1. Чем объясняется российская политическая цикличность, какова ее социальная и культурная природа? Исчерпала себя эта колея чередующихся «оттепелей» и «подмораживаний», либеральных реформ и авторитарных контрреформ или еще нет? В какой точке своей исторической траектории находится сегодня Россия, на какой стадии развития пребывает она в контексте ее собственной и мировой истории?

2. Почему Россия смогла стать родиной двух беспрецедентных для своего времени военно-технологических модернизаций (петровской и сталинской), первая из которых позволила ей обрести державный, а вторая — сверхдержавный статус? И почему ей суждено было стать первой континентальной империей, распавшейся в мирное время? Как оценивать эти взлеты и это падение с точки зрения современных внешних и внутренних вызовов? Возможно ли повторение прежних вариантов модернизации? И что вообще возможно, учитывая доставшееся нам историческое наследие?

3. Были ли в российской государственной истории тенденции, свидетельствующие о возможности развития страны по европейскому пути? Если были, то когда и в чем они проявлялись, и почему не стали доминирующими? Правоммерно ли утверждение, что решающую роль в блокировании этих тенденций играла русская традиционная культура, с ними несовместимая?

4. Какую стадию культурной эволюции переживает Россия сегодня? Можно ли утверждать, что ее традиционная культура пребывает в кризисе? Если да, то в чем этот кризис проявляется и чем является — преобразующим ментальность кризисом развития или кризисом упадка? И как он соотносится с нынешним глобальным кризисом культуры модерна?

5. Могут ли помочь восполнить концептуальный вакуум в осмыслении отечественной истории и способствовать формированию либерального исторического сознания старые русские либеральные историки? Такие, как Василий

Ключевский, Павел Милюков, Александр Корнилов, Георгий Федотов? Актуальны ли свойственные им типы исторического сознания?

6. В чем сходство и в чем различие исторической миссии сегодняшних российских либералов и миссии их предшественников? Почему либералы в России политически всегда проигрывают, и чему учит опыт их поражений?

Вот основные вопросы, на которые ищут ответы авторы книги. И ответы эти не всегда одинаковые, а порой и просто несовместимые. Какие из них более аргументированные и убедительные, судить читателю. Дискуссии же по этим вопросам предстоит продолжить, привлекая к ним новых участников, и мы надеемся, что издаваемая книга будет тому способствовать.

Осталось лишь сказать о том, что большинство вошедших в нее текстов — это материалы публичных круглых столов, проводившихся «Либеральной миссией» в 2009–2012 годах. Два раздела первой части («В поисках утраченной идентичности» и «Исторические ловушки демилитаризации»), в которых представлены дискуссии на семинаре «Куда ведет кризис культуры?», уже публиковались в книге с таким же названием, выпущенной нашим фондом в 2011 году. Здесь они представлены в несколько сокращенном виде. Это вызвано желанием не слишком перегружать книгу тем, что тематически к ней непосредственно не относится.

Игорь Клямкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАКОЕ НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДОВАТЬ?

ЕВРОПЕЙСКАЯ И «ХОЛОПСКАЯ» ТРАДИЦИИ В РОССИИ

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент Фонда «Либеральная миссия»): Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит обсудить доклад Александра Янова, подготовленный им на основе его недавно вышедшего трехтомника «Россия и Европа. 1462–1921». Мы делаем это по предложению самого автора и, к сожалению, в его отсутствие — он живет в Нью-Йорке и приехать в Москву не смог. Причину, которая побудила Александра Львовича обратиться к нам с упомянутым предложением, он изложил в своем обращении к читателям. Оно, как и текст доклада, было заранее размещено на нашем сайте, и вы могли с ним ознакомиться.

Любой автор, очень долго работающий над какой-то темой и развивающий один и тот же круг идей, которые считает общественно значимыми, хочет быть услышанным, хочет обратной связи с теми, кому адресует свою работу. Возможно, не все знают, что Александр Львович начал эту работу, насколько помню, лет 40 назад. Ее первые результаты были представлены им в самиздате, что стало одной из причин выдворения автора из Советского Союза. Тогда его рукопись, несмотря на ее внушительный объем, читалась очень многими и на многих оказала серьезное влияние.

Но сегодняшнее обсуждение продиктовано не только нашим искренним желанием воздать дань уважения известному историку и привлечь дополнительное внимание к его идеям. Дело в том, что либерально-демократическое историческое сознание не может быть сформировано при отсутствии осмысленной с либерально-демократических позиций истории России. Я имею в виду всю историю страны, а не отдельные ее периоды, изучаемые изолированно друг от друга.

Если не ошибаюсь, Александр Янов был первым нашим соотечественником, который поставил перед собой такую задачу еще в советское время и последовательно решал ее на протяжении десятилетий. У его оригинальной концепции есть сторонники (их, по его собственному признанию, немного) и есть противники, которых гораздо больше и которые, как правило, предпочитают его труды не замечать. Я же убежден в том, что их надо обсуждать. И — опять-таки — не только в знак уважения к интеллектуальному мужеству Александра Львовича, подвижнически отстаивающему свою концепцию, которая амбициозно именуется им революционной и сознательно противопоставляется чуть ли не всей отечественной и западной русистской историографии. Нельзя продвигаться вперед в осмыслении нашего прошлого, игнорируя то, что уже сделано, те вопросы, которые уже поставлены, независимо от того, какие на них даны ответы. Тем более в ситуации сегодняшнего публичного противоборства вокруг отечественной истории, в котором сталкиваются не только разные образы прошлого, но и несовместимые образы желаемого будущего.

Сейчас это противоборство разворачивается в основном по поводу оценок советской эпохи. Но не исключено, что вскоре оно может затронуть и времена, которые у Янова находятся в центре внимания. Речь идет о конце XV — первой половине XVI веков, то есть о начальном периоде независимой московской государственности, который Александр Львович называет «европейским столетием России».

Если происходит «государственничское» переосмысление сталинской эпохи, то не заставит себя долго ждать и аналогичное переосмысление эпох более давних. Оно уже и началось — достаточно упомянуть почти тысячеградничный труд известного историка Игоря Фроянова, в котором террор Ивана Грозного интерпретируется даже более «государственничски», чем это было при Сталине. Опричина рассматривается автором как спасительная для России политика, как единственно возможная в те времена альтернатива губительному западному влиянию.

Что мне кажется наиболее продуктивным в концепции Янова? Наиболее продуктивным кажется мне то, что он связывает перспективы европеизации России с наличием в ней европейской традиции. Традиции (точнее, мне кажется, все же говорить о тенденции, никогда не прорывавшей самодержавную оболочку), которая имела место не только в оппозиционной политической мысли, но и в государственной практике. Ведь если такой традиции или тенденции не было, если история страны — это история «тысячелетнего рабства» или унаследованного от монголов и ставшего русским генетическим кодом «ордынства», то в отечественном прошлом нам с вами опереться не на что. Тогда наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого и, следовательно, нет и будущего.

Другое дело, где искать эту европейскую традицию. Александр Янов ищет и находит ее в периоде, начавшемся с правления Ивана III и продолжавшемся до опричного террора его внука. В свою очередь, полагает Александр Львович, «европейское столетие» только потому и могло состояться в послеордынской Московии, что она унаследовала традицию «вольных дружинников» Киево-Новгородской Руси, — дружинников, служащих князю по договору. То есть так, как было и в феодальной Европе. Тут, однако, начинают возникать вопросы, которые хотелось бы обсудить.

Во-первых, вопрос о том, насколько корректно уподоблять сюзерен-вассальные отношения в феодальной Европе, бывшие там правовыми — с оговариванием взаимных прав и обязанностей и судебной процедурой разрешения конфликтов, — отношениям между князем и дружинниками на Руси. Ведь здесь, как известно, никаких фиксированных правовых отношений между ними не было, а «договор» предполагал лишь возможность беспрепятственного и немотивированного ухода дружинника от одного князя к другому — благо все князья принадлежали к монополюльно правившему Русью роду Рюрикови-

чей. Можно ли, кстати, считать, что такое коллективное родовое правление имело европейские аналоги?

Во-вторых, насколько правомерно говорить о том, что традиция «вольных дружинников» в том виде, в каком она первоначально сложилась, пережила монгольскую колонизацию и сохранилась в послемонгольской Московии? О каких свободных переходах от князя к князю может идти речь в государстве, ставшем централизованным?

В-третьих, «европейское столетие» охватывает четыре разных типа правления — Ивана III, Василия III и Ивана IV (первый период его царствования), а в годы несовершеннолетия последнего было еще и так называемое боярское правление. Александр Львович все это объединяет в один исторический цикл, и хотелось бы услышать ваше мнение — прежде всего, я имею в виду присутствующих здесь историков — о том, насколько такое объединение оправдано.

В-четвертых, в Европе к началу этого периода уже давно утвердилось римское право, уже был Ренессанс, а примерно в середине данного периода произошла Реформация. И вопрос заключается в том, правомерно ли говорить о «европейском столетии» применительно к стране, таких явлений и событий не знавшей.

На чем строит Александр Львович свою концепцию, какими конкретными фактами ее обосновывает? Основные среди них — следующие:

1. Учреждение Юрьева дня в Судебнике 1497 года, в чем автор усматривает своего рода «крестьянскую конституцию», то есть альтернативу будущему крепостному праву.
2. Наделение в Судебнике 1550 года Боярской думы законодательными полномочиями — 98-я статья Судебника, закреплявшая за Думой такие полномочия, трактуется Яновым как русская Magna Carta, как аналог Великой хартии вольностей.
3. Учреждение при Иване Грозном (в доопричный период его царствования) местного самоуправления, что тоже рассматривается как важный шаг в европейском цивилизационном направлении.

Давайте обсудим, насколько все это убедительно. Не оставим без внимания и факты более позднего времени, которые Александр Львович приводит для обоснования жизненной силы европейской традиции, сложившейся в XV–XVI веках.

Он ссылается, в частности, на проект «конституционной монархии» 1610 года, подготовленный под влиянием трагических событий Смуты боярином Михаилом Салтыковым, — документ, в котором оговаривались условия приглашения на московский престол польского королевича Владислава. Этот проект предполагал существенные ограничения самодержавной власти, но реализован не был. Ссылается Янов и на замысел «верховников» (членов Верховного тайного совета при императоре) 1730 года, тоже намеревавшихся

ограничить самодержавие, но тоже безуспешно. Тем не менее такие попытки, по мнению Александра Львовича, свидетельствуют об органичности европейской традиции в России. Или, пользуясь его терминологией, о том, что традиция «вольных дружинников» всегда противостояла в стране традиции «холопской».

Думаю, что и здесь предмет для разговора наличествует. Зная позиции многих из присутствующих, я предвижу, что концепция Янова и ее обоснования будут подвергаться критике. И хочу заранее попросить такой критикой не ограничиваться, а попытаться ответить на вопрос, была ли все же в истории российской государственности европейская политическая традиция (или хотя бы заметная европейская тенденция). И если да, то когда именно и в чем она проявлялась.

Повторю еще раз: если ничего такого в российской истории не было, а были лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается, преемственная нить в ней даже при самых резких переменах никогда не рвется, при них всегда что-то из уходящего наследуется. А потому наше идеологическое обнуление прошлого, то есть признание его полностью чужим и чуждым, может означать лишь добровольное согласие на сохранение или возрождение «ордынства» в новых формах.

Впрочем, такое обнуление и сопутствующее ему последовательно негативистское историческое сознание в нашей среде пока еще всеобщим не стало. Кто-то ищет и находит европейскую традицию (или тенденцию) в Новгородской вечевой республике, видя, в отличие от Янова, в послемонгольской Московии не продолжение, а отрицание этой традиции. Кто-то — в деятельности Петра I: напомним, что в начале 1990-х эмблемой партии «Выбор России», объединившей Егора Гайдара и его единомышленников, был Медный всадник...

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): А потом Борис Немцов стал добиваться установления памятника Александру II...

Игорь КЛЯМКИН: Да, помню. И Немцов не единственный, кто истоком российского политического европеизма считает реформы царя-освободителя. Но есть и те, кто предпочитает вести отсчет с указа Петра III о дворянской вольности и жалованных грамот Екатерины II дворянству и горожанам. Или с Октябрьского манифеста 1905 года и последовавших за ним законов, впервые введших в России парламентаризм. Так где же наши исторические точки отсчета и точки опоры?

Итак, начинаем обсуждение. По просьбе Александра Янова его концепцию более обстоятельно представит нам Лев Львович Регельсон. Потом выступают несколько оппонентов. А потом — свободная дискуссия.

Лев РЕГЕЛЬСОН (историк русской церкви): «Самодержавию Ивана Грозного предшествовал абсолютизм европейского типа»

На днях в интернете я вычитал одну замечательную фразу: «Интеллигентный человек, который не читал Янова, — это нонсенс». Это сказал Дмитрий Борисович Зимин, который здесь присутствует. Понимаю вашу реакцию: я тоже устыдился, потому что сам не так давно полностью прочел трилогию, хотя с деятельностью Александра Львовича знаком еще с 1970-х годов. Мне бы хотелось высказать пожелание, чтобы после нашего собрания эта фраза Зимина вошла в жизнь. Чтобы интеллигентному человеку было стыдно, если он не читал Янова.

Поверьте, вы не пожалеете затраченного времени: это захватывающее чтение. Проблемы, которые поднял автор, горят в каждом из нас: Россия и Европа, модернизация и традиция, отношения общества и власти — без решения этих проблем мы не можем определить свою личную позицию в сегодняшней жизни. Трилогия Янова, которую мы обсуждаем, — это живая, открытая книга, побуждающая к размышлениям, к внутреннему спору, к развитию одних идей и критическому отношению к другим. Такие качества обеспечивают работе Янова долгую жизнь. У нее обязательно найдутся не только критики, но и продолжатели.

Трудно определить жанр этой работы, и я не буду его определять. Сам Янов говорит: «Я написал картину». И, надо сказать, это и в самом деле художественно, мощно написанная картина: она переворачивает все наши стереотипные представления о русской истории, которая предстает у Янова как великая, захватывающая драма идей. Он, по существу, предлагает новую систему координат, создает, по завету Георгия Федотова, «новую схему национальной истории».

Образ России, нарисованный Яновым, приводит к выводу: мы не монголы, не азиаты «с раскосыми и жадными очами», не «щит между двух враждебных рас» и не «мост между Европой и Азией». Мы — не Евразия и даже не Азиопа; мы, при всем нашем своеобразии — просто Европа (в Европе ведь все очень разные!). Янов доказывает это на огромнейшем материале, с необычайной силой выстраданного убеждения. Почему же его идеи так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение — как на Западе, так и в самой России?

Главная причина в том, что мифологическое сознание (со знаком плюс или минус) радикально искажает восприятие русской истории, приводит к потере чувства реальности. И, как следствие, к неадекватной реакции на вызовы сегодняшнего дня. Надо ли объяснять, что такая неадекватность самосознания чревата стратегическими поражениями и даже национальными катастрофами? Демифологизация исторического сознания требует огромных усилий ума и сердца, требует глубокого чувства ответственности за судьбу своей страны и своего народа.

Для большинства здесь присутствующих попытка разгадать тайну русской истории была задачей важной, но все же не единственной. Для Александра Львовича Янова это стало делом всей его жизни: «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Он за всех нас выполнил эту гигантскую работу, и теперь невозможно двигаться дальше, не усвоив результаты этой работы.

Как правило, никто не сомневается в европейском характере Киево-Новгородской, домонгольской Руси. Но существует расхожее мнение, что монгольское иго радикально изменило общественный и политический архетип русского народа. Был народ европейский, а стал — совсем другой. А дальше начинаются споры, какой именно. Но почему-то испанцы остались испанцами за 700 лет арабского владычества; греки, сербы или болгары сохранили свою идентичность после 400 лет владычества турецкого, а русские (и только русские!) перестали быть самими собой из-за того, что 250 лет выплачивали дань Золотой Орде! А между тем ведь даже оккупации русской земли в те времена не было, были только эпизодические карательные набеги.

Янов буквально камня на камне не оставляет от этого абсурдного, но почему-то невероятно цепкого мифа — о коренном изменении русской ментальности под влиянием монгольского ига. Рассматривая становление послемонгольской московской государственности — от Ивана III до раннего Ивана IV, он называет тот период «европейским столетием России». Для доказательства этого центрального тезиса, который для многих звучит совершенно неожиданно, Янов вводит очень важное понятие — «латентные ограничения власти». Оттого, что эти ограничения не были зафиксированы в виде свода законов и конституции, мы их и не воспринимаем как реальность.

Для историков неформализованное, «латентное» — это что-то эфемерное, как бы несуществующее. Однако в Московской Руси общественная, политическая жизнь строилась как раз на традициях, обычаях, поведенческих нормах (впрочем, и Европа с этого начинала). Да, эти нормы не были законодательно оформлены, но они действовали не менее мощно, чем в Европе того времени.

Как и везде в Европе, в России складывалась сильная центральная власть, которая мирными и военными средствами собирала земли, боролась с анархией и местничеством, постоянно мерилась силой со своими соседями. Но при этом московские государи были вынуждены считаться с множеством традиционных ограничений. Они были вынуждены считаться с сословными привилегиями боярства, духовным авторитетом церкви, крестьянским землевладением и правом крестьян на переход (Юрьев день).

Типичным европейским монархом Александр Янов считает Ивана III, которому приходилось лавировать, искать союзников, противопоставлять друг другу противников, создавать сложную систему сдержек и противовесов. И опять-таки точно так же поступали все европейские государи. При этом на

рубеже XV–XVI веков в Москве кипела интеллектуальная жизнь, свободная (по меркам позднего средневековья) религиозная полемика, сталкивались конкурентные общественно-политические проекты. И, наконец, бурно развивалась экономическая жизнь. Короче, то была самая натуральная Европа, ничего общего не имеющая с восточной деспотией.

А что мы знаем об этой эпохе русской истории? Да ровным счетом ничего. Значит, пришло время узнать.

Имея дело по преимуществу с историками формально-рационалистического склада, Янов особо акцентирует внимание на том, что какие-то из латентных ограничений власти уже начали приобретать в ту эпоху форму письменно зафиксированного законодательства. Игорь Моисеевич Клямкин уже об этом говорил, не буду повторяться. Однако это, в конце концов, не главное. Пусть даже формализация действительно была только «пунктирная», но сами-то ограничения власти были очень даже реальные.

Самодержавию Ивана Грозного, по Янову, предшествовала, конечно, не демократия («какая демократия в средние века?»), но абсолютизм европейского типа. Кстати, насчет понятия «абсолютная монархия» нужно сказать, что это — абсолютно неверный термин, который только вводит в заблуждение. Европейская монархия как раз не была абсолютной, она была относительной, ограниченной, можно сказать, «предконституционной». И такой же была русская монархия до Ивана Грозного.

Иногда Янова упрекают в том, что он говорит только о высших слоях общества, о боярстве, о церковной иерархии, о нестяжательской интеллигенции, а применительно к послепетровским временам — о дворянстве, то есть верхнем европеизированном сословии. А вот народная масса, по утверждению многих либералов, была и остается архаичной, пребывающей в дремучей «азиатчине». С другой стороны, нынешние идейные потомки славянофилов именно в этой архаичности видят залог всемирного величия России.

Я хочу привести один собственный тезис против этого предубеждения насчет воображаемой русской «азиатчины». Будучи в русле яновской концепции, он, на мой взгляд, расширяет ее доказательную базу. Мой тезис: «Настоящие русские европейцы — это старообрядцы».

Виджу вашу реакцию, понимаю, как это парадоксально звучит. Мы привыкли считать старообрядцев фанатиками, мракобесами — это они же называли Петра I Антихристом за его европейские новшества. Все так. Но без такого фанатизма, видимо, и нельзя было устоять перед нашей свирепой инквизицией, которая ничуть не уступала католической. Но что можно было сделать с теми, кто твердо верил: «Не та церковь, которая мучит, а та церковь, которую мучат»?

Первые протестанты тоже были фанатиками. Суть Реформации и у нас, и в Европе не в различиях вероучения или форме обряда, но в борьбе за независимость от церковной (а заодно и от государственной) власти. И эту борьбу

старообрядцы выиграли: они стали самым свободным, самым инициативным и деятельным сословием в России. Они создали то, что называется старообрядческим капитализмом, — с его деловой этикой, мировым размахом, с его высокой культурой и социальным служением: благодаря им возникали народные школы, больницы, библиотеки, музеи.

Наберите «старообрядческий капитализм» в интернете, и вы получите огромный и интереснейший материал. Причем не только о событиях и явлениях конца XIX века. Уже во времена Петра была знаменитая Выговская община с прекрасной школой и библиотекой. Именно здесь, кстати, получил образование Михайло Ломоносов, о чем у нас почему-то никто не пишет. Так вот, Петр I самолично посетил Выговскую общину, все там осмотрел и оставил ее жителей, с их бородами и кушаками, в покое. Ему хватило ума понять: вот она — Европа, она уже тут, и никаких голландцев сюда выписывать не надо. Это было типичное раннекапиталистическое предприятие, очень эффективное и успешное — с промыслами, ремеслами, с посреднической торговлей. А ведь это 1700 год!

Не буду развивать эту мысль дальше. Важно, чтобы она зацепилась в сознании.

Следуя Георгию Федотову, Александр Янов видит решающий узел русской истории в борьбе нестяжательства с иосифлянством. Нестяжательство — это глубинное духовное движение, восходящее к Сергию Радонежскому и к византийскому исихазму. Суть нестяжательства — не только в отказе от землевладения (точнее — от эксплуатации крестьянского труда). Главное в нем — становление свободной христианской личности, предстоящей перед Богом без посредников, личности образованной, деятельной, веротерпимой, с высокой социальной ответственностью и мировым культурным кругозором. Нил Сорский, Максим Грек, Вассиан Патрикеев — вот самые яркие представители этого нового типа христианской личности. До сих пор движение нестяжателей недостаточно оценено, но если православие вообще имеет будущее (будем надеяться, что, несмотря ни на что, все-таки имеет), то именно на путях возрождения этой великой традиции.

Однако в одном частном вопросе я хочу все же концепцию Янова уточнить. Думаю, что нестяжательство нужно ставить в параллель не с Реформацией, а с попытками церковных реформ в католической церкви, происходившими в начале XV века (соборы в Констанце и Базеле). То было мощное движение, возглавляемое французским епископатом и университетами, то была попытка внутренней реформы католической церкви, попытка соборного ограничения власти Папы. Борьба была долгой и упорной, и закончилась она полным поражением реформаторов. Именно провал этой реформы привел к стагнации католицизма и, как неизбежное следствие, к Реформации — яростной, фанатичной и кровавой, отколовшей от католической церкви лучшие народные силы.

То же произошло и у нас. Старообрядческий раскол тоже был следствием отказа от того внутреннего, духовного обновления церкви, которое начали нестяжатели. И тоже увел из государственной церкви лучшие народные силы. Однако, в отличие от европейских протестантов, независимой политической опоры у старообрядцев не нашлось.

Не могу не сделать важное дополнение к тому, что только что сказал Игорь Моисеевич Клямкин. Дело в том, что исследование Янова не ограничивается нарисованной им картиной XV–XVII веков. Второй и третий тома трилогии — это совершенно уникальная и драматическая история развития славянофильских идей в России и их влияния на политику. Идей, которые остро актуальны и сейчас, когда опять, как сто лет назад, «время славянофильствует».

Чрезвычайно важен представленный Александром Львовичем и анализ «николаевской реакции», когда сложилась доктрина российской исключительности. Доктрина, согласно которой Россия — какая-то особая цивилизация, чуждая всему миру и, прежде всего, Европе. В предшествовавшую alexandrovskiy эпоху столь дикая мысль (что Россия не Европа) просто не могла никому прийти в голову. Когда русские войска стояли в Париже, вся Европа принимала их с восторгом и благодарностью. И никто тогда «огромности нашей» (слова Александра III) не боялся, и было у нас много союзников, кроме «нашей армии и нашего флота». Но когда при Николае I Россия развернулась к Европе задом и нарушила основополагающие принципы Священного Союза, тогда и начала развиваться европейская «русофобия», не изжитая и поныне. Как говорится — за что боролись...

Плоды этого «выпадения из Европы» — позорный итог Крымской войны, экономическая и политическая отсталость. И — самое цепкое и вредоносное — идеология имперского «особнячества», перехваченная у германских тевтофилов. В свое время иосифляне ради спасения своих латифундий по существу отреклись от православия: идеология «земного бога» — это больше, чем ересь, это — духовная измена Христу. Через триста лет, в николаевскую эпоху, дворяне-крепостники в страхе перед потерей своих поместий отреклись от своего «европейства». Но, как всегда бывает в России, после приступа деспотизма началась либеральная реакция, выразившаяся в раскрепощении крестьян, возникновении свободной прессы, судов присяжных, земского самоуправления и, наконец, думской (почти конституционной) монархии.

Александр Янов всю жизнь отчаянно воюет на два фронта, пытаясь низвергнуть «правлящий стереотип» исторического мышления — как российского, так и европейского — насчет однолинейности русской истории. Он убедительно доказывает, что в ней постоянно борются два начала, две традиции («договорная» и «холопская»), между которыми все время колеблется свободная воля нации и ее интеллектуальной элиты. Но до сих пор его проповедь остается «гласом вопиющего в пустыне».

Многие критики выражают почтение к личности и научному подвигу Александра Янова, но затем полностью отвергают его ключевую идею. Вот, например, Андрей Анатольевич Пелипенко (его здесь, к сожалению, нет) пишет, что у нас все либеральные реформы терпят неудачу, что они никогда не доводятся до конца, и что всегда в конечном счете побеждает деспотизм. И этот пессимистический вывод повторяют, как заклинание, многие поколения русской интеллигенции. Сколько живу, столько и слышу эти унылые причитания.

Опираясь на исследование Янова (да и на собственные размышления), выскажу прямо противоположный тезис: как раз деспотизм у нас всегда терпит поражение. Его замыслы никогда не удается довести до конца, и каждый раз после очередного приступа деспотии наступает либеральная реакция. О чем, кстати, постоянно стенают наши «стальные соловьи империи».

Последняя такая реакция началась сразу после того, как умер Сталин. С тех пор деспотизм отступает — с сопротивлением, с арьергардными боями, но отступает неуклонно. Все выглядит так, как будто происходит трудное и медленное выздоровление после смертельно опасной болезни. Это наша жизнь, мы не понаслышке об этом знаем. Мы, конечно, все время ворчим, что все остается по-прежнему, но ведь, положи руку на сердце, это же неправда. Если мы посмотрим непредвзято, то Россия после Сталина — пусть медленнее, чем нам бы хотелось, — трансформируется все же в европейскую страну. И тем самым становится самой собой, возвращается к своей внутренней норме.

Я позволю себе несколько заострить яновскую мысль, выразив ее в такой формуле: «особняческое имперство» — это русская болезнь, патриотизм европейского типа — это русское здоровье. Поскольку соблазн самообожания (или самообожения) еще не изжит до конца, окончательный выбор между здоровьем и болезнью нации, между жизнью и смертью российской государственности еще не сделан. И так же, как перед Первой мировой войной, мы переживаем тот момент колебания в выборе национальной стратегии, когда решающей становится роль интеллектуальной элиты.

В связи с этим возникает последний, самый актуальный вопрос: насколько реальна опасность очередного пароксизма, очередного приступа националистического безумия, подобного тому, который сто лет назад вверг Россию в губительную для нее мировую войну, имевшую результатом гибельный для национального будущего пароксизм тоталитарного коммунизма? Возможно ли повторение чего-то подобного сейчас? Александр Янов успокаивает себя и нас тем, что социальной базы для этого теперь нет. Мол, в 1917 году было архаичное мужицкое царство, которое могло поддаться пропаганде большевиков, а сейчас ничего такого не наблюдается. Однако меня это не убеждает.

Сейчас набирает силу имперское, реваншистское движение, и социальная база у него весьма значительная. И, главное, быстро формируется пусть утопическое, но эффективное — при нашей глубокой религиозной безграмот-

ности — идейное обоснование реваншизма, которое можно назвать «национал-православием». Здесь присутствует священник Глеб Якунин, который это явление определяет как «православный ваххабизм». Вот тут его брошюра лежит распечатанная, где он подробно рассказывает, как много сделала церковь для обожествления Сталина. В свое время иосифляне создали Грозного; в XX веке церковные наследники Иосифа Волоцкого, конечно, Сталина не создали (скорее он создал их), но они создали божественный нимб над его головой. И хотя нынешняя церковная власть от Сталина публично отрекается, но в широких массах церковного и околоцерковного народа, духовенства и монашества культ Сталина (заодно с культом Ивана Грозного) все более нарастает. И эта опасность не становится меньшей из-за того, что многие из числа сторонников таких идей говорят о себе: «Я в Бога не верю, но я православный».

В этой религиозной тоске о Сталине дает о себе знать все та же духовная болезнь, которая зародилась при Иване Грозном. Дело ведь не только в том, что «мы любим больших злодеев», как с горечью писал Солженицын. В Европе тоже были жестокие правители, которые пролили побольше крови, чем Иван Грозный. Но такого глубокого растлевающего воздействия на свои народы никто, кроме него, произвести не смог. Причина этого в том, что он сумел извратить самые глубокие основы христианской веры: никто до него в христианском мире «земным богом» себя все-таки не называл. И эта лжемиссия была на него возложена не кем-нибудь, а высшими церковными иерархами с молчаливого одобрения большинства верующего народа. Ведь не сам же он все это придумал!

Именно иосифляне соблазнили его этой безумной антихристианской доктриной, он только развил ее до крайних выводов. В итоге же напугал до смерти даже самих иосифлян, увидевших, какого монстра они вырастили. Он открыто провозгласил, что является единственным представителем Бога на земле и что всякая попытка ограничения его власти есть противодействие Самому Богу. Эта доктрина — прямая ересь против святоотеческого учения о соотношении божественной и человеческой воли. Я не могу сейчас в это углубляться, но, с позиций этого учения, соборный контроль над земной властью не есть ограничение воли Божией, а есть лишь необходимое ограничение личной греховной воли главы государства.

Иосифляне, конечно, рассчитывали, что Иван Грозный именно им предоставит истолкование воли Божией и тем самым станет послушным орудием в их руках. Но он довел их идею до логического конца: какой же он самодержец, если будет слушаться каких-то наставников, хотя бы и церковных? У Ивана Грозного осталось единственное, хотя, по существу, воображаемое самоограничение: он все же верил в существование Бога небесного и себя считал богом только на земле. Отсюда его демонстративные покаянные приступы между приступами «людодерства». Чего стоит такое «покаяние», судить не будем, оставим место суду Божию. Образ этой извращенной «духовности» глубоко, на века

отравил христианское сознание России: внутреннее принятие *такого* самодержавия было отступлением от Бога, грехопадением библейского масштаба.

Но чтобы тирана XX века — атеиста, не знавшего уже никаких приступов покаяния, — называли «богопоставленным вождем» и «вершителем правды на земле», чтобы высшие церковные иерархи говорили: «Он с нами был как отец с детьми», чтобы после его смерти они искренне рыдали: «Без него мы осиротели», то как это назвать? Тут какие-то необычные слова нужны, которых я не нахожу. Понимаю, как это прозвучит в этой аудитории, но, может быть, интуиция старообрядчества была в принципе правильной, может быть, эту духовную болезнь надо определить, скажем, как «синдром Антихриста»?

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Лев Львович. Смысл Вашего выступления, как я его понял, заключается в том, что Россия начиналась и до середины XVI века развивалась, как европейская страна, а потом сбилась с первоначального пути, и до сих пор не только не может вернуться на него окончательно, но вновь находится перед грозными вызовами со стороны «особнячества». В этом заключается и концепция Александра Янова, которую Вы представили. Однако многим именно потому и трудно принять идею европейского начала отечественной истории и — особенно — идею послемонгольского «европейского столетия», что «возвращение в Европу» все еще не состоялось, а реальный ход событий не дает надежных гарантий, что оно состоится в обозримом будущем. Но относительно трактовки Яновым событий этого столетия есть сомнения и у профессиональных историков.

Я хочу предоставить слово известному российскому исследователю Древней Руси Игорю Николаевичу Данилевскому. Его точка зрения интересна тем более, что трилогия Янова завершается послесловием Игоря Николаевича и ответом на это послесловие автора трилогии, причем полемика ведется в довольно жестких тонах. Пожалуйста, Игорь Николаевич.

Игорь ДАНИЛЕВСКИЙ (заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук): «Деспотическое государство возникло и стало воспроизводиться на Руси с XII века»

Это послесловие я написал по просьбе самого Александра Львовича. При чем сразу сказал ему о своей позиции, но, видимо, что-то не довел до конца в том разговоре. Очевидно, какие-то положения в моем тексте для Янова оказались неожиданными.

Я отношусь, наверное, к самой худшей категории историков-маргиналов. Я — источниковед, не создающий никаких концепций. И интересуюсь я довольно узким периодом отечественной истории, занимаясь древнерусскими источниками, а также тем, как выявляется историческая информация в источниках, насколько корректно она обрабатывается и тому подобными вопросами. Отсюда и моя двойственная реакция на трехтомник Александра

Львовича. С одной стороны, написанное им невероятно интересно, потому что это обобщение, на которое я не способен в принципе. К тому же сейчас у нас отсутствуют сколько-нибудь внятные концептуальные построения, которые охватывали бы всю российскую историю. Но, с другой стороны, я буквально на каждой фразе спотыкался, потому что постоянно упирался в то, что *«то»* или *«это»* — не исторический факт, как у нас принято говорить.

Работа Янова построена как некий математический конструкт. Он берет за основу энное количество аксиом, из которых логическим путем потом пытается сделать выводы, которые не всегда последовательны и непротиворечивы. В тексте трилогии есть целый ряд нестыковок, а формулировки сплошь и рядом противоречат друг другу.

Я остановлюсь на сугубо исторической части, причем на той, в которой я лучше разбираюсь: на истории до XVI века. Дальше я не пойду, потому что там я уже понимаю очень мало. Но прежде еще раз повторю: в основе трилогии лежат не столько исторические факты (хотя я стараюсь избегать этого термина), сколько некие метафоры, которым придается совершенно специфический смысл.

Вот, скажем, те же нестяжатели, о которых говорилось уже и в ходе нашего обсуждения. Нестяжатели — это в данном случае именно метафора. Потому что реальные нестяжатели, начиная с Нила Сорского, никогда не были сторонниками еретиков, они никогда не боролись против земельной собственности монастырей. Между тем автор трилогии многие свои выводы делает, опираясь на «факт» такой борьбы. Нил Сорский выступал против Иосифа Волоцкого только по вопросу о том, кто должен обрабатывать монастырские земли: крестьяне или сами монахи. Кроме того, последние источниковедческие работы показывают, что самые жесткие главы «Просветителя» Иосифа Волоцкого были написаны рукой Нила Сорского. Именно к Сорскому в борьбе с еретиками обращался новгородский епископ Геннадий, а вовсе не к Волоцкому.

Кстати, последний не был таким уж непреклонным сторонником идеи самодержавия, каким видится он Янову. Волоцкий мог менять свою позицию по отношению к государственной власти в зависимости от того, шла она ему навстречу или нет. Так, скажем, до 1504 года Волоцкий пишет, что, с одной стороны, всякая власть от Бога, а с другой — что вопрос о том, как распорядились этой властью, — это дело и подданных. И потому они имеют право сопротивляться власти тиранической, если с таковой сталкиваются. Но после того как Василий III берет под свой патронат волоколамский монастырь Иосифа, тот пишет, что всякая власть от Бога и государь как распорядился ею, так и распорядился: отвечать он будет только на Страшном суде. То есть акценты менялись в зависимости от конкретной политической и экономической ситуации. Поэтому не было и постоянного и последовательного противостояния иосифлян и нестяжателей, на котором строит свою концепцию Янов.

Такое несоответствие обнаруживается и во всех прочих положениях его трилогии. К примеру, в оценках тех же Судебников 1497 и 1550 годов, на которые ссылается Александр Львович в подтверждение своих умозаключений. Начну с того, что я, честно говоря, не понял, почему учреждение первым из названных Судебников Юрьева дня — это «крестьянская конституция». Давно известно, что введение ограничения на переход крестьян есть первый шаг к их закрепощению. Но бог даже с этим. Фокус-то заключается в другом.

У нас об этом как-то не принято говорить, но мне бы хотелось задать присутствующим один простой вопрос: а сколько было списков Судебников 1497 и 1550 годов? Ответ на него, по-моему, звучит убийственно: оба Судебника существовали в одном экземпляре! Это были оригиналы, которые хранились в государственной казне. Их никто никогда больше не видел. Это были декларации, не вполне ясно кому адресованные. Поэтому рассматривать Судебники как свидетельство о каких-то радикальных изменениях в обществе, я бы поостерегся. А Соборное Уложение 1649 года — это уже совершенное другое дело. Это текст, который был размножен в количестве 1000 экземпляров, сверен с оригиналом и разослан по территориям. Это — реально действовавший законодательный акт.

И уж совершенно выбивает меня из колеи обнаруженная Яновым «самодержавная революция» Ивана IV.

Александр Львович пишет, конечно, не историческое сочинение, а создает, как здесь уже говорилось, некую картину. В ней — очень яркие и интересные образы. И общий пафос этой работы меня ничуть не смущает. Наоборот, даже вдохновляет. Я тоже думаю, что Россия — европейская страна, хотя и со своими особенностями. И что она всегда была европейской. Если мы начинаем сравнивать ее по каким-то фундаментальным основаниям со странами Западной Европы, то находим очень много общего. Притом что есть, конечно, и своя специфика. И касается она в том числе и российской государственности.

Так сложилось, что я на протяжении многих лет читаю базовый курс — когда-то истории СССР, а теперь — истории России до XVI века. И мне волею-неволей приходится давать какую-то общую схему, укладывать материал в какую-то систему. Тем более что я занимаюсь еще и экспертизой учебников для средней школы, да и сам являюсь автором нескольких учебников. Это — тяжкий крест. Любой, кто когда-то пытался написать такой учебник, представляет себе, что это такое. Это совершенно ужасное дело. И до настоящего времени нормально не реализованное, хотя есть и неплохие опыты.

Так вот, когда начинаешь задаваться вопросом, а что собственно у нас изучают в школе, становится понятно: у нас изучают не историю российского государства как такового. С одной стороны, никто мне не докажет, что современная Российская Федерация и РСФСР — это две стадии развития одного и того же государства. Это государства разные. Современная Российская Федера-

ция — не стадия и Российской империи. Но при всем том базовая отечественная государственность, на мой взгляд, была и остается единой — меняются лишь ее исторические формы. Что же она собой представляет? Как возникла и как развивалась?

На ранних стадиях ее развития государственные функции выполняли три институции. Это прежде всего «народное» собрание (вече), хотя народное оно (увы и ах!) только в кавычках, поскольку на этом собрании присутствовали только определенные категории людей. Если, скажем, говорить о Новгородской республике, то это, судя по всему, наиболее влиятельная часть местной аристократии. Вторая институция — князь (государь), опиравшийся на вооруженную дружину, которая представляла третью силу, облеченную властью. Эти три институции и закладывали основу «нашей» государственности.

Впоследствии, когда аморфное образование, называемое условно Киевской Русью или древнерусским государством, распадается, появляются самостоятельные государственные образования: земли и княжества, каждое из которых так или иначе развивает исходную основу. В результате формируется три базовых типа государственности, причем все зависит от того, какая из перечисленных сил стоит наверху треугольника власти.

«Республиканский» Новгород, а затем Псков и в какой-то степени Полоцк за основу берут вечевые собрания, которые приглашают князя с дружиной для выполнения вполне определенных военных функций.

На юге и юго-западе образуется то, что условно можно назвать раннефеодальной монархией. Там, казалось бы, присутствует довольно сильная власть князя. Но власть старшей дружины (боярства) явно ее перевешивает. Бояре контролируют действия князя, причем очень уверенно и успешно. Это им делать тем более легко, что фактически они возглавляют вечевые собрания (в таких городах, как Галич). Боярство здесь в состоянии иногда даже заставить «высшего» представителя власти в лице князя поступать вопреки его собственным желаниям и планам.

И, наконец, третий тип государственности, сложившийся на северо-востоке, — тот самый, который — *увы!* — развивается в нашей стране уже на протяжении многих сотен лет. Это — деспотическая монархия. Основу ее закладывает в XII веке Андрей Боголюбский, который изгоняет старшую дружину и остается с той организацией, которую мы до поры до времени не видим. Это «служебная организация». Грубо говоря, обслуживающий персонал, состоящий из холопов, которые до того занимались лишь хозяйственными вопросами.

Новое окружение, набранное князем Андреем из холопов, — это теперь уже не *товарищи*, а *милостники*, *подручники*. Мало того, он и со своими родственниками начинает поступать, как с подручными. Что, понятное дело, их очень обижает.

Василий Осипович Ключевский одним из первых очень четко зафиксировал эту «самодержавную революцию» Андрея Боголюбского. По словам великого

историка, на авторитет которого все время ссылается Александр Янов, Андрей Боголюбский — это первый великоросс, который выходит на историческую сцену. Великоросс не в этническом смысле — хотя бы потому, что у него было намешано кровей каких угодно, среди которых славянская составляла в лучшем случае не более одной шестидесятой четвертой части. Среди его предков были и англосаксы, и греки, и шведы, и еще какие-то скандинавы. Андрей Боголюбский — великоросс не по крови, а по типу власти, которую он устанавливает. Но потом и его преемники проводят в принципе ту же государственную линию, которая полностью подпадает под те определения деспотии, которые дает Александр Львович.

Игорь КЛЯМКИН: То есть линия Боголюбского — это не эпизод, не имевший продолжения, а заложенный им новый тип государства?

Игорь ДАНИЛЕВСКИЙ: Да, это именно так. Это та деспотическая государственность, которая стала потом воспроизводиться. Александр Львович пишет, что особенность деспотического государства заключается в том, что изменить его природу невозможно, а можно лишь устранить деспота, на место которого неизбежно придет другой деспот. Так вот, как раз Андрей Боголюбский был первым, кто это на себе и испытал. Впоследствии, кстати сказать, картинка будет приблизительно такая же.

Фактически все наследники Боголюбского так или иначе испробовали эту линию поведения в более или менее жесткой форме. Ордынское нашествие и включение северо-восточной и северо-западной Руси в сферу влияния Великой Монгольской империи лишь обеспечили этому процессу более благоприятные условия. А Иван Грозный просто доводит эту систему государственного управления до логического конца, отождествив себя со Спасителем. Судя по последним исследованиям, он устраивал эдакий небольшой Страшный суд в одной отдельно взятой стране, руководствуясь вполне благой целью: спасти своих подданных от вечных мук на том свете. Попытка эта оказалась, как он и сам в конце концов понял, неудачной. И он начал каяться...

Таковы мои размышления историка-«гряздочника» по поводу трилогии Янова. Они, как мне кажется, ставят под вопрос очень многие его построения. Потому что логика знает четкий закон: из истинных оснований следует истинный вывод, а из ложных оснований могут быть сделаны выводы как истинные, так и ложные. На мой взгляд, в работе Александра Львовича есть целый ряд очень интересных истинных выводов. Но есть и такие, с которыми вряд ли можно согласиться.

Впрочем, повторяю, общий смысл этой трилогии мне вполне ясен и очень близок. И, прежде всего, мыслью о том, что Россия — европейская страна. Хотя, по большому счету, я боюсь таких определений. Азиатская (холопская) традиция и традиция европейская, противопоставляемые друг другу, — это

тоже метафоры. Мы знаем европейских деспотов — совершенно страшных. Мы знаем азиатские системы управления, которые были вполне европейскими по своему духу. Поэтому, на мой взгляд, европейское демократическое развитие — это тоже метафора. А с метафорами иметь дело всегда сложно.

И последнее. Александр Львович прямо заявляет, что он борется с историографическими стереотипами. Беда только в том, что и сам он при этом пытается опираться...на историографические стереотипы, а именно — стереотипы 60-х годов прошлого века. За истекшие 40–50 лет российская историческая наука продвинулась вперед, причем очень существенно — особенно в области источниковедения. А в постсоветский период, в котором мы пребываем уже почти 20 лет, в значительной степени сдвинулись и многие наши оценки и представления.

Ну не были декабристы такими уж либералами и демократами, какими они предстают в трилогии Янова! Когда читаешь воспоминания современников, то понимаешь, что, не приведи Господь, пришел бы Пестель к власти (чего он так добивался), и Россия умылась бы кровью. Были, конечно, среди декабристов и романтики вроде Никиты Муравьева. Но это мальчик, который не знает, сколько стоит кружка молока, и дает за нее золотой... Его, кстати, тут же крестьяне повязали и отправили, куда следует, потому что ясно: не наш это человек, нормальные люди так не поступают. Но были, повторяю, и прагматики, которые рвались к власти всеми силами и прямо об этом говорили. Победы они и, я думаю, результаты были бы очень тяжелыми.

Много есть у Янова таких моментов, которые меня, как историка, не устраивают. Если же говорить в целом, то могу лишь повторить: у меня к его работе отношение двойственное. Это, конечно, не историческое произведение в строгом смысле слова. Но вместе с тем очень любопытное и, думаю, весьма поучительное.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Игорь Николаевич. Теперь — Леонид Сергеевич Васильев. Пожалуйста, мы Вас слушаем.

Леонид ВАСИЛЬЕВ (профессор Высшей школы экономики): «В Древней Руси, не знавшей античности, западное начало не могло играть сколько-нибудь существенной роли»

Хотя с Александром Львовичем Яновым меня связывает не слишком многое, это немногое достаточно серьезно. Когда-то мы вместе учились на истфаке МГУ, а такое обычно не забывается. Особенно если учесть, когда это было. Большинство из здесь присутствующих тогда еще не успели появиться на свет.

Но дело все же не только в рождающих приятные ассоциации воспоминаниях далекой юности. Много существеннее то, что в те суровые годы жестоких репрессий (а они вовсе не завершились в 1930-х, но вспыхивали и в 1940-х)

между, по крайней мере, некоторыми из нас, еще не до конца запуганных, существовали какие-то связи — не всегда очень тесные, но зато достаточно выраженные. Это были связи тех, кто искал и находил единомышленников. Собственно, именно это всегда сохраняло во мне, когда наши профессиональные интересы далеко разошлись, достаточно теплые воспоминания о Саше Янове.

Теперь к делу. Должен сознаться, что трехтомник, который мы обсуждаем, я не читал, ознакомившись с ним лишь перед обсуждением, что, собственно, не так уж и удивительно. Могу предположить, что и мои книги — а их у меня издано свыше двух десятков — ни присутствующие, ни Александр Львович не видели и, тем более, не читали. Это естественно — нельзя читать все. Но даже беглое ознакомление с трилогией Янова и достаточно основательное с его докладом убеждают меня в том, что основные наши идеи и идеалы остаются близкими до сегодняшнего дня.

Но не только это побуждает меня отнестись к работе Александра Львовича с максимальным вниманием. Меня сближает с ним и другое. Игорь Николаевич Данилевский, выступавший передо мной, сказал, что он узкий специалист, которого общетеоретические проблемы не очень интересуют, и что в этом отношении он на Александра Львовича не похож. Так же, добавлю, как и на меня. Дело в том, что и Янов, и я создаем строго определенные концепции, что — не станем скрывать — свойственно и доступно не каждому. Концепции — каждая в своем роде — глобальные. У Александра Львовича концепция служит ключом для интерпретации отечественной истории, а у меня — истории всемирной. Я не предполагал оспаривать лавры Маркса, но объективно получилось именно так — почитайте уже вышедшие в свет первые четыре тома моего шеститомника «Всеобщая история».

Так вот, перед этим стремлением Александра Янова создать собственную концепцию я снимаю шляпу. Мне импонирует такое стремление, несмотря на недостаточную убедительность всей суммы приводимых им аргументов (вполне вероятно, впрочем, что самому ему степень их убедительности представляется совсем иной). Но наши концепции разные — тут никуда не денешься.

С моей точки зрения, в истории России, которая всегда была и остается между Востоком и Западом, действительно есть элементы Запада. Это совершенно естественно уже потому, что российская субцивилизация является частью западной христианской — хотя и в православной, подчеркнуто восточной ее модификации. Но в этой субцивилизации с самого начала от Востока было слишком много — настолько, что она оказалась очень не похожей на Запад и далека от западного христианства, тесно связанного с римской античностью как в католическом, так и в более позднем протестантском его вариантах. А в восточно-византийском, греческо-православном варианте христианства от античной первоосновы очень мало что осталось. И вот почему вроде

бы западная по определению, то есть христианская, русская субцивилизация гораздо более Восток, чем Запад.

Так что не удивительно, что многих, в том числе и меня, мало убеждают те аргументы, с помощью которых Янов строит линию обороны, чтобы отстоять свою позицию. Позицию, согласно которой западное начало в ранней Руси было более значимым, нежели принято думать. Но попробуем представить себе, с чего все начиналось.

Мы увидим славянскую деревенскую первобытность, а рядом с ней — много более продвинутых варягов. Именно с приходом варягов появляются здесь и «вольные дружинники». Те самые, в которых Александр Львович видит олицетворение западного начала Руси.

Разумеется, они вольные. А не вольных, то есть холопов, еще нет. Но несколько позже рядом с *варяжскими* вольными появляются славянские *холопы* и *смерды*. Нет ли здесь ключа к разгадке того, кто же нес в себе пусть хилый, но все же элемент Запада, а кто безнадежно увязал в полупервобытном холопско-подданическом Востоке? А если вспомнить, что Владимир Святой в борьбе за стол приводил в Киев довольно-таки большой отряд скандинавов, что точно так же поступал потом Ярослав Мудрый, то получится: к XII веку, который вспоминает в этой связи Янов, у Рюриковичей действительно еще были вольные дружинники, помнившие о своем происхождении, а рядом с ними жили холопы с иной психологией и иным реальным статусом. Но как долго эти дружинные вольности сохранялись?

Я отнюдь не склонен считать, что хорошо знаю реалии ранней отечественной истории. Более того, я просто мало их знаю. Есть, однако, персона в этой истории, которая вызывает у меня почти патологическую неприязнь. Это Александр Невский. Правда, Янов эту фигуру обходит. Не скажу, что внимание к ней в чем-то сильно укрепило бы позиции автора. Ведь совсем не в Европу продвигал Русь этот князь, а прочь от нее! И разве мало русской крови пролил он, отираясь в татарских юртах в стремлении выклянчить ярлык? Разве не подерживала его активнейшим образом русская православная церковь, для которой татары — как, скажем, и для Льва Гумилева, — были ближе и приятнее, чем западные католики? Разве они, католики, чуть ли не сам Папа Римский, не предлагали Невскому руку дружбы против татар, от чего князь решительно отказался? И где же были в то время носители позитивного западного начала — те самые вольные дружинники, которые могли бы оказаться рядом с Невским, долго княжившим в Новгороде, и повлиять на него?

Не знаю, где они были и были ли вообще. Скорее всего, их время к тому моменту уже кончилось. Они просто вымерли, не оставив серьезного следа и никак не повлияв не только на рабскую психологию холопов, но и на мерзкую психологию великих князей.

Если так, то это рвет протянутую Яновым прямую историческую нить от вольных дружинников к нестяжателям, которым он тоже уделяет немало вни-

мания. Что о них можно сказать? Можно ли считать их предшественниками европейских протестантов? По-моему, это сомнительно, хотя Александр Янов и Лев Регельсон в этом, похоже, не сомневаются.

Предтечей старообрядцев — да, можно. Но протестантизм — это гигантский взрыв предбуржуазного западноевропейского города, повлекший за собой последствия колоссальной важности. Ведь именно протестанты, а не мифическое первоначальное накопление Маркса, оказались первоосновой капитализма. А потому и сопоставление последствий неправомерно. Даже если бы нестяжатели взяли верх и монастырские земли оказались в казне, это (вспомним Петра I) привело бы в тех условиях лишь к тому же помещицкому крепостничеству. Условий для капитализма в России не было, ибо не было идейно-институционального антично-буржуазного фундамента, на котором только и мог быть воздвигнут капитализм.

Какова же могла быть при таких исторических обстоятельствах судьба в России тех европейских идей и практик, к которым постоянно апеллирует Александр Львович? Да, был Судебник 1550 года, и в нем была 98-я статья, предоставлявшая Боярской думе законодательные права. Ну и каков исторический результат принятия этого Судебника, лежавшего бог весть где в единственном экземпляре? Да, бояре хотели иметь царя под некоторым надзором, хотели, возможно, чтобы его пост был похож больше на пост спикера в современной нашей Думе, чем на пост президента. Но могло ли их желание осуществиться? Какой царь в Московии XVI века согласился бы добровольно подчиняться своим боярам? А силы, чтобы принудить его, у них, насколько понимаю, не было.

Или вот боярин Михаил Салтыков, который в занятом поляками Кремле в Смутное время сочинял какие-то конституционные гарантии в качестве условия возведения королевича Владислава на русский трон (быть может, и под влиянием поляка Жолковского). Ну да, сочинял, учитывая, что власть отдавалась иноземцу. И что с того? Можно ли представить себе, что он мог предъявлять такой документ любому из отечественных кандидатов на трон?

Короче говоря, я сомневаюсь, что все эти — сами по себе немаловажные — эпизоды российской истории правомерно рассматривать как проявление постоянно существовавшей в ней либерально-демократической традиции. Такой традиции, генетически восходящей к свободолюбивой античности, в дотатарской и татарской Руси (да и тогда, когда татар одолели) просто неоткуда было взяться. Не притекала она и из Византии, где все, что напоминало древнегреческую античность, было уже давно и прочно забыто. И потому при рассмотрении всех упоминаемых Яновым эпизодов — а именно они лежат в основе его концепции — ощущения убедительности, к сожалению, не возникает.

Почему к сожалению? Потому что мне нравится, когда человек строит концепцию, но огорчительно, когда она вызывает у меня и, как понимаю, не у одно-

го меня, определенные сомнения. Как было бы хорошо, если бы она действительно соответствовала тем реальностям, которые представляла собой Русь. Но она им не соответствует. Та либерально-демократическая линия, которую Янов обнаруживает в домонгольской и послемонгольской Руси, там появиться просто не могла. Она возникла совсем в другом месте и при совершенно иных исторических обстоятельствах.

Эту линию, а точнее, все созданное на ее основе, я называю антично-буржуазной структурой. Структурой либерально-демократической и рыночно-частнособственнической, которая в наиболее развитом своем варианте еще и конституционно-правовая, равно как и парламентарно-многопартийная. Эта структура имеет самое прямое отношение к Западу и практически никакого отношения к миру вне Запада, включая и Византию. Более того, породившая эту структуру античность имеет все основания считаться социополитической мутацией, вызванной к жизни процессом эволюции, не имеющим отношения ни к теории марксистских формаций, ни к теории цивилизаций, но, если уж на то пошло, разве что к теории неравновесных систем.

Итак, все пошло только и именно от античности с ее правами и свободами, гражданским обществом и избирательными процедурами, влиянием демоса и зависимыми от выборов магистратами, обязанными отчитываться перед гражданами. Возникла принципиально новая, заботливо патронируемая властью рыночно-частнособственническая структура с характерными для нее протокапиталистическими отношениями. Вообще-то протооснову всего этого можно частично обнаружить в любом первобытном и во многих полупервобытных обществах (к одному из них генетически и восходит древнегреческая античность). Но к тому и сводятся сила и значимость любой мутации, что нечто общее и сходное у всех когда-то, где-то и как-то причудливым образом преобразуется, давая начало принципиально новому явлению. Так произошло и с античностью.

В ходе греко-персидских войн античность в конечном счете одолела противостоявшую ей персидскую империю Ахеменидов, основой которой была привычная для всего традиционного Востока структура *власти-собственности с централизованной редистрибуцией*. Это — когда власть абсолютна и первична, а собственность, коль она появилась, является ее функцией и потому полностью ей подвластна и подлежит перераспределению с ее стороны. В дальнейшем античная протокапиталистическая рыночно-частнособственническая структура долгое время соперничала в завоеванном и эллинизованном ею ближневосточном регионе со структурой власти-собственности, но окончательно одолеть ее не сумела. А новые силы возбужденной исламом первобытности в лице арабских бедуинов поставили точку в этой борьбе.

В Риме, где позиции античности долго, по сравнению с Грецией, были более предпочтительными, произошло завоевание западной части империи при-

бывшими с Востока варварами, преимущественно кочевниками и полукочевниками (Великое переселение народов). Казалось, с античностью все покончено. Но на деле оказалось иначе. Античная традиция не только выжила, но и, будучи усиленной близким к античному стандарту (во всяком случае, в то далекое время) западным христианством, оказала решающее воздействие на трансформацию полупервобытных варварских королевств раннесредневековой Европы.

Эти примитивные государственные образования отличались от традиционных древневосточных отсутствием давно сложившейся администрации и необходимой для централизованного перераспределения инфраструктуры. Или, говоря иначе, отсутствием инструментов централизованной редистрибуции. Поэтому они обретали облик той же структуры власти-собственности, но — с *децентрализованной* редистрибуцией. А это есть не что иное, как *феодализм*. Он возникал в истории не так уж часто, но всегда в обстоятельствах, характеризовавшихся отсутствием централизованной инфраструктуры и бюрократической администрации. С появлением того и другого он исчезал, обретая более привычный облик власти-собственности с централизованной редистрибуцией.

Наиболее характерный пример феодализма в древности — это древнекитайское государство Чжоу XI–III веков до нашей эры.

Игорь КЛЯМКИН: Леонид Сергеевич, возвращайтесь, пожалуйста, к предмету обсуждения. Тем более что Ваше время почти истекло...

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Без такого отступления в мировую историю мой взгляд на историю России может быть не понят. Заверяю вас, что в отведенное мне время я уложусь.

В менее выраженной, чем в Китае, форме феодализм был представлен в системе княжеств в доисламской Индии и в Японии, а также на Руси и в средневековой Западной Европе. Но только и именно в западноевропейских феодальных королевствах с их варварским в недавнем прошлом полукочевым населением и языческой религиозно-духовной стерильностью интенсивное воздействие со стороны потомков римских колонистов, равно как и пришлых миссионеров, сделало великое дело. Были заимствованы, причем прежде всего и в основном в городах, этих законных наследниках древнегреческих полисов, все краеугольные основы античной социополитической мутации с ее правами и свободами, гражданским обществом и избирательными демократическими процедурами и многим другим, всему этому сопутствовавшим.

В итоге западноевропейские города уже с раннего средневековья — чего нельзя сказать о городах Руси — получили ту идейно-институциональную основу, которая обеспечила расцвет рыночно-частнособственнических отно-

шений, столь наглядно проявившийся сначала в североитальянской Ломбардии, а затем — в северогерманской Ганзе. Ганза краешком коснулась Новгорода, но этого касания было слишком мало. Даже Новгород не обрел хорошо известное в восточноевропейских городах, включая польско-литовские, магдебургское право, обеспечивавшее им с их потенциальной предбуржуазией внутреннее самоуправление с логично прилагавшейся к нему свободой для всех горожан.

России все это было взять неоткуда. Греция давно уже перестала быть полисной и античной. Она, как и вся Византия, стала восточно-христианской, православной, со всеми присущими этой субцивилизации особенностями. Особенности, резко противопоставлявшими ее Западной Европе и обуславливавшими склонность скорей уж сближаться с Востоком, чем с Западом, что наиболее ярко и проявилось в случае с татарами и поддержанным православной церковью Александром Невским. Поэтому понятно, что на долю России досталась структура власти-собственности, сперва в ее полупервобытной феодальной форме, а затем — с Ивана III и, тем более, Грозного — в переходной форме с тенденцией превратиться в типичную традиционно-восточную структуру той же власти-собственности, но с централизованной редистрибуцией.

Впервые Россия попыталась всерьез стать Западом лишь в годы Великих реформ Александра II, который начал преобразование России в очень широком плане и успел многое сделать в разных направлениях, будь то реформа суда, земств и различных сфер администрации. Но ему (а ведь у него в руках был уже текст готовой Конституции!) не дали довершить дело под тем предлогом, что не все сделано было так быстро и хорошо, как хотелось бы нетерпеливым экстремистам. Террористы убили царя и тем самым обрекли империю на крушение и на страшный большевистский эксперимент, обошедшийся стране столь дорого, что она и сегодня, спустя более полвека после смерти кровавого диктатора, продолжает вымирать.

У страны не осталось сил нормально существовать. И это, если угодно, плата за все пережитое. За пережитый ею страх. За безжалостно погубленные тиранами на ее глазах десятки миллионов жизней. И здесь — самое время вернуться к концепции Александра Янова.

Так и хочется сказать: флаг бы Вам в руки, Александр Львович! Да что там флаг, огромное знамя массового социального протеста! Вы очень много сделали для того, чтобы попытаться вычерпать из нашего прошлого хоть что-то, с чем можно было бы идти в борьбе за обновление несчастного нашего современного образа существования. И честь Вам и слава за это! Но, к великому сожалению, суть современных проблем отнюдь не в том, правы Вы или нет.

Ситуация ныне такова, что измороженным экспериментами поколениям — точнее, потомкам всех изуродованных, получивших в наследство отягощенный злом генотип, правда не нужна. Их не трогает и никогда не станет всерьез

волновать, что было когда-то в далеком прошлом на самом деле. Им нужен миф, ласкающая их слух мифологема.

Казалось бы, нет ничего проще, чем создать и дать им этот миф. Дать людям, потерявшим почти все (я имею в виду основы духовной культуры, принципы элементарной морали, основополагающий идейно-институциональный фундамент) и оставшимся на время — не столь уж и долгое, как подсказывает здравый смысл, — потребителями гигантской бензоколонки, столь важную для них надежду. Но тут же возникает непредсказуемая опасность: какой будет интерпретация мифа и как он сможет преобразиться в мозгах тех, кто за него ухватится? Зная современный уровень и притязания большинства, трудно не согласиться с тем, что любая из возможных мифологем — как опирающаяся на исторические реалии, так и совершенно свободная от них — ныне в нашей несчастной стране практически почти неизбежно выродится в националистический взрыв.

Так что игра с мифом небезопасна. Кто знает, куда и как все в итоге повернется!

Есть, однако, и другие варианты. Нас всегда учили, что во имя прекрасного будущего следует смело применять насилие и даже лить кровь, не жалея. И сколько этой крови было пролито! И как по сей день кровавых восхваляют за это! Не станем слепо уподобляться любителям кровавой социальной бани. Вспомним лучше тех, кто обходился без этого. Вспомним хотя бы Наполеона, который не без принуждения, но и без излишнего насилия радикально преобразовал континентальную Европу. Или превратившего послевоенную Японию в демократическое государство генерала Макартура. Или даже Михаила Саакашвили, сумевшего вообще без принуждения покончить в современной Грузии с коррупцией, проворовавшейся милицией и ворами в законе.

Есть принуждение и принуждение. Вспомним Кастро на Кубе, который силой навязывал свои порядки и добился того, что страна изнемогает под давлением созданного им режима. И сопоставим его с Пиночетом, который действовал примерно так же, но зато страна после этого процветает. Отсюда вывод: важно, чтобы те, кто берется за преобразования, знали, к чему приведут их усилия. А не знаешь — не берись. Не совершай непроверенные эксперименты на живых людях! Стало быть, вопрос не в том, как действовать, а в том, кто именно действует и во имя каких целей. Во главе государства должны стать партии и люди, которые сумели бы гарантировать населению те права и свободы, которых оно лишено.

Сегодня, если ставить именно такую цель, уже сравнительно легко можно кардинально изменить любое общество к лучшему. Даже если в нем нет ничего от античного начала. Не сомневаюсь в том, что и наша страна может стать либерально-демократической. Но для этого в тех условиях, в которых мы находимся, нужно сильное, очень сильное потрясение, сопровождаемое сменой не только руководства, но и режима, всего курса со стороны правящей адми-

нистрации. И одно предварительное условие: возглавлять движение к лучшему должны только те, кто не боится пробудить к активным действиям лучших, кто зарекомендовал себя убежденным либералом и буржуазным демократом, сторонником справедливых выборов, четкой и строго соблюдаемой процедуры, независимых судов.

Вот к этому и надлежит готовиться. Это и нужно ждать. На это только и можно надеяться.

Игорь КЛЯМКИН: Далековато все же Вы увели нас от темы обсуждения. Впрочем, и Александр Янов осуществляет свои исторические экскурсии исключительно ради того, чтобы найти точки опоры в прошлом для прорыва в будущее. Вы, в отличие от него, их там не находите, но хотите для страны того же, что и Александр Львович. Так что Вы с ним и в самом деле на одной идейной волне. Но, в отличие от него, у Вас осторожный оптимизм относительно возможности европеизации России — это оптимизм, не находящий исторических и культурных корней. Поэтому, может быть, он у Вас и такой осторожный.

А теперь я предоставляю слово Никите Соколову. Мне очень интересно, что он скажет, потому что несколько лет назад он и его соавторы написали своего рода альтернативную историю России — книгу «Выбирая свою историю», в которой были представлены намечавшиеся, но не реализованные варианты развития. В чем-то это роднит авторов с Яновым. Прошу Вас, Никита Павлович.

Никита СОКОЛОВ (кандидат исторических наук): «Андрей Боголюбский и такие, как он, — не единственно возможный тип великоросса»

Очень трудно выступать после Леонида Васильева. Я не могу рассуждать об истории так, как он, поскольку я хоть и не источниковед, но кончал все-таки историко-архивный институт и во многом так и остался архивной крысой. Но, кроме того, в последние десять лет я уже не практикующий историк, а практикующий журналист — редактор политических разделов разных журналов. И поэтому для меня ценность книги Александра Янова — а я вижу в ней большую ценность — не в том концептуальном мире, который он выстраивает, а в ясной формулировке задачи. Задачи переосмысления нашей истории, которая представляется чрезвычайно актуальной.

Тем более учитывая те версии прошлого, которые нам нередко предлагают. Достаточно вспомнить фильм Павла Лунгина об Иване Грозном — фильм, который смотрится как современное документальное полотно. В нем наше средневековье выглядит то ли нашим завтра, то ли уже и нашим сегодня, в котором мы начинаем жить. Поэтому, повторяю, та проблема, которую ставит Александр Янов, очень актуальна.

Нам надо сложить нашу историю по-другому. Это происходит, собственно, уже давно, не он этот процесс инициировал. Хорошо помню: когда я начинал

учиться в институте — это было на излете 1970-х годов, когда действовал еще остаточный импульс оттепели 1960-х, импульс освобождения науки от устаревших схем, — тогда честные профессора рекомендовали нам исследования Николая Носова о «буржуазном» развитии средневекового русского севера. Но вскоре их рекомендовать перестали. То есть то, что было добыто исторической наукой, ушло в тень.

А это ведь были не маргинальные достижения. Это — куски той мозаики, из которых и может быть сложено совершенно другое полотно отечественной истории. После того как усилиями Николая Карамзина, а потом лично товарища Сталина оно было сложено таким образом, что монархическая власть — «наше все», «палладиум России».

Игорь Данилевский процитировал Ключевского, согласно которому первый на Руси авторитарный правитель Андрей Боголюбский — это «первый великоросс». Но сейчас ведь история трактуется так, что Боголюбский и такие, как он, — единственно возможные великороссы, а все остальные, то есть которые не за самодержавную власть, те уж и не русские вовсе. Когда я выступаю на радио, а это еще случается иногда, мне слушатели постоянно указывают: «Ах, Вы против самодержавия, так Вы, стало быть, в Израиль свой и езжайте». Получается, что самодержавные русские — одни только русские и есть, и других быть не может.

Но я-то, простите, из новгородских мужиков. Моих предков опричники гнобили, и у меня с ними личные счеты, с опричниками. Между тем за 500 лет казенной пропаганды в массовом сознании утвердилось представление, что могучее русское государство — непременно опрично-людоедское, а вольные новгородцы вроде уже и не русские. Так вот, великая заслуга Александра Янова в том, что во втором и третьем томах трилогии он этот гнойник вскрывает.

Это и есть, мне кажется, самое главное в его книге. По крайней мере, в том смысле, который для нас сейчас актуален. Александр Львович очень хорошо показывает, как соблазн могучего государства, соблазн мнимой эффективности монархическо-авторитарного правления поражал, как вирус, русское общество и приводил его неизбежно к краху.

А главная моя претензия к Янову проистекает из того, что я терпеть не могу стиль его письма. У меня с ним стилистические расхождения. Они касаются и построения текста — чрезвычайно сумбурного, когда автор много раз подступает к одному сюжету, много раз повторяет одно и то же. Его постоянные перескоки с предмета на предмет и лирические отступления меня чрезвычайно раздражают. Но это касается стиля, а не содержания. По содержанию же я бы скорее выставил Янову другие, по сравнению с прозвучавшими, упреки, учет которых мог бы привести к расширению и обогащению его аргументации.

Отчасти об этом говорится в книге, которая здесь уже упоминалась, написанной мною с двумя моими товарищами по кафедре. Один мой соавтор,

Ирина Карацуба, присутствует в этой аудитории и, может быть, еще выскажется по затронутым в разговоре церковным вопросам, поскольку она в них специалист. Наша цель была — создать другую, отличную от привычной, оптику рассмотрения отечественной истории. А мой упрек Янову — одновременно и попытка защиты его позиции относительно наличия в стране несамодержавной традиции. Он находит такую традицию исключительно в социальных «верхах». Но после того как полтора столетия назад Евгений Якушкин описал обычное право русского крестьянства, а Василий Сергеевич — русские юридические древности, не подлежит сомнению, что традиция договорного права была в России не просто жива, но непрерывна до самой «большевизии».

Леонид Васильев говорил о чужеродности для России Конституции, написанной в 1610 году боярином Салтыковым, так как для нее не было соответствующей «мутации». Но Салтыков именно потому и написал ее, что за ним была соответствующая традиция, причем именно русская. Он ведь был из новгородцев, а так как в тогдашнем обществе имел место чрезвычайно медленный оборот информации, исторические воспоминания — устные, даже не письменные — жили очень долго, как семейное предание. Салтыков просто был хорошо осведомлен о новгородской старине, ему не надо было никакой «мутации», чтобы помнить, что были на Руси и такие русские, которые выстраивали другую, не самодержавную, политическую систему. Но об этом Янов, к сожалению, не пишет.

А еще меня сильно задевает в его построении то, что он поздно начинает историю «нехолопской» традиции — с Ивана III, между тем как ее следовало бы вести от Древней Руси, ее вольных городов, о чем отчасти уже говорил Игорь Николаевич Данилевский. Эта традиция тоже была жива, и Александр Невский, боровшийся с городами, подавлял городское самоуправление не вполне успешно как раз потому, что историческая память держалась крепко. И в дальнейшем, как только монархическая власть в Москве падала по какой-то причине, то тут же горожане вспоминали, что есть такой институт, как вече, и немедленно его возрождали. Это был латентно живой институт, о нем помнили. Скорее самодержавие воспринималось как некоторая случайность и отклонение от нормы. Отсюда, в частности, и события Смуты.

И еще один штрих напоследок. Когда в каком-то древнем русском городе, отошедшем к Литве — боюсь наврать, в каком именно, — начали вводить магдебургское право, а это довольно поздно произошло, в начале XVI века, то выяснилось, что магдебургское-то право послабее будет древнерусского, которое развивалось в Литовской Руси. Во всяком случае, горожане попросили, чтобы им не магдебургское право дали, а позволили остаться со своим древнерусским, которое им — той самой «буржуазии», об отсутствии которой жалеет Леонид Васильев, — выгоднее, оказывается, было, чем новоевропейское. Так что была, была у нас и не самодержавная традиция, и безо всяких «мутаций».

Игорь КЛЯМКИН: Это очень интересный вопрос — о порядках в Литовской Руси. Александр Янов, правда, их почти не касается, но при этом, как вы, возможно, помните, акцентирует внимание на том, что до террора Ивана Грозного люди из Литвы бежали в Московию, а потом, при Грозном, бежали в обратном направлении. Но можно ли считать это весомым аргументом в пользу идеи российского «европейского столетия»? Все-таки из Литвы русские уходили из-за начавшегося там окатоличивания, а не потому, что там торжествовало «холопство». Возможно, кто-то об этом в дальнейшем еще выскажется.

У нас еще должен был выступить Андрей Пелипенко, которому Александр Львович уделил много внимания и в книге, и в докладе. Критикуя Пелипенко, он распространил эту критику и на всех тех, кого называет «либеральными культурологами». С ними, сетует Янов, у него расхождения даже более серьезные и тревожные, чем с традиционалистами. К сожалению, Андрей Анатольевич заболел, и ответить на критику не сможет. Возможно, он захочет сделать это письменно — в таком случае мы приложим его текст к стенограмме обсуждения.

Сегодня же либеральных культурологов представит Игорь Яковенко. А сочтет ли он нужным отреагировать и на упреки автора трилогии в адрес Пелипенко, мы сейчас узнаем.

Игорь ЯКОВЕНКО (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «Европейская традиция в России прослеживается давно, но она всегда была компонентой, а не доминантой»

Я обречен говорить от имени либеральных культурологов, имея в виду полемику Александра Янова с Андреем Пелипенко, которую внимательно прочел. Но начну с общей концепции, представленной в книге Александра Львовича. При всех моих человеческих и профессиональных симпатиях к нему, хочу сказать, что его работа представляет собой предзаданную исследуемому материалу теоретическую конструкцию и сугубо идеологический текст. И это, как мне кажется, главное.

Что делает Янов? Он систематически означает специфические российские реалии XV–XVII веков понятиями, описывающими европейские и новоевропейские сущности. Это — основной прием, который он использует. Для либерально ориентированного читателя такой способ описания психологически комфортен, но этот метод интерпретации мало что дает в смысле познания специфики явления. Здесь уже говорилось о том, что нестяжательство не равно ни Реформации, ни предреформации. На самом деле нестяжательство — монастырская инициатическая традиция. Его духовные интенции и культурные последствия лежат в иной плоскости, нежели Реформация. Это — большая тема, заслуживающая специального разговора; я не могу сейчас на ней останавливаться.

Или, скажем, мы читаем у Янова о том, что Иван III строил национальное государство. Но мое понимание российской истории состоит в том, что Иван III не строил и не мог строить такое государство по простой причине: московиты той эпохи нацией не были. Россияне и сегодня не нация; нацию в собственном смысле мы еще не создали. А при Иване III ее и не создавали.

То была совершенно другая ситуация, другая стадия исторического развития. Пал Царьград, Иван III женился на Зое-Софье Палеолог, воспринял византийский герб и венчал внука Дмитрия на «царство». Но сама идея Московского царства входила в имперский, а не в какой-то иной проект. По-моему, применительно к той эпохе говорить о национальном государстве несерьезно.

Несколько слов о том, что такое российское государство и российская власть, в продолжение сказанного Игорем Данилевским. Как я понимаю, это — идеологически санкционированная деспотия. Санкционированная церковью либо партией, то есть идеологическими институтами. Янов, однако, ссылается на законы и, в частности, на Судебник 1550 года.

Сегодня мы уже услышали, сколько экземпляров этого Судебника существовало в природе. Но надо помнить и о том, что в России дистанция между декларируемой нормой (той, которая записана в законе или даже занесена в Конституцию) и тем, что сейчас называют «понятиями», то есть реальной практикой, реальными механизмами социальной регуляции, чудовищно велика. Говорю как культуролог, профессионально занимающийся Россией. Эта дистанция может несколько колебаться от эпохи к эпохе, но она всегда настолько значительна, что апелляции к декларируемой норме мало что дают для понимания реалий. Можно изучать традиционное право, изучать реальные практики разрешения конфликтов. А что дает обращение к юридической норме, я не понимаю.

Далее, и это очень важно, феномен европейской цивилизации покоится на утверждении безусловного права частной собственности. Для европейца собственность сакральна. Любая благотворительность, социальная справедливость, программы социал-демократии существуют в Европе в контексте признания незыблемости священного права частной собственности. И я настаиваю на том, что ни в Московии, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России частной собственности никогда не было и нет, ибо право собственности носит всеобщий и безусловный характер.

Были и есть привилегии отдельных социальных групп и слоев общества владеть (индивидуально либо коллективно) некоторыми активами при безусловном примате собственности верховного правителя. По существу, это условное держание, ничем не гарантированное, кроме усмотрения такого правителя. В любое время квазисобственность может быть отнята, обменена на другую, конфискована. А возможен такой произвол власти ровно потому, что идея священной собственности *отсутствует в сознании обще-*

ства. В этом смысле говорить об утвержденной частной собственности в России просто не приходится, идет ли речь о XV, XVII веках или каком-то ином столетии.

Отсюда и проблемы с трактовкой Ивана Грозного. У Александра Янова Грозный предстает как *deus ex machina*. Все было так хорошо. Шли позитивные процессы, наблюдался экономический подъем, общество развивалось. А потом пришел Иван Грозный и все поломал. У меня возникает вопрос: почему эти мужики, о которых я читаю у Янова, позволили себя грабить и убивать? Почему они не перебили опричников? Это ведь самый главный вопрос. Каким таким особым ресурсом обладало государство, который позволял ему разорять чужое хозяйство, безнаказанно убивать и пускать людей по миру?

Я вижу одно объяснение: все, чем владели эти люди, как и они сами, сама их жизнь, не было в их собственных глазах тем священным и безусловным, покушение на что дает основания брать в руки оружие и вешать опричников на придорожных столбах. Попробовала бы верховная власть в Европе действовать таким образом. Чем бы обернулось это для европейского правителя?

Заметим, что вскоре после смерти Грозного, в эпоху Смуты, русские мужики и торговые люди обнаружили способность и к самоорганизации, и к коллективной самозащите от казаков и других грабителей. В чем же дело? А в том, что в глазах народа «государевы люди» — опричники — имеют право грабить и убивать подданных, раз на то есть государева воля. А воровские казаки — частные лица, не осененные высшей властью, — права такого не имеют. Давайте признаем это и забудем о частной собственности в XV–XVII веках.

Наконец, частная собственность неотделима от идеи права. Это только собственность верховного правителя опирается на волю автократора и существует вне правовой традиции, а частная собственность нуждается в разработанной правовой системе и независимом судопроизводстве. Об этом свидетельствует вся история человечества. Там, где утверждается частная собственность, возникают нотариат, разработанная правовая система, эффективный суд.

Что в этом отношении можно сказать о Московии?

Янов полемизирует с Пелипенко по поводу проблемы синкрезиса. Вообще говоря, синкрезис — это культурологическая и общеисторическая категория. Она описывает базовые характеристики социокультурного целого архаических или раннетрадиционных обществ. Суть синкрезиса в том, что все соединено со всем. Отдельные профессии, социальные и имущественные статусы не вычленились. Архаический ритуал не распался, сфера религиозных представлений не отделилась от сферы норм и ценностей, знаний о мире, технологий, художественной культуры. Все объединено со всем, и ничто не существует самостоятельно. Естественно, нет и отдельной личности.

По мере разворачивания истории синкрезис дробится, но темп этого процесса и уровень распада синкрезиса различаются от одной локальной цивили-

зации к другой. Традиционные общества Востока характеризуются высоким уровнем синкрезиса. Высок он был и в Московии XV–XVI веков. На Западе же складывалась совершенно иная картина.

Распад синкрезиса логически приводит к вычленению автономной личности. При этом важно четко зафиксировать связь идеи личности и идеи собственности. Частная собственность является социальным базисом автономной личности. Везде, где происходит вычленение автономной личности, статус частной собственности поднимается. Она сакрализуется, понимается как нечто безусловное, на что ни одна власть не может поднять руку без опасности быть разорванной на части населением. Ничего подобного ни в XV веке, ни в эпоху Ивана Грозного русская история нам не демонстрирует.

Я не только культуролог, но и цивилизационист. Есть такая дисциплина — цивилизационный анализ. Или, что то же самое, теория локальных цивилизаций. И, будучи цивилизационистом, я свидетельствую, что православные общества не порождали из себя никогда ни буржуазию, ни полноценную рыночную экономику, ни капитализм. Все эти феномены, базирующиеся на институте частной собственности, возникают в православных обществах в контексте модернизации, в рамках заимствования ценностей и институтов, рожденных на Западе. К этим преобразованиям толкает православные общества исторический императив. Это касается и Болгарии, и Румынии, и Греции, и всех остальных православных стран. Купеческая традиция там была, традиционный рынок был, а полноценная буржуазия и капитализм не рождались.

По всему этому мне трудно воспринимать логику Янова. Согласен я с ним лишь в одном. Безусловно, либеральная или ограничивающая автократию традиция в России прослеживается, и прослеживается давно. Но она была компонентой, а доминантой была традиция автократическая, традиция деспотическая, традиция, которая отражается в понятии «власть-собственность». То обстоятельство, что каждый раз попытки ограничить самодержавие, выстроить какие-то предпосылки для либерального развития купируются, выхолащиваются, поразительно быстро выдыхаются, говорит нам о том, что это именно компонента.

Она имеет какие-то основания в культуре, и мы знаем, какие именно. Россия принадлежит христианскому миру. Потенция личностной автономии заложена на уровне оснований христианской культуры и неистребима. Но в какой степени эта потенция представлена в российском православии — специальный и достаточно драматический вопрос.

Я убежден в следующем: надо понимать ту Россию, в которой нам выпало родиться и жить. Очередная идеологизация истории страны — на сей раз в либеральном духе — нам здесь не поможет. Скорее только навредит.

Этот труд понимания требует интеллектуального мужества. Но только на таком пути существует перспектива утверждения в России либеральных ценностей.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Игорь Григорьевич. Теперь — Глеб Якунин.

Глеб ЯКУНИН (православный священник, член Московской Хельсинкской группы): «От того, каким путем пойдет православная церковь, во многом зависит, окажемся ли мы в современной Европе или в стране нового Ивана Грозного»

Мое общее впечатление от трилогии Янова я бы сформулировал так: это — яркие эскизы истории России, скорее даже — историософия или философия ее истории.

Александр Львович очень своевременно напомнил нам о знаменитой «лестнице» Владимира Сергеевича Соловьева, по которой легко соскальзывает вниз идеология России. Первая, самая высокая ее ступень — это национальное самосознание, ниже — национальное самодовольство, еще ниже — национальное самообожание. А уж с этой, нижней ступени — только один шаг до падения в пропасть национального самоуничтожения.

Автор трилогии видит симптомы опасности такого «падения в пропасть» агрессивного империализма в том, что в сознании многих людей размыта граница между патриотизмом (национальным самосознанием, которое он вполне одобряет) и национализмом (самодовольством и самообожанием). Именно скольжение по этой лестнице привело к краху Германию, Японию и, в меньшей степени, Италию, в которой не было замаха на гигантскую империю.

В истории Московского царства, как здесь уже говорилось, Янов придает решающее значение исходу борьбы Иосифа Волоцкого с нестяжателями. Но он рассматривает их конфликт с социально-экономической точки зрения, хотя не меньшее значение в этом историческом споре имел выбор общей церковной идеи. Именно тогда в недрах русской церкви формировалась судьбоносная доктрина «Москва — третий Рим». Эта духовно соблазнительная доктрина неожиданно актуализировалась именно в наши дни. В условиях, когда РПЦ возглавил энергичный и амбициозный Патриарх Кирилл, с его ярким ораторским даром, Московская патриархия вернулась к византийской идее «симфонии государства и церкви».

На Западе и католики, и особенно протестанты, у которых принцип развития возведен на доктринальный уровень, постоянно эволюционируют вслед за развитием общества, откликаются на каждую новость науки и мировой политики. И это происходит и сейчас, независимо от того, что нынешний Папа Римский — консерватор. А в нашем православии не только нет какого-либо движения вперед; оно в принципе отрицает идею развития, оно смотрит назад, в эпоху Византийской империи. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, первые вселенские соборы — вот что считается «золотым веком» православия, после которого якобы происходила только сплошная деградация, которая завершится скорым приходом Антихриста, непрерывно с тех пор ожидаемого. Это величайшее чудо, что подобная

архаика, настоящая «церковь бронтозавров юрского периода», сохранилась у нас до сих пор.

Все наши патриархи, начиная с Сергия Страгородского, были своего рода Брежневыми. Алексей I, Пимен, Алексей II — все они были умеренными консерваторами, не двигались ни вправо, ни влево. Все ждали, что следующим Патриархом будет человек такого же стиля. И вдруг — прорыв!

Новый Патриарх Кирилл говорил фантастические вещи уже на второй день после его интронизации в храме Христа Спасителя. 1 февраля 2009 года, стоя в Кремле рядом с президентом, Кирилл заявил: необходимо восстановить «дух симфонии» между церковью и государством, что было, как известно, византийским идеалом. При этих словах Медведев даже как-то покосился на Патриарха с удивлением. О торжестве этого «духа симфонии» Кирилл и потом неоднократно говорил как о главной задаче своей патриархии.

Отправившись в Киев, новый Патриарх настойчиво убеждал президента Украины: «Мы же одной веры, у нас должна быть одна церковь». Но украинцы почему-то отказываются принимать такое церковное единство, видя в нем отголосок советского прошлого: хотя советская империя разрушилась, имперская церковь хочет сохранить свою власть на всем постсоветском пространстве. Почти автоматически зачислив в «Русский мир» всех славян СНГ и полагая, что у него мощнейшая социальная база, Патриарх Кирилл претендует на идеологическое наполнение российской государственности и на духовное доминирование Москвы в странах бывшего СССР.

Постсоветская имперская идеология получила неожиданное развитие и во время поездки Кирилла в Белоруссию. Лукашенко ему говорит: «Наша страна — это мост между Западом и Россией». Нет, возражает Патриарх, никакой вы не мост, западная граница Белоруссии — это граница нашей православной цивилизации.

Недавно и наш президент Медведев¹, и великий Горбачев вместе со всей Европой отмечали юбилей разрушения Берлинской стены. А тут получается, что Кирилл хочет возвести новую стену между Россией, включившей в себя Белоруссию, и всей остальной Европой — в том числе Польшей, Прибалтикой. Кому-то это может понравиться, но на самом деле это никуда не годится. Мы видим здесь проявление уже настоящего «национального самообожания» — предпоследней ступени соловьевской лестницы. Ведь «нашисты» уже пошли в атаку, какая-то специальная когорта православных экстремистов уже готова защищать Московскую патриархию от всех инакомыслящих.

А еще на днях появилось вдруг удивительное сообщение. Главный идеолог патриархии дьякон Кураев, обсуждая нашумевший фильм об Иване Грозном, вдруг назвал Кирилла «новым митрополитом Филиппом» (обличавшим царя и ставшим мучеником). На самом же деле наш Патриарх хочет стать новым

1 Обсуждение проходило в ноябре 2009 г.

Никоном, который утверждал, что «священство выше царства», и хотел подчинить своему влиянию всю государственную власть. Хотя Кирилл толкует о византийской симфонии, реально он больше ценит католиков за то, что у них Папа выше государства. Судя по многим выступлениям Патриарха, он хотел бы осуществить в России именно этот вариант, не удавшийся Никону. Однажды Кирилл проговорился: государство, сказал он — это только механизм, который должен воплощать высокие христианские идеи.

Царь Алексей Михайлович в конце концов Никона сверг. Может быть, именно это имел в виду дьякон Кураев, предвидя «страшную» перспективу Кирилла? Ведь тот хотел бы стать духовником и покровителем обоих наших правящих близнецов-братьев, а что будет, если они все же поссорятся?

Так что в ближайшее время мы сможем увидеть, в какую сторону качнется тот маятник русской истории, о котором все время говорит Янов. От того, каким путем пойдет православная церковь, во многом зависит, окажемся ли мы в современной Европе или в стране нового Ивана Грозного. Убежден, что фаза культивирования архаики и изоляционизма скоро все же закончится, и российское православие перейдет к исторической динамике и открытости. Это приведет к острому кризису Московской патриархии, но поможет освободиться прогрессивным элементам нашей церкви. Может быть, и ценой распада ныне существующих форм.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, очень интересное выступление. Но я настоятельно прошу все же не уходить от темы. По поводу положения в РПЦ и другим актуальным вопросам мы можем собраться и поговорить отдельно. Должна же быть и у либералов какая-то дисциплина дискуссий. Авторитарную дисциплину мы отвергли, но альтернативу ей все еще выработать не можем. И потому то и дело сползаем в анархию, когда каждый говорит о том, во что в данный момент погружен, независимо от предмета разговора. Такое на наших с вами собраниях случается очень часто. На обсуждение вынесен доклад, в котором изложен оригинальный концептуальный взгляд на отечественную историю. Его-то давайте и обсуждать.

Предоставляю слово Эмилию Паину.

Эмиль ПАИН (профессор Высшей школы экономики): «К моменту начала европейской модернизации в России уже были носители идеи рационально-легальной организации власти»

Я солидарен с Яновым и, прежде всего, с его позицией противостояния культурному расизму, то есть представлениям о существовании неких культурно неполноценных («холопских») сообществ, не способных к изменению своего политико-правового положения. Или, говоря конкретнее, не способных к переходу от власти персоны и кнута к власти закона и свободно определяемых целей. Такие представления базируются на близких к мистике постула-

тах об извечной исторической колее, которая — в отличие от рационально вполне объяснимой (и преодолимой) исторической инерции — непреодолима в принципе. Это уже и не колея, это — судьба, рок.

Мы слышали сегодня выступления историков. Наиболее профессиональными и убедительными выглядели те из них, которые подвергали сомнению достоверность отдельных выводов автора трилогии. Но совершенно неубедительными были альтернативные доктрины «историков-концептуалистов», противопоставлявших идее Янова о разных традициях идею «единственного исторического пути». Если у марксистов в свое время это был «единственно верный путь», то у какой-то части российских либеральных историков и культурологов, с которыми полемизирует Янов, — это единственно неверный путь «страны рабов», путь «холопский» и принципиально не западный.

Но это же все недоказуемо! Против такого рода доктрин историки-источниковеды, социологи и антропологи могут выставить тонны контраргументов. К тому же это — позиция снобов. Ее апологеты исходят из того, что они-то сами, просвещенные и мудрые, живут вовсе не по холопской традиции, а по европейской, между тем как остальные (плебс, «пиппы») находятся в вечном плену холопства.

Надо сказать, что мне вообще не нравится это противопоставление европейскости и холопства, присутствующее и в названии обсуждаемого доклада Янова. Такое противопоставление звучит примерно так же, как утверждение «пил чай с лимоном и удовольствием». В обоих случаях используются различные классификационные основания, которые к тому же заслоняют сходство фундаментальных социально-политических процессов на Западе и на Востоке.

Ведь холопство было и в Европе. Во всяком случае, в польском католическом королевстве этот феномен уж точно существовал и даже обозначался тем же термином. И на Западе проявлялось противоборство разных культурных традиций: закрепощения и раскрепощения человека, традиционно-патерналистской и рационально-легальной. И холопское сознание там тоже не сразу уступило место гражданскому.

В 1923 году Томас Манн писал о немцах как о народе, принципиально не способном воспринять идею свободы. Через десять лет его диагноз как будто бы подтвердился — большая часть нации предпочла свободе преданность фюреру. Тогда не только Манн так писал. Тогда почти все немецкие интеллектуалы соревновались в производстве очередных версий теории «особого пути» Германии (Sonderweg), рожденной еще в эпоху романтизма XVIII — начала XIX веков. В этом смысле все нынешние российские концептуалисты «особого пути» России всего лишь эпигоны, производители жалких копий с оригинальных немецких творений. Однако прошло время, и Германия одолела свою детскую болезнь Sonderweg. Ныне Германия и немцы — это форпост свободомыслия и политического либерализма в Европе.

На мой взгляд, Янов использует термин «европейская традиция» как метафору культурной модернизации, которая предшествовала модернизации политической и действительно началась в Европе, а затем приобрела глобальный характер, несмотря на сохранение разнообразных форм локальной культуры. Я, разумеется, солидарен с Яновым в том, что модернистская, гуманистическая, либеральная традиция европейской культуры существовала в России. Иначе не появилась бы высокая русская культура как одна из самых европейских. Не было бы Чехова, Кандинского, Рахманинова, Ахматовой, Сахарова и множества других русских европейцев. Раз эта традиция прижилась, то, следовательно, она органична для русской культуры.

Была ли модернистская традиция доминирующей в России или, как здесь говорили, только «компонентой»? Ну, конечно, поначалу компонентой, как и везде. Внедрение в культуру рационально-легальных основ, названное Максом Вебером процессом «расколдовывания мира», всегда и везде начиналось как тонкий ручеек, как дополнение к традиционно-мифологическим сторонам культуры, но затем он становился доминирующим.

Когда началось расколдовывание России — в XV, XVI веках или XVIII веке? Для меня это, признаюсь, совсем не важно. Малоинтересен мне и поднятый здесь вопрос о том, чем было обусловлено создание Михаилом Салтыковым его варианта Конституции: в большей мере знакомством с паном Жолковским или тем, что Салтыков был родом из Новгорода и знал о Новгородской республике. Несомненно, все это значимые академические вопросы, и историки в своем кругу должны их рассматривать. Но это их внутреннее дело, их внутрисемейные споры. Для меня же, как политолога, важно другое.

Для меня важно, что к моменту начала европейской модернизации (XVII–XVIII века) в России уже были носители идеи рационально-легальной организации власти. Производители подобных смыслов были заметны и в последующие эпохи. Следовательно, в России был некий культурный потенциал для перехода от патримониальной традиции к рационально-легальной. При этом хочу подчеркнуть, что для утверждения в обществе культурно-правовой традиции совсем необязательно нужны многие века.

Я только что вернулся из Турции, историческая судьба которой, на мой взгляд, сложилась удачней, чем у России. Не только к XVII веку, но и к началу XX века Османская империя еще в меньшей мере, чем Россия, могла быть охарактеризована как правовое государство. К тому же империя эта оставалась самым теократическим государством мира. Сегодня же Турция — светское государство, уровень правовой культуры которого не вызывает сомнений даже у европейского сообщества.

Так, бюрократы из ЕС, всячески сопротивляясь приему Турции в состав этого союза, ни разу, тем не менее, не сделали ей замечаний по поводу несовершенства турецкой правовой системы или пороков местного применения

права. Мировые эксперты никогда не подвергали сомнению честность и законность тамошних парламентских и муниципальных выборов. В Турции, как и в современной России, спорят о соотношении европейской и азиатской традиции в национальной культуре, но, в отличие от россиян и к счастью для турок, из таких дискуссий не вырастают доктрины о культурной или исторической предопределенности бесправия.

Можно понять страсть к таким теориям официальных кремлевских идеологов, равно как и их вполне прагматическую зачарованность историей. Во все времена авторитарная власть искала легитимацию в исторической традиции: «С этим народом иначе нельзя. Так было, так и будет». Но почему немалая часть российской либеральной общественности так же цепко ухватилась за идею российского варианта *Sonderweg*?

Причин тому много. Отчасти они те же, что порождали многократное возрождение немецкого первоисточника. Только в Германии идея «особого пути» пользовалась спросом в период поражения национального проекта (после проигрыша одних войн и в канун подготовки к новым), а в России доктрина «холопской колеи» возникла после провала социально-политического проекта — ельцинского этапа демократических реформ. В обоих случаях эта идея отражает нарастание пессимизма и самооправдание интеллектуалами своей политической пассивности. Но в России эта идея еще и продукт догматизма, весьма характерного для постмарксистского мира.

Российские интеллектуалы, в отличие от подавляющего большинства интеллектуалов германских, не преодолели архаичный культурный примордиализм, то есть представление о «естественной» природе культуры, приросшей к телу нации. Россия прошла мимо идей социокультурного конструктивизма. Вот, скажем, в 1983 году вышел в свет сборник «Изобретение традиции», оказавший большое влияние на мировую антропологию и социологию, но мало замеченный в России. Составитель этого сборника Эрик Хобсбаум выдвинул необычную для того времени идею о том, что национальные традиции в большинстве своем представляют собой новые изобретения, которым по разным причинам придается образ давних традиций.

Это доказывалось на английском материале. Например, знаменитый шотландский килт (мужская юбка), равно как и клетчатая ткань, из которой ее шили («шотландка»), были изобретены лишь в 1720 году, и не в Шотландии, а в Ланкашире. Шотландским же национальным символом они стали позднее, уже в XIX веке, когда этот наряд стал использоваться в качестве военной формы и главного отличительного признака шотландских полков в британской армии. В той же монографии приводятся статьи, показавшие, что многие ритуалы английской монархии, считающиеся тысячелетними, на самом деле были созданы в годы правления королевы Виктории. Да и сам стереотип англичан как завзятых традиционалистов сложился лишь в викторианскую эпоху. С 1980-х годов многие идеи этой книги получили многократное под-

тверждение на материалах разных культур, однако в России она не переведена и не опубликована.

Назову еще одну, наверняка не последнюю причину популярности у части российских либералов идеи «особого пути». Она внешне похожа на респектабельную идею культурного разнообразия, одобренную Советом Европы и кодифицированную в «Белой книге» по межкультурному диалогу (Страсбург, 2008). Однако в действительности доктрина «особого пути» ближе к идее тоталитарного универсализма, чем к культурному плюрализму. Европейская «Белая книга» исходит из идеи свободного выбора пути развития, а доктрина «особого пути» настаивает на его предопределенности. Присмотритесь к ней, и вы увидите, что речь идет все о том же советском паровозе, который якобы «вперед летит» по строго обозначенному маршруту («иного нет у нас пути»). Раньше конечная станция называлась «коммунизм», а сейчас ее просто переименовали. Одни называют ее «Великая Россия», другие — «Страна рабов». На самом же деле и пути-то у этого паровоза нет, а есть лишь запрет на движение.

Игорь КЛЯМКИН: Идею «особого пути» здесь пока вроде бы никто не отстаивал. Водораздел между позициями, по-моему, не в том, что одни выступают за европейский путь, а другие — за «особый». Водораздел в том, что одни говорят о возвращении к европейским истокам, а другие — о том, что России предстоит не возвращение ее европейскости, которая в лучшем случае была в стране периферийной, а преодоление ее неевропейскости. Это — спор людей, у которых общие ценности, но разные типы исторического сознания.

Следующий — Игорь Борисович Чубайс.

Игорь ЧУБАЙС (директор Центра по изучению России Российского университета дружбы народов): «Как можно всю богатейшую историю страны сводить к маргинальной личности Ивана Грозного?»

Сначала — несколько коротких реплик.

Я услышал здесь, что в России не было частной собственности. Интересно, а что большевики национализировали — колхозы что ли?

Изумило меня и то, что никто не анализирует русскую историю, — то ли не любят ее, то ли не знают. Вместо этого берутся две точки из нашего десятивекового прошлого: правление Ивана Грозного и Смуты. Не буду распространяться об этом подробно; скажу только, что когда в Великом Новгороде ставили памятник тысячелетию Руси, на нем изобразили 150 фигур, ее олицетворяющих. Ивана Грозного среди них нет, его никто и не вспомнил. Только большое сталинско-дегенеративное мышление выковыривает одну и ту же маргинальную личность из богатейшей истории отечества!

Кстати, Иван IV за всю свою жизнь погубил 3000 человек, а Сталин одним списком отправлял на тот свет тысячи: катынская катастрофа — это единовре-

менное уничтожение более 20 тысяч польских офицеров. Поэтому даже при таком подходе, акцентирующем внимание на злодеяниях одного из русских царей, никаких аналогий между советчиной и досоветским российским прошлым провести невозможно.

Теперь о том, что звучало не фрагментарно, а фундаментально. Было сказано, что у нас, кроме Янова, никто не предложил целостную концепцию российской цивилизации. Напротив меня сидит полусонный, время от времени убегающий из аудитории профессор Кантор, который как раз такую теорию разработал. Могу добавить, дабы он не зазнался, что не он один — таких авторов не меньше полудюжины. Я тоже занимаюсь этой проблематикой почти 20 лет и изложил свою концепцию, в частности, в монографии «Разгаданная Россия». Правда, мне намекнули, что остаток тиража изъят, но это уже другая проблема. Как проблема и то, что в либеральном клубе сделать доклад на эту тему невозможно.

Второй тезис, точнее вопрос, который звучал: Россия — Европа или Азиопа, Евразия или что-то еще? Ответ очень важен, он затрагивает основы нашей идентичности. Нас постоянно хотят представить какими-то «побочными мутантами». Есть, мол, Европа, а мы какие-то дегенераты, причем подобные доклады, как правило, приветствуются.

Что же такое Европа, какие народы являются европейскими? После падения Великой Римской империи возник вопрос: почему она пала? Было предложено два ответа: из-за распада права и из-за распада морали. И оба они были даны европейскими народами. Точнее — разными европейскими народами, каждый из которых имел полное право так называться.

Европа и тогда уже не являлась единой. Была Западная Римская империя и ее наследники, был Восточный Рим — Византия и его наследники. Народы, считавшие, что причина кризиса — распад права, и потому нужно государство делать правовым, — это запад Европы. Другие европейцы, считавшие, что Рим пал из-за деградации морали, создали Византию. Это — восток Европы, к которому принадлежит и Россия.

Европа и сегодня не едина, и Евросоюз вообще-то надо было бы называть Западноевропейским Союзом. Возможно, так оно и будет, когда мы преодолеем последствия семи с лишним советских десятилетий и еще двадцати постсоветских лет деградации права и морали. Когда осознаем, что значит быть востоком Европы.

В двух словах, конечно, это сложно объяснить, поэтому сошлюсь на всем знакомый сюжет. У Пушкина в «Пиковой даме» главный герой — немец Германн, который стремится разбогатеть, но в России у него ничего не получается. Здесь главное — не деньги, а мораль и нравственность, здесь — другие ценности. Поэтому, сделав ставку на богатство, Германн проигрывает и заканчивает жизнь в психушке. Этим завершается «Пиковая дама». Давайте, наконец, и мы определим и восстановим свое место, хватит висеть в воздухе.

Еще один постоянно звучавший здесь тезис, с которым я попробую поспорить: «Россия — это деспотия, а Европа — это либерализм».

В зале много педагогов, я тоже давно работаю в вузе. Помню, как в конце 1970-х рецензировал диссертации, в которых писалось, что «вековая мечта -ского народа — строительство социализма». Потом пришло другое время и пошли другие диссертации: «Вековая мечта -ского народа — суверенитет и независимость». Или: «Вековая мечта -ского народа — демократия и рынок». Но на самом деле все социальные ценности исторически обусловлены, вечных ценностей нет. И либерализм тоже обусловлен исторически и, соответственно, исторически преходящ.

На протяжении многих веков европейская цивилизация в целом была христианской, никакого либерализма во времена средневековья здесь не было. Он просто не был востребован и потому не мог и возникнуть, как не могло возникнуть, скажем, телевидение в деревне XVI века, где все общались лицом к лицу. Массовая коммуникация возникает тогда, когда возникает массовая аудитория. Так вот, европейская цивилизация была христианской, и христианство органично решало все проблемы.

Кризис христианства в конце XIX века («если Бога нет — все дозволено») привел к новым явлениям. На место Христа как высшей фигуры попытался вскарабкаться вождь, человекобог. Кто-то должен был освящать и трактовать оставшиеся без фундамента законы, нормы, правила. Этим «кем-то» и стал вождь, причем никакой принципиальной разницы между негодяем в мавзолее и, скажем, Франко или Гитлером нет. Это явления одного порядка. Вожди говорили: «Я знаю, как надо, и — никакого либерализма!» Но эпоха вождизма оказалась короткой, большинство стран избавилось от нее через два-три десятилетия. В России же она просуществовала больше 70 лет и до сих пор отчасти сохраняется.

Ну, а когда люди разочаровались и в Боге, и в вожде, они пришли к третьей модели. Каждый как бы сказал себе: «Я больше никому не верю, я решаю все сам, и никто мне ничего не навязывает». Значит, либерализм и свобода в рассматриваемом контексте — это историческая катастрофа, это потеря всех ценностей и правил, утрата доверия, когда остается полагаться только на себя.

Добавлю к сказанному, что после падения христианства все время продолжались и продолжают нескончаемые попытки найти человеческую замену Богу. На пьедестале оказывались Че Гевара и Ганди, Майкл Джексон и Владимир Высоцкий, Наоми Кэмпбелл и Лех Валенса, Юрий Гагарин и Александр Дубчек... Но всякий раз получалось, что избранный ориентир «не совсем» ведет к храму или даже совсем к нему не ведет. В этом специфика и драма постхристианской цивилизации, мы не можем вернуться к Богу, но не можем и обойтись без Бога.

Ну а если либералы уверены, что история человечества — борьба за либерализм, то это забавный миф, не более того. Законы морали были и будут выше норм права.

Игорь КЛЯМКИН: А образцы моральности, как я понял, предлагается искать в Византии. Но если принять во внимание и мнение о Византии других людей (таких, например, как Сергей Аверинцев), то поиск не покажется очень уж легким. И у наследников Византии, ставивших в политике мораль выше права, плоховато обстояло дело не только с правом, но и с моралью.

Что касается упрека в чрезмерном внимании к Ивану Грозному, то он мне справедливым не показался. В основном здесь говорилось не столько о Грозном и его терроре, сколько о том, что было до него. О периоде, который Александр Янов называет «европейским столетием России». Но именно для этого мы и собрались, а не для того, чтобы обсуждать всю российскую историю, демонстрируя к ней свою любовь, и судьбы либерализма в мире.

Андрей Илларионов просит минуту для реплики.

Андрей ИЛЛАРИОНОВ (президент Института экономического анализа): У меня даже не столько реплика, сколько вопрос. Доклад Янова называется «Европейская и “холопская” традиции в России». Эмиль Паин уже обратил внимание на то, что противопоставление европейскости и холопства не очень удачное. И хотелось бы все же услышать, что понимается уважаемыми коллегами под термином «европейская традиция», под термином «Европа», под термином «европейская цивилизация». Может быть, кто-то знает, что подразумевает под этими терминами Александр Янов?

Говорят: «Мы — европейская нация», «мы — не европейская нация»... Что конкретно имеется в виду? Есть страны, находящиеся в Европе, которые большинство участников нашего собрания вряд ли назовут европейскими. О чем же все-таки идет речь?

Игорь КЛЯМКИН: Надеюсь, что аудитория откликнется на Ваши вопросы. Следующий — Леонид Поляков.

Леонид ПОЛЯКОВ (заместитель декана факультета прикладной политологии Высшей школы экономики): «Русские европейцы, претендующие на политический успех, не могут относиться к истории своей страны, как к истории Азиопы»

Я с Александром Яновым знаком с 1991 года. Он тогда приехал в Россию, и идеи у него были те же, что и сейчас. Во всяком случае, мысль о том, что русский либеральный проект должен получить какой-то исторический бэкграунд, Александром Львовичем высказывалась, я это хорошо помню. Что касается европейскости, то он понимает ее, прежде всего, политически — как договорную природу власти. Для него это самое главное.

Как я отношусь к концепции Александра Львовича? Для меня это — вопрос не отвлеченной науки (в данном отношении Янов — точно не историк), а прак-

тически-политический. Чтобы российские либералы смогли сформулировать свои притязания не просто на власть, а на национальное лидерство, то есть выступить от имени большинства, они должны иметь за собой очень серьезную политическую традицию. И Александр Львович задает им всем очень больной вопрос: если вы, российские либералы, хотите эту власть получить демократически, по-европейски, то как совместить это с вашим нежеланием считать Россию европейской страной?

Ведь если она — не Европа, а Азиопа, то вы должны выступать за авторитарную модернизацию сверху, за принудительное внесение вируса европейскости в эту азиопскую почву, которая из себя самой не может породить демократию и либерализм. Тогда вы должны быть готовы к тому, что вам скажут: при таком отношении к стране и ее истории вы можете внедрять свои идеи только теми же способами, которыми Петр I и Сталин внедряли идеи противоположные. И что вы на это возразите?

Возразить нечего. А все потому, что изначальная установка была совершенно неправильная. Она несовместима с желанием получить власть демократическим путем и легитимировать ее именно как либеральную и демократическую. Что в такой ситуации было бы выгодно, какое поведение было бы политически технологичным? Неужели такое, при котором избирателю постоянно внушается, что он живет в стране с тысячелетней холопской традицией, что его предки — сплошные уроды, которые никогда не могли даже себя защитить, что их все время грабили, что вся Россия — это некое проклятое Богом пространство? Или, наоборот, такое, при котором население убеждают в том, что мы — такие же европейцы, как и немцы, французы или поляки?

Кстати, в 1991-м был выбран именно второй вариант. Пафос был в том, что мы отказываемся от коммунистического проекта, так как считаем себя такими же европейцами, как и другие, и хотим жить так же «нормально», как и они. Технология сработала, но мы, похоже, не умеем учиться не только на своих ошибках, но и на успехах.

А Александр Львович Янов, по-моему, просто гениальный политтехнолог, в своем отечестве не признанный. То, о чем я сейчас говорю, он говорил задолго до меня много раз. Дискуссия, похожая на сегодняшнюю, была в 1990-х годах, и Янов тогда в одном из журналов опубликовал статью — своего рода вызов российским либералам. Что ж вы пилите сук, на котором сидите? — спрашивал он. — Зачем все время внушаете народу, что единственная политическая традиция, которая у нас есть, — это традиция, идущая от Ивана Грозного, который проделывал со своими боярами то, что проделывал?

Вместо этого, призывал Янов, давайте буквально по крупинкам раскапывать нашу либеральную предоснову. Давайте говорить о Судебнике 1550 года и его 98-й статье, о Михаиле Салтыкове и «верховниках», давайте говорить обо всем том, что может свидетельствовать о нашей европейскости в прошлом, чтобы исторически легитимировать нашу европейскость в настоящем и будущем. Но,

судя по сегодняшней дискуссии, и сейчас большинство тех, к кому он обращается, прислушиваться к Янову не расположено.

Мы отвечаем ему, что Судебники были в одном экземпляре и ни на что влиять не могли. А можно ведь этот факт интерпретировать и иначе. Да, всего один экземпляр, но он хранился в царской казне, в самом центре, что соответствовало его значимости и для царя, и для его бояр, и обе стороны знали, что такой документ существует и что соблюдение его для всех обязательно. В одном и том же можно увидеть пустую бумажку, а можно — исток законодательного ограничения власти на Руси, важное свидетельство ее европейскости.

Вот две точки зрения на русскую историю, из которых предстояло и предстоит выбирать. Во второй из них есть не только европейская ретроспектива, но и европейская перспектива для России. А что в первой?

Я всегда симпатизировал тому, что делал Александр Львович. Мне импонирует то, что он сохраняет поразительное родство со своей страной. А также то, что он писал и пишет.

До сих пор помню его блистательный текст в «Вопросах литературы», очень продвинутом в середине 1970-х годов журнале, публиковавшем очень смелые статьи о русской истории и русской литературе. Текст Янова был о Константине Леонтьеве — фигуре в те времена запретной, и это создало вокруг Александра Львовича неблагоприятную для него атмосферу. И вскоре он из страны вынужден был уехать. Это было 35 лет назад, а итогом его жизни за границей стал этот вот трехтомник о русской истории и русской современности. И он в нем, как и раньше, уговаривает своих идейных единомышленников: друзья мои, ну согласитесь же с тем, что Россия — страна изначально европейская, а не азиатская и холопская!

Но будет ли он услышан?

Игорь КЛЯМКИН: Никто здесь не утверждал, что в России вообще не было европейско-либеральных политических тенденций. Вопрос в том, с какого времени вести их отсчет. Что касается технологизации исторического знания, то я, зная Янова почти полвека, не замечал, чтобы он ставил перед собой такую задачу. Мне всегда казалось, что он ищет истину, а не изобретает технологический инструментарий для успешного насаждения либерализма. И собрались мы сегодня, чтобы обсудить содержание его концепции, а не ее инструментальную полезность.

Григорий ТОМЧИН (президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий): Можно вопрос ко всем? А что, в XIII–XV веках в Европе было мало абсолютизма? Там он тогда уже закончился, что ли? Разве там была одна только демократическая традиция?

Леонид ПОЛЯКОВ: Правильно, Григорий Алексеевич, достаточно почитать Макиавелли.

Игорь КЛЯМКИН: Абсолютизм начинает складываться в Европе только со второй половины XV века. До этого там были сословно-представительные монархии. И вопрос в том, имела ли государственность, возникшая после освобождения от монголов в Московии, европейские аналоги. А также в том, почему во всей Европе, где тоже были диктатуры и диктаторы, им не удалось укоренить принцип абсолютной власти настолько глубоко, чтобы его, как у нас, и через пять веков не удалось бы выкорчевать.

Предоставляю слово Аркадию Липкину. Он уже высказывал свое критическое отношение к концепции Янова, в том числе и в дискуссии, проходившей на нашем сайте, о российском государстве. Возможно, Александр Львович об этом не слышал. Пожалуйста, Аркадий Исаакович.

Аркадий ЛИПКИН (профессор Российского государственного гуманитарного университета, руководитель семинара «Цивилизация в современном мире»): «В послемонгольской Московии не было ни европейских феодальных отношений договорного типа, ни европейских самоуправляющихся городов»

Я согласен с тезисом Янова о принципиальной двойственности российской политической культуры. Однако суть этой двойственности и, соответственно, суть отличия России от восточной деспотии, о котором он говорит, я вижу в другом. Но чтобы представить это свое видение, мне придется вкратце изложить и свою концепцию.

Модель, из которой я исхожу, состоит из двух подсистем.

Первая подсистема включает в себя *самодержца и народные массы*. Отличие моей позиции от позиций Александра Янова, Ричарда Пайпса, Леонида Васильева и многих других, друг от друга тоже отличающихся, заключается в том, что именно народные массы, на мой взгляд, создают (или, во всяком случае, поддерживают) место для самодержца. Естественно, в буквальном смысле массы самодержавие не создают, но они делают его устойчивым, делегируя все макрополномочия и решение всех возникающих между сообществами споров наверх. Типичная «народная масса» — крестьянство. Типичная самодержавная система — Китай.

Система политических и экономических институтов в России тоже принадлежала и, похоже, принадлежит к этому классу систем. Можно найти очень много параллелей в досоветской, советской и постсоветской эпохах. И, прежде всего, это приказной характер «вертикали власти», воспроизводящей неофеодальные отношения внутри госучреждений. Последнее восстановление такой «вертикали» началось в октябре 1993 года.

Александр Львович пишет, что ничего от прежних антиевропейских институтов в России уже не осталось, а остались лишь патерналистские стереотипы в массовом сознании. Но это ведь и есть основа всей системы! Так что если патерналистские стереотипы остались, то все восстановится (уже восстанови-

лось). Это — во-первых. А во-вторых, надо бы понять, почему эти стереотипы сохраняются.

Века крепостного права в качестве объяснения привлекать не надо, потому что для изживания его последствий обычно достаточно одного-двух поколений. К тому же такое объяснение можно было бы обсуждать, если бы Россия оставалась крестьянской страной. Правда, социолог Наталья Тихонова говорит, что малые российские города — это еще не города, и потому у нас и сейчас больше половины населения еще не урбанизировано. Если так, то этот вопрос требует особого социолого-культурологического исследования.

Предлагаемый мной взгляд на основу самодержавной системы власти подтверждается тем фактом, что народные массы время от времени поднимают бунт, поскольку у них нет других каналов выказать свое недовольство, но, в случае успешности такого бунта, вся структура восстанавливается. И ничего другого произойти в этой системе не может, хотя содержательное наполнение мест в ней можно полностью поменять. Это и происходит в случаях «сокрушительных побед» народных бунтов, к которым в истории России, по-видимому, следует отнести «смутное время» перехода от Московского царства к Российской империи, переход от царизма к советской системе и, с моей точки зрения, переход от советской к постсоветской системе в начале 1990-х. Это — смены *больших периодов*.

Вторую подсистему — в данном случае я говорю только о российском историческом феномене — составляют *привилегированные слои общества*, культивирующие высокую (то есть требующую образования) европейскую культуру, в центре которой — *свободная личность, договор и право*. Это и есть *интеллигенция*. Поскольку же эта культура по своей природе антисамодержавна, то против нее в принципе настроены и власть, и государственная идеология (досоветская, советская и постсоветская, если о таковой можно говорить), и основная народная масса, то есть все элементы первой подсистемы. Но такая культура и ее носители необходимы для модернизации и военно-технического «догоняния» Европы. Поэтому авторитарная власть вынуждена ее культивировать и в значительной степени поддерживать.

Однако у этой подсистемы нет стационарного состояния. Она постоянно испытывает колебательные циклы «реформ-контрреформ», осуществляющихся под лозунгами: «Мы — Европа!» и «Мы — не Европа!». Реформы необходимы для «догоняния» Запада после очередного поражения, но они сопровождаются ростом антисамодержавных настроений, поэтому после жатвы-победы наступает реакция, проводящая контрреформы. Эти «малые» колебательные циклы имеют место внутри упомянутых выше больших периодов.

Теперь, думаю, понятно, в чем я усматриваю разницу между Россией и восточными деспотиями. Ее специфика состоит в конфликте между первой и второй подсистемами, которого в восточных деспотиях не наблюдалось. Посколь-

ку же вся описанная «система-кентавр» российского Нового времени сложилась не сразу, а только после петровских реформ в XVIII веке, то понимание именно последних трех веков нашей истории сегодня чрезвычайно актуально. А более древнее прошлое, мало чем отличающееся от того, что имело место в других самодержавных системах, следует отнести к предыстории формирования современной России.

И еще несколько разрозненных замечаний.

Андрей Николаевич Илларионов поставил вопрос о том, что есть «европейскость» и «неевропейскость». Думаю, что отличие между ними — это отличие двух институциональных систем. Одна — *договорная*, другая — *приказная*. Центральный момент в ценностной системе европейской цивилизации — права человека, равенство всех перед законом. Это то, что у нас не выросло, хотя является главным пунктом либеральных реформ (так же, впрочем, как в конце XIX века). Кстати, правовая реформа, если осуществлять ее под лозунгом *равенства всех перед законом*, может рассчитывать на массовую поддержку — в отличие от других либеральных лозунгов.

В связи с вопросом о «европейскости» хочу отметить еще один важный момент. Цивилизационная общность Европы не задается только религией, это лишь одна из составляющих ее культурного ядра. Истоки цивилизационной специфики Европы — не только и не столько в христианстве, сколько в уникальной феодальной вассальной системе, основанной на договоре, а также в самоуправляющихся городах. В посломонгольской Московии не было ни такой системы, ни, как здесь уже отмечалось, таких городов.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Откуда же взялись они, эти самоуправляющиеся города, как Вы думаете?

Аркадий ЛИПКИН: Это уже другой вопрос.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Нет, это тот же самый вопрос. Самоуправляющиеся города — это наследие античности.

Аркадий ЛИПКИН: Вопрос действительно интересный, но я не могу сейчас на нем останавливаться.

Еще одно замечание — по поводу *аристократии*, которая, по Янову, как и в Европе, ограничивала в Московской Руси великокняжескую или царскую власть. Но если даже и так, то в культурном измерении само по себе это еще ничего европейского в себе не заключает. Сошлюсь на С. Шмидта — одного из представителей историков 1960-х годов, у которых Янов ищет аргументы в поддержку своей концепции. Шмидт писал, что на боярской аристократии в России основывался институт местничества с его принципом коллективной *родовой* ответственности, а не западный институт индивидуализма (свободно-

го человека). Высшая точка развития российской культуры как культуры европейской — конец XIX — начало XX веков. И именно там, а не в XVI столетии следует искать опору для возрождения идей свободной личности и либеральных принципов жизнеустройства.

И, наконец, об употреблении Александром Львовичем термина «*национальное государство*» по отношению к России XV–XVI веков. «Национальное государство» предполагает бессловное общество. А такое общество и в самой Европе возникло много позже. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Аркадий Исаакович. Следующий — Владимир Кантор.

Владимир КАНТОР (профессор Высшей школы экономики): «В России не было ни одной книги, посвященной праву, которая прозвучала бы так же сильно, как “Дух законов” Монтескье или “Философия права” Гегеля»

Разговор без автора несколько двусмыслен, напоминает проработки давних лет. Автор должен иметь право сразу ответить. Но раз он сам так просил, то, значит, имеем право говорить то, что думаем.

Когда Янов пишет о холопстве России, то я думаю, что это полправды или даже треть правды. К моменту воцарения Ивана Грозного Россия была страной *разбойной*. Разбой был в ней главным занятием всех слоев общества. В 1555 году был принят специальный закон («Приговор о разбойном деле»), из которого ясно, что люди, должны искоренять преступность, всячески увиливали от своих обязанностей. Это было поистине национальное бедствие.

Конечно, положение всеобщего бесправия и беззакония, возникшее в результате монгольского ига, было главной причиной криминализации российской жизни. «До половины XVII века, — писал, скажем, Н. Чернышевский, — вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на целые армии, — все это постоянно дотла разоряло русские области».

Разбойники, повторяю, вербовались из всех общественных сословий. Но у боярства было больше возможностей применять насилие, а сознание их было точно так же воспитано *помимо и вне* идей законности, как и сознание «черного люда». Да и существовали эти идеи лишь в умах немногих представителей высшего сословия, соприкоснувшихся с европейской жизнью, — вроде Ф. Карпова. Показательно также, что и само социальное угнетение боярством простого люда воспринималось народом в общей ситуации той эпохи как разбой.

Перед Россией было два пути в борьбе с этими бедами и неурядицами, с этим «безнарядьем» социально-политической жизни. Первый — путь реформ

и медленного внедрения законности в сознание всех классов общества. Второй — путь жесткой, тиранической организации страны, когда *никто из подданных* не имел никаких прав. И этот второй путь казался народу привычнее и естественнее.

Освобождение от татарского ига устранило угрозу *внешнего* централизованного правления, но к другому варианту жизни общество не привыкло. И потому стало неуправляемым, саморазрушающимся. Структурные реформы, проводившиеся правительством Избранной рады, как и любые такие реформы, шли медленно, их плоды созревали не сразу. Нетерпеливому человеку (а царь Иван был нетерпелив) в таких обстоятельствах обычно кажется, что и результатов-то никаких нет, что ничего и не сделано. Ускоренный же путь централизации в условиях России XVI века был возможен только при использовании террора.

Вспомним знаменитого публициста той эпохи Пересветова. Он говорил, что Россию может спасти только «гроза». Примеры он приводил публицистически страстные: «Царские вельможи благодаря своему коварству и дьявольскому соблазну додумывались до того, что выкапывали только что захороненных покойников из могил, пустые могилы засыпали, а покойника, исколов рогатиной или изрубив саблей и измазав кровью, подбрасывали в дом богача. Потом выставят истца-клеветника, который Бога не боится, и, осудив неправедным судом, разграбят двор его и все богатство. Нечисто богатели они дьявольским прельщением, а царской грозы к ним не было».

Поэтому и советовал Пересветов малолетнему царю, будущему Грозному, напустить на бояр «грозу». Призывы его звучали страшно: «Таких надо в огне сжигать и другим лютым смертям предавать, чтобы не умножались беды». Что же из всего этого следует?

Тезис первый. Из ситуации разбойной анархии всегда вырастает диктатура типа диктатуры Ивана Грозного. Но и она оказывается не всесильной. Уже цитированный мной русский философ писал: странно, как в ситуации тотального разбоя Россия смогла дожить до реформ Петра Великого. И это действительно странно, если принять во внимание все, что происходило в стране в первые послемонгольские столетия.

Вот свидетельство из немецкой диссертации, посвященной восстанию Степана Разина (1670–1671) и защищенной вскорости после восстания: «Потомство вряд ли поверит тому, — писал диссертант, — что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок». Название диссертации тоже занятно: «Стенко Разин донски казак изменник», то есть «Степан Разин, донской казак, изменник».

Этих восстаний опасались не только в Москве, но и в Европе: не окажется ли страна после поражения Московского правительства в руках более варварского и тиранического вожака, который бросит новые орды на Европу и зато-

пит ее новым потоком? Царская Москва все-таки начинала признавать некоторые формы и нормы европейской жизни и уже желала, чтобы Московию считали страной, подобной европейским. Но такое желание было, мягко говоря, не всеобщим. По мнению русских историков, смысл происходившего был в том, что после поражения татар, то есть *внешней Степи*, бунтовала *внутренняя Степь*, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни вместе со всей страной. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, — резюмировал этот культурно-исторический конфликт С. Соловьев, — на великороссийские города, против европейской России».

Тезис второй. Как говорил Георгий Федотов, в России бег наперегонки между бунтом и цивилизацией чаще заканчивался победой бунта. Но кто нес в России ношу цивилизации? Эта тема связана, конечно, с христианством — об этом здесь и Игорь Чубайс говорил, и Глеб Якунин. А с христианством, в свою очередь, связан либерализм, кто бы и как бы их ни противопоставлял. У Федора Степуна была прекрасная мысль, что либерализм есть земная проекция небесного христианства. И об этом — знаменитая евангельская формула: «В доме отца моего келий много. Каждый получает отдельное независимое жилище. Я, как каждый человек, имею прямое обращение к Богу. Я к нему привязан».

Этот принцип либерализма, означающий ценность каждого человека, — он, конечно, приходит в Европу с христианством. Вопрос, однако, в том, насколько христианство укоренилось в России. По словам известного историка Аничкова, на крестьянских погостах находили церкви, построенные не ранее конца XVII века. Об амальгаме христианства и язычества в России писали и Соловьев, и Флоренский. У Флоренского был прекрасный образ: для русского крестьянина церковь и колдун — это два департамента. Он одинаково готов служить в обоих. Поэтому говорить о том, что принцип свободной христианской личности пронизал Россию, не приходится.

Тезис третий. Точнее, не тезис даже, а вопрос: на чем же держится в России либерализм? Он ведь все-таки держится! Причем порой переходит и в наступление. Уже одно то, что мы здесь сидим и говорим о том, о чем говорим, означает, что либеральные идеи, может, и не побеждают, но живут. Я думаю, что это связано с очень простой вещью — с просвещением.

Просвещение, образование создает слой людей, способных влиять на общество. Другое дело, что русское общество бесконечно этому сопротивляется, что есть перебежчики из этого образованного слоя. Вот, скажем, нынешнее руководство, создавшее движение «Наши». Неужели человек, придумавший идею «наших», абсолютно не владеет культурным кодом России?

«Наши», по Достоевскому, — это бесы. То есть, назвав молодых ребят «нашими», тем самым, по сути, обозвали бесами тех, кто работает на власть. В свое время один из русских публицистов писал, что большевики собирают учредительное собрание с целью его разогнать, запрещают смертную казнь с тем,

чтобы расстреливать уже не десятками, а сотнями тысяч, ну и так далее. А ныне придумывается движение «Наши» — очевидно, образованным человеком, который не мог не читать «Бесы». И я спрашиваю: придумывается зачем? Чтобы помогать обеспечивать «порядок»? Но бесы были ведь выразителями, хоть и на ином уровне, абсолютно разбойного российского начала! Что это такое? Игра? Мистика? Я не знаю.

Этому разбойному началу может противостоять только один принцип — принцип права. Заметим, что это очень четко было не раз произнесено в русской философии. Вместе с тем в сборнике «Вехи» отмечалось, что в России, в отличие от Запада, не было ни одной книги, посвященной праву, которая прозвучала бы так же сильно, как «Дух законов» Монтескье или «Философия права» Гегеля. В России были мощные юристы, были философы-правовики, но они не звучали. Поэтому вся правовая философия России родилась где-то в предреволюционные годы, на изломе, и подействовать на публику не смогла.

Но она осталась. И то, что она осталась в культуре, дает нам некий шанс. Потому что оставшееся в культуре всегда имеет шанс прорасти.

Игорь КЛЯМКИН: Совсем уж грустный взгляд на отечественную историю. И вообще, и на ее «европейское столетие» — в частности. Может быть, потому, что христианство в России глубоко не укоренилось, в ней так плохо обстояло и обстоит дело и с моралью, и с правом. И сегодня приходится все начинать чуть ли не с нулевой отметки, выясняя, что из них первично, а что — вторично. Нетрудно обнаружить, что и раскол между российскими интеллектуалами проходит именно по этой линии. На какой же тогда стадии исторической эволюции мы находимся, если руководствоваться европейскими цивилизационными критериями?

Слово — Сергею Магарилю.

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета): «Если Россия — часть Европы, то почему же российские реалии столь разительно отличаются от европейских?»

Сначала попробую ответить на сформулированный Андреем Илларионовым вопрос о различиях между европейскостью и российскостью (употреблять слово «холопство» я тоже считаю невозможным). Оно — в доминирующем типе человека. Европейского варвара раннего средневековья сменил законопослушный гражданин правовых государств современной Европы. В России, насколько можно судить, этого не произошло.

Сошлюсь на точку зрения Игоря Григорьевича Яковенко, по мнению которого доминирующий человеческий тип современной России — поздний варвар. При этом фундаментальным критерием, вынуждающим признать правоту профессора Яковенко, является неосвоенность права как основополагающей

цивилизующей инновации. Оно, как уже отмечалось сегодня, не освоено ни элитами, ни, тем более, массовыми слоями населения России.

Теперь несколько реплик по теме сегодняшней дискуссии. Александр Янов убедительно показал: либеральная традиция в России периодически воспроизводится — почти с закономерностью неизбежного. Однако это, по-моему, не совсем точная формулировка. Фактически традиционно воспроизводятся слабые демократические импульсы, столь же неизбежно гаснущие в аморфной, косной атмосфере Московии.

Янов доказывает, что Россия — часть Европы. Вопрос: почему же тогда российские реалии столь разительно отличаются от европейских? В своей сегодняшней обыденности мы этой европейскости не видим или почти не видим — особенно, если говорить о социально-властных отношениях.

Александр Львович пишет также о латентных ограничениях власти, которые существовали в XV–XVI веках. Да, существовали. Но почему же эти ограничения — ни тогда, ни впоследствии — не формализовались, не укрепились, не отвердели до степени институтов? Ответ может быть только один: Россия уперлась в массовое невежество, в острейший дефицит просвещения, о чем я еще скажу. Об ограничении власти единодержца хоть сколько-нибудь влиятельные социальные слои не помышляли. Это был удел одиночек или в лучшем случае узких групп интеллектуалов. Неслучайно, комментируя избрание на царский трон Михаила Романова, Ключевский пишет: других политических идей в средневековой Московии не нашлось.

Согласно Сергеевичу, который здесь упоминался, традиция русского договорного права существовала до самого октября 1917 года. Но почему же эта традиция не окрепла за всю многосотлетнюю историю, не стала ее доминантой? Отсюда — вопрос о приложимости концепции Александра Янова к нынешним нашим реалиям. Следует подчеркнуть: в отличие от многих историков, Александр Львович остро современен, и в этом его величайшая заслуга. Однако важно все же понять: почему либерализму до сих пор не удалось пустить серьезные корни, стать ощутимо влиятельным общественным явлением современной России?

Мне уже приходилось говорить о ее 700-летнем опоздании с учреждением университетского образования. На Западе с самых первых университетов, с Болонской школы, юридический факультет был в числе наиболее влиятельных и популярных. В Болонской школе права уже в середине XII века учились до 10 тысяч студентов со всей Европы. Европейские университеты воспитали корпорацию профессиональных юристов, объединенных общим обучением и корпоративным сознанием — руководить юридическими делами церкви и светского мира империй, королевств, купеческих гильдий и ремесленных корпораций. Образованные правоведы разъезжались по всей Европе, занимая должности судей либо юристов королевских властей, юридических советников церкви, городских магистратов, становились всевозможными админи-

стративными служащими, непосредственно применяя свое университетское образование.

А о России приходилось читать: в Московском университете десять лет спустя после его учреждения на юридическом факультете, несмотря на казенные стипендии, учился один студент. Трудно вообразить эту бездну времени: семьсот лет опоздания с освоением обществом юридического знания.

И, наконец, последний вопрос: как сегодняшняя высшая школа справляется с принципиально важной исторической миссией — формированием гражданского самосознания? Постсоветским реформам 20 лет. Ежегодно стены высшей школы покидают порядка 1 миллиона выпускников. Каждому из них прочитано шесть-восемь социогуманитарных курсов — от отечественной истории до культурологии; полки книжных магазинов завалены соответствующими учебниками, серьезной аналитикой и публицистикой. И что же?

А то, что общество, подгоняемое нашей авторитарно-бюрократической «вертикалью», вновь безропотно и послушно повернуло в позднесоветскую, исторически тупиковую авторитарную колею. Этот поворот исчерпывающим образом охарактеризован в текстах президента Медведева. А отсюда — вопрос к нам, уважаемые, коллеги. Все ли мы делаем для того, чтобы из стен высшей школы выходили Граждане — носители убеждений и гражданского самосознания?

Евгений ЯСИН: Таким образом, и по критерию образования, и образованности Россия в «европейском столетии» от Европы была далека...

Игорь КЛЯМКИН: Следующий — Кирилл Батыгин.

Кирилл БАТЫГИН (политолог, Российский университет дружбы народов): «Какой-либо окончательной предрасположенности российского государства к авторитаризму не существует»

Является ли верным распространенное убеждение в неизбежности доминирования авторитарных тенденций в России? Нет, отвечает Александр Янов: какой-либо окончательной предрасположенности российского государства к авторитаризму не существует. И ссылается в подтверждение на опыт либеральных «оттепелей», которые неизменно следовали практически за всеми периодами «диктатур». Например, «после Ивана IV — “деиванизация”, после Павла I — “депавловизация”, после Николая I — “дениколаизация” и так далее вплоть до десталинизации после Сталина».

И хотя эффективность и глубина воздействия вышеуказанных либеральных процессов крайне относительна, с основным выводом автора трудно не согласиться.

Любое государство (более того, человечество в целом и каждый отдельный человек) заключает в себе две фундаментальные тенденции, которые можно

условно обозначить как «либеральную» (рациональную/эволюционистскую) и «авторитарную» (силовую/командно-административную). Они присутствуют всегда и в любой человеческой системе. Ведь и либеральная Европа, как уже не раз отмечалось, буквально несколько веков назад была крайне нелиберальной: достаточно вспомнить печальный пример инквизиции, «охоты на ведьм» и гонений против еретиков, которые трудно соотнести с современным либерализмом.

Впрочем, и сам либерализм не представлял собой изначально то учение, с которым мы знакомы сегодня: в XIX веке, скажем, по-настоящему свободным человеком по либеральной версии мог быть только белый мужчина-европеец определенного уровня достатка и образования. Но и кажущийся непоколебимой глыбой деспотический режим не является тем однородно мрачным образованием, которым его часто представляют.

Даже предельно авторитарный Древний Китай породил не только Шань Яна, который представил, пожалуй, «лучший» проект создания тоталитарного государства. Китай породил и таких мыслителей, как Конфуций и Лао-цзы, общие постулаты которых очень близки к либерализму. Притом что ни условия их жизни, ни, тем более, государство, в котором они творили, не располагали к каким-либо проявлениям либерализма.

Если же говорить о России, то в ней были не только крупные либеральные мыслители, но и протолиберальные практики, осуществлявшиеся протолиберальными органами управления (в частности, вечевыми институтами и в некоторой степени — Земскими соборами). Помня также о частых попытках определенной либерализации авторитарного режима, регулярно принимавшихся, можно сделать вывод: тезис о России как европейской стране не выглядит столь уж нелепым, каким кажется он приверженцам идеи о российском «тысячелетнем рабстве». Европейской — в том смысле, что Россия, как и любая страна Европы, не представляет собой априори деспотическое или демократическое государство. Выбор политического режима зависит в ней от вполне объективных факторов — например, от профессионализма политической элиты. И потому в каждом отдельно взятом случае приходится говорить о различном сочетании либеральной и авторитарной тенденций.

Проявления либерализма в пределах «Русской системы» никак нельзя сводить к так называемому «вялому пунктиру», о котором говорит упоминаемый Яновым Андрей Пелипенко. Однако нет оснований говорить и о какой-либо системности либерализма применительно к России. В лучшем случае мы могли бы описать русскую историю как постоянную попытку воспользоваться либеральными принципами для модернизации, рационализации и легитимизации существующей авторитарной системы.

Что же дальше? Каковы перспективы? В обозримом будущем, полагаю, нет оснований рассчитывать на консолидацию либеральных тенденций россий-

ского государства и превращение их в ведущий фактор функционирования русской системы. Но это не значит, что надо отказываться от самой установки на ее либеральную трансформацию, поддерживая идею об «авторитарной сущности» российского государства. Наоборот, от идеи этой пора отказаться как от стратегически тупиковой. Отказаться в пользу идеи длительного процесса реализации либеральных принципов.

«И кто усомнится, что если есть у России будущее, то это либеральное будущее? Восемнадцать поколений была она антитезой Европы, но ведь все на свете кончается», — логично завершает свой доклад Александр Янов. А я завершу свое выступление цитатой из Алексея Хомякова, к которой часто обращается Александр Львович и которую я (как, впрочем, и он) хотел бы несколько преобразовать: «Покуда Россия остается страной, уверенной в имманентности своей авторитарности, у нее нет права на нравственное значение».

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Кирилл. Мы приближаемся к финишу. Ирина Карацуба, пожалуйста.

Ирина КАРАЦУБА (доцент факультета иностранных языков МГУ): «Есть ли у нас история, написанная не с позиции победителей, а с позиции побежденных?»

Я не буду злоупотреблять вашим терпением. Слушая нашу очень интересную дискуссию, я все время вспоминала слова Марка Блока, что задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно. Думаю, что Янов задал вопросы, которые очень полезно себе задавать. Вместе с тем все то, что сегодня на них отвечали, показывает, сколь опасен этот путь. Потому что на любой тезис глубоко уважаемых ораторов можно привести 10 контртезисов с подтверждающими их фактами.

Очень долгая дорога в дюнах нам еще предстоит. Но спасибо Александру Янову уже за то, что его труд дает нам возможность продолжить движение по этой дороге. Я говорю «продолжить», потому что сам Янов хорошо вписан в русскую историографическую традицию. У нас не только традиция Карамзина имеется («самодержавие — есть палладиум России»). Есть еще традиция Ключевского — радикально демократическая, но малопопулярная среди историков.

Еще мой покойный учитель Борис Краснобаев в 1979 году, когда мы с ним обсуждали новейший учебник Федосова, сказал мне: «Ир, ну у нас же республиканцев нет, у нас все анархисты». И до сих пор республиканцев практически нет, до сих пор у нас практически все анархисты. Однако Янов все же не один, рядом с ним я бы поставила фигуру Кобрин Владимира Борисовича. Это очень интересные личности, которые представляют другой вариант развития исторического знания.

А теперь — три тезиса, которые лично для меня очень важны.

Тезис первый: мы имеем историю, написанную с позиции победителей. А где история, написанная с позиции побежденных, униженных, оскорбленных? За них только великая русская литература будет вступаться или историки тоже?

Второй тезис — о либерализме до либерализма. Конечно, прав был Леонтович: либерализм в России начинается с 1767 года, с созыва Уложенной комиссии Екатериной II. Но все-таки любой из нас понимает, что была и очень богатая предыстория, которую можно увести (и нужно уводить) к древним временам.

И третий тезис мне тоже ужасно симпатичен: мысль, что Россия — страна европейская. По крайней мере, по базовым параметрам, то есть по языку и по вере. И это очень надежная историческая и культурная опора.

Я думаю, что Янов задал вопросы, над которыми нам всем предстоит еще долго думать и искать на них ответы. И спасибо ему за это огромное.

Игорь КЛЯМКИН: Список претендентов на выступления исчерпан. Лев Львович Регельсон просит слова, чтобы отреагировать на услышанное.

Лев РЕГЕЛЬСОН: «Наше европейское будущее коренится в нашей изначальной европейской сущности»

У меня несколько ответных реплик.

Прежде всего, ответу Игорю Николаевичу Данилевскому. Вы говорили, что нестяжатели были не против монастырского землевладения, они только хотели, чтобы монахи своими ручками эту землю обрабатывали. Но, Игорь Николаевич, в этом же все и дело! Земля без крестьян никакой ценности не представляла, кому она нужна была в то время?

Далее, Вы говорите, что Нил Сорский, как и Иосиф Волоцкий, тоже был против ереси. Да, конечно. Но Сорский был и категорически против того, чтобы еретиков травили и казнили. Нестяжатели, «заволжские старцы» прятали их от преследований в своих кельях, за что сами подверглись обвинению в ереси.

Вопрос о секуляризации земель был тогда очень актуален. Государству нужен был новый класс служивых людей, а чем их вознаграждать? Денежное налогообложение только начинало развиваться. Оставалось одно — по месту службы (отсюда — «помещики») наделять их землей. А где ее взять? Либо забирать землю у бояр, тем самым резко нарушая сословный баланс государства, либо закрепощать свободных крестьян. Но это было экономически самое прогрессивное сословие! От крестьян шли основные денежные налоги, из них складывалась тогдашняя «предбуржуазия».

Иван III избрал самый разумный курс — забрать землю у церкви (как впоследствии сделали северные соседи России), осуществить секуляризацию гигантских церковных латифундий, полученных ею как привилегии от Золотой

Орды, а также по многочисленным завещаниям, когда все ждали конца света в 1492 году. Секуляризация церковных земель в Новгороде прошла очень успешно; Иван III умело сыграл на внутренних противоречиях церкви: московская иерархия не стала оказывать поддержку своим новгородским конкурентам. Но что было делать в центральных и южных землях? И здесь государь избирает своей идейной опорой движение нестяжателей, обладавшее огромным авторитетом в народе.

Это был самый прогрессивный и вполне реальный путь. Кстати говоря, и для самой церкви это был путь наиболее благоприятный. Я уже говорил о том, что нестяжатели были носителями самых высоких традиций мирового православия и христианства вообще. Сокрушительная победа иосифлянства на триста лет погрузила церковь в глубочайшее духовное оцепенение. Так что, вопреки Достоевскому, «русская церковь в параличе» не «с Петра Великого», она в параличе с разгрома нестяжателей. Это оцепенение начало проходить только после того, как Екатерина II (преследуя, конечно, свои собственные цели) отобрала у церкви земли с крепостными крестьянами. «Безлюдные земли» монастырям были оставлены — пожалуйста, сами ее обрабатывайте. Но избалованные «молитвенники» к этому не привыкли: три четверти монастырей тут же закрылись.

И вот тогда, несмотря на упорное сопротивление епископата и обер-прокуратуры, начала понемногу возобновляться нестяжательская традиция. Весь XIX век шло медленное духовное возрождение православия, которое проявилось в таком грандиозном, малоизученном и недостаточно оцененном явлении, как Поместный собор 1917–1918 годов.

Игорь Григорьевич Яковенко говорил, что нестяжательство — это узкая церковная тема. Но, понимаете, вся история России, а тем более средневековая — это сплошь церковная тема. А что «православие не рождает буржуазию», — это просто неверно: того, что я сказал насчет старообрядчества, думаю, достаточно. Ну, а насчет того, была ли в России частная собственность, Игорю Григорьевичу тут уже ответили. И ответили, я полагаю, правильно.

Далее, Эмиль Паин вспомнил идею Вебера о «расколдовании мира». Но это — и одна из центральных идей Янова. У него множество идей, которые, как жемчужины, разбросаны в разных местах его огромного труда. Вспоминаю, например, его яркую и точную формулу: «Иосифлянское заклятие довлеет над Россией». О чем идет речь? Доктрина неограниченного, псевдосакрального самовластия — это был радикальный возврат к язычеству. Но в христианском мире это была религиозная новация, изобретенная иосифлянами. По сути, они продали истину православия за чечевичную похлебку своих латифундий. А хранили эту великую истину, по которой и сегодня томится человечество, как раз нестяжатели. Ту потерянную истину, которую, как затонувший град Китеж, Россия с тех пор ищет и никак не может обрести заново.

Янов с полным на то основанием настаивает: произошла коренная ломка вековых социально-политических традиций, произошел радикальный переворот, произошла именно революция, «самодержавная революция» Ивана Грозного. Эта религиозная революция глубоко отравила народную душу России: не только государь, но и сам верующий народ поддался соблазну самообожествления. В этом соблазне есть невероятное обаяние, он непосредственно обращен к эгоизму и гордыне: самым простым и глубоким основам человеческого греха — как личного, так и национального.

И отсюда через века перебрасывается мост: от Иосифа Волоцкого — к Московской патриархии, от Ивана Грозного — к Иосифу Сталину. Сейчас на все лады повторяются заклинания: «При Сталине Россия была великой», «Россия может быть или великой, или никакой». Но если имперское величие есть самоцель, неважно, какой ценой достигаемая, то, значит, ради этого можно и самого Антихриста принять, и в итоге сделать свою страну «никакой», обречь ее на гибель?

Те, кто не жил в эпоху Сталина, просто не в состоянии представить себе, что это было. И нельзя их упрекать за то, что не могут. Все было другим, сам воздух был другим. Нормальное человеческое сознание этого вместить не может, да и не должно вмещать. Это была какая-то иная цивилизация, не вполне человеческая. И она всерьез претендовала на мировое господство! Может быть, только Даниил Андреев на своем мифологическом языке сумел выразить inferнальную природу сталинизма.

Старшее поколение, кому за 70 и кого дыхание дракона опалило лично, еще что-то помнит. Янова оно опалило со страшной силой, поэтому главный пафос всей его жизни — сделать все, чтобы это никогда не повторилось, чтобы дракон больше не ожил, чтобы метастазы, которые он после себя оставил, никогда больше не проросли, чтобы опять Россия не была заколдована. Нет сейчас самодержавия, нет крепостного права, между Россией и Европой нет железного занавеса, но имперский соблазн жив, как никогда. Пусть это агония, но каковы могут быть ее последствия?

Александр Львович рассказывает, как славянофилы, образованнейшие люди своего времени, начали возрождать в XIX веке иосифлянское заклание, самообожение нации, имперскую манию величия. И в чем же они увидели уникальность «русской цивилизации»? В заповедях Сергия Радонежского и Нила Сорского? Или в светоносной поэзии Пушкина? Нет, совсем в другом — в неограниченном самовластии царей и в глобалистском военном пафосе! И ведь не только Уваров, Шевырев и Погодин, но такие люди, как Аксаков, Достоевский, Тютчев! А вы думаете, сегодняшние имперские идеологи так уж бездарны?

Это отнюдь не бесталанные люди, они пишут ярко, хлестко, зажигательно. Имя им — легион. Книжные полки ломаются от их бесчисленных монографий и брошюр, молодежь читает их взахлеб, интернет забит их эпигонами и ком-

ментаторами. При всей их маргинальности, они явно доминируют сегодня в российском информационном пространстве.

А где же либералы? С этой стороны тоже есть несколько ценных монографий, но мало, слишком мало, а текстов популярных, захватывающих воображение и мысль, — таких вообще почти нет. Александр Янов с его блестящим стилем и публицистической страстностью (не говоря уже о глубине содержания) мог бы стать флагманом идейного либерального наступления, теперь уже правильнее сказать — контрнаступления. Конечно, мы можем между собой спорить, у всех нас свои амбиции — это нормально. Но перед лицом грозной опасности, совершенно реальной, нельзя расслабляться. Может быть, мы все-таки будем друг друга поддерживать, отложив амбиции до лучших времен?

Реализовать наши немалые интеллектуальные возможности, объединить разрозненные силы вокруг общих, морально несомненных ценностей — вот к чему призывает Янов тех, кто любит Россию не слепо, но «с открытыми глазами», кто не желает ее самоуничтожения, кто верит в ее будущее. А коренится это будущее в нашем европейском прошлом, в нашей изначальной европейской сущности.

Игорь КЛЯМКИН: «Основные вехи политической европеизации досоветской России — жалованные грамоты Екатерины II, реформы Александра II и Октябрьский манифест 1905 года»

Спасибо, Лев Львович. Все, кто хотел, выступили. Я тоже хочу высказать свое мнение. По крайней мере, по некоторым вопросам.

Конечно, трилогия Александра Янова охватывает не только «европейское столетие», что справедливо отмечалось в некоторых выступлениях. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что концептуальное своеобразие авторского подхода наиболее заметно проявляется именно в анализе этого периода. Да и для своего доклада Александр Львович предпочел отобрать прежде всего то, что относится к данному периоду. Отсюда и характер нашего обсуждения: он был предзадан акцентами, расставленными в докладе самим автором.

Сразу скажу, что концепция «европейского столетия» мне не близка. Истоки российской либеральной государственной тенденции я вижу не в XV столетии, а в столетии XVIII, во временах Петра III и Екатерины II. Эта позиция, представленная некоторыми выступавшими, обосновывается и в книге «История России: конец или новое начало?», написанной мной в соавторстве с Александром Ахиезером и присутствующим здесь Игорем Яковенко. Вспоминаю о ней только потому, что Александр Янов не преминул нас в своем трехтомнике раскритиковать: мол, законодательное освобождение дворян от обязательной государственной службы в XVIII веке могло иметь место лишь потому и постольку, поскольку такая служба ранее была узаконена, а узаконена она была не в «европейское столетие», а гораздо позже. Ивану III и его

ближайшим преемникам закон об обязательной службе не надо было отменять по той простой причине, что его в их времена еще не существовало вообще!

Допустим, что так. Но можно ли было такой незаконной службы в XV–XVI веках избежать? Можно ли было ее избежать, учитывая, что она была условием наделения дворян землей и ее сохранения за ними? Можно ли было ее избежать, если именно на этой служилой основе выстраивалась, начиная с Ивана III, послемонгольская московская государственность? И похоже то было, по-моему, больше на султанистскую Османскую империю, чем на переходившую к использованию наемной армии Европу. Разве не так?

Разумеется, были и те, кто от службы пытался увильнуть. И чтобы этому воспрепятствовать, в 1556 году был принят закон («приговор»), предписывавший всем землевладельцам поставлять в войско определенное количество воинов в соответствии с размером земельных участков. Я неспроста указываю дату. Закон был принят за восемь лет до опричнины, то есть во времена Избранной рады, деятельность которой Александр Львович оценивает очень высоко. Вот почему я и веду отсчет либеральной тенденции в России не с «европейского столетия», отмеченного постепенным закрепощением сословий, а с Петра III и Екатерины II, при которых началось их раскрепощение. И если Александру Львовичу эти аргументы не кажутся убедительными, то очень интересно было бы услышать его возражения.

Дело не только в том, что дворяне в XVIII веке были раскрепощены, получив право не служить. Дело и в том, что в жалованной грамоте Екатерины II дворянству было впервые сказано: законы, гарантирующие его права, не могут быть изменены и отменены, они являются постоянными, дарованными «на вечные времена». Имелось в виду и право собственности на землю. Другое дело — и здесь я соглашусь скорее с Игорем Яковенко, чем с его оппонентами, — что легитимным в глазах подавляющего большинства населения, то есть крестьянства, оно при этом не стало. Напомню, что ликвидация частной собственности на землю была осуществлена большевиками в соответствии с заимствованной ими эсеровской программой, которая, в свою очередь, находилась в соответствии с наказами самих крестьян...

Но, как бы то ни было, неотменяемость екатерининских законов делала их по сути конституционными, ибо они ограничивали монополию самодержцев на законотворчество. Причем ограничивали в той сфере, в которой Судебником 1550 года правовое упорядочивание не предусматривалось вообще. Это — во-первых. А во-вторых, ограничения самодержавия в XVIII веке, в отличие от ограничений XVI века, оказались необратимыми: когда Павел I по старой традиции попробовал ими пренебречь, он кончил тем, чем кончил.

Евгений ЯСИН: Дворянство почувствовало вкус свободы...

Игорь КЛЯМКИН: Оно почувствовало, что за ним — закон, отмене не подлежащий. Отменить его можно было только посредством ликвидации всей дворянской элиты и замены ее другой, что и сделали впоследствии большевики.

А в досоветский период обозначившаяся в XVIII веке европейско-либеральная тенденция получила продолжение и углубление в реформах Александра II, освободившего от крепостной зависимости крестьян. Хочу особо упомянуть и об учреждении им земств, то есть местного самоуправления.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Не менее важна была и судебная реформа...

Игорь КЛЯМКИН: Разумеется, как и реформирование армии, отказ от рекрутчины, существовавшей в стране со времен Петра I. Но я вспоминаю именно о земстве, потому что Александр Львович усматривает европейскость первоначальных реформ Ивана Грозного как раз в учреждении местного самоуправления. Но насколько корректно говорить о таком самоуправлении в России до эпохи Александра II? Ведь только при этом правителе у органов самоуправления появилась собственная экономическая база: им было предоставлено право самообложения, то есть установления местных налогов. А раньше этого не было. И сейчас, между прочим, нет...

Евгений ЯСИН: Да, реально этого нет, хотя в Конституции такое право записано.

Игорь КЛЯМКИН: А в «европейском столетии» местное самоуправление, как отмечал и почитаемый Александром Львовичем Василий Ключевский, таковым, строго говоря, не являлось. И дело не только в отсутствии права на самообложение. Дело и в том, что местные выборные органы призваны были восполнять дефицит чиновничества, выполняя и общегосударственные функции. Или, говоря иначе, будучи выборной местной разновидностью государственной бюрократии.

Во всяком случае, ничего похожего на европейское городское самоуправление, как неоднократно отмечалось в ходе дискуссии, в Московии не наблюдалось. Никита Павлович Соколов мог бы, правда, сослаться на Новгород, но после походов на него Ивана III и самоуправляющийся Новгород остался в прошлом. И я спрашиваю: можно ли считать выравнивание порядков в этом городе с порядками в других городах Московии движением в европейском направлении?

У новгородцев, желавших сохранить свои вольности, наблюдалось, как известно, сильное тяготение к Литве, за что они и были Москвой наказаны. Но какая страна была в то время больше Европой — Литва или Московия? Могли ли литовские магнаты позволить себе, скажем, то беззаконие в отноше-

нии своих соотечественников, которое позволял себе там бежавший в Литву от произвола Ивана Грозного московский «европеец» Андрей Курбский, причисляемый Александром Яновым к числу самых выдающихся фигур отечественного либерализма?

И, наконец, третья важнейшая веха европеизации, если ограничиться досоветскими временами, — Октябрьский манифест 1905 года и Основные законы 1906-го, положившие начало российскому парламентаризму. По сути, это был уже реальный выход за политические границы самодержавия, так как оно впервые частично урезалось в своих полномочиях выборным народным представительством. Но если первые две либерализации системы синхронизировались с существенными расширениями имперского пространства, то третья явилась, помимо прочего, и реакцией на исчерпанность экспансионистского ресурса, что и продемонстрировала убедительно война с Японией.

Так вот: можно ли утверждать, что все эти три вехи, начиная с екатерининской жалованной грамоты дворянству, были продолжением традиции, заложенной в «европейское столетие»? Возникло ли тогда нечто похожее на то, чем отмечена каждая из этих вех?

Я адресую эти вопросы Александру Янову. И руководствуюсь отнюдь не желанием во всем его опровергнуть. Мне хочется, чтобы позиция, которая вызывает у меня сомнения, была максимально прояснена. Не исключаю, что Александр Львович в чем-то меня переубедит. И потому продолжу перечень своих вопросов.

Мне непонятно, правомерно ли вообще начальный период государственности выдвигать в качестве альтернативы ее более поздним формам. В данном случае — государство доопричной Московии государству опричному и послеопричному. Интересно, кстати, что Янов в одном месте проводит параллель между Иваном III и Лениным периода НЭПа, с одной стороны, и между Иваном IV и Сталиным — с другой. Надо ли понимать это так, что нам предлагается вернуться к идее советских шестидесятников, вроде бы преодоленной, то есть к идее о ленинизме как исторической альтернативе сталинизму? Если же нет, то почему такой подход оправдан применительно к другой эпохе? Почему оправданно искать историческую альтернативу самодержавию Ивана Грозного в более ранних, начальных формах российского государства?

Лев РЕГЕЛЬСОН: Чтобы ответить на такого рода вопросы, придется писать четвертый том...

Игорь КЛЯМКИН: Не знаю, не уверен. По-моему, ответ может быть очень коротким.

Возможно, несколько больше места потребуется для того, чтобы показать, в каком направлении эволюционировало Московское государство в границах

самого «европейского столетия». Какая тенденция доминировала, скажем, при Василии III, который в глазах европейца Герберштейна выглядел правителем, власть которого превосходила власть любого монарха? Европейская тенденция или «холопская»? И какую роль в этой эволюции сыграло прервавшее ее боярское правление? Интересно: не будь этого системного сбоя, понадобилось бы наследнику Василию III искать поначалу компромисс с боярством, поделившись с ним законодательными полномочиями, а потом вырезать его, когда эти полномочия стали восприниматься как чрезмерные ограничители полномочий царских?

Вопрос не покажется таким уж странным, если учесть, что наделение Боярской думы законодательными полномочиями было не подтверждением и закреплением сложившейся до того практики, а отступлением от нее, ее, если угодно, ревизией. Предшественники Грозного не были очень уж щепетильны в своих отношениях с Думой. И «латентные ограничения власти», о которых пишет Янов, и о которых, вслед за ним, говорил Лев Львович Регельсон, действовали при них далеко не гарантированно.

Напомню, что и истинный «европеец» Иван III (не говоря уже о сменившем его Василии III) позволял себе с Думой не считаться. И самочинными казнями не пренебрегал, когда думские бояре очень уж сопротивлялись, — я имею в виду ситуацию, когда он решил вместо уже коронованного внука Дмитрия назначить своим наследником сына от второго брака Василия. Конечно, масштабы репрессий были несопоставимыми с теми, которые учинил потом Иван Грозный, конечно, речь шла не о тысячах, а о единицах, но прецеденты были и до Грозного.

А это значит, что никакой обязательной нормы, никакой традиции, исключавшей бессудные репрессии, в послемонгольской Московии изначально не утвердилось. Когда же законодательное ограничение после эволюционного сбоя, имевшего место при боярском правлении, было наложено, царь, этим ограничением тяготившийся, нашел способ его ликвидировать — столь же насильственный, сколь и «законный». Ведь сама же Боярская дума, уstraшенная Грозным и, что немаловажно, поддерживавшим царя московским людом, его опричнину и санкционировала. Отсюда и мой вопрос: сложилась ли на ранних стадиях Московского государства традиция, исключавшая произвол правителя и принятие им самовластных, то есть в обход Боярской думы, решений? И в каком все-таки направлении эволюционировала московская власть до того, как эволюция эта была прервана боярским правлением?

А теперь — по поводу самой 98-й статьи Судебника 1550 года, наделявшей Боярскую думу законодательными полномочиями. У Александра Львовича эта статья фигурирует как русская Magna Carta. Не буду останавливаться на том, что никакой законодательной процедуры формирования Думы той статьей не предусматривалось — царь мог вводить в нее тех, кого хотел, по своему усмотрению. Меня в данном случае интересует другое.

Меня интересует, есть ли разница между английскими баронами начала XIII века, представлявшими свои территории, и московскими думскими боярами XVI столетия, которые были сосредоточены в столице и никого — кроме самих себя и своих семейных кланов — не представляли? Поэтому английские бароны добивались в первую очередь права влиять на размеры налогов с их земель, которое и узаконила Magna Carta. Разве в Московии XVI века было то же самое? И могло ли из Московской Боярской думы произрасти нечто похожее на английский парламент, который возник уже через несколько десятилетий после принятия Хартии вольностей? Парламент, в котором заседали не только бароны, но и по два выборных представителя от рыцарства и городов? И почему различные группы английского общества это свое право на такое представительство отстаивали и отстаивали в жесткой, временами кровавой, борьбе, а русское общество три века спустя перед произволом Ивана Грозного оказалось бессильным и всерьез даже не сопротивлявшимся?

Леонид ПОЛЯКОВ: В России тоже было выборное представительство. В 1613 году Земский собор избрал царя Михаила Романова...

Игорь КЛЯМКИН: Александр Янов этот эпизод для иллюстрации своей концепции не использует, а потому и я не буду на нем останавливаться. Что касается отличий российского Земского собора от европейского парламентского представительства, то они хорошо показаны у того же Ключевского. Советую почитать.

Правда, Янов, как я уже говорил, ссылается на подготовленный Михаилом Салтыковым Договор 1610 года с поляками, в котором предусматривались не только Боярская дума, но и Земский собор, существенно ограничивавшие власть царя. Но в том договоре есть не только это. В нем — цитирую по Ключевскому — написано и такое: «Мужикам крестьянам не дозволяется переход ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, то есть между землевладельцами». Насколько понимаю, это называется крепостным правом.

Так что если и правомерно в данном случае говорить о конституции, то разве что о крепостнической. И я хочу понять: как сочетаются у Александра Львовича жесткие обвинения в адрес тех, кто отменил «крестьянскую конституцию» Ивана III (кстати, документов об официальной отмене при Иване Грозном Юрьева дня обнаружить, насколько знаю, так и не удалось) с апологией проекта Салтыкова? Проекта, где ни о каком Юрьевом дне не упоминается, а крепостничество предполагается узаконить? И с «верховниками» 1730 года, кстати, то же самое: самодержавие они действительно хотели ограничить, но на крепостное право, к тому времени давно уже узаконенное, не покушались.

Не очень понятно мне и то — это в каком-то смысле возвращает меня к реплике Леонида Полякова, — почему Александр Львович придает такое

большое значение проекту Салтыкова и не придает никакого значения тому, что положения этого проекта, хотя и без ссылок на него, были реализованы при первых Романовых. К тому же своими, русскими царями, а не иноземными. Тогда и Боярская дума была, и Земский собор работал (первые десять лет — фактически на постоянной основе). Может быть, потому, что в реальной московской политической жизни все оказалось не так привлекательно, как выглядит на бумаге? Или потому, что именно при первых Романовых было юридически окончательно закреплено и крепостное право? Но ведь и Михаил Салтыков намечал сделать то же самое! Правда, об этом сегодня почти никто не знает, а о закреплении крестьян при Алексее Михайловиче Романове известно каждому школьнику...

И, наконец, последнее. Чтобы лучше понять, что же все-таки представляла собой государственная традиция «европейского столетия», какую именно альтернативу самодержавию она в себе заключала, хотелось бы получить ответ еще на один вопрос. У Александра Львовича есть замечательный, по-моему, анализ содержания таких понятий, как «деспотия» (восточная), «абсолютизм» (европейский) и «самодержавие» (российское). Он убедительно показывает, что вещи это разные. Но чем все же было Московское государство «европейского столетия»?

Ответ Янова: ни деспотией, ни самодержавием. Но чем же тогда? Европейским абсолютизмом? Европейской сословно-представительной монархией? И, если речь идет о последней, то насколько соответствовал московский вариант такой монархии известным к тому времени (и уже уступавшим историческую дорогу абсолютизму) европейским моделям? А если в Московии тогда был абсолютизм европейского типа, как трактует Янова Лев Регельсон, то какой смысл сравнивать ее с Англией времен Великой хартии вольностей, где никакого абсолютизма не наблюдалось? И мог ли абсолютизм такого типа возникнуть на той стадии развития городов и общенационального внутреннего рынка, на которой находилась Московия в «европейском столетии»?

Я солидаризируюсь с призывом Льва Львовича к поддержке друг друга, к объединению вокруг общих ценностей. Наше сегодняшнее обсуждение я именно в этом ключе и рассматриваю. Самим фактом публичной дискуссии мы хотим привлечь к работам близкого нам по ценностям автора, идеи которого почти не обсуждаются, общественное внимание.

Да, они здесь оспаривались, но оспаривать интерпретацию событий пяти-сотлетней давности — не значит оспаривать ценности. Наше историческое сознание пребывает сегодня в таком состоянии, что без столкновения разных мнений и подходов нам не обойтись. При этом они могут еще больше расходиться, но могут и сближаться, что в какой-то степени, как мне показалось, произошло сегодня в споре Регельсона и Данилевского о нестяжателях. Но в любом случае они будут проявляться, освобождаясь от чрезмерной порой идеологизации и инструментализации.

Мы опубликуем стенограмму этой дискуссии на нашем сайте. Разумеется, если Александр Львович сочтет нужным ответить на прозвучавшие здесь возражения и вопросы, то мы будем рады предоставить ему слово. А нашу сегодняшнюю встречу разрешите завершить. Благодарю всех участников обсуждения за содержательные выступления. Их расшифровки будут каждому из вас представлены для авторизации и для внесения уточнений и дополнений. Думаю, не только вы, но и Александр Львович Янов заинтересован в том, чтобы реакция на его идеи была представлена максимально полно и внятно. Хочу также надеяться, что ему эта реакция покажется заслуживающей внимания. Еще раз всех благодарю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНДРЕЙ ПЕЛИПЕНКО*

НЕ БЫЛО НИКАКИХ «МОСКОВСКИХ АФИН»
И МОСКОВСКИХ ПЕРИКЛОВ!

К сожалению, мне не удалось из-за болезни присутствовать на обсуждении доклада Александра Янова. Но поскольку уважаемый Александр Львович не только назначил меня выразителем идей либеральной культурологии, но и удостоил достаточно развернутой критики, то я должен хотя бы коротко на нее ответить.

Надо сказать, что я уже имел опыт обсуждения данной темы с Александром Львовичем по интернету. Однако при всей корректности и взаимной доброжелательности стиля дискуссии, содержательных плодов она не принесла и затухла по причине непреодолимых парадигматических и отчасти мировоззренческих различий.

Суждения Янова касаются многих аспектов и нюансов темы, и ответить на них столь же подробно я не возьмусь. Остановлюсь лишь на самом главном, не придираясь к деталям.

Прежде всего, должен признаться, что не являюсь либералом *par excellence*. И не только потому, что дихотомия «либерализм — авторитаризм» (или нечто синонимическое) представляется мне донельзя узкой и, по сути, исторически исчерпанной. По своим политическим воззрениям я скорее экспертократ. Но коли уж Александру Львовичу угодно считать меня либералом, то перед лицом оппонентов из авторитарного лагеря спорить с этим не стану.

Если одним словом охарактеризовать мои претензии к тому подходу, посредством которого уважаемый автор интерпретирует российскую историю

* Главный научный сотрудник Российского института культурологии

и мои скромные о ней суждения, то это слово — *передергивание*. Как известно, ложь страшна теми крупными правдами, которые в ней растворены (Кант). Читая рассуждения Янова о «европейском столетии» и отмечая эти самые крупные правды, ловишь себя на мысли о невообразимом передергивании исторических фактов и фантастичности интерпретаций.

Автор подробнейшим образом смакует и раздувает в значении все, что только можно различить на чахлам поле российского либерализма. Но об авторитарной традиции, которая всегда одной левой давила все эти жалкие ростки, говорится вскользь, неохотно и походя. Порой кажется, что только высокий профессионализм с трудом удерживает автора от того, чтобы объяснить все эти «давилки», действовавшие и в столь любимом им (и им же придуманном) «европейском столетии», досадными случайностями.

Да, при Иване III и его ближайших преемниках имело место некоторое равновесие векторов и форм исторической эволюции: имперского в своей тенденции государства (Казанское ханство, кстати, было присоединено за 12 лет до опричнины) и национального феодализма в общеевропейском мейнстриме. Но... «европейское столетие»?

Не было никаких «Московских Афин» и, соответственно, московских Периклов! Почему мы не должны доверять свидетельствам иностранцев — того же Герберштейна, в конце концов? Общий строй московских порядков уже в «европейское столетие» вполне оформился в «тяглое государство» (термин А. Буровского). А нам что-то говорят про Афины...

По мнению автора, я не заметил и не оценил должным образом реформ Избранной рады. Но дело в том, что, будучи не историком, а культурологом, я интересуюсь не событиями в их историческом измерении, а их общекультурными последствиями. Неужели это различие нуждается в разъяснениях?

Александр Львович явно передергивает, приписывая мне мысль о начале российской истории с Ивана Грозного, со второй половины его царствования. Это не история началась при Иване Грозном, это глобальное макроисторическое *противостояние* между российской (инверсионной) и западной (медиационной) культурно-цивилизационными моделями стало определенно оформляться примерно с того времени. Ни больше ни меньше. И, мне кажется, я выражал эту мысль в своих работах (в том числе и в цитированной автором) достаточно ясно. Вот почему канувшие в Лету итоги реформ Избранной рады, сколь угодно важные для историка, для меня особого значения не имеют. В этом нет пренебрежения историческими фактами. Это просто другой масштаб видения проблемы и другая парадигматика интерпретаций.

Автора явно задела моя «графическая» метафора о том, что либеральная линия в российской истории представляет собой «вялый пунктир», тогда как, по мнению Янова, полнокровную линию (если не более того). Настаиваю — именно вялый пунктир. Да и то лишь в лучшем случае!

Я опускаю здесь соблазнительную возможность попридираться к автору по поводу его экстраполяции понятия «либерализм» на другие исторические эпохи, которую он осуществляет с легкостью необыкновенной. Чего стоят хотя бы «нестяжатели-либералы»? Обращусь к самой сути спора.

Суть эта, по моему мнению, состоит в том, что следует принципиально различать *мир идей* и *сферу социально-политических практик*. Идеи в обществе могут рождаться самые разнообразные, в том числе и наипрогрессивнейшие. Однако ставить их на одну доску с политическими практиками — либо недомыслие, либо сознательное шулерство.

Кстати, когда я впервые услышал выступление Янова на семинаре А.С. Ахиезера, то просто не поверил, что столь фантастически преображенную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я, грешным делом, заподозрил автора в либеральной ангажированности. И лишь убедившись в его несомненной профессиональной честности и искренности, избавился от этих подозрений.

Наиболее поразительный пример смешивания идей и практик у Янова касается даже не его любимого героя Ивана III, а другого «фаворита» русского либерализма — Михаила Салтыкова с его Конституцией 1610 года. Можно, разумеется, спорить, настолько ли уж эта Конституция была либеральна — в частности, в вопросе о крепостном праве. Но суть дела все же не в этом. Она в том, что Конституция Салтыкова никак не отразилась на современных ей политических практиках, то есть осталась в области истории идей. И констатация этого гораздо важнее любых рассуждений о ее прогрессивности и прочих достоинствах.

Но совсем уж трогательно звучит довод автора, что наработки этой Конституции со временем оказались востребованными: «...Три столетия спустя проект Салтыкова был и впрямь воплощен в жизнь в Основном законе конституционной монархии 1906 года». Хорошо же развивалась на Руси либеральная традиция, если в 1906 году оказались актуальными идеи трехсотлетней давности! Странно, что автор не понимает, что предоставляет дополнительную (и выразительную) аргументацию не сторонникам своим, а своим оппонентам. А говорить об отмене крепостного права в 1861 (!!!) году как о «блестящей победе» либерализма, как, впрочем, и о других «победах» из приводимого автором ряда, можно, как мне кажется, лишь с позиций очень утонченного чувства юмора.

Чтобы глубже укоренить Россию в Европе, Янов объявляет неприемлемым использование применительно к ней понятия «*деспотизм*». Я не стану касаться смысловых разночтений этого понятия, имеющих место в общегуманитарном, историческом и культурологическом контекстах. Есть такой не очень чистый риторический приемчик: когда нечего ответить по существу, начинают придираться к терминам. И Александр Львович объясняет мне, как школьнику, что термин «деспотия» к России неприменим, а в доказательство рассказывает

о монаршей собственности на землю в Китае и Турции, по отношению к которым данный термин уместен. Таким образом мне и другим «либеральным авторам», коих автор уличает в «изначально ложной» установке, предлагается уяснить, что Иван Грозный — это не Навуходоносор и не Цинь-ши-Хуан-ди. А в подтексте слышится: «Не все еще потеряно, не все!»

Спасибо, просветили: в основе всего — собственность на землю. Конечно, конечно — производительные силы, производственные отношения, азиатский способ производства... Помню все это, помню. Но меня почему-то мучает вопрос: приходило ли в голову кому-либо из психически вменяемых граждан СССР поверять поступки товарища Сталина на их соответствие закону, не говоря уже о нормах права? Чем он владел, какой собственностью? И не поважнее ли будет такая независимость политической практики от каких-либо писанных норм, имевшая место на Руси не только в сталинские времена, пресловутой *формальной* собственности на землю?

Да, Россия — не азиатская деспотия, и я не сомневаюсь, что все авторы, использующие применительно к ней данный термин, выражаются в той или иной степени метафорично. Но метафора эта не столь уж далека от действительности, как может показаться на первый взгляд, если рассуждать не формально. Хотя, соглашусь, степень метафоричности следует пояснять в каждом конкретном случае.

Отдаю себе отчет в том, что мои замечания о докладе Янова и его книге, которым я не склонен отказывать в содержательности и насыщенности конкретным материалом, обрывочны, бессистемны и, конечно же, методологически эклектичны и некорректны. Строго говоря, было бы корректно, став на позицию историка, провести имманентную критику взглядов автора, уличая его в том, что он видит лишь то, что хочет видеть. А затем, выйдя на позицию культуролога, проинтерпретировать полученные выводы. Однако для этого потребовалось бы проделать весьма трудоемкую работу и изложить ее результаты в отдельной книге...

Можно было бы, правда, порассуждать еще и о том, как и в чем Александр Львович видит источник оптимизма для либерального будущего России. Однако и в данном случае ограничусь лишь самыми короткими замечаниями.

Какие бы счастливые метаморфозы не ожидали «либеральную линию», я не могу себе представить Россию, входящую в Европу вместе со всеми своими Башкириями, Калмыкиями, Якутиями и Чечней. Просто не хватает фантазии — ни исторической, ни литературной. Да и у наиболее продвинутых регионов тоже не может не быть больших проблем с таким вхождением даже при самых фантастически благоприятных условиях.

Но здесь хоть можно говорить о какой-то надежде. В том смысле, что либеральное будущее России неизбежно обуславливается ее распадом и регионализацией. При этом внешний рисунок распада может выглядеть обуслов-

ленным геополитическими, экономическими и тому подобными факторами, но за ними неизбежно проступит глубинный фактор — культурно-цивилизационный.

Таков экзамен, который ждет Россию в ближайшем будущем. Это будет жестокий исторический урок. Но зато прекратятся, наконец, все тошнотворные «русские» разговоры с расковыриванием язв и бесконечным обсуждением заведомо нерешаемых вопросов, которые просто боятся решать.

Однако есть и еще один, гораздо более тревожный и неприятный вопрос, глубоко табуированный в сознании российского либерала. Вопрос звучит так: «А есть ли либеральное будущее у самой Европы (в широком ее понимании)? Не пришел ли поезд европейского либерализма, за которым бежало, задрав штаны, российское просвещенное общество, на конечную станцию? Не размылся ли за последние лет сто этот, казалось бы, незбылемый кисельный бережок?»

Но нет, не буду начинать эту сложную и болезненную тему. Тем более что Александр Янов, как истинный рыцарь либерализма, данного вопроса не касается. Остается разве что сказать, что для меня лично тема России — периферийная. А также принести извинения — не ритуальные, а вполне искренние — за некоторую полемическую резкость и заверить Александра Львовича в не менее искреннем моем к нему уважении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АЛЕКСАНДР ЯНОВ ЗАМЕТКИ О ДИСКУССИИ

В двух словах, хорошая дискуссия. Она вскрыла старые раны, поставила проблему и дала если еще не надежду, то, по крайней мере, намек на надежду, что возрождение либеральной (европейской) традиции в России возможно.

Мне, конечно, предстоит сейчас отвечать если не на все, то хоть на главные поставленные в дискуссии вопросы. Но прежде хотелось бы поблагодарить всех, кто посвятил целый вечер своей жизни — три часа! — чтобы послушать обмен мнениями по вполне, казалось бы, абстрактной проблеме. Особенно, разумеется, признателен я большинству выступивших на этом обсуждении. Во всяком случае, тем из них, кто старался следовать удивившему меня своей точностью введению Игоря Моисеевича Клямкина: «Если [европейской традиции] в российской истории не было, а было лишь “тысячелетнее рабство” и “ордынство”, то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается...»

И правда же, в том и состоит величайшая беда российского либерального сообщества, что оно потеряло свою традицию. В конце XIX века оно ее еще смутно помнило, а в конце XX века забыло. Без традиции, однако, как объяснил нам один из самых опытных в этих сюжетах людей, лорд Бенджамин Дизраэли, на которого я ссылаюсь в трилогии, жизнеспособного политического движения быть не может. Говоря современным языком, вот же чему на самом деле учит нас Дизраэли: без восстановления корней, без возрождения традиции вам из политического гетто не вырваться. Никогда.

Можно ли, однако, возродить утраченную традицию? Не знаю. Исторический опыт, однако, подсказывает, что во многих случаях можно. В споре с британским марксистом Эриком Хобсбаумом, которого очень хвалил Эмиль Паин, я сослался в трилогии на серию примеров таких возрожденных традиций. Вот лишь один из них, самый, пожалуй, неожиданный. Ну кто мог бы подумать еще полвека назад, что воскреснет после полутора тысяч лет забвения традиция всемирного Исламского Халифата и что во имя ее снова, как в глубоком средневековье, будут убивать людей?

Но если возрождаются даже давно забытые традиции, то почему бы не могла возродиться и традиция отечественного либерализма, пусть и порожденная еще «европейским столетием России» в XV–XVI веках, но потерянная сравнительно недавно? Ведь и требуется для этого всего лишь очистить российскую историографию от мифов. Здесь читатель, боюсь, вздохнет: ничего себе «всего лишь»...

Так или иначе, прав Лев Львович Регельсон: суть трилогии «Россия и Европа. 1462–1921», которая и была предметом дискуссии, действительно в *попытке возродить либеральную традицию России*. И потому наибольшая моя признательность именно Льву Львовичу, с таким достоинством представлявшему меня в дискуссии. Едва ли я и сам сделал бы это лучше. Тем более что он самостоятельно развил предложенную в трилогии парадигму русской истории в необходимом, но неожиданном даже для меня религиозном аспекте. Понятно, что он не мог за меня ответить на все вопросы, поставленные на обсуждении. Но этого ведь и никто, кроме автора, не смог бы.

Потерянный ключ к саморазвитию

Сначала, однако, придется мне заметить с огорчением, что самые существенные темы трилогии в дискуссии вообще не прозвучали. Спор шел, увы, в рамках все той же парадигмы (или «старой национальной схемы»), которую с презрением отверг еще Георгий Петрович Федотов. Помните, «она давно уже звучит фальшью»?

Для дореволюционных русских историков Россия была лишь запоздалой Европой. Для того, что я называю Правящим стереотипом мировой историографии (впредь я буду называть его для краткости просто Правящим стереотипом), Россия — «азиатская империя», будь то монгольская по происхождению,

или византийская, или «патримониальная». Вот и на обсуждении опять спорили о том же — Европа ли Россия или не Европа.

Но ведь трилогия моя не о том. Я пытаюсь сломать как «старую национальную схему», так и Правящий стереотип, с которым и пришлось мне главным образом в трилогии сражаться. Я предлагаю новую «национальную схему» и действительно, как иронизировал Игорь Клямкин, «сознательно противопоставляю ее чуть не всей отечественной и западной русистской историографии».

Да, Россия, как, впрочем, и Германия до 1945 года, Европа — по рождению и культуре в широком смысле слова. Но, как та же Германия, Европа с изъясном, «испорченная Европа», если можно так выразиться. «Испорчена» Россия двойственностью своей политической культуры, мощью своей патерналистской традиции, лишившей ее способности к самопроизвольной политической модернизации. Вот почему двойственность политической культуры России — ключевое понятие трилогии.

Я повторяю это не только в каждом томе, но, рискуя появлением «стилистических разногласий» с Никитой Павловичем Соколовым, которого эти повторения раздражают, чуть не в каждой главе. К сожалению, однако, несмотря на эти повторения, никак эта ключевая мысль в ходе дискуссии практически не прозвучала. Отчасти, конечно, потому, что большинство выступавших трилогию не читали. Я понимаю, одолеть двухтысячестраничную махину не всем в наше суетное время под силу. Немножко, я надеюсь, поправит дело коротенькая брошюра «Европейское будущее России?», опубликованная по инициативе Дмитрия Борисовича Зимина Фондом «Династия», в которой вступительные главы ко всем трем томам трилогии довольно удачно сведены воедино. Одолеть стостраничную брошюру, согласитесь, все-таки проще.

Так или иначе, здесь самое время ответить на основополагающий вопрос Андрея Илларионова. Он настойчиво допытывался, что «понимается уважаемыми коллегами под термином “европейская традиция”, под термином “Европа”, под термином “европейская цивилизация”». И впрямь, без выяснения этого предмет спора повисает в воздухе.

Само собою, определение «европейскости» повторяется в трилогии многократно. Но повторяю снова: особенность европейской государственности — в ее способности к самопроизвольной политической модернизации, короче, к саморазвитию. В отличие от всех других форм модернизации — экономической, культурной, церковной — политическая модернизация, если отвлечься на минуту от всех ее институциональных сложностей вроде разделения властей или независимого суда, означает по сути нечто вполне элементарное: *гарантии от произвола власти*. Именно благодаря этой своей способности и сумела Европа вырваться из омута деспотической стагнации, господствовавшей в политической вселенной на протяжении тысячелетий.

Россия, как и все европейские страны, обладала этой способностью вплоть до второй половины XVI века. То есть до момента, когда восторжествовавшая иосифлянская Контрреформация вдохновила Грозного-царя на самодержавную революцию, резко усилившую патерналистскую составляющую русской политической культуры и сумевшую институционализировать ее в таких инертных нововведениях, как крепостное право. С этого момента Россия и оказалась «испорченной Европой» и начала вести себя очень странно. Например, время от времени противопоставлять себя миру, непременно сопровождать каждую реформу контрреформой и впадать в политический ступор после контрреформы. Одним словом, вести себя непредсказуемо — не только для соседей, но и для самой себя. Короче, она потеряла ключ к саморазвитию. Так в самой сжатой форме могу я здесь ответить на вопрос Андрея Илларионова. Подробный ответ — в трилогии.

«Второй фронт»

Другая тема, не прозвучавшая в дискуссии, — постоянное в первом томе сравнение России (североевропейской в начале своей государственности страны) с ее североевропейскими же соседями, со Швецией, Данией и Норвегией. Это сравнение ценно не только потому, что культурно и климатически они были ближе всего к тогдашней России. Первостепенно важно и то, что их тоже застигло «второе издание крепостного права», распространившееся, подобно лесному пожару, в XV–XVI веках по всей Европе к востоку от Рейна.

У них, у соседей, тоже больше трети всего земельного фонда страны было, как и в России, захвачено монастырями. И, соответственно, были свои яростные идеологи монастырского стяжания, тамошние, если хотите, иосифляне. И агрессивное помещичье лобби, армейское, так сказать, офицерство, настойчиво добивавшееся от правительства прикрепления крестьян к земле, тоже у соседей было. И, как в России, создавались у них грозные военно-церковные блоки, опираясь на которые какой-нибудь чрезмерно честолюбивый король тоже мог, если угодно, устроить brutальную самодержавную революцию со всеми художествами опричнины. И были у них, наконец, и свои нестяжатели, столь же страстно, как и в России, агитировавшие против церковного любостяжания.

Короче, североевропейские соседи балансировали на грани той же пропасти, что и Россия. Упасть в нее означало изменить судьбу страны до неузнаваемости. Означало крушение традиционного политического строя, разгром аристократии и тотальное порабощение большинства соотечественников. Надолго, на столетия. В том-то, однако, и загадка, что балансировали соседи на краю той же пропасти, но, в отличие от России, в нее не упали. Почему?

Не странно ли, что отечественные историки никогда не задавали себе — и поныне не задают — этот простой вопрос? Тем более это странно, что, если все-таки его задать, как я в трилогии сделал, разгадка оказывается сравнитель-

но несложной. Да, североевропейские короли уступили давлению помещичьего лобби и разрешили ему закрепостить крестьян. Но — только на конфискованных у церкви землях. Таким образом и раскололи они могущественный военно-церковный блок и, насмерть поссорив помещиков с церковниками, предотвратили у себя самодержавные революции.

Разумеется, соседи, подобно Ивану III, вступили для этого в союз со своими нестяжателями, изолировав иосифлян. Только дед Ивана IV, родоначальник европейской России, довести дело до ума не успел, возникавший военно-церковный блок не разрушил. Что было дальше, известно. Попавший под влияние иосифлян внук, разогнав свое реформистское «Правительство компромисса», сделал прямо противоположное тому, что завещал ему дед.

Разница с соседями очевидна. Конечно, и у них на конфискованных монастырских землях наступил помещичий «рай». Крестьяне были прикреплены к земле, повсеместно введена барщина и — никакого Юрьева дня. Но... Но основной массив крестьянских земель остался нетронутым, большая часть крестьянства по-прежнему была свободной. Не менее важно и то, что уцелела и аристократия, и что она не превратилась в рабовладельческую. Вековая драма русской аристократии, которой уделено в трилогии так много места, была у соседей предотвращена. Так или иначе, в XVII веке, когда российское крестьянство было уже безнадежно — и тотально — закрепощено, в Дании несли барщину лишь 20 процентов крестьян. И эта разница изменила все будущее североевропейских соседей России.

Я не стану здесь повторять, откуда она взялась. Господа историки, не поленитесь прочитать трилогию: там все объяснено подробно. Одно, во всяком случае, ясно. Игорь Григорьевич Яковенко со своим категорическим утверждением, что «у Александра Янова Грозный предстает как *deus ex machina*», оскандалился очевидно. Оскандалился, ибо на самом деле, как детально показано в трилогии, самодержавная революция назревала в России на протяжении десятилетий! А смысл дела простой: тогдашнее Московское государство оказалось слабее иосифлянской иерархии, сумевшей, в отличие от североевропейских коллег, отстоять свои земные богатства.

Какая уж там «идеологически санкционированная деспотия», если Москва не сумела добиться даже того, чего добились обыкновенные абсолютистские государства в Северной Европе? Какой *deus ex machina*, если борьба вокруг монастырского землевладения (а следовательно, и вокруг военно-церковного блока, сделавшего возможной опричнину), началась еще в 1480-е? Какое отсутствие частной собственности, если не сумело Московское государство справиться с частной собственностью монастырей на протяжении трех столетий?

Легко упростить, если хотите, вульгаризировать сложнейшее переплетение и противоборство социальных сил и жестокую политическую борьбу, результатом которой стали самодержавная революция и крепостное право в России.

Особенно легко это, когда не знаешь материала. Игорь Яковенко, его, к сожалению, как мог убедить читатель, не знает.

Право, мне было просто неловко слышать из уст серьезного, проницательного ученого, можно сказать, «производителя смыслов» в своей науке, все процитированные выше категорические высказывания, столь явно заимствованные из Правящего стереотипа. Но, главное, зачем ему так бесцеремонно вторгаться в незнакомую ему область? Неужели только затем, чтобы подорвать возрождение либеральной традиции в России?

И ведь Яковенко вовсе не был одинок в дискуссии. Та же история и с прекрасным в пределах своей «грядки» специалистом Игорем Николаевичем Данилевским, который совершенно очевидно «плывет», едва выходит за ее пределы. И то же самое с замечательным «эксперткротом» Андреем Анатольевичем Пелипенко, которого я впервые вижу всерьез рассерженным на то, что «исторические события», ему, собственно, как он признается, и «неинтересные», не укладываются в спекулятивные схемы Правящего стереотипа.

Как бы то ни было, вот он здесь, перед читателем, мой «второй фронт», о котором говорил на обсуждении Лев Львович Регельсон. Из-за этого и пришлось мне завершать трилогию главой «Последний спор» и заново в ней пересвоевать, если можно так выразиться, уже законченную войну — только на новом фронте. Очень трудно будет возродить либеральную традицию России, как продемонстрировала, между прочим, и наша дискуссия, покуда у Правящего стереотипа столько талантливых — и самоотверженных — союзников дома.

Старый диспут

Вообще-то не так уж и сложно объяснить, почему реалии российской истории, говоря словами Льва Львовича, «так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение — как на Западе, так и в самой России». Относительно Запада, впрочем, объяснить это много проще. Если вокруг консенсус и тебя так учили, если ты заранее знаешь, что Россия — «азиатская империя», то результат твоего исследования, по сути, предзадан. И все, что в постулат не укладывается, просто проходит мимо твоего сознания.

Вот смотрите. Я рассказал в трилогии, как спорил в 1977 году на Би-би-си с одним из лидеров Правящего стереотипа Ричардом Пайпсом. И неожиданно обнаружил, что он, автор классической «России при старом режиме», вообще не слышал о Михаиле Салтыкове. Пайпс ужасно удивился, когда я спросил его, откуда взялся в России начала XVII века подробно разработанный проект конституционной монархии, подобного которому не знало никакое другое европейское государство (включая, естественно, и Польшу). Это легко проверить: в именном указателе его книги даже Салтычиха есть, а Салтыкова нет.

Хуже того, не знал он и о жесточайшей идейной войне между иосифлянами и нестяжателями, продолжавшейся, между прочим, четыре поколения. Не знал ни о том, что вдохновителем этой борьбы был Иван III, ни о том, что и сам вели-

кий князь был под влиянием нестяжателей. Не знал, несмотря на то, что писали об этом практически все историки русской церкви, не говоря уже о блестящей плеяде советских медиевистов-шестидесятников, детально исследовавших эту проблематику.

Вот что писал, например, о «странном либерализме Москвы» А.В. Карташев: «Лукавым прикрытием их [великого князя и его окружения] свободомыслию служила идеалистическая проповедь свободной религиозной совести целой школы так называемых заволожских старцев». Конечно, будучи иосифлянином, Карташев говорил о «странном либерализме Москвы» враждебно. Но Пайпс-то вообще ни о чем подобном не ведал. Стереотип не позволил ему это даже заметить.

Какой, в самом деле, либерализм в «патримониальном государстве», да еще в XV веке, за два столетия до Петра, прорубившего в нем окно для западных идей? Какая идейная война, тем более такой остроты, что доставалось порою за «свободомыслие» и самому великому князю — и не только от позднейших иосифлянских историков, но и от современников? Разве согласился бы самодержавный царь терпеть публичный выговор от монаха за то, что, посягая на церковные земли, оказался он, мол, вовсе и не царем, а «неправедным властителем, слугою диавола и тираном»?

Пайпс, понятно, знал, что сделал Грозный с митрополитом Филиппом. Но он понятия не имел, что при Иване III ни одного волоса с головы дерзкого монаха не упало, что, напротив, после такого серьезного, согласитесь, выговора, можно сказать, призыва к мятежу, пригласили Иосифа Волоцкого на аудиенцию, и государь предложил ему компромисс (который жестоковывный монах, впрочем, отверг). Короче, в 1977 году Пайпсу было совершенно ясно, что ничего подобного в «патримониальной России» быть не могло.

Я, однако, утверждал, что было. И подтвердил это документально. Наверняка у Пайпса должно было сложиться обо мне примерно такое же впечатление, какое сложилось у Андрея Пелипенко, когда он впервые лет 15 назад слушал мой доклад на семинаре Александра Самойловича Ахиезера. Напомню, если кто забыл: «Я просто не поверил, что столь фантастически преображенную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я грешным делом заподозрил автора в либеральной ангажированности». Это Пелипенко пишет уже сейчас в приложении к стенограмме дискуссии.

В диспуте с Пайпсом, однако, все документальные козыри история сдала мне. Поэтому спор он проиграл. И — о чудо! — двенадцать лет спустя появляется его новая книга, в которой он, пусть косвенно, но признал мою правоту. Я говорю о книге «Русский консерватизм и его критики», в большом сегменте которой, сопоставимом по размеру с главой «Иосифляне и нестяжатели» в моей трилогии, подробно обсуждается то, чего, исходя из концепции Пайпса, в России быть не могло. И более того, подчеркивается «роль замечательной фигуры того времени Василия (Вассиана) Патрикеева».

Правда, Салтыков по-прежнему отсутствует и в именном указателе новой книги. Зато имена Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, не говоря уже о Вассиане, повторяются многократно. Разумеется, иосифлянско/несчастительская контрверза никак не стыкуется с остальным текстом и выглядит в новой книге Пайпса совершенно инородным телом. Того, что от исхода этого спора зависело будущее страны, Пайпс не понимает по-прежнему. Напротив, подчеркивает, что «политическая дискуссия началась около 1500 года в связи с вопросом, который может показаться достаточно второстепенным, — в связи с монастырским землевладением». На самом деле в 1500 году спор, начавшийся за два десятилетия до этого, близился к кульминации. И решался в нем, как мы уже знаем, не второстепенный вопрос, а судьба России. И, конечно же, роль в этом споре великого князя объясняется вовсе не его «странным либерализмом», но тем, что он «обратил жадный взгляд на владения монастырей». Но, по крайней мере, признает теперь Пайпс, в отличие от Яковенко, что идейная война в «европейском столетии России» шла не по поводу какой-то невнятной «монастырской инициатической традиции», но о вещах первостепенно серьезных: «борьба [между Вассианом Патрикеевым и Иосифом Волоцким] велась за самую сущность русского христианства».

Косвенно подтверждает это и сам Иосиф в своей знаменитой жалобе: «В домах, на дорогах, на рынке все — иноки и миряне — с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них жидовству. А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него». Так вот же они, «Московские Афины», которые категорически отрицает Пелипенко. Не я, но современник этих «Афин» ему противоречит, обращая внимание на то, как горячи, как страстны и, главное, как массовы были споры — «в домах, на дорогах, на рынке».

Нет, я ни на минуту не утверждаю, что отступление Пайпса, пробившее гигантскую брешь в его теории «патримониальной России», произошло под влиянием поражения в нашем диспуте или моей книги *The Origins of Autocracy*, которую он, несомненно, читал (не мог не читать, уж очень большой наделала она шум в начале 1980-х и слишком много говорилось в этой книге о нем). Зато уверен я в другом. В том, что Пайпс, как все в Америке, видел своими глазами, пусть по телевизору, в 1989–91 годах неожиданное возрождение тех же «Московских Афин», на которые так горько жаловался пять столетий назад благоверный Иосиф. Ведь именно массовость этих современных споров «в домах, на дорогах, на рынке» и похоронила на самом деле советологию.

Салтычиха и Салтыков

Упомянутая книга Пайпса — довольно точный пример того, как обстоит дело с неприятием моих идей на Западе. Отчаянно медленно пробиваются робкие

ростки российской реальности сквозь жесткую кору Правящего стереотипа. Хотя старейшина американской русистики Сэмюэл Бэрн уже в начале 1980-х заметил в *Slavic Review*, что «Янов по существу сформулировал новую повестку дня для исследователей эпохи Ивана III», аукнулось это наблюдение в новой книге Пайпса лишь четверть века спустя. Пусть Салтычиха все еще важнее для него, чем Салтыков, но Вассиан, о котором он еще в 1977-м понятия не имел, уже «замечательная фигура».

Важно, однако, что для Игоря Яковенко и его единомышленников никакого Вассиана не существует и поныне. И в этом суть проблемы. Как и четверть века назад, Россия отказывается поддержать попытку возродить отечественную либеральную традицию, не готова вступить за нее в борьбу с могущественным Правящим стереотипом. Более того, слишком многие из ее либеральных историков и мыслителей (об «экспертократах» я уже и не говорю) вообще предпочитают идолов этого Стереотипа возрождению либеральной традиции России. И потому не станет, боюсь, наша дискуссия началом серьезной кампании за ее возрождение. Несколько голосов, безоговорочно поддержавших мою попытку, напоминают, согласитесь, скорее партизанское ополчение, бессильное перед регулярной армией Правящего стереотипа и его отечественных союзников.

Можно, конечно, попытаться этих людей пристыдить, как сделал Леонид Владимирович Поляков. В конце концов, очевидно же: закрепись в сознании большинства соотечественников мысль, что Россия всегда, с самого начала своей государственности, была «страной рабов, страной господ», то такой ведь она и останется. Можно даже спросить отечественных союзников Правящего стереотипа, хотят ли они, чтобы и дети их жили в такой стране. Но поможет ли это?

Если так, однако, то в чем же тот намек на надежду, с которого я начал? Думаю, он в либеральном энтузиазме не только таких представителей старшего поколения, как Эмиль Паин, отец Глеб Якунин или Лев Регельсон, но — что особенно важно — молодых наших преемников, как Никита Соколов, Ирина Карацуба или Кирилл Батыгин. А также в тех сдвигах, которые чудятся мне в здоровом скептицизме Игоря Клямкина, задавшего очень серьезные вопросы, на которые я тотчас же и принялся бы отвечать, когда б не...

...Третья пропущенная тема

Речь об Иваниане, занявшей треть первого тома и, с моей точки зрения, представляющей его сердцевину. Поверьте, это изнурительная работа: впервые собрать по кусочкам все, что говорили, писали и думали о Грозном царе историки, мыслители, поэты и художники, выяснить, как и почему столько раз кардинально менялся в их глазах его образ на протяжении четырех столетий. Результатом, однако, была, по существу, история общественной мысли России. И теперь, заглянув в нее, Владимир Кантор, например, мог бы увидеть, что всего лишь повторяет своими словами идеи Сергея Соловьева, так же, как

Игорь Яковенко повторяет Константина Кавелина, а Игорь Чубайс — братьев Аксаковых.

И много еще чего могли бы узнать из Иванианы участники дискуссии. Допустим, о том, как объяснил я Андрею Пелипенко еще много месяцев назад в интернете, что Сигизмунд Герберштейн ходил еще в коротких штанишках во времена «Московских Афин» и знать о них поэтому не мог. Даже в эпоху интернета и телевидения трудно было бы поверить молодому иностранцу, прибывшему с официальным визитом в путинскую Россию, что каких-то два десятилетия назад в этой же стране кипела идейная и политическая жизнь, что «в домах, на дорогах, на рынке» бушевали публичные споры. Что уж говорить о средневековье? А Пелипенко, как ни в чем не бывало, снова ссылается на Герберштейна, как на очевидца событий.

То же самое с Игорем Чубайсом, повторяющим уже лет двести назад опровергнутую легенду, будто «Иван IV за всю свою жизнь погубил 3000 человек». Заглянув в Иваниану, Чубайс узнал бы, что погибло в то царствование больше миллиона человек, что жизнью каждого десятого заплатила тогдашняя Россия за бесчинства «царя бешеного, купавшегося в крови подданных», по словам одного из самых уважаемых декабристов М.С. Лунина.

Да что там говорить, много чего несерьезного и нелепого не прозвучало бы в дискуссии, загляни ее участники в Иваниану.

Откуда есть пошла европейская традиция?

А теперь, наконец, к вопросам Игоря Моисеевича Клямкина. Увы, заметки затянулись, и ответить здесь на все его вопросы не позволяет формат. Но на главное его несогласие с новой парадигмой ответить императивно.

Оно — хронологическое. Нет, говорит Игорь Моисеевич, европейская традиция, которую я связываю с латентными ограничениями власти, никак не могла зародиться в самом начале русской государственности, в XV веке. (Киевско-Новгородская Русь была, как я это понимаю, образованием еще протогосударственным, оттого и превратилась, в отличие от сложившихся государств, скажем, Польши или Венгрии, тоже лежавших на пути завоевателей, — лишь в западную окраину великой степной империи). Начаться могла эта традиция, думает Клямкин, только с середины истории русской государственности — с указа Петра III о вольности дворянской и с жалованных грамот Екатерины II. И в связи с этими грамотами возникает в России частная собственность.

Прав Игорь Моисеевич в одном: юридическое оформление получила европейская традиция России действительно лишь во второй половине XVIII века. Но ведь во Франции получила она такое юридическое оформление значительно позже. Во всяком случае, еще при Людовике XIV, современнике Петра, и при Людовиках XV и XVI, то есть до самой Великой революции, существовала европейская традиция практически во всех странах Европы, кроме Англии, лишь

в той же форме латентных ограничений власти, что и в Москве Ивана III. На языке государственной (юридической) школы российской историографии (см. Иваниану), на котором говорит Клямкин, это должно было бы означать, что никакой европейской традиции не существовало тогда и в Европе.

Если же говорить не о юридическом оформлении реальной истории, то хронологическая перетряска, на которой настаивает Игорь Моисеевич, уязвима как с точки зрения фактов, так и с точки зрения политической. В самом деле, куда мы денем факт, что до самодержавной революции «правительственная деятельность Думы имела собственно законодательный характер», в чем и состоит, по сути, открытие Ключевского? Куда денем мы факт, что Дума «была конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии»? На языке новой парадигмы это «без конституционной хартии» как раз и означает латентное ограничение власти. Причем несопоставимо более сильное ограничение, чем, допустим, во Франции Людовика XI, современника Ивана III, где ничего подобного и в помине не было.

И в первую очередь стояла Дума на страже — чего бы вы думали? — именно частной собственности, которой, согласно Правящему стереотипу, не существовало в России до 1785 года, а согласно Игорю Яковенко, вообще никогда. Прежде всего, конечно, озабочена была Дума защитой вотчинной, боярской собственности. И это очень хорошо знали крупнейшие литовские магнаты, массами устремившиеся, как доказал в своем классическом исследовании М.А. Дьяконов, в Россию со своими вотчинами в царствование Ивана III.

Игорь Клямкин объясняет это «окатоличиванием» Литвы. Но, во-первых, нисколько не помешало это «окатоличивание» тому, что с таким же энтузиазмом ринулись эти магнаты обратно в Литву после самодержавной революции Грозного. А во-вторых, и это главное, мыслимо ли представить себе, чтобы стали они рисковать своей собственностью, перебегая из страны, где никто не смел на нее покуситься, в страну, где она могла бы оказаться под угрозой конфискации по воле великого князя? Разве не следует из этого неопровержимо, что вотчинная собственность была так же гарантирована в Москве Ивана III, как и в Литве?

Это факт настолько, впрочем, очевидный, что позволить себе его отрицать мог бы разве либеральный культуролог. Для остального человечества куда интереснее факт собственности крестьянской. Как следует из обнаруженной А. И. Копаневым Уставной грамоты трех волостей Двинского уезда 25 февраля 1552 года, концентрация земель в руках богатых крестьян приобрела в «европейское столетие России» весьма значительные размеры. И не о каких-то клочках земли шла речь, они покупали целые деревни. Причем, как пишет Копанев, «деревни и части деревень стали объектом купли и продажи без каких бы то ни было ограничений». Переходила земля из рук в руки «навсегда, как собственность, как аллодиум, утративший все следы феодального держания».

И принадлежали тогда этой крестьянской предбуржуазии не только пашни, огороды, сенокосы, звериные уловы и скотные дворы, но и рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни, порою, как в случае Строгановых, с тысячами вольнонаемных рабочих (все соответствующие сноски приведены в трилогии). Важно, что речь идет об аллодиуме, то есть о собственности, отнять которую не мог никто, включая государство. Так не следует ли из этого, что крестьянская собственность точно так же, как и вотчинная, была в тогдашней Москве гарантирована? И, стало быть, присутствовали в ней латентные ограничения власти, причем не только социальные, но и экономические.

Короче, похоже, что Правящий стереотип ошибся на два с лишним столетия! Для нас, однако, важно здесь то, что существовала частная собственность не только в середине истории русской государственности, как следует из хронологии Клямкина, но уже в самом ее начале, в «европейском столетии». И, между прочим, суть Великой реформы 1550-х состояла не только в отмене «кормлений», но и в том, что она ввела вместо них в уездах крестьянское самоуправление, включавшее, естественно, и выборный суд, и налоговое самообложение. В трилогии об этом рассказано очень подробно. По всем этим причинам не выдерживает хронология Игоря Моисеевича критики с точки зрения исторических фактов.

С точки зрения политической дело с этой хронологией обстоит еще хуже. Ибо выглядит она (и это отчетливо видно в Иваниане) скорее как перелицованное славянофильство. В чем был смысл славянофильской историографии? Отворил, мол, изменник Петр ворота русской крепости для соблазнительных, но пагубных для России западных идей — в частности, для идей, связанных с преимуществами правового государства. И в результате получилось что? «Историческая катастрофа», о чем нам еще раз напомнил уже в ноябре 2009 года Игорь Борисович Чубайс.

Но ведь хронология Клямкина предполагает примерно то же самое — только с обратным знаком. Согласно ей, западные идеи, которым отворил ворота России Петр, сделали свое дело, положили начало ее европейской традиции. Иначе говоря, место идей византийских, которые, по мысли славянофилов (и Чубайса), могли бы сформировать пусть и неправовую, но зато высокоморальную русскую государственность, заняли идеи европейские, правовые. В обоих случаях, впрочем, речь об одном и том же — о чужих идеях, а не о корневых, отечественных. Наивно было бы надеяться, что оппоненты европейской традиции России не воспользуются этой хронологической путаницей.

Увы, дальше — не лучше. Если связь хронологии Игоря Моисеевича со славянофильской историографией косвенная (зеркальное отражение), то связь ее с Правящим стереотипом — хотя бы через концепцию того же Ричарда Пайпса — прямая. Пайпсу эта хронологическая уловка необходима как способ

примиришь его теорию «патримониальной России», лишенной и частной собственности, и правового мышления, с ее историей после Петра, включая Великую реформу 1860-х. Западные идеи играют в его концепции роль своего рода «живой воды», влившей европейскую жизнь в пустыню азиатско-деспотической империи. Но российской-то историографии зачем идти в фарватере Правящего стереотипа — если, конечно, считает она свою страну не азиатско-деспотической пустыней, но Европой (пусть и «испорченной»)?

Так что неправ Эмиль Паин, когда, противореча Бенджамину Дизраэли, представляет спор о происхождении европейской традиции в России «внутрисемейным спором историков». Принципиально важно, даже в самом приземленном политическом смысле, что «расколдовывание» России началось, извините за тавтологию, с начала ее государственного существования. Я думаю, что даже Пелипенко понял бы это, загляни он в трилогию. Впрочем, его, как мы знаем, «исторические события не интересуют». Но Игоря Клямкина они интересуют. Он, в отличие от Пелипенко, понимает, что без отечественной, то есть не заимствованной ни из Византии, ни из Европы либеральной традиции «наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого, а следовательно, нет и будущего».

На другие вопросы Игоря Моисеевича ответы в трилогии содержатся. А если сформулированы они там неточно или неполно, я всегда буду рад ответить на них в рабочем порядке. Замечу здесь только, что если сравнить два царствования — Ивана III в Москве и уже упоминавшегося Людовика XI во Франции, вступившего на престол лишь годом раньше Ивана, то, ручаюсь, ни один историк не усомнится, что московский государь был несопоставимо более европейцем, нежели его французский коллега и современник.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Игорь КЛЯМКИН: Уважаемые коллеги, мы начинаем цикл семинаров под общим названием «Куда ведет кризис культуры?» Сегодня нам предстоит обсудить доклад Михаила Афанасьева «О древней и новой политической культуре в России». С текстом этого доклада вы могли познакомиться заранее. И не могли, наверное, не заметить, что в нем о нынешнем кризисном состоянии российской политической культуры прямо ничего не говорится. Но если кризиса нет, то что такое выявленное социологами тотальное недоверие по вертикали и горизонтали, то есть недоверие людей не только к государственным и общественным институтам, но и друг к другу? Что такое готовность общества к политической модернизации, о которой говорит Михаил Николаевич, при пассивном ожидании ее инициирования сверху и отсутствии такого инициирования?

Перечень подобных вопросов можно продолжать долго, и какие-то из них здесь еще будут, возможно, поставлены. Ну, а если кризис все же есть, то что он означает? Присутствующий среди нас Игорь Григорьевич Яковенко как-то заметил, что следует различать кризис развития и кризис упадка, кризис конца. Какой же из них переживает сегодня Россия? Об этом тоже, разумеется, можно спорить, но любой ответ повлечет за собой новые вопросы.

Если в России и ее культуре — кризис упадка, то желательно бы понять, идет ли речь о культуре только советской или о российской культуре как таковой. Важно осознать также, что означает такой кризис для людей, желающих не допустить его эскалации. Я в данном случае имею в виду не политиков, а только интеллектуалов, которые ведь тоже не могут быть абсолютно свободными от ценностных и гражданских установок. Так вот, влечет ли за собой признание кризиса упадка отказ от интеллектуального целеполагания, от проектности мышления и сосредоточенность исключительно на анализе и прогнозировании?

Я знаю, что среди участников нашего семинара есть исследователи, отстаивающие в своих книгах и статьях мысль об упадке российской культуры. О том, что ее век близится к своему завершению. Нам предстоит обсудить доводы в пользу этого тезиса, равно как и возражения против него. При этом неизбежно придется затронуть и вопрос о том, как упадок российской культуры, если он есть, соотносится с современными мировыми процессами. Кризис культуры модерна на Западе и ее трансформация в культуру постмодерна — это тоже кризис упадка? Или упадок только в России, а на Западе — кризис развития?

Ну, а если и у нас тоже кризис развития, то хотелось бы обсудить и все возможные на сей счет аргументы. Помня и о том, что само развитие означает не просто разрыв с чем-то и преодоление чего-то, но и преемственную связь с какими-то традициями или тенденциями в собственной истории. Тут тоже

существуют разные подходы — в том числе и в либеральной среде. Это выявилось, в частности, при обсуждении в «Либеральной миссии» недавно вышедшей трилогии Александра Янова «Россия и Европа. 1462–1921»². В докладе Михаила Афанасьева, предложенном вашему вниманию, представлен еще один подход, который мне кажется интересным и заслуживающим вашего внимания.

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВ

О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В РОССИИ

В нашей политической и экспертной среде сегодня распространено мнение о том, что авторитарно-бюрократическая власть вполне устраивает абсолютное большинство российских граждан. Доказательства: устойчивое «путинское большинство» отражает воспроизводящуюся самодержавно-патриархальную политическую культуру россиян. На мой взгляд, все не так. Поскольку же дебаты о порядке правления и путях развития постсоветской России всегда упираются в проблему национальной идентичности, начну именно с политической традиции.

Европейский путь

В сегодняшней дискуссии о культурной идентичности России крайне важна концепция П.Н. Милюкова, которая у нас пока плохо усвоена и недооценена. В «Очерках по истории русской культуры»³ с энциклопедической обстоятельностью обоснованы два фундаментальных для понимания исторического развития русской культуры тезиса. Изложу их в своей редакции.

Тезис первый: по самой своей географии, ландшафтной и антропологической «преистории» и уже собственно истории — этнической и национальной — Россия является естественным продолжением Европы, заходящим в Азию.

Тезис второй: русская культура есть самобытный извод европейского корня, исторически запаздывающий и в сравнении с синхронной ему европейской культурой относительно примитивный. В русской культуре всегда соединены подражательное копирование, националистическое отталкивание и творческое развитие образцов и архетипов европейской культуры.

2 Семинар работал в 2010–2011 гг. В данном и следующем разделах представлены с небольшими сокращениями материалы двух его заседаний, имеющих прямое отношение к тематике книги.

3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М.: Издательская группа «Прогресс-культура», 1993–1994. Особенно важное концептуальное значение имеет первый том, в котором исследуются проблемы «предыстории» и русской колонизации.

Общий вывод Милюкова таков: «Европеизм [...] не есть начало, чуждое русской жизни, начало, которое можно заимствовать только извне, но собственная стихия, одно из основных начал, на которых эта жизнь развивается, насколько в ее “месторазвитии” даны общие Европе элементы развития. К этому представлению ведет и самый термин “Евразия”, если употреблять его научно, а не тенденциозно. Евразия не есть Азия; а есть Европа, осложненная Азией».

Самым тяжелым осложнением было монгольское нашествие и влияние Орды на Московскую Русь. Милюков, например, вообще не видел преемства общественного строя и самосознания Московского царства с «удельно-вечевыми традициями», а потому пропустил древнерусский период в своем обзоре национальной культуры. Некоторые оппоненты указывали ему на недооценку русской древности. Милюков не соглашался. Сегодня можно уверенно сказать, что правы были те оппоненты.

Полагаю, что, не исследовав культуру Новгородско-Киевской Руси, Милюков упустил базовый элемент. Во-первых, он лишился фундаментального доказательства верности его собственного взгляда на европеизм как одно из основных *начал* русской жизни. Во-вторых, он прошел мимо примера вполне успешной *русской модернизации*, которая была однотипна и одновременна модернизации других варварских народов Европы. В-третьих, он недооценил позитивный потенциал, историческое значение и силу целого ряда *традиционных институтов*. В результате русский европеизм у Милюкова все-таки редуцируется к внешним влияниям, которые просачивались в Московское царство и текли в Петербургскую империю.

Русская модернизация

Возникшая как совместное предприятие варяжских дружин с городскими старшинами словен, кривичей и полян Новгородско-Киевская Русь осуществила одну из наиболее успешных варварских модернизаций раннего средневековья.

Соединяя балтийский север с главным центром европейской цивилизации, каковым в VI–X веках была Византия, Русь стала *частью византийского мира* (Г.В. Вернадский)⁴. В Киевской Руси, как и в Византии, монетарная экономика превалировала над натуральным хозяйством. Византийское законодательство (римское право) служило примером в русской практике, особенно в делах, касающихся земли и кредита. «Русская правда» устанавливала законную процентную ставку по кредитам в 5–10 процентов годовых в зависимости от условий займа, что примерно соответствует норме византийского права XI века (5,5–8 процентов). Два византийских учебника законодательства — *Ecloga* и *Proheiron* были доступны в славянском переводе. Важным культурным источником и посредником стало церковное право. Русские митрополи-

4 Вернадский Г.В. Киевская Русь / Пер. с англ. Тверь; М.: ЛЕАН; АГРАФ, 1996.

ты (происхождением — греки и южные славяне), назначавшиеся до середины XV века из Константинополя, умеряли власть князей — функционально это соответствует разделению церковной и светской власти, важность которого историки и политологи подчеркивают применительно к римскому Западу.

Византийское влияние легло на славянский родоплеменной субстрат, однотипный другим варварским народам Европы. Фундаментальное открытие И.Я. Фроянова⁵, раскрывающее принципиальное отличие институтов полюдья и данничества, подводит прочную научную базу под понимание Новгородско-Киевской Руси как общества, в социальной структуре которого абсолютно преобладали средние классы свободных сельских общинников и горожан.

Итак, Вернадский подчеркивает влияние византийской цивилизации; Фроянов показывает силу и значение родоплеменных традиций. Опираясь на их фундированные концепции, можно сделать вывод: русская модернизация IX–XII веков была результатом оригинального *синтеза* родоплеменного строя с выросшим из военно-коммерческого предпринимательства торговым капитализмом.

В отличие от каролингского Запада, не феодальное поместье, а город был главным фактором экономической и социальной эволюции Руси. По расчетам Вернадского, Русь представляла собой одну из наиболее населенных (7–8 миллионов человек) и урбанизированных (300 упоминаемых городов, в которых жили 13 процентов населения) европейских стран. Описываемые В.О. Ключевским⁶ «ряды» князей с городами и решительный перевес городов в XI–XII веках соответствуют коммунальным революциям того же времени в передовых городах средиземноморского и балтийского побережья Европы. Территориально-профессиональное самоуправление, большие и малые купеческие объединения, вечевая традиция существовали во всех крупных городах Руси. Очень высокий уровень грамотности русских горожан, в том числе горожанок — факт, убедительно доказанный Новгородской археологической экспедицией МГУ. По оценке А.А. Зализняка, «картина Новгорода XIV века и Флоренции XIV века по степени женской грамотности — в пользу Новгорода»⁷.

Раннее соединение монетарной экономики с традиционными родоплеменными структурами обусловило «запаздывание» феодализма и крепостничества. Сделки по земле в Новгородско-Киевской Руси не встречали какого-либо феодального вмешательства: земля могла быть унаследована, подарена, куплена, продана и использована иным образом без препятствий. Наряду

5 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета. 1996.

6 Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. М.: Мысль, 1993. Кн.1. Лекция XII.

7 Зализняк А. Новгородская Русь по берестяным грамотам. Публичная лекция «Полит.ру»: <http://www.polit.ru/lectures/2006/11/30/zalizniak.html>.

с использовавшими труд холопов и закупов частными латифундиями и общинами государственно зависимых смердов существовало множество свободных общин, частных своеземцев и даже кооперативно-паевое землевладение. Боярин мог в любое время оставить одного князя и перейти на службу к другому. При этом земли боярина, в том числе пожалованные ему за службу, оставались в его частной собственности. Таким образом, служивший и советовавший князю в его дружине боярин не был княжеским вассалом.

В целом русское общество было довольно похоже на скандинавские страны того же времени.

Прерванное возрождение

Европейское развитие русского общества не было остановлено монгольским нашествием. Русский мир XIII–XV веков состоял из трех разных, но связанных друг с другом частей: а) Новгородская Русь — вся огромная империя Великого Новгорода, а также вышедшие из нее Вятская земля и Псков; б) Литовская Русь — отошедший к Литве старожильский русский запад, включая крупнейший тогда город Смоленск; в) Восточная, ордынская Русь, в которой выросло доминирование Московского великого княжества.

Процветавшая Новгородская Русь до конца XV века и даже до середины XVI века продолжала древнерусский, то есть возникший в результате русской модернизации, тип развития, схожий со скандинавским. При этом Псков заметно отличался от Новгорода более равномерным распределением богатства, горизонтальной социальной структурой и большей политической ролью среднего класса. В результате московской экспансии Псков и Новгород были уничтожены как социумы, однако социальное, хозяйственное и даже политическое своеобразие русского Севера в целом сохранилось и до сегодняшнего дня.

В подтверждение приведу уже не историографический, а социологический материал — типологию российских регионов по вовлеченности населения в практики гражданского общества, составленную на основе массовых опросов 2007 года (проект Фонда «Общественное мнение» и Лаборатории исследования гражданского общества ГУ ВШЭ, результаты приведены в работе И.В. Мерсияновой⁸). Регионы России разделились на четыре группы. Группу с высоким уровнем общественной активности (по российским меркам, естественно) составляют Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ. В абсолютном большинстве российских регионов общественная активность находится на уровне ниже среднего (25 регионов) и совсем

8 *Мерсиянова И.В.* Институты самоорганизации и качество жизни населения: прямые и обратные связи // Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. Кн. 3.

низком уровне (тоже 25 регионов). Группа регионов с общественной активностью на уровне выше среднего состоит из 15 регионов, среди которых Архангельская, Вологодская, Кировская, Пермская области, Республика Карелия и Республика Коми. Так вот, перечисляя эти северные, «гражданские» регионы, мы очерчиваем культурный ареал Новгородской Руси! Главные же центры этого ареала, Новгород и Псков, «зачищенные» до корней травы, сейчас — среди регионов со слабой и очень слабой общественной жизнью.

В Литве русское население (соотношение русских к литовцам в великом княжестве составляло 3:1) было активным участником европейского развития страны: в XIII–XVI веках на русском языке велось судопроизводство и писались литовские статуты, которые во многом основывались на русском праве киевского периода; книгопечатание началось в Литве тоже на русском. Многие русские города, в том числе Киев, Минск и Смоленск получили в XV–XVI веках Магдебургское право, закреплявшее их корпоративное устройство и автономию. Важной составляющей русской общественной жизни была деятельность объединений православных горожан, известных как братства⁹.

Иной тип общества складывался в Восточной Руси. Московские великие князья использовали введенную монголами систему всеобщего данничества и всеобщей военной обязанности. Но полного разрыва московской государственности с русской традицией до опричнины Ивана Грозного не было.

До второй половины XVI века местные порядки не подвергались московской унификации, наоборот, они изучались и отражались в уставных грамотах, которые великий князь давал местным сообществам. Статья 38 Судебника 1497 года предписывает наместникам и волостелям действовать «согласно грамотам». Например, Белоозерские грамоты 1488 и 1539 годов фиксируют расширение — то есть *восстановление* — юрисдикции местных судов из выборных дворян и крестьян. Составленные по образу и подобию таких грамот законы 1547–1552 годов отменяли кормления и передавали полицейские функции, уголовный суд выборным губным старостам и правлениям, а сбор налогов, местные дела и гражданские тяжбы — городским и уездным земствам. Таким образом, в выросшем и претендовавшем на статус общерусского отечества Московском государстве возобновлялся *традиционный общенациональный порядок* местного самоуправления. В 1550-х годах Адашев и Сильвестр продолжали это восстановление, они ничего не изобрели, их деятельность была именно реформой — возобновлением канона.

Традиционный русский порядок включал частную собственность на землю (не говоря уже о промышленных активах и городских усадьбах) крупных

9 См.: *Вернадский Г.В.* Россия в Средние века / Пер. с англ. Тверь; М.: ЛЕАН; АГРАФ, 1997.

и мелких вотчинников, общинную и частную земельную собственность «черносошных» крестьян — богатые крестьяне издавна покупали земельные участки, нередко весьма значительные, и оформляли их в собственность. С точки зрения традиции, раздача государственных земель с крестьянами в частное владение выглядела не нормой, а «беспределом». Поэтому, как верно подчеркивает А.Л. Янов, важнейшей исторической развилкой был вопрос о секуляризации монастырского земельного фонда¹⁰. Вводившие поместную систему московские государи решали дилемму: сажать дворян либо на монастырские земли, либо на государственные. Церковники свое право отстаивали. А широкая раздача помещикам государственных земель с вольными землепашцами стала революционным сломом традиции, поправлением русской правды. Самодержавная революция второй половины XVI столетия перечеркнула русское возрождение.

Традиция и реформа

Правильный взгляд на русскую традицию проясняет значение ряда российских реформ.

Так, обнажается связь между несоответствием национальной традиции и стратегическими рисками легистского подхода Екатерины II: считать «государственные имения» (то есть земли государственных крестьян) государственной собственностью, а владения помещиков, включая земли, недра, воды и леса, частной собственностью помещиков. И жалованная грамота дворянству 1785 года, и прожекты Екатерины по улучшению быта крепостных основывались на том представлении, что крестьяне пользуются землей, которая им *предоставлена* — либо помещиком, либо, еще до помещика, государем. Но именно это базовое положение если не для всех, то для большинства случаев было фикцией, по-русски говоря, *неправдой*. И вот на этой неправде была утверждена священная и «недвижимая» частная собственность помещиков в тех границах, которые никогда не признавались и никогда не будут признаны крестьянами. Таким образом, Екатерина Великая своей либеральной мерой захлопнула институциональную ловушку, поставленную Иваном Грозным.

Указ Александра I 1801 года не знаменит, как екатерининская жалованная грамота, хотя его позитивный эффект куда выше: указ, по замечанию его разработчика графа Мордвинова, закрепил «гражданское существование» для большей части русского населения. При этом указ 1801 года как раз соответствовал национальной традиции. Разрешая приобретать землю купцам, горожанам и государственным крестьянам и закрепляя тем самым право частной собственности на землю для всего населения России кроме примерно 20 миллионов крепостных крестьян, Александр I не ввел что-то небывалое, а легали-

10 См.: Янов А.Л. Россия и Европа. 1462–1921: в 3 т. М.: Новый хронограф, 2007. Т. 1. Европейское столетие России, 1480–1560

зовал обычное право и восстановил в исконных правах большую часть русских людей.

Вдохновляющий пример успешного синтеза традиции и модернизации дает земская реформа Александра II и развитие пореформенного земства в России. Деятельность земств и городских дум основывалась на традиционном самообложении местных имущих людей, чему естественным образом соответствовал цензовый характер названных пореформенных учреждений. Именно за электоральные цензы земство потом без устали ругали советские обществоведы и продолжают еще упрекать постсоветские. А ведь в том и смысл, что земства не получали и не «пилили» казенные деньги, но собирали свои земские кассы из взносов состоятельных людей, чтобы использовать эти средства на общественные нужды и цели местного развития. Только школьный годовой бюджет уездных земств составлял в 1871 году 1,6 миллионов, в 1903-м — 19,8 миллионов, а в 1910-м — 47,4 миллионов¹¹! Между тем школы составляли, конечно, стратегическое, но лишь одно из направлений земских расходов (20–25 процентов земской сметы в 1901 году). Вот для чего местные имущие и образованные люди избирали из своей среды уважаемых лиц: они доверяли им собственные деньги для общественного распоряжения. Лучшего способа проверить, подтверждать и укреплять доверие невозможно придумать.

Теперь отвечаю на неизбежный вопрос: какой смысл спорить о национальной традиции сегодня, когда она до основания разрушена, когда русских традиционных структур уже нет? Смысл, думаю, есть, и немалый.

Как уже говорилось, все дебаты о порядке правления и путях развития России упираются в проблему национальной идентичности. А спор о национальной идентичности — это всегда спор за лидерство и за генплан развития, если лидерство настоящее. Партия модернизации, если она настоящая, тоже должна предложить свой генплан и бороться за национальное лидерство. Но выиграть такую борьбу эта партия может только в том случае, если докажет свое соответствие национальной идентичности. Между тем многие сторонники модернизации упорно доказывают как раз обратное.

Изложенная выше интерпретация русской традиции представляет собой заявку на искомую национальную идею развития. Полагаю, что наша национальная идея — это возрождение исконной русской европейской традиции и европейская реформация России. Кроме того, представленный взгляд на соотношение традиции и реформ в российской истории принципиально оппонирует глубоко укорененной в элитах и прогрессистских кругах идеологии: «правительство — единственный европеец в этой стране». Российский опыт, как и зарубежный, убедительно свидетельствует: народ хорошие реформы не отвергает.

11 См.: *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т.2. Ч. 2: Искусство. Школа. Просвещение.

Хотят ли россияне демократии?

Представители власти утверждают, что «отличная от других» российская демократия соответствует выбору россиян. В обществе, экспертных кругах, либеральной публицистике распространена оппозиционная версия того же тезиса: «в России нет демократии, потому что так хотят россияне». Думаю, что тезис о новой симфонии российской власти и российского народа неверен.

В 1991 году Б.Н. Ельцин предлагал заменить коммунистическую номенклатуру демократией, и российские граждане выбрали его первым российским президентом. А весной 1993-го, после «шоковой терапии», в условиях социально-экономического кризиса, граждане убедительным большинством подтвердили мандат доверия президенту. Доверие сгорело в затяжном кризисе; но и в 1996-м, выбирая между Ельциным и Зюгановым, большинство проголосовало за действующего президента. Потом все стали говорить, что народ был обманут. Но ведь не потому, что большинство голосовало за Зюганова. А потому, что, «проголосовав сердцем», народ получил «семейную» камарилью в Кремле, залоговую раздачу олигархам крупнейших национальных активов и Березовского во главе Совета национальной безопасности.

Граждане России не отказывались от демократии. В 2000 году они выбрали президентом В.В. Путина, который предлагал «замочить в сортире» террористов, укрепить государство, установив «диктатуру закона», «равно удалить олигархов» от власти, побороть бедность и обеспечить конкурентоспособность России в мире. К концу первого президентского срока Путина большинство избирателей не испытывали восторга от конкретных результатов его правления. Явка на выборах 2004 года снизилась даже по официальным данным. На протяжении всего путинского правления социологи фиксировали кричащее несоответствие между высоким рейтингом формального доверия к главе государства и весьма критическими оценками возглавляемой им правящей команды. При этом только малое меньшинство наших сограждан признавало справедливость и эффективность существующего социально-политического строя.

Для россиян не мог не иметь значения тот факт, что после восьми лет кризиса в стране начался экономический рост, сопровождавший восемь лет президентства Путина. Однако уже в середине 2000-х сформировалось новое массовое недовольство — не ухудшением ситуации, как в 1990-х, а отсутствием улучшений. С тех пор это новое недовольство нарастало; с началом кризиса 2008 года его перекрыл страх общего ухудшения жизни, но недовольство отсутствием развития от этого не снимается, а лишь усугубляется.

В элитных группах — бюрократии, бизнесе, менеджменте, социетальной и информационной элитах — еще весной 2008 года мною был зафиксирован общий тренд: негативная оценка качества государственного управления и запрос на вполне определенные институциональные изменения. Изме-

ния, европейская цивилизованная направленность которых очевидна и неопровержим¹². Конечно, преобладание социального цинизма и оппортунистического поведения в сегодняшних элитных группах является очевидным социальным фактом. Но констатация этого факта отнюдь не уменьшает важности выводов, которые следуют из полученных мною данных. Во-первых, у правящего режима не осталось идей, которые бы его легитимировали и консолидировали если не нацию, то хотя бы верхние классы общества. Во-вторых, в сознании элитных групп при размышлении о путях национального развития не обнаруживается каких-либо значимых альтернатив общеизвестным европейским институтам.

Что касается отношения к демократии большинства россиян, то сегодня оно лучше всего описывается известным афоризмом Черчилля: демократия плоха, но другие формы правления хуже. Большинство избирателей не поддерживали отмены губернаторских выборов. Социологические опросы как в массовых, так и в элитных группах показывают, что в России практически все выступают за реальное развитие местного самоуправления, это предмет общенационального консенсуса. Более чем две трети россиян считают, что в России должна быть оппозиция, оказывающая серьезное влияние на жизнь страны; число сторонников такого мнения стабильно растет с начала 2000-х годов. Однако это общественное настроение не влекло за собой электоральный сдвиг.

Выход из тупика сейчас блокируют два главных фактора. Во-первых, институциональная ловушка, которая состоит вовсе не в том, что лица, принимающие государственные решения, не заинтересованы в переустройстве государства, — это еще не ловушка, а обычная ситуация, «железный закон олигархии». Но у нас верх взяли силовики-предприниматели, что, с одной стороны, превратило силовые органы государства в головные предприятия по извлечению ренты и рассадники рейдерства, а с другой — установило предельно жесткую подчиненность бизнеса. Классовый заказ на буржуазно-бюрократическую стабилизацию силовики-предприниматели сильно перевыполнили, став главными бенефициарами коррупционного капитализма и устроив из политической системы кукольный театр. То есть олигархия как тип власти сложилась в 1990-е, а институциональная ловушка — в 2000-е.

Второй блокиратор развития — низкий общественный капитал, подрванный коммунистическим террором и вновь угнетенный постсоветским капитализмом. Недоверие людей друг к другу, которое едва ли не превышает недоверие к властям, затрудняет солидарное взаимодействие российских граждан и общественную самоорганизацию даже в малом радиусе. В отсутствие коллективного воздействия налогоплательщиков-потребителей госу-

12 См.: *Афанасьев М.Н.* Российская элита развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009.

дарственным органам и должностным лицам гораздо легче принимать корыстные решения, снижать объем и качество публичных услуг. Особенно велико недоверие к политическим партиям — абсолютное большинство избирателей вполне адекватно рассматривают их как чужие предприятия по продвижению во власть и, не желая отдавать им свои голоса в траст, требуют скорейшей оплаты. При таком подходе до последнего времени также выигрывала партия власти, собравшая самых «ресурсных» людей. Сейчас ситуация меняется.

Следует подчеркнуть, что общее представление россиян о том, каким должно быть государственное устройство России, описывается конституционной нормой о правовом социальном государстве. Российские граждане вполне освоили институты политической конкуренции и обратной связи, не желают от них отказываться. В ситуации же, когда обратная связь не работает и политический выбор отсутствует, они отказывают власти в доверии и поддержке.

За двадцать лет российское общество пережило два больших разочарования. Сначала в демократах, постоявших горой за свободу «невидимых рук» рынка. Потом в государственниках, показавших государственное регулирование вручную. Сегодня все хотят другого качества государства и динамичного национального развития. Между тем президент Д.А.Медведев¹³, провозгласивший курс на модернизацию, пока ни народом, ни элитой не воспринимается как самостоятельный правитель. А «национальное лидерство» Путина уже выглядит воплощением национальной инерции.

Перенапряжение административно-информационного ресурса более не в состоянии компенсировать общее нежелание россиян голосовать за партию власти. Даже по официальным, с множеством приписок в пользу этой партии, результатам осенних 2009-го и весенних 2010 года выборов видно, что в России больше нет «путинского большинства». Но и никакого другого политического большинства в стране пока тоже нет.

Рост голосования за партии думской оппозиции не перекрывает нарастающего отказа избирателей от участия в выборах. Марионеточные партии не привлекают публику. Как и попытки ряда бывших федеральных политиков и бюрократов поднять знамя непримиримой борьбы за демократию. Большинство российских граждан разговоры о демократии воспринимают вполне рационально. Во-первых, они оценивают тех, кто претендует стать главными демократами. Во-вторых, они опасаются развала разложившегося государства. В-третьих, они смотрят в корень: российские граждане даже без сложной политической теории знают, что в основе демократии лежит деконцентрация ресурсов. Поэтому они ждут не «пиара», а предложений по существу.

13 Обсуждение проходило в мае 2010 г.

Игорь КЛЯМКИН: Наверное, у присутствующих есть вопросы к докладчику. Но прежде чем предоставить возможность их задать, хочу, чтобы Михаил Николаевич отреагировал на мои замечания, высказанные во вступительном слове. Я имею в виду вопрос о кризисе культуры и его природе.

Михаил АФАНАСЬЕВ: Ограничусь необходимым уточнением: представленные мною тезисы отнюдь не предполагают и не доказывают того, что с культурой у нас все в порядке. Это, очевидно, не так. Я не утверждаю, что нет кризиса в культуре. Это данность самоочевидная — кризис налицо.

Игорь Моисеевич Клямкин поставил вопрос: это кризис развития российской культуры или кризис ее конца? Мы этого сейчас не знаем. И узнаем только тогда, когда либо наступит конец, либо продолжится развитие.

Думаю, наша интеллектуальная задача состоит сегодня не в том, чтобы, не сходя с этих мест, дать определение кризису культуры. Задача в том, чтобы сориентироваться в ситуации кризиса и найти более подходящие действия, необходимые для того, чтобы он все-таки оказался кризисом развития нашей культуры, а не ее финалом. Такова интенция моего текста, и я хочу, чтобы именно так он был связан с заявленной общей темой семинара.

Вадим МЕЖУЕВ (главный научный сотрудник Института философии РАН): В чем Ваша концепция истории русской культуры расходится с концепцией Александра Янова?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Примерно в том же, в чем она расходится с концепцией Милюкова. Я придерживаюсь общего с Милюковым, а также и с Яновым, взгляда на европейство как на одно из начал русской культуры. Отличие же моей концепции историографическое, но в то же время фундаментальное. Европейское начало русской культуры я вижу именно в ее начале, уже в самом генезисе Руси. Если это не так, то позднейший русский европеизм сводится к внешнему влиянию, более или менее случайному, более или менее сильно-му. Янов даже увереннее, чем Милюков, усматривает начало русского европеизма в XV веке. Я же полагаю, что европейским является сам нациогенез, само возникновение русской государственности, когда из группы весьма разрозненных восточнославянских племен возникло новое политическое качество. Вот здесь я вижу различие концепций.

Эмиль ПАИН (профессор Высшей школы экономики): Доклад распадается на две части. Одна его часть — это обоснование исконно европейского происхождения России и ее культуры, а вторая — характеристика современных российских проблем: «силовики» приватизировали власть в стране, где общества либо вовсе нет, либо оно разомкнуто. Мой вопрос: как связаны эти части? Каким образом идея признания исконной европейскости России может

повлиять на решение названных социально-политических проблем? Что, «силовики» отдадут власть, и общество сомкнется?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Конечно, посредством одного исторического экскурса не решить проблему выхода нации из того тупика, в котором она находится. Но, наверное, все согласятся, что существенным элементом и фактором сегодняшнего российского тупика является проблема национальной самоидентификации. Сегодня абсолютно доминирует взгляд на российскую нацию и культуру — в первую очередь политическую, — как на континуальное продолжение русской традиции, а эта традиция характеризуется набором хорошо известных стереотипов. Поэтому, оппонируя расхожим оправданиям сегодняшнего порядка ссылками на русскую политическую культуру, я специально обратился к русской традиции.

Я считаю, что у тех людей, которые объявляют себя монопольными обладателями прав на аутентичную русскую традицию, необходимо отобрать эту важнейшую стратегию. Без этого нельзя серьезно продвинуться дальше. В этом я вижу важную задачу, на это направлен доклад и вообще мои размышления.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»): В докладе написано, что в число регионов с гражданской активностью выше среднего входят Архангельская, Вологодская и Кировская области. Но я смотрел работу Леонида Смирнягина, в которой эти области фигурируют среди регионов с самым низким интеллектуальным потенциалом. Это регионы, которые даже не смогли написать сами свои уставы...

Михаил АФАНАСЬЕВ: Во-первых, это написано не у меня. Это цитата из работы сотрудников Высшей школы экономики. Их материал я привожу для того, чтобы проиллюстрировать интересную перекличку исторических данных с сегодняшними социологическими. При этом я не берусь сравнивать разные мнения и исследования в современной политгеографии.

Во-вторых, специфика у выделенных регионов, на мой взгляд, есть. Те, кто занимался в 1990-е годы, когда этим еще можно было заниматься, анализом электорального поведения (сегодня электоральная статистика не дает возможности для объективного анализа), помнят, что северные регионы отличались от других. Даже существовало понятие политического феномена такой-то географической широты: демократическое голосование — севернее, а недемократическое — южнее.

Эмиль ПАИН: Мне кажется опасным, когда мы говорим о русских, о русской культуре применительно к территориям Украины и Беларуси. Вы действительно считаете, что там были русские?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Дело не в том, что я считаю. Там жило население, которое себя называло Русью, «руси́нами». Пишется с одним «с», второе «с» появилось в Московии. Это население образовалось в результате перемешивания восточнославянских племен в рамках одного мира — Руси, которая была объединена общей политической жизнью и общей культурой.

Эмиль ПАИН: Вы имеете в виду...

Михаил АФАНАСЬЕВ: Я имею в виду Новгородскую Русь, Литовскую Русь и Московскую Русь. Это три наследницы Новгородско-Киевской Руси в этническом и культурном отношении. Эту общность и разнообразие изводов одного корня следует подчеркнуть. Потому что наши учебники, за редким исключением, смотрят на русскую историю как историю Московской Руси, присоединившей к себе Новгород, а на Великое княжество Литовское — как на страну, которая к русской культуре не имеет отношения. Хотя это нонсенс. Там развивалась русскоязычная культура, и европейство Литвы определялось отнюдь не только влиянием Польши — оно росло из русского корня. На мой взгляд, это наглядное доказательство того, что русская культура — европейская.

Игорь КЛЯМКИН: Не во всех этих регионах люди именовали себя Русью. На территории будущей Московии жили в основном финно-угорские племена, колонизированные Рюриковичами...

Вадим МЕЖУЕВ: Мне иногда кажется, что некоторые историки усматривают в культуре некоторое объективное состояние, которое можно описать и измерить с той же точностью, с какой, например, мы измеряем температуру тела. Но есть ли такой градусник, который позволяет объективно судить о состоянии культуры, о ее здоровье или болезни? Что имеется в виду, когда говорят о кризисе культуры? В каких единицах можно измерить этот кризис? Во всяком случае, судить о нем нельзя по аналогии с кризисом экономическим или политическим. Расцвет культуры не всегда прямо совпадает с экономическим подъемом, а последний не всегда сопровождается подъемом духовным. Примером могут служить Германия и Россия XIX века.

Игорь КЛЯМКИН: Мы и хотим разобраться в природе кризиса, переживаемого российской культурой. Равно как и в том, каким «градусником» этот кризис можно измерить.

Михаил АФАНАСЬЕВ: Должен оговориться, что я не историк культуры и не культуролог. Будучи историком по базовому образованию, кандидатом философских наук и доктором социологических наук, я — практикующий политолог.

Если говорить о «градуснике», то есть способах измерения, то они разные у людей, практикующих разные дисциплинарные дискурсы. Как политолог и как историк, я использовал два «градусника». Мы можем брать культурные артефакты и сравнивать аналогичные культурные артефакты у разных народов. Этим как раз Милюков занимался. Он рассматривал традиционные русские институты, главные русские идеологемы, прослеживал их формирование и сравнивал с европейскими аналогами. И вдруг обнаруживалось, что, казалось бы, самые своеобычные наши понятия заброшены к нам с Западной или с Южной Европы.

Это — способ сравнения, сравнительного анализа. А еще есть способ политологического анализа. Мы судим, о политической культуре по тому, за каких политиков, за какие партии голосует население. Это очень распространенная аргументация, когда в подтверждение оценок политической культуры приводятся электоральное поведение, результаты выборов. И я тоже пытаюсь судить о политической культуре, анализируя мотивы и эффекты электорального поведения.

Игорь КЛЯМКИН: То есть если голосует за Путина, значит — не европеец, а если против, то европеец?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Я как раз не думаю, что это так. А как я думаю, изложено в докладе, где анализируется мотивация электоральных предпочтений.

Игорь КЛЯМКИН: Вопросов больше нет. Давайте перейдем к обсуждению. Первым просил слова Игорь Григорьевич Яковенко.

Игорь ЯКОВЕНКО (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «Если бы в России была жива та культурная традиция, которая рисуется в докладе Афанасьева, то нынешний патерналистский выбор большинства населения был бы невозможен»

Доклад Михаила Николаевича вызвал у меня сложные чувства. Я согласен со многими тезисами. И, прежде всего, с центральным: партия модернизации получает шанс на стратегическую победу только тогда, когда докажет соответствие своих целей национальной идентичности. Я могу сказать ровно то же самое. Но дальше включаются научная добросовестность и интеллектуальная честность. И, в конце концов, соображения прагматического порядка. Они сводятся к тому, что если мы будем фантазировать по поводу идентичности и придумывать ее, то эта сконструированная штука будет уязвима для критики и вряд ли мы на ней слишком далеко уедем.

Остановлюсь на некоторых положениях доклада, которые кажутся мне сомнительными.

На самой первой странице цитируется Милюков: русская культура есть самобытный извод европейского корня, исторически запаздывающий и в сравнении с синхронной ему европейской культурой относительно примитивный. Но если это самобытный извод того же самого корня, то он может «запаздывать» либо потому что возник слишком поздно, либо потому что он, будучи похожим на корень европейский, все же качественно другой. А дальше я обращаю ваше внимание на фундаментальный факт мировой истории, который состоит в том, что мир протестантский и католический выстоял против исторического натиска ислама, длившегося семь веков, а потом породил из себя историческую динамику. А мир православия в лице Византии, в котором Михаил Николаевич находит истоки русской европейскости, рухнул, просто исчез, будучи поглощенным этим самым исламом.

Суверенное православное государство сохранилось в медвежьем углу, в России, которая до того была под Ордою. В XVIII веке оно включилось в dogoняющую модернизацию, которую до сих пор так и не смогло завершить. Почему? Потому что успехи на путях модернизации в православных странах, как мы сегодня видим, приходят только тогда, когда секуляризация в них заходит достаточно далеко. Если же этого нет, то сторонники модернизации (такие, например, как тот же Милюков) оказываются в сложном положении. Главная психологическая травма русских интеллектуалов рубежа XIX–XX веков в том-то и состояла, что, с одной стороны, они видели себя православными, а с другой — не могли не понимать реального положения вещей. Они не могли не понимать, что Византия сохранила историческое наследие античности, но породить исторически перспективную, динамичную цивилизацию не смогла. Однако Милюков не был бы самим собой, если бы он смог это произнести и признать.

Прошло сто лет. Достаточно ли этого, чтобы отдать себе ясный отчет в исторической бесперспективности нашего «самобытного извода европейского корня», нашей культурной преемственности с византийской православной традицией? И настолько ли глубоко зашла у нас секуляризация, чтобы открыть дорогу модернизации? У меня на сей счет большие сомнения. А по поводу традиций — не только византийских, но и самобытно-российских, на которые она могла бы опереться, сомнений еще больше. И исторические экскурсии Михаила Николаевича эти сомнения не развеивают.

В докладе говорится, например, о «варварской модернизации», якобы осуществленной на Руси варяжскими князьями. Но это — неправомерное расширение понятия модернизации. Под ней понимается обычно переход от традиционного общества, находящегося на государственной стадии эволюции, к обществу современному, от имманентно экстенсивного состояния к имманентно интенсивному. В Киевской Руси ничего такого не наблюдалось, а потому «варварская модернизация» — вольное использование термина, которое

вряд ли можно считать убедительным доказательством тезиса о русской европейской идентичности.

Далее, в докладе упоминается торговый капитал, выраставший из военно-коммерческого предпринимательства. Да, это в Киевской Руси было, это чистая правда. Но мировая история свидетельствует и о том, что торговый капитал, вырастающий из военно-коммерческого предпринимательства, совсем не всегда нес в себе историческую динамику. Он мог породить что-то перспективное в дальнейшем, а мог оказаться исторически тупиковым предприятием.

К примеру, военно-коммерческое предпринимательство финикийцев не перевело их на следующую ступень развития. А скажем, у греков оно вначале тоже имело место, но потом они смогли изобрести античность, то есть создать исторически перспективную цивилизационную модель, способную к саморазвитию. Повторяю: ранние формы военно-коммерческого предпринимательства могут содержать в себе потенцию исторического развития, а могут вести в тупик. Наш случай оказался как раз тупиковым.

Неправомерным выглядит и использование в докладе термина «возрождение» применительно к Московии XIV–XV веков. Что именно она могла возродить? У этого термина есть две трактовки. Первая и общепринятая заключается в том, что Возрождение — уникальный феномен, который реализовался в определенную эпоху на территории бывшего античного мира. Вторая трактовка разрабатывалась в 60-е годы XX века, когда под возрождением понималась ситуация, в которой цивилизации второго или третьего цикла актуализировали наследие предшествующего развития. Так случалось в Китае. Но к нашему случаю ни первая, ни вторая трактовки неприменимы.

На пространствах, где не ступала нога римского legionера, возрождение в его европейском понимании невозможно. Но и в другом его толковании, о котором я говорил, оно в Московии XIV–XV столетий было невозможно тоже. Когда у тебя, как в Китае, за спиной 40 поколений людей, живших в государстве и цивилизации, — это один рисунок социальной и культурной реальности. Это определенная ментальность, определенное предметное тело культуры, определенные традиции. Когда же у тебя за спиной всего пять-шесть поколений, живших в государстве, и неолитические стоянки в качестве материальных свидетельств предшествующей истории, то это совершенно другой расклад. И это как раз наш с вами расклад. Мы должны понимать это и помнить об этом. Мы живем в стране, где в начале XX века крестьяне верили в реальность существования Опонского царства, то есть в жизнь без государства и без цивилизации.

Не вдохновило меня и то, что в докладе Михаила Николаевича говорится о Новгороде. Новгородская Русь конца XV века названа автором процветающей. Это насилие над историей. В конце первой половины XV века Василий Темный громит Новгород, в котором укрывался Шемяка. И уже тогда Новго-

род признает главенство Москвы, потому что она была сильнее. А в 1478 году Иван III просто присоединяет новгородские земли к Московии. Напомню, что в 70-е годы прошлого века в Советском Союзе ходило выражение: «Волк — санитар леса». Так вот, Москва, съев Новгород, явила себя таким хищником-санитаром, который добивал государства, переживавшие глубочайший кризис. И тут я должен сказать одну вещь, о которой, по-моему, никто не говорит.

Дело в том, что торговые города или торговые государства по своей природе болеют локализмом. Это способ мышления, который их конституирует. Они не способны к интеграции больших пространств и не создают устойчивых интегрированных империй. Торговые города-государства на это не способны. Поэтому, кстати, они не могут породить и зрелый капитализм, который нуждается в широком пространстве для развития рынка. Они могут существовать на стадиях докапиталистической торговли, но конкуренцию с крупными государственными образованиями они не в состоянии долго выдерживать и на этих стадиях.

Именно поэтому Карфаген проиграл Риму. Рим создал империю, которая смогла мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы Карфаген разбить. Заметьте, карфагенские колонии, когда шла Вторая Пуническая война, объявляли себя нейтральными, поддерживать свою «метрополию» они отказывались. И еще замечте: в Европе есть два пространства, где города-государства были сильны в средневековье. Это Германия и Италия. На этих пространствах национальные государства возникли лишь в 60-е годы XIX века. А возникнув, столкнулись с наследием упомянутого мной локализма. Не зря итальянские интеллектуалы говорили в то время: «Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев». То же самое относится к немцам. Локализм сознания, присущий торговой республике, принципиально важная вещь. О ней надо помнить, когда мы рассуждаем и о российской истории. Новгород не мог стать реальной исторической и культурной альтернативой Москве.

Теперь относительно того, хотят ли современные россияне демократии. Думаю, автор прав в том, что спрос на нее возрастает, что есть такая тенденция. Но есть и общественный договор, который конституирован первым избранием Путина. Общество обменяло свою политическую субъектность и свою политическую свободу на патернализм и гарантию устойчивого роста, пусть и самого скромного. Конечно, такой выбор общества не является окончательным. Но он состоялся, и мы должны это осознавать и осмысливать.

Да, в докладе осмысление этого присутствует, и я в данном случае со многим в нем согласен. Но ведь такой выбор имеет и общекультурную составляющую. Если бы в России была жива та культурная традиция, которую рисует Михаил Николаевич, то патерналистский выбор большинства был бы невозможен. Также невозможен был бы и беспредел, о котором в докладе говорится применительно к правам собственности.

В обществах с устойчивыми демократическими традициями, предполагающими неприкосновенность законной собственности граждан, многие эпизоды и прошлой, и современной российской истории были бы немыслимы в принципе. При наличии таких традиций, если власть вдруг утрачивает чувство реальности и начинает творить беспредел, население просто вешает агентов этой власти на деревьях. И знаете, это дисциплинирует. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Игорь Григорьевич. Пафос Вашего выступления, как я понял, заключается в том, что линию исторической и культурной преемственности нельзя прочерчивать, апеллируя к тенденциям, которые оказались нежизнеспособными. Но значит ли это, что европеизация России, если таковой суждено состояться, обречена начинаться с исторического и культурного нуля? Ведь та же секуляризация, в которой Вы видите главное условие российской модернизации, началась в стране не сегодня и даже не вчера. Думаю, что здесь есть предмет для обсуждения, и надеюсь, что разговор на эту тему будет продолжен.

Алексей Алексеевич Кара-Мурза, пожалуйста.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Почему столь мощная либеральная интеллектуальная традиция, постоянно присутствующая в русской мысли, до сих пор проигрывает политически?»

Михаил Николаевич выступил перед нами не как социолог или историк, а как идеолог. Текст, который им представлен, это идеологический текст. И обсуждать нам, как я понял, он предлагает не конкретную историю XIV, XV или какого-то другого столетия (для этого нужен совсем другой состав экспертов), а нечто иное.

Главная посылка доклада заключается не в том, что кто-то переврал историю России, и надо бы восстановить истину, а в том, что надоела эта сурковская пропаганда о том, что Россия имеет какой-то особый цивилизационный генотип, который прямо противоположен демократии, либерализму, европеизму. Эта идеологема — опасный миф. И вопрос в том, надо ли противопоставлять ему другой миф, другую идеологию?

Как многие здесь знают, я всегда был сторонником такой идеологической альтернативы и даже дал ей название — «либеральное почвенничество». И альтернатива эта — не выдуманная, она глубоко укоренена в российской истории. В русской культурной почве — огромное количество либеральных интенций, которые надо только политически актуализировать. Либеральные идеи глубоко пропитывают отечественную интеллектуальную традицию, что и позволило нам издать в «Либеральной миссии» огромную, почти тысячестраничную антологию русского либерализма.

Кстати, приверженцы других политических идеологий ничего подобного не издали. Нет ни антологии русской консервативной мысли, ни антологии русской социалистической мысли. И понятно, почему: совкуплять Сталина с Чернышевским на социалистический манер или Сталина с Карамзиным на манер консервативный — это смешно. А мы смогли написать реальную историю русской либеральной мысли, имеющей глубинные мировоззренческие основания и проекции в обществе. Но факт и то, что интеллектуальная традиция, в этой мысли постоянно воспроизводящаяся, политически пока что проигрывает.

Отсюда вопрос: почему так много либерализма в почве и почему он, тем не менее, проигрывает политически? Ответить на него и призван, по-моему, проект, заявку на который я усматриваю в докладе Афанасьева. Ответить так, чтобы исключить дальнейшие проигрыши. Или, по меньшей мере, тому способствовать. И Михаил Николаевич показывает нам, что успех возможен, что игра стоит свеч. Он показывает, что мы можем составить хороший идеологический пасьянс и обыграть любого.

При этом перед нами не стоит вопрос о том, что является исторической правдой в последней инстанции. Конечно, исторических натяжек, а тем более ошибок быть не должно. Но воевать по поводу того, чем была Россия исторически, можно еще тысячу лет. А о том, что делать с современной Россией, с ее нынешней идеологией, надо думать уже сейчас. Но это значит — думать и о том, возможна ли генерализация русской истории с либеральной позиции и на либеральную перспективу.

С этой позиции, кстати, кое-что видно даже из окна кабинета, в котором мы находимся. Вон там — Нарышкинские палаты, где, по многим данным, родился Петр Алексеевич Романов; здесь он родился, а не в Кремле. А вон там — дом, в котором жил Борис Николаевич Чичерин, один из крупнейших русских либеральных мыслителей. С этой же позиции смотрит на отечественную историю и Михаил Афанасьев, и его идеологически заостренный взгляд заслуживает нашего внимания именно потому, что он идеологически заострен.

Разумеется, такой проект, повторю, должен быть исторически корректным. Разумеется, для его экспертизы нам нужны профессионалы. Но я бы не хотел, чтобы в своем увлечении критическим анализом предложенных интерпретаций исторической конкретики мы сразу же поставили под сомнение сам проект.

Игорь КЛЯМКИН: Доклад Михаила Николаевича действительно представляет собой заявку на идеологическую интерпретацию российской истории, на фиксацию в ней политико-культурных точек опоры для европеизации. Но вопрос-то в том, в каких периодах эти точки искать. В киево-новгородской эпохе, как предлагает докладчик? В первом послемонгольском столетии, на чем настаивает Александр Янов? В послепетровской России, в которой появи-

лась упомянутая Алексеем Кара-Мурзой русская либеральная политическая мысль? Где-то еще? Ведь именно об этом мы не можем договориться, и именно в этом я вижу смысл едва ли всех наших дискуссий о российской истории. Сегоднешней — в том числе.

Слово — Эмилию Паину.

Эмиль ПАИН: «Вместо войны мифов нужна демифологизация истории»

Поскольку доклад Михаил Николаевича мотивирован не только сугубо исследовательским интересом, но и прикладными политическими задачами, я выскажусь по поводу идеологической и политехнологической ценности главной его идеи: «Россия со времен Киево-Новгородской Руси — носитель европейской культуры, европейских ценностей».

Так совпало, что как раз в эти дня я заканчиваю редактировать сборник статей, посвященный идеологии «особого пути» в России и Германии. В этой работе немецкие и российские эксперты (историки, социологи, политологи) анализируют истоки возникновения данной идеологии. Исследователи пришли к выводу, что в периоды формирования нации и кризисов национальной идентичности даже в Германии, которая для России всегда была Европой и Западом, идея «мы — особые», «мы — не Европа» была куда более выигрышной, чем идея «мы — часть Европы». Потому что позиция «мы — не они» в условиях национально-полового созревания имеет неизмеримо большие шансы на массовую поддержку, чем позиция противоположная: «мы — часть их». И не так уж удивительно, что идею культурной исключительности своей нации в такие времена защищают даже могучие умы, как, например, Томас Манн в 1920-е годы.

Но в той же Германии в начале прошлого века были и другие интеллектуалы. И я на их стороне. Я на стороне Макса Вебера, который доказал, что *вместо войны мифов нужна демифологизация истории*, нужна рационализация знания. Это честное и порядочное занятие всякого интеллектуала, названное Вебером «расколдовыванием мира». И такое расколдовывание, если говорить о сегоднешней России, уж точно состоит не в том, чтобы одному мифу (об извечном рабском сознании русского народа, его антизападничестве и склонности к деспотизму) противопоставить другой миф (об исконной и непрерывной его европейскости). Это как раз тот самый случай, когда применима формула Сталина насчет того, что «оба хуже».

Моя позиция такова, что роль истории вообще и культурного наследия в частности, применительно к обществам, не сохранившим значительные патриархальные черты, сильно преувеличена. Я полагаю, что история культуры доказывает только то, что у народа, у нации (в политическом смысле этого слова, понимаемом как «согражданство») всегда есть выбор. Ментальные архетипы, о которых упоминал Михаил Николаевич Афанасьев со ссылкой на Милюкова, не способны предотвратить одновременное существование разных полити-

ческих установок и различий в ценностях у людей в пределах одних и тех же этнических сообществ. Так было в прошлом, когда одновременно существовали и Новгородская республика, и Великое Суздальское княжество, лишенные каких-либо признаков республиканского строя, а на Апеннинском полуострове — Флорентийская республика и Сицилийское королевство. Так же происходит и ныне. Достаточно вспомнить о двух принципиально разных политических режимах у одного народа, например, о Северной и Южной Корее.

Далее, если прошлое не создает непреодолимых барьеров для политического выбора, то оно же не дает и бонуса на вечное процветание того или иного народа. Вот, скажем, присутствующий здесь Андрей Пелипенко в споре с Александром Яновым заметил, что «не было никаких “российских Афин”», имея в виду, что Московия времен Ивана III не была аналогом республик Древней Греции. Ну а если бы даже была, то что из того следовало бы? Какой бонус выдали Афины с их республиканским строем и правовым сознанием населению современной Греции? Да и во многих других случаях о таких бонусах говорить не приходится.

Бесспорно влияние Флорентийской республики не только на развитие культуры Возрождения, но и на формирование всей европейской культуры. Однако в той же Тоскане после республики два века существовало тосканское герцогство, ставшее оплотом инквизиции. В Италии — этой наследнице римского права и республик эпохи Ренессанса — задержался процесс формирования нации, он протекал здесь более мучительно, чем во многих других странах Европы, не имевших давних республиканских традиций. Да и современный уровень правосознания населения Италии один из самых низких в объединенной Европе. Вот вам и бонус на всю оставшуюся жизнь.

Доказать позитивное влияние северных русских районов, входивших в состав Новгородской республики, на современную жизнь России еще сложнее. Михаил Николаевич в качестве такого доказательства использует классификацию российских регионов по уровню развития гражданской активности. Оказывается, что из 15 регионов, которые входят в группу с показателями гражданской активности, превышающими средние по стране, около половины (семь регионов) в какие-то века входили в состав Великого Новгорода. Но это не очень-то убедительное доказательство исторического влияния так называемого «северного ренессанса» на современную жизнь России.

Во-первых, в первую группу регионов, имеющих самый высокий уровень развития гражданской активности, входят территории, которые никогда не входили в состав новгородских земель. Это четыре самых богатых наших региона — Москва, Московская область, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Думаю, что и без привлечения данных истории и культурологии легко отгадать, почему именно эти субъекты Федерации находятся в лидерах и чем они похожи друг на друга. Вряд ли культурная традиция позволит объяснить, почему в этой четверке оказался Ханты-Мансийский округ. По

крайней мере, это трудно связать с традициями его коренного населения — хантов и манси.

Во-вторых, и те семь регионов, на которые ссылается автор доклада, имеют лишь сугубо географическую связь с Новгородской республикой. Например, Карелия никогда не была органической частью этой республики, поскольку существовала в ней на правах колонии, завоеванной территории, после чего стала частью Шведского королевства. Но вряд ли современная Карелия может быть носителем и шведской культурной традиции, поскольку ее население с тех пор кардинально изменилось. В XVI веке она была населена преимущественно народами угро-финской группы. В 1926 году представители этой группы (карелы) составляли уже только около половины ее населения, а сейчас и того меньше — около 9 процентов.

Пермская область тоже когда-то входила в состав Великого Новгорода. Не буду говорить, какие народы тогда составляли в ее населении большинство. Замечу лишь, что в 1940-е и послевоенные годы его состав изменился более чем на 60 процентов. Мой приятель, уже упоминавшийся здесь известный географ Леонид Смирнягин так характеризует процесс радикальной смены состава населения: «Адрес остался, а жильцы сменились». Но носителем культурных традиций является все же не адрес, а жильцы.

Так что никакой непрерывной культурной традиции Великого Новгорода, на мой взгляд, не существовало, и трудно доказать обратное. Это не имеет и практического смысла. Михаил Николаевич и сам понимает, что в российских условиях уровень трансляции традиций и сохранности социальных институтов, которые их поддерживают, очень невысок. Какой же смысл доказывать наличие исторических корней современного российского западничества, если эти корни выкорчеваны?

Михаил Николаевич, тем не менее, полагает, что смысл все же есть, и видит его в возможности использовать историко-культурное почвенничество для легитимации западных норм в современной России. Но я уже говорил, что сомневаюсь в пользе такой политической технологии. И, прежде всего, потому, что в России, где процесс формирования политической нации остается незавершенным, спрос на идею «особого пути» выше, чем на противоположную идею идентификации своего народа с какой-то большей общностью. Например, с европейской. Сошлюсь на публикации М. Магуна, в которых показано, что Россия вместе с Тайванем делят последнее 33 место среди обследованных стран мира по степени отождествления граждан со своим континентом. То есть большинство россиян не считают свою страну ни частью Европы, ни частью Азии: «Россия сама по себе, у нее особый путь». Вот на это и есть спрос.

Сказанное подтверждается и другими особенностями массового сознания наших сограждан — в том числе и его чрезвычайной историцизованностью. Международные кросскультурные исследования показывают, что россияне

больше, чем жители других европейских стран, черпают основания для гордости своей страной в ее прошлом. Но какое прошлое их интересует? Их интересуют, прежде всего, великие победы: «Мы им показали» или «мы их всех спасли». Это значит, что интерес к отталкиванию от Европы и Запада опять-таки явно преобладает над интересом к поиску общих с Западом корней. А это, в свою очередь, означает, что концепции, выдвигающие на передний план культурное родство России и Европы, не могут пользоваться большим спросом.

Слабый интерес к ним обусловлен вовсе не тем, что люди о них плохо осведомлены. Возможно, историческая концепция Милюкова сейчас забыта, но аналогичная по своей функции концепция Янова достаточно широко известна. Однако и она не внесла переворота в массовое сознание. И это — судьба всех подобных концепций, отличающихся друг от друга лишь временем отсчета европейской истории России — от Великого Новгорода, от Ивана III или Петра I.

Повторяю: спроса на подобные идеи в современной России нет. А когда такой спрос появляется? Такое происходит в периоды модернизации, когда общество стремится к обновлению, к переменам. Тогда Запад из объекта отталкивания становится объектом для подражания. В таких случаях может возникнуть и стремление обосновать актуальный интерес людей к вестернизации ссылками на европейские корни России. *История в политтехнологических конструкциях выступает средством легитимации новых социальных и политических интересов за счет придания им образа исторической традиционности.* Отсюда мой вывод: если уж ставится задача исторической легитимации либерализма и западничества в России, то вначале она может решаться только посредством изменения актуальных интересов общества, их рационализации. И лишь затем уже эти новые интересы могут потребовать опоры на исторические мифы, новоделы, квазитрадиции.

Рациональные и мифологические формы массового сознания всегда будут сосуществовать. Вопрос — в каких пропорциях. На мой взгляд, массовое сознание жителей России ныне перегружено историческими мифами. Поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы рационализировать сознание, указывая на научную несостоятельность и политическую опасность утвердившегося мифа об «особом пути» России. И одновременно препятствовать нагромождению новых мифов. Надеюсь, что смогу опереться в этом на помощь «Либеральной миссии».

Игорь КЛЯМКИН: Такому сотрудничеству будем только рады. Но я не могу не отреагировать на то, что, по сути, Эмиль Абрамович объявил проблематику, обозначенную в обсуждаемом докладе, неактуальной. Сначала, мол, надо рационализировать массовые интересы, а все остальное — отложить на потом. Но у меня возникают вопросы, которые я адресую всем присутствующим.

Надо ли нам за точку отсчета брать сегодняшнее состояние массового сознания? Если надо, то правомерно ли утверждать, что для рационализации интересов в нем сегодня больше смысловых опор, чем для исторического просвещения? И насколько правомерно уходить с историко-культурного поля в ситуации, когда на этом поле наблюдается целенаправленное наступление традиционалистов, стремящихся к монопольному утверждению своей исторической мифологии? Наконец, где гарантии, что, отложив дискуссию о «европейских корнях» до лучших времен, мы сумеем договориться относительно их понимания, когда эти времена наступят? Ведь и тогда кто-то будет говорить, как Михаил Афанасьев, о европейскости киево-новгородской, кто-то, как Александр Янов, о европейскости Ивана III, а кто-то, как Игорь Яковенко, опровергать тех и других... Так, может быть, все эти позиции есть смысл испытать в публичном диалоге уже сегодня?

Таковы вопросы, навеянные интересным выступлением Эмиля Паина. Возможно, они покажутся вам заслуживающими внимания. А теперь — слово Наталье Евгеньевне Тихоновой.

Наталья ТИХОНОВА (заведующая кафедрой социально-экономических исследований Высшей школы экономики): «Граница европейской культуры проходит там, где... кончаются ратуши»

Будучи социологом, я воспринимаю обсуждаемые здесь проблемы несколько со стороны. Поэтому, может быть, некоторые из предлагаемых для их решения подходов кажутся мне звучащими наивно, а порой и не очень понятными. Видимо, присутствующим они ясны, а мне, как человеку со стороны, не очень.

Начну с того, о чем Эмиль Паин уже кое-что сказал. Когда разрабатывается какой-то идеологический проект, то нужно понимать, на кого он будет рассчитан. Мы можем, конечно, потратить силы, доказывая, что Сурков неправ, но я не думаю, что проект предполагается адресовать ему. Наверное, речь идет о более широкой общественности. Но эту общественность, могу утверждать с полной уверенностью, подобные вопросы не волнуют.

Время, когда был запрос на формирование новой идеологии (вместо утраченной старой), длилось достаточно долго. Однако уже лет шесть-семь такой запрос эмпирически не фиксируется. То есть мы можем в своем кругу обсуждать вопросы, связанные с историей страны и ее интерпретацией, но люди будут слушать не нас, а руководствоваться тем, чему учат в школах и вузах. Можно, конечно, пытаться воздействовать на то, чему там учат, но это совсем другая задача.

Так что ни цель, ни смысл, ни адресат инициированного идеологического проекта мне непонятны. К тому же я вообще не очень люблю всякие идеологические вещи, хотя с Сурковым и не согласна. Мне кажется, нам нужно научное знание о реальности, а не идеологизированные о ней представления, которых и без того предостаточно.

Теперь о том, что касается культуры. Если бы мы говорили о культуре вообще, это был бы один дискурс и один круг вопросов, которые я была бы готова обсуждать. Но в докладе речь идет о культуре политической, а в эту область я глубоко залезать не рискну. У меня есть свое мнение на сей счет, но это не мнение специалиста.

Руководствуясь простым человеческим интересом, я попробовала определить для себя, где у нас проходит граница европейской политической культуры. И пришла к выводу, что она проходит там, где... кончаются ратуши. Когда в центре города стоит ратуша, которая в свое время объединяла выборных людей, то там формировался один тип политической культуры, а там, где стоял дворец правителя, там — другой ее тип. Если нет выборности органов власти, которые принимают решения, то нет и соответствующих политических и управленческих практик и, следовательно, нет соответствующих элементов в культуре.

В докладе Михаила Николаевича говорится о готовности нашего населения к демократии и настроенности на нее. Что можно сказать по этому поводу? Демократия, как известно, не сама по себе хороша. Она — инструмент согласования интересов разных групп, когда существует плюрализм этих интересов и надо каким-то цивилизованным способом их примирять. Для этого необходимы соответствующие механизмы, которые в развитых демократиях хорошо работают. Но для того чтобы был запрос именно на такое понимание демократии, нужно, во-первых, чтобы объективно существовал плюрализм интересов. И чтобы не было противопоставления: есть, мол, «мы», то есть народ, который давят, угнетают и обижают, и есть «они», то есть люди, которые где-то там хорошо живут за наш счет. А во-вторых, нужно, чтобы плюрализм интересов проявился в осознании этого плюрализма, после чего только и могут начаться попытки борьбы за интересы соответствующих групп.

Я специально смотрела, как меняются у нас нормативно-ценностные системы населения. Сначала человек осознает, что он сам по себе что-то значит помимо общности, в которую включен, что он и его семья могут на что-то претендовать. Потом он начинает осознавать свои определенные интересы. Потом возникает потребность в защите этих интересов не как члена какой-то группы, а как отдельно взятого индивида. Потому что до осознания себя членом группы надо еще дойти, надо понять, к какой группе ты себя причисляешь.

Но этого у нас пока почти нет, это только начинается. Перестав ощущать себя просто винтиком системы, люди не дошли еще до понимания столь сложной модели общества, которая предполагается для развитой демократии. Однако они уже поняли, что полагаться только на себя не могут. В этом отношении перелом произошел где-то в начале 2000-х годов.

Люди начали осознавать, что механизмов защиты своих интересов у них нет: на взятки денег не хватает, суды не работают, жаловаться некому. А сама

бесчисленность жалоб граждан в различные инстанции лишь подтверждает, что механизмы обратной связи не работают. Это и приводит к сдвигам в сознании: сегодня уже примерно 20 процентов населения отдают себе отчет в том, что незаконно у нас не потому, что конкретный судья плохой, а потому что система так работает. Но это еще не большинство, хотя уже солидная часть общества.

А осознанная потребность в демократии, предполагающая и установку на групповую солидарность, формируется еще медленнее. Да, люди согласны с тем, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, и жить в демократически устроенном обществе, чем в авторитарном. И это свое желание они, кстати, ни на что не обменивали, как кто-то здесь утверждал. Просто потому, что обменивать было нечего: к началу 2000-х годов никаких особых политических прав и свобод у массы рядового населения не фиксировалось. Но такое желание жить в демократическом обществе само по себе еще не свидетельствует о готовности это желание реализовать и понимании того, как это делается.

А неготовность определяется в том числе и тем, что нынешняя ситуация является результатом нескольких волн разочарования. Вспомните всплеск пассионарности в стране в конце 1980-х, когда в Москве по 300 тысяч человек выходили на митинги, когда люди сбегали с работы, чтобы смотреть Съезд народных депутатов, когда из Зеленограда в Москву шли многотысячные толпы манифестантов. А почему этого нет сегодня? Потому что люди не знают, кого им поддерживать, за кого бороться. У нас что, есть альтернативные фигуры? За Касьянова или за Каспарова бороться? Но население не верит, что при них, приди они к власти, ему будет лучше.

У нас вообще очень умное население — не надо его недооценивать. Наши люди — прагматики. Они стали таковыми, потому что иначе бы не выжили в тех условиях, в которые их поставили.

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): Только прагматика ими движет и ничего больше?

Наталья ТИХОНОВА: Да, только прагматика. И уж точно не идеология, которая востребуется совсем другим типом сознания. Понимаю, что нам грустно это констатировать, потому что мы — представители другой ветви культуры. Не той, какая теперь формируется. Это — не культура модерна, которая была в Западной Европе, а совсем другая. И формируется она не только в России. Тот же расцвет прагматизма с ориентацией на материальные ценности наблюдается в Китае, в Латинской Америке. Здесь мы воспроизводим общие модели, хотя эти модели и не европейские.

С другой стороны, я не вижу в происходящем оснований для очень уж большой печали. Мы же хотим, чтобы массы боролись за свои интересы? Так вот,

когда эти интересы осознаются, люди и борются, причем порой достаточно последовательно, оказывая влияние на власть. История с протестами против монетизации льгот — отнюдь не единственная...

Евгений ЯСИН: А в советский период боролись за сохранение памятников. И за экологию...

Наталья ТИХОНОВА: Если говорить об обычных людях, то они борются за то, от чего видят какой-то эффект для себя. А от демократии, предполагающей смену лиц во власти, они для себя выигрыша не видят. От того, что у нас одна группа элит сменил другую группу элит, люди позитивных перемен в своей жизни не ждут. Потому что нет в России такой группы элит, которая выражает интересы населения, и оно это прекрасно понимает. Времени — более 20 лет — было достаточно, чтобы прийти к такому пониманию.

Элиты отбирают в себя людей по определенным критериям. И когда у нас в начале 1990-х годов появились яркие фигуры, их из элиты быстро выдавили, потому что их не воспринял наш политический класс. А другие из кресел руководителей отделов райисполкомов взлетели очень высоко. И культура общества, думаю, здесь ни при чем. Речь надо вести о культуре элит. И кризис культуры, о котором мы говорим, это прежде всего тоже кризис культуры элит.

Ну а те, кто к ней приспосабливаться не может или не хочет, они, если есть возможность, из страны уезжают, увозя с собой и ростки культуры альтернативной. Эта новая волна исхода началась еще до кризиса, и она движима иной, чем прежде, мотивацией. Были эмигранты, мотивированные идеологически и политически, были эмигранты, уезжавшие из страны в поисках лучших условий жизни, более высокого уровня благосостояния. А сейчас уезжают люди, как правило, состоятельные, для которых неприемлемы сложившиеся в России правила игры.

Это тоже проявление кризиса культуры, под которым я понимаю кризис культуры элит. Не думаю, что на самом верху не отдают себе отчет в его углублении и проистекающих отсюда опасностях. Но сможет ли элита измениться? Может ли ее подтолкнуть к этому ее наиболее прозорливая часть? Хотелось бы ответить утвердительно, но достаточных оснований для такого ответа сегодня нет.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Наталья Евгеньевна. Вы, как и Паин, оцениваете идеологические проекты с точки зрения их текущей общественной востребованности. Такая оценка понятна и оправданна. Но есть ведь еще и опережающие проекты. Более того, не опережающими они и не бывают, если они альтернативны существующему порядку вещей. И в докладе Михаила Афанасьева, насколько понимаю, речь идет именно о таком проекте, а не о таком, который, будучи изложенным, может реализоваться с сегодня на завтра.

Следующий выступающий — Вадим Межуев.

Вадим МЕЖУЕВ: «Заключенный в русской культуре общественный идеал воспроизводит не гражданские структуры античной демократии, а значительные формы христианской “духовной общины”»

Меня сюда пригласили как культуролога, хотя я считаю себя не культурологом, а философом культуры. Между культурологией (или наукой о культуре) и философией культуры есть определенная разница подходов (как и между исторической наукой и философией истории, социологией и социальной философией). Философ видит в культуре не совсем то, что видит в ней ученый — антрополог, историк, социолог.

Чтобы пояснить эту разницу, начну с хорошо всем известной констатации — с того, как слово «культура» используется в нашем языке. Когда о ком-то говорят, что он культурный человек, то тем самым ему дают положительную оценку, а называя кого-то некультурным — отрицательную. О культуре можно говорить, однако, и как о том, что присуще любому человеку — во все времена и при любых обстоятельствах. Таким образом, данное слово имеет два значения — «оценочное» и «описательное» (нормативное и дескриптивное). С одной стороны, оно означает оценку с точки зрения некоторой нормы, когда под культурой понимают качество или свойство, которое присуще или не присуще человеку. То есть предполагается, что, наряду с «культурой», возможно и «бескультурье». С другой стороны, это слово обозначает класс элементов, существующий безотносительно к любой оценке. В науке его используют, как правило, в описательном смысле, а в философии — в нормативном, оценочном. За различным словоупотреблением скрывается и разное понимание культуры.

С научной точки зрения, любая возрастная, половая, национальная, социальная человеческая группа обладает своей культурой; она есть даже у преступников. Все их можно анализировать и классифицировать в определенном порядке. Культура здесь — то, что отличает одну группу людей от другой, она как бы расположена на границах между ними. Но можно ли отличать людей друг от друга по уровню их культурного развития, считать одних людей более (или менее) культурными, чем других? И откуда берется та норма, по которой мы судим о степени этой культурности? Вот вопрос, на который может ответить только философ. В самой философии эта норма предстает как философская *идея культуры*.

Философ ставит вопрос не о том, что отличает одну культуру от другой и где проходит граница между ними, а о том, чем является та культура, которую мы считаем *своей* в отличие от других, чужих для нас культур. И не так-то просто ответить на такой вопрос, основываясь на нашем знании об этих других культурах. Ведь не все, что мы о них знаем, является нашей культурой. Можно знать ислам и не быть мусульманином. Можно быть специалистом по китайской культуре, не принадлежа к ней. Наше знание о разных культурах никак не свидетельствует о том, кто мы по культуре

сами. Знание нейтрально по отношению к черте, отделяющей мою культуру от чужой. Если наука дает знание о многообразных культурах, сколько их есть на свете, то в составе европейской культуры только философия брала на себя функцию *культурного самосознания* европейского человека, осознания им своей культурной идентичности. И только такое осознание заключает в себе норму, по которой мы судим об уровне культурного развития разных эпох, стран и народов, о реально происходящем прогрессе или кризисе культуры.

Главным открытием гуманитарной науки XIX века стало, как известно, открытие того, что нет одной культуры на всех, что культур много. На смену культурному европоцентризму пришло представление о культурном плюрализме. Отсюда, кстати, и появление наук о культуре. Ведь с чужими культурами мы связаны посредством, прежде всего, знания о них.

Сегодня о существовании множества культур осведомлен любой студент, и о каждой из них он может что-то рассказать. Но людям, особенно молодым, почему-то трудно ответить на вопрос о том, кто они сами по культуре, какую культуру считает своей, что в ней для них дорого и свято, от чего они никогда не откажутся. Налицо то, что принято называть кризисом культурной идентичности (или культурного самосознания), особенно обострившимся в условиях глобализации. Культурная всеядность как бы превалирует у современной молодежи над культурной избирательностью.

Игорь ЯКОВЕНКО: А сам Межуев может ответить на вопрос, кто он по своей культурной идентичности?

Вадим МЕЖУЕВ: Да, конечно. Но сначала поясню, чем, на мой взгляд, культурное самосознание отличается от просто научного знания о культуре. В качестве примера обратимся к самим себе. Допустим, мы считаем себя людьми русской культуры. Спрашивается, на каком основании? Культура ведь не передается через кровь или гены. Можно быть русским по крови и не быть им по культуре, равно как и наоборот.

Обычно указывают на язык как на главный признак культурной идентичности. Есть, однако, разные культуры, представители которых говорят на одном языке (например, испанская и латиноамериканские), равно как и культуры, представители которых говорят на разных языках (индийская, еврейская). Мы живем в эпоху билингвистики. Языком международного общения принято считать английский. Означает ли это, что человек, свободно говорящий по-английски, является представителем английской культуры? В России языком межнационального общения является язык русский. Но отсюда не следует, что народы, населяющие Россию, считают своей культурой исключительно русскую. Язык, конечно, важный показатель культурной идентичности, но далеко не единственный.

По словам Дмитрия Сергеевича Лихачева, культура — это то, что сохраняется в нашей памяти, то есть традиции. Но и на это можно возразить. Разве в культуру, помимо традиций, не входят наши цели, идеалы, надежды, наши мечты? Ведь культура связывает нас не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. Значит, и зиждется она не только на памяти, но и на воображении. Но и это еще не все. Традиции, которые идут из прошлого, и цели, которые мы ставим перед собой, всегда ли они совпадают?

В культуре, которую мы считаем «своей», многое, конечно, зависит от нашего происхождения, окружения, воспитания, но ведь многое зависит и от нас самих. В культуре, доставшейся нам от наших предков, нас может что-то не устраивать, вызывать отторжение, тогда как в культуре других народов мы можем находить для себя нечто интересное и полезное. В своем культурном бытии мы детерминированы, следовательно, не только внешней необходимостью, предписывающей нам с непреложностью природного закона определенную культурную нишу (подобно тому, как природные организмы распределены природой по классам и видам), но и нашей свободой. Граница между «своей» и чужими культурами устанавливается тем самым не только в силу независящих от нас обстоятельств, но и нашим свободным выбором.

Ее, эту границу, не всегда легко распознать, но именно она отделяет в культуре то, что подлежит научному изучению, от того, что требует философской рефлексии. Наука фиксирует в культуре то, что от нас не зависит, философия — что предопределено нашей свободой выбора. Традиция, положившая в основание культуры человеческую свободу, и сделала возможным появление философии культуры.

Вопрос о том, что считать своей культурой, каждое новое поколение, если оно рождается и формируется в условиях свободы, решает заново. Есть только одна ценность, от которой оно не может отказаться, так как отказ от нее равносильно отказу от самой культуры. Это — ценность самой свободы. Культура, с философской точки зрения, — это все, что существует в силу человеческой свободы, которую не следует смешивать ни с природной необходимостью, ни с божественным предопределением. Степень достигнутой человеком свободы, которая, конечно, разная на разных этапах истории, и определяет меру культуры, уровень ее развития. Расцвет культуры — это расширение границ свободы, ее кризис есть прямое следствие ограничения и сужения этих границ.

Игорь КЛЯМКИН: Если руководствоваться этим критерием, то кризис культуры в России налицо...

Вадим МЕЖУЕВ: А никакого иного критерия роста или падения культуры европейская философия не знает. Греки, с этой точки зрения, были правы, считая себя более культурным народом по сравнению с народами Востока, жив-

шими в условиях государственного деспотизма. При всех выдающихся достижениях древневосточных цивилизаций и культур греки намного ближе к тому, что является культурной нормой, как она предстает в философской идее культуры. Попытка поставить между всеми культурами знак равенства, уравнивать их в историческом плане и есть главный признак охватившего Запад культурного кризиса.

Теперь коротко о докладе Михаила Афанасьева. Я не считаю себя специалистом по истории русской культуры и не хочу вмешиваться в спор о том, кем русские должны считать себя — европейцами или кем-то еще. Все дело в том, что понимать под Европой (разумеется, в культурном, а не географическом смысле). Четкого ответа на этот вопрос я в докладе не нашел. Мне не всегда ясно, что автор называет Европой. Ведь не было какой-то одной Европы. Была Европа античная и средневековая, новая и новейшая, языческая и христианская, православная, католическая и протестантская, романская, германская и англосаксонская, наконец, западная и восточная. Все это разные Европы. Что же служит общим признаком принадлежности к ней? В каком смысле мы — Европа?

Для определения европейскости страны или народа я использую один критерий. Любая страна, на мой взгляд, является европейской, если она в своей истории и культуре ставит перед собой и пытается ответить на вопрос: почему погиб первый Рим?

Завоевание Рима варварами и падение Римской империи было, как известно, самым сильным потрясением в истории Европы. Ведь Рим воспринимался многими поколениями как вечный город: все минет, а он останется. Его падение было крушением не просто одной из империй, коих в истории было много, а такой, с которой связывалось представление о возможности существования вечной и универсальной цивилизации, способной рано или поздно объединить все народы. Данное представление получило название «римской идеи». Вся последующая история Европы, как я понимаю, стала возрождением и новым воплощением этой идеи.

С вопроса о том, почему погиб первый Рим, начинается средневековье (вспомним хотя бы Августина с его идеей двух градов), с него начинается и Новое время (Монтескье). Даже отцы-основатели США, творцы американской Конституции, задавались тем же вопросом. Для Запада причиной гибели Рима стала его измена своим республиканским идеалам, что привело в конечном счете к режиму личной власти, цезаризму, уничтожению гражданских прав и свобод. Симпатии здесь были на стороне республиканского Рима в противоположность Риму имперскому. Свою задачу Запад видел в восстановлении институтов и ценностей республиканского и демократического строя. И хотя путь Европы к демократии не был простым и скорым, хотя он не раз сопровождался воссозданием и распадом тех или иных подобий Римской империи, в целом он знаменовал собой возвращение к когда-то провозгла-

шенным Римом принципам гражданского общества и правового государства. Права и свободы граждан и стали для Запада моделью будущего мирового порядка, прообразом лелеемой им универсальной цивилизации.

Иной версии гибели Рима придерживалась Россия. В своем решении она ориентировалась на Рим православный (Византию), возникший после принятия Римской империей христианства и переноса ее столицы в Константинополь. Согласно этой версии, причиной гибели первого Рима стало его язычество, то есть, с христианской точки зрения, бездуховность, повлекшая за собой моральную деградацию власти и граждан. Языческие боги не смогли охранить людей от эгоизма и произвола частных лиц, от их взаимной ненависти и постоянной вражды, от состояния, когда каждый сам за себя и ему нет никакого дела до других. Православная идея, согласно которой каждый ответственен не только за себя, но и за других, и легла в основу так называемой «русской идеи».

Речь идет, разумеется, об ответственности не юридической, а моральной, не позволяющей индивиду быть счастливым в мире, в котором еще так много горя и страданий. Если главной целью христианина является спасение души, то в русском понимании ни один не спасется, если не спасутся все. Нельзя спастись в одиночку, когда каждый только за себя. Спасение каждого зависит от спасения всех. Православная этика коллективного спасения строится не просто на идее справедливости — каждому по делам его (такая справедливость есть и в аду), а на любви и милосердии к каждому страждущему, ко всем «униженным и оскорбленным».

В этом смысле «русская идея» была продолжением идеи «римской», но только на свой особый лад. Обе они суть вариации на одну и ту же тему универсального начала, которое должно быть положено в основу человеческого общежития, но только по-разному трактуют это начало. В отличие от рационально-правового формализма западной идеи, русская идея — духовно спасающая и нравственно-возвышающая. Она отстаивает верховенство сердца над отвлеченным рассудком, правды над истиной, сострадания над справедливостью, соборности над гражданским обществом, духовного подвижничества над прагматикой частной жизни. Ее противником является утилитаристская мораль с ее принципом частной пользы, индивидуальный и национальный эгоизм, приносящий в жертву своим интересам интересы других. Основанием для такой универсальности является не абстрактный и безличный разум с его формальными предписаниями, а сверхличная божественная мудрость, открывающаяся человеку в личном опыте религиозного откровения.

Заклученный в русской идее (а значит, и в культуре) общественный идеал воспроизводил не гражданские структуры античной демократии, а изначальные формы христианской «духовной общины», связующей всех узами братства и взаимной любви. Он не идеализировал эмпирическую Россию, не отрицал реального проявления в ее истории варварства и дикости, но стремился противопоставить им какой-то иной, отличный от чисто западного, путь раз-

вития. В сложном и противоречивом облике России нельзя не заметить определенного несоответствия между ее душой и телом, духовной устремленностью к вселенской, общечеловеческой правде, лишенной узко национальной заданности, и еще недостаточной экономической, политической и просто бытовой цивилизованностью. Подобное несоответствие порой вызывает у стороннего наблюдателя откровенную насмешку: что это за странные люди, рассуждающие о судьбах мира и человечества, но не способные пока наладить собственную жизнь, обеспечить себя элементарным достатком и комфортом?

Игорь ЯКОВЕНКО: Вот именно...

Вадим МЕЖУЕВ: Да, в таком наблюдении много справедливого. Но и заботясь о теле, цивилизуя его, нельзя пренебрегать собственной душой, отречься от того, во что верили и на что надеялись лучшие люди России. Сложившееся в их сознании двойственное отношение к Западу, сочетавшее признание его несомненных заслуг в области науки, техники, образования, права с неприятием выродившейся в мещанство буржуазной цивилизации, определило их собственный поиск путей развития России. Взять у Запада все ценное, но не повторять его, а пойти дальше, в сторону более справедливых, гуманных и нравственно оправданных форм жизни, — так можно определить смысл этого поиска. Россия как бы искала путь модернизации, не отрицающий опыт Запада, но и не слепо копирующий его.

Я не считаю русскую идею панацеей от всех бед. Возможно, она даже более утопична, чем европейская, но, во всяком случае, не менее универсальная. Вот почему Россия в плане культуры не просто одна из многих западноевропейских стран, а страна, равновеликая Западной Европе. Она — тоже Европа, пусть и Восточная. Она — часть большой Европы, которая состоит из двух половин — западной и восточной, одна из которых тяготеет к рационально-правовой организации общества, а другая, не отрицая первое, — к его духовно-нравственной организации. Каждая из них по-своему необходима. Откажись от одной из них, и вся Европа рано или поздно окажется в тупике.

На Западе этот тупик переживается как «закат культуры», у нас — как недостаток цивилизации. Россия с ее духовностью отнюдь не является примером благополучной и процветающей страны, но и интеллектуальный Запад испытывает явное беспокойство по поводу своей культуры. Сейчас европейский Запад теснит европейский Восток, как бы подминает его под себя, пытается интегрировать в свою цивилизацию. Но, как знать, не наступят ли времена, когда и там придется не только вспомнить, но и вернуться к тому, о чем постоянно твердили приверженцы русской идеи, к чему они звали и на что надеялись?

Вопреки мнению о том, что Россия уже сложилась как особая цивилизация, напрашивается другой вывод: она и сегодня находится в поиске своей цивилизационной идентичности, своего места в мировой истории. Поиск этот далеко не завершен, что подтверждается непрекращающимся спором о том, чем является Россия, частью Запада или чем-то отличным от него. Если Запад уже давно осознал себя как сложившуюся цивилизацию, то Россия — только как идею (разумеется, по-разному трактуемую), существующую более в голове, чем в действительности. И это потому, что российская реальность находится еще в состоянии брожения, не отлилась в законченную форму, не застыла в своей цивилизационной определенности.

Игорь КЛЯМКИН: Возможно, я ошибаюсь, но то, что сказал Вадим Межуев о русской идее, фактически представляет собой, по-моему, альтернативу самому пафосу доклада Афанасьева, хотя и смыкается с содержанием этого доклада подчеркиванием в русской культуре византийских корней. И я бы очень хотел, чтобы Вадим Михайлович развил высказанные им суждения в своем собственном докладе на нашем семинаре, а мы могли бы их обсудить. Пока же хочу обратить ваше внимание на сказанное им о кризисе культуры, на то, что речь шла у него лишь о кризисе культуры западноевропейской. О кризисе русской идеи Вадим Михайлович не говорил, из чего можно сделать вывод, что такового не наблюдается. И это еще больше убеждает меня в том, что его позицию полезно было бы обсудить отдельно. Надеюсь, что Вадим Михайлович нам такую возможность предоставит¹⁴.

Следующий — Евгений Григорьевич Ясин.

Евгений ЯСИН: «Выход из кризиса культуры я вижу только на пути изменения самой культуры»

Очень интересная у нас, по-моему, сегодня дискуссия, хотя ее смысловые линии порой не пересекаются. Меня лично больше всего заинтересовала та часть доклада Михаила Николаевича, в которой говорится о наличии в современной России культурной почвы для утверждения демократии. Не берусь судить, насколько это так: среди социологов на сей счет существуют разные мнения. Но я убежден в том, что без современных институтов либеральной демократии Россию ждет печальная историческая судьба.

Игорь Моисеевич Клямкин поставил перед нами вопрос о природе переживаемого страной кризиса культуры. О том, является он кризисом развития или кризисом упадка. Я думаю, ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от самого российского общества, в том числе и от нас с вами. От его способности противостоять кризису, его способности к самоизменению.

¹⁴ Доклад В. Межуева «"Русская идея" и универсальная цивилизация» и материалы его обсуждения см.: Куда ведет кризис культуры? М.: Новое издательство, 2011. С. 427–496.

Какая культура пребывает сегодня в кризисе? Я полагаю, что это прежде всего культура советская. От нее нам достались атомизация населения, его непередрасположенность к самоорганизации, его патерналистские установки.

Мне могут возразить, что корни этого находятся в досоветском прошлом. Соглашусь. Но при коммунистическом режиме огосударствление всего и вся было доведено до таких пределов, до каких оно в докоммунистической России никогда не доводилось. И это вошло в культуру, закрепилось в менталитете.

Михаил Николаевич ссылается на социологические данные, согласно которым у населения нет отторжения демократии, а есть, наоборот, желание видеть ее в России утвердившейся. Не спорю: основания для определенного оптимизма налицо. Но факт ведь и то, что в большинстве своем люди ждут, что перемены будут спущены им сверху. Однако нынешние «верхи», тоже унаследовавшие советскую политическую культуру, ничего такого делать не собираются. А эта культура в современных условиях может лишь разлагаться, что мы сегодня и наблюдаем. Так я охарактеризовал бы природу ее нынешнего кризиса.

Выход из него я вижу только в изменении культуры. Мы должны стать другим народом...

Игорь КЛЯМКИН: В каком смысле?

Евгений ЯСИН: В том смысле, что нам предстоит оставить в прошлом патерналистские установки, то есть перестать быть подданными, во всем уповающими на «верхи», и стать гражданами. Конечно, осуществить это непросто. Но ведь и альтернативы этому сегодня нет, если не считать альтернативой окончательный упадок. Либо мы усвоим либерально-демократические ценности и создадим соответствующие им институты, что сделает нашу экономику и общественную жизнь более креативной и эффективной, либо нам труба. Так, как у китайцев или вьетнамцев, в России уже не получится. Без либерализма и демократии нам, в отличие от них, сегодня не обойтись.

В этой ситуации все разговоры об «особом пути», соответствующем якобы особому национальному характеру, выглядят чем-то запредельно архаичным, а если называть вещи своими именами, то просто чепухой. Почему же многие люди до сих пор на нее реагируют? Опять-таки в силу культурной инерции. Они живут представлениями о великой стране и великой цивилизации, а величие выглядит производным от «особости», на других непохожести. Но если на такие представления накладывается ощущение увеличивающейся от этих других отсталости, то возникает чувство униженности, перерастающее во враждебность к тем, кто впереди. Примерно то же самое наблюдается сегодня и в мусульманском мире. Но это и есть одно из проявлений кризиса архаичных культур.

Выход из него, если говорить о России, я, повторяю, вижу только на пути изменения культуры. И нам, может быть, проще это сделать, чем тем же мусульманам, потому что в России европейская культурная тенденция имеет

глубокие корни. И ее актуализацию, предпринятую Михаилом Николаевичем Афанасьевым, я готов поддержать. Его конкретные оценки тех или иных исторических периодов и событий могут оспариваться, и они сегодня оспаривались. Но я бы не стал спорить с тем, о чем говорил Алексей Кара-Мурза. С тем, что нам нужна история России, написанная с либеральных позиций. Или говоря точнее, история европейских интенций в России, в отношении которых мы могли бы воспринимать себя в состоянии не отталкивания, а преемственности.

Это важно уже потому, что без этого трудно представить себе формирование в стране современной элиты, способной противостоять архаичным культурным и политическим стереотипам. А если не будет такой элиты, то — согласен с Натальей Евгеньевной Тихоновой — не будет и трансформации культуры. И, соответственно, нынешний ее кризис станет кризисом распада. Но я все же надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае, никакой фатальной предопределенности, которой нельзя было бы противостоять, я здесь не вижу.

Однако и сложность задачи преуменьшать не хотелось бы. Слишком сильна культурная инерция, воспроизводящая в том числе и стереотипы мышления по принципу «свой-чужой». Кто, скажем, мыслит у нас не категориями государства или нации, а мира в целом? Да, дефицит таких людей наблюдается везде, но в России-то их нет совсем. А это со временем тоже может стать культурным вызовом. Потому что в современном мире все коммуникации настолько переплетены, что поддерживать границы между «мы» и «они» становится все труднее.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Евгений Григорьевич. Ваше выступление возвращает нас к исходному пункту дискуссии. Изменение культуры мыслимо лишь в том случае, если в ней самый вектор изменений в желаемом направлении уже наметился. Или, говоря иначе, если в переживаемом ею кризисе обнаруживаются точки роста, вызревания нового качества. Андрей Пелипенко, которому я предоставляю слово, так, насколько знаю, не думает. Пожалуйста, Андрей Анатольевич.

Андрей ПЕЛИПЕНКО (главный научный сотрудник Российского института культурологии): «Несмотря на то, что кризис отечественной культуры имеет свои внутренние причины, рассматривать его следует прежде всего в глобальном контексте»

Прежде всего, хочу ответить на вопрос Вадима Михайловича Межуева относительно возможности определения индивидом своей культурной идентичности. Это определение не вызвало бы особых затруднений, если бы культуры представляли собой нечто подобное плоским очертаниям государств на политической карте: или мы там, или здесь. Но всякая локальная культурная система представляет собой сложную многомерную конфигурацию, подобную наложению многих многоугольных выкроек, каждая из которых соответствует

той или иной подсистеме: языку, религии, экономике, политике, искусству и т.д. Фокус пересечения выкроек — ядро системы, ее системообразующий центр. Периферия — те фрагменты подсистем, которые врастают в соседние системы и с ними объединяются. Поэтому ни один признак, соотносимый с той или иной подсистемой, не может быть достаточным критерием для определения культурной идентичности. Эта идентичность всегда комплексна и, чтобы ее осознать, требуется достаточный уровень самоотстранения и рефлексии по поводу количественно-качественного вписания себя в многомерную конфигурацию подсистем. Рядовой индивидуум, как правило, на это не способен.

Теперь — о том, что Игорь Моисеевич Клямкин сказал о кризисе культуры. Мне представляется, что кризис, который переживает наша страна, является частью общего глобального кризиса. Поэтому, несмотря на то, что кризис отечественной культуры (и цивилизации) имеет свои имманентные причины, рассматривать его следует прежде всего в глобальном контексте. Глобальный же контекст, в свою очередь, задается, как мне представляется, генеральной диспозицией сил, вовлеченных в борьбу вокруг логоцентризма — макропарадигмы культуры, господствующей с «осевой» эпохи.

Мы — дети логоцентрической культурной системы. Когда мы взыскуем истины и не желаем мириться с ее отсутствием, — это не извечное свойство человеческого ума. Это — логоцентризм. Когда мы соотносим все наши ценности с неким запредельным Абсолютом (даже утратившим свою традиционную религиозную атрибутику), полагая его надмирной точкой отсчета и замыкающей все иерархии, — это логоцентризм. Когда спекулятивные умопостроения приобретают статус самодостаточной онтологической полноты и «подтягивают» под себя наличную реальность, — это логоцентризм. Все дискурсы книжно-письменной культуры — тоже логоцентризм, а не что-то универсально присущее человеку. Любого рода упорядочивающие иерархии и системы абстрактной (надситуативной) нормативности — от моральных установлений до социальных статусов — хотя и имеют более древние основания, опять-таки верифицируются логоцентрически.

Схематизируя, можно сказать, что главные фронтиры глобального противостояния наступающей эпохи проходят между постлогоцентрическим авангардом, в который входит наиболее динамичная часть евро-атлантической культуры (цивилизации), и цивилизациями Индии и Дальнего Востока, с одной стороны, и условно объединенными силами нисходящей линии логоцентризма во главе с цивилизацией традиционного ислама — с другой стороны. Россия, с ее расколотостью и неопределенностью культурно-цивилизационной стратегии, стихийно примыкает ко второму эшелону уходящего и обреченного на историческое поражение логоцентризма. Это очень слабая, уязвимая позиция, и уже одно это, даже без учета внутренних проблем, сигнализирует о том, что отечественная культурно-цивилизационная система доживает последние годы.

Понятно, что сознание пытается уклониться от этого вывода, используя разные способы. Когда говорят, например, что наука не может внятно объяснить, что такое национальный характер, то это, среди прочего, служит риторическим обоснованием исторического оптимизма: мол, все можно всегда начать с чистого листа. Дом остается — жильцы меняются, у них не получилось — у нас получится... Но национальный характер существует. И если наука, как и в ряде других случаев, не способна «поймать» явление, то тем хуже для науки.

Я не знаю, какими таинственными путями транслируется в истории этот самый пресловутый национальный характер. Но то, что в нашей стране (а мы сейчас говорим главным образом о ней) с унылой неизменностью наблюдается воспроизводство одних и тех же ментальных схем, установок массового сознания, стратегий социального поведения, ценностных ориентиров и мифологем, как говорится, медицинский факт. И он-то и дает мне основание для вывода, что как целое российская культурно-цивилизационная система нежизнеспособна и нетрансформируема. Следовательно, ей предстоит трансформироваться по частям. Полагаю, что распад нынешней геополитической конфигурации начнется лет через пять-семь.

По ходу дискуссии возник вопрос о том, какой проект мы намерены осуществить: научно-исследовательский или идеологический. С этим действительно необходимо определиться, поскольку жанры существенно разные. Заняться идеологией — значит сесть за стол с шулером и затеять войну мифов. Неблагодарное это дело. Выиграть у шулера можно лишь одним способом — самому стать шулером. И хотя в душе действительно накопело и хочется дать ответ Керзону, меня, как ученого, такая перспектива не прельщает.

Да, играя на идеологическом поле, можно, к примеру, построить модель, в которой Россия будет выступать мостом межкультурного синтеза между Западом и Востоком (идея не новая, но обертоны можно обновить). Можно порассуждать о роли России в становлении новой Восточной Европы в противовес «старой» — Западной. Об очищенных от догматики и доктринерства гуманистических ценностях, о проживании Россией нового раннего Нового времени в современном историческом контексте, о вторичном европейском синтезе и т.д. И т.п. На всем этом можно построить вполне убедительный набор идеологем для образованной публики, особенно если не признаваться, что речь идет лишь об абстрактных, но никак не реальных возможностях. Но к пониманию действительного положения дел это не имеет никакого отношения, ибо идеология, создавая мифы, плохо дружит с фактами.

В нашей дискуссии неоднократно всплывала, хотя ясно и не артикулируясь, тема доминирующих общественных настроений. Есть ли запрос на демократию, нет ли его и т. п. Мне представляется, что в переходную эпоху, эпоху бескачественности, когда пустоту между умершим Должным и туманным и пугающим Будущим заполняют пустые симулякры, никакая статистика, якобы репрезентирующая жизненные ориентиры и ценности, не может вызвать доверия.

Дело в том, что единичный индивид не может здесь быть единицей социологического анализа. Его сознание раздроблено на секторы, каждый из которых живет относительно автономной жизнью, а общая противоречивость картины мира сознанием не фиксируется. В одном секторе ментальности индивидуум может быть сторонником демократии, а в другом — негибким патерналистом и сталинистом. Проще говоря, с человеком, у которого в голове каша, социологу говорить не о чем. А каша в голове — это сейчас массовый диагноз российского общественного сознания.

И, наконец, об активности и пассивности современного российского общества. Вопрос не только сложный, но и мучительный. Я не знаю, что лучше: толпа погромщиков с горящими глазами или равнодушный, вяло подгребающий под себя обыватель. Оба сценария хуже. И, главное, между ними не просматривается золотой середины. Но если все же подняться над «человеческим, слишком человеческим», то становится очевидным, что кровью революционного разгула оплачивается в конечном счете необратимость системных изменений. Не всегда, не везде, не в равной степени. Но это шанс. Тогда как второй вариант не сулит ничего, кроме гниения заживо и смерти от гангрены.

Игорь КЛЯМКИН: «У нас все еще нет ответа на вопрос о том, с какой исторической точки вести отсчет европейской тенденции в политической культуре России»

Андрей Анатольевич, как и некоторые выступавшие до него, оставил доклад Афанасьева без внимания. И понятно, почему: в его логике проблематика этого доклада просто не находит места. Если русская (и не только русская) культура переживает кризис упадка, то бессмысленно искать и культурные опоры для развития — как в прошлом, так и в настоящем. На следующем нашем собрании будет представлен доклад Андрея Анатольевича, где его концепция изложена более развернуто и детально, и мы будем иметь возможность ее обсудить¹⁵.

Наша дискуссия близится к завершению. Но прежде чем предоставить возможность подвести под ней черту (разумеется, не окончательную) Михаилу Николаевичу, я тоже хотел бы высказаться по существу обсуждаемых проблем.

На первый взгляд, может показаться, что нам не удалось вписать обсуждение его доклада в заявленную тему семинара. Вопрос о кризисе культуры здесь если и обсуждался, то от доклада независимо. И, тем не менее, и доклад, и состоявшаяся дискуссия представляются мне чрезвычайно важными и с точки зрения этой темы.

То, что предлагает Михаил Николаевич, Алексей Кара-Мурза назвал заявкой на новую идеологию. И такая характеристика оправданна. Любая идеология, как известно, не может не включать в себя соответствующий ей тип историче-

15 Доклад А. Пелипенко «"Русская система" в культурном измерении» см.: Куда ведет кризис культуры? М.: Новое издательство, 2011. С. 56–117.

ского сознания. Она должна, говоря иначе, иметь опору в наших представлениях об истории страны, которые всегда являются важнейшей составляющей культуры. И Михаил Николаевич, не говоря прямо об ее кризисном состоянии и его не описывая, попытался обосновать возможность выхода из этого состояния. Причем обосновать не только исторически.

Да, соглашается он, культура переживает кризис, но внутри него сегодня просматриваются и тенденции его преодоления. Преодоления не на основе российской авторитарной традиции, а на основе культурно-цивилизационной европеизации. И эта европеизация, утверждает докладчик, не чужда современному элитному и массовому сознанию, в том числе и потому, что является «почвенной», то есть имеет глубокие исторические корни, которые не удалось выкорчевать отечественным авторитарным правителям.

Я не буду сейчас останавливаться на особенностях современного массового и элитного сознания, которые рассматриваются в докладе. Замечу лишь, что в этом сознании и в самом деле очень мало осталось такого, что свидетельствовало бы о неприятии россиянами политической европеизации и возможном противодействии ей, если она начнется. В этом смысле все измышления, в том числе и культурологические, о «неготовности народа к демократии» иначе, чем лукавством, не назовешь. Но факт и то, что политическая культура российского общества сегодня — это культура определенных *представлений* о желательном устройстве государства, в значительной степени уже европеизированных, а не культура *ценностей*, предполагающих установку на участие в определении характера этого устройства.

Более того, ценностные смыслы сегодня сосредоточены в основном в сфере атомизированного частного проживания, а представления об альтернативе существующему общему порядку вещей ассоциируются исключительно с возможными инициативами «верхов». Это культура пассивного ожидания перемен и инерционной надежды на них, а не культура общественной субъектности. Но при такой культуре системное статус-кво меняться не может, потому что на его стороне интересы самосохранения «верхов».

Европеизация элитарных и массовых представлений при их ценностной нейтральности — это и есть, по-моему, проявление кризиса культуры. Не менее очевидным образом он обнаруживает себя и в смутности самих представлений: в них, по данным социологов, бесконфликтно сосуществуют демократические и авторитарные образы желательного политического порядка. Или, говоря иначе, европеизм в них мирно уживается с инерцией архаики. Так что насчет «каши в головах» Андрей Пелипенко прав. Однако я не могу согласиться с ним в том, что такая «каша» недоступна для социологов, которые давно уже сделали ее предметом своих исследований.

Очень важной показалась мне основная часть обсуждаемого доклада, посвященная истории. Не потому, что я согласен с ее интерпретацией Михаилом Николаевичем (я как раз с ней не согласен, о чем и скажу), а потому, что

такая нетривиальная интерпретация предложена. Докладчик попытался провести своего рода инвентаризацию элементов европейскости в русской политической культуре, и его попытка заслуживала, на мой взгляд, более обстоятельного и конкретного разговора, чем тот, что состоялся у нас.

Представьте себе, что кто-то из здесь присутствующих становится министром образования и ему предстоит инициировать подготовку нового учебника по отечественной истории. Он соберет либеральных историков, но я не думаю, что они смогут о чем-то договориться. Уже упоминавшееся мной недавнее обсуждение в «Либеральной миссии» трехтомника Александра Янова продемонстрировало это со всей очевидностью. У нас нет ответа на главный вопрос — с какой исторической точки вести отсчет европейской тенденции в политической культуре России. А без этого не может быть ни либерального исторического сознания, ни культурно-исторически обоснованной либеральной идеологии.

Я понимаю, что большинство участников обсуждения на роль идеологов не только не претендуют, но и не считают такого рода деятельность достойной. Андрей Анатольевич Пелипенко даже назвал ее «шулерской», хотя я не очень понимаю, почему «шулерами» следует считать, например, современных идеологов Либерального Интернационала. А Наталья Евгеньевна Тихонова сказала, что нам нужна не идеологическая интерпретация прошлого и настоящего, а научное знание о прошлом и настоящем. Я же считаю, что без собственного идеологического проекта нам в общественной жизни делать нечего, но согласен с тем, что без достоверного знания наши идеологические конструкции будут идеологическими замками, выстроенными на песке.

Мне лично не близка идея Михаила Николаевича, согласно которой европейскую политико-культурную тенденцию (а тем более традицию) надо искать в домонгольской Руси. Здесь я больше солидарен с Милюковым, чем с критикующим его Афанасьевым. Тем более что Михаил Николаевич обосновывает свою позицию, апеллируя не столько к политической, сколько к экономической истории.

Что меня в этой позиции не устраивает? Не буду останавливаться на всем, с чем не согласен. Например, на слишком уж декларативном уподоблении взаимоотношений церковной и светской властей в Киевской Руси взаимоотношениям этих властей в средневековой Западной Европе. Коснусь лишь тех моментов, которые представляются мне наиболее существенными.

Во-первых, меня не устраивает трактовка докладчиком деятельности варяжских Рюриковичей, осуществивших якобы совместно с местными племенными вождями «одну из наиболее успешных варварских модернизаций раннего средневековья». Да, варяги ускорили трансформацию родоплеменного быта в государственный. Но ту «модернизацию» трудно назвать «одной из наиболее успешных». Хотя бы потому, что она не была завершена.

Уже к концу XI века киевская государственность, как известно, распалась. Синтез варяжского и славянского культурных субстратов, который так нравится Михаилу Николаевичу, оказался хрупким. В том числе и потому, что одной из особенностей этого синтеза, не имевшей аналогов в Европе, был коллективный родовой принцип властвования Рюриковичей, живновоплощение которого не могло не сопровождаться их постоянным противоборством друг с другом за киевский престол. Это военное противоборство и обусловило в конечном счете распад государственности, заблокировав становление на Руси средневековой монархии. В этом ее отличие не только от Византии, но и от скандинавских стран, в которых утверждение монархического принципа состоялось примерно к тому же времени, когда Киевская Русь начала распадаться. Поэтому подведение ее и этих стран под общий политический знаменатель, как сделано в докладе, не кажется мне корректным.

Во-вторых, распад Киевской Руси непосредственно связан и с тем, что Михаил Николаевич называет «запаздыванием» феодализма. Это «запаздывание» как раз и проявилось в том, что в стране не утвердилось и не стало легитимным монархическое правление. А также в том, что не сложилась европейского типа феодальная иерархия с договорно-правовыми отношениями между сюзеренами и вассалами и судебной процедурой разбирательства конфликтов, что в Европе со временем привело к правовому ограничению власти королей сословными представительными собраниями. И, наконец, «запаздывание» феодализма проявилось в том, что на Руси не было противостояния, аналогичного европейскому, феодалов и городов, из которого произросла политическая субъектность последних. Не думаю, что при наличии столь существенных различий можно говорить об однонаправленности векторов политического развития на Руси и в Западной Европе.

В докладе Афанасьева отмечается, правда, что города на Руси тоже были развиты, причем даже больше, чем в Европе. Но играли ли эти города ту же *политическую* роль, что и города европейские? Ведь при несложившейся государственности они могли быть, о чем говорил Игорь Яковенко, лишь носителями локализма, даже не помышлявшими об участии вместе с феодальными баронами в общенациональном представительстве по причине отсутствия самой идеи такого представительства, которая из-за «запаздывания» феодализма и не могла появиться. Не порывал с культурой локализма — опять-таки соглашусь с Яковенко — и вечевой Новгород: на общенациональное распространение своих порядков он не претендовал. Да, он контролировал обширные северные территории, но консолидировать их в единую культурно-политическую общность не сумел, а потому и оказался бессильным перед государственно консолидированной Москвией.

В-третьих, малоубедительной, по-моему, выглядит попытка Михаила Николаевича вписать в традиции российской политической культуры государ-

ственный порядок Литовской Руси. Тот факт, что большинство там составляли жители западных земель бывшей Руси Киевской, сам по себе ничего не доказывает. Он свидетельствует лишь о том, что эти жители готовы были принять европейский вектор политического развития, которому следовали литовские правители. Но то было *другое* государство, историю которого вряд ли оправданно включать в историю государства российского.

Не думаю, что можно считать обоснованным сам исходный тезис докладчика о политически и культурно едином восточнославянском «мире Руси». Единства-то как раз и не было уже потому, что не все части этого мира были славянскими. Сейчас, когда территории бывшей западной Руси находятся за пределами России, истоки ее политической культуры целесообразнее, по-моему, искать не в Великом княжестве литовском, а в северо-восточном Владимиро-Суздальском княжестве с финно-угорским населением, где задолго до монгольского завоевания (конкретно — со времен Андрея Боголюбского) пустила корни авторитарно-самодержавная политическая традиция.

А теперь — главный вопрос: правомерно ли вообще искать альтернативу этой традиции за ее пределами? Или, говоря иначе, в предшествовавших ей либо ей параллельных государственных или протогосударственных образованиях? Я лично думаю, что это не только неправомерно, но и непродуктивно. Альтернативу утвердившемуся типу государственности бессмысленно искать за его временными или пространственными пределами, равно как и на ранних стадиях его формирования. Это, как мне уже приходилось говорить, примерно то же самое, что искать историческую альтернативу сталинскому режиму в свернутом Сталиным НЭПе.

Альтернатива самодержавию вызревала в России *внутри* самого самодержавия, что свидетельствовало о его несамодостаточности. Политическая европеизация страны берет свое начало с указа Петра III о вольности дворянства и последовавших за ним жалованных грамот Екатерины II дворянству и горожанам. И дело здесь не только в освобождении высшего сословия от обязательной государственной службы, но и в том, что в стране впервые юридически закреплялись права сословий, включая право частной собственности. Причем закреплялись навсегда, «на вечные времена», что, по сути, являлось конституционным актом, который никто, включая самого самодержца, не вправе был отменить. И когда Павел I попробовал это сделать, то дворянство, на стороне которого теперь был закон, его устранило...

Михаил АФАНАСЬЕВ: Но на «вечные времена» все равно ведь не получилось...

Игорь КЛЯМКИН: Да, но чтобы прервать эту тенденцию, большевикам пришлось насильственно ликвидировать не только самодержавие, рухнувшее еще до их прихода к власти, но и дворянство. Опираясь на архаичную допра-

вовую культуру крестьянского большинства, они стали строить государство с чистого листа. Но можно ли отыскать альтернативу этой культуре в тех порядках, которые еще до монголов устанавливал в будущей Московии Андрей Боголюбский, разгромивший и разграбивший Киев, и его последователи?

А теперь большевиков уже нет и перед нами стоит вопрос о том, на какие политико-культурные тенденции в истории России могли бы опереться те, кто желает ее европеизации. Михаил Николаевич может, конечно, повторить свой довод, присутствующий в его докладе, о том, что помещичья собственность на землю была узаконена Екатериной II за счет крестьян. Это так, но я говорю о европейской тенденции внутри доминантной самодержавной традиции. Тенденции, в которой были не только плюсы, но и очень существенные минусы. И вопрос заключается в том, на чем нам сегодня акцентировать внимание: на *правовом* характере этой тенденции, впервые распространившейся, повторяю, не только на дворян, но и на горожан, или на недостатках ее исторического воплощения.

Полагаю, что первое нам сегодня, когда едва ли не самой актуальной проблемой страны стало становление в ней правовой государственности, гораздо важнее. И потому я не стал бы, вслед за Михаилом Николаевичем, противопоставлять «правильные» реформы Александра II «неправильным» реформам Екатерины II. Я бы предложил рассматривать их как два этапа европеизации страны, ее движения к правовому типу государства. И добавил бы к ним этап третий, начало которого было озаглавлено Октябрьским манифестом 1905 года, означавшим, что юридически-правовой принцип впервые был поставлен выше принципа самодержавного. Такой мне видится линия исторической преемственности в современной европеизации России. Таким представляется мне в ней европейский тип исторического сознания.

Однако в этом, как и во многом другом, в нашей среде представления разнятся. Но это значит, что их надо продолжать обсуждать, внимательно выслушивая и обдумывая аргументы каждого. Диалог, по существу, в нашей среде только начинается. А ведь есть еще и интеллектуалы, которые обращаются к истории страны с прямо противоположной целью, а именно — чтобы обосновать культурную неевропейскость России и предопределенность ее притязаний на особый цивилизационный статус. Так, может быть, в этом тоже кризис культуры?

А теперь, Михаил Николаевич, предоставляю Вам возможность высказаться по поводу всего здесь услышанного.

Михаил АФАНАСЬЕВ: «Я оппонирую не только традиционалистскому охранительному официозу, но и прогрессизму в духе Чаадаева»

Я здесь услышал очень многое. Почти на все хотелось бы как-то отреагировать. Но сказать нужно о главном. Поэтому, как мне ни жаль, я исключу из выступления историографические вопросы. Хотя очень хочется ответить и на

прозвучавший тезис о бесперспективности древнерусской цивилизации, и на вопрос, было ли что возрождать на Руси в XV–XVI веках. Но я ничего этого сейчас делать не буду. Сосредоточусь именно на главном.

Начну с того критерия европейскости, который предложил нам Вадим Михайлович Межуев. Итак, утверждаю, что, согласно предложенному критерию, мы — Европа. Я помню еще советские учебники истории и знаю учебники, по которым сейчас учатся мои дети. Так вот, вопрос о том, почему и с какими последствиями исчез первый Рим, — это тот вопрос, который ставился и ставится перед всеми школьниками нашей страны. То есть мы обсуждаем его вместе со всеми европейцами, начиная со школьной скамьи.

При этом нас гораздо больше, чем других европейцев, занимают еще и вопросы о том, почему исчез второй Рим и почему исчез Рим третий. Что естественно, ибо для русских это особенно актуально. Но что касается интереса культурных людей к судьбе первого Рима и всевозможных проекций этой судьбы на свою национальную историю, то по этому культурологическому критерию мы, безусловно, европейская страна. А дальше можно и нужно спорить о том, какая именно.

Следующий вопрос — о культурном детерминизме и модернизации. Моя позиция тут такая: даже если бы никакой европейскости в нас не было вовсе, у нас все равно были бы возможности для модернизации. Когда не лень такие возможности искать, найти их в своей культуре всегда можно. Дело в том, однако, что у нас отказ от действительной модернизации принято объяснять, оправдывать и обосновывать некой особостью нашей национальной культуры. Притом никакого позитивного определения этой особенности нет: от православия, самодержавия и народности остались лишь смутные тени и литературные аллюзии. В результате наша самоидентификация исключительно негативна: *Россия — не Европа*. Российская нация сегодня индоктринирована этой негативной идентичностью — и не только через СМИ, через «попсовую» культурологию, но и через образование. На мой взгляд, этой нагнетаемой негативной идентификации необходимо противостоять — активно и содержательно.

Эмиль Абрамович Паин возражает: не надо, мол, противопоставлять традиционалистскому мифу о нашей «особости» прогрессистский миф о нашей «европейскости». Но почему европейскость — это миф? И так ли уж распространено в интеллектуальной среде такое противопоставление, чтобы его изобличать? Разве дело обстоит не наоборот? Отсюда, кстати, и не востребовавшись гигантского труда того же Милюкова при впечатляющих тиражах книг Гумилева.

Участники нашего семинара — все сплошь прогрессисты. И при этом большинство высказавшихся сегодня, насколько я уловил, склонны считать мифом доказываемое мною европейское происхождение русской культуры. Так что концептуально я оппонирую не только традиционалистскому охранительному официозу, но и прогрессизму в духе Чаадаева.

Мы же все воспитаны на его «Философических письмах», пропитаны их пафосом, их тезами и парафразами. И если уж есть вековой русский прогрессистский миф, то это как раз чаадаевская философия. А она, заметьте, отнюдь не устанавливает, а, наоборот, отрицает европейское начало русской культуры. Что же до работ Милюкова, Вавилова, Зализняка, Фроянова, на которых я основываю свою концепцию, то они совсем не похожи на «прогрессистскую жвачку» — ни по качеству идей и открытий, ни по степени их «разжеванности» нашей интеллектуальной средой.

Теперь — по поводу тезиса, прозвучавшего в выступлении Натальи Евгеньевны Тихоновой. Дескать, негоже ученым заниматься идеологией, да и для масс она не актуальна. Что ж, разговор о национальной идентичности — это, действительно, большая идеология. Я полагаю, что всякая живая нация постоянно обсуждает, определяет и переопределяет свою идентичность. Полагаю также, что и для нас обсуждение и выбор национальной идентичности сегодня очень актуальны. Цена вопроса хорошо видна по объему задействованных правящей элитой ресурсов: колоссальные деньги вкачиваются в агитпроп, федеральные каналы телевидения постоянно тиражируют и нагнетают нужные идеологемы. Оно и понятно: негативная идентичность «Россия — не Европа» сегодня, по сути, единственное основание легитимности утвердившегося в стране режима. И если противостоять этому неактуально, то я уж, право, и не знаю, что может показаться актуальным для наших ученых обществоведов.

Ряд выступивших коллег поставили под вопрос наличие спроса и адресата на предлагаемый мною проект по новой концептуализации национальной политической культуры. В ответ сошлюсь на результаты уже упоминавшегося мной в докладе недавнего нашего исследования по элитам среднего ранга: сознание большинства их представителей ориентировано на европейский вектор развития страны. Да и в прозвучавших выступлениях можно найти прямые указания на спрос и адресат. Например, Наталья Евгеньевна насчитала 20 процентов европейски ориентированных россиян. Позвольте спросить: пятая часть взрослого российского населения, притом весьма активная и продвинутая его часть — это для нас не адресат? Каждый пятый российский гражданин — это разве малый спрос?!

Общественное большинство создается тем или иным меньшинством. Либо мы создаем большинство, либо оно создается без нас. Вы, думаю, не хуже меня понимаете, что спрос — величина по определению непостоянная. Уже в постсоветскую эпоху политический спрос менялся. Спрос будет меняться и дальше, он уже меняется. И мы можем либо готовиться к его изменению и в этом изменении участвовать, либо предаваться катастрофическим ожиданиям.

Игорь КЛЯМКИН: Мне остается поблагодарить Михаила Николаевича и всех присутствующих за участие в дискуссии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ

Игорь КЛЯМКИН: Учитывая, что на обсуждение сегодня вынесен мой доклад, я попросил выступить в роли ведущего Алексея Кара-Мурзу — члена Совета Фонда «Либеральная миссия». Прошу Вас, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН): В своем докладе «Демилитаризация как историческая и культурная проблема» Игорь Моисеевич предлагает собственный угол зрения на переживаемый Россией кризис культуры. В чем-то его подход пересекается с подходом Игоря Яковенко, обсуждавшемся на предыдущем семинаре¹⁶. В обоих докладах речь идет о роли неправового насилия в отечественной истории. Но концептуальная схема Игоря Моисеевича от схемы Игоря Григорьевича все же существенно отличается.

Сегодняшний докладчик, продолжая линию, намеченную им в его прежних выступлениях на семинаре, предлагает рассматривать российскую историю как циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненно-го уклада. В этом, на его взгляд, и заключается ее своеобразие. При этом периоды демилитаризации трактуются Игорем Моисеевичем как кризисные во всех измерениях, включая измерение культурное. Обращаю ваше внимание и на то, что нынешний кризис демилитаризации докладчику видится как тупиковый, свидетельствующий об исторической и культурной исчерпанности самой прежней цикличности.

Таково, как мне представляется, основное содержание доклада, который нам предстоит обсудить.

ИГОРЬ КЛЯМКИН ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА

Тема этого доклада — особенности сегодняшней ситуации в России, переживаемого ею социокультурного кризиса. Однако преобладающая его часть касается российской истории. Этот акцент на прошлом сделан сознательно. Потому что своеобразие переживаемого момента, на мой взгляд, можно понять только в контексте отечественной истории.

¹⁶ Доклад *И. Яковенко* «Русская репрессивная культура и модернизация» и материалы его обсуждения см.: Куда ведет кризис культуры? М.: Новое издательство, 2011. С. 191–260.

Наше настоящее — это одновременно и незавершенное прошлое, и прошлое завершенное. Оно завершено, потому что прежние способы решения проблем, стоящих перед страной, исторически и культурно исчерпаны. И оно остается незавершенным, потому что новые способы российское общество не в состоянии пока ни выработать самостоятельно, ни заимствовать извне. В этом и заключается переживаемый им кризис.

В значительной степени содержание доклада было уже представлено мной в выступлениях на предыдущих семинарах. Вначале напомним вкратце (с некоторыми дополнениями), о чем шла речь в этих выступлениях.

Сила, вера и закон в российской истории

Государственность и, соответственно, культура послемонгольской Московии изначально складывались как государственность и культура милитаристского типа¹⁷. Эта особенность была зафиксирована еще старыми русскими историками: Василий Ключевский отмечал, что Московское государство характеризовалось «*боевым строем*»¹⁸, а Николай Алексеев — что оно выстраивалось по модели «*большой армии, по принципу суровой тягловой службы*»¹⁹. Сходные с этими характеристики можно найти и у Сергея Соловьева.

Нетрудно заметить, что речь идет о милитаризации не только в смысле расходования большей части ресурсов на военные цели, но и о способе организации государства, равно как и его взаимоотношениях с населением. О милитаризации, распространяющейся не только на военное, но и на *мирное* время, что не могло не размывать в сознании людей границы между войной и миром. И, соответственно, не могло не сказываться на утверждавшемся в Московии типе культуры. Если вслед за нашими культурологами признать, что лучше всего он характеризуется понятием «*раскол*» (между личностным и антиличностным началами, между культурой государственной и догосударственной), то можно сказать: милитаризация повседневности — это способ существования культуры в расколе.

Такое устройство государства означало, что из трех базовых факторов, его консолидирующих — силы, веры и закона, основополагающим и системообразующим фактором выступала сила, а два других были по отношению к ней подчиненными и к ней адаптировались. Так, православная вера, заимствованная у Византии, корректировалась с учетом того, что самой Византии не удалось устоять под натиском османов: вера, которая, будучи истинной, Византии не помогла, дополнялась московскими идеологами более

17 О том, как это проявлялось в различные периоды российской истории, см.: *Ахуезер А., Клямкин И., Яковенко И.* История России: конец или новое начало? М.: 2008. См. также: *Клямкин И.* Постмилитаристское государство // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. М.: 2007.

18 *Ключевский В.* Курс русской истории: в 5 ч. М.: 1937. Ч.2. С. 424.

19 *Алексеев Н.* Русский народ и государство. М.: 2000. С. 73.

высокой духовной инстанцией — *правдой*, проверяющей приверженцев веры на искренность. Правдой, к которой допустимо принуждать силой²⁰.

По сути, то было поиском культурного синтеза османского султанизма — иноверческого, но победоносного — с православием. Политическим персонификатором этого синтеза стал Иван Грозный: его репрессивная практика утвердила в Московии самодержавный принцип правления, который и означал верховенство силы и над верой, и над законом. Верховенство ее над верой нагляднее всего проявилось в убиении митрополита Филиппа, чья «неправедность» проявилась в протесте против произвола силы, а ее верховенство над законом — в опричнине. Показательно, что учреждение последней было формально санкционировано Боярской думой, наделенной Судебником 1550 года законодательными полномочиями, лишь после устрашающих выборочных казней думцев и поддержки царя московским людом. Это свидетельствует о том, что такая царская правда имела и глубокие народные корни, о чем мне еще предстоит говорить.

Петр I, приспособлявавший милитаристскую государственность к условиям Нового времени, старомосковскую веру (вместе с правдой) отодвинул на идеологические задворки, а закон, широко и монопольно им используемый, превратил в разновидность военного приказа. Он создавал и создал милитаристскую систему, предназначенную исключительно для войны и легитимизуемую военными победами. Он, как и старомосковские идеологи, тоже любил ссылаться на печальную судьбу Византии, но причину ее падения усматривал не в слабости ее веры, а в том, что греки слишком много уделяли ей внимания. Византия погибла, потому что не сумела осуществить милитаризацию государства, — вот в чем смысл и пафос петровского понимания судьбы второго Рима. И потому «не подлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так стало, как с монархией греческой»²¹.

Милитаризация жизненного уклада, достигшая предельных форм при Петре, не могла не смениться послепетровской демилитаризацией. Сверхнапряжение, требуемое во время больших войн от элит и населения, не может быть увековечено; казарменная организация жизни не может стать жизненной нормой. Поэтому движение в направлении демилитаризации началось сразу после смерти Петра и продолжалось, не без отступлений и попятных шагов, до окончания жизненного цикла самодержавно-монархического государства.

Наиболее важные вехи на этом пути — указ Петра III о вольности дворянства и последующие жалованные грамоты Екатерины II дворянству и горожа-

20 Подробнее о понимании московскими идеологами и правителями понятий «веры» и «правды» см.: *Алексеев Н.* Указ. соч. С. 54–59; *Люкс Л.* Третий Рим? Третий рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. М.: 2002. С. 12–18; *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М.: 1998.

21 Подробнее см.: *Грушкин.* Публицистика Петровской эпохи: <http://feb-web.ru/feb/irl/irl3/il320752/htm?cmd=2>

нам, отмена крепостного права Александром II и Октябрьский манифест 1905 года, впервые поставивший закон выше самодержавия и открывший дорогу представительному правлению. И этот растянувшийся почти на два столетия демонтаж милитаристской «вертикали власти» завершился, как известно, обвалом государства. Потому что демонтаж этот не сопровождался накоплением достаточных экономических, политических и, что особенно важно, культурных предпосылок для обретения государством и социумом нового качества, альтернативного милитаристскому.

Культурная европеизация дворянской элиты, доведенная преемниками Петра I до освобождения дворян от обязательной государственной службы, разрушала ту «парадигму служения», о которой упоминал в своем докладе Андрей Пелипенко²². Европеизация, отделившись от инициировавшего ее самодержавия, начала самостоятельную жизнь в культуре, политическим итогом чего стало выступление декабристов. А их неудача, сопровождавшаяся появлением асоциального типа «лишнего человека», показала, что у европеизированного дворянства не было ресурсов для завершения российской европеизации. Потому что противостояла им не только охранительная культура фамусовых и скалозубов, но и культура низовая, культура подавляющего большинства населения страны. Во времена декабристов это, быть может, еще не было очевидно, но в начале XX века элитный европеизм и низовая архаика столкнулись в непримиримом конфликте в Таврическом дворце, где заседала Государственная дума.

В ходе наших дискуссий я ссыался на статью Павла Солдатова «Русский народный судебник»²³. Ссыался на нее и Игорь Григорьевич Яковенко. В русских пословицах и поговорках, анализируемых автором статьи, перед нами предстает культура, которая одновременно и копирует культуру официальную, и выступает альтернативой ей. При этом в культуре официальной народное сознание не различает ее милитаристскую и демилитаризаторскую версии. Потому, возможно, и не различает, что демилитаризация к тому времени, когда Владимир Даль составлял свой свод пословиц и поговорок, крестьянское большинство населения еще не затронула. А освобождение дворян от обязательной службы при сохранении крепостного права выглядело в его глазах нарушением того неписаного принципа, на основе которого была возведена послемонгольская московская государственность. Принципа, согласно которому крестьянин служит дворянину лишь постольку, поскольку тот служит царю²⁴.

22 Доклад **А. Пелипенко** «Русская система в культурном измерении» и материалы его обсуждения см.: Куда ведет кризис культуры? М.: Новое издательство, 2011. С. 56–117.

23 **Солдатов П.** Русский народный судебник. www.liberal.ru/articles/4801. См. также Приложение к настоящему изданию.

24 Подробнее см.: **Платонов С.Ф.** Полный курс лекций по русской истории. Ростов-на-Дону, 1999. С. 470.

Как бы то ни было, в русских пословицах и поговорках зафиксировано однозначно враждебное отношение населения к дворянству. Но — не только к нему. Оно распространялось и на сошедшее уже с исторической сцены боярство, и на чиновников, и на судей, и на священников. Оно распространялось на все государственные институты, включая армию, которая, судя по народным изречениям, выглядела в глазах людей не символом державной мощи и военных побед, а символом жизненных тягот. Все, что касалось государства, воспринималось как воплощение чужой и чуждой силы, веру и закон поправшей. Поправшей, говоря иначе, ту самую правду («велика святорусская земля, а правде нигде нет места»), именем которой и освящалось в свое время создание послемонгольской московской государственности.

Но эта народная правда выступала не как альтернатива враждебной государственной силе, а как ее инобытие. Если наши культурологи сочтут тут уместным слово «ментальность», то я возражать не буду. Но то была не ментальность сопричастности господствовавшей силе, а ментальность ее отторжения в ожидании иной силы, «святорусской земле» соответствующей. То была ментальность временного проживания на оккупированной территории в смутном предощущении будущего «и на нашей улице праздника», до наступления которого все профанно, все не всерьез, а потому все — «авось», «небось» да «как-нибудь».

А как выглядела эта народная правда в практическом воплощении, наглядно продемонстрировал Емельян Пугачев. Он, напомним, обещал уничтожить всех господ, расположившихся между царем и народом, поголовно превратить своих подданных в казаков, а государство, соответственно, перестроить по образцу *казачьего войска*. Таким или примерно таким было народное представление о Должном. Представление об альтернативной милитаризации, призванной сменить антинародную екатерининскую демилитаризацию дворянства. А впоследствии выяснится, что это Должное не может быть вытеснено из культуры и демилитаризацией более глубокой, будь то освобождение крестьян или даже ограничение самодержавия парламентским представительством с сопутствующим предоставлением населению политических прав.

Это Должное, как и во времена декабристов, не имело точек соприкосновения с идеалами русских европейцев. Но после самоограничения царя оно утратило контакт и с ним. Поколебленность его сакральности таким самоограничением лишала его возможности сохранять зафиксированный в пословицах и поговорках образ «царя-грозы», потенциально способного противопоставить свою божественно-праведную силу силе его неправедных слуг. Народное представление о Должном, долгое время ассоциировавшееся именно с царем, оказалось политически бесхозным. Отныне вопрос заключался в том, кому это представление удастся приватизировать. Удалось, как известно, большевикам.

Их победа — едва ли не самое убедительное свидетельство того, что и к началу XX века главным государствообразующим фактором в народной культуре, ее основанием оставалась сила. Это и стало той ловушкой демилитаризации, в которой оказалась российская государственность. И вряд ли кто трагизм складывавшейся ситуации уловил лучше и глубже, чем Лев Толстой, призвавший нейтрализовать силу своим «непротивлением злу насилием». Неслучайно, думаю, родиной толстовства оказалась именно Россия.

Однако это предельное в своей абсолютности моральное основание, предложенное писателем для выхода из тупика, не могло быть культурой воспринято. Запрос на предельное в ней, действительно, существовал. Но он, во-первых, существовал не в верхах, которым Толстой адресовал свою идею, а в народных низах. Во-вторых, то был запрос на *иное* предельное, ассоциировавшееся как раз с силой, а не с морально-религиозным противостоянием ей. И он не мог быть потеснен не только апелляциями к законности, к возможностям которой и Лев Николаевич относился, как и к возможностям силы, скептически, но и взыванием к вере, на которую он уповал.

Будь иначе, большевикам не удалось бы обойтись с верой и законностью так, как они обошлись. Не удалось бы им и на протяжении семи с лишним десятилетий легитимировать свою власть, апеллируя к октябрьскому вооруженному перевороту 1917 года. Коммунистическая идеология могла сыграть свою роль лишь постольку, поскольку опиралась на силу и милитаристский принцип, заложенный в основание государства и социума. И вовсе не случайно Сталин взял себе в исторические союзники ключевые фигуры первого милитаризаторского цикла — Ивана Грозного и Петра I, а не самодержавных персонификаторов послепетровской демилитаризации, списанных в разряд реакционеров.

Советская милитаризация жизненного уклада, которая началась с политики «военного коммунизма», и пик которой приходится на сталинскую эпоху, была беспрецедентной по глубине и всеохватности даже для России. Не было еще в ее истории столь явного уподобления ее «осажденной крепости», окруженной внешними врагами, которые, опираясь на своих агентов внутри страны, хотели якобы вернуть «проклятое прошлое» с его «помещиками и капиталистами» и прочей несправедливой публикой. Не было, говоря иначе, столь явного уподобления мирной повседневности военной, что нашло свое отражение и в официальном языке.

Универсальное значение приобрело в нем слово «победа», которое распространялось на любые успехи и достижения — как реальные, так и имитируемые. Предельно широкое значение было придано и таким словам, как «бой», «битва», «сражение», «штурм», не говоря уже о «борьбе»: она могла относиться и к проведению коллективизации, и к сбору урожая, и к форсированному строительству нового завода, и к развитию метода социалистическо-

го реализма. Но едва ли ни самым универсальным, наряду с «борьбой», в коммунистическом лексиконе стал «фронт», который мог быть трудовым, промышленным, сельскохозяйственным, идеологическим, культурным, бытовым — каким угодно.

А еще была *героизация труда* как новый способ его стимулирования, были ордена и медали, приравнивавшие достижения в работе к военному подвигу («из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»). И была милитаризация самой правящей партии, которая во всех своих уставах называла себя *боевой* организацией, а ее члены именовались «солдатами партии», призванными служить ей «беззаветно», то есть без всяких условий и контрактов. Была, наконец, атмосфера тотальной секретности — для «осажденной крепости» вполне органичная.

Я столь подробно останавливаюсь на этих общеизвестных явлениях только потому, что в контексте культуры они до сих пор не рассматриваются. Но в таком случае возникновение и консолидация советского государства и советского социума оказываются необъяснимыми. Это государство и этот социум могли возникнуть только потому, что в народной среде имело место враждебное отношение ко всем институтам государства прежнего («неправедного») и ко всем социальным группам, с которыми оно ассоциировалось. Потому что власть этих групп воспринималась как временная, которой предстоит исчезнуть примерно так же, как исчезла оккупантская власть монголов. Потому что существовал смутный запрос на их насильственное устранение. Этот запрос и воплотился в ходе советской альтернативной милитаризации, для осуществления которой в народной среде нашлось достаточное количество желающих.

Но и эта тотальная милитаризация, подобно петровской, оказалась временной и преходящей, сменившись после смерти Сталина очередной демилитаризацией. И очень быстро выяснилось, что бесконтрольную силу и внушаемый ею страх, от которых советская элита и население успели устать, заменить нечем. Выяснилось, что ни вера (коммунистическая идеология), ни «социалистическая законность», эту веру призванная обслуживать, сами по себе не в состоянии предохранить государство и общество от разложения. А после того как от выдохнувшейся коммунистической веры отказались и советское государство распалось, обнаружилось, что и возникшему на его развалинах новому российскому государству альтернативу консолидирующей и развивающей роли силы найти непросто.

В культуре, какой она в России сложилась, для этого в очередной раз не оказалось ресурсов. Вступление в цикл послесталинской демилитаризации, в котором страна пребывает до сих пор, обернулось проблемой, для России беспрецедентной. Обернулось кризисом культуры такой глубины, что выход из него почти не просматривается, о чем свидетельствует, по-моему, и наш семинар.

Этой проблеме демилитаризации и посвящен, прежде всего, мой доклад. Все, что сказано выше, лишь введение в нее, необходимое для лучшего понимания ее содержания. Учитывая, однако, что в ходе наших семинаров ставился под сомнение сам мой тезис о роли милитаризации в отечественной истории и ее, милитаризации, уникальности, мне придется свое введение в проблему продолжить. Продолжить, сопоставив в самых общих чертах Россию или, если угодно, «Русскую систему» и ее культуру с государственными системами и культурами стран, чья историческая судьба оказалась более благополучной.

Особый путь в Новое время

В конце XIX века Герберт Спенсер, продолжая интеллектуальную традицию, идущую от Огюста Конта, указал на различие двух типов социальной организации («воинствующего» и «промышленного») и, соответственно, двух типов кооперации («насильственного» и «добровольного»). «Типичный строй первой системы, — писал он, — мы видим в регулярной армии, все единицы которой в разных чинах должны выполнять приказания под страхом смертной казни и получают пищу, одежду и плату по произвольному распределению; типичный строй второй системы представлен армией производителей и потребителей, которые входят между собой в соглашение и за определенную плату оказывают определенные услуги и которые по желанию и по предварительному заявлению могут вовсе выйти из организации, если она им не нравится»²⁵.

Автор отмечает также, что второй, добровольно-контрактный тип социальной существовал не всегда, что он — порождение европейского Нового времени. Если перевести это на язык наших дискуссий, то можно сказать, что Спенсер рассматривает милитаризацию не как некое культурно-генетическое свойство тех или иных цивилизаций, а как историческую стадию, через которую все они (или почти все) в своем развитии проходят. Я понимаю, что такой ход мысли близок сторонникам стадийного подхода к изучению истории, равно как и то, что он, этот ход мысли, увеличивает степень оптимизма относительно будущего России. Мол, раз все проходят через этап милитаризации, а потом из него в разное время и с разной скоростью выходят, то рано или поздно выйдет и она. Возможно, так оно и будет, но стадийный подход сам по себе ничего такого не доказывает.

Потому что из принудительно-милитаристской социальной можно прорваться в социальность добровольно-контрактную, а можно и не прорваться, подвергнувшись необратимому разложению и гибели. С некоторыми странами, оказавшими влияние на Россию, так и произошло — в отличие от стран Запада, они в Новое время прорваться не сумели. Однако Россия на вызовы этого времени ответить все же смогла. Ответить, оставаясь в границах милита-

25 Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск, 2007. С. 1–2.

ристского типа государственной и общественной организации и используя его потенциал. Ответить, говоря иначе, создав собственное Новое время, в чем-то сходное с европейским, но в главном существенно от него отличающееся.

В чем же причина таких различий исторических маршрутов и судеб? Думаю, что не в последнюю очередь ее надо искать в *способах* милитаризации и создаваемых ими культурных предпосылках дальнейшего развития либо, наоборот, барьерах на его пути. Именно в этом заключается принципиальное отличие России от Европы.

Средневековый европейский феодализм представлял собой, безусловно, одну из моделей милитаристской организации государства и социума. Многоступенчатая феодальная иерархия, возведенная на основе условного владения землей в обмен на службу, была иерархией военной, на вершине которой находился король, а в подножье — крепостной крестьянин, обслуживавший все звенья этой иерархии. Особенность же последней заключалась в том, что отношения в ней строились на основе правовых принципов, когда у вассалов были не только обязанности перед сюзеренами, но и определенные права. Это была милитаристская модель, включавшая в себя договорную, контрактную составляющую, предусматривавшую и судебную процедуру разрешения конфликтов. Или, говоря иначе, милитаристская модель, потенциально способная к качественной культурной трансформации.

В послемонгольской Московии ничего подобного не было. Точнее, было условное владение землей, которой дворяне наделялись в обмен на государственную службу, но на этом сходство заканчивалось. Московия не знала ни феодальной сюзерен-вассальной иерархии, ни присущих ей договорно-правовых отношений и рыцарской морали. Здесь изначально утверждалось то, что большевики впоследствии называли «беззаветным служением». То есть служением, никакими нормами и правилами не опосредованным. Служением, в котором приказ не оставлял места для самостоятельной роли закона. Реально же это означало формирование культуры всеобщего холопства по отношению к великим князьям и царям московским: в официальном языке оно стало закрепляться уже при Иване III²⁶, которого некоторые историки склонны считать почему-то эталоном русского европеизма.

Не возьмусь сейчас обсуждать вопрос о том, были ли у такой милитаризации ментальные истоки в российском социуме или культура «беззаветного служения» (она же культура холопства) была насаждена сверху. Факт лишь то, что она укоренилась, а укоренилась потому, что альтернативы ей в послемонгольской Московии не выдвигалось. Она просматривается разве что в княжеско-боярской аристократии, о чем можно судить, например, по переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. Но если помнить о поведении последне-

26 Подробнее см.: Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 54–64.

го в его литовском имении после бегства из страны²⁷, то не избежать вывода, что московская аристократия не хотела царского произвола по отношению к себе при сохранении права на свой собственный произвол в отношении населения. Поэтому московский люд и поддержал Ивана Грозного в его конфликте с боярами, став низовой опорой опричнины. Поэтому в народном сознании, как свидетельствуют о том русские пословицы и поговорки, сохранялся негативный образ боярства и спустя многие десятилетия после того, как оно перестало существовать.

Понятно, что при таком положении вещей не могли сложиться и утвердиться и институты феодального сословного представительства. Но причины тому были не только внутри страны. Дело в том, что в Европе ко времени освобождения Московии от монголов феодализм уже уходил в прошлое, вытесняясь монархическим абсолютизмом и сопутствовавшей ему централизацией. Но складывавшаяся самодержавная русская государственность по своей политической и культурной природе с этим абсолютизмом имела очень мало общего. Самодержавие укреплялось посредством усиления милитаризации. Утверждение же европейского абсолютизма означало, наоборот, *демилитаризацию* социума.

С появлением в XV веке огнестрельного оружия и резко возросшей в армии роли пехоты пошло на убыль и военное значение феодальной рыцарской конницы, а вместе с этим оставалась в прошлом и зависимость монархов от претендовавших на политическую субъектность баронов²⁸. Европейские армии стали становиться наемными, оплачивавшимися из казны. От социума они отделились. И феодалы, которые утрачивали свою военную функцию, и власть которых на местах все больше ограничивалась усиливавшейся королевской бюрократией, потянулись в столицы, чтобы искать у монархов службы. Но при этом последние на феодальную собственность не покушались: бароны могли не служить, оставаясь землевладельцами. Договорно-правовая традиция, заложенная в феодальную эпоху, из культуры полностью вытеснена не была, преемственность с той эпохой сохранялась.

В послемонгольской Московии вектор развития был иным. Здесь создавалось сословие служилых дворян, обязанных, вместе с боярской элитой, пожизненно выполнять воинские повинности. А так как землю, которой великие князья и цари московские расплачивались с дворянами, надо было обрабатывать, приходилось закрепощать крестьян. То, что в западной Европе уже становилось прошлым, в Московии выступало настоящим и будущим. Милитаризация и в данном отношении будет завершена Петром I, заставившим дворян находиться в воинских частях постоянно (а не только во время военных действий), а также принудительно превратившим часть

27 См.: Юрганов А. У истоков деспотизма // Знание — сила. 1989. №9.

28 Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Новосибирск, 1995. С. 69–73

крепостных в пожизненных солдат и создавшим таким образом регулярное войско.

Это была модель, альтернативная европейской. Это был «особый путь» адаптации к Новому времени, выбор которого, помимо прочего, обуславливался и тем простым соображением, что русскому самодержцу, в отличие от европейских монархов, наемную армию нечем было оплачивать. Попытки формирования такой армии стали предприниматься лишь в XVII веке, но обязательность дворянской службы при этом под сомнение не ставилась.

Существуют два способа приращения общественного богатства — силовой захват чужих ресурсов и торговля, стимулирующая производительную деятельность. Им как раз и соответствуют те два типа социальности, о которых писал Герберт Спенсер. И именно в то время, то есть в конце XV века, когда Московия высвободилась из-под монгольской опеки, в Европе начинал складываться тип социальности и культуры, противостоявший милитаристскому. Свободная городская среда, к тому времени уже сформировавшаяся в результате долгой борьбы городов с феодальными баронами, способствовала появлению фигуры *профессионального торговца*, добившегося права торговать не по предписанному, а по добровольно оговариваемым — с продавцами и покупателями — ценам²⁹.

Соответственно, формировались и институты, такую деятельность обслуживавшие, а именно — системы правовой защиты контрактов, прав собственности и страхования рисков, системы банков, использовавших векселя, и некоторые другие³⁰. В свою очередь, наличие таких институтов способствовало вызреванию новой морали, санкционированной религией и предполагавшей доверие друг к другу партнеров, не находившихся в родственных отношениях³¹. Этот городской уклад и стал опорой складывавшегося абсолютизма в его противостоянии феодальным баронам: богатевшие города становились важнейшим источником налоговых поступлений и тем самым ослабляли финансовую зависимость монархов от феодалов и от их военных услуг, характер которых уже не соответствовал к тому же вызовам времени.

Купцы, как известно, были и в Московии. Но никакого собственного социокультурного уклада они в ней не создали и создать не могли. Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в XIX веке, при Николае I, отметил, во-первых, их относительную немногочисленность и, во-вторых, отсутствие с их стороны какого-либо влияния на происходившее в стране³². А несколько десятилетий спустя, когда в ней стали создаваться акционерные общества, русские купцы не обнаружили желания вступать в них, предпочитая им традиционные семей-

29 Там же. С. 83–85.

30 Там же. С. 122–123.

31 Там же. С. 130–132.

32 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л.: 1991. С. 512.

ные формы ведения бизнеса³³. Деловое доверие между людьми, не состоявшими в родстве, в России не появилось и спустя столетия после того, как оно закрепилось в правовых и моральных нормах в европейской культуре.

Русское купечество, в отличие от европейского, возникло не из самоуправлявшейся городской среды. Такая среда для складывавшегося милитаристского государства была бы инородной и антисистемной, и потому там, где она в предыдущую эпоху сформировалась, она подавлялась, свидетельством чему — судьба Новгорода. Русское купечество было независимым в своей деятельности лишь в той мере, в какой это сочеталось с полной зависимостью от государя. О европейских правовых институтах и коммерческих технологиях, упомянутых выше, не было и речи³⁴. В эпоху послепетровской демилитаризации положение купцов, естественно, менялось, их положение становилось более устойчивым и гарантированным, но это было разве что удлинением поводка, на котором их держала власть.

Как бы то ни было, таким источником приращения богатства страны, как на Западе, купцы в России не стали. Не стали они и социальным и культурным субъектом, способным выдвинуть и реализовать альтернативу российской милитаризации и российскому типу демилитаризации. Несмотря на огромные масштабы благотворительности³⁵, их общественный статус, по сравнению с дворянством и чиновничеством, оставался низким, равно как и престиж их деятельности³⁶. Не было у них и точек соприкосновения с той культурой большинства населения, об особенностях которой говорилось выше. Перед первыми выборами в Государственную думу российские предприниматели создали несколько партий, но эта попытка обрести субъектность полностью провалилась.

Тем не менее в границах тех целей, которые ставили перед собой и страной ее правители, отечественный способ милитаризации государства и социума нельзя признать неудачным. Россия, в отличие, скажем, от монгольской и византийской империй, прорвалась в Новое время, а в отличие от тоже вошедшей в него империи Османской, закрепилась в нем уверенно и надолго. Она сумела стать пионером двух беспрецедентных и тоже милитаристских по своей природе технологических модернизаций (петровской и сталинской), вторая из которых завершилась обретением сверхдержавного статуса.

Это стало возможным потому, что в культурном коде большинства населения сила доминировала над верой и законом. В данном отношении Новомо-

33 История предпринимательства в России: в 2 кн. М.: 2000. Кн. 2. С. 228–231.

34 Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. Челябинск, 2004. С. 123.

35 См., например: *Барышкин П.А.* Москва купеческая. М.: 1990. Подробнее см.: *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: 2000. Т.2. С. 317–318, 324.

36 Подробнее см.: *Миронов Б.Н.* Указ. соч.

сковия большевиков мало чем отличалась от Московии Рюриковичей. Но факт ведь и то, что советская сверхдержава, войдя в цикл послесталинской демилитаризации, обвалилась, став первой континентальной империей, рухнувшей в мирное время. И сегодня мы видим, как послесоветская государственность в этом цикле застревает — подобно тому, как в своем демилитаризаторском цикле застряла когда-то государственность досоветская. Тогда ее из этого состояния вывели в новую милитаризацию большевики. Но сегодня страна, похоже, оказалась перед проблемой, с которой никогда раньше не сталкивалась.

Кризис развития или кризис упадка?

Почему российские демилитаризации сопровождаются кризисными явлениями, ведущими к государственному распаду? Потому, думаю, что они выявляют хроническую болезнь отечественной государственности. Болезнь заключается в том, что во всех своих исторических формах государственность эта выступает не столько выражением общего интереса, консолидирующего интересы частные и групповые, сколько компенсатором неразвитости в культуре самого понятия о таком интересе.

Откуда было взяться этому понятию в послепетровской России? При том откровенно враждебном отношении населения к государственным институтам и ассоциируемым с ними элитным слоям общества, которое зафиксировано в пословицах и поговорках, и при замкнутости крестьянского большинства в локальных сельских мирах понятию об общем интересе взяться было неоткуда. И чем глубже была демилитаризация, тем острее ощущался в обществе порождавшийся ею социальный и культурный распад.

Дискуссии, которые велись в России после отмены крепостного права и других реформ Александра II, и своей непримиримостью, и проектной беспомощностью мало чем отличаются от наших постсоветских словесных баталий. И точно так же, как почти все политические и интеллектуальные элиты консолидировались во время второй чеченской войны и пятидневной войны с Грузией, консолидировались элиты эпохи Александра II в поддержке русско-турецкой войны на Балканах, в которой видели единственный выход из ситуации, воспринимавшейся как состояние духовной деградации. «Нам, — писал тогда Достоевский, — нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, в котором мы дышим, и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте»³⁷.

Но консолидирующий ресурс войны (даже победоносной) в демилитаризаторском цикле может быть только ситуативным, что показала и та давняя война на Балканах, и проходившие на наших глазах войны в Чечне и в Грузии.

³⁷ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 18 т. М.: 2004. Т. XII. С. 87.

Устойчивую консолидацию государства и социума, предполагающую трансформацию военного типа социальности в социальность экономическую (промышленную, если пользоваться терминологией Спенсера), таким способом обеспечить нельзя. Потому что экономическая (добровольно-контрактная) консолидация может состояться только при наличии в культуре *невоенного* понятия об общем интересе и соответствующей ему ценностной матрице. Если же таковых в ней нет, то она оказывается в кризисе, на который ищет ответ в альтернативной милитаризации, то есть в силовом подавлении всех, кто имеет отношение к зашедшей в исторический тупик государственности.

В начале XX века политическим воплощением такого ответа стало утверждение у власти военизированной партии большевиков, которой, в свою очередь, суждено было пережить свою собственную демилитаризацию. В результате же военное понятие об общем интересе снова размылось, и население стало ускоренно атомизироваться, превращаясь в механическую совокупность индивидов и семей, движимых лишь своими частными потребительскими интересами. Возник специфический исторический и культурный тип — тип *«частного» человека в обществе без частной собственности*. И этот новый персонаж, возникший в индустриализированной и урбанизированной большевиками стране, и быстро ставший доминирующим в элитах и в населении, оказался лишенным какой-либо мотивации на технологическую модернизацию, с необходимостью которой столкнулся все больше отстававший от развитых стран СССР.

Ответа на этот исторический вызов у коммунистической системы не оказалось, и советское руководство вынуждено было инициировать «перестройку», суть которой заключалась, по замыслу, в высвобождении энергии «частного» человека от все еще сковывавшего его экономического огосударствления и возвращения ему таким образом утраченного понятия об общем интересе. Фактически это было признанием в том, что силой назревшую модернизацию обеспечить нельзя, что петровско-сталинской методикой ее осуществления воспользоваться уже невозможно. Но отказ от применения силы обрушил и советскую империю, выявив несамодостаточность советской идентичности, и коммунистическую веру, выявив ее неукорененность в культуре, и «социалистическую законность», выявив слабость ее упорядочивающего потенциала. Выяснилось также, что освобождавшийся от государственного силового диктата советский «частный» человек добровольным носителем общего интереса становиться явно не собирался.

Между тем российские реформаторы 1990-х годов после распада СССР тоже сделали основную ставку на этого человека, наделив его правом собственности. Но воспользоваться предоставленным правом смогли лишь немногие, которые не только не претендовали на роль субъектов *общего интереса*, но и стремились вместе с государственной собственностью приватизировать

и само государство, к исполнению функции такого субъекта предназначенное. То был культурный продукт разложения советской ментальности, на развалинах которой произросла постсоветская квазисоциальность, не скреплявшаяся ни силой, ни верой, ни законом. Ее не удалось консолидировать ни первой войной в Чечне, закончившейся неудачей, ни новой «национальной идеей», которую так и не удалось придумать. Такая квазисоциальность не могла не вызвать к жизни массовый запрос на «порядок», образ которого власть стала выстраивать из осколков традиционной милитаристской культуры, актуализированной вторжением чеченских боевиков в Дагестан и взрывами жилых домов в Москве и других городах страны.

Вторая чеченская война, более успешная, чем первая, консолидировала большинство населения вокруг нового президента Путина, позволив ему стать персонификатором идеи «мочильного» порядка. Этот свой образ он поддерживал и поддерживает, политически эксплуатируя инерцию милитаристского сознания апелляциями к памяти о победе в Великой Отечественной войне, полетами на военных самолетах, визитами на корабли и подводные лодки, каждый раз облачаясь в соответствующую армейскую форму, и риторикой о «вставании с колен». Но все это может находить отклик лишь благодаря потоку нефтедолларов, который позволяет сохранять контакт с атомизированными частными интересами. Такие политтехнологии, заменившие политику, не выводят страну из квазисоциальности, а ее консервируют.

Победа во второй чеченской войне, сопровождавшаяся утверждением кадыровского режима, который находится на содержании Москвы, — это победа квазисоциальности под видом «восстановления конституционного порядка». «Правосудие», выражающееся в приговоре Ходорковскому и Лебедеву и тюремном заключении оппозиционных политиков, — это ее же победа в форме квазизаконности. А то, что происходит в других республиках Северного Кавказа, — это проявление квазисоциальности, упорядочиванию не поддающейся. Равно как захваты заложников и теракты на улицах, в метро и аэропортах. Равно как растущая коррупция и сращивание силовых структур с криминалом. Равно как низовая репрессивность, о которой написал в своем докладе Игорь Яковенко, и которая все чаще дает о себе знать как репрессивность этническая. Равно как и углубляющаяся, если говорить в целом, атомизация социума, проявляющаяся в том числе и в феномене тотального недоверия по вертикали и горизонтали.

Все это — продукты постсоветской квазисоциальности, являющейся, в свою очередь, продуктом послесталинской демилитаризации. Демилитаризации, которая осуществлялась и осуществляется при отсутствии проекта, нацеленного на трансформацию рассыпавшейся принудительной военной социальности в добровольно-контрактную. Она «квази», потому что понятие об общем интересе в ней не только не складывается, но и все больше размывается. Соот-

ветственно, и модернизация при ее сохранении не может быть чем-то иным, кроме как «квази».

Таким образом, послесталинская демилитаризация, оказавшаяся источником неразрешимых проблем для позднесоветских руководителей, остается тем же самым и для правителей постсоветских. И дело тут не только в беспрецедентном эгоизме и этих правителей, и элитных групп, на которые они опираются, не только в стремлении тех и других обслуживать общий интерес по остаточному принципу. Застывание в незавершенной демилитаризации, комфортное для властвующих групп, имеет и культурное измерение.

Культура — не только элитная, но и низовая — изжила запрос на милитаристскую альтернативу тупиковой демилитаризации. Альтернативу, подготовленную в свое время и *антимещанской* по своему пафосу культурой почти всей старой русской интеллигенции, третировавшей частный («мещанский») интерес с позиций православной соборности либо революционного героизма³⁸. Но этот пафос иссяк уже в советскую эпоху — в том числе и по причине того, что был ассимилирован официальной коммунистической пропагандой. Незаметно, чтобы он возродился и сейчас: публичные призывы к жертвенности иногда звучат³⁹, но в интеллигентскую ментальность, не говоря уже о массовой, не возвращаются.

В совокупности же все это и свидетельствует о принципиальной новизне нынешней ситуации в контексте всей предшествующей российской истории. Новизне, которая и позволяет прорваться к осознанию милитаристских культурных оснований «Русской системы», — сущность того, что было, обнаруживает себя лишь тогда, когда бывшее кончается. Прорваться сквозь плотную завесу мифов, посредством которых культура эта свои основания скрывала, вуалируя и компенсируя культивированием постоянного предощущения войны и культом военных побед и героев-победителей слабость своего консолидирующего потенциала в условиях мирного времени. Свою, говоря иначе, чужеродность культуре добровольно-контрактного типа социальности, идеям органической инновационности, самоценности человеческой жизни и народного благосостояния.

Она и сейчас противится обнаружению этих оснований, что проявляется в сохраняющейся сталинской мифологизации образов Александра Невского, Ивана Грозного, Петра I, равно как и образа самого Сталина. Но такая рудиментарная мифологизация — это всего лишь реакция исторической памяти «частного» человека на кризисное состояние государства и общества при отсутствии запроса на новую милитаризацию. Это — реакция на несформирован-

38 См.: *Иванов-Разумник*. История русской общественной мысли: в 3 т. М.: 1997.

39 См., например: *Кургинян С.* Лукавое обсуждение. (Реальная повестка дня в вопросе о российской государственности и вытеснение этой повестки под видом ее обсуждения) // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. М.: 2007. С. 191–197.

ность нового, невоенного понятия об общем интересе, как подвижной равнодействующей интересов индивидуальных и групповых, посредством ностальгических воспоминаний о прежних его военных воплощениях. Что-то похожее мы наблюдали в ностальгии по коммунальным квартирам при нежелании в них возвращаться. Это ведь тоже была психологическая реакция на дискомфорт постмилитаристской атомизации и начавшейся теневой коммерциализации межличностных отношений.

Итак, переживаемый Россией кризис — это кризис культурных оснований милитаристского типа государства при исчерпанности возможностей их обновления и несформированности оснований альтернативных. Кризис застревания в состоянии демилитаризации, которое может поддерживаться искусственным комбинированием силы, веры и имитируемой законности, позволяющим сохраняться властной монополии, но не может трансформироваться в состояние стабильного развития. Атомизированная квазисоциальность лишена мотивации на выработку консолидирующего понятия об общем интересе, а властная элита, плененная интересами частными и групповыми, способна лишь его имитировать, затыкая системные бреши стратегически безответственным использованием нефтегазовых доходов на социальные подачки.

Это — кризис системного упадка, прикрываемый модернизационной риторикой властей, по инерции облекаемой в форму боевого клича («Россия, вперед!»). Но культура, к таким кличам отзывчивая, уже увяла, она на них не откликается. Она доживает свой век в воспоминаниях о славном милитаристском прошлом, реагируя тем самым на размывание в себе образа будущего. Но это — воспоминания о том, что было, а не о том, что должно быть.

Выход из этого кризиса может быть только выходом в новое системное качество. А выход в такое качество означает реализацию модернистского проекта русского Просвещения, о чем я на предыдущих семинарах уже говорил. Или, что то же самое, означает трансформацию государственности в соответствии с принципами законности и права.

Без такой трансформации, кстати, призывы некоторых статусных правозащитников к десталинизации исторического сознания призывами и останутся. Потому что десталинизация этого сознания предполагает не только трансформацию мифологии о сталинской эпохе, но и пересмотр сталинской версии всей отечественной истории. Версии, акцентирующей милитаристские основания русской культуры и их персонификаторов и маргинализирующей демилитаризаторские тенденции в ней, то есть тенденции правовые. И пока принципы права остаются лишь отвлеченными принципами, к повседневной жизни прямого отношения не имеющими, пока люди на собственном опыте не осознали их преимуществ, десталинизация исторического сознания будет лишь благим пожеланием.

Мифологии прошлого окончательно утрачивают актуальность лишь тогда, когда настоящее начинает восприниматься как состоявшееся и самодостаточ-

ное, в своих фундаментальных качественных характеристиках оставившее прошлое позади. Пока же такого восприятия нет, как нет и самого такого настоящего, сознание будет за эти мифологии цепляться. Это, разумеется, вовсе не означает, что нужно отказываться от упреждающего интеллектуального переосмысления нашей истории, смещающего позитивные акценты с милитаристских циклов на демилитаризаторские. Но надо отдавать себе и ясный отчет в том, что быстрых впечатляющих успехов быть при этом не может.

Я не знаю, насколько воплотим просветительский модернистский проект в постмодернистскую эпоху, да еще в мультикультурной и мультиконфессиональной стране, все больше раздираемой межэтническими и межконфессиональными конфликтами. Не знаю и того, в каких территориальных границах такой проект реализуем, и какую цену за это придется заплатить. Но опыт мировой истории свидетельствует о том, что цена будет тем выше, чем дальше нынешнее состояние квазисоциальности будет сохраняться. А опыт истории отечественной и ее демилитаризаторские циклы свидетельствуют, в свою очередь, о том, что *между социальностью, основанной на приказе, и социальностью, основанной на праве, никаких стратегически устойчивых состояний быть не может*. Если же консолидирующий потенциал приказа исторически и культурно изжит, то альтернативы просветительскому модернистскому проекту просто не оказывается. Альтернативой ему становятся деградация и распад.

Дополнительное основание для выдвижения и детальной проработки такого проекта заключается в том, что культурного отторжения идея правовой государственности у большинства населения сегодня не вызывает. Сто лет назад было еще не так. Тогда массовой готовности принять эту идею не существовало, тогда спрос был на альтернативную милитаризацию. Теперь такая готовность существует, хотя субъекта, готового и способного идею правопорядка целенаправленно отстаивать и добиваться ее воплощения, в обществе пока нет. Задача интеллектуалов — способствовать его созреванию.

Алексей КАРА-МУРЗА: Вопросы докладчику, пожалуйста.

Игорь ЯКОВЕНКО (профессор Российского государственного гуманитарного университета): У меня такой вопрос. В предложенной Вами концепции одна из важнейших категорий — «сила». Но ведь она, если речь идет о силе власти (а у Вас речь идет именно о ней) — просто другое название властной репрессии. Разве не так?

Игорь КЛЯМКИН: У меня ключевое понятие — «милитаризация». Милитаризация и репрессивность власти в чем-то, конечно, пересекаются. Но они не тождественны. Милитаризация в моей интерпретации — это выстраивание не

только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенного образа жизни. Репрессия же — всего лишь ее инструмент, произвольное использование которого милитаризацией легитимируется.

На предыдущем семинаре я уже разяснял это на примере сталинской Большой репрессии, которой Вы посвятили отдельный раздел своего доклада. Без атмосферы «осажденной крепости» и целенаправленной актуализации внешней угрозы природу данного феномена понять, по-моему, невозможно. А в демилитаризаторских циклах легитимирующий потенциал надзаконной властной репрессии неизбежно иссякает, и она становится или закамуфлированной под нечто другое (скажем, под лечение в «психушках», как было в брежневскую эпоху), или имитационно-правовой, как в нынешние времена. Так адаптируется к демилитаризации государство, не ставшее правовым.

Пользуясь случаем, хочу сказать о том, что, помимо репрессивности, есть и другие проявления милитаризации, на основе которых порой выстраиваются понятийные конструкции, призванные зафиксировать специфическую природу российской государственности. Достаточно вспомнить о «раздаточной экономике» Ольги Бессоновой и «ресурсном государстве» Симона Кордонского. Но нерыночное распределение («раздача») и перераспределение ресурсов — это ведь не что иное, как способ управления армией, это и есть следствие того, что я называю милитаризацией государства и социума.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»): Вы рассматриваете российскую историю как циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций. Если ограничиться XX веком, то мы имеем сталинскую милитаризацию и послесталинскую демилитаризацию. А сейчас какой тренд? Можно ли считать, что «мочилровка в сортире» — это вхождение в очередной цикл милитаризации?

Игорь КЛЯМКИН: Ответ, как мне кажется, есть в докладе. То, что мы имеем сейчас, нельзя толковать как милитаризацию — в том смысле, в каком я ее понимаю, то есть в смысле выстраивания мирной повседневности по военному образцу. Можно говорить об использовании инерции милитаристского сознания для легитимации власти и консолидации вокруг нее населения, что проявляется в риторике «вставания с колен»...

Игорь ЯКОВЕНКО: И в местоимении «они», используемым нашим президентом для напоминания о замыслах тех, кто готовил и готовит нам египетский либо ливийский сценарий.

Игорь КЛЯМКИН: И в этом тоже. Можно говорить и о попытках укрепить властную вертикаль посредством значительного увеличения в ней доли людей

с погонами. Но это — не военный порядок петровско-сталинского типа. Это — его имитация.

Кстати, такого рода дозированные поверхностные ремилитаризации имели место и в первом, послепетровском демилитаризаторском цикле. Скажем, при Николае I процент военных на гражданских должностях был намного выше, чем сейчас. И такой парадомании, как при Николае, сегодня тоже не наблюдается. Мы, повторяю, имеем дело с имитационной милитаризацией, на жизненный уклад элиты и населения никак не влияющей.

Денис ДРАГУНСКИЙ: Тогда напрашивается вопрос о длительности циклов. От Петра до Николая прошло целое столетие, а от Сталина до Путина — менее полувека. Время циклов сокращается?

Игорь КЛЯМКИН: То, что сокращается, — это факт. Но я только хочу сказать, что Николай I никакого нового цикла не начинал. Это было попятное движение внутри послепетровского демилитаризаторского цикла, продолжавшегося до 1917 года. Да и само это движение началось почти на три десятилетия раньше. Оно началось при Павле I, инициировавшим наступление на дарованные Екатериной II дворянские вольности и права, что, как известно, стоило ему жизни...

Денис ДРАГУНСКИЙ: Да, но потом был Александр I, который все вольности дворянам вернул. Получается цепочка: ремилитаризация при Павле, отказ от нее при Александре и ее возвращение при Николае. Так?

Игорь КЛЯМКИН: Такое колебательное движение характерно для «Русской системы» в ее демилитаризаторских циклах. После убийства Павла покушаться на права дворян российские правители уже не решались. Но все три послеекатерининских императора, Вами названные, сталкивались с одной и той же проблемой незавершенной демилитаризации. Ее можно было попытаться решить, двигаясь вперед, как сделает впоследствии Александр II. Но можно было пробовать искать решение и на путях дозированной ремилитаризации...

Игорь ЯКОВЕНКО: И оба маршрута оказались в конечном счете тупиковыми. Ремилитаризации завершились поражением в Крымской войне, а углубление демилитаризации при Александре II не уберегло страну от большевизма...

Игорь КЛЯМКИН: Именно потому, что демилитаризация — это для России главная системная проблема. И перспективы ее решения до сих пор не просматриваются.

Денис ДРАГУНСКИЙ: Я, того не желая, увел вас в историю. Но то, что было, интересует меня только в связи с тем, что есть сегодня и может быть завтра. В России, как я понял, сталинская милитаризация сменилась послесталинской демилитаризацией, которая, в свою очередь, сменилась нынешней имитационной ремилитаризацией. И чем она может завершиться? Милитаризацией реальной?

Игорь КЛЯМКИН: Вы вынуждаете меня повторять написанное в докладе. Как мне кажется, есть основания предполагать, что мы живем в эпоху кризиса самой этой прежней цикличности. В начале XX века для большевистской милитаризации были две важные предпосылки. Во-первых, для нее наличествовал культурный ресурс — я имею в виду ментальность крестьянского большинства населения. Во-вторых, у нее была историческая функция — я имею в виду догоняющую военно-технологическую модернизацию индустриального типа. А теперь нет ни того, ни другого.

Вадим МЕЖУЕВ (главный научный сотрудник Института философии РАН): Но дурное милитаристское наследие до сих пор над нами довлеет. Как же нам все-таки от него избавиться?

Игорь КЛЯМКИН: Дело не в том, чтобы избавиться. Это наследие живо разве что в культурной памяти, но его, по-моему, уже невозможно использовать для развития. В данном отношении его потенциал был исчерпан еще в советские времена. Проблема в том, что Россия застряла в демилитаризаторском цикле, будучи не в состоянии выбраться из него в новое системное качество. Выбраться же из него можно только в правовое государство. Альтернатива ему — разложение и распад.

Вадим МЕЖУЕВ: В таком случае мне не очень понятно, что дает нам предложенное рассмотрение истории России в терминах «милитаризации» и «демилитаризации». Правовое государство — это характеристика обществ модерна, а переход к нему — это европеизация. А альтернатива модерну — это традиционализм. Что Вы хотите подчеркнуть своими терминами?

Игорь КЛЯМКИН: Я хочу подчеркнуть специфику России. Мне кажется, что в понятиях традиции и модерна специфика эта не схватывается. Я задаю простыми вопросами. Почему Россия стала родиной двух беспрецедентных военно-технологических модернизаций? Почему она сумела найти свои ответы на вызовы Нового времени, то есть эпохи модерна, и надолго закрепиться в нем, оставаясь в культурном отношении ценностям Нового времени чуждой? И почему Российская империя в конце концов все же рухнула, не испытав военного поражения и обладая сверхдержавным статусом?

Эти вопросы и привели меня к понятиям «милитаризация» и «демилитаризация». Милитаризация жизненного уклада — это самобытный российский ответ на вызовы эпохи модерна. Демилитаризация в российском исполнении — это самобытный способ ответить на те же вызовы, но не в военно-технологическом, а в социально-экономическом смысле. Или, говоря иначе, способ адаптации к ценностям мирного времени. Но он оказывался и оказывается тупиковым, потому что европеизацию всегда пытались и пытаются осуществлять дозированно, не выходя за границы «Русской системы». В этом и заключается смысл российских демилитаризаций — в том числе и нынешней.

Алексей КАРА-МУРЗА: И сегодня, как я понял, альтернативы последовательной европеизации не существует?

Игорь КЛЯМКИН: Я ее не вижу. Но, к сожалению, пока не вижу и субъектов, осознавших безальтернативность трансформации «Русской системы» в систему правовую. Пока мы наблюдаем беспомощные попытки выскочить из тупика с помощью имитационной ремилитаризации, сочетающейся со столь же беспомощной модернизационной риторикой, апеллирующей к ценностям свободы и правовой государственности. И уже одно то, что эти два вида имитаций персонифицированы в двух персонажах властного тандема, убедительное свидетельство и исторической новизны переживаемой страной ситуации, и ее тупиковости.

Вадим МЕЖУЕВ: У меня еще один вопрос. Недавно я прочитал на сайте «Либеральной миссии» дискуссию по поводу последней книги Александра Янова. Как его концепция соотносится с Вашей?

Игорь КЛЯМКИН: Можно сказать, что никак. Позиция Янова мне не близка. Я полагаю, что выделять в истории России некое «европейское столетие», как он делает, нет никаких оснований. И не только потому, что в этом столетии, отсчитываемом Александром Львовичем с начала правления Ивана III, были разные периоды с разными доминирующими тенденциями. Дело еще и в том, что Янов ищет альтернативу русскому самодержавию, исходную точку которого он видит в опричном терроре Ивана Грозного, в периоде, опричнине предшествовавшем. Но это примерно то же самое, что искать альтернативу сталинизму в ленинском НЭПе, — аналогия, которой, кстати, Александр Львович и пользуется. Это значит искать альтернативу более поздним стадиям того или иного государства в стадиях более ранних.

В первом послемонгольском столетии России обнаруживается не европейскость, а движение к тому типу милитаристского государства, который я попытался охарактеризовать в своем докладе. Это движение проявилось

и в установлении обязательной службы дворян, и в начавшемся закреплении крестьян, и в утверждении в официальном языке слова «холоп», обязательного при обращении к государю. Но еще важнее то, что в «европейском столетии» произошло вытравливание даже тех ростков европейскости, которые имели место, — я имею в виду судьбы Новгорода и Пскова. Европейскость без самоуправляющихся европейских городов — это нечто для меня непостижимое.

Более подробно я разбирал концепцию Янова в упомянутой Вами дискуссии по поводу его трилогии «Россия и Европа». Тогда же я адресовал Александру Львовичу целый ряд вопросов, на большинство которых он, к сожалению, не ответил. Обо всем этом можно прочитать в книге «Европейский выбор или снова «особый путь»?» и в моем к ней предисловии⁴⁰. Она представлена и на сайте «Либеральной миссии».

Алексей КАРА-МУРЗА: Больше вопросов нет? Переходим к обсуждению. Начнет его Игорь Григорьевич Яковенко.

Игорь ЯКОВЕНКО: «Идея общего интереса не может возникнуть в обществе до того, как оно начало мыслить интересами»

Когда я дочитывал доклад Игоря Моисеевича, то поймал себя на мысли: «А этот текст, случайно, не я написал?». В главных тезисах содержание доклада мне не просто близко, но тождественно с моим пониманием прошлой и нынешней российской реальности.

Докладчик начинает с того, что говорит о переживаемом Россией кризисе и указывает на его причину. Причина в том, что исторически сложившиеся способы решения проблем, встающих перед российским обществом, уже не работают, а новых способов не рождается. И это полностью совпадает с моим представлением о ситуации.

В ходе наших встреч я несколько раз повторял определение культуры как системно организованного пакета программ человеческой деятельности. Такой взгляд на культуру позволяет понимать природу кризиса любой культуры. Она задает не только актуальные программы, но и стратегию разработки всех мыслимых программ. В ответ на кризис палеолитический человек будет совершенствовать технологии охоты и собирательства. Такая стратегия задана системным качеством его культуры. Доместикация и переход к производящему хозяйству для него невозможны. И Россия находится сегодня в типологически сходной ситуации.

Политические, экономические и культурные стратегии, реализуемые к востоку от Смоленска, не просто неэффективны, но с каждым днем все более

⁴⁰ См. *Клямкин И.* Ни вперед, ни назад. Предисловие редактора // Европейский выбор или снова «особый путь»? М.: Либеральная миссия, 2010.

контрпродуктивны. Однако ничего другого носители российской административной и государственной мудрости, носители отечественной традиции предложить не могут. Системная целостность культуры блокирует диссистемные решения. Отторгает их на уровне безусловной иммунной реакции. Незнакомо уродует и приводит в соответствие со своей природой то, что в силу необходимости приходится внедрять. Формирует фобии, страхи и предубеждения по отношению к качественной альтернативе нашему пути к катастрофе.

Непродуктивно искать в этом чью-то злую волю. Так устроена культура, так скроено сознание ее массового носителя. Любые частные подвиги не могут решить проблему. Только разрушение системного целого может обеспечить выход из описанной ситуации.

Любопытно то, что люди, живущие внутри культуры, не видят и не осознают идиотизма такого рода ситуаций. То, что впитано с молоком матери, привычно и естественно. Вспомним советские времена, вспомним, как реагировали люди на упомянутую докладчиком милитаризацию языка. В юности меня поражало определение «боец стройотряда». Почему боец? Какой бой? С кем? Но тех, кто меня окружал, это не поражало. Мои вопрошания свидетельствовали об одной единственной вещи — я не был «правильным» носителем культуры. Оттого и пошел с тех пор по кривой дорожке, напрямик к нашему семинару.

А сегодня все говорят о «законности», «праве», «контракте». Но эти слова имеют такое же отношение к реальности, как слово «боец» применительно к стройотряду. Игорь Моисеевич пишет о том, что добровольно-контрактный тип социальности российской традицией отторгается. И это действительно так. Контракт налагает формализованные, четко прописанные обязательства на участников соглашения. В контракте обе стороны равны как участники правоотношения. Однако традиционно понимаемая сакральная власть ни в каких отношениях в России подвластным не равна. Поэтому и контракта между ними быть не может. Контракт *перечеркивает патерналистский и патримониальный характер власти*. А это и означает, что любые договорные отношения между властью и подвластными в России — пустая бумажка. Захочет власть — выполнит условия договора, не захочет — не выполнит.

Показательно, что идеологи российской традиции активно отвергают идею контракта, внедряя идеологию служения, идеологию беззаветной преданности...

Алексей КАРА-МУРЗА: То есть хотят сохранить милитаристскую парадигму?

Игорь ЯКОВЕНКО: Да, стремятся к тому, чтобы каждый человек мог сказать о себе: «Мне не нужны никакие гарантии, я, как солдат командиру, сердцем и душой предан нашей родной власти». Эти идеологи выступают от имени культуры, которая всегда активно профанирует и отторгает свои альтернати-

вы. Однако факт и то, что культура, о которой идет речь, находится в стадии умирания.

Игорь Моисеевич вскользь упомянул в своем докладе о Турции, которой, в отличие от России, пришлось в свое время расстаться со своими притязаниями на статус сверхдержавы. Но кто в итоге выиграл — Турция или Россия?

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе со своим коллегой в Лондоне произнес знаменательные слова: «Россия избавилась от сверхдержавных амбиций». Слышать это приятно, хотя поверить в искренность господина Лаврова трудно. Он не может не понимать, что такое «избавление» для нашей традиционной культуры и ее носителей непереносимо. Я уже не говорю о людях старших поколений. Но ведь и в политической элите заметны силы, которым хотелось бы вновь ощутить себя среди тех, кто распоряжается судьбами мира. Однако, наряду с желаниями и сожалениями, в сознании тех же людей присутствует более или менее трезвая оценка реальности. И это радует.

Я не случайно вспомнил о Турции. Османская империя во многих отношениях была близка России; отсюда и мой интерес к этой стране. Я бываю в Турции, наблюдаю за тем, что там происходит. Туркам повезло в том отношении, что «величайшая геополитическая катастрофа» случилась в их стране на 70 лет раньше, чем у нас. Россия находится в фазе переживания утраты сверхдержавного статуса. А Турция переживала этот комплекс более века назад, в последние десятилетия османского периода. Потом она его изжила, существенно в этом отношении Россию опередив, хотя, с точки зрения сохранения державного статуса, все довольно долго выглядело иначе. Но сама эта точка зрения, как оказалось, достаточно уязвима.

Посмотрите хотя бы на тренды хозяйственного развития наших стран. В России последние 20 лет идет деиндустриализация. Смена политического режима и экономической модели привела к распаду существенного сектора советской экономики. Советская наука и машиностроение могли существовать только в рамках советской системы. Когда эта система исчезла, все рухнуло. А в Турции последовательно развиваются экономика и инфраструктура, нормально вписанные в мировой контекст. За последние 15 лет заметно вырос жизненный уровень. В турецкой культуре нет проблем с восприятием частнопредпринимательской деятельности, идея частной собственности в этой культуре прочно укоренена. Есть коррупция, но она не разрастается до былинных размеров, а устойчиво балансирует в разумных пределах. Турция на подъеме, а мы в фазе кризиса, заданного тотальной переструктуризацией. Причем выхода из него пока не предвидится. Если учесть, что Османская империя начала модернизацию лишь в 40-х годах XIX века, то надо признать, что во многих отношениях турки преуспели больше, чем Россия.

Это касается и степени осознания общего интереса, о котором тоже говорится в докладе. Я согласен с докладчиком в том, что идея общего интереса

сегодня в России никак не проявляется. Но одновременно утверждаю, что идея эта не может возникнуть в обществе до того, как оно научилось мыслить интересами. Такое мышление задано стадийными характеристиками сознания — в том смысле, что видение мира через призму интереса приходит только на определенной стадии развития, до которой нам еще только предстоит добраться.

В России исторически сложилась ситуация, при которой социальный космос разделен на пастырей и пасомых. Пастыри отличаются от пасомых качественно или, если угодно, стадийно. И, прежде всего, именно тем, что могут мыслить интересами — личными, групповыми, сословными. А пасомые этой способности лишены. Такая массовая способность возникает только в рыночной экономике. Она создает рыночного субъекта, который по своей природе неотделим от мышления интересами. Эти интересы создаются, соответственно, и незыблемой, освященной традицией и законом частной собственности. В России же становление конкурентного рынка и утверждение собственности как фундаментального социального института только входят в повестку дня. И потому мышление интересами в ней находится еще в зачаточном состоянии.

Но если человек не мыслит интересами, ему остаются традиционные ориентиры и побудители — долг, власть, традиции, культурные рефлексы...

Алексей КАРА-МУРЗА: Честно говоря, пока это Ваше рассуждение выглядит не совсем понятным. Докладчик говорит, что есть частные интересы, но нет понятия об интересе общем. По-вашему же получается, что нет и частных. Что же тогда есть?

Игорь ЯКОВЕНКО: Интерес — сущность стратегическая, он не тождествен сиюминутному побуждению и предполагает способность к анализу социальной реальности. Поясню на примере. Лет 30 назад на казенной «Волге» меня подвозил левачивший шофер. Парень попался общительный. Когда мы тронулись, он начал: «Правильно Андропов выступает. Всех распустили. Давно пора навести порядок». Я ему в ответ: «Ты возишь начальника. Если то, о чем говорит Андропов, будет реализовано, ты не сможешь халтурить и зарабатывать деньги в свой карман». Он, помню, очень удивился своей недогадливости.

Умение построить эту простую логическую цепочку в голове моего водителя отсутствовало. Он мыслил традиционными ценностями и конфликта между своими декларациями и собственной выгодой не видел. Это и есть неумение мыслить интересами. Такое мышление дано не всем — скажем, у патриархального крестьянина оно отсутствует. Но и у горожанина оно возникает не автоматически, а вырабатывается исторически. И пока в России мышление собственными интересами не стало доминирующим, понятие об общем интересе в ней не появится. Это невозможно в принципе.

Читая доклад, я обратил внимание на то, что Игорь Моисеевич говорит о «частном человеке в обществе без частной собственности», имея в виду позднесоветскую эпоху. Но это имеет отношение и к ситуации сегодняшней. В том-то и печаль, что в России до сих пор нет законной частной собственности как легитимной и нерушимой реальности. Я не о букве закона, я об общественном сознании и практике правоприменения. Постоянный передел собственности, рейдерские захваты, судебные преследования бизнесменов — повсеместная практика. А возможно это потому, что в глазах общества такая практика не несет в себе общественной опасности. Мол, одни воры крадут у других — ну и ладно.

В России немыслим человек, готовый подняться на борьбу не за свою булочную, но за утверждение самой *идеи* частной собственности. Собственность воспринимается как попущение. Она не обрела этических оснований, не онтологизирована, не осмыслена как фундаментальная нравственная ценность, созидаящая цивилизацию и умножающая общественное богатство.

А без этого, повторяю, не может быть ни рационально осмысленных частных интересов, ни осознанного интереса общего, ни добровольно-контрактной социальности. Не надо доказывать, что последняя невозможна без утверждения принципов права. Но других способов внедрения этих принципов, помимо утверждения идеи частной собственности, еще никто не придумал.

Алексей ДАВЫДОВ (ведущий научный сотрудник Института социологии РАН): А эту идею нельзя утвердить без независимой судебной системы. Какой-то порочный круг получается.

Игорь ЯКОВЕНКО: Да, тут все связано. Но для меня очевидно, что только в том случае, если утвердилась нерушимая собственность и «есть судья в Берлине» (известная немецкая поговорка), добровольно-контрактная социальность формируется естественным образом. Игорь Моисеевич высказывает принципиально важное суждение: правовые тенденции противостоят милитаристским основаниям российской государственности, и пока принципы права остаются отвлеченными, не имеющими отношения к повседневной жизни, Россия не выберется из наезженной колеи.

Алексей КАРА-МУРЗА: Но неужели и осознание частных интересов за последние десятилетия в России не развивалось?

Игорь ЯКОВЕНКО: Развивалось. В стране активно формируется общество потребления. Потребление легитимирует частный интерес. Делает его законным и морально оправданным. Антимещанский пафос русской интеллигенции благополучно скончался вместе с означенной интеллигенцией. Все это

так. Но пока речь идет лишь об отмежевании частного интереса от милитаристского типа государства, этот интерес поглощавшего. При неукорененности идеи частной собственности стратегическое измерение он обрести не может.

Милитаристский тип государства требует самоотречения, жертвенного служения, забвения своего частного интереса во имя интересов целого. Все эти добродетели возможны только в традиционном доличностном социуме, необратимое разложение которого началось еще в позднесоветскую эпоху и продолжается до сих пор. Люди стали задаваться вопросами: в какой мере всеобщая милитаризация, политика захватов и диктата соответствует интересам российского общества? Должен ли народ служить материалом для реализации устремлений элиты распоряжаться судьбами мира? Почему дети «смердов» гибнут в зачистках, а отпрыски элиты учатся в Гарварде?

Это и есть продолжающийся «кризис культурных оснований милитаристского типа государства», о чем и написал наш сегодняшний докладчик. Но люди, осознавшие ущемление их частных интересов советским государством и сменившим его государством постсоветским, не осознали пока, какой же тип государства их интересам соответствует. У них нет понятия об общем интересе, потому что их частные интересы осознаются по инерции как любому общему интересу противостоящие.

Согласен с Игорем Моисеевичем: социальность, основанная на праве, должна прийти на место социальности, основанной на приказе. Мои расхождения с докладчиком, если и есть, то они тактического свойства. Дело в том, что одним просвещением здесь явно не обойтись. Необходимо мощнейшее социальное действие. Люди должны увидеть, что происходит с теми, кто посягает на их законные права. Либо государство отречется от самоуправства на любом уровне и создаст доступные каждому эффективные механизмы защиты его прав, либо само общество переформатирует социально-политическую ситуацию и задаст новую, беспрецедентную для России реальность. Как пишет Игорь Моисеевич, «выход из этого кризиса может быть только выходом в новое системное качество».

Игорь КЛЯМКИН: Я писал о просвещении не просто как о распространении знаний, а как о просветительском (в смысле эпохи Просвещения) проекте применительно к условиям XXI века. Такой проект предполагает и определенное социальное действие. Но его направленность зависит и от знания того, во имя чего оно осуществляется.

Игорь ЯКОВЕНКО: Тогда у нас с Вами разногласий нет.

Алексей КАРА-МУРЗА: Спасибо, Игорь Григорьевич. Следующим просил слова Алексей Платонович.

Алексей ДАВЫДОВ: «Триумvirат средств — милитаризация, клерикализация, бюрократизация — работает все хуже, потому что ни армия, ни церковь в России уже не сакральные институты»

Доклад Игоря Моисеевича Клямкина вызвал во мне чувство удовлетворения новизной подхода к анализу русской культуры. О циклах в российской истории писали многие — А. Янов, А. Ахиезер, И. Яковенко, В. Федотова и другие. Писал об этом и я. Почти все мы упоминали и о милитаристской составляющей циклического развития России. Но никто не сделал милитаризацию ментальности русского человека предметом специального исследования. Почему? Возможно, потому, что роль этого фактора недооценивали. Как бы то ни было, то, что сделал Клямкин, сделано впервые. И сделано, на мой взгляд, квалифицированно.

Докладчик показывает, что в российском имперском сознании лежит такое представление о соотношении силы, веры и закона, при котором верховенство отводится силе. Забегая несколько вперед, отмечу, что роль «веры», если понимать под ней феномен «религии/церкви», при этом несколько умалется. Милитаризация невозможна без соответствующей морали, предполагающей клерикализацию сознания.

Очень важен тезис автора о демилитаризации как социокультурной проблеме. Потому что когда военная скрепа, как основание государственного и общественного единства, ослабевает, а либеральная альтернатива этой скрепе отсутствует, сама по себе демилитаризация альтернативой милитаризации быть не может. Такая «альтернатива» означает движение милитаризованного общества к своему концу, его умирание. Точнее — его самоубийство. Думаю, что вывод этот имеет не только теоретическое, но и практическое значение, позволяя прогнозировать динамику нынешнего российского общества. Это вывод, с которым должны считаться все политические силы современной России.

Чтобы осознать ловушки демилитаризации, нужно отчетливо представлять себе социокультурную природу предшествовавшей ей милитаризации. Опираясь на верховенство силы, она не может обойтись и без упомянутой мной клерикализации массового сознания и политической системы. Без насильственного насаждения соборной религии как средства, сакрализующего имперское единство, это сознание милитаризовать невозможно. Милитаризация и клерикализация — две стороны одной медали.

Для поддержания имперского сознания, повторю, нужна не только сила, но и мораль, подавляющая право и оправдывающая насилие. И этот вывод тоже имеет важнейшее практическое значение. Либеральная альтернатива милитаризации означает секуляризацию общества и отодвигание имперской морали на периферию общественного сознания. Имперская РПЦ чувствует эту угрозу, но ничего другого, кроме возвращения к клерикализации нашего общества, бывшей неотделимой от его милитаризации, предложить не может.

Такова взаимосвязь в милитаризованном социуме силы и веры — несколько более сложная, чем она представлена в обсуждаемом докладе. А какова в нем роль закона? Она, эта роль, проявляется в тотальной бюрократизации управления при одновременном тотальном уничтожении самоуправления и частной инициативы, вытравливании самой идеи свободной личности. Да, в основании бюрократизации — закон. Но закон, подчиняющийся силе власти. Сила, оправдываемая моралью, располагается над законом, над правом...

Алексей КАРА-МУРЗА: Именно об этом и пишет докладчик.

Алексей ДАВЫДОВ: И правильно пишет. Я лишь добавляю к сказанному им, что роль закона в данном случае проявляется в тотальной бюрократизации. Но сегодня мы видим, что триумвират средств — милитаризация, клерикализация, бюрократизация — работает все хуже, потому что ни армия, ни церковь в России уже не сакральные институты. Мы наблюдаем конвульсии исторически обреченной системы, безуспешно пытающейся реанимировать свои прежние основания. Паралич имперского сознания, лишённого милитаристской скрепы, — вопрос времени. Этот вывод совпадает с выводом Пелипенко, Яковенко и моим о неизбежной гибели «Русской системы».

А теперь я хочу рассказать о некоторых сравнениях, которые напрашиваются после ознакомления с докладом Клямкина. Когда я прочитал его текст, в памяти возникли сюжеты из начального периода истории формирования древнееврейского государства, описанного в Ветхом Завете. Возникла почти буквальная параллель между тем, что происходило у евреев, когда они создавали государство Израиль с сакральным патриархом во главе, и у русских людей, когда они формировали и продолжают сегодня формировать свое государство по тому же принципу.

Это — сказка, что Моисей водил евреев по Синайской пустыне сорок лет, чтобы превратить их из рабов в свободных людей. Он водил их по пустыне до тех пор, пока не превратил их в солдат. Он построил их по принципу армии со своими сотниками, тысячниками, десятитысячниками, разбив на двенадцать колен, каждое из которых кочевало в определенных областях, и отдельно от них всех располагалась ставка Моисея. Это была орда с населением более миллиона человек, организованная как боевой строй.

Бежавшие из Египта евреи не были воинами. За сорок лет у них появилось все: и военная организация, и оружие, и необходимая сложная военная техника для ведения боевых действий. Что-то они стали производить сами, что-то покупали, что-то отнимали во время вооруженных набегов на соседей. Почему Моисей водил евреев по пустыне именно сорок лет, а не десять или, скажем, двадцать? Потому что научить профессионально владеть оружием и воспринимать войну как образ жизни можно, во-первых, только молодых людей, а во-вторых, людей, с милитаристским сознанием. Те, кто помнил о жизни

в Египте, для войны были малопригодны. Нужно было новое поколение евреев для того, чтобы Моисеева власть могла осуществлять строительство полноценного военизированного государства.

Пример Древнего Израиля интересен и тем, что показывает нерасторжимую связь милитаризации, клерикализации и бюрократизации. Моисей создал институт церкви. Первосвященником был назначен его брат Аарон, но реально сам Моисей возглавлял и бюрократическую систему, и военную, и клерикальную. Он сформировал орден священников-левитов, который орда должна была кормить, отдавая ему лучшую десятину от дохода и в натуре, и в деньгах. Это была каста судей, которые решали споры, опираясь на родовые законы Моисея (десять заповедей и многие другие). Возникла государственно-церковная симфония как форма тотальной бюрократизации управления людьми сверху донизу. В распоряжение судей предоставлялись солдаты, выполнявшие полицейские функции. Цель военно-церковно-бюрократической симфонии была одна — опираясь на мораль и законы, легитимировать все, что служило укреплению милитаристского принципа формирующегося еврейского государства.

Основная цель Моисея заключалась в том, чтобы приучить соплеменников беспрекословно подчиняться приказам. Отсюда — частые военные парады. На них выстраивались полки и оркестры с огромными боевыми барабанами и трубами. Руководили оркестрами дирижеры, которые ритмично махали жезлами вслед главному дирижеру. Моисей объезжал боевые подразделения и приветствовал каждое. Главное действо — громкое хоровое чтение левитскими законами Моисея. Парады служили ему мощным ритуальным средством промывания мозгов еврейской молодежи.

Формирующееся древнееврейское государство было военно-репрессивным...

Игорь ЯКОВЕНКО: Милитаризации не может быть без репрессивности.

Алексей ДАВЫДОВ: Да, и в этом смысле Ваш доклад на предыдущем семинаре и доклад Клямкина друг друга дополняют.

Главными противниками Моисея были главы родов. Часть из них он уничтожил, а власть оставшихся свел к нулю. Введя институт судей, он ликвидировал право глав родов разбирать споры. Введя институт военных командиров, он ликвидировал право глав родов набирать войско и им командовать. Будучи уstraшенными репрессиями, они вынуждены были с этим примириться.

Но репрессии в государстве Моисея были направлены не только против родовой элиты. Для него ничего не стоило отдать приказ уничтожить десятки тысяч соплеменников. На страхе нарушить закон Моисея и держалась вся эта военно-клерикальная казарменная политическая система.

Такие вот картины библейской истории всплыли в моей памяти, когда я читал доклад Клямкина. Разве не напоминают они вам некоторые страницы истории российской?

Алексей КАРА-МУРЗА: Но этот доклад все же не столько о милитаризации, сколько о демилитаризации...

Алексей ДАВИДОВ: В том-то и дело, что в Израиле она тоже имела место. Благодаря милитаризации-бюрократизации-клерикализации еврейского общества Иисус Навин, наследник Моисея, смог легко захватить территорию, которую Бог обещал евреям как «землю обетованную». Так сформировалась древнееврейская военная империя. Но она быстро начала деградировать после смерти Навина, который разделил землю между израильскими коленами, что, в свою очередь, привело к распаду централизованного государства и захвату части израильской территории воинственными соседями. Оказывается, что когда нет личностной альтернативы милитаризации-бюрократизации-клерикализации, военная империя при ослаблении милитаристской скрепы автоматически умирает. И Давиду, следующему после Моисея моисееподобному еврейскому царю, пришлось снова завоевывать завоеванное Навином и начать новый этап милитаризации-бюрократизации-клерикализации еврейского общества.

Таким образом, в истории формирования древнееврейского государства четко видны те же циклы милитаризации и демилитаризации, о которых пишет Игорь Моисеевич применительно к России. Это значит, что докладчик исследовал не только то, что характерно для русской истории и русской культуры. Он вышел на общую проблематику, связанную со спецификой милитаризации/демилитаризации. Я думаю, сегодняшний доклад продвинул нас в понимании процессов формирования и гибели военно-патриархальных империй.

Алексей КАРА-МУРЗА: Спасибо, Алексей Платонович. Русский Давид, как я понял докладчика, из нашей нынешней демилитаризации произрасти уже вряд ли сможет...

Игорь КЛЯМКИН: Кстати, сменивший Давида Соломон переориентировал государство на мирную жизнь, в результате чего увеличилось социальное расслоение, стала нарастать внутренняя напряженность, и почти сразу после смерти Соломона государство это распалось на две части. Но я хочу обратить ваше внимание на интересный вопрос, затронутый Алексеем Платоновичем, о связи милитаризации с бюрократизацией и клерикализацией. Тут есть что исследовать. Тем более что эта связь в России тоже всегда была своеобразной. Здесь не наблюдалось такой глубины клерикализации, как, скажем,

в мусульманских странах. А при Петре I, строившем светское милитаристское государство, ее вообще не было. И российская бюрократизация отличалась, например, от китайской, являвшейся самодостаточной и обходившейся без милитаризации. Отличалась она и от европейской бюрократизации эпохи абсолютизма, оставившей в прошлом феодальную милитаризацию социума.

Алексей КАРА-МУРЗА: Все это действительно интересно. Следующий — Михаил Афанасьев.

Михаил АФАНАСЬЕВ (директор по стратегиям и аналитике Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»): «Исторической и культурной проблемой России было и остается государство»

Лейтмотив обсуждаемого доклада, как я понял, таков. Государственный и общественный строй России с давних пор и до недавнего времени был военно-служилым. С указов Петра III и Екатерины Великой о вольностях дворянства началась *демилитаризация* России, которую можно назвать и ее *европеизацией*. Этот процесс шел, во-первых, сверху и, во-вторых, очень непоследовательно. Снизу, то есть народом, демилитаризация не поддерживалась, поскольку общинный крестьянский быт сам замешан на насилии и все попытки строить на его основе государственную организацию приводили лишь к новой милитаризации. Наложение поверхностной цивилизаторской тенденции на нутряную интенцию русского порядка логично завершилось революционным взрывом, ликвидацией слегка европеизированного российского государства и новым витком широкомасштабной милитаризации общества. Апогей этой последней милитаризации — сталинщина. Потом снова началась демилитаризация. Но попытка системной замены военно-служилого строя на правовое государство в 1990-х опять не увенчалась успехом. Модернизация в России не идет.

Таково основное содержание доклада, и отношение к этому содержанию у меня неоднозначное. Начну с того, что в концепции Игоря Моисеевича есть вещи, которые представляются мне бесспорными и притом очень важными. Вот три главных пункта:

1. Возможность осуществления модернизации в России действительно неочевидна и вызывает большие вопросы.
2. Милитаризм действительно играл существенную роль в исторических формах российской и советской государственности.
3. В России действительно организованная и легитимированная военными необходимостями насильственная власть периодически опрокидывалась неорганизованным насилием снизу, воспроизводящим хаос, из которого рождалась новая организация насилия — новый Левиафан.

В то же время у меня вызывает сомнение попытка цитируемого докладчиком Герберта Спенсера построить историческую социологию на концептах

«воинствующего» и «промышленного» типов социальной организации, равно как и попытка самого докладчика выстроить на этом основании историческую социологию России. Понятен либеральный пафос Спенсера, отнесшего к «воинствующей» предыстории все прошлые и почти все современные ему цивилизации за исключением самой передовой — англосаксонской. Но издержки такого подхода, по-моему, очевидны. Концепт «воинствующего» социума применим как к Спарте, так и к Афинам; как к грекам, так и к персам; как к Риму, так и к варварским королевствам; как к феодализму, так и к абсолютизму; как к европейским монархиям, так и к кочевым империям. Но столь абстрактное определение мало что объясняет. Понятно лишь, что, во-первых, исторически война была когда-то главным государственным делом, что, во-вторых, военные государства были очень разными, и что, в-третьих, одни военные государства трансформировались в правовые, а другие не трансформировались.

Можно с большой уверенностью предположить, что те государства, организация и деятельность которых были полностью подчинены целям войны, хуже всего трансформировались в правовые. Наиболее наглядный пример — кочевые орды-империи. Однако ни одно государство — тем более в земледельческих и городских цивилизациях — никогда не сводило свою деятельность исключительно к осуществлению военных и угнетательских функций. Даже в варварских надплеменных общностях невоенные функции — общественных ритуалов, обмена, резервирования и перераспределения, суда, внешней торговли — были вполне выделены, специализированны, принципиально значимы и авторитетны. Со временем задачи воспроизведения и развития цивилизации усложнялись. Классический пример — Афины, где, в отличие от Спарты, граждане занимались не только войной и военной подготовкой, но и земледелием, торговлей, искусством, философией. Всемирными моделями устойчивого развития доиндустриального типа — соединения военного государства с цивилизацией — были Рим и Византия на Западе, Китай на Востоке. Европейский абсолютизм, возникший в ответ на угрозу со стороны Османской империи, был возрождением античной модели империи с всеобщим налогообложением для создания массовой регулярной армии.

Итак, взгляд Спенсера на всемирную историю оказывается чересчур поверхностным. Во-первых, излишне абстрактная категория «воинствующего» типа социальной организации не позволяет выделить и определить существенные различия между государствами доиндустриальной стадии истории. Во-вторых, альтернативная категория «промышленного» социума, верно подчеркивая значение рыночного обмена и контракта как факторов современной социальной организации, в то же время игнорирует иные факторы генезиса правового государства. Тысячелетние обычаи родоплеменного, общинного и полисного самоуправления и военной демократии, корпорации, сословные статусы и привилегии-вольности — это традиционные корни *естественного права*.

Об этих корнях говорили античные философы, их значение было ясно великим людям Просвещения (Локк, Монтескье, Берк, Кант), но это понимание исчезло и сменилось пренебрежением в радикальных идеологиях модернизма.

Перехожу к России. Мой собственный концептуальный подход (именно подход, еще не концепция) был представлен в докладе на нашем семинаре. Второго доклада сейчас делать не буду. Ограничусь заметками на полях доклада Игоря Моисеевича Клямкина.

1. Сколь бы критично мы ни оценивали уровень цивилизации и качество государства на разных стадиях отечественной истории, не вижу оснований приравнять Русь-Россию к Монголии, Золотой Орде или, скажем, к Чечне. Поэтому мне представляется необоснованным определение Московского царства и Российской империи в качестве «воинствующего» социума, который якобы фундаментально и принципиально отличен от социума европейского.

В докладе, правда, этот термин применительно к России не используется, в нем говорится об ее «милитаризации», что, безусловно, отражает существенную тенденцию и традицию в ее развитии. Следует, однако, отдавать себе отчет в том, что, во-первых, без милитаризации не обходилась в прошлом ни одна крупная континентальная страна и, во-вторых, что милитаризация была обязательным условием успешного участия в большом европейском (по сути, в мировом) концерте в эпоху абсолютизма. Так что сама по себе «милитаризация» никоим образом не определяет русскую специфику. А чтобы понять, насколько она ее определяет, следует охарактеризовать *степень* милитаризации государственного управления и народной жизни, что, в свою очередь, требует проведения сравнительно-исторических исследований. Была ли, например, Московия более милитаристским государством, чем рыцарский Орден, шляхетская Польша или гусарская Венгрия?

Кроме того, если мы осмысленно говорим о милитаризации и ее волнах в некоем социуме, то предполагаем, что такой социум *не всегда* был тотальной военщиной. О милитаризации Золотой Орды, Крымского ханства или Османской империи, например, никто не говорит. А если так, то не следует ли задаться вопросом о том, что в русском мире было *кроме* военщины? В докладе такой вопрос не ставится, поскольку концепция доклада уже предполагает ответ: *ничего существенного*.

2. Что касается самой русской военщины, то и она в разное время была очень разной. Изначально Русь была совместным военно-торговым предприятием варяжской дружины и городских полков словен, кривичей и полян. И до XVI века во всех внешних и внутренних войнах русский военный строй состоял отнюдь не только из княжеско-боярских дружин, но еще и обязательно из городских полков, в которых бились свободные горожане, имевшие право на долю в добыче. Этот же русский строй мы видим в 1612 году, когда *по обычаю* была сформирована земская рать, под водительством Пожарского отбившая Москву.

Военно-служилое государство, о котором говорит докладчик, сформировалось лишь к середине XVI столетия (и почти развалилось в начале XVII века) как русская разновидность восточноевропейской модели *общеевропейского абсолютизма*. Поместно-крепостническая система не была тотальной (крепостные составляли, самое большое, половину крестьян), ее влияние на обороноспособность страны было довольно противоречивым (и потому дворянское ополчение быстро уступило место регулярным полкам), зато кризисный потенциал — колоссальным. С середины XVIII века императорская власть закрепляет безусловную частную собственность дворян на поместья с крестьянами, одновременно освобождая дворянство от обязательной военной службы. Но такая «европеизация», естественно, не смягчала, а заглубляла классовый антагонизм.

С учетом сказанного, довольно трудно определить, в чем именно состоит та военно-служилая «матрица», которая якобы всегда определяла русский порядок и была якобы органична быту и душе русского народа.

3. Русский народ к «своему» военно-служилому государству относился кое-как, уклончиво-воровато, а местами очень даже дурно. Если, конечно, судить не по опере «Жизнь за Царя», а по фактам. Некоторые из них, об этом отношении свидетельствующие, упоминаются и в обсуждаемом докладе. Но если так, то отождествление русского мира с военщиной, а русского характера с солдатчиной нуждается в серьезной коррекции. Однако в докладе такого рода представления не ставятся под сомнение. Более того, в подкрепление им приводится тезис о том, что демилитаризация, худо-бедно шедшая сверху, крестьянское большинство населения так и не затронула. Этот тезис обосновывается следующими аргументами:

- освобождение дворян от обязательной службы при сохранении крепостного права выглядело в глазах крестьянства нарушением государствообразующего принципа, согласно которому крестьянин служит дворянину лишь постольку, поскольку тот служит царю;
- народное сознание не различало в официальной культуре ее милитаристскую и демилитаризаторскую версии — положение, которое, на мой взгляд, плохо стыкуется с предыдущим и с общей мыслью о том, что крестьянство не поддержало демилитаризацию государства;
- то, как выглядела народная правда в практическом воплощении, наглядно продемонстрировал Емельян Пугачев;
- победа большевиков убедительно свидетельствует, что и к началу XX века главным государствообразующим фактором в народной культуре, ее основанием оставалась сила.

Тезис о прирожденном милитаризме русского крестьянства и приведенная аргументация, конечно, парадоксальны. Но парадоксальность не равносильна доказательности. Все это звучало бы (для меня) убедительно, если бы было доказано соответствие реальности хотя бы одного из следующих пунктов:

- что Аракчеев был народным крестьянским героем;
- что русский крестьянский «мир-община» синонимичен «сечи-войску», что крестьянство тождественно казачеству;
- что бессмысленный и беспощадный русский (французский, китайский и т.д.) бунт является не социальной аномалией, а нормой крестьянской жизни;
- что крестьяне добивались на самом деле не земли и воли, а неукоснительного выполнения дворянами государственной службы;
- что большевики не только использовали главный классовый конфликт, а потом уничтожили русское крестьянство, но еще и воплотили крестьянский идеал.

4. Есть ли сегодня общество более демобилизованное и деморализованное, чем российское? Любая, даже самая маленькая, война грозит России сокрушительным поражением. Российский милитаризм, каким бы он ни был в прошлом, сегодня мертв. Он умирал и умер вместе с поздним советским строем. Оборонное сознание было последним аргументом советской пропаганды, который так ничего и не решил, поскольку нужны были другие аргументы, а их не было. Государство, казавшееся всесильным, в очередной раз развалилось, притом не из-за нажима извне, а изнутри.

Демилитаризация России произошла сама собой — естественно и, как мне представляется, негативно. Ибо развал армии и ВПК — это исключительно негативный результат, а никаких позитивных социальных эффектов произошедшего развала не видно. Но, как бы ни оценивать подобную демилитаризацию, факт состоит в том, что она произошла. В докладе так и написано, что милитаристские PR-сигналы посылаются, а наша культура на них уже не отвечает. А раз так, то ни милитаризм, ни демилитаризация не составляют для нас «историческую и культурную проблему».

В чем же состоит главная проблема нашего национального развития? В тексте Игоря Моисеевича она определяется, причем определяется, на мой взгляд, верно. Но — не в заглавии доклада, а в том месте, где автор констатирует хроническую неспособность российского государства быть выражением *общего интереса*, консолидирующего интересы частные и групповые.

Это — точный диагноз болезни. Ключевая политическая роль государственного милитаризма в России как раз и заключалась в том, чтобы имитировать общий интерес, определяя его в оборонных и имперских категориях. Но поскольку российский государственный милитаризм чаще всего был именно *имитацией* общего интереса, исторические формы российской государственности оставались и остаются фундаментально неустойчивыми. Не то что нынешняя непристойная пародия, но даже действительный и великий милитаризм прошлого — будь то царский, имперский или коммунистический — не мог всерьез, надолго и исторически эффективно объединить россиян. Для этого Левиафану нужно было трансформироваться в национальное государ-

ство. А наши левиафаны делать этого не хотят, не умеют, не успевают, а потому издыхают в страшных судорогах. Развал государства с черным переделом — повторяющийся кошмар России.

Сегодняшнее превращение государства в орудие частных интересов для россиян, конечно, не ново. Но и обычным его не назовешь. В России уже довольно давно, лет двести, приватизация государства не воспринимается как норма. Ну а сегодня это вопиющий, постыдный для национального самосознания анахронизм, чреватый повторением кошмара. Таким образом, исторической и культурной проблемой России по-прежнему остается создание правового, национально ответственного государства.

Алексей КАРА-МУРЗА: Против этого, насколько понимаю, не возражает и докладчик.

Игорь КЛЯМКИН: Странно было бы возражать против того, что сам же и написал. Но я опасаясь, что выступление Михаила Николаевича может увести дискуссию от содержания доклада. Да, в нем говорится, что демилитаризация для России — проблема. Но не в том смысле, что ее предстоит завершать, а совсем в другом. Дело в том, что российские демилитаризации происходят при сохранении в разных формах архаичной государственной системы самодержавно-патерналистского типа, сложившейся еще в первом милитаризаторском цикле. И вырваться из нее в систему правовую не получается. Демилитаризация потому и остается для России исторической и культурной проблемой, что при сохранении архаичной политической оболочки оказывается тупиковой.

Алексей ДАВЫДОВ: А я рискну даже утверждать, что раз политическая оболочка милитаристской системы сохраняется, то нет достаточных оснований говорить и о завершенности демилитаризации. И инерционный спрос на новую милитаризацию, по-моему, не иссяк. Есть, правда, спрос и на правовую альтернативу ей, но он все еще слишком слабый.

Алексей КАРА-МУРЗА: Денис Викторович давно уже просит слова.

Денис ДРАГУНСКИЙ: «Если в США и Великобритании есть “военщина”, сосуществующая с демократией, то у нас нет ни той, ни другой, но есть идея дисциплинированности и преданности»

Читая доклад Игоря Моисеевича, я вспомнил свой разговор с выдающимся американским историком России, ныне покойным Мартином Малиа. Вспомнил его тезис о том, что Россия всегда была примитивной военной монархией. Этот разговор был в начале 1990-х. Я, признаться, тогда не очень разобрался в том, что мой собеседник имел в виду. Но его слова запали мне

в душу. И я рад, что в докладе Клямкина встретился примерно с тем же дискурсом.

Всегда можно — и даже нужно! — рассматривать проблему с какой-то одной точки зрения. Например, с точки зрения циклов милитаризации и демилитаризации. Эта точка зрения не только имеет полное право на существование. Она, на мой взгляд, весьма продуктивна, как и многие теории, которые основываются на элементарных предпосылках. Методологически меня это вполне устраивает, и я бы не стал критиковать предложенную концепцию, исходя из того, что она не охватывает всего многообразия фактов, что не вся реальность в нее, так сказать, влезает.

Многие очень серьезные исторические работы разлетаются в пыль, когда их начинаешь критиковать, рассматривая более «низкий» материал, то есть мелкие подробности жизни. Как публицист, много работающий в интернете, я очень часто сталкиваюсь с подобной же проблемой. Стоит написать буквально о чем угодно — скажем, о том, что летом тепло, а зимой холодно, и тут же начинаются возражения. «А вот прошлой зимой была оттепель! А вот позапрошлым летом случились заморозки!». И тебя, понятное дело, обвиняют в однобокости и ангажированности. Я, однако, полагаю, что «исследовательская однобокость» и «концептуальная ангажированность» — суть нужнейшие вещи, если мы реально хотим что-то понять.

Мне показалось важным сопоставление в докладе того, что происходило в России при Александре II, с тем, что происходит в наше время. В обоих этих демилитаризаторских циклах обнаруживается фатальная, похоже, проблема либерального дискурса, его слабость в нашей стране. Почему же он такой слабый?

Игорь Григорьевич Яковенко говорил, что у нас не выработалось мышление интересами. Но не выработалось оно, наверное, и потому, что в России любая попытка мыслить интересами издавна третировалось как мещанство, как грех перед лицом интеллигентских идеалов. Я вспоминаю знаменитый трехтомник Иванова-Разумника «История русской общественной мысли», который весь посвящен противостоянию интеллигенции и мещанства...

Алексей КАРА-МУРЗА: На Иванова-Разумника ссылается и докладчик.

Денис ДРАГУНСКИЙ: А я ссылаюсь вслед за ним. Так вот, интеллигентское третирование «мещанского счастья» — это болезнь нашего либерально-демократического дискурса. Кстати, мне кажется неслучайным, что популярный в свое время роман Помяловского с этим названием увидел свет в 1861 году, однако автор не сумел убедить себя и читателей, что мещанское счастье не так уж плохо. Но ведь презрение к мещанству, к материальным интересам — это тоже в превращенном виде милитаризация сознания, предполагающая «беззаветность» служения. Только речь в данном случае идет о служении не царю,

а идеалам либерализма и демократии. Для такого типа сознания главное не в том, кому и чему служить. Главное — сама беззаветность.

Однако в случае либерализма и демократии идея беззаветности спотыкается об идею единоначалия. Оно необходимо, и либералы это сознают. Но оно напоминает им то «милитарное», которое они отторгают, и которое для доктринального либерала отвратительно. И когда, скажем, дело касается партийного строительства, это становится неразрешимой проблемой. Снять ее пытаются с помощью института коалиций и, самое ужасное, посредством сопредседательства. Это и смешно, и ужасно. Из-за этого у нас до сих пор нет работоспособной либеральной партии.

В тексте Игоря Моисеевича много таких пронизательных моментов, которые подталкивают к размышлениям.

Из доклада и из ответов докладчика на мои вопросы следует, что милитаризм может быть разным. Он может быть истинным и действенным, как при Петре I или при Сталине. Но он может быть и ритуальным, то есть «военщиной» в том значении этого слова, которое было принято в России до 20-х годов прошлого столетия (военные аксессуары, военные парады и прочее).

«Военщина» развивается в ситуации именно ритуального, имитационного милитаризма. Пример Николая I в данном отношении весьма характерен. В годы его правления культ военной атрибутики, шагистики, культ мундиров, эполетов и аксельбантов достиг своего апогея. Но вообще-то такая «военщина» практически независима от формы правления. Она может процветать и при демократических режимах. Взять, например, американских или британских офицеров. Достаточно посмотреть, как они идут по улице — не парадом, а просто по своим делам. Красавцы, молодцы, отличная выправка. Таких офицеров я видел и в Советском Союзе. Где они сейчас?

Вопрос не праздный, как может показаться. В России мы имеем сегодня дело с ситуацией, когда имитационная милитаризация есть, а «военщины» нет. А в чем проявляется имитационная милитаризация? Она проявляется во всех этих разговорах о том, что Россию хотят поставить на колени, Россию хотят растерзать, Россию окружили частоколом военных баз. Это — тоска по милитаризму, своего рода зеркальный милитаризм. И появление в нашем лексиконе слова «силовики» тоже, думаю, отнюдь не случайно. Этим термином обозначается коллективный носитель имитационной милитаризации. Между прочим, в советские времена это слово означало совсем другое. Это был хоккейный термин. Среди хоккеистов были «технари» и «силовики». Силовик — это кто может припечатать корпусом.

Проблема для нас сегодня не в милитаризме, а в его агонии. Если в США и Великобритании есть «военщина», сосуществующая с демократией, то у нас нет ни той, ни другой, но есть идея дисциплинированности и преданности. И это идея не одних только «силовиков», она находит отклик и в массовом сознании. В 1991 году во время августовского путча я услышал на улице фразу,

сказанную мужчиной спутнице: «Ты слышала, Горбачева свергли? Ну что ж, посмотрим, смогут ли военные накормить народ». Именно накормить, как малых детей. Или как солдат в обмен на их дисциплинированность и преданность. Тогда же в «Московском Комсомольце» было опубликовано стихотворение какого-то поэта вот с такими строками: «Можно быть счастливым при фашизме, если ты накормлен и обут».

Игорь ЯКОВЕНКО: То есть накормлен и обут кем-то, а не благодаря собственным усилиям?

Денис ДРАГУНСКИЙ: Да, именно! И эта пассивная позиция, разделяемая многими людьми, как раз и питает тоску по милитаризму, не позволяя ему умереть и поддерживая его в состоянии агонии. Это большая проблема, и я не вижу, как из нее выскочить. Когда мы ушли от реального милитаризма, идеи государственности и единства сдохли тоже. Но реальную альтернативу ему выработать не получается, и потому мы застряли в милитаризме имитационном. Похоже, что всем вместе нам из него не выбраться, и спасение будет у каждого индивидуальное.

А в заключение — еще один вопрос Игорю Моисеевичу. Не является ли сам его доклад плодом милитаристского сознания? Я спрашиваю об этом, так как вовсе не уверен в том, что применительно к деятельности Петра I и Сталина правомерно говорить о «милитаристской модернизации». На мой взгляд, Петр ничего не сделал, кроме разорения страны. Петровская модернизация — это миф. Модернизация в какой-то степени была при Екатерине II, но никак не при Петре.

Что касается Сталина, то он лишь уничтожил крестьянство, больше он ничего не модернизировал тоже. Какая-нибудь другая страна с аналогичными ресурсами и аналогичной исходной позицией гораздо меньшей кровью добилась бы гораздо большего. Уникальность сталинской милитаризации как раз в том, что был сделан трансферт крестьянской ненависти, а модернизация была абсолютно провалена. Нельзя говорить, что это — милитаристская модернизация. Можно говорить разве что о милитаризованной милитаризации.

Игорь КЛЯМКИН: Отвечу сразу и коротко. Если речь идет о том, что при Петре и Сталине не было модернизаций в их европейском понимании, то спорить с этим нелепо. А если Вы хотите сказать, что в обоих случаях не было и модернизаций военно-технологических, то доказать это Вам будет непросто. Не нравится слово «модернизация», считаете его для данных случаев не подходящим, попробуйте придумать какое-то другое. Пока у Вас, по-моему, не получилось. Ваша «милитаризованная милитаризация» очень уж похожа на «масляное масло».

Алексей КАРА-МУРЗА: Спасибо, Денис Викторович, спасибо, Игорь Моисеевич. Слово — Вадиму Межуеву.

Вадим МЕЖУЕВ: «Милитаризация общества вместо его демократизации свидетельствует не о существовании какой-то особой культуры, а лишь о низком уровне культурного развития»

Никаких претензий у меня к обсуждаемому докладу нет. Мне кажется, с него и надо было начинать работу нашего семинара. Теперь хотя бы ясно, что интересовало Игоря Клямкина в первую очередь, когда он этот семинар затевал. Я пришел сюда обсуждать проблему судьбы культуры в современном мире, а руководителя семинара интересует судьба России, причем в плане, прежде всего, ее политической истории. Тема, конечно, важная и заслуживающая самого серьезного обсуждения, но причем тут культура?

Мне могут возразить, что политическая история — тоже часть культуры, но как тогда отличить разговор о культуре от экономического, политологического, этнографического и любого другого разговора? Тогда разговор на любую тему следует считать разговором о культуре. Скажем, обработка земли, земледелие — это культура? Ну, конечно, кто же будет отрицать это. А плавка и обработка металлов? Видимо, тоже. Хозяйственная деятельность, рыночная экономика, техника, политика, военное дело, наука, все формы общественного сознания — это все культура. Но для чего тогда существует культурология? Чем она отличается от других социальных и гуманитарных наук? Мы так и не договорились о том, что имеем в виду, когда говорим о культуре, какой срез действительности пытаемся сделать предметом своего анализа.

И Россия в плане культуры — столь же не определенное нами до конца понятие. Что ее в этом плане отличает от других стран? Большинство присутствующих здесь пытались ответить на этот вопрос путем сравнения России с Европой. Кто-то настаивал на их принципиальной близости и даже сходстве, для других они — взаимоисключающие величины. И каждый находил, казалось бы, вполне убедительные исторические доводы в пользу своей точки зрения. Какой-то бесконечно длящийся спор. Неясно, однако, какой системой ценностей руководствуются спорящие стороны. Наши западники в свое время ценили одно, славянофилы — другое, а потому и приходили к разным выводам. Но сегодня спор о ценностях, то есть спор чисто философский, многим кажется скучным и малоинтересным делом. Им и без спора все ясно. Только свои ценности они считают достойными внимания, остальные — не в счет. Тем мы и отличаемся от Европы, что для нее конфликт и столкновение противоположных ценностей — естественное и вполне нормальное культурное состояние. Само признание наличия только одной — общей для всех — системы ценностей есть признак отсталости и еще недостаточной культурности.

Игорь ЯКОВЕНКО: Значит, какие-то ценности у Ваших оппонентов все же есть?

Вадим МЕЖУЕВ: Да, но они четко и внятно не артикулированы. Скажем, для некоторых, как мы здесь слышали, европейская культура во всех отношениях предпочтительнее русской. Не буду оспаривать такое мнение, но на чем оно основано? Какими критериями руководствуются те, кто его высказывает? Почему они думают, что только ценности европейской культуры, как они их понимают, являются универсальными?

Любая культура, в том числе русская, ценна своей самобытностью, уникальностью, своей непохожестью на другие культуры и своей общностью с ними. Одно без другого просто не существует. В каждой культуре есть и нечто такое, что присуще всем культурам, и нечто свое, особенное. С этой точки зрения, Россия сохранит себя не посредством отказа от своей культуры и ее замены на какую-то другую, а посредством продолжения и развития лучших образцов собственной культуры.

На мой взгляд, культуры не делятся на плохие и хорошие: любая из них есть продукт и проявление человеческой свободы...

Игорь ЯКОВЕНКО: Любая?

Вадим МЕЖУЕВ: Любая. Культуры отличаются друг от друга лишь по степени той свободы, которые предоставляют человеку. Все, что противостоит свободе, любое насилие над людьми есть проявление не культуры, а еще неизжитого варварства. Или, если угодно, бескультурия.

Хотя термин «культура насилия» широко распространен в современной социологической литературе, на мой взгляд, это чистый оксиморон. Наличие в языке таких оксиморонов делает бессмысленным любой разговор о кризисе культуры. Кризис культуры и есть кризис свободы, а милитаризация общества вместо его демократизации свидетельствует не о существовании какой-то особой культуры, а лишь о низком уровне культурного развития.

Культуру открыли европейцы, когда открыли свободу. Но отсюда не следует, что свобода — только европейская, а не общечеловеческая ценность. Каждый народ культурен в меру своей свободы — личной или коллективной. И потому не все, с чем люди сталкиваются в своей общественной жизни, существует для них как культура.

Игорь ЯКОВЕНКО: Что же для них вне культуры?

Вадим МЕЖУЕВ: В ходе наших дискуссий я как-то услышал, что религия — часть культуры. Но это только для атеистов. Для верующих людей религия — не культура, а культ, то есть нечто священное, имеющее своим источником не

человека, а Бога. Так, первобытные народы идентифицировали себя не по культуре, а по мифу. Это для нас миф — культура, а для них — особого рода реальность, предзаданная человеку. Древние цивилизации также отличали себя друг от друга не по культуре, а по вере. Религия стала частью культуры только для европейцев. И хотя культура — европейское открытие, она, разумеется, имеет значение общечеловеческой истины, фиксируя в каждой форме общественной жизни наличие определенного элемента свободы.

Русская культура не является исключением из этого правила. Она такой же продукт человеческой свободы, как любая другая. Иное дело, что культура в России еще не достигла той степени индивидуальной свободы, которая существует на Западе, находится как бы в середине пути. Но и Европа — не предел в развитии свободы. Многочисленные угрозы свободе человека, а значит, и культуре, исходят сегодня из самых разных источников, существующих, как за пределами, так и внутри самой западной цивилизации.

Только отстаивая право культуры на существование в самом важном для нее качестве — в качестве человеческой свободы — Россия, как и любая другая страна, может выжить и сохранить себя в современном мире. Ставка на одну лишь военную мощь и даже чисто экономическую удачу даст лишь тактический, но не стратегический выигрыш. Собственное спасение зависит от спасения всех. И Россия может спасти себя, лишь участвуя вместе с другими в общем деле спасения всей мировой культуры, то есть все той же человеческой свободы, от грозящих ей новых исторических вызовов и угроз.

Алексей КАРА-МУРЗА: Учитывая, что один раз Вадим Михайлович слово «милитаризация» использовал, есть основания считать, что он выступил по обсуждаемой теме. Пафос же его выступления в том, что никакого отношения к культуре милитаризация не имеет.

Игорь КЛЯМКИН: Я не исключал, что вопрос о том, что есть и что не есть культура, всплывет и на сегодняшнем семинаре. Поэтому скажу, каким ее пониманием я руководствовался при написании доклада. Культура для меня — это система представлений о сущем и должном, фиксируемая в языке и определяющая модели поведения людей в том или ином сообществе.

Вадим МЕЖУЕВ: Вы были бы правы, если бы сказали, что культура начинается там, где должное расходится с сущим.

Игорь КЛЯМКИН: Пусть даже и так. Но ведь представление о сущем может фиксироваться и словами «военный соперник» или «военная угроза», а представление о должном — словом «победа». И слова эти вовсе не обязательно противостоят «свободе», в реальной истории и реальных культурах их смыслы со смыслом свободы тесно переплетены. Если культуру соотносить только со

свободой в ее европейском понимании, то очень уж многое в человеческой истории придется зачислять по ведомству «варварства» и «бескультурия». Тем более что существуют великие культуры, в которых понятие свободы отсутствует вообще. В таком случае она, культура, превратится в некое абстрактное должное, от сущего отторгнутое. А понятие культуры, слившееся с понятием свободы, лишится собственного содержания и какого-либо познавательного значения.

Алексей КАРА-МУРЗА: Мы приближаемся к финишу. Прошу Вас, Андрей Анатольевич.

Андрей ПЕЛИПЕНКО (главный научный сотрудник Института культурологии): «Армия в России — это всегда больше, чем армия»

Доклад Игоря Моисеевича Клямкина представляется мне одним из самых глубоких, содержательных и эвристичных среди тех, что звучали на нашем семинаре. Значение «милитаристской» темы в российской культуре явно недоизучено и недооценено. Уже одно это вкупе с глубиной концептуального видения проблемы полностью искупает любые придижки к «фактуре», которые мог бы высказать дотошный историк. Но я не историк и потому, не вдаваясь глубоко в исторические обстоятельства и не притязая на системность анализа, кратко выскажу несколько культурологических суждений по теме.

Разумеется, милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах. Отказ от линейно-прогрессистских схем исторического развития сделал возможным важное наблюдение о том, что ментальные программы, соответствующие тем или иным историческим этапам, не стираются последующим развитием. Латентно присутствуя в глубинных слоях ментальности, они либо «ждут своего часа», либо подспудно просачиваются «наверх», преломляясь и трансформируясь в соответствии с наличными условиями доминирующего уклада. Так всеобщие архаические основания культуры оборачиваются частными моделями в локальных культурных системах.

Всеобщие основания милитаристского сознания восходят к эпохе верхнего палеолита в его не столько хронологическом, сколько стадийном понимании. Тогда, в верхнем палеолите, резкая половозрастная (прежде всего, гендерная) поляризация общины поставила первобытный социум на грань дезинтеграции, способствуя тем самым трансформации мужских охотничьих программ в военные. Что, в свою очередь, способствовало началу истории собственно военных столкновений. К этому времени относится и формирование основ соответствующего мифоритуального комплекса, фрагменты и про-

екции которого получали далее в истории самое разнообразное воплощение и локальные версии развития. Главные компоненты этого комплекса представляются следующими:

- **образ Врага.** Истоки картины мира, где этот образ является неотъемлемой и необходимой частью реальности, имеют двойственную природу. С одной стороны, это закономерное осмысление в мифе еще животной по своим основаниям *ненависти к двойнику* — порождению присущей исключительно человеку (и его предкам, начиная, по меньшей мере, с архантропов) внутривидовой агрессии. С другой стороны, миф Врага во многом зиждется на взрывном развитии охотничьих практик и охотничьей автоматике в верхнем палеолите.

Правда, отношение к охотничьей добыче в ходе трансформации охотничьих практик в военные существенно изменилось. Враг — не просто добыча. Это не промысловое животное, чье физическое возрождение и умножение следует обеспечивать соответствующими магическими действиями. Враг — это существо, самым своим существованием отрицающее единственно правильный миропорядок и ритуальные основы космоса. И магия медиации с запредельным миром по поводу Врага — это не обеспечение его возрождения. Это, наоборот, блокировка возможного воплощения его души (точнее, психического субстрата) в новом теле. Потому, в частности, убивая врага, первобытный охотник тотчас же совершает его ритуальную кастрацию. Но именно в таком качестве образ Врага и оказывается необходим. В условиях «разгерметизации» изолированных общинных микросоциумов без этого образа консолидация общины (прежде всего, мужской ее части) и осознание идентичности могло бы быть чрезвычайно затруднено;

- **культ победы.** Военная победа отмечает точку в мифическом времени, связанную с сакральным обновлением космоса. У народов, «полноценно» прошедших неолитическую стадию развития, первобытная военная ритуалистика сакрального обновления оказалась вытеснена календарной, основанной на циклическом умирании и возрождении природы. А народы кочевые или получившие культурные достижения неолита из третьих рук, остались во многом верны культу военной победы со всеми вытекающими отсюда социокультурными последствиями;

- **идентификация человека (мужчины) как воина.** Этот момент, думаю, в комментариях не нуждается.

В эпоху перехода от архаики к цивилизации военный мифоритуальный комплекс окончательно оформился в своих универсальных функциях, таких как:

- *консолидация социума;*
- *самоопределение (идентификация) по отношению к Врагу (Иному);*
- *мобилизация культурного ресурса: демографического, технологического, информационного и других.*

Неслучайно ряд исследователей связывают с войной и само становление ранней государственности, хотя мне эта концепция представляется сомнительной или, по меньшей мере, недостаточной. Кстати, мобилизация культурного ресурса в ситуации войны решает еще одну чрезвычайно важную для архаического и постархаического сознания проблему. А именно — проблему *блокировки расширения этого ресурса* или, иными словами, сохранения мифоритуального status quo. Потребность в таком сохранении диктуется стремлением не умножать число вещей и смыслов во имя сохранения традиционного мифоритуального ядра и каналов медиации с запредельным миром. Потому что любые новые вещи и смыслы оттягивают на себя энергию переживания, которая должна быть консолидированно направлена в ритуальные практики.

Таковы, в самых общих чертах, древние мифоритуальные основания милитаристского сознания. Каким же образом проявились и преломились они на российской почве? В чем заключается специфика именно российского милитаризма?

Разумеется, пошлые разговоры о «бабьей душе» России, млеющей от вида гусарских усов и бравурных звуков военного марша, в нашем контексте неуместны. Мне представляется, что специфику здесь следует искать не в самих моделях и культурных функциях милитаристских смысловых комплексов, они практически везде одинаковы. Специфика — в их наложении на российскую социокультурную систему и их конфигурировании в ней.

В частности, понимание военного ремесла как способа увильнуть от необходимости работать на цивилизационный ресурс и расширять его распространен универсально. Но историко-культурные модели этой бессознательной установки для каждого общества специфичны. Специфичен и сам концепт *военной службы*. В России идея служения вообще и военной службы в частности приобрела некую метафизическую окраску. Служба — программа, не имеющая конкретной или конечной цели. Это — Служба ради самой службы, смысл которой относится к сакральным основаниям мироздания и не подлежит профанирующей рационализации. Конечно, в такой позиции тоже нет ничего исключительно российского. Эффект исключительности возникает в силу обстоятельств бытования этой парадигмы в контексте российской культурно-исторической реальности.

Алексей КАРА-МУРЗА: Русская специфика что-то не ухватывается...

Андрей ПЕЛИПЕНКО: Специфичен именно контекст. Поясню это на примере лишь одного историко-культурного обстоятельства — на примере присущего «Русской системе» и ею непреодолимого социокультурного раскола.

В расколотом российском обществе есть два героя-медиатора — Власть и Армия. Первый «эмануирует» в общество в виде чиновничьей иерархии,

и потому медиатором, связующим полюса Должного и Сущего, Власти и подвластного, выступает чиновник. Второй же имманентный медиатор — излюбленный герой народных сказок — солдат. Он также причастен к обоим мирам: Служба связывает его с трансцендентными началами Власти и Государства, но при этом он, как говорится, «плоть от плоти народной» со всеми вытекающими отсюда выводами.

Этим объясняется и то, что армия в России, включая, разумеется, и ее советский период, — это всегда больше, чем армия. Функция общекультурной медиации здесь настолько велика, что собственно военные критерии даже отходят на второй план. Армии прощают то, что она плохо воюет, что в силу неизжитости архаических комплексов в ней ценится не столько профессионализм, сколько преданность и совершенно по особому счету — жертвенность. В метафизике русской Службы на первом месте — самопожертвование, на втором — героизм и лишь на третьем — практическая польза. Этому тоже есть свои объяснения. Но они требуют отдельного разговора.

Специфика состоит еще и в том, что универсальная функция идентичности по модели «мы — враги» в России оказывается неизменно актуальной в силу отсутствия или слабой выраженности иных форм идентичности. Таких, как национальная (не путать с этнической), сословная, корпоративная и другие. Проще говоря, в России более, чем во многих других обществах, достигших аналогичных стадий исторического развития, источником квазиидентичности выступает консолидация в противостоянии Врагу. Потому российская власть дня не может прожить без образа Врага, ибо без него тотчас теряется тотальный контроль над обществом.

Соглашаясь с автором доклада, отмечу, что милитаристская модель организации общества (а не только государства) в России исчерпывает себя на наших глазах. А иных форм преодоления общественного раскола не просматривается. По-видимому, милитаристское сознание, как и стоящая за ним общекультурная *парадигма служения*, терпят окончательный крах.

Алексей КАРА-МУРЗА: Спасибо, Андрей Анатольевич. Теперь я, с вашего разрешения, предоставлю слово самому себе.

Игорь КЛЯМКИН: У меня по ходу одно уточнение. Если судить по пословицам и поговоркам, то к солдату на Руси действительно относились с симпатией. Ему прощали даже откровенные злоупотребления по отношению к населению: он, мол, хоть и казенный человек, но одновременно и свой, и живется ему тяжело. А к армии как таковой в досоветские времена отношение было другое. Население, в отличие от поэтов и публицистов, ее не славilo и не героизировало, армия в его глазах была не символом державной мощи и великих побед, а источником дополнительных жизненных тягот и повинностей. Культ армии — это порождение советской эпохи.

Алексей КАРА-МУРЗА: «Слово “милитаризация” с однозначно негативной коннотацией не передает всех нюансов проблемы, имеющей в России большое идеологическое значение»

Больше реплик нет? Тогда я могу выступить.

То, что предложенная Игорем Моисеевичем для обсуждения проблема «милитаризации-демилитаризации» российского государства не надуманна, доказывается известным обстоятельством: фатальной «кощеевой иглой» этого государства всегда было военное поражение. Оно-то и служило нередко толчком к тому, что докладчик называет демилитаризацией. Напомню подзабытый факт приглашения конституционалиста Сперанского на пост фактически канцлера при раннем Александре I: не в последнюю очередь, это было обусловлено паникой императора после поражений в ранних антинаполеоновских войнах. Когда же положение нормализовалось, Сперанского, как известно, «подставили» и выбросили за ненадобностью.

Есть и другие факты, подтверждающие наличие такой зависимости. Поражение в Крымской войне привело к системным либеральным реформам Александра II. Японская катастрофа начала XX века сопровождалась созывом народного представительства и Конституцией Витте. Поражение в «холодной войне», невозможность противостоять угрозе «звездных войн», увязание в Афганистане сделали возможной «перестройку» Горбачева. Все это доказывает, что проблематика «милитаризации-демилитаризации» российской жизни исключительно важна.

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что милитаризация в интерпретации докладчика не имеет прямого отношения к собственно военной мощи государства и авторитету военной корпорации. Милитаризация, если я правильно понимаю Игоря Моисеевича, — это ситуация, когда система управления обществом строится по принципу управления армией. То есть речь идет об уподоблении армии всего общества, когда военный приказ и «штрафные санкции» за его нарушение являются принципами властной политики.

Игорь КЛЯМКИН: Да, речь идет именно об этом, а не о том, какова сама армия, насколько она многочисленна и оснащена технически и насколько политически влиятельна военная элита.

Алексей КАРА-МУРЗА: Самая сильная армия в мире — американская. Но можно ли сказать, что все американское общество уподоблено армии? Нет, нельзя. Значит, в Америке — не милитаризация, хотя многие до сих пор любят порассуждать об «американском милитаризме». Или возьмем Израиль. Там роль армии очень велика, там существует культ армии, в которую стремятся даже девушки. Но можно ли сказать, что Израиль — это милитаризованное общество? Да, там готовы в любой момент пойти воевать, но само общество строится там на основании правовых принципов.

Не могу не вспомнить и о недавних событиях в Египте. Власть взяла армия, военный совет отменил Конституцию, разогнал парламент, генералы стали править страной. И у меня вопрос: какое общество более милитаризовано — «мубараковское» или сегодняшнее? Думаю, первое, которое все было пронизано культом силы. А сейчас у египтян есть шанс, пройдя через народную демократическую революцию, провести демилитаризацию общества и общественного сознания.

Так что я, повторяю, хорошо понимаю, что хотел сказать автор доклада, как понимаю и важность поднятой им проблемы. И все же нельзя, мне кажется, не считаться и с тем, что слово «милитаризация» слишком привязано к армии и армейской корпорации, а слово «демилитаризация» может восприниматься в антиармейском смысле. Поэтому мне больше нравится термин, который был придуман в России раньше и доказал свою содержательность. То, что Игорь Моисеевич называет «милитаризацией», я бы назвал «полицейщиной». Полицейскими методами можно управлять как внутри общества, так и вовне. «Полицейщина», противостоящая принципам правового государства, звучит, на мой взгляд, лучше, чем «милитаризация». Потому что последняя может ассоциироваться не только с определенными способами управления, но и с ситуацией освободительной Отечественной войны, и со здоровым культом армии, и с понятным для России стремлением к величию.

«Полицейщина» — это то, что противостоит не только либеральной концепции государственного и общественного устройства, но и либеральной концепции армии. Показательно, что в русской либеральной мысли были нередки попытки защитить армию как важнейший «народный» институт, заслуживающий уважения, именно от «полицейщины». Напомню речи в Первой думе выдающегося либерала И. Алексинского, о котором я написал монографию. Тогда, после военных поражений от японцев, в парламенте шла дискуссия о том, что делать с армией, оказавшейся небоеспособной. И Алексинский, сам фронтовик, сказал следующее: причина военного поражения в том, что полицейский режим не способен защитить страну, ибо вместо заботы о боеспособности армии «полицейщина» использует ее как собственный атрибут, как оружие внутреннего насилия и контроля.

Напомню и другой пример, уже из истории Третьей думы. Русский либерал-христианин В. Караулов, 100-летие со дня кончины которого мы недавно отмечали, произносил тогда парламентские речи в защиту свободы совести. И в них он много внимания уделял и армии, имея в виду, что свобода вероисповедания людей, находящихся лицом к лицу со смертью, должна быть защищена в первую очередь, что военный человек имеет право верить в того Бога, в которого верит, а не в того, которого ему навязывают. Между тем «полицейский режим», говорил Караулов, свободу совести из армии изгоняет, жестко репрессируя нелояльных...

Русские либералы не давали повода толковать их взгляды, как направленные против армии и ведущие к военному ослаблению России. Более того, лидер кадетов П. Милюков полагал, что только военные успехи могут закрепить в России демократию, за что и был прозван «Дарданелльским». Можно вспомнить в данной связи и П. Струве — автора либеральной концепции «Великой России».

Думаю, что для нас сегодня чрезвычайно важно восстановить преемственную связь с этими людьми. В том числе и терминологическую. Думаю также, что слово «милитаризация» с однозначно негативной, как у докладчика, коннотацией не передает всех нюансов проблемы, имеющей в России большое идеологическое значение. Слово «полицейщина» в данном отношении гораздо лучше.

Игорь Моисеевич, у Вас теперь есть возможность отреагировать на выступления коллег.

Игорь КЛЯМКИН: «Главная проблема России сегодня в том, что она застряла в демилитаризаторском цикле, в котором продолжает сказываться инерция имперско-милитаристской идентичности и авторитарного типа культуры»

Хочу поблагодарить всех участвовавших в обсуждении моего доклада. Было высказано много содержательных суждений. Большинство из них дополняют и развивают отдельные положения доклада, и они помогут мне в дальнейшей работе над темой. Но в ходе дискуссии прозвучали и возражения, на которые я попробую ответить.

Начну с возражения Алексея Кара-Мурзы, который критиковал мой подход с политических (точнее, политехнологических) позиций. Термин «милитаризация», полагает он, либералам лучше не употреблять, ибо это может быть воспринято как нечто, направленное против армии и обороноспособности страны. Поэтому Алексей Алексеевич предлагает заменить «милитаризацию» на «полицейщину». Этот термин, по его мнению, хорош уже тем, что его использовали старые русские либералы, с которыми желательно восстановить преемственную связь.

Я бы против этого не возражал, если бы мой оппонент пояснил, в чем он видит, наряду с пропагандистским, *объяснительный* потенциал «полицейщины». Не уверен, что этот термин поможет нам лучше понять своеобразие российской истории, ее отдельных периодов и ее динамики. Полагаю, что в данном отношении нам целесообразнее обращаться к наследию не русских либеральных политиков, такой задачи перед собой не ставивших, а русских либеральных историков — того же Ключевского, например.

Интересный вариант оппонирования был представлен Михаилом Афанасьевым. Оно носит концептуальный характер. Поэтому попробую отнестись к аргументации Михаила Николаевича с максимальным вниманием.

Как я уже говорил, мы полностью совпадаем с ним в понимании стоящей перед современной Россией задачи. Оба мы видим ее в «создании правового, национально ответственного государства». Но Михаилу Николаевичу не нравится мое понимание особенностей российской истории. Попытаюсь это свое понимание отстоять.

Прежде всего, хочу защитить Спенсера. По-моему, Афанасьев критикует не концепцию английского мыслителя, а свои собственные ассоциации, вызываемые у него словом «воинствующий». Но Спенсер обозначает этим словом не столько стремление к экспансии, сколько определенный тип государственной и общественной организации, основанной, в отличие от организации «промышленного» типа, не на контракте, а на приказе. И хотелось бы знать, насколько такой подход, разграничивающий два типа социальности, представляется Михаилу Николаевичу продуктивным. Но он на сей счет ничего не сказал.

Далее, Спенсер обвиняется в том, что к «воинствующим» относит «все прошлые и почти все современные ему цивилизации за исключением самой передовой — англосаксонской». Обвинение, на мой взгляд, несправедливое. К «воинствующим» среди современных ему стран Спенсер относил только Дагомею (государство в тогдашней Африке) и Россию, а в прошлом — древние Перу (государство инков), Египет и Спарту. Допускаю, что этот перечень может вызывать возражения. Но оспаривать то, что критикуемый автор не говорил, по-моему, не очень корректно. Да и под «промышленным» типом социальности Спенсер имел в виду тип западный, а не только англосаксонский, хотя и считал последний наиболее продвинутым.

Так что не думаю, что английский теоретик стал бы возражать Михаилу Николаевичу насчет того, что *степень* «воинственности» (или «милитаризации», как предпочитаю говорить я) может быть разной. И многообразие этих степеней и в самом деле было бы интересно исследовать, равно как и то, как в истории разных стран чередовались циклы милитаризации и демилитаризации. Алексей Давыдов нашел такие циклы в истории Древнего Израиля и, слушая его, я ловил себя на мысли, что нечто похожее было и в истории Монгольской империи. Но когда я писал доклад, меня главным образом интересовала Россия. Меня интересовало, почему она, не став западной страной, не только вошла в Новое время, но и надолго в нем закрепилась как один из главных мировых полюсов силы. Это, полагаю я, стало возможным благодаря милитаризации, то есть выстраиванию социума по армейской модели...

Михаил АФАНАСЬЕВ: В Новое время вошла и Пруссия, которая тоже считается милитаристским государством. А Турцию почему Вы не принимаете в расчет?

Игорь КЛЯМКИН: То, что Вы называете только эти две страны, уже само по себе облегчает мне ответ. Потому что в своем выступлении Вы упомянули

еще Польшу и Венгрию, что, с учетом их исторических судеб в Новое время, показалось мне совсем уж странным. Говорили Вы и о том, что без милитаризации в эпоху абсолютизма не обошлась ни одна европейская страна. Следовательно, приведенные в докладе доводы насчет того, что утверждение европейского абсолютизма сопровождалось как раз *демилитаризацией* социума, не произвели на Вас никакого впечатления. Но в том, что теперь Вы говорите только о Пруссии и Турции, я усматриваю сближение наших позиций.

Да, было только три государства — Россия, Пруссия и Турция, которые вошли в Новое время, используя милитаристский принцип государственной организации. Было бы важно разобраться, почему это удалось именно им, но я сейчас на этом останавливаться не буду. Зададимся лучше вопросом: почему Османской империи пребывание в Новом времени давалось труднее, чем России? Почему в ней не возникло ничего похожего на петровскую военно-технологическую модернизацию, которую Денис Драгунский модернизацией не считает? Почему, наконец, Османская империя развалилась в то время, когда империя Российская, превратившись в Советский Союз, двинулась по пути к сверхдержавности?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Говоря о Турции, я имел в виду Турецкую республику, а не Османскую империю.

Игорь ЯКОВЕНКО: Кемаль Ататюрк, эту республику создавший, тоже использовал милитаристский принцип...

Игорь КЛЯМКИН: Он использовал его не в смысле милитаризации повседневной жизни, а в смысле наделения вестернизированной армии политическими функциями. Это — совсем другой тип развития, России никогда не свойственный. Вы, Игорь Григорьевич, говорили в своем выступлении, что Турции повезло в том, что она, в отличие от России, сумела освободиться от великодержавных амбиций. Но мы же сейчас не о том говорим, что лучше, а что хуже. Мы пытаемся понять, почему исторические маршруты двух стран оказались столь разными.

Османская империя очень хотела сохранить свой статус главной военной силы в Европе Нового времени. Но для этого в ней должен был появиться свой Петр, которого в ней появиться не могло. На пути такого реформатора в Османской империи стоял ислам, с европеизацией несовместимый и способный ей противостоять. А в русском православии такой способности не обнаружилось. В русском менталитете главным государствомобразующим фактором выступала не вера и не сращенный с ней, как в исламе, закон, а сила. Поэтому в России и стали возможны принудительные модернизации петровско-сталинского типа, религиозную идентичность попиравшие.

Речь идет, Михаил Николаевич, вовсе не об «отождествлении русского мира с военщиной, а русского характера с солдатчиной». И не о «прирожденном милитаризме русского крестьянства». И не о его любви к Сталину или Аракчееву. Я понимаю, что оспаривать подобные утверждения очень даже увлекательно, но Вы спорите не со мной. Дело не в «военщине» и не в «солдатчине» — эти термины мне при написании доклада вообще не понадобились, и могу только догадываться о том, почему они Вам послышались. Дело и не в «прирожденном милитаризме» крестьян, а в том, что в их культуре иного образа государства, кроме милитаристского, не сложилось, альтернатива ему не выработалась.

Вы говорите, что «русский народ к “своему” военно-служилому государству относился кое-как, уклончиво-воровато, а местами очень даже дурно». Вы признаете, что такое понимание не чуждо и мне. Но какова была народная альтернатива этому государству? Согласен с Вами: крестьяне хотели «земли и воли», а не того, что сделает с ними Сталин. Но «земля и воля» — это еще не государство. И передельная община, за которую держалось большинство крестьян, — не государство тоже. Какого же государства они хотели?

Казачий идеал Пугачева Вы считаете их ожиданиям не соответствовавшим, большевистский — тоже. Но какой соответствовал? Я полагаю, что в какой-то степени тот и другой, а в полной мере — никакой: большинство крестьян было настроено анархически. Но анархистский идеал противостоять большевистской государственной милитаризации оказался не в состоянии. В том числе, кстати, и потому, что крестьянский мир обнаружил готовность поставлять из своей среды кадровые ресурсы для ее насильственного осуществления.

Вас покорило мой тезис, согласно которому «к началу XX века главным государствообразующим фактором в народной культуре, ее основанием оставалась сила». Но если не сила, то что? Вера? Закон? Что-то еще? И почему все-таки Россия могла стать родиной двух беспрецедентных — в том числе и по варварству методов — военно-технологических модернизаций, а потом, став мировой сверхдержавой, обвалилась в мирное время?

Моего оппонента эти вопросы, похоже, не интересуют, а в моих ответах на них он ищет ответы на вопросы собственные. И, не найдя их, предлагает мне доказывать, что Аракчеев был народным героем. Что крестьянский мир был устроен на манер казачьего. Что русский бунт был нормой, а не аномалией. Что в России ничего, кроме военщины, места не имело, и что большевики воплотили в жизнь народный идеал (кстати, кое в чем и воплотили, если вспомнить об отмене частной собственности на землю). Но от обязанности предъявлять такие доказательства я чувствую себя свободным уже потому, что из моих суждений, привлечших внимание Афанасьева, ничего из того, что он мне предлагает доказывать, не следует. А если бы следовало, то, согласен с Михаилом Николаевичем, это и впрямь выглядело бы «парадоксально».

Я, кстати, так и не понял, чем не устроила его моя констатация, отнюдь к тому же не оригинальная, что крестьяне отторгли дозированную демилитаризацию Петра III и Екатерины II. Освобождение дворян от обязательной службы при сохранении крепостного права устроить их не могло, потому что это нарушало неписаный «социальный контракт» служилого государства. И почему такая констатация несовместима с утверждением, что народное сознание не различало в официальной культуре ее милитаризаторскую и демилитаризаторскую версии, не понял тоже. Потому и не различало, что нарушение «социального контракта» на повседневной жизни населения никак не сказалось — то же крепостничество, та же рекрутчина...

Игорь ЯКОВЕНКО: Вы забыли о Пруссии...

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, что напомнили. Да, Пруссия, как и Россия, вошла в Новое время с государственностью милитаристского типа. Точнее, не вошла, а возникла — до XVII века такого государства не существовало. Оно было милитаристским — в том смысле, что целью и смыслом его существования были наращивание силы и боеспособности армии и расширение территории. Эти задачи в относительно небольшой по размерам и бедной ресурсами стране выглядели в глазах прусской монархии и прусской элиты безальтернативными, чем и был обусловлен консолидировавший элиту культ дисциплины и воинской чести, распространившийся в какой-то степени и на гражданских чиновников. Но то была другая милитаризация, обходившаяся без принудительной службы дворян в обмен на землю, солдатской рекрутчины (армия в Пруссии изначально была наемной) и без присущего России доминирования силы над верой и законом. Не было там и принудительных модернизаций петровского типа. Да и вообще уподоблять Россию Пруссии, учитывая различие их исторических судеб после наполеоновских войн, не очень, по-моему, продуктивно. Для понимания истории нашей страны и нынешнего этапа ее эволюции это мало что дает.

А с тем, что главная проблема России заключается сегодня в создании правового государства, я, повторю еще раз, с Михаилом Николаевичем согласен. Но у этой проблемы есть своя специфика. Она в том, что страна застряла в демилитаризаторском цикле, в котором продолжает сказываться инерция имперско-милитаристской идентичности и авторитарного типа культуры. Поэтому и сама демилитаризация выступает не только как достигнутое общественное состояние, но и как проблема выхода из этого состояния в пространство правовой государственности.

Еще раз благодарю всех участников дискуссии, а Алексея Алексеевича, его руководившего, — особенно.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ КОЛЕИ?

Игорь КЛЯМКИН: Сегодня мы встречаемся с Николаем Сергеевичем Розовым, профессором Новосибирского университета. Я рад его приветствовать здесь и потому, что он известный исследователь, и потому, что он редкий пока на наших встречах немосковский гость. Многие из присутствующих его знают. Тем, кто не знает, скажу, что он давно работает по той теме, которая обозначена в названии нашего круглого стола, широко публикуется в российских академических изданиях и российских СМИ. Кроме того, он переводчик — перевел очень большую (около 1300 страниц весьма сложного текста) и очень интересную книгу Рэндалла Коллинза «Социология философий».

Формальным поводом для нашей встречи послужил выход в Москве новой книги Николая Сергеевича «Колея и перевал». В своем сегодняшнем докладе он намерен изложить основные идеи, в ней содержащиеся. Те, кто книгу не читал, смогут получить о ней определенное представление.

Несколько слов хочу сказать об исследовательском подходе Розова. Подход этот оригинальный — в том смысле, что Николай Сергеевич пытается в исследовании российской истории и нынешней российской ситуации использовать некоторые схемы западной теоретической социологии. При этом абстрактный уровень анализа совмещается у него с анализом политической злобы дня и, более того, с выдвижением конкретных политических проектов. Занятие, надо признать, интеллектуально рискованное. Возможно, у кого-то из присутствующих оно вызовет сомнения, но тем интереснее будет обсудить то, что докладчик нам скажет.

Готовясь к этой встрече, мы с Николаем Сергеевичем составили несколько вопросов, которые и выносим сегодня на обсуждение. Вопросы такие:

1. О цикличности российской истории, чередовании подъемов «русской власти» и ее кризисов сказано и написано много. Но каков внутренний порождающий механизм этой динамики?
2. Почему либералы в России всегда проигрывают? Если это не абсолютная фатальность, то при каких условиях возможно успешное становление демократии и правового государства?
3. Какова роль интеллектуального сообщества в создании предпосылок демократизации, учитывая слабость субъектов перемен, репрессивный настрой правящих групп, пассивность и подданническую культуру большинства населения?

Пожалуйста, Николай Сергеевич, мы готовы Вас слушать.

Николай РОЗОВ (профессор Института философии и права Новосибирского университета): «Движение в сторону государственного успеха обычно сопровождается в России угнетением свободы»

Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья! Мне очень приятно здесь выступать. Большая честь для меня представить доклад в столь высоком собрании. Спасибо организаторам и Фонду «Либеральная миссия». Я буду представлять некоторые результаты довольно большого исследования, которым я занимался с 2003 года. Именно тогда я обратился к проблеме циклов российской истории, и, как верно было сказано, постарался связать социальную теорию и историческую динамику России, включая ее современное положение и возможные перспективы ее будущего развития.

О чем я буду сегодня говорить? О феноменологии российских циклов, немного о понятийном аппарате и ключевых концептах, о механизме циклической динамики. И еще о развилках политического будущего, о повестке дня, которую я считаю сейчас наиболее актуальной, и о главной точке приложения сил.

Известны десятки концепций российских циклов, и у меня к ним есть претензии. Как правило, непонятно, что именно циклически меняется, не объясняются типовые фазы цикла, условия их возникновения. О движущих силах либо вообще не говорится, либо это расплывчатые метафоры, нет связи с современными социальными теориями, и авторы обычно пытаются свести все причины к одному объяснительному началу: либо к обширной географии страны, либо к культурным архетипам, либо к «расколам», либо к милитаризации. Между тем сложная социальная динамика — в том числе циклическая — всегда имеет в своей основе разнообразные, разномасштабные и разноаспектные причины, как я и покажу далее.

Коротко скажу о феноменологии циклической динамики истории России. Первое измерение колебаний — это *государственный успех* как агрегированная переменная, включающая следующие компоненты:

- геополитическое могущество и престиж на внешней арене;
- легитимность власти, стабильность политического режима;
- экономический и эмоциональный комфорт влиятельных групп.

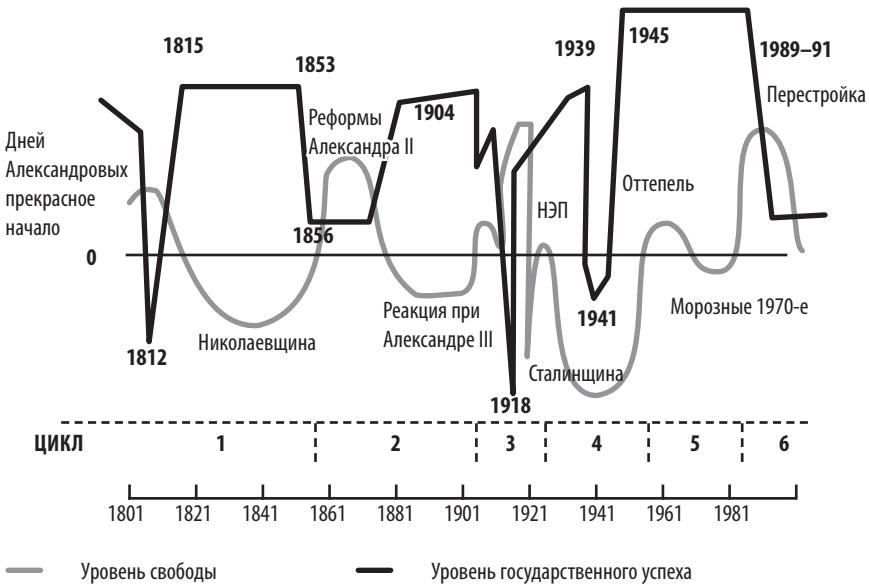
Если все это есть, то можно говорить о государственном успехе.

Второе измерение весьма условно названо «*уровнем свободы*». Оно включает такие компоненты:

- независимость индивидов, защищенность от прямого принуждения и насилия;
- уровень защиты личных, гражданских, политических прав и свобод;
- уровень участия в принятии решений.

Как видите, здесь либеральные и демократические принципы соединены. Нередко их разводят, но, по моим наблюдениям, в России уровень свободы менялся по всем этим составляющим одновременно.

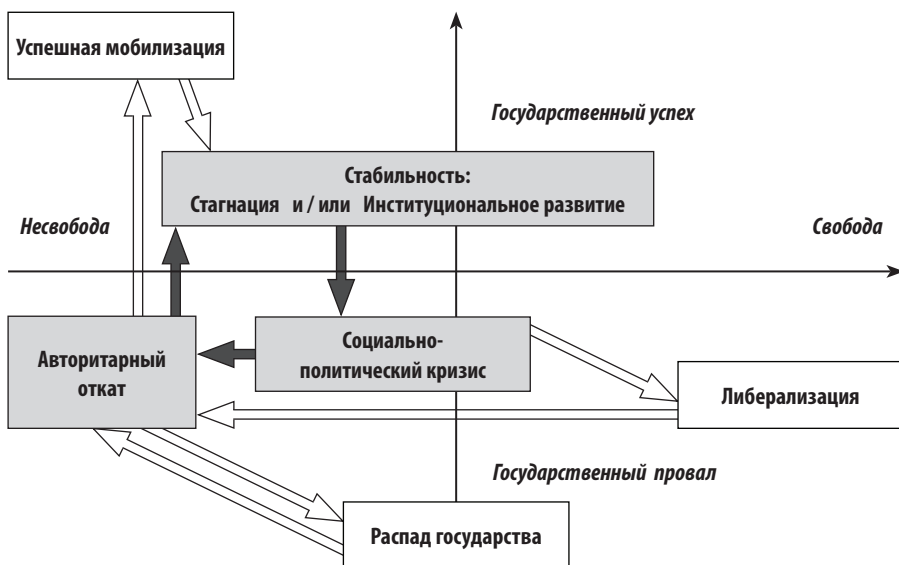
Рассмотрим теперь следующий график.



Серая линия означает колебания уровня свободы, как это представлено в работах В. Лапкина и В. Пантина. Соответственно, черная линия — это динамика государственного успеха. Понятно, что представленный график достаточно условный. При этом вне зависимости от того, что на нем изображено немножко выше или немножко ниже, если посмотреть на основные провалы свободы, то данную картину трудно оспорить. Это то, что всем известно еще из школьного курса истории.

Провалы в уровне свободы таковы: николаевщина, реакция при Александре III, военный коммунизм, сталинщина, неосталинизм. Соответственно, в плане государственного успеха мы имеем следующее: в 1820–30-х годах Россия — «жандарм Европы», провал Крымской войны, подъем во второй половине XIX века и, конечно же, сверхдержавность СССР в послевоенный период.

Самый главный паттерн, на который здесь нужно обратить внимание, — это неизменный большой разрыв между уровнем государственного успеха и уровнем свободы. Именно эти разрывы меня крайне интересуют, и в своих моделях я постарался сосредоточить внимание на объяснении данного феномена. Соответственно, когда мы строим параметрическое пространство, где оба эти измерения сопоставляются, можно обнаружить следующую сквозную динамику.



Начнем с такта «Стагнация». Это то, что происходит, между прочим, сейчас. Как правило, «Стагнация» приводит к такту «Кризис», а кризисы, как известно, были разного уровня глубины, их очень много. Кризисы обычно в России завершаются тактом «Авторитарный откат» и, соответственно, падением уровня свободы. При этом восстанавливается в большей или в меньшей мере государственный успех. Чаще всего это приводит опять к «Стагнации», и мы получаем кольцевую динамику (заштрихованные блоки и стрелки на схеме). Но в определенных условиях откат ведет к такту «Успешная мобилизация», часто связанному с территориальным расширением, геополитическим могуществом, сверхдержавностью, причем такой успех всегда имеет предел, и, соответственно, опять система скатывается к «Стагнации».

Как уже говорилось, кризисы бывают разной глубины. Самые глубокие кризисы приводят к распаду государства. Три основных случая — Смута начала XVII века, 1917 год, 1991 год — всем опять же хорошо известны.

«Кризис» не обязательно ведет к «Авторитарному откату». Он может вести и к такту «Либерализация». Таких поворотов тоже достаточно много. Либерализации в России бывают чаще всего сверху, иногда снизу, но, увы, они большей частью безуспешны и возвращают либо к «Кризису», либо сразу к «Авторитарному откату». Эту динамику я называю маятниковой. Сочетание же кольцевой и маятниковой динамики составляет в истории России достаточно сложную конфигурацию.

Такова сквозная феноменология нашей истории последних столетий — то, что я собираюсь объяснять. Поскольку времени не очень много, расскажу

коротко об основных уровнях концептуализации и выявления механизма порождения этих циклов.

Начнем с уровня «ультра-микро» — того, что происходит «здесь и сейчас» в непосредственных взаимодействиях между людьми. Основное понятие здесь — интерактивные ритуалы по Р. Коллинзу. Есть особо значимые ритуалы в российской политике: демонстрация власти и подчинения, одаривание начальником подчиненных или населения, жалобы начальству и наказание нерадивых, именуемое «публичной поркой», и т.д.

На уровне «микросоциальном» (индивиды) основные понятия — это габитусы с четырьмя главными составляющими. Во-первых, это *фреймы* (познавательные установки); во-вторых, *символы* (ценностные установки); в-третьих, *идентичности* (экзистенциальные установки) и, в-четвертых, *стереотипы практик и стратегий* (поведенческие установки). Хорошо известны основные габитусы в современной России: Хозяин, Ловкий Инсайдер (у кого «все схвачено»), Реформатор, Радикал, Аутсайдер, Подвижник. Все эти габитусы в книге достаточно детально расписаны. Если будут вопросы, я могу пояснить.

Фреймы понимаются как познавательные рамки — некие внутренние «линзы», с помощью которых мы подводим неизвестное под известное. Основной фрейм, который актуализируется при крутых поворотах российской политики, таков: «Царь спасает Отечество, уничтожает Врагов, одаряет Верных, заботится о Народе». Один и тот же фрейм может накладываться на разную ситуацию, на разные фигуры. У разных движений и партий разные «цари», а фрейм примерно один и то же.

Среди символов известна «Великая Россия», что понимается как мощная и устрашающая. Символ «Порядок» тесно связан с символом «Сильной руки». «Справедливость» у нас обычно понимается как выдача «заслуженного», то есть платы за «службу». Речь идет здесь о таком поведенческом стереотипе, как рентоискательство. Справедливо — это когда получаем соответственно занимаемой (служилой) позиции. Тут важно отличие от принципа зарабатывания, то есть получения дохода соответственно эффективности, объему и квалифицированности труда.

Стратегии и практики в российской политике — это прежде всего подавление политических соперников, устрашающее принуждение. Кстати, при «Авторитарном откате» оно вполне функционально, поскольку дисциплинирует элиту. Другие важные стратегии — охранительство (правители стремятся все оставить как есть) и присвоение ресурсов элитами, особенно активное в такте «Стагнация». Дальше посмотрим, как эти стратегии могут переключаться.

Есть сквозной паттерн поведенческих установок в российской политической культуре. Несмотря на то, что акторы очень разные, в корне их габитусов есть общее. Таково нежелание связывать себя какими-либо обязатель-

ствами горизонтального, нравственного и внутреннего характера (помимо отношений с родными и близкими). Такие обязательства у нас есть, как правило, перед своей семьей. А вот начальство обычно не имеет в России таких обязательств и ответственности перед подчиненными или населением вверенных территорий. Также и простой человек не чувствует таких обязательств перед государством. Здесь обязательства могут быть только внешние, и, в общем, совсем даже не позорно их нарушать, уходить от них, обманывать, что-то «прихватывать». Отсюда — постоянная склонность к автократии у верхов (несвязанность никакими контрактами), а у низов — стратегия ухода, что выражается в социальной пассивности, в бегстве от налогов, в эмиграции, в алкоголизме, теперь еще и в наркомании. Корень, как видите, один.

На уровне «мезо», или социальных групп, главными концептами являются обеспечивающие сообщества (дающие безопасность, социальный статус, эмоциональный комфорт и основной доход) и социальные институты. Типовые сообщества в России — это «ближние круги» (родня и близкие друзья) и «свои люди», на которых можно положиться в делах. Институты, которые для механизма циклов оказались наиболее важными, это репрессивные (изымающие ресурсы и защищающие режим) и распределительные (раздающие ресурсы в форме ренты и зачастую в обмен на лояльность).

На уровне «макро», то есть всего общества, здесь крайне важны структуры ресурсных потоков. Как известно, для России характерна гиперцентрализация ресурсов, распределение в обмен на лояльность, принуждение подчиненных к коррупции. И это, между прочим, способ дисциплинирования подчиненных: каждый «подвешен» и может быть подвержен уголовному преследованию в случае конфликта и нелояльности начальству. Таким образом, коррупция не только системна, но и в некотором смысле функциональна (для начальства, разумеется, а не для «простых» граждан и не для страны).

На уровне «макро» значимы также отношения Центр-регионы-поселения. Тут для Центра очень важно лишить нижележащие уровни автономии. Это сочетается с попустительством местному авторитаризму и коррупции — опять же в обмен на лояльность.

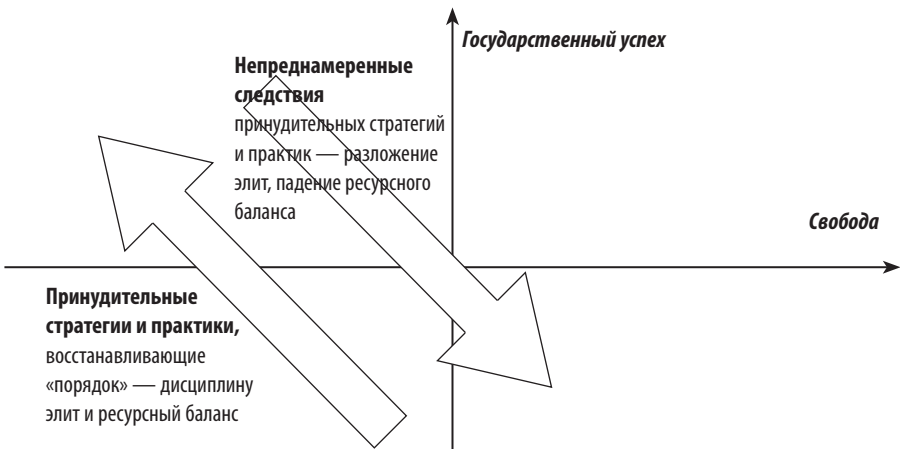
Наконец, международный уровень — он тоже важен для понимания российских циклов. С точки зрения места России в геополитике и геокультуре, главное значение имеет возобновляющийся контраст между геополитической мощью, величиной территории страны и ее геокультурной подчиненностью, отверженностью. Место России в геоэкономике — это постоянный сырьевой экспорт, начиная от пеньки и пушнины и кончая нынешними газом и нефтью. Он ведет, как известно, к феномену властесобственности, к росту социально-экономического неравенства и укреплению авторитаризма.

Для раскрытия механизма, порождающего российские циклы, был построен целый спектр моделей, который дает стереоскопическое видение этого механизма:

- модель социального резонанса и заключения/распада вертикальных договоров;
- модель переключения стратегий акторов (Правителя и Элиты);
- модель переключения фреймов (причины рефреймингов у Правителя и Элиты как причины и следствия смены тактов);
- модель правил перехода сочетаний значений бинарных факторов (формальная аксиоматическая модель);
- модель взаимодействия квазиколичественных факторов (тренд-структура, представленная как ориентированный граф с положительными и отрицательными связями между переменными);
- принципы влияния на циклы со стороны геополитики, геоэкономики и геокультуры (как влияет на длительность и интенсивность тактов российских циклов попадание России в разные союзы и отношения охватывающей международной динамики).

Я представляю только наиболее простые схемы, о которых можно говорить коротко и которые можно изобразить наглядно.

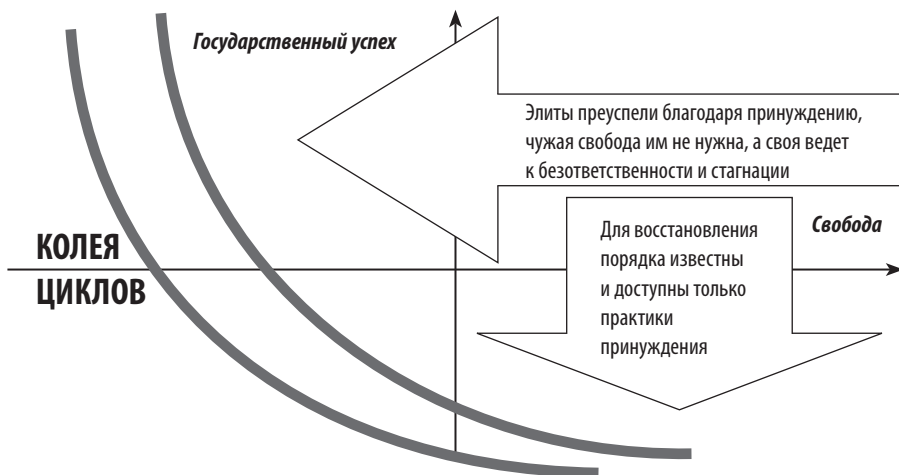
Итак, движение в сторону государственного успеха в России обычно сопровождается угнетением свободы.



Государственный успех обеспечивается именно благодаря интенсификации принудительных перераспределительных стратегий, институтов и практик. Но они имеют непреднамеренное следствие, что ведет, прежде всего, к эмансипации и последующему разложению элит, снижению ресурсного баланса (то есть перетоку ресурсов от государства и народа к элитам) и,

соответственно, к упадку государственного успеха. При этом повышается уровень свободы, но, как правило, не для всех, а для элит (прежде всего, служивого класса), которые занимаются присвоением и напрямую повинны в деградации государственных функций.

А теперь — самая любопытная проблема: почему же у нас остается пустым вот этот желанный верхний правый квадрант, то есть почему не получается сочетание государственного успеха и свободы?



Двумя линиями отмечена колея российских циклов. А сочетания государственного успеха и свободы не получается потому, что в пространстве свободы действуют выталкивающие силы.

От высокого государственного успеха нет никакого хода к свободе и гарантирующим ее правам, поскольку элиты преуспели благодаря принуждению. Чужая свобода им совсем не нужна, а свою они завоевывают в такте «Стагнация», и это как раз ведет к безответственности и последующим кризисам. При низком государственном успехе из такта «Либерализация» тоже не удастся пока достичь «порядка» с высоким уровнем свободы, поскольку и в верхах, и в низах для его восстановления известны и доступны именно практики принуждения. Хочешь порядка — усиливай власть; усиливаешь власть — соответственно, идешь по колее циклов к удушению свободы граждан, ущемлению предпринимательства.

Далее рассмотрим модель переключений стратегий в кольцевой динамике.

Здесь показано, как стратегия Правителя «устрашающее принуждение» и стратегия Элиты «служение» ведут к росту напряжения Элиты (усталости от постоянного страха) и переключению. Правитель, утративший статус «Спаси-



теля Отечества», начинает заниматься только охранительством. Сейчас как раз мы этому свидетели. А Элита заменяет свое «служение» «присвоением ресурсов». Соответственно, накапливаются неблагоприятные факторы, и это все ведет к такту «Кризис», а затем старая или новая пара Элиты и Правителя восстанавливает прежнее сочетание стратегий: «принуждение» со «служением». Такова самая проторенная и глубокая колея, которая, увы, всегда ожидает российскую политику. Я считаю, что и в будущем тоже.

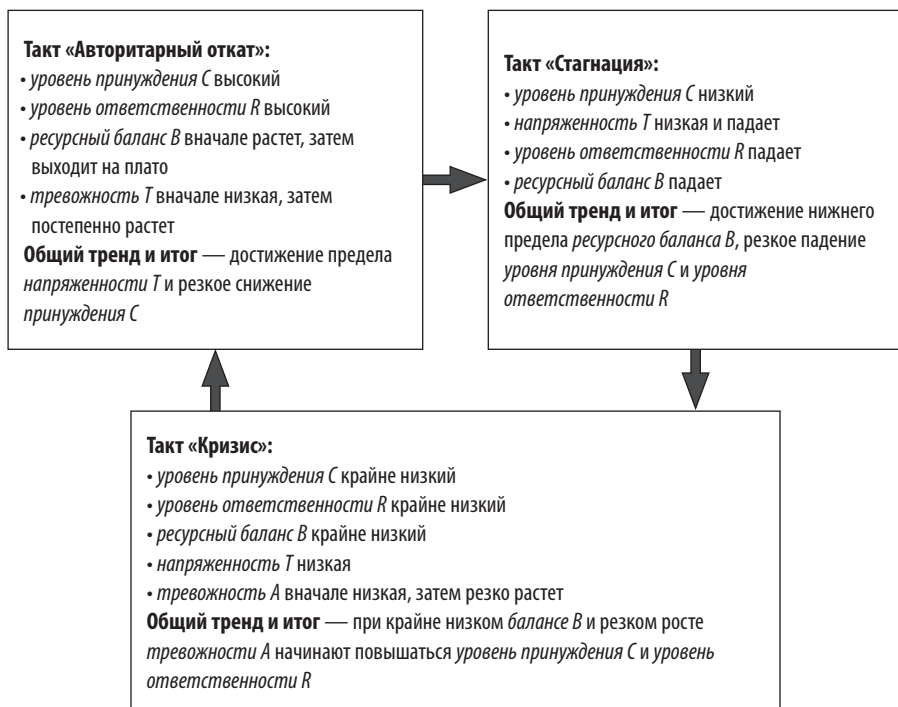
Та же кольцевая динамика раскрывается через аксиоматическую систему правил переходов от одних сочетаний бинарных переменных к другим.

Каждую переменную нужно, конечно, пояснять, но сейчас у меня нет для этого времени. Задана система формальных правил: какие сочетания на одном шаге дают другие сочетания на следующем шаге. Данная аксиоматика показывает, что основная феноменология российских циклов воспроизводится таким образом, что на основе применения формальных правил получаются все те же паттерны расхождения государственного успеха и свободы. Это и есть главное основание для того, чтобы считать данную модель подкрепленной эмпирически.

Что же означает все это для политического будущего России? Чтобы ответить, нужен еще один инструмент. Я взял за основу матрицу Роберта Даля и развернул ее. Даль говорит о качестве политической конкуренции и об уровне открытости. Качество конкуренции разворачивается как следующая шкала ступеней. Рассмотрим ее снизу вверх.

Самая негативная ступень — это война без правил на уничтожение.

Затем идет диктатура, когда никто не застрахован от репрессий и уничтожения.



Затем — слабый авторитаризм («драка бульдогов под ковром»).

Следующая ступень — полиархия, когда есть несколько центров силы, но еще непонятно, во что выльется их взаимодействие.

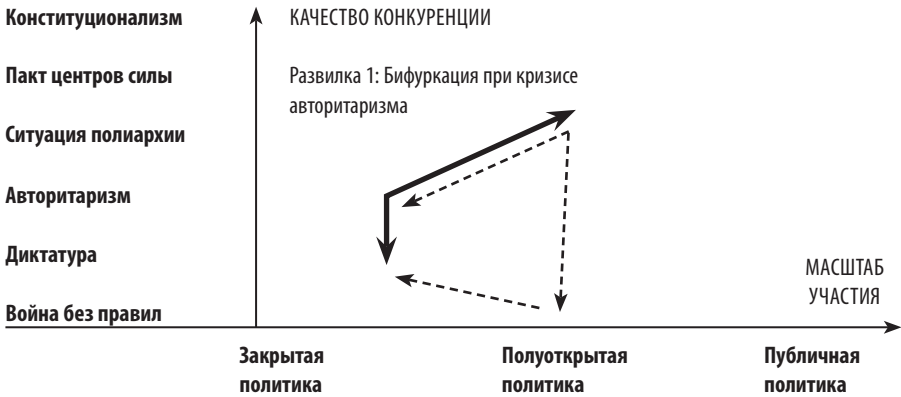
После этой неустойчивой полиархии — пакт элит.

И, наконец, конституционализм, когда уже и элиты, и власть подчиняются законам.

Другое измерение, которое я использую, касается характера политики с точки зрения степени ее открытости. Это может быть закрытая политика, полукрытая политика, в которую допущены акторы с высоким цензом (финансовые, организационные, силовые ресурсы) и публичная открытая политика.

Что же может происходить у нас в ближайшем будущем?

Первая развилка при кризисе авторитаризма обозначена жирными сплошными стрелками. В данном случае либо прежний или новый центр силы восстанавливает господство, подавляет остальных претендентов на власть (путь к диктатуре), либо появляется неустойчивая ситуация полиархии — нескольких автономных центров силы со своими ресурсами, причем характер их взаимодействия не определен. Тонкие пунктирные стрелки здесь и далее показывают наиболее вероятные последующие исходы.



Если модель верна, то впереди нас ожидает кризис. Многие аналитики про это говорят. Но кризис — это всегда бифуркация и, соответственно, развилка. Самая проторенная, ожидаемая альтернатива — новый «Авторитарный откат», и для того, чтобы его ожидать, есть основания: нынешние репрессивные практики против мирных демонстрантов, а также мощное наращивание внутренних войск.

Тем не менее возможно появление новых центров силы. Тогда возникает вопрос о том, как они будут между собой взаимодействовать. Пока они привыкли взаимодействовать друг с другом через стратегии подавления. В том числе и так называемые «демократы» в 1990-х годах. Если же будет паритет сил, то возможно высокое насилие. И кто бы ни победил, это будет опять ход к диктатуре — самый неприятный сценарий.

Однако новые центры силы в принципе могут и договориться, если возьмут на вооружение стратегию компромисса, — тогда возникает пакт элит. Пакт этот, по российским традициям, скорее всего, будет опять-таки закрытым. А закрытый пакт элит неустойчив и соскальзывает к авторитаризму, поскольку без надежных институтов ротации какой-то из членов пакта начинает доминировать, а затем устраняет конкурентов — или совсем жестко (как Сталин) или более мягко (как Брежнев). В результате мы имеем опять неприятную колею — именно отсюда, от пакта элит.

Вторая развилка предполагает выбор способа взаимодействия между автономными центрами силы. Либо доминируют стратегии подавления и узурпации власти (движение к массовому насилию и последующей диктатуре), либо преобладают стратегии компромиссов, договоренностей, отказа от насилия в политической борьбе (движение к пакту элит — картельному соглашению с возвратом к авторитаризму как наиболее вероятному последствию).

Третья развилка — выбор способа взаимодействия в полузакрытом пакте центров силы. Либо пакт становится закрытым, тогда опять кто-то побеждает во внутренней борьбе, ослабляет или изгоняет конкурентов, что возвращает



систему к авторитаризму. Либо стороны договариваются о разделении властей, о ротации на основе формальных правил, открытой политики и апелляции к выборам, то есть предпочтениям населения, что дает шанс перехода к устойчивой конституционалистской демократии. Это и называется перевалом к новой логике исторического развития.



Какие требования следует предъявлять к первым шагам на перевал? Начальные шаги должны:

- открывать путь к последующим шагам, а значит, создавать для них субъекты и ресурсы;

- блокировать поползновения к авторитарному откату;
- быть абсолютно легитимными в правовом и нравственном отношении;
- помогать широким слоям в решении реальных жизненных проблем, то есть иметь потенциал поддержки среди населения, бизнеса и хотя бы части государственного класса.

Составить такие шаги непросто. То, что мне удалось сделать, — это так называемые «пять шагов на перевал».

Начинать нужно с координированной широкой кампании по дискредитации и преодолению насилия и репрессий в политике. Речь идет о повышении издержек для стратегий подавления и насилия. И я показываю в книге, каким образом это можно делать.

Второй шаг — самый трудный. Он включает и самоорганизацию, и сплочение вокруг новых центров силы, и создание новых партий, и, конечно же, борьбу за свободные выборы и новый реальный, решающий, полноценный властный парламент.

Затем в повестку дня встают третий шаг (перестройка судебной системы) и четвертый — переход к парламентско-президентской форме правления. Это я тоже могу обосновывать. И не я один про это говорю.

Наконец, пятый шаг — федерализация налоговой и бюджетной систем. Здесь речь идет как раз о перестройке логики ресурсных потоков, от которых очень многое зависит, о восстановлении губернаторских выборов и т.д.

Немного скажу только о первых двух шагах. Что имеется в виду под кампанией против насилия в политике? Имеется в виду следующее:

- чтобы не разгоняли мирных демонстрантов;
- чтобы владельцы фирм не боялись прихода «маски-шоу» и рейдерства;
- чтобы прокуратура и суды не использовались для захвата бизнеса;
- чтобы бизнесмены не боялись поддерживать любые партии, движения, газеты и интернет-издания, которые действуют в рамках Конституции.

Иными словами, необходимо убрать страх, который оказывает сейчас наибольшее воздействие на российскую политику. Именно защищенность от страха поднимет и общественную, и политическую активность. Соответственно, чтобы ее угнетать, этот страх и поддерживается сейчас режимом.

Второй шаг — гражданская самоорганизация. Новые центры силы могут появиться именно благодаря этой гражданской активности. Речь идет о малых инициативных группах, которые связываются в социальные сети, затем — в общественные движения. На самом деле таких групп уже много, и мы их знаем: от автомобилистов, «синих ведерок», до экологов, солдатских матерей, правозащитников. Но пока они разрозненны. Понятно, что только в мирной борьбе за свои (и чужие!) интересы и права граждане и обретают ту самую чаемую субъектность. А одновременно — и ответственность за происходящее в стране.

Как способствовать становлению этих автономных центров силы, причем не всяких, а настроенных именно на мирное взаимодействие?

Для этого необходимо искать ростки и потенциальные центры кристаллизации. С ними нужно вступать в диалог, способствовать их коммуникации между собой на началах толерантности к чужим взглядам (это у нас до сих пор провальный пункт). Составить, широко обсудить и принять свод правил политической борьбы, наращивать свою переговорную силу, формировать кружки, сети, коалиции с опорой на элиты развития. Твердо, солидарно выступать за открытые и честные выборы, поддерживать, защищать, пропагандировать практику борьбы с коррупцией. Я считаю, что инициатива Алексея Навального вполне стоит того, чтобы ее поддерживать, а не пренебрежительно от нее отмахиваться.

Среди вопросов, вынесенных сегодня на обсуждение, есть, как вы помните, и вопрос о задачах интеллигентов в современной России. В чем эти задачи?

Прежде всего, речь должна идти о составлении повестки дня. Я предложил упомянутые пять шагов. Очень может быть, что к ним что-то нужно добавить или изменить их очередность, но так или иначе какая-то общая повестка дня необходима. Исходя из долговременных закономерностей, следует задать принципы решения актуальных социальных проблем. Кроме интеллигентов эти принципы никто, конечно, не сформулирует. Необходимо организовывать площадки для обсуждения и решения этих проблем и способствовать диалогу между идейными противниками, то есть поддерживать новые центры влияния, поскольку, согласно теоретической модели, только когда они появятся, появится шанс на реальную демократизацию и либерализацию.

Какие требуются первоочередные изменения в отношении к идеологическому противостоянию?

Обычная наша установка — «разоблачить врагов», характерная в том числе и для либералов, увы. Вместо этого нужно согласиться о несогласии, то есть привыкнуть к мысли, что мы в России разные и всегда будем разными. То есть на десятилетия вперед останутся коммунисты, националисты, державники-сталинисты, левые социал-демократы и либералы-западники. И никому не удастся в свою веру всех остальных перевести. Иными словами, нужно учиться жить в этом разнообразии.

Каковы главные точки приложения сил?

Предлагаю сосредоточить внимание на таких группах, как бизнес-сообщество и местные власти. Действительно, представители малого и среднего бизнеса отличаются от других групп своей автономией и тем, что у них есть ресурсы, которые можно конвертировать в общественную и политическую деятельность. Конечно же, они заинтересованы в сохранении и умножении собственности. И тут очень важно, как они это делают и могут делать. Сейчас они

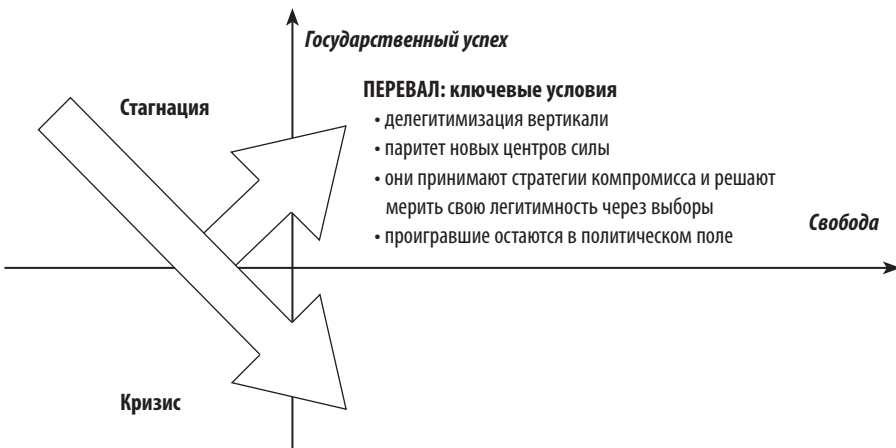
в основном используют стратегию личных уний: войти в клан, стать «своим», «быть в обойме», «заносить» и «делиться». То есть включаются в коррупционные практики. При этом бизнес всегда борется за монополию. А благодаря коррупции можно ее для себя получить и, в общем, эта стратегия достаточно терпима, относительно надежна, хотя активы, как мы знаем, переводятся за рубеж.

Стратегия честной игры включает горизонтальную солидарность, формирование местного бизнес-сообщества, требования честных правил и терпимости к открытой конкуренции. Это не всегда приятно для бизнесменов, потому что на самом деле сулит «головную боль»: нужно снижать издержки (а они в российском бизнесе огромные) и повышать качество. При монополии этого всего не нужно. Соответственно, главный союзник в борьбе за честную игру — потенциальная контрэлита в среднем бизнесе, то есть «не допущенная к столу». Те, которые допущены, всем довольны.

Местные власти являются союзниками в борьбе за федерализм, поскольку нуждаются в финансовой независимости. Ситуация «подвешенности», зависимости от московских чиновников, необходимость постоянно выпрашивать деньги на развитие и латание дыр уже многим в тягость. Этот потенциал скрытого пока недовольства в среде региональных, городских, местных властей нужно использовать.

Союзниками являются также «элиты развития», которые исследовал один из моих уважаемых оппонентов Михаил Афанасьев. Сюда же можно причислить общество потребителей, заинтересованное в конкуренции для снижения цен, а также оппозиционные движения и партии.

В заключение скажу, что окно возможностей для выхода к перевалу открывается именно из среднего уровня кризиса (а не из его глубины и не откуданибудь еще).



Здесь указаны основные условия, при которых выход на перевал возможен. Таковы делегитимация вертикали, паритет новых центров силы, которые принимают стратегии компромисса и решают мерить свою легитимность через выборы, причем проигравшие остаются в политическом поле. Таковы главные теоретические предпосылки для этого очень трудного прорыва.

Спасибо всем за внимание.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо и Вам, Николай Сергеевич. Сейчас мы Вам зададим вопросы. Начнем с меня. Я хочу спросить вот о чем. Те циклы, которые Вы описали, они характерны только для России?

Николай РОЗОВ: Такие циклы характерны именно для России. А колебания и в свободе, и в государственном успехе есть во всех странах.

Игорь КЛЯМКИН: Вот и я о том же. Почти все, о чем Вы говорили, и в самом деле можно наблюдать в истории самых разных стран. А заявка у Вас была на то, чтобы объяснить особенности и порождающую динамику, как Вы ее называете, именно российских циклов. В чем же эти особенности и эта порождающая динамика?

Николай РОЗОВ: Вообще говоря, для ответа на такого рода вопросы нужно говорить о каких-то парных межстрановых сравнениях. Дело обстоит следующим образом. С одной стороны, есть общие закономерности, о которых я пишу, а с другой стороны, есть специфические исторические особенности, в которых они запечатлены. Эти особенности проявляются в своеобразии и институтах, о чем я говорил, и менталитета, и ресурсных потоков, и многом другом. Соответственно, особенности начальных условий дают вот эту специфику циклов. Одна из главных особенностей — это, конечно же, именно расхождение в России, причем систематическое, уровня свободы и уровня государственного успеха. То есть они, как правило, противопоставлены. В других странах — например, в Соединенных Штатах или во Франции — дело обстоит не так, хотя там тоже есть свои циклы и свои колебания.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо. Я думаю, к этому вопросу нам еще придется вернуться. Кто еще хочет спросить?

Леонид ВАСИЛЬЕВ (профессор Высшей школы экономики): Николай Сергеевич, уделяете ли Вы хоть какое-то внимание во всей Вашей конструкции инициативе сверху, может быть, вынужденной? Да или нет?

Николай РОЗОВ: Конечно, да. Просто в разных тактах цикла эта инициати-

ва разная. У нас бывают разные типы правителей, и у них бывают разные инициативы.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Я имею в виду сегодняшний день.

Николай РОЗОВ: Если речь идет о том, что произошло 24 сентября 2011 года, то это событие, конечно же, нужно понимать как ход со стороны правящей группы. В терминах циклической динамики России это ход в сторону охранительства. То есть некий мини-такт или, по крайней мере, обозначенное движение в сторону «Авторитарного отката». При этом, конечно же, сохраняются те контуры деградации, которые действуют в такте «Стагнация», и они по-прежнему ведут к такту «Кризис».

Леонид ВАСИЛЬЕВ: И вот в этом случае, в случае кризиса, чего можно ждать?

Николай РОЗОВ: В случае кризиса нужно, конечно же, смотреть на стереотипы реакций российских правителей в подобных ситуациях, и, судя по этому, следует ожидать репрессивных практик.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Только?

Николай РОЗОВ: При этой власти — да.

Игорь КЛЯМКИН: Еще есть вопросы?

Сергей САВЕЛОВ: Скажите, пожалуйста, под «перевалом» Вы имеете в виду переход к западным моделям развития общества? Если да, то известно ведь, что Запад находится на этапе перехода в постиндустриальную эпоху. Каким образом увязывается «перевал» с этой эпохой?

И второй вопрос. Вы в своих трудах много внимания уделяете периодизации истории, в чем я вижу отражение признания Вами неких закономерностей социального развития. Почему же, анализируя историю России и нынешнюю ситуацию в ней, Вы от этой периодизации отходите?

Николай РОЗОВ: Наверное, все присутствующие заметили, что ни одного слова про западную модель у меня не было. Речь шла об открытой политике и о подчиненности власти законам. Действительно, эти политические ценности утверждались благодаря таким людям, как Локк, Монтескье, Руссо и другим. Да, эти мыслители жили на Западе, и многие идеи, ими выдвигавшиеся, воплотились, прежде всего, именно там. Но сейчас назвать это чисто западной моделью никак нельзя. Увы, скажем, в Южной Корее и даже в таких

экзотических странах, как Папуа-Новая Гвинея, уже работает относительно приличная (во всяком случае, не сугубо декоративная) демократия. И когда говорят: «Что же вы нас зовете на Запад, когда у нас есть своя самость?», то я это воспринимаю просто как какое-то глубокое неуважение к России, к русскому народу. Почему же папуасы на это способны, а русские не способны?

Что касается периодизаций, то они нужны и важны, но они не имеют большого теоретического значения. Фундаментальное теоретическое значение имеют модели динамики, объясняющие и предсказывающие изменения. Именно поэтому я сосредоточился на таких моделях в своем исследовании, поскольку меня интересует нынешняя динамика и будущая динамика. И я убежден, что тот порождающий механизм, который обуславливал циклы в российской истории, продолжает существовать и действовать. Поэтому понимание его динамики — это как раз самое важное. А периодизации и классификации можно строить тысячами, и это ничего не даст для настоящего объяснения и понимания происходящего.

Анатолий АДАМИШИН: Мне Ваши аналитические построения показались очень интересными и компактными. Я понимаю, что, наверное, не очень корректно задавать вопросы сугубо практические. И, тем не менее, какие шансы Вы даете различным вариантам развилки в нашей ситуации? Наверное, в этой аудитории нет ни одного человека, который не хотел бы видеть Россию демократической страной. Но нет ли ощущения, что эта задачка нерешаемая? Или, по крайней мере, не решаемая в обозримом будущем? Что точка невозврата уже пройдена?

Николай РОЗОВ: Если говорить о строгой науке, то в ней вероятности политического будущего никто считать не умеет. И если кто-то вам скажет, что по-настоящему посчитал, то, скорее всего, это шарлатан. Здесь можно говорить только о каких-то ощущениях, учитывая глубину проторенной российской колеи. Могу лишь повторить, что при кризисе, учитывая и массовые настроения, и настроения наиболее популярных фигур, велика вероятность обращения к стратегии подавления. Возможность движения к «Авторитарному откату» или даже к каким-то эксцессам насилия я бы оценил примерно на 80 процентов, а то и больше.

Относительно того, возможна или невозможна в России демократизация в принципе. Здесь я пессимист, но не фаталист. То есть говорить о том, что это вообще невозможно в России, нет ни теоретических, ни нравственных, ни каких-либо иных оснований. Действительно, какую-то развилку мы уже прошли, причем не лучшим образом. И при следующем «Авторитарном откате» опять нужно будет ожидать, а потом и переживать «Стагнацию». А будет ли один еще цикл или два цикла, никто не знает.

Хочу только заметить, что одновременно с циклической динамикой действуют ведь еще и так называемые вековые тренды. Скажем, политическая культура населения повышается, люди начинают больше ездить за рубеж, и это не может не сказаться на характере развития. То есть я считаю, что ход к перевалу на протяжении XXI века возможен, и мы все обязаны к этому стремиться.

Игорь КЛЯМКИН: Виктор Леонидович, пожалуйста.

Виктор ШЕЙНИС (главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН): Николай Сергеевич, в своей недавней статье в «Новой газете» Вы обозначаете временной интервал, в течение которого, как Вы полагаете, у режима еще есть некие резервы для сохранения существующего положения. Вы его определяете в 5–7 лет. Это тоже некое предчувствие? Или за этим стоит какой-то анализ?

Николай РОЗОВ: Я уже сказал, что никаких точных научных расчетов тут быть не может. Правоммерно говорить только о возможных вариантах. Дело в том, что кризис чрезвычайно зависит от одновременности каких-то бедствий в разных сферах. Есть контуры деградаций, которые обнаруживают себя в том, что касается социального капитала, человеческого капитала, роста коррупции, демографических проблем, а наиболее ярко — в деградации инфраструктуры, что приводит к вроде бы случайным, а на самом деле отнюдь не случайным авариям и бедствиям. Так вот, когда они происходят раз в полгода или раз в год, то с каждой проблемой можно справиться по отдельности. В этом случае запас прочности у режима и системы есть. Но если в разных сферах такого рода неприятности возникают в течение одного-двух месяцев, то режим с ними может и не справиться, что, в свою очередь, ускорит кризис. А какой именно вариант возникнет, это прогнозу не поддается.

Игорь КЛЯМКИН: Похоже, больше всего нас интересует то, что будет независимо от нас. Но если нас интересует только это, то ничего хорошего не будет. Еще вопросы? Только не о будущем, пожалуйста. О будущем Николай Сергеевич все, что мог, уже сказал.

Виктор ДАШЕВСКИЙ (историк): Николай Сергеевич, Вы сказали, что в российской истории времена государственного успеха не совпадают с периодами свободы или хотя бы какой-то либерализации. Если успех, то со свободой плохо, а если свобода увеличивается, то нет успеха. Правильно ли я Вас понял?

Николай РОЗОВ: Да, с этого я начинал. Это основной паттерн в феноменологии циклов.

Виктор ДАШЕВСКИЙ: Мне это представляется крайне спорным. Достаточно сравнить времена, скажем, Николая I и Александра II. Разве можно сомневаться в том, что во времена Николая I свободы в России было гораздо меньше, чем во времена Александра II? И какие же у нас были в николаевское время внешнеполитические успехи? Нетрудно доказать также, что при Александре II эти два фактора, которые Вы противопоставляете, совпадают. И мощь России, и степень свободы в ней во времена Александра II выгодно отличают олицетворяемый им период нашей истории от николаевщины.

Игорь КЛЯМКИН: Это уже реплика, не вопрос. Николай Сергеевич, хотите сразу отреагировать?

Николай РОЗОВ: Конечно, с историками трудно спорить, но я попробую. Николаевское время унаследовало огромные успехи России в победе коалиции над Наполеоном. До Крымской войны Россия находилась в роли «жандарма Европы». Это, как правило, понимается ругательно, но здесь имеется в виду, что Россия была той силой, с помощью которой другие державы удерживали и укрепляли свой порядок. Россия боролась или пыталась бороться с революциями в Европе. То есть уровень государственного успеха в стране был весьма высокий вплоть до провала в Крымской войне, а в плане свободы, как Вы правильно сказали, это был достаточно низкий уровень.

Что касается Александра II, то в данном случае ситуация сложнее. Те либеральные реформы 1861 года, о которых мы знаем, в основном ведь сошли на нет уже к концу 1860-х, что тоже хорошо известно. Отчасти, конечно, это была «либерализация сверху». Но не в меньшей мере это были институциональные реформы (земская, судебная, военная, образовательная и другие), отнюдь не всегда имевшие либеральный характер. И дальнейшая государственная политика при Александре II была, прямо скажем, двойственная. Его реформы не означали действительного достижения свободы граждан, полноценного участия их в управлении государством. Если бы это было, то не было бы народов-террористов, которые в конце концов Александра II и убили.

Так что слышать о том, что весь период его правления был периодом благоденствия в смысле свободы и демократии, как-то очень странно. Продолжала существовать постниколаевская Россия, которая вела жестокие завоевания, в том числе большой кровью в Средней Азии. А это не что иное, как геополитическое расширение и экспансия за счет милитаризации, а отнюдь не свободы.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Николай Сергеевич, лучше бы Вы не спорили с историком.

Игорь КЛЯМКИН: Переходим к выступлениям оппонентов. Первый — Михаил Николаевич Афанасьев.

Михаил АФАНАСЬЕВ (директор по стратегиям и аналитике Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»): «Либерализации отнюдь не мешали, а способствовали государственному успеху и экономическому подъему России»

Николай Сергеевич представил ряд концепций и предложений. Я откликнусь, конечно, не на все, но на главные.

Первое. Я согласен с основным методологическим посылом — с тем, что российскую ситуацию можно описать посредством концепции структурно-исторической колеи. Автор ссылается в данном случае на социологию Рэндалла Коллинза, но можно сослаться и на институциональную теорию экономиста Дугласа Норта. Суть концепции в том, что аккумуляция позитивного либо негативного опыта в социальных институтах и представлениях обуславливает значительную социальную инерцию. Однако и в глубокой колее люди способны изменять привычный порядок социальной жизни, то есть инновации возможны.

Второе. У меня возникло множество вопросов и несогласий — главным образом в части циклической схемы российской истории. Автор делает вывод о том, что в России никогда либерализация не совпадала с государственным успехом, если под последним понимать геополитическое могущество и престиж плюс уровень экономического и эмоционального комфорта в стране. На мой взгляд, все не так.

В российской истории Нового времени две либеральные эпохи — царствования Екатерины Великой и Александра I — были одновременно эпохами наивысшего государственного успеха Российской империи. В третью либеральную эпоху — при Александре II Освободителе — была проведена военная реформа, Россия сбросила с себя путы Парижского договора, не позволила Вильгельму и Бисмарку окончательно разгромить Францию и одержала полную победу над Турцией в Балканской войне, которая, кстати, вызвала в стране большой патриотический подъем. То есть либерализация отнюдь не мешала, а способствовала государственному успеху и экономическому подъему России. Наконец, в советское время хрущевская оттепель и косыгинские реформы совпадают с наивысшими успехами и авторитетом СССР.

Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем Николаю Сергеевичу нужна циклическая схема. В подобного рода схемах обычно ищут ответа на вопрос, какой цикл сейчас, либо из какого цикла в какой мы переходим. А Николай Сергеевич хочет говорить не об этом. Он говорит о том, что веками российская колея ходила по кругу, но вот теперь мы можем взобраться на перевал и, перейдя его, поменять старую колею на новую. Возникает вопрос: почему при такой вот «одноколейной» истории мы вдруг подошли к перевалу?

Вероятно, потому что до сих пор российское общество не осознавало, что движется по колее. И только сейчас — пока, конечно, не у всего общества, но в научной элите, через которую, как известно, осознает себя Общественная идея, — появилось понимание Механизма: как образуется колея и как из нее

можно выйти. Механизм таков: если хотите сменить колею, измените социальные институты и представления.

Ладно, осознали. Что дальше? Дальше Николай Сергеевич подсказывает, что следует проявлять терпение и осторожность. Я, кстати говоря, все это поддерживаю — и то, что колею нужно менять, и то, что делать это нужно осторожно. Я даже думаю, что при смене колеи нужно следовать не доктрине, а, как ни парадоксально, социальным запросам и реакциям. В свое время я даже писал об этом записки в администрацию президента Ельцина, что почему-то не способствовало моей карьере.

Однако Николаю Сергеевичу, как разработчику макросоциальной доктрины, все нужно концептуализировать. И он предлагает в своей книге следующее: не мечтать о демократии, а двигаться к полиархии. Что ж, я думаю, что даже те нищие духом, которые не знают, что такое полиархия, понимают, что Янукович и Тимошенко вместе — это все же лучше, чем один Янукович либо одна Тимошенко. Да и тут, в России, мы четыре года молили о даровании нам полиархии — не демократии же! — тянули, стало быть, к перевалу, шептали, кричали: «Россия, вперед!»

Но все же «полиархию» в научный оборот ввел не наш Владимир Гельман и даже не Ди Пальма, а Роберт Даль. И ввел он ее в качестве антитезиса — в ответ на тезис Миллза и других левых, что в Америке никакая не демократия, а власть элиты. Что из этого следует? Из этого следует, что полиархии могут быть очень разные. Может быть полиархия американской элиты/демократии. Может быть полиархия советской номенклатуры эпохи брежневского застоя. И может быть полиархия правящего класса КНР эпохи великих реформ. Кстати, у нас и сейчас есть вполне реальная полиархия — Владимира Путина и Рамзана Кадырова.

Итак, во-первых, полиархия — это крайне абстрактная, то есть бедная конкретным социальным содержанием категория. Во-вторых, менее всего эта категория годится в качестве вдохновляющего и призывного слова. Думаю, что даже в этой аудитории убежденных противников авторитаризма не будет единоголосного голосования за лозунг: «Да здравствует феодализм — светлое будущее нашей многострадальной Родины!» Так что конкретный выбор требует конкретного анализа.

И, наконец, о требовании ввести процедуры прозрачного и подконтрольного избирателям подсчета результатов голосования на выборах. В отличие от тех, кто будет объяснять Николаю Сергеевичу, что обращения к власти бессмысленны, я его вполне поддерживаю. Российскому обществу сейчас нужно как раз чартистское движение. Ведь если не будет чартистского движения, то все в России будет как всегда: народ безмолвствует, потом бунтует.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Михаил Николаевич. Николай Сергеевич, у Вас будет в конце возможность отреагировать на прозвучавшую критику, но я бы

просил обратить самое серьезное внимание на аргументы Михаила Николаевича. И по поводу геополитических и прочих государственных успехов в периоды либерализаций, и по поводу полиархии. По-моему, эти аргументы «покупаются» на сами основания Вашей концепции.

Следующий оппонент — Андрей Пионтковский. Пользуясь случаем, хочу поздравить Андрея Андреевича с выходом его книги, которая уже вошла в историю тем, что ее, как я слышал, магазины не принимают. Пожалуйста, Вам слово.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ (ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН): «Движущий механизм российских циклов — противоречивая природа «русской власти», которая, с одной стороны, решает задачу сохранения себя любимой, а с другой стороны, задачу сохранения объекта своей власти — Российского государства»

Спасибо, Игорь Моисеевич, за добрые слова о книге. Позволю занять 15 секунд на ее рекламу. Вы можете приобрести ее на «Эхе Москвы» или в офисе «Солидарности».

В течение 10 минут прокомментировать такой глубокий текст, да еще ответить на три экзистенциальных вопроса нашей русской жизни, сформулированные руководством семинара, практически невозможно. Я буду говорить очень тезисно, почти не аргументируя.

Во-первых, я присоединяюсь к двум предыдущим ораторам — Виктору Дашевскому и Михаилу Афанасьеву. И это, пожалуй, мое единственное серьезное несогласие с Вашей, Николай Сергеевич, концепцией — несогласие с утверждением о детерминистской связи между государственным успехом и царством несвободы. Мне кажется, примеры, которые только что привели коллеги, достаточно убедительно показывают, что Ваше утверждение все-таки не совсем верно. Но это положение вовсе не лежит в центре предложенной Вами исторической модели, которая исключительно интересна. Заключительный же раздел Вашей книги я прочел совсем иначе, чем Михаил Николаевич. Я не увидел там у Вас ожидания скорого перевала. Ваш прогноз гораздо пессимистичнее, и в этом я с Вами согласен.

Из трех предложенных вопросов, по-моему, самый интересный в контексте сегодняшнего обсуждения: каков внутренний порождающий механизм динамики российских циклов? Я попробую несколько слов сказать на эту тему. Но чтобы это не было чисто академическими рассуждениями, я анонсирую свой вывод, к которому хочу подойти. А именно, что в наше время, как мне кажется, этот внутренний механизм нарушен. Казалось бы, созрели все психологические и социальные предпосылки для перехода к фазе так называемой «оттепели/ перестройки», но по каким-то причинам он не происходит.

Движущий механизм циклов — противоречивая природа «русской власти» (в понимании Пивоварова — Фурсова), которая, с одной стороны, решает

задачу сохранения себя любимой, а с другой стороны, задачу сохранения объекта своей власти — Российского государства. Эти задачи иногда коррелируют, а иногда прямо противоречат друг другу, что и порождает всю эту циклическую динамику. Справедливый вопрос задал Игорь Моисеевич Клямкин: почему такие циклы характерны именно для России, ведь элиты достаточно эгоистичны практически везде?

Но недаром же наши уже почти классики ввели термин «русская власть». Эта власть себя позиционирует и легитимизирует, прежде всего, как противостоящую Западу, на который она смотрит, как сказал поэт, «и с ненавистью, и с любовью». Не только поэт в России больше, чем поэт. Запад в России намного больше, чем Запад. Этот сверхэмоциональный накал в отношении к вечному объекту ненависти-любви обостряет русские внутривнутриполитические циклы, которые одновременно (а может быть, и прежде всего) и внешнеполитические.

Мне могут возразить и часто возражают: мол, это же Запад столетиями обрушивается на нас военными нашествиями, мы же все время воюем с ним не по своей воле. Да позвольте, мы никогда не воевали с Западом как таковым. Все войны, которые вела Россия на своих западных границах, включая наполеоновские и мировые, были войнами в составе одной западной коалиции против другой западной коалиции. Запад — не военная проблема, а метафизическая. Метафизическую войну с Западом «русская власть» ведет пять столетий. Но она никогда не носила такой истерический характер, как сегодня в наших средствах массовой информации.

Как правильно подчеркивает в своей книге Николай Сергеевич, инициатором нового такта — как авторитарного, так и условно реформаторского — всегда является верхушка, элита. Каждый раз, когда авторитарная фаза приводит к очередному тупику, угрожающему уже существованию государства, появляются люди на вершине власти, которые открывают реформаторскую фазу. Но она неизбежно разворачивается непоследовательно, в рамках первого ограничения (сохранение природы «русской власти»), и поэтому заканчивается тупиком и новым откатом.

Что является обычно предвестником нового реформаторского цикла? То, что я назвал в одной из статей «тошнотой элит». Состояние, когда многие уже понимают полную исчерпанность и бесперспективность авторитарной модели и об этом начинают задумываться. Мы все, здесь присутствующие, испытываем сегодня уже вторую такую тошноту. Первую мы пережили в 1980-е годы, но сегодняшняя, по-моему, острее. Мне кажется, что наши власти своим существованием оскорбляют нас больше, чем в 1985 году. Публично изнасилованный 24 сентября Медведев — зрелище более отвратительное, чем Черненко без штанов, голосующий на выборах за день до смерти.

Я уже несколько лет не устаю ссылаться на замечательное исследование Михаила Николаевича Афанасьева о настроениях наших элит. Это не какие-то

там опросы по телефону — вы поддерживаете, не поддерживаете, вам нравится, не нравится, а серия глубоких интервью с представителями всех элитных групп, кроме, естественно, самой верхушки. Так вот, эту тошноту элит Михаил Николаевич зафиксировал в начале 2008 года. Еще до начала кризиса, до наома путинизма, этого симулякра большого идеологического стиля. Вершиной его была победа над Грузией и соответствующий взрыв шовинизма по этому поводу (у коммунистического проекта вершиной была победа во Второй мировой войне).

Так вот, уже тогда Афанасьев пришел к выводу, что в элитах явно преобладает критический взгляд на сложившуюся систему. Бюрократический капитализм поддерживают, помимо самой олигархии, большинство сотрудников спецслужб и половина чиновничества. Абсолютное же большинство «элит развития» его отвергают. С тех пор прошло четыре года, и тошнота элит усилилась многократно. Почему же тогда ничего не происходит, почему сломалась динамика циклов? Где та часть элиты, которая переключает в подобных ситуациях направление развития, где тот Хрущев, где тот Горбачев, который начнет оттепель/перестройку? Ответ на этот вопрос тоже уже частично прозвучал в обсуждении.

Такие повороты элиты всегда предпринимают прежде всего в своих интересах. Те два классических исторических примера, которые мы знаем, были не личной инициативой Хрущева и Горбачева. То были задачи, которые коллективно решала вся номенклатура.

В хрущевском цикле оттепель стала «хартией вольности» для коммунистических баронов. Они двадцать лет своей жизни при Сталине жили под угрозой быть в любой день расстрелянными, превращенными в лагерную пыль. Больше они этого не хотели. Да, произошли очень положительные изменения и для всей страны. Выпущены были сотни тысяч заключенных. Но, прежде всего, номенклатура решала свои задачи.

Что касается задач перестройки, то я думаю, что если бы мы пригласили сюда ее отца, вряд ли он смог бы их внятно артикулировать. Но объективно по результату очевидно, что это была гигантская операция по конвертации абсолютной коллективной политической власти номенклатуры в громадную экономическую власть ее наиболее выдающихся представителей. И она успешно реализовалась.

А что сейчас? Сейчас вот уже целых четыре года ожидаемый поворот не наступает потому, что у элиты нет проекта. Она осуществила свой замысел грандиозной приватизации, достигла уровня личного благосостояния по мировым меркам, немыслимого в русской истории для российских элит, — как в царское время, так и, тем более, в коммунистическое. Она ничего не может уже приобрести, она может только потерять. Вот почему несмотря на ясное осознание того, что путинская модель губительна для государства, элита не сформулировала (и не желает формулировать) проект ее демонтажа.

Речь в данном случае идет о людях, которых Михаил Афанасьев назвал, в отличие от элиты развития, элитой господства. Вы спросите: а как же элиты развития — предприниматели, менеджеры, профессионалы в социетальной, публичной сфере, критичность которых была зафиксирована в исследовании Михаила Николаевича? Тут несколько сложнее. Во-первых, и они все «в шоколаде», так как нефтяные брызги долетели и до интеллектуальной obsługi, которой тоже есть, что терять. А во-вторых, интеллигент всегда изобретателен в придумывании спасительных самооправданий. Медведев был гениальным ответом Путина на ту потенциальную угрозу, которую Михаил Николаевич озвучил четыре года назад.

Почему все эти элиты развития, которые, оказывается, так хорошо все понимают, четыре года бездействовали? Да потому, что они уговорили себя поведать в пустышку — «либерального президента». Он ведь уже сказал, что свобода лучше, чем несвобода. Пройдет немножечко времени, он обматерее, возьмет все в свои руки, станет настоящим президентом, и тогда...

Есть и другие либеральные самообманки. Вот, например, одна из самых популярных «идеологем». Да, власть дерьмо, но ни в коем случае нельзя допустить свободные выборы, потому что на них могут победить гораздо более страшные люди.

И, наконец, еще одна причина, сделавшая поворот невозможным. Может быть, даже и самая важная, потому что она захватывает не только циничную верхушку, не только ее интеллектуальную обслуживание, но и, казалось бы, бесспорных потенциальных акторов грядущей модернизации — молодых выпускников лучших российских вузов. У всех у них есть exit strategy, которой не было у прежних элит. Это дорога в Шереметьево и самолет в Лондон, в Нью-Йорк, куда угодно. В прошлом году два наших молодых человека получили Нобелевские премии. И их ни в какие Сколково не затянешь. Поэтому я согласен скорее с пессимистическим выводом Николая Сергеевича относительно перспектив перевала.

Похоже, что отмеченные им циклы нашей колеи схлопнулись в какую-то черную дыру русской истории, в путинскую вечность, которая удивительно напоминает вечность свидригайловскую: закоптелая банька с ползающими по ее углам жирными пауками, выходами из дрезденской резидентуры и питерской мэрии.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Андрей Андреевич. Насколько я Вас понял, российская колея циклов сменилась колеей, в которых никаких циклов ждать уже не приходится. Посмотрим, как отнесутся к этой Вашей мысли коллеги.

Предоставляю слово третьему оппоненту — Игорю Яковенко. Он, в отличие от двух предыдущих ораторов, представит нам взгляд на обсуждаемый доклад профессионального культуролога. Пожалуйста, Игорь Григорьевич.

Игорь ЯКОВЕНКО (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «Циклы российской истории — естественное и неизбежное порождение отечественной культуры»

Начну с того, что концепция Николая Сергеевича базируется на красивом образе перевала. Мы все устали от колеи, и нам хотелось бы, чтобы однажды тягостная обреченность себя исчерпала. И в образе перевала есть что-то вдохновляющее. Но что такой перевал означает?

Полиархия, о которой говорил докладчик, действительно лучше той реальности, в которой мы находимся. Можно размышлять о границах полиархии. Но то, что это был бы шаг вперед, очевидно. До недавних пор ситуацию в Украине можно было описывать как полиархию. И дал бы нам Бог тот уровень политического участия широких масс и действенности институтов парламентской демократии, что имели место в соседней стране. Возникает, однако, два вопроса: насколько это реально в России и как этого достигнуть? Тут и начинаются мои расхождения с Николаем Сергеевичем.

Я действительно культуролог. Мало того, я еще и цивилизационист — есть такая сфера научного знания. Это дисциплинарное пространство формирует определенное видение интересующих нас проблем. Николай Сергеевич, как я понял из его книги, исходит из того, что в российской реальности можно выделить две сущности — русскую культуру и российскую власть. Из логики изложения следует, что российская власть — иная по отношению к русской культуре. Для меня этот тезис неприемлем. Я отдаю себе отчет в том, что здесь мы попадаем в пространство мировоззренческих различий, о которых можно спорить бесконечно. И, тем не менее...

Помните, в идеологическом языке советской эпохи был такой штамп — «антинародные режимы»? Я утверждаю, что антинародный режим — это идеологическая фикция. В исторической реальности то, что можно назвать «антинародным режимом», возникает крайне редко. Бывают ситуации, когда оккупационная власть насаждает правительство, не пользующееся поддержкой населения. Но в широкой исторической перспективе ставленники внешних завоевателей становятся национальными в своей политике. Любая власть выражает сущностные основания страны, в которой она существует. Если ее не свергли, если она не пала в результате революции или верхушечного переворота, то эта власть соприродна обществу. Российская власть, с одной стороны, зеркало российского общества, а с другой — обратная сторона медали по отношению к нему. Она органична и необходима русской культуре. Мы не хотим смотреть в это зеркало, но зеркало не виновато.

Поскольку в книге Розова содержится теоретическая полемика со мной, я позволю себе ответить на два вопроса, которые там прозвучали. Оспаривая мое утверждение, согласно которому русская культура не поощряет установку на индивидуальный успех, Николай Сергеевич спрашивает: а почему же тогда

русские за границей достигают успеха? Это наблюдается как в бизнесе, так и в других сферах. Стало быть, в русской культуре есть некоторая потенция для иной жизни.

Размышляя над этим, я обращаю ваше внимание вот на что. В русской культуре исключительно важна категория целого: наша Держава, наша страна, наш народ. Эта целостность задает поведение человека. В границах российского или советского государства человек ведет себя «как все», а вне этого государства он совсем другой человек, с которого пали «оковы тяжкие». Между прочим, в этологии этот феномен хорошо известен. Разница в поведении отдельной особи или той же особи в стае может разительно отличаться. Посмотрите на шакала одного и на стаю шакалов. Совсем по-разному себя ведут. То же самое демонстрирует в конфликтной ситуации самая обычная шпана. Один гопник — это одно. А группа гопников перед лицом численно более слабого противника демонстрирует совершенно иной рисунок поведения. Так что успех русских за границей в дисперсной ситуации, в другом культурном контексте совершенно естественен.

Второй вопрос Николая Сергеевича: что же это за культура такая, которая приводит к систематическим кризисам? О каком ее системном качестве можно в таком случае говорить? Это характерное мнение не культуролога. Все мы вышли из советской школы, и нам прививали облегченное понимание соотношения человека и культуры: человек — субъект, создающий культуру, а культура — некий специфический инструмент, созданный человеком. Это иллюзия. Человек и культура не соотносятся как субъект и объект или как субъект и инструмент. Человек и культура находятся в сложных субъект-субъектных отношениях. Каждый из нас становится человеком не тогда, когда его мать родила, а тогда, когда он вписался в конкретную социально-культурную общность. Интериоризируя некоторую конкретную культуру, мы структурируемся, формируемся в соответствии с ней. А дальше разворачиваются сложные субъект-субъектные отношения человека и культуры, в которой он живет.

Зрелый культуролог осознает грустные вещи. Он осознает, что человек для культуры выступает в качестве материала или среды обитания. Она им манипулирует и использует его инструментально. Так вот, культуре, как заданной на бесконечное самовоспроизводство системной целостности, неважно, хорошо люди живут или плохо, какие циклы переживают сообщества носителей этой культуры, включая кризисы. Ей необходимо, чтобы она успешно конкурировала с сопредельными культурами за два ресурса: за территорию и за людей.

До XX века Россия воспроизводила свое население и расширяла территорию. Это значит, что успешно воспроизводила себя и культура, чему кризисы, о которых говорит Николай Сергеевич, совсем даже не мешали. Но когда русские начинают массово уезжать из России (напомню, что в XX веке это было трижды — в эпоху Гражданской войны, во время войны Отечественной

и в конце столетия), то это — свидетельство реального кризиса культуры. Это значит, что включились механизмы ее трансформации.

Сказанное может служить введением к моим ответам на те фундаментальные вопросы, которые нам были предложены.

Каков внутренний механизм, порождающий динамику циклов российской истории? Мой ответ такой: эти циклы — естественное и неизбежное порождение отечественной культуры. Рассматривать циклы отдельно от объектов, циклы переживающих, не представляется мне продуктивным.

Следующий вопрос: почему либералы в России всегда проигрывают? И, если это не фатально, что можно сделать, чтобы они не проигрывали? Дело в том, что либеральный компонент используется в России как некий факультативный механизм. О чем идет речь? К примеру, в традиционных обществах Востока всегда существовал рынок. Но этот рынок никогда не порождает капитал, не замещает собою механизмы властной редистрибуции, не становится силой, способствующей разделению власти и собственности. Здесь рынок — дополнительный механизм, который снимает дисбалансы, порождаемые традиционным восточным обществом. В России же в качестве такого механизма используется дозированная либерализация.

Когда дела в стране идут совсем плохо, к власти подпускают либерально ориентированных чиновников и интеллектуалов. Они исправляют ситуацию, но при этом, естественно, возникают напряжения и растет противостояние традиционно ориентированных слоев. Затем либералов отправляют в отставку, зарабатывая политический капитал у традиционно ориентированного населения, а эпоху доминирования либеральных идей шельмуют. В России либерализм используется ровно до тех пор или в тех объемах, за которыми возникает опасность качественного перерождения культурного целого. Когда же такая опасность возникает, либералам «сворачивают головы». Для того чтобы либералы не проигрывали, надо изменить системное качество культуры.

Что за этап мы сегодня переживаем и в чем суть кризиса, переживаемого ныне Россией? Специфика этапа и суть кризиса состоят в том, что это не один из очередных кризисов развития, а последний кризис. Данная нам модель культуры полностью и окончательно исчерпала возможности своего дальнейшего развития. Мы находимся внутри процесса деструкции одной целостности и формирования другой. Это в высшей степени болезненный процесс с неопределенным результатом. Но пока данная нам от рождения культура жива, пока все механизмы работают, она, разумеется, противостоит любым попыткам качественного преобразования.

И последний, очень важный вопрос о том, какова роль интеллектуального сообщества, и что можно и нужно делать для создания предпосылок демократизации, учитывая слабость и пассивность общества, укорененную в нем подданническую культуру. Я бы ответил на этот вопрос следующим образом.

Прежде всего, необходима просветительская работа — в первую очередь в молодежной, то есть школьной и студенческой аудитории. Она предполагает как просвещение, так и формирование навыков и практик. Я имею в виду практики демократического самоуправления, практики дискуссии, навыки достижения разумного компромисса в конфликтных ситуациях, выработки общей позиции. Все это отсутствует в нашей традиционной культуре, но без этого нет и не может быть зрелого гражданского общества.

Далее, необходима работа, направленная на последовательную трансформацию культурного сознания. Мы живем в обществе, которому неведома идея священной частной собственности. Собственность воспринимается в России как попускание. Как компромисс между возвышенными идеалами сакрального должного и низменной природой сущего. Никому не приходит в голову, что можно защищать не свою собственность, не булочную, которую у меня отобрали, а саму идею частной собственности. Частная собственность не переживается как нравственная ценность, как фундаментальный фактор существования либеральной цивилизации. В России имели место тысячи случаев рейдерского захвата. Вы слышали, чтобы работники предприятий выходили защищать законного собственника, которого ограбили рейдеры?

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ (профессор Московского государственного университета): Были такие прецеденты.

Игорь ЯКОВЕНКО: Прецеденты, может быть, и были, а общая практика совершенно иная. Массовый человек не осознает, что посягательство на чужую собственность не только безнравственно, но социально опасно. Если можно отнять предприятие у богатого человека, то отнять земельный участок или снести жилой дом в центре города, переселив жильцов на окраину, уж точно не составляет труда.

Долг либеральной интеллигенции — формировать соответствующий тип сознания. Я могу довольно долго разворачивать эту тему, но боюсь, что лимит времени меня поджимает. Есть идея неотчуждаемых прав человека, которая в России совсем не проработана и чужда массовому сознанию. Мы живем в культуре, которая опирается на мифологизированную имперскую историю. Я часто слышу о тысячелетней истории России. Следует ли из этого, что история Киевской Руси — часть русской истории? Логически следует. Но если это так, то скажите, кто говорит в России о подвиге древлян, которые своим действием утверждали принцип ответственности власти перед обществом? Я имею в виду событие, произошедшее в 945 году с князем Игорем Рюриковичем Древним, убитом древлянами. В этих терминах никто об убийстве князя не говорит.

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета): Я говорю об этом.

Игорь ЯКОВЕНКО: Это похвально, но много ли людей, которые так трактуют наше прошлое? У нас много говорят про священную русскую историю. Но ведь эта история дается нам так, как мы привыкли получать ее в советской школе. А советская школа в конце 1930-х годов восприняла дореволюционно-имперскую трактовку школьного курса. Кто говорит о том, что наша священная история — это история Новгородской республики, которую разрушили и поработили ордынские ставленники, каковыми были московские князья? А ведь именно там, в Новгороде, наши идеалы: там вечевой строй, там коммерсант, торговый человек формировал демократическое общество.

И, наконец, необходимо вырабатывать альтернативную повестку дня, на что в последнее время постоянно обращает наше внимание Игорь Моисеевич Клямкин. В России власть пытаются брать раз и навсегда. Среди тех, кто говорит о демократии и призывает к свободным выборам, не слышно заявлений, что мы придем к власти с тем, чтобы через четыре года (теперь уже через пять или шесть лет) передать ее другим политическим силам в рамках демократических процедур. Этот принцип должен быть закреплен и гарантирован на уровне конституции. Либералам надо исследовать мировой опыт и размышлять над правовыми гарантиями незыблемости демократических принципов и противостояний авторитарному перерождению.

Иными словами, работы хватает. Что же касается шансов на благоприятный переход в обозримом будущем к полиархии, то я в этом сильно сомневаюсь.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Игорь Григорьевич. К сожалению, к пониманию особенностей российской цикличности и ее «порождающих механизмов», как выражается Николай Сергеевич, мы пока, по-моему, не продвинулись. Почему в России такие циклы, каких в других странах не наблюдается? Почему державные взлеты чередуются в ней с государственными катастрофами? Общие ссылки на культуру здесь, на мой взгляд, все же мало что объясняют.

Все оппоненты выступили. Начинаем свободную дискуссию. Первым просил слова Владимир Валентинович Лапкин.

Владимир ЛАПКИН (старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН): «В базовой формуле циклической модели необходимы ясные указания на увеличение сложности системы в результате каждого эволюционного цикла»

Глубокоуважаемый Николай Сергеевич совершил, можно сказать, научный подвиг, проделав столь колоссальную работу, воплощенную в его книге. Ему удалось соединить значительную часть бесконечного множества исследовательских результатов в области изучения российской истории, государства и общества. И что, может быть, наиболее интересно (по крайней мере, наиболее важно для меня), — это то, что концептуализация исторических процессов осуществлена автором в рамках парадигмы циклического развития, о чем

в первую очередь я и собираюсь порассуждать. За дефицитом времени буду говорить тезисно, опуская многие сюжеты, которые уже были сегодня упомянуты.

При всей очевидной величественности предложенной конструкции мое общее впечатление от знакомства с ней таково, что ее объяснительная часть ориентирована почти исключительно на день сегодняшний, на задачу одно-разовой интерпретации текущих, злободневных проблем страны. Я же хочу, абстрагируясь от злободневной фактуры, остановиться почти исключительно на обсуждении механизмов и закономерности кольцевой динамики в российской истории.

Двухакторная модель цикла, когда есть два актора — правитель и элита, подкупает своей простотой и прозрачностью, почти элементарностью. Однако из рассмотрения исключаются (по соображениям, которые, на первый взгляд, можно признать вполне резонными) все факторы, не включенные в акторную сферу российского государства. Это сильное допущение, и суть его заключается в существующей, по мнению автора, возможности абстрагироваться от тех элементов социальной системы, которые явным образом не обладают способностью функционировать в качестве ее акторов.

Однако такое допущение резко ограничивает когнитивные возможности модели. За циклической конструкцией исчезает эволюционная, то есть качественная составляющая изменений. Исчезает то, что отличает, скажем, циклы XIX века от аналогичных циклов в XX веке. Но модель циклов применительно к развитию сложных социальных систем такого уровня, как Россия, адекватна лишь при условии, что речь идет об эволюционных циклах. А стало быть, в базовой формуле такой модели необходимы ясные указания на увеличение сложности системы в результате каждого эволюционного цикла, а также на исторические и системно-эволюционные пределы применимости модели, равно как и на имманентный ей способ включенности в систему более высокого порядка сложности.

Если обратиться к предлагаемому автором анализу трех фаз цикла (стагнации, кризиса, авторитарного отката и снова стагнации), то очевидно, что в наименованиях всех трех фаз Николай Сергеевич делает сознательный смысловой акцент на их негативном или же на непосредственно деструктивном содержании. Я имею в виду сами понятия «откат», «ослабление», «прекращение», «достижение предела». Вопрос: а чем же тогда объяснить такое длительное существование системы?

Получается, как в известном анекдоте о проклятом царском режиме Романовых, которые за 300 лет накопили ресурсов лишь на 80 лет существования советского строя. То же, впрочем, можно сказать и о советском строе, который за 80 лет смог накопить ресурсов лишь на 20 с небольшим лет существования постсоветского режима. Иными словами, модель описывает лишь деструктивные тенденции. Может быть, они на данном этапе преобладают, с этим спорить,

наверное, не приходится. Но что же все-таки столь изощренно и многообразно подвергается деструкции и в состоянии кризиса, и в состоянии стагнации, и в ходе авторитарного отката? И откуда то, что подвергается деструкции, берется? Ведь ресурсы — это не то, что с неба падает. Это то, что путем сложной последовательности действий уже вовлечено в соответствующую систему. И если сейчас ресурсы подвергаются деструкции, то, значит, прежде они создавались. Хотелось бы понять, что это за самовозникающие ресурсы, которые концентрируют, перераспределяют и присваивают, а в конце концов распыляют правитель и элита?

Ведь выходит так, что есть нечто, условно назовем это «страной», осуществляющее все необходимые функции экономического, социального и культурного развития, причем автономно от правителя и элиты. А последние лишь произвольно распоряжаются плодами этой бурной деятельности, выстраивая по циклической схеме взаимоотношения между собой, при этом попутно разрушая саму страну. Модель, безусловно, красивая, но пригодная, на мой взгляд, скорее для сочинения эпитафии по России.

В этой модели воплощено представление о стране, расколотой натрое и принципиально не способной к формированию органичного целого. И это один из самых серьезных моих упреков в адрес предложенной концепции. Появляющийся время от времени на периферии авторского изложения народ, «бредущий под бременем» или «бесцельно бунтующий», системно лишен возможности вмешаться в игры государства, правителей и элиты, но необходим как заветное слово, произнеся которое мы выходим из любого возникшего затруднения в ходе логического изложения модели. Характерно, например, как в ее рамках решается проблема восстановления ресурсного баланса. Решается она путем принуждения по отношению к элите, что подразумевает, очевидно, сокращение ее доли в совместном с правителем расхищении ресурсов. Возможность участия элиты в наращивании ресурсов, по-видимому, просто не предусматривается.

Резюмирую. Модель с привлечением громадного эмпирического материала описывает близящуюся катастрофу страны, в чем я вижу ее, модели, определенную ценность. Но при этом игнорируется задача анализа эволюционного потенциала системы. Я имею в виду под эволюцией, разумеется, не выход на новый цикл того же самого развития, а напротив, изменение самой закономерности развития страны, равно как и структуры ее общественной, экономической и государственно-властной систем, изменение ее самовосприимчивости и самооценки, практик воспроизводства ею самой себя.

Вопрос не в том, чтобы дать очередные победные или, напротив, упаднические реляции относительно эволюционных перспектив России. Нет, речь о другом — о необходимости усилий по выработке методологии научного анализа таковых перспектив, оставляя пока за рамками обсуждения оценку результатов такого анализа как оптимистичных или пессимистичных. Тем

более что потенциал циклического волнового подхода позволяет рассчитывать на его существенный вклад в разработку такой методологии.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Владимир Валентинович. Мне показалось важным Ваше суждение о том, что российские циклы не просто повторяются, но повторяются каждый раз на новом уровне сложности решаемых проблем и сложности самой системы. Этим, очевидно, и объясняется, почему в одних случаях система циклически воспроизводится, а в других — разрушается и воспроизводится уже в новой форме, как дважды случилось в XX столетии.

Слово — Андрею Анатольевичу Пелипенко.

Андрей ПЕЛИПЕНКО (главный научный сотрудник Российского института культурологии): «Известные нам циклы российской истории не могут крутиться бесконечно»

Мне кажется, что представленная модель задает набор определений, которые могут быть использованы при описании того, что мы привыкли называть «русской системой». Некоторые определения переведены докладчиком с метафорического на академический язык. В этом, как мне кажется, и заключается методологическая ценность приведенной модели. Важно, однако, отметить, что Россия рассматривается автором как некая автономная система. Зависимость «фатальных» циклов российской истории от внешнего контекста явно не просматривается. Кроме того, не стоит, мне кажется, упускать из виду, что Россия не равна самой себе в исторической ретроспективе, что она всякий раз являет собой разные культурно-цивилизационные и политические образования, и параметр исторической изменчивости тоже следовало бы ввести в анализ. Об этом здесь только что говорилось применительно к прошлому, но еще важнее данный параметр для понимания настоящего.

Николай Сергеевич говорит о периоде в 5–7 лет как наиболее вероятной длительности сохранения нынешнего status quo. Мне тоже представляется, что сохранение геополитического целого современной России ограничено примерно таким сроком. Иными словами, приближается следующая после распада СССР фаза — фаза дезинтеграции и регионализации, которая, с моей точки зрения, является абсолютно неизбежной. И это не абстрактная теоретическая вероятность и даже не один из рядоположенных сценариев, а практически безальтернативная перспектива. Перспектива, которая предопределяется не только внутренними, но и внешними факторами.

Традиционно в просвещенном российском сознании существовало отношение к Западу, как к некому раз и навсегда данному идеалу и образцу, к которому следует стремиться. Европейский модерн стал для русского европейца неким метафизическим основанием бытия, источником представлений о «нор-

мальном» цивилизационном устройстве и структуре ценностей. Вот почему современное российское просвещенное сознание либо не желает замечать того, что западный мир уже не тот, либо при виде его деградации ввергается в бездну тоски и уныния. Действительно, тенденции, которые сейчас наблюдаются на Западе, вряд ли могут вдохновить на подражание. И по мере того, как свет с Запада становится все более тусклым, момент дезинтеграции страны неумолимо приближается. На первый план выходит проблема ее цивилизационного самоопределения. В связи с этим, как мне представляется, вместо бесконечной болтовни о российской «метафизике» в повестку дня следует выносить вопрос о культурно-цивилизационном самоопределении страны после ее регионализации.

Обозначенные в докладе циклы не могут кружиться бесконечно. Об этом свидетельствует хотя бы то, что сейчас мы наблюдаем явный сбой: очередная «перестройка» должна была, согласно логике циклов, начаться примерно в 2008 году. Но этого не произошло. Система «подсуетилась» и оберегла себя от дестабилизации. Тем хуже для системы. Уважаемый Андрей Андреевич Пионтковский говорил в данной связи о том, что наступила некоторая пауза, наметилось торможение. А мне увиделась аналогия: лежит тяжело больной, а на диаграмме показан график его состояния. Когда график выравнивается, это сопровождается непрерывным унылым писком, что означает, что дела больного плохи. Такова и сегодняшняя «пауза».

Что может быть «после»? Мне представляется, что некоторые регионы, которые окончательно выпадут из «русской системы», могут в той или иной форме интегрироваться с Восточной Европой. Именно она, вероятно, имеет некоторую историческую перспективу в плане второй редакции или продолжения европейского модерна. Но я обращаю ваше внимание и на то, что вопрос о возможности «второго дыхания» модерна — это вопрос о формах и темпах ухода «белой цивилизации» с исторической сцены. Если это звучит для кого-то слишком уж травматично, то можно говорить о формах и границах ее сохранения. Как бы то ни было, речь идет в данном случае о макропроцессах истории. Что же до текущих процессов в России, то, повторяю, главным пунктом повестки дня я считаю обсуждение вопроса о культурно-цивилизационном самоопределении российских регионов (прежде всего, западных) после распада геополитического контура «русской системы».

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Андрей Анатольевич. Уже не в первом выступлении звучит мысль о том, что сама прежняя цикличность, представленная докладчиком (а до него в иных версиях представленная другими) себя исторически исчерпала, зайдя в тупик. И действительно, если раньше эта цикличность несла в себе какую-то историческую функцию, то есть была специфическим способом узконаправленного развития, то сегодня такой функции не просматривается. Но что это означает? Это означает либо углубление деграда-

ции с последующим распадом, либо переход в новое системное качество. Правда, Андрей Анатольевич уверен в том, что само такое качество может возникнуть как результат распада, а не его упреждения. Так ли это? Вопрос, по-моему, ключевой.

Следующий — Мадатов Александр Сергеевич.

Александр МАДАТОВ (доцент Российского университета дружбы народов): «Идея цикличности переключается в какой-то степени с идеей инверсии»

Бесспорно, идея цикличности российской истории представляет интерес и заслуживает дальнейшего углубления и уточнения. На мой взгляд, идея эта переключается в какой-то степени с идеей инверсии (термин был введен в свое время профессором Ахиезером). Инверсия — это не только откат, но и состояние, которое наступило в результате отката. Состояние, противоположное цели, которая преследовалась изначально. Например, стремились к демократизации, а в результате получился новый вариант авторитаризма. То, что мы и наблюдаем сегодня на большей части постсоветского пространства.

Где находится эпицентр инверсии? Он может находиться, скажем, в экономике. Все-таки неудачи демократизации в России во многом были связаны именно с экономическими сложностями и с тем экономическим состоянием, которое было накануне гайдаровских реформ, и которое определило во многом их ход. Но эпицентр инверсии может быть и в других местах. Например, в сфере культуры.

Я имею в виду обстановку внутри элит, а точнее, вопросы, касающиеся политического лидерства. Все мы знаем о персонификации российской власти — как в плане ее воспроизводства, так и на уровне массового сознания (образ «доброго царя»). В этом отношении особенность нынешней ситуации заключается в том, что в России нет сегодня альтернативного лидерства. В конце 1980-х годов была альтернатива Горбачеву (и на консервативном, и на демократическом фланге). В 1990-е годы была альтернатива Ельцину — и на консервативном, и на коммунистическом, и на демократическом фланге. Сейчас мы альтернативного лидера ни на коммунистическом, ни на либеральном фланге не видим. Как долго будет продолжаться такое состояние — это уже другой вопрос, здесь что-либо прогнозировать трудно.

Хочу еще ответить Михаилу Афанасьеву по поводу полиархии. Михаил Николаевич сказал, что полиархия — это якобы абстрактная категория. На самом же деле она менее абстрактная, чем демократия. И даже чем либерализм. Напомню, что Роберт Даль подводит под понятие полиархии эмпирическую базу. В одной из своих книг он выделяет шесть признаков полиархии, а в другой — семь признаков. И эти признаки вполне приложимы к России 1990-х. Они приложимы и к России нынешней — правда, за исключением одного при-

знака. Я имею в виду fair and free elections (честные и свободные выборы). Наши выборы таковыми, конечно, не являются, но другие признаки формально действуют.

Игорь КЛЯМКИН: Завершайте, пожалуйста.

Александр МАДАТОВ: В заключение я хотел бы ответить господину Пионтовскому. Он говорил, что и для либерализации в период хрущевской оттепели, и для либерализации 1980-х, если я правильно понял Андрея Андреевича, была характерна монолитность элит. На самом же деле и в 1950-е годы элиты раскололись, вспомните антипартийную группу, и в 1980-е элиты расслаивались. Егор Кузьмич Лигачев в 1985 году был умеренным реформатором и соратником Горбачева, а спустя некоторое время он уже реакционер. Не исключено, что нечто похожее мы увидим у нас и в будущем.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Александр Сергеевич. Следующий — Роман Вишневский.

Роман ВИШНЕВСКИЙ (экономист и предприниматель): «Раньше верили в доброго царя, а теперь нам предлагают веру в добрых олигархов»

Книгу Николая Сергеевича я бы назвал «энциклопедией русской жизни». В том смысле, что в книге этой поднято огромное количество проблем России, им дана интерпретация и проведен их анализ. Анализ очень интересный, побуждающий к дальнейшим размышлениям. Но есть и некоторые вещи, которые, по-моему, нуждаются в доработке.

На мой взгляд, недостаточное внимание уделено автором демографическим вопросам. Поскольку им рассматриваются длительные периоды и даются прогнозы на длительные интервалы, демографический аспект должен учитываться, так как на таких интервалах он проявляется очень заметно. С демографией соприкасается и вопрос национальный, которому Николаем Сергеевичем тоже не уделено должного внимания.

Очевидно же, что сейчас в России существуют два общества, которые отличаются друг от друга демографически, которые имеют разную культуру, религию и этничность. Этот одновременный раскол по нескольким направлениям не может не повлиять на дальнейшую судьбу страны. Согласен с Андреем Пелипенко: результатом этого раскола станет уход части регионов, который сейчас уже неотвратим. Примерно так же, как неотвратим стал распад Советского Союза в начале 1960-х, когда русское население начало впервые покидать союзные республики. Уже тогда стало понятно, что начинается демографическое сжатие России. Точнее, становится понятно, если мы смотрим туда из сегодняшнего дня. Попробовав посмотреть на наше время из дня завтрашнего, мы увидим следующее демографическое сжатие русского населения этни-

чески и культурно. А за этим, скорее всего, последует очередное политическое сжатие пространства.

В данной связи не могу не сказать и об очерченных докладчиком «контурах деградации», не зависящих от воли отдельных людей, но приводящих к деградации системы в целом. Я не согласен с тем, что главной причиной такой деградации является страх правящей элиты потерять власть. Не согласен, соответственно, и с тем, что, снижая страх правящей элиты потерять власть, мы тем самым, согласно Николаю Сергеевичу, можем деградацию приостановить.

Мне кажется, что у нас существует «элита деградации» — это название я ввел по аналогии с «элитой развития» Михаила Афанасьева. Причем если элита развития, на мой взгляд, образование достаточно эфемерное (просто люди хотят, чтобы она была), то элита деградации — весьма определенная социальная группа, включающая, прежде всего, «силовиков», которая хочет получать больший доход, чем способна произвести полезности. В итоге она производит, так сказать, отрицательную полезность. Именно эта элита, насколько можно судить, определяет сегодня характер властных отношений, выдвигая своих представителей во власть, а не люди, пришедшие во власть из других групп, формируют эту элиту. И само ее наличие предопределяет ключевое у нас с Николаем Сергеевичем расхождение.

Я имею в виду его идею относительно перехода к демократии через полиархию. Раньше верили в доброго царя, а теперь нам предлагают веру в добрых полиархов. К сожалению, российская элита весьма эгоистична, и ожидать от нее какого-либо политического пакта, который будет держаться достаточно долго, на мой взгляд, не приходится. Понятно, что Николай Сергеевич следует в данном случае модели Коллинза. Но, во-первых, сама эта модель вызывает у меня сомнения, а во-вторых, даже она описывает большое количество ситуаций, когда происходил срыв демократизации. Здесь была упомянута Новгородская республика...

Игорь КЛЯМКИН: Завершайте, пожалуйста. Время нас поджидает.

Роман ВИШНЕВСКИЙ: Хорошо. В книге Розова недостаточно внимания уделено социальной инженерии. Описано только общее положение вещей, и обозначен общий вектор: куда и как идти. Но не разработаны четкие социальные технологии: что и как нужно делать. А без таких указаний на технологии полезность книги гораздо меньше, чем могла бы быть.

Игорь КЛЯМКИН: Большое спасибо, Роман. Я обращаю внимание коллег на то, что вопрос о сжатии пространства, о чем говорили Пелипенко и Вишневский, в схему циклов, описанных докладчиком, не очень-то вписывается. Не исключено, что с распадом СССР мы вошли в период, аналогов в прошлом не имевший.

Слово — Аркадию Липкину.

Аркадий ЛИПКИН (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «Бывают времена, когда никаких циклов нет, и мы сейчас именно в такое время и живем»

Я книжку Николая Сергеевича прочитал, и мне представляется, что в ней дан очень глубокий и реалистичный анализ современной сложной ситуации в России. Этот анализ снабжен богатым эмпирическим материалом, а также хорошим обзором различных позиций. Чрезвычайно интересно выделение уже упоминавшихся здесь «контуров деградации» и обоснование возможных способов их блокирования. Есть ряд интересных рекомендаций, с которыми можно согласиться даже в случае концептуальных расхождений с автором.

Думаю, что книга Розова, как и написано во введении к ней, действительно задает поле и предмет будущих дискуссий в интеллектуальном сообществе. При современных технических средствах это можно делать, кстати, без выезда автора за пределы Новосибирска. Если будет на то желание, я готов серию таких семинаров организовать.

Теперь несколько замечаний, касающихся моих концептуальных расхождений с автором. С моей точки зрения, модель «правитель — элита — народ» — слишком бедная модель. Государственные системы и России, и Китая, и большинства других незападных стран — «приказные», а не «договорные». Они состоят из двух подсистем. В одной («базовой») — «народные массы» и «правитель», в ней устанавливается авторитарная система институтов. В другой («сопутствующей») подсистеме — «служилый класс» и другие образованные городские слои, а также «высокая» культура, которая там же и сосредоточена. Уникальность России (в отличие, скажем, от Китая и других незападных стран) заключается в том, что эта высокая культура была (и осталась) европейской. Последняя же противоречит авторитарной системе институтов. Отсюда возникают короткие циклы реформ и контрреформ. Длинные же циклы связаны с «базовой» подсистемой. Там время от времени происходят бунты, которые, в случае победы, все сметают («выжигают»), и дальше вырастает новое наполнение все тех же мест (это фиксируется как смена «служилого класса») и все той же структуры (поскольку бунт не революция). Эти циклы вкладываются друг в друга и, как мне кажется, замечания, которые здесь были высказаны, в этой модели снимаются.

И еще один момент. Когда происходит «выжигание», тогда до коротких циклов еще надо дожить. То есть после «выжигания» достаточно долго никаких циклов нет, и мы сейчас вот в такое время и живем. А будут ли циклы в дальнейшем, или их не будет, и что вообще дальше будет, — это, с моей точки зрения, вопрос пока абсолютно открытый.

В свете того, что я сказал, вопрос о том, почему либералы в России всегда проигрывают, особых трудностей не вызывает. Они проигрывают, потому что

в такой системе, как российская, либералы — это часть «сопутствующей» подсистемы. Они здесь относительно слабы и дорастают до претензий на власть лишь на плечах бунта. Но поскольку бунт всегда сильнее либералов, он сметает и их. Учитывая, что патерналистские настроения господствуют и сегодня и что именно они являются основой воспроизводства «базовой» подсистемы и всей системы в целом, то, по-видимому, демократический переход к иной системе на либеральной основе невозможен. Переход этот может быть только на основе типа социал-демократической. То есть государство должно стать демократическим, но социальным, иначе патерналистские настроения снова воссоздадут авторитарную систему.

И, наконец, о переходе к демократии через полиархию. Мне кажется, что в интеллектуальной традиции Шумпеттера, Растрэла, Коллинза и других, на которую ссылается и опирается Николай Розов, представлена картина построения автохтонной демократии, которая в России маловероятна и вряд ли ей адекватна. Демократия — очень сложный продукт, который возник в Европе, а дальше в других странах прорастает как идея, завоевывающая себе последователей, поскольку пример успешного Запада очень соблазнителен. То есть демократия в незападных странах возникает не автохтонно и не через полиархию. В Европе было два полюса (скажем, Папа и император), но демократия росла не между ними, а в пространстве между ними, где они дарили свободу тем, кто их поддерживает. В России ничего похожего не было и нет.

Таковы мои главные соображения по поводу очень хорошей и актуальной книги Николая Сергеевича.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Аркадий Исаакович. Вашу мысль о двух подсистемах, не впервые Вами высказываемую, мы уже усвоили. В ней, безусловно, есть рациональное зерно.

Господин Кульпин-Губайдуллин, пожалуйста.

Эдуард КУЛЬПИН-ГУБАЙДУЛЛИН (главный редактор журнала «История и современность»): «Любая система может следовать своей внутренней логике лишь в том случае, если она изолирована от окружающей среды»

Желание Николая Сергеевича уложить исследование в какую-то систему вполне понятно. В науке так и должно быть. И, конечно же, тот исторический материал, который мы имеем, укладывается в схему всегда тяжело. С тем, как сделал это наш сегодняшний докладчик, в чем-то можно согласиться, но в чем-то и не согласиться. С большей частью я согласен, но небольшие огрехи всегда возможны.

Я хотел бы обратиться не к мелким деталям, а к теоретическим положениям. Подход, в основе которого лежит установка исследовать повторяющиеся явления, рожденные некоторой скрытой общей причиной, безусловно, верен. Но

когда Николай Сергеевич говорит о цикличности в истории России, квалифицируя это явление как болезнь и утверждая, что хотя она и серьезная, и запущенная, но это все-таки болезнь, а не сущность России, то здесь есть над чем подумать. Такая диагностика была бы бесспорной, если бы культура и ментальность, индивидуальное сознание и общественное бессознательное были бы синонимами. Но это не так.

Культурно можно быть европейцем и в неевропейской стране, но ментально оставаться китайцем, японцем, русским. Культура в этом случае — раковая опухоль, подлежащая удалению. И она вырезается. В Китае в XIX веке она вырезается подавлением восстания тайпинов, еще раньше в Японии — физическим уничтожением всех христиан. Вырезается опухоль, но не отдельные клетки. Там, где общество в целом другой ментальности, общественное бессознательное иммигрантов просто не реализуется. Об этом уже хорошо сказал Игорь Яковенко. А что у нас? У нас в XXI веке весьма своеобразные «методы» вырезания раковой опухоли, то есть иной, чем наша, европейской ментальности — открытые границы...

Возвращаясь же к теме российской цикличности и рассматривая ее несколько иначе, чем Николай Сергеевич, а именно — под углом зрения семипоколенных циклов смены демографических поколений, мы получим иной результат. В истории России через смену каждых семи демографических поколений в обществе созревает либо убеждение, что так дальше жить нельзя (и тогда начинается смута), либо убеждение, что так, как жили, жить можно, и тогда утверждается авторитаризм. Так вот, очередной семипоколенный цикл, если считать, начиная с монгольского нашествия, заканчивается у нас 2002 годом. И по логике предыдущего развития после 2002 года у нас должен быть авторитаризм — так же, как было в соответствующих предыдущих циклах. Вопрос: насколько реализуется сегодня авторитаризм как явление, принимаемое обществом, как естественное состояние? А если его реализуемость вызывает сомнения, то следует ли отсюда, что мы действительно находимся на перевале, или никакого перевала нет и не предвидится?

С точки зрения динамики исторических циклов, мы, по-видимому, на перевале не находимся. Но дело в том, что любая система может следовать своей внутренней логике лишь в том случае, если она изолирована от окружающей среды. А мы — не изолированы.

Игорь КЛЯМКИН: Завершайте, пожалуйста.

Эдуард КУЛЬПИН-ГУБАЙДУЛЛИН: Сейчас время как бы схлопывается, в результате чего появляются другие, чем раньше, возможности для действий. В частности, многое связано с состоянием информационных технологий. Новые возможности способны значительно убыстрить те процессы, которые шли до сих пор черепашим шагом. Это видно по тому, что недавно произошло

в Северной Африке. Во всех рассуждениях Николая Сергеевича есть одна характерная деталь: общество в этих рассуждениях всегда равно нулю. Оно не учитывается, а ведь все, что происходит в стране, — это то, что допускает общество.

И два слова насчет свободных и честных выборов. Таковые в истории России имели место трижды. Первые свободные выборы после Смуты начала XVII века дали самодержавие, в XX веке (после Октября) — разгон Учредительного собрания и «диктатуру пролетариата», в XXI веке (после падения СССР) — разгон Верховного Совета и символический расстрел Белого дома, то есть законно избранного парламента страны. Во всех трех случаях — полная победа подсознательных ожиданий общества. Если не учитывать этого, то многое останется непонятым и непонятным.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо. Если я правильно понял, «подсознательные ожидания» в условиях информационной эпохи прежней роли уже не играют. Это интересный вопрос, требующий отдельного обсуждения. Интересный вопрос и о том, представляет ли собой российская цикличность болезнь общественного организма или его естественное состояние. Если болезнь, как считает Николай Сергеевич, то насколько, учитывая ее долговременность, она излечима? А если естественное состояние, то насколько оно трансформируемо?

Последний записавшийся для выступления — Александр Музыкантский. Прощу Вас, Александр Ильич.

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ: «Набор базисных культурных оснований, сложившихся много веков назад, — это и есть наша колея»

Я хочу сосредоточиться на одном понятии, которое присутствует и в названии книги Николая Сергеевича, и в его сегодняшнем докладе. Я имею в виду понятие «колея». Что такое эта колея, откуда она берется, почему она все время воспроизводится, и как из нее выскочить?

Начну с примера, который здесь уже звучал. Говорилось, что и в массовом сознании, и в элите существуют представления о персонификации власти. Научно это называется ее, власти, сакральностью. Идея такой сакральности родилась в стране пятьсот лет назад, и с тех пор, какие бы резкие и фундаментальные изменения ни происходили в общественно-политическом строе, идея эта сохраняла всю свою силу.

Сегодня мы слышали сожаления по поводу того, что нет сейчас в стране альтернативного лидера. Но давайте допустим, что такой лидер появился. И что бы в России тогда изменилось? Через два-три года после прихода к власти этот альтернативный лидер объяснял бы всем, как и по какому маршруту проводить газопровод, выслушивал бы жалобы насчет отсутствия в какой-то деревне водопровода и обещал помочь, брал бы под личный контроль строи-

тельство домов погорельцам. Он бы принимал все решения, потому что сама идея сакральности власти никуда бы не делась. Игорь Григорьевич Яковенко не одну книгу написал по поводу того, что существуют некоторые базисные основания русской цивилизации, которые возникли пять столетий назад, и с тех пор изменялись очень и очень медленно. И речь идет не только о сакральности власти.

Можно вспомнить, например, и о ничтожной цене в России человеческой жизни. Мыслима ли у нас история, похожая на ту, которая произошла вот с этим капралом, несчастным мальчиком в Израиле? Никогда такого не было и не могло быть. Почему? Да именно потому, что сложившееся пятьсот лет назад представление о ничтожности человеческой жизни меняется очень медленно. А набор таких базисных представлений — и есть наша колея.

Игорь ЯКОВЕНКО: Это культура.

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ: Да, это культура, но поскольку в докладе речь шла о колее, то и я пользуюсь этим словом. И чтобы из колеи выйти, нужно базисные основания сознания, базисные ценности изменить. О том, как это делать, Игорь Григорьевич Яковенко сегодня говорил, и я думаю, что такой разговор заслуживает целенаправленного продолжения.

Почему либералы в России всегда проигрывают? Потому что любой либеральный проект противоречит тем ценностям, о которых я только что сказал. Можно сколько угодно повторять, что либеральный проект предполагает, скажем, разделение властей. Но какое возможно разделение властей, если в базисных основаниях культуры существует представление о сакральности власти? Как такую власть можно делить? На какие части? Никак вы ее не разделите, пока и в массовом сознании, и в элите наличествует образ власти сакральной, пока общество нуждается в каком-то человеке, который выполняет функцию верховного арбитра. Оно в нем нуждается, потому что право не работает, а не работает оно опять-таки потому, что идеи права нет в культуре.

Повторю еще раз: из колеи выпрыгнуть можно, только изменив базисные основания нашей ментальности.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Александр Ильич. Не могу не заметить, что если бы власть оставалась сакральной, Андрей Андреевич Пионтковский вряд ли мог бы уже много лет писать о ней то, что пишет. Если бы у большинства людей было представление о сакральности, то есть божественности нашей власти, то давно растерзали бы они Андрея Андреевича.

Все желающие выступили. Теперь докладчик имеет возможность отреагировать на услышанное, а потом, как у нас принято, я тоже выскажу свое мнение по обсуждавшимся вопросам. Прошу Вас, Николай Сергеевич.

Николай РОЗОВ: «Чтобы выйти на перевал, нужно отказаться от привычной стратегии подавления противников»

Дорогие друзья, я понимаю, что все устали, но все-таки хочу откликнуться на наиболее значимые и интересные концептуальные замечания. И, прежде всего, на замечания уважаемых оппонентов.

Михаил Николаевич Афанасьев говорил о несоответствии моей модели конкретным периодам российской истории. Он упоминал Екатерину II, Александра I, Александра II и Хрущева, при которых, несмотря на либерализацию, были очень большие успехи. В ответ могу сказать, что то были либерализации в рамках того, что Пивоваров и Фурсов называют «русской властью». Во всех этих случаях речь шла лишь о небольшом смягчении той же самой системы.

Применительно к эпохе Екатерины II можно говорить о либерализации в отношении верхних слоев — прежде всего, дворянства. Считать правление Екатерины либеральной эпохой — грубое упрощение. Больше вольности получили дворяне, легче стало дышать купцам, мещанам, фабрикантам, что обеспечило экономический подъем уже в XIX веке, однако закрепощение крестьян усугубилось, им пришлось очень сильно затягивать пояса, по отношению к ним ни о какой либерализации не было и речи. Я уж не говорю о позднем периоде правления Екатерины, когда она, напуганная Французской революцией, стала практиковать репрессии против инакомыслящих.

При Александре I, особенно где-то после 1817 года, когда активизировались декабристские движения (а это произошло совершенно неслучайно), имело место обращение к державничеству, основанному на фундаменталистском православии, что уж никак нельзя назвать либерализацией. И весь эпизод с декабризмом это подтверждает тоже.

Про эпоху Александра II я уже говорил, отвечая на вопросы. И, конечно же, не следует такое уж большое значение придавать «либерализации» при Хрущеве. Совершенно верно было сказано, что здесь лишь элита избавилась от страха, который нависал над ней во времена сталинизма. И неслучайно угасли достаточно быстро косыгинские реформы, поскольку сама авторитарная система оставалась прежней. В хрущевский период сохранялась идеология сверхдержавности, то есть сохранялось наследие предыдущего периода — не просто авторитарного, но тоталитарного.

Очень много говорилось о полиархии. В докладе я сосредоточил на ней внимание из-за уважения к Роберту Далю, который ввел это понятие. В книге же основную концептуальную нагрузку несет на себе другое понятие, принадлежащее Рэндаллу Коллинзу. А именно, понятие «коллегиально разделенной власти». И я бы хотел обратить на это ваше внимание, потому что соответствующие работы Коллинза на русский язык не переведены.

У меня в журнале «Полис» была статья, которая так и называется — «Коллегиально разделенная власть». Такая власть — это несколько иное, чем полиархия. Это именно автономные центры власти, каковыми, скажем, Медведев

и Путин и в «тандемный» период не являлись. Это — один центр власти, включающий в себя целую группу людей. Некоторые ее члены — публичные фигуры, другие — не столь публичные фигуры, но это одна правящая группа. Коллегиальное же разделение появляется тогда, когда есть несколько действительно автономных центров. Причем у каждого наличествуют свои ресурсы, и еще они согласны друг с другом, что живут по определенным правилам, что не будут друг друга подавлять или уничтожать. И такое коллегиальное разделение власти я действительно считаю совершенно необходимым этапом на пути демократизации.

Здесь упоминалось о феодализме. На самом деле — опять-таки благодаря советской школе — мы привыкли к так называемой «виговской истории», которая считает феодализм сугубо темным временем. Между тем именно в то «темное» время появлялись магистраты, возникла внутригородская демократия. И то, что виговские историки (а вслед за ними наши советские и постсоветские) называют олигархией, в Венеции или, скажем, в средневековых немецких государствах было на самом деле важным шагом к демократии. Просто он как бы не вписывается в виговскую историю, которая ведет начало западной демократии только от Нидерландов и Англии.

Теперь о том, о чем говорил Игорь Григорьевич Яковенко. Действительно, мы с ним расходимся парадигмально. Он, как я понимаю, придерживается парадигмы культуроцентризма и того, что можно назвать тезисом о «родовой травме» национальной культуры. Примерно об этом же говорил и коллега Музыкантский. О том, что есть некие базовые основания, нечто вроде архетипов шпенглеровских или юнговских, то есть неизменяемых культурных «генов». Они, мол, и лежат в основе цивилизации.

Одни говорят, что данные архетипы обуславливают наше «многовековое рабство» и потому их надо преодолеть, а люди с другой идейной ориентацией говорят о том, что ни в коем случае эти базовые основания трогать нельзя, потому что тогда наша великая российская культура рассыплется. Жаль, что здесь нет Эмиля Паина. Он дал блестящую критику таким взглядам. Могу сослаться и на Кирилла Рогова, который писал о неверности, порочности и вредности самой идеи культуры как неизменяемого «генотипа» или фатальной «родовой травмы». Я же в своем докладе говорил о том, что и установки, и стратегии, и ценности, и святыни постоянно воспроизводятся и подкрепляются в каждодневной практике решений, в интерактивных ритуалах как эмоционально насыщенных действиях, в рамках институтов и сообществ. В книге это расписано более детально.

Андрей Андреевич Пионтковский говорил о недавнем (медведевском) симулякре «Либерализации». Я с ним полностью согласен. Это было нечто вроде фальстарта. И в моей модели таким мини-тактам и фальстартам тоже находится место. Например, ГКЧП был очевидным фальстартом «Авторитарного отката». Отчасти недавний симулякр «Либерализации» являлся, конечно,

и «операцией прикрытия». Причем — отдадим должное ее разработчикам — очень успешной.

Однако я не могу согласиться с тем, что циклы прекратились, что «кардиограмма» цикличности угасла, превратившись в прямую линию, и с другими аналогичными утверждениями, неоднократно в ходе дискуссии звучавшими. Такие настроения, кстати, вовсе не новые, они не раз и не два возникали в российской истории. Вспомните 1840-е годы: «Печально я гляжу на наше поколение». Вспомните последние годы брежневского времени, когда казалось, что все это растянется на десятилетия, даже столетия, что так и будем мы всегда жить при геронтократии и «развитом социализме». В таких ситуациях нужна историческая рефлексия, следует посмотреть на самих себя со стороны, причем именно в контексте циклической динамики. Мы сейчас вступаем в очередной виток такта «Стагнация», а для него как раз и характерно то, что мы сегодня чувствуем: «Все это навсегда, динамика прекратилась, пульс угас».

Нет, ни в коем случае. История не закончилась, и циклы отнюдь не прекратились. Нынешняя стагнация продолжится до тех пор, пока сохраняется ресурсная структура: «Один дарующий — много просящих и получающих». Пока есть что дарить, пока «нефтяные брызги» долетают до многих, «стабильность» этого режима, действительно, будет сохраняться. Но ведь приток нефтедолларов обеспечен далеко не навсегда. И на будущее я могу с полной уверенностью гарантировать: непременно будет динамика, будут кризисы, будут повороты и к «Авторитарному откату», и к «Либерализации». Иными словами, ничего не случится в циклической динамике, пока мы не выйдем на перевал. Но, как тут многие верно отмечали, перспектива эта далекая и, увы, совсем даже не очевидная. И гарантии тому, что выход на перевал — высвобождение из колеи порочных циклов — в России произойдет, никто не даст.

Владимир Валентинович Лапкин считает, что предложенная мной модель является упрощенной. Но ведь любые формальные модели — упрощенные. Важно, чтобы они работали. И только тогда, когда они есть, можно видеть, в чем они неверны, и, соответственно, исправлять их и развивать.

Не могу согласиться с Владимиром Валентиновичем в том, что я говорю лишь о деструктивных тенденциях и ничего якобы не говорю о том, что распределяемые и перераспределяемые ресурсы сначала кто-то всегда создает. Возможно, в данном случае я недостаточно четко выразился. В докладе было сказано, что у элиты есть стратегия служения. Так вот, она-то, стратегия эта, как раз и включает и организацию новых производств, и строительство заводов, и создание фискальных служб — перечень можно продолжать долго. Это и есть формирование и накопление ресурсов, в чем государство играло огромную роль и в царское и, тем более, в советское время. И элиты здесь тоже трудились не покладая рук. Мне казалось это чем-то самоочевидным, специальных разъяснений не требующим, и потому мне странно было слышать такое возражение.

Не согласен я и с Андреем Пелипенко, по мнению которого Россия понимается мной как замкнутая автономная система. В сегодняшнем докладе этот момент не акцентирован, но в книге чуть ли не четвертая часть посвящена тому, как Россия вписана в динамику геополитическую, геоэкономическую, геокультурную, где тоже есть свои циклы, причем показано, как внешние циклы взаимодействуют с внутренними.

Еще Андрей Анатольевич говорил о том, что Россия культурно разная, а потому обречена на новый виток территориального распада. Но Россия и в территориальном отношении в рамках циклической динамики пульсировала всегда. Она то расширялась за счет каких-то территорий, то теряла их. Если она потеряет (что вполне возможно), например, Кавказ или Приморье, то это будет еще один такт циклической динамики. Но опять-таки нет никаких гарантий, что потеряет навсегда. Такова территориальная пульсация, это просто один из аспектов циклической динамики.

Очень интересные возражения были у Романа Вишневого. Он говорил о недостаточности внимания к демографии и национальному вопросу. Про демографию я не согласен. Один из контуров деградации, мной отмечаемый, — это как раз геополитико-демографический контур. Именно из-за демографии сейчас возникают наибольшие угрозы утраты восточных территорий. А вот национальному вопросу, действительно, внимания было уделено меньше. Но я считаю, что решать его все равно нужно в тех же концептуальных рамках, о которых я говорил. Высокий уровень свободы в России в сочетании с государственным успехом (теперь — в геоэкономике и геокультуре) непременно обусловит ее привлекательность как для внутрироссийских этносов, так и для окружающих народов и стран. Напротив, продолжение «Стагнации» в плане социального и экономического развития вкупе с имперским реваншизмом в геокультуре и геополитике оттолкнут соседей и усилят отчуждение нерусских этносов, тенденции к сепаратизму национальных провинций России.

Очень правильно было сказано Вишневым про элиты деградации. В одной из других дискуссий он дополнил метафору колеи, говоря об ее «бортике» или «перегородке». Ведь колея чем интересна? Тем, что из нее трудно выпрыгнуть. Так вот, в российском обществе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы эта блокирующая перегородка была повыше. И это и есть те самые элиты деградации. Но и с ними как-то нужно работать, учитывая их интересы. В данном отношении я хотел бы обратить внимание на чрезвычайно любопытные и, по-моему, перспективные идеи Александра Аузана, который хорошо представляет себе как раз интересы разных элитных групп и говорит о том, что любое преобразование должно что-то давать взамен тем, кто теряет. Но и в моем исследовании эти идеи тоже заложены.

В заключение вернусь к главным моментам моего доклада, памятуя о том, что собрались мы здесь под эгидой «Либеральной миссии».

Все мы знаем, что слова «либерализм» и «либералы», «демократия» и «демократы» дискредитированы в сознании основной массы наших сограждан, а нередко используются чуть ли не как ругательства. Для либеральной идеи дурную службу оказала, помимо прочего, прискорбная ассоциация с идеологией экономического неолиберализма, который в немалой степени ответствен за надувание финансовых пузырей, растущую неустойчивость рынков, беспрецедентный рост имущественного неравенства и продолжающиеся волны кризиса мировой экономики. Поэтому либеральную идею (как и либеральную миссию) необходимо отделить от частных и преходящих идеологических доктрин, вернуть ей исконный смысл идеи *свободы*, идеи *освобождения*.

От чего же нам, гражданам России, нужно освободиться в настоящий исторический момент? Узкое политизированное и идеологизированное сознание видит источник разного рода бед в тех или иных «врагах» вовне. Как мы знаем, для разных идеологических лагерей это разные враги: либо «неруси» и «оккупационная власть», либо «западные наймиты», либо «клептократия» и «кровавая гебня», либо кто-то еще. При всех кажущихся различиях, соответствующие идеологии в качестве главного пути «освобождения» принимают сходную *стратегию подавления противников*. Но такая конфронтация, особенно с лозунгами свержения, изгнания, возмездия, может вести (и в России обычно ведет) не к освобождению, а к ненависти, насилию, разрушениям и неременному новому закреплению, нередко более гнетущему, чем прежде.

В чем же дело? Допустим, удалось свергнуть, уничтожить или изгнать из страны «врагов», кто бы они ни были. При этом осталось то же население с теми же габитусами и установками, типовыми практиками и стратегиями поведения, остались те же типы институтов и сообществ, осталась та же привычная для всех логика движения ресурсов (гиперцентрализация, сдачи-раздачи и прочее). Откуда же возьмутся новые принципы управления и принятия решений? Новая экономическая логика? Новые правила политического взаимодействия?

Давайте признаем, наконец, что взяться им неоткуда. Макросоциологический взгляд на циклическую динамику России ясно показывает, что новые правители и элиты будут как бы «вставлены» в прежние социальные и ментальные структуры, а значит, непременно возобновятся дисфункции, напряжения и дискомфорта. Появятся новые «враги», и начнутся новые витки конфронтации, новые петли порочных циклов. Вспомним мудрую евангельскую метафору: «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то, и другое».

Поверхностная идеология и политика — это лишь мечта о «новом вине» (новой власти, новых правителях, новом режиме). А о «ветхих мехах» — при-

вычных, въевшихся институтах, ментальных установках, поведенческих стереотипах — в России мало кто задумывается. И в истории отечественной мысли здесь, увы, мало на кого можно опереться. Подавляющее число авторов (от Белинского и Добролюбова до Константина Леонтьева и евразийцев) боролись с «врагами» или чем-то «вражеским», призывали либо к свержению режима, либо к его «подмораживанию», либо к смирению. Даже такие симпатичные фигуры и смелые, глубокие мыслители, как Герцен и Сахаров, основное внимание уделяли внешним, видимым политическим характеристикам неприемлемого для них самодержавного или советского режима, но не «ветхим мехам», не глубинным ментальным и социальным структурам. В этом отношении глубоким и по-прежнему актуальным русским мыслителем остается Петр Чаадаев с его острым осознанием дефицита в России надежных общественных устоев, внутренних правил, чувства долга, справедливости, права. То есть у него речь шла именно о социальных институтах и ментальных установках.

Либеральная миссия в России сегодня не может быть отделена от идеи освобождения от «ветхих мехов», то есть препятствующих общенациональному развитию невидимых, но цепких наших же социальных и ментальных структур. И это не только освобождающая, но и конструктивная идея. Нужно выстраивать в себе и вокруг себя «новые мехи» — те самые честные, справедливые установления, внутренние правила долга, о нехватке которых в России почти 200 лет назад и говорил отважный интеллеktуал и диссидент, объявленный сумасшедшим, Петр Чаадаев.

Именно теоретический и макросоциологический подход позволяет видеть за внешней колеей циклов — рядов сходных повторяющихся периодов — колею *внутреннюю*, то есть наши привычные способы мировосприятия и структуры взаимодействий, включающие, между прочим, и глубинные культурные архетипы, о которых справедливо говорили коллеги-культурологи. Такой подход, представленный в моей книге и лишь отчасти в моем сегодняшнем докладе, позволяет в теоретическом плане отвечать на стародавний чаадаевский вызов, но теперь уже с использованием богатого интеллектуального потенциала, накопленного в мировой науке за прошедший период.

Новая макросоциология не ограничивается только одним объяснительным принципом, как мы видим это в экономоцентризме Маркса или в культуроцентризме некоторых моих уважаемых оппонентов. Теперь мы можем работать с совокупностью разных автономных и взаимодействующих динамик, учитывать сложные взаимовлияния между политической, экономической и символической сферами в контексте геополитических, геоэкономических и геокультурных изменений. Новая макросоциология не ограничивается также только макроструктурами и большими отрезками времени. Для нее значимы (по-разному в разные периоды) все социальные и временные масштабы — от

ультра-микро, то есть происходящего «здесь и сейчас» в повседневной жизни, до международного и глобального уровней. Будущее — за той социальной наукой, которая в построении и проверке теорий сумеет быстро и корректно переходить от «микро-оптики» к «макро-оптике» и обратно. В исторической науке такой гибкостью и прославилась школа «Анналов».

Все это означает, что, говоря об освобождении от «ветхих мехов» и о необходимости создания «новых мехов», необходимо выявлять препятствия для развития на всех этих уровнях, а также разрабатывать стратегии разного масштаба. В меру моих скромных сил я проделал эту работу в своем исследовании. Но, как я признался в заключении к книге, задача была поставлена уж очень масштабная, и, разумеется, полностью справиться мне с ней не удалось. Многие слабости и недочеты были выявлены уже в сегодняшнем обсуждении, гораздо больше прорех в своей работе я вижу сам.

Благодарю всех участников дискуссии, уважаемых оппонентов и организаторов сегодняшнего собрания — прежде всего, Игоря Моисеевича Клямкина. Серьезность поднятых сегодня проблем, ваше благожелательное внимание и содержательные критические замечания позволяют мне надеяться, что своей книгой «Колея и перевал» мне удалось сделать некий вклад в интеллектуально ответственное теоретическое размышление о российских циклах и глубинных механизмах исторической динамики России, о корнях сегодняшних проблем и о судьбе нашей страны в будущем.

Игорь КЛЯМКИН: «На мой взгляд, в нашем историческом сознании все еще недостаточно четко фиксируется особенность переживаемого стратегического этапа, его принципиальное отличие от всех предыдущих»

Спасибо, Николай Сергеевич. Я не ощущаю в себе готовности подводить итоги состоявшейся дискуссии. Могу предложить лишь несколько суждений, которые, быть может, Вы сочтете нужным учесть в дальнейшей работе.

На меня тоже произвела сильное впечатление Ваша попытка предложить принципиально новый подход к исследованию России, ее прошлого, настоящего и возможного будущего. Я имею в виду многофакторность и многоуровневость анализа, заложенные в основание Вашей концепции. Подкупает и Ваше стремление соединить строгую академичность с политической проектностью, что в нашем общественном сознании большая редкость. По сути, речь идет у Вас о необходимости формирования нового исторического сознания, без которого выход из колеи на перевал трудно представить. Ведь историческое сознание — это и есть синтетический рациональный образ прошлого, настоящего и возможного будущего. Но, отдавая должное проделанной Вами огромной работе, не могу не поделиться и своими вопросами, которые пока остаются безответными. Делаю это с легким сердцем, учитывая только что продекларированную Вами открытость для критики и заинтересованность в ней.

Я готов допустить, что все предлагавшиеся до сих пор версии российской цикличности уступают в объяснительной силе используемому вами макросоциологическому подходу. Но чтобы принять это, мне нужны доказательства. Тот факт, что Ваши предшественники используют одно «объяснительное начало», а Вы число таких начал увеличиваете, сам по себе ничего, по-моему, не доказывает. Доказательством могло бы служить обнаружение слабости критикуемых концепций в объяснении тех или иных реальных процессов в продолжающейся российской истории. В чем, например, слабость концепции социокультурного раскола, предложенной в свое время упоминавшимся здесь Александром Самойловичем Ахиезером? Какие явления и события отечественной истории в нее не вписываются? Ни одну из отвергнутых концепций Вы под этим углом зрения не разбираете, из чего я делаю вывод, что Вы их не столько преодолеваете, сколько просто отбрасываете, как заведомо несостоятельные.

Между тем познавательный потенциал Вашей собственной концепции не так уж и очевиден. Во-первых, остается неясным, в чем специфическая особенность российской цикличности, когда и почему она возникла, и в чем причины ее долговременной устойчивости. Во-вторых, реальная, эмпирически фиксируемая история России в эту концепцию не всегда укладывается, о чем некоторые выступавшие уже говорили. В ее основу положено соотношение государственного успеха и свободы при допущении, что они друг друга исключают: чем больше свободы, тем меньше государственного успеха, и, соответственно, наоборот. Но реальная российская история этому постулату не соответствует, на что и обратили Ваше внимание Михаил Афанасьев и некоторые другие участники дискуссии. Вы пытались им отвечать, но, на мой взгляд, получилось это опять-таки не очень убедительно.

Они говорили о том, что в либеральных фазах российских циклов, олицетворяемых Екатериной II, Александром I и Александром II, были и государственные успехи, которых, согласно Вашей концепции, в этих фазах быть не должно. Вы же отвечали, что сами российские либерализации были непоследовательными и недостаточными. Но это не ответ, а перевод вопроса в другую смысловую плоскость. Не о том же речь, насколько глубокими были отмеченные либерализации, а о том, что они не только не исключали государственный успех, но и таким успехом сопровождались. А вот две демократизации политической системы, имевшие место при последнем российском императоре и последнем коммунистическом генсеке, привели к обвалу государства. Возможно, именно эти два события и послужили эмпирическим аналогом Вашей концептуальной схемы. Но в таком случае природу описанной Вами долговременной российской цикличности она уж точно не раскрывает.

Не показалась мне убедительной и пролонгация этой цикличности в будущее: она, мол, будет продолжаться до тех пор, пока Россия из колеи не вырвется на перевал. Вот, скажем, в Вашей схеме зафиксирована возможность трансформации «Авторитарного отката» в «Успешную мобилизацию». Под послед-

ней, надо полагать, подразумеваются военно-технологические модернизации, имевшие место при Петре I и Сталине. Но то были ведь не просто явления в общем циклическом ряду, соприродные авторитарным откатам при Николае I, Александре III, Брежневе или Путине. То были явления, из ряда как раз выпадавшие в силу своей беспрецедентности в масштабах не только отечественной, но и мировой истории. И у меня возникают вопросы, над которыми я предлагаю подумать и Николаю Сергеевичу, и всем присутствующим.

У меня возникает, в частности, вопрос о том, почему именно в России столь беспрецедентные (в том числе и по варварству методов) военно-технологические модернизации стали возможны. У меня возникает и вопрос о том, почему послесталинский Советский Союз, столкнувшийся с фактом очередного технологического отставания, петровско-сталинскими методами модернизации воспользоваться не мог и рухнул, явив миру неведомый ему до того пример обвала могучей военной империи в мирное время. И, наконец, возникает и вопрос о том, мыслима ли «Успешная мобилизация» в той цикличности, продолжение которой Николай Сергеевич уверенно обещает нам и в будущем. Мне лично такую мобилизацию, предполагающую милитаризацию всего жизненного уклада общества, представить себе трудно. Если же мы признаем ее невозможность, то и прогнозируемая цикличность будет уже иной, чем прежде. Она будет цикличностью затухающей и деградирующей.

На мой взгляд, в нашем историческом сознании все еще недостаточно четко фиксируется особенность переживаемого страной этапа, его принципиальное отличие от всех предыдущих. Отсюда и прозвучавшие здесь аналогии с временами Николая I и другими периодами нашей истории. Мы живем в совершенно новой ситуации, начало которой документировано распадом СССР. И дальнейшая дезинтеграция пространства, о которой говорили Андрей Пелипенко и Роман Вишневский, — перспектива вполне реальная. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом она вписывается Николаем Сергеевичем в прежнюю цикличность. Та цикличность последние несколько столетий была имперской, воспроизводившейся при решающей роли военной силы. Сегодня же удержание оставшегося имперского пространства, как показывают отношения Москвы с кадыровской Чечней, возможно только посредством выплаты дани потенциальным сепаратистам. Но если выплачивать будет нечем, потенциальные сепаратисты превратятся в реальных. И чем это будет напоминать цикличность, описанную Николаем Сергеевичем, я, повторяю, понять не могу.

Согласен с теми, кто говорил, что цикличность эта исторически исчерпана. Но в таком случае выход из колеи на перевал безальтернативен, если не считать альтернативой деградацию и распад. Колея — это воспроизведение неправовой государственности, осуществляемое политическим монополистом. Перевал — это выход из неправовой государственности в правовую. Такой выход, согласен с Николаем Сергеевичем, не может быть осуществлен,

если его сторонники будут руководствоваться «стратегией подавления противников». Но альтернативная ей стратегия диалога может быть выработана только в самом общественном диалоге. Для него, однако, нужно какое-то общее основание, объединяющее его участников. И если идея правового государства таким основанием может стать, то прорыв на перевал не будет выглядеть заведомой утопией. Но может или нет, мы не знаем. А не знаем потому, что инициировать такой диалог никто до сих пор не пытался.

Это я к вопросу о роли либеральной интеллектуальной элиты. Нам предстоит осознать, что либералы в обозримом будущем претендовать в России на власть не смогут. Все социологические опросы, начиная с 1990-х годов, показывают, что больше, чем на 17 процентов электоральной поддержки, им рассчитывать не придется...

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: У большевиков до 1917-го было много меньше...

Игорь КЛЯМКИН: Ссылка на большевиков уместна, если вы собираетесь штурмовать Кремль как нынешний аналог Зимнего дворца. А если нет, то придется искать союзников за пределами либерального сегмента, готовых принять либеральную идею правового государства. И, соответственно, вступать с ними в диалог по поводу того, как это государство в условиях России может и должно быть устроено. По-европейски, по-сингапурски или как-то еще.

А что мы видим в реальной политической жизни? Мы видим, что ни одна из либеральных политических сил не выдвигает хотя бы в качестве стратегической цели изменение действующей российской Конституции. Но при ней ведь преодоление монополии на власть невозможно, так как именно такую монополию она и узаконивает. Самое же печальное заключается в том, что и в среде интеллектуалов вопрос этот интереса не вызывает. Отдельные голоса раздаются давно, но отклика они не находят, а потому и сам вопрос остается на периферии общественного сознания. Не ставит его и Николай Сергеевич, полагающий, очевидно, что предлагаемые им пять шагов на перевал возможны и при нынешнем Основном законе...

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ: Гавриил Попов написал недавно большую статью, в которой представил свои соображения об изменении Конституции. Но какое отношение такие проекты имеют к нашей реальности? Не Конституцией определяется характер власти. Он определяется ментальностью, определяется ценностями...

Игорь КЛЯМКИН: Достоверно пока можно говорить лишь о том, что нынешняя властная конструкция отвечает интересам привластных групп и более широких слоев российской элиты. Поэтому ссылки на народную ментальность, неизбежность такой конструкции призванные обосновать, служат

тому же самому. К тому же ментальность меняется не сама по себе, а под воздействием новых институтов. И пока такие институты населению не предложены, пока они не могут быть соотнесены им с собственным опытом, говорить об их ментальном отторжении нет никаких оснований. И уж тем более нет оснований посредством апелляций к ментальности отречься от претензий на стратегическую субъектность у либеральных интеллектуалов и политиков.

Давайте исходить из того, что при конституции, препятствующей воспроизводству персонифицированной властной монополии, наши сограждане никогда не жили. А раз так, то и говорить об отторжении ими правового порядка, альтернативного существующему, не очень-то, мягко говоря, корректно. Александр Ильич Музыкантский сказал, что единовластие заменяет у нас правовые институты. Я же предлагаю руководствоваться другим соображением, а именно — что становление правовых институтов блокируется как раз узаконенным единовластием.

В заключение хочу поблагодарить Николая Сергеевича Розова за его доклад и участие в дискуссии. Все, что я сказал, никоим образом не направлено против макросоциологического подхода как такового. Отдаю себе полный отчет в том, с какими трудностями сталкивается исследователь, используя такой подход применительно к изучению России. Но как бы то ни было, его преимущества перед другими подходами Николаю Сергеевичу еще предстоит обосновывать, в чем я искренне желаю ему успеха. Возможно, это проявится и в доказательстве несостоятельности прозвучавшей в ходе обсуждения критики.

Еще раз благодарю Николая Сергеевича, а также всех участников дискуссии и, прежде всего, уважаемых оппонентов, выступления которых задали дискуссии тон. Всего вам доброго и до новых встреч!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

УСТАРЕЛА ЛИ ИСТОРИЯ «ПО КЛЮЧЕВСКОМУ»?

Игорь КЛЯМКИН: Сегодняшняя наша встреча приурочена к 100-летию со дня смерти Василия Осиповича Ключевского. И говорить мы будем именно о нем. Эта тема возникла на пересечении двух направлений работы «Либеральной миссии». Во-первых, мы помогаем Алексею Алексеевичу Кара-Мурзе и возглавляемому им фонду в его деятельности по актуализации наследия русских либеральных мыслителей, к числу которых с определенными оговорками можно причислить и Ключевского. Во-вторых, мы в последнее время много внимания уделяем проблемам отечественной истории, ее концептуализации. Сошлюсь, в частности, на обсуждение трилогии Александра Янова «Россия и Европа», которое выявило существенные разногласия между людьми, придерживающимися одних и тех же или близких мировоззренческих позиций.

Сегодня у нас есть возможность переориентировать обсуждение на те традиции исторического познания, которые были заложены старыми русскими историками. Насколько их наследие полезно нам для понимания досоветской истории, которую они изучали, и что можно взять у них для понимания истории советской и постсоветской, которой они не знали? С Ключевского же целесообразно начать хотя бы потому, что у большинства современных историков к нему утвердилось скептическое отношение: ссылаться на него стало среди них чуть ли не дурным тоном. Вот и давайте попробуем разобраться, насколько устарела история «по Ключевскому», и в чем ее устарелость заключается, если таковая имеет место. Равно как разобраться и в том, почему у неисториков Ключевский по-прежнему вызывает интерес, чего о многих современных авторах не скажешь.

Предлагается обсудить следующие вопросы, навеянные в какой-то степени текстами самого Василия Осиповича:

1. Помогает ли Ключевский понять советское и постсоветское общество?
2. За какое невежество история проучила русское общество в XX веке?
3. Как с помощью западноевропейского ума научиться жить своим умом?
4. Утратило ли современное российское общество средства к «самоисправлению»?
5. В каком объеме нужно преподавать историю, чтобы научить политический класс мыслить?

Первым я предоставляю слово Алексею Алексеевичу Кара-Мурзе. После него выступят два содокладчика — Ольга Анатольевна Жукова и Михаил Николаевич Афанасьев. А потом — все, кто захочет. Пожалуйста, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Главный урок Ключевского —

чевского заключается в том, что любому политическому перевороту предшествует переворот нравственный»

Уважаемые коллеги и друзья, тема моего вводного доклада: «Уроки Василия Осиповича Ключевского». Я решил ограничиться сегодня лишь одним из таких уроков, который, на мой взгляд, способен задать тон нашей дискуссии. Этот урок я бы сформулировал так: *нравственный, духовный переворот всегда предшествует перевороту политическому*. Конечно, Василий Осипович был далеко не первым, кто сформулировал данный тезис, но именно он придал ему статус главного обоснования цельной концепции российской истории, причем истории не только государственной, но и общественной, национально-гражданской.

Этот урок Ключевского я для начала коротко проиллюстрирую на примере анализа им самим двух фрагментов русской истории — фрагментов, относящихся к числу излюбленных самим Ключевским. Это, во-первых, период возвышения Москвы и обретения страной национальной независимости, то есть выход из Смутного времени в XIV–XV веках. И, во-вторых, вход в «русскую смуту» в начале XVII столетия. Думаю, что обращение к проблематике «русской смуты», когда брожение в умах порождает быстрые социально-политические трансформации, сегодня весьма и весьма актуально.

В обоих случаях Ключевский показывает, как изменения в сфере сознания предполагают затем разворачивание целой цепочки социальных и политических изменений. Он показывает, что духовно-нравственное возрождение ведет к возрождению политическому. И наоборот: духовно-нравственное оскудение неизбежно ведет к политическому погрому. Помните, у Михаила Булгакова есть фраза знаменитая: «Разруха не в клозетах, а в головах». Профессор Преображенский, судя по всему, был идейным учеником профессора Ключевского. Добавлю: равным образом, и преодоление разрухи начинается в головах. И я тоже (вслед за Ключевским, Булгаковым и Преображенским) смеюсь, когда какие-то «новые баритоны» кричат: «Долой разруху!»

Напомню, что анализ Ключевского, касающийся обретения Русью национальной независимости, начинается с фиксации трех на первый взгляд малозначительных и разрозненных фактов, имевших место в начале 40-х годов XIV века. Первое. Из московского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся 40-летний инок Алексий, будущий митрополит московский. Второй факт. Тогда же один 20-летний пустынник (будущий преподобный Сергий) в лесу, в районе будущей Лавры, построил маленькую деревянную келью-церковь. И третье. В Устюге родился будущий святой пермской земли святитель Стефан. Только потом выяснится, говорит Ключевский, что «ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных». И продолжает: «Эта троица созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического возрождения русской земли».

А далее Ключевский подробно и виртуозно описывает картину того, как начинает отзываться в обществе этот, казалось бы, очень слабый духовный импульс. Алексей, Сергей, Стефан поначалу повлияли на немногих. Таких людей была капля в море, пишет Ключевский, но ведь «и в тесте нужно немного вещества, вызывающего брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически, на это указал сам Христос, сказав: “Царство Божие похоже на закваску”». Результат — постепенное, но неуклонное усиление чувства нравственной бодрости и духовной крепости, которые со временем приносят и свои политические плоды. Это, так сказать, пример позитивный: нравственная сосредоточенность и духовное подвижничество дают импульс к национальной и государственной консолидации.

Пример прямо противоположный — погружение России в Смуту в начале XVII века. Формальная причина здесь — пресечение династии, но «подкладка» Смуты, как убедительно показывает Ключевский, чисто метафизическая. Сейчас мы бы назвали этот процесс процессом «идейной делегитимизации власти». И действительно, прологом Смуты стала последовательная смена на русском троне фигур, несущих, по выражению Василия Осиповича, какую-то «душевную червоточину».

Вот Федор Иоаннович, последний из рода Калиты, — блаженный, юродивый на троне (некоторые говорили просто: дурак или безумец), постоянно виновато улыбающийся и бегающий по церквам трезвонить в купола. И это стало для общества зримым проявлением деградации традиционной власти.

А вот сменивший Федора Борис Годунов. С чисто управленческой точки зрения, полагает Ключевский, он был вполне «эффективным управленцем». Его беда (и, соответственно, беда страны) была в другом: «Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя: привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия, его всегда подозревали в двуличии и коварстве, считали на все способным». Именно поэтому в версию убийства царевича Дмитрия Годуновым поверили сразу очень многие. Народные слухи преследовали Годунова и при царе Федоре, и после его смерти. В результате же, по Ключевскому, и «замутились умы у русских людей, и пошла смута». Годунов — земский избранник — превратился в «малодушного полицейского труса, он показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасющийся быть пойманным». И так далее, цепочку этих рассуждений можно продолжать и в отношении Василия Шуйского, и самозванцев, и других персонажей Смутного времени.

Итак: любому политическому перевороту предшествует переворот нравственный. Верность этого тезиса, проявившаяся в XIV и XVII веках, подтвердилась в России и в начале XX века. Уже сам Ключевский, особенно после поражения в японской войне и «кровавого воскресенья», которое Василий Осипо-

вич назвал «нашим вторым Порт-Артуром», успел констатировать неизбежность психологической дискредитации русского правящего режима. «Алексей царствовать не будет», — повторил Ключевский публично в 1905 году свою более раннюю дневниковую догадку.

Именно этот феномен конвертации негативных духовных процессов в социально-политические стал предметом исследования и блестящей когорты историософов Серебряного века. Их историософия явилась в двух разных видах, иногда остро конфликтующих между собой. Вспомним дискуссию между «Вехами» и оппонирующими им кадетскими «Антивехами». Но, тем не менее, можно настаивать на том, что эти потоки представляли собой разные направления среди методологических последователей Василия Ключевского.

Первый поток, назовем его религиозно-философским, был представлен авторами веховского направления — Сергеем Булгаковым, Николаем Бердяевым, Семеном Франком, Петром Струве и другими. В центре их внимания именно «тема Ключевского»: исследование метаморфоз русского сознания, религиозных метафизических оснований политики. Вспомним такие принципиальные работы, как «Карл Маркс как религиозный тип» Сергея Булгакова, «Душа России» Николая Бердяева или коллективные сборники «Вехи» и «Из глубины». Но прямыми последователями Ключевского были и их оппоненты, которых я бы отнес к кадетско-позитивистскому лагерю. Напомню, что выдающиеся историки-кадеты, лидеры Конституционно-демократической партии Павел Милюков, Александр Кизеветтер, Александр Корнилов были учениками Василия Осиповича.

Могу утверждать также, что лучшее из того, что было написано в русской эмигрантской историософии, будь то «Мысли о России» Федора Степуна, «Судьба и грехи России» Георгия Федотова, рассуждения о соотношении «России и Свободы» Владимира Вейдле, — что все это тоже прямое развитие «темы Ключевского». Посмотрите хотя бы относительно раннюю работу Федотова «Революция идет» 1926 года, сделавшую его знаменитым в эмиграции. Это работа, прямо применяющая принцип, использованный Ключевским в анализе истоков «русской смуты». Можно сказать, что это вообще демонстративно ученическая статья выдающегося ученика. Федотов «копировал» методологию Ключевского подобно тому, как Брюллов набивал руку, копируя Микеланджело в Ватикане.

А как обстоит дело с методологией Ключевского применительно к последним событиям в России, под коими я имею в виду антикоммунистическую революцию и весь постсоветский период? Нельзя отрицать: у нас наметилась прекрасная школа экономико-детерминистского анализа последних лет существования коммунистического режима и его краха. Блестящим примером такого анализа я бы назвал «Гибель империи» Егора Гайдара. Но это не отменяет другого факта — отсутствия в литературе фундаментальных гуманитарных

текстов, основанных на упомянутом выше уроке Ключевского. «Гибель империи-2» пока не создана. При том, что и среди наших современников есть блестящие образцы исследований того типа, о котором я говорю, они не имеют отношения к новейшей нашей истории.

Я вспоминаю Александра Михайловича Панченко, с которым мне довелось быть близко знакомым. То была зима 1990–1991 годов, когда он читал цикл лекций о русской культуре в Париже для русистов. Русских тогда в Париже было очень немного, я общался с Панченко почти ежедневно. Вспоминаю его великую книгу о духовных сдвигах в России в канун петровских реформ — это, бесспорно, продолжение линии Ключевского. Но о периоде, о котором я веду речь, ничего такого у нас нет.

Конечно, литература, работающая с проблематикой ценностей коммунистической эпохи и их постепенной деградации, у нас тоже была. Но какая? Вспомним хотя бы сборник 1988 года «Иного не дано». Он написан совсем не в экономико-детерминистском ключе, там таких текстов подавляющее меньшинство. Это сборник, в котором доминирует скорее именно духовно-психологическая тематика. Однако основной корпус составили здесь статьи, которые, выражаясь словами известной оппозиции Николая Бердяева, представляли собой все-таки не «философскую истину», а концентрированную «интеллигентскую правду». Кстати, сама постановка вопроса: «Иного не дано» (я говорил и писал об этом сразу по выходу книжки) — абсолютно бесплодна в методологическом смысле. Точно так же, как другое популярное выражение эпохи антикоммунистической революции: «Так жить нельзя». Это могли формулировать люди, скорее всего, не читавшие Ключевского либо не усвоившие его главных уроков. Жить можно очень по-разному, и «иное» всегда дано.

Но принципиально новое, устойчивое «иное» — это всегда результат позитивных изменений нравственного состояния общества. Были ли такие серьезные подвиги, вызвавшие, помимо экономических причин, обвал коммунистического социума? Думаю, были, но они почти не исследованы. Вопрос, который сейчас разъединяет политические лагеря: перестройка и антикоммунистическая революция — это результат модернизации или деградации общественной нравственности и политического сознания? Чем была перестройка — демократической революцией или «катастрофкой», как назвал ее покойный Александр Зиновьев? А что было в 1990-х? Мы начинали тогда выходить из смуты к национальному возрождению или, напротив, окончательно погрузились в смуту? Вопросы совсем не риторические. Кстати, мой двоюродный брат Сергей Кара-Мурза десятки книг написал про то, что горбачевская перестройка и ельцинские реформы — это как раз результат деградации, деморализации, иногда инспирированной извне, результат демонтажа народа, сопровождавшийся беспрецедентной манипуляцией сознанием. Я понимаю, что большинство из присутствующих с такой позицией не согласны, но серьезных текстов на эту тему у нас почти нет.

Между тем еще Федор Степун — прямой, на мой взгляд, ученик Ключевского и человек, в чьем либерализме сомневаться не приходится, бесспорный наш союзник — неоднократно писал в эмиграции, что выход из коммунизма будет вовсе не благодетным, а очень и очень тяжким. Хуже большевизма будут развалины большевизма — вот пророчество Степуна. Он предчувствовал, что у позитивного (а не просто разрушительного) выхода из коммунизма в России будет слишком мало духовно-нравственных предпосылок. И он, к сожалению, оказался прав.

Я думаю, что победа над большевизмом стала возможна в результате сложения действий по крайней мере двух духовных авторитетов: я имею в виду Солженицына и Сахарова. Их работа по делегитимации коммунизма была беспрецедентна. К сожалению, при их равно антикоммунистических жизненных позициях картины мира у них были не только разными, но и конфликтующими, что не могло не наложить негативный отпечаток на наше духовное, а потом и политическое развитие. Это показала, например, последующая полемика таких фигур, к которым по отдельности можно относиться с симпатией, — Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева, западника-либерала и демократа-почвенника.

Помните их нашумевшую переписку 1986 года, потом неоднократно перепечатанную? Это, конечно, была уже деградация спора западников и самобытников, обусловившая постепенную деморализацию антикоммунистического лагеря. И такое выхолащивание антикоммунистического пафоса при запаздывании роста демократического сознания и привели к свертыванию реформ, к политическому антидемократизму. Политическому погрому предшествовал идейный антидемократический погром, который не закончился, на мой взгляд, и по сей день, и это именно он продолжает создавать почву для авторитарных действий.

Возможен ли новый подъем демократических и либеральных тенденций в России? Если следовать урокам Ключевского, то ответ будет: «Да, возможен». Более того, этот подъем просто неизбежен, если сначала пойдет новый этап демократизации и либерализации сознания. Кстати, Ключевский прекрасно показал, какими бывают и фальстарты либерализации и гражданской консолидации на примере лидера первого народного ополчения периода Смуты, выдающегося гражданина Прокопия Ляпунова. Тот обрек себя на поражение, так как в глазах многих очень тесно ассоциировался с временными, но погубившими его репутацию союзниками. Выступая за «земскую Россию», он, однако, не погнушался союзом ни с Болотниковым, ни с Шуйским. Эти компромиссы и привели к его нравственной самодискредитации.

Мой вывод, который я выношу на нашу дискуссию, таков: то, что произошло в России, и то, что происходит сейчас, — это очередные подтверждения ответственности уроков Ключевского. Но заключить свое выступление я все же хочу на оптимистической ноте и приведу слова Осипа Мандельштама о Ключев-

ском, о том, что означает его имя в переживании русских трагедий. Мандельштам, блестяще образованный гуманитарий, знал, о чем пишет: «Ключевский — добрый гений, домашний дух-покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания».

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Вы вычленили в наследии Ключевского только один момент, сосредоточив наше внимание на духовно-нравственной составляющей его понимания русской истории. В этом ракурсе она выглядит чередованием духовно-нравственных деградаций и духовно-нравственных возрождений России. Но остается открытым вопрос о том, почему происходят деградации, почему они сменяются возрождениями и почему возрождения ведут к новым деградациям. Есть ли у Ключевского подходы, которые дают ответ на этот вопрос? Хотелось бы, чтобы мы к этому сюжету еще вернулись. А пока предоставляю слово Ольге Анатольевне Жуковой.

Ольга ЖУКОВА (профессор кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета): «Ключевский показал основное противоречие русской истории как проблему отношения русского ума к русской действительности»

Продолжая линию рассуждений Алексея Алексеевича, я хочу начать с вопроса, который Игорем Моисеевичем Клямкиным был уже затронут, — с вопроса об актуальности наследия Василия Осиповича Ключевского. В данном отношении ситуация выглядит, на мой взгляд, достаточно парадоксально. Поскольку утверждение о том, что Ключевский — классик, абсолютно верно, его наследие должно постоянно актуализироваться. Но если посмотреть на реальную востребованность его текстов и реальный интерес к той проблематике, которую он затрагивает в своих трудах, то круг читателей оказывается очень узким. И это при том, что сегодня отсутствуют и грамотная дескрипция, и уж тем более какой-то выверенный ценностно-нормативный взгляд на отечественную историю. Ключевский же как раз и создал подобный глубоко продуманный исторический нарратив, и потому было бы продуктивно обратиться к его выверенному взгляду. Тем более что политическая идентичность Ключевского, с точки зрения либеральной наклонности, не может быть подвергнута сомнению.

Вспомним слова Георгия Петровича Федотова, говорившего, что как минимум два поколения русского образованного общества — та культурная среда, в которой воспитывались классики русского либерализма, воспринимала историю в духе Ключевского, или, как сказал Федотов, «мы знали историю так, как она привиделась Ключевскому». Нас, конечно, может интересовать не архивирование наследия Василия Осиповича, потому что прошлое ради прошлого — это сугубо исследовательский интерес. Но если прошлое воспринимать как часть живого опыта современного человека, то тогда Ключевский может способствовать историческому самопознанию нации. Тогда его труды

и его вопросы, заданные будущим поколениям, становятся тем бродильным элементом и стимулом рефлексии, которой сегодня так не хватает. И в первую очередь основой здесь являются сюжеты, вокруг которых Ключевский выстроил социально-политическую историю России. В чем же идеи и концепты Ключевского аутентичны современности?

Вы, разумеется, обратили внимание на те вопросы, которые вынесены сегодня на обсуждение. А ведь это в основном афористика Ключевского, о чем Игорь Моисеевич уже упомянул. Готовя сегодняшнее собрание, мы ее просто «переформатировали», обратили к будущему, пользуясь лексикой Василия Осиповича и отчасти позаимствовав его стиль. И если от этого отталкиваться, то тематизировать, говоря философским языком, наследие Ключевского мы можем с помощью одного вопроса: «Есть ли либеральные перспективы у российского государства и общества, которое, как правило, во всех своих поворотах и цивилизационных выборах почему-то склоняется к консервативному варианту, консервативной тенденции?». И эту консервативную тенденцию Ключевский очень ясно выделил, оценил и попытался, помня о ней, найти средства к самоисправлению общества.

Как же и где же искал он эти средства?

Прежде всего, он пытался определить главное противоречие русской истории. Оно, по Ключевскому, заключается в том, что образованный русский ум напился запасом нравственных и политических идей европейского культурного мира, заимствовал их, но свои идеи при этом не выработал. Сложилась очень сложная комбинация двух феноменов — имеющейся наличной духовной и политической традиции и того запаса передовых идей, которые могли бы составить основу эволюционного развития русского общества, русского мира. И вот Ключевский показал самое главное противоречие русской истории как проблему отношения русского ума к русской действительности. То, что он назвал в своих знаменитых лекциях «двойным процессом в русском уме»: с одной стороны, есть критическое отношение к исторически сложившейся действительности, основанное на заимствованных идеях, с другой — критическое отношение к самим этим заимствованным идеям.

Вот то противоречие, та неорганичная двойственность, которую фиксирует и которую пытается преодолеть Ключевский. При этом он как бы предостерегает настоящих и будущих творцов российской истории, что в расчищенную, оголенную от культурных пластов почву сеять нельзя, а нужно продолжать работу по *приспособлению* нравственного и социального порядка национального бытия к передовому запасу тех самых политических европейских идей. Кстати, сам Василий Осипович рассматривал себя звеном в этом процессе и говорил о том, что пореформенное общество и, прежде всего, те люди, которые включились в работу по самоисправлению этого общества, данные вопросы поставили, но решили их достаточно плохо. Таким выводом завершается его курс русской истории — оценкой исторического вклада

своего поколения и своего собственного труда. И если мы сегодня будем читать историю «по Ключевскому», то он поможет нам подобрать инструменты для адекватного понимания не только прошлого, но и дня сегодняшнего — в частности, такого важнейшего вопроса, как культурно-политическая идентичность. В этом случае мы увидим, что по-прежнему существует раскол русского ума и русского мира, раскол российской политической нации в отсутствие базовых ценностных оснований и, соответственно, ценностного консенсуса общества.

Говоря о Ключевском, нельзя обойти тот факт, что он, будучи великим учеником великого учителя, отошел от государственнической идеологии С.М. Соловьева в исторической науке и на первый план поставил интересы человеческой личности и людского сообщества. Он рассуждал в категориях модерна, то есть в категориях национального государства и национальной культуры. Однако, в таком случае, не устарела ли история «по Ключевскому» уже потому, что она возвращает нас к проблематике национального и универсального, к тому философскому вопросу, который возник в эпоху романтизма? Нет, не устарела, потому что сам вопрос этот в России до сих пор не решен. Ключевскому удалось показать, что предрасположенность русской истории к консервативному варианту развития имеет место по причине особых отношений между разумом и верой в России. А истоки этой проблемы тоже ведь восходят к эпохе романтизма, и она тоже, как и во времена Василия Осиповича, все еще остается для России проблемой

Ключевский, вспоминая значение религиозной школы в своем образовании, вынужден был признать, что она его не столько учила, сколько поучала. Не переставая быть человеком христианской культуры, он выступил как критик ритуализированного, обытовленного православия. Пожалуй, мало у кого еще найдем мы такие резкие оценки духовенства, о котором он говорит, что оно учило «не познавать и любить Бога, а бояться чертей».

Тем не менее культурная идентичность Ключевского — это идентичность человека русского мира и христианской традиции. Поэтому как ученый он вынужден признавать двойственную роль православной церкви в созидании социального и культурного порядка: с одной стороны, позитивную роль ее духовно-нравственных идеалов, а с другой — роль негативную, которая проявлялась в консервации не лучших сторон жизни, легитимируя в том числе и закрепощение человека. Как может быть снято это противоречие? Ответ Ключевского: оно не может быть снято в отсутствие рефлексии и рационализации смыслов. Василий Осипович неоднократно указывает на данную проблему — в частности, когда разбирает сюжеты, связанные с русским религиозным расколом. Он говорит о сложившейся в России латинобоязни и неуважении к разуму — особенно к его присутствию в ведомстве веры.

По Ключевскому, пренебрежительное отношение к разуму и стало одной из причин, которая не позволила эволюционно развиваться русскому обществу.

Какое может быть историческое творчество нации, когда в школьных прописях для учеников прямо говорится, что братия не должна высокоумствовать, должна сторониться эллинских борзостей и риторских астрономов, с мудрыми философами рядом не сидеть, бежать от философии, дабы учиться книгам священного закона, думая о том, как спасти свою грешную душу от грехов. Этот запоминающийся пример из «Курса русской истории» свидетельствует о драматическом расхождении опыта разума и веры в отсутствие школы мысли — той мысли, которая запускает механизм самопознания и рефлексии над своим собственным культурным преданием.

Соответственно, получилось так, что любая линия развития, любой модернизационный проект в отечественной истории был связан с разрывом и с расколом по отношению к прежней традиции. Например, проект Петра I, который отнесся к старине, как к мятежу. И Ключевский реконструирует эту логическую связку: старина — это раскол, раскол — это мятеж, значит, старина — это мятеж. Как можно отнестись к своей базовой культурной традиции, как к мятежу? Ведь это — национальная трагедия. И, тем не менее, при таких обстоятельствах любое преодоление косности становится радикальным отказом от прежней системы ценностей. Таким образом, невыученным уроком Ключевского, согласно его видению истории, оказывается постоянный раскол нации, которая находится между радикализмом и охранительством. А проблему, которую ставит автор курса русской истории, на мой взгляд, можно определить как *проблему синтеза европейских идей русским умом в рамках исторически усвоенной духовной традиции.*

Сегодня критический ум Ключевского нам очень нужен. И если понимать и интерпретировать его наследие в проблемном поле сегодняшнего дня, то опыт либерализации России, осуществления в ней либерального проекта будет успешным, если почвой для подобного проекта окажутся ценности национальной культуры. Таков главный вывод, который напрашивается при чтении истории Ключевского.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Ольга Анатольевна. Проблема, по-моему, в том-то и заключается, чтобы определить, на *какие именно* ценности национальной культуры мог бы опереться в России либерализм. Второй содокладчик — Михаил Афанасьев. Пожалуйста, Михаил Николаевич.

Михаил АФАНАСЬЕВ (директор по стратегиям и аналитике Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»): «Социальный антагонизм и всеобщее недоверие — таков диагностированный Ключевским механизм системного кризиса российского общества»

Передо мной пять сложных вопросов и десять минут времени. Начну отвечать на первый вопрос, и, может быть, успею на него ответить. Итак, «помогает ли Ключевский понять советское и постсоветское общество?»

Конечно, читать Ключевского нужно, чтобы знать и чувствовать русскую историю, без чего нельзя понять советское и постсоветское общество. Однако не стоит думать, что в его лекциях по русской истории или в «Боярской думе» можно найти исчерпывающие объяснения советскому строю и постсоветскому неустройству. Я вообще думаю, что советский и постсоветский социумы не являются воспроизводящимся инвариантом русской истории, как бы его там ни называли: «государственным крепостничеством», «авторитаризмом» или как-то еще. Во всяком случае, о подобной социально-исторической «системе-матрице», про которую у нас часто толкуют, Ключевский ничего не говорил.

Концепцию русской истории «по Ключевскому» можно, пожалуй, свести к двум генеральным тезисам. Первый тезис: относительная слабость сословий и, соответственно, относительная сила государственной власти в конце XV и первой половине XVI веков, то есть в то время, когда складывалась русская разновидность европейского абсолютизма, что привело к закреплению сословий. А дальше, с XVIII века, и это второй тезис, начался обратный процесс раскрепощения сословий, или, по слову самого Ключевского, «возвращение к совместному историческому действию русского народа».

На этом пути Ключевский выделял и солидаризовался с позицией «людей меры и порядка», как он их называл, поясняя, что таким людям равно чужды и стремление учинить хаос ради устройства нового порядка, и готовность пожертвовать ради старообрядного правоверия самой верой. Кстати говоря, такими словами он охарактеризовал Екатерину Великую. При этом, в отличие от легиона «прогрессистов», всегда готовых заболтать модернизацию, Ключевский ясно указывал две простые цели и два простых критерия действительной модернизации:

- а) «общее благо» (благосостояние народа);
- б) «политическое общежитие», обеспечивающее достижение такого общего блага.

Следует напомнить, что Ключевский диагностировал не только слабость русских сословий-классов перед государевой властью, но и, что не менее важно, их вражду друг с другом. То есть социальный антагонизм не только вертикальный, но и горизонтальный. Он говорил о «тройственном антагонизме» применительно к ситуации середины XIX века, когда готовилась и проводилась Великая реформа. Тогда в русском антагонизме сошлись правительство, дворянство и крестьянство, а потом, через двадцать-тридцать лет, в круг антагонистов вошли буржуазия и рабочий класс.

Итак, социальный антагонизм и всеобщее недоверие — вот диагностируемый Василием Осиповичем механизм заглубляющегося системного кризиса русского общества. Отсюда следует генеральный вывод: «малость», «худость» социального опыта мирного межсословного взаимодействия — это главная социально-историческая проблема России, как видел ее Ключевский. Соответ-

ственно, накопление опыта широкого социального, «межсословного» взаимодействия являлось (и до сих пор остается) главной социально-исторической задачей, стоящей перед Россией.

Здесь, как видим, получается порочный круг или то, что Дуглас Норт назвал плохой «институциональной колеей». Как же преодолеть и возможно ли преодолеть этот фундаментальный социальный недостаток? Можно ли из такого вот круга национальной истории выйти в спираль устойчивого развития?

По Ключевскому, выйти можно и нужно. Выход он связывал с пробуждающей и развивающей национальные силы деятельностью просвещенного правительства. В этом он усматривал особенность исторической ситуации в России и «окольного пути русского». В своем очерке о Екатерине он говорит, что в «Европе низы диктуют правительству, а в России правительство пробуждает низы и втягивает их в совместную работу». Говорит, прошу заметить, без всякого сарказма, о пробуждении народа на зов правительства. Правительственное устройство социального мира, замирение социальных антагонизмов, понуждение к социальному компромиссу, учреждение правил и механизмов политического общежития — это, по сути дела, не что иное, как программа *развивающего государства* или, выражаясь языком современной социальной науки, «государства развития».

Таким образом, если говорить об уроках Ключевского, то я вывожу из его трудов следующую историко-социологическую триаду.

Первый пункт — европейский генезис русской истории. Ключевский, конечно, любил подчеркивать русскую самобытность, но он описывал ее в рамках европейской истории и посредством европейских концепций. Из исходного пункта национальной истории следует национальная сверхзадача — русское возрождение, понимаемое как русско-европейский ренессанс.

Второй историко-социологический урок касается необходимости для успеха национального развития России крепкого и авторитетного государства развития, или, в терминологии Ключевского, — деятельного, просвещенного правительства.

Третий урок носит методологический характер, и состоит он в преобразовательском почвенничестве или почвенническом реформизме, за который ратовал и которого придерживался историк-просветитель-публицист Ключевский. Это такой реформизм, который не обесценивает и разбазаривает, а, наоборот, берегает и приумножает социальный капитал нации и местных сообществ.

Это и сегодня вполне актуальная программа. Увы, для решения национальной сверхзадачи в России обычно как раз не хватало деятельного, просвещенного правительства и преобразовательного почвенничества. Да и сам Василий Осипович без излишнего оптимизма смотрел на готовность к созидательному взаимодействию русских радикалов и консерваторов, верхов и низов России. В очерке, посвященном 50-летию со дня смерти Грановского — а оно совпало с революционной ситуацией октября 1905 года, Ключевский писал о трагиче-

ской судьбе независимых русских общественных деятелей. Таких, как Грановский, Соловьев-старший, Кавелин, Чичерин (к ним он явно относил и себя). Это те самые «люди меры и порядка», и все они, как отмечал Ключевский, уходили из жизни с печатью трагедии на лице. В октябре 1905 года, когда в России всякий, кому не лень, толковал о конституции, это было трагическое предчувствие.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Михаил Николаевич. Мы выслушали три содержательных сообщения. Во всех них, как мне показалось, Ключевский рассматривался не столько как историк, сколько как мыслитель, ищущий выход из прошлого в будущее, а в самом прошлом ищущий опоры для изменения исторического маршрута России. И я бы хотел, чтобы в ходе дискуссии мы больше внимания уделили вопросу о том, что конкретно есть в русской истории «по Ключевскому», какой именно позитивный капитал, позволяющий не только временно возрождаться после деградаций, но и преодолеть саму тупиковую цикличность этих деградаций и возрождений.

Михаил Николаевич Афанасьев говорил, что Ключевский констатировал европейское начало русской истории. Давайте это тоже обсудим, у меня здесь есть вопросы. Ольга Анатольевна ссылаясь на знаменитое высказывание Василия Осиповича, что русский ум хватается за чужое и не может соединить это чужое со своим. Но что означает такое соединение и как его осуществить? Похоже, ответ Ключевский не нашел. Когда он рассуждает о славянофилах и западниках, он не примыкает ни к тем, ни к другим, но и органически синтезировать их идеи в чем-то третьем у него не получается. И потому у меня такое впечатление, что для него вопрос о динамике русской истории оставался открытым. Да, главную развивающую и консолидирующую силу он, как напомнил нам Михаил Николаевич, видел в правительстве, однако реального реформаторского потенциала у правительств своего времени не обнаруживал.

Так что вовсе не случайно, может быть, не стал Ключевский продолжать свой курс применительно к пореформенной России, завершив его эпохой Николая I. Показательно и то, что в начале XX века он как-то заметил, что интеллектуально и психологически остался в XIX веке. Короче говоря, в наследии Ключевского обнаруживается, по-моему, и вопрос о том, каковы специфические особенности российской истории, каков ее модернизационный потенциал и каковы перспективы ее возможной эволюции. Подчеркиваю: вопрос, а не ответ.

Переходим к свободной дискуссии. Кто хочет выступить?

Александр ОБОЛОНСКИЙ (профессор Высшей школы экономики): «Актуальность Ключевского в том, что он показал: в России при обилии законодательства всегда было мало Права»

Не на все, но на два вопроса из вынесенных на обсуждение я попробую отреагировать. В последнее время мне часто вспоминается фраза из дневни-

ков Ключевского о том, что история ничему не учит, но она строго наказывает за невыученные уроки. И вся история нашего XX века, а также первое десятилетие XXI века служат для меня печальным подтверждением этой максимы.

Прежде всего, в связи с тем, что говорил Михаил Николаевич Афанасьев, мне вспомнилась замечательная фраза Ключевского о екатерининской Комиссии по выработке Уложения. Когда она собралась, то, как пишет Ключевский, главным было преодолеть закоренелое общественное недоверие к правительственному призыву к содействию, ибо общество по опыту знало, что ничего из этого, кроме бестолковых распоряжений и новых тягостей, не выйдет. Думаю, эта фраза дает много материала для близких и далеких аллюзий.

Теперь по первому вопросу: помогает ли Ключевский понять историю нашего XX века? Это самый удобный момент, чтобы поговорить об отношении Ключевского к реформам Петра I. В начале своих текстов на эту тему, особенно в публичных лекциях, Ключевский говорит общие позитивные, «политически корректные» вещи: называет реформатора Великим, отмечает в нем «счастливое сочетание талантов» и т.п. Но если мы возьмем и будем внимательно читать четвертый том его курса, посвященный петровской реформе, то увидим и другое. Мы увидим, что его дифференцированный анализ различных сторон деятельности Петра буквально камня на камне не оставляет от столь любимого нашего тезиса о замечательном Петре, до которого якобы был мрак, а с ним снизошел на Россию свет.

Напомню основные выводы Василия Осиповича.

Во-первых, он констатирует сугубо инструментальное отношение Петра к Западу. Петр, по Ключевскому, брал на Западе только средства — прежде всего, технические и военные, но абсолютно дистанцировался от духа, эти средства породившего, что и проявилось в цитируемой Ключевским петровской фразе: «Европа нам нужна на несколько десятилетий, а потом мы повернемся к ней задом».

Во-вторых, Василий Осипович пишет о чудовищной человеческой цене петровской политики. Он приводит такие цифры: в 1710 году, к середине петровского царствования, население в России по сравнению с 1680 годом уменьшилось на четверть.

В-третьих, констатируется невероятный взлет коррупции при Петре. Есть у Ключевского такая замечательная фраза: «Дьяки и подьячие XVII века брали умереннее и аккуратнее, а дело свое знали лучше, чем их европеизированные преемники, которые отличались полным бесстрашием по поводу злоупотреблений». И еще он говорит, что именно при Петре появилось бюрократическое государство, которое стеной отгородилось от общества.

В общем, мое прочтение Ключевского и его отношения к Петру следующее: Петр был псевдомодернизатором, который лишь оседлал и повернул к худшему те тенденции к модернизации, которые уже и без того сложились к началу

его царствования, и оседлал он их лишь для того, чтобы усилить государственный деспотизм, сделать его более эффективным, но с точки зрения все тех же деспотических, античеловеческих, имперских целей. Конечно, всякая историческая аналогия условна и даже может ввести в заблуждение, но в петровской модернизации с оговорками, но вполне определенно просматривается прототип модернизации сталинской.

Аktуален ли сегодня Ключевский? Ответу его же замечательным пассажем: «Меня часто обвиняют в том, что я в русской истории мало обращаю внимания на право. Но меня приучила к этому русская жизнь, которая веками не признавала никакого права». И далее: «Юрист, и только юрист, ничего не поймет в русской истории, как целомудренная фельдшерница никогда не поймет целомудренного акушера». Потому что в России при обилии законодательства всегда было очень мало собственно Права. В сущности, можно сказать, что Ключевский в этом смысле был своего рода предтечей либертариизма на русской почве.

Утратило ли современное российское общество средства к «самоисправлению»? С моей точки зрения, нет, не утратило. И я надеюсь, что эмпирическое подтверждение этой точки зрения появится в течение пяти-шести лет. Появится вопреки очень популярной у нас идеи исторической фатальности, якобы неизменности нашей ментальности, из чего выводится, что нам ничто хорошее, в том числе западное, не подходит и у нас не приживется. Причем любопытно, что парадигма эта популярна на прямо противоположных идеологических флангах. Для либералов она имеет окраску безнадежности и одновременно служит как бы индульгенцией на пассивность, когда они говорят об этом упаднически: дескать, увы, народишко у нас такой, и потому ничего хорошего у нас не получается. С другой стороны, консерваторы-охранители всех видов говорят об этом с видимым удовольствием, любят цитировать Пушкина: дескать, правительство — единственный европеец в России. На самом деле, это уже и во времена Пушкина было далеко не так, а теперь тем более. Привожу запись Вернадского из его дневников (причем сделанную в 1938 году): «Политическая верхушка в деловом и нравственном выражении хуже средней массы народа, в партии собрались подонки, воры...» Так что Алексей Навальный имеет неплохих предшественников в этом плане.

И последнее, о чем я хочу сказать. Есть такой без конца повторяемый тезис, что история не имеет сослагательного наклонения. Конечно, как хроника событий она его не имеет, но как только она начинает становиться наукой, она просто обязана включать в дискурс обсуждение различных альтернатив развития. И очень хорошо, что Институт всеобщей истории выпустил несколько сборников как раз об альтернативной истории. Я напому фразу Гуссерля, что переживание нереализовавшихся исторических альтернатив есть необходимый атрибут исторического сознания. А так называемый *value free approach* и прочие модные вещи хороши на уровне получения и анализа фактов. Но

чаще всего этим прикрывается некая безразличность к судьбам реальных стран и людей, этакое равнодушие наблюдателя из башни из слоновой кости. У Ключевского этого никогда не было, о чем здесь справедливо говорили выступавшие до меня.

Игорь КЛЯМКИН: Насколько могу судить, в интеллектуальной среде всеобщего восхваления Петра в наши дни не наблюдается. Скорее дело обстоит наоборот. А вот Ключевский таким «антипетровским», каким Вы его представили, по-моему, не был...

Александр ОБОЛОНСКИЙ: Возьмите четвертый том — убедитесь сами.

Игорь КЛЯМКИН: Да, он говорил, что брали у Запада средства, но не брали способы их достижения. Это так. Но это не значит, что он критически оценивал сам факт того, что брали средства.

Александр ОБОЛОНСКИЙ: В том-то же и суть: взять плоды чужого развития, но ни в коем случае не дух свободы и интеллектуального поиска, их породивший. Ибо этот дух несовместим принципиально с петровским деспотизмом.

Игорь КЛЯМКИН: Ключевский это констатировал, но альтернативы петровскому варианту развития он, насколько помню, задним числом не выдвигал. И вообще пристрастия к «сослагательному наклонению», то есть к альтернативистскому подходу в его трудах я не обнаружил. Может быть, я чего-то не заметил или забыл. Послушаем, что профессиональный историк нам скажет.

Сергей СЕКИРИНСКИЙ (ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН): «Современный историк, независимо от предмета его занятий, нередко ближе не к Василию Ключевскому, а скорее к Николаю Карамзину»

Ключевский умер сто лет назад, но до сих пор он остается самым читаемым далеко за пределами профессионального круга русским историком. Иногда даже создается впечатление, что, подобно тому, как в иные времена, согласно ироническому замечанию Василия Осиповича, «вся философия нашей истории сводилась к оценке петровской реформы», а «весь смысл русской истории сжимался в один вопрос: о значении деятельности Петра», так и ныне всю историографию отечественной истории сводят к «Курсу» Ключевского. Вряд ли стоит доказывать, что дело обстоит иначе. Но исключительное признание Ключевского, конечно, заслужил не напрасно.

У всякого времени — свой конек. И свои историки, которые не стоят в стороне от жизни. Поэтому, говоря о Ключевском, читаемом в наши дни, нельзя не

сказать о преобладающем житейском умонастроении значительного сегмента современного научно-исторического сообщества. Это умонастроение коротко определяется формулой «тоска по быломu», и оно сильно влияет на профессиональную деятельность тех, кто его разделяет. Так происходит и когда речь идет о сравнительно недалеком прошлом, составляющем часть собственной жизни историка, и когда он экстраполирует нажитый опыт в гораздо более отдаленные времена. Хотя кому, как не историку, знать, что «прошлое» — категория крайне изменчивая: достаточно сравнить дореволюционную Россию и тоже ушедший в небытие Советский Союз. Любой «застой» рано или поздно теряет последних приверженцев среди современников, чутких к жизни, а «ретроспективные утопии», возвращающие «застой» видимость обаяния, создаются уже в другие времена, одно из которых мы переживаем сейчас.

Однако сам Ключевский к такому типу историков не принадлежал. В середине XIX века отечественная историография в лице К. Кавелина, С. Соловьева, Б. Чичерина, самоопределяясь в качестве историко-научного знания, давала и свой прогноз социально-политического развития России. При этом миф о Петре Великом — первой свободной личности в России и образцовом реформаторе — оставался стержневым звеном в историческом обосновании либеральных реформ. Ключевский жил в иную эпоху. Отдавая Петру должное, историк уже не видел в нем примера для подражания, предлагая расширить сферу критического анализа русского прошлого за счет тех «приемов и привычек управления», которые окончательно сложились при Петре, но совсем не оправдывались изменившимися условиями в конце XIX — начале XX веков.

А в наши дни среди историков становится модным не столько писать о назревших в тот или иной момент преобразованиях, сколько рассуждать о способности либо неспособности общества воспринимать разрушение традиционных институтов. Или, что то же самое, о несоответствии его адаптационных возможностей темпу модернизации. Все это можно было бы приветствовать, но с одной оговоркой, заимствованной у Талейрана: «Не слишком усердствуйте!» Ведь историк — не «археолог» (в старинном понимании термина), не просто «любитель древностей», целиком погруженный в мир прошлого, хотя именно такое отношение к ремеслу входит в последнее время в моду. Историк — тот, кто способен в истории почувствовать, говоря языком людей XIX столетия, ее «преобразовательный дух». Тот, кто носит в сердце, как было замечено об одном из ее немаловажных субъектов — Александре II, «инстинкт прогресса». Блистая отсутствием этих свойств ума и души, современный историк, независимо от предмета его занятий, нередко ближе не к яркой плеяде своих предшественников и современников Великих реформ и, тем более, не к продолжившему их труд Ключевскому. Он ближе, скорее, к Николаю Карамзину, который, как известно, считал, что «всякая новость в государственном порядке есть зло».

Сегодняшние историки не похожи на Ключевского в том числе и потому, что в его время в России к историкам было другое, чем сейчас, отношение. Летом 1893 года в одном из императорских дворцов Петербурга состоялся примечательный разговор о воспитании августейших детей. Собеседниками были Ключевский и министр императорского двора И. Воронцов-Дашков, личный друг Александра III. Университетский профессор, призванный к исполнению новой для него роли наставника великого князя Георгия Александровича, в скором будущем — престолонаследника, тотчас же поинтересовался у министра мерой отводимой ему свободы и услышал в ответ: «Вы должны помнить, что Вы — профессор и преподаете, что находите нужным. Делайте, что следует делать, а что из этого выйдет, за это Вы не отвечаете... Надобно рассеять мнения и предубеждения самоуверенного невежества: "Конституция — нелепость, а республика — бестолочь". У России общие основы жизни с Западной Европой, но есть и свои особенности. Что теперь несвоевременно, то еще нельзя назвать нелепостью...»

В этом наставлении для наставника бросается в глаза не только сам ход рассуждений, шедших вразрез с псевдорусской риторикой последних царствований, но и выраженное со всей определенностью доверие к ученому, признание самоценности его ремесла. В готовности даже неограниченной власти к самоограничению в тех случаях, когда речь заходила о разделении неополитических функций, — секрет ее уживчивости с яркими явлениями русской культуры, науки, просвещения и, соответственно, с европейским влиянием. Европейская траектория исторического движения империи и предопределила такую особенность политического мышления ряда представителей ее правящей элиты, как различие между «всегда нелепым» и «сегодня несвоевременным». Утрата же исторической перспективы, основой которой служило наблюдение уже обретенного Европой реального опыта, открыла дорогу для ретроспективных утопий. Выход из модернизационных конфликтов стали искать в имитации диалога с патриархальным народом, «простыми людьми», последним среди которых был Григорий Распутин.

За сто лет, прошедших после смерти Ключевского, люди его профессии многого натерпелись. Соответственно, изменились и критерии профессионализма, ставшего для лучших из них настоящей броней перед напором идеологии и политики, и потому заметно «окаменевшего». Высшим достижением историка стало считаться приращение фактов, допустимой слабостью — робость мысли, методологической изоционностью — намеренная запутанность выводов. Ведь сколько-нибудь значимая рефлексия о прошлом могла существовать только как точный сколок советской идеологии, а любой обобщающий труд вполне обоснованно ассоциировался не столько с утраченной свободой лекционного курса, сколько с принудительно-коллективной работой, стирающей индивидуальность и за это даже прозванной «братской могилой».

Но оборотной стороной такой защитной реакции науки оказалась потеря к ней живого общественного внимания. Неудивительно, что в подобном контексте Ключевский со своим «Курсом русской истории» оказался «живее всех живых». Его лекции, афоризмы, дневниковые записи с яркими зарисовками, остроумными парадоксами и налетом сарказма можно рассматривать в одном ряду с не теряющими остроты образцами русской классической сатиры. Или такими произведениями XIX века, как кюстиновская «Россия в 1839 году» и дневник профессора А.В. Никитенко. Произведениями, подчас оказывавшимися даже более убедительными не столько в качестве свидетельств о тогдашней российской действительности, сколько как прогноз на все следующее столетие. Читая отзывы Ключевского, например, о сотрудниках Петра, в руках которых после его смерти «очутились судьбы России», нельзя отделаться от ощущения, что перед тобой встают легко узнаваемые современные образы: «Сотрудники реформы поневоле, эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение... Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги... Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им взятки... Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они могли его только портить».

Злобой дня дышит и данный Ключевским 105 лет назад (в дневниковой записи) комментарий к истории взаимоотношений власти и общества в нашей стране, начиная с эпохи Александра I. Уподобляя реформы политической провокации, историк пояснял, что правительство давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем ее первые проявления, а потом накрывало «простаков». Отмечен был Василием Осиповичем и обратный эффект: «Оппозиция против правительства постепенно превратилась в заговор против общества». А разве только об имперских поляках и только ли о поляках было им сказано так, что и сейчас звучит остро, а читать больно: «Мы присоединили Польшу, но не поляков, приобрели страну, но потеряли народ».

Ключевский был наделен не только предощущением трагичного будущего, но и способностью перевоплощаться в давно ушедших исторических персонажей. Федор Шаляпин, которому довелось консультироваться с историком при работе над образом Бориса Годунова, свидетельствовал: «Говорил он... так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в исполнении Ключевского. Он так артистически передавал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось: "Как жаль, что Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия!"».

Игорь КЛЯМКИН: Благодарю Вас. Очень интересно, по-моему, Ваше замечание о разном понимании «профессионализма» досоветскими историками

и их советскими и постсоветскими преемниками. Следующий — Сергей Магари́л.

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета): «Надо помнить тезис Ключевского о том, что отечественная история не учит ничему, а только наказывает за невыученные уроки»

Не являясь профессиональным историком, я не возьмусь дискутировать о том, насколько научное творчество Василия Осиповича адекватно отражало отечественный исторический процесс. Я попытаюсь лишь проиллюстрировать, как работают научные идеи Ключевского. В частности, будет проиллюстрирован его тезис: «Отечественная история, в сущности, не учит ничему, она только наказывает за невыученные уроки».

В 1906 году Макс Вебер опубликовал статью «Переход России к псевдоконституционализму», в которой писал: «Когда знакомишься с документами Российской империи, поражаешься, какой в них вложен труд, как тщательно они разработаны, но всегда направлены к одной и той же цели — самосохранение полицейского государства. Бессмысленность этой цели ужасает». Промелькнуло одиннадцать лет, и история наглядно продемонстрировала: полицейщина — не самый надежный интегратор социума. Империя развалилась.

Что воздвигли революционеры-победители на обломках полицейской имперской государственности? Они воздвигли еще более жестокую и беспощадную полицейщину в форме диктатуры. И вновь история подтвердила — полицейское государство недолговечно. Невозможно вообразить: Советский Союз — вторая сверхдержава — развалился в условиях мирного времени, в отсутствие критически значимых внешних угроз, защищенный мощнейшим ракетно-ядерным потенциалом и обладая всей полнотой государственного суверенитета.

А что воздвигает правящий класс постсоветской России? Не так давно даже сам президент Медведев⁴¹ напомнил: «Не следует слишком сильно затягивать гайки». Но ведь уже затянули, а значит, нас ждет очередное наказание за «невыученные уроки». И тип этого наказания тоже известен. Приведу один лишь пример.

В мае 1862 года (всего год спустя после отмены крепостного права) в Петербурге и больших провинциальных городах появилась прокламация, озаглавленная «Молодая Россия». Она начиналась словами: «Россия вступает в революционный период своего существования». Призывая революцию, «кровавую и неумолимую», идейные предшественники радикал-революционеров начала XX века писали: «Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы... Мы не испугаемся,

41 Обсуждение проходило в мае 2011 г.

если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах... Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим... знамя будущего, знамя красное и с громким криком: "Да здравствует социальная и демократическая республика русская!", — двинемся на Зимний дворец, истреблять живущих там... Мы издадим один крик: "В топоры!", и тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами... На сколько областей распадется земля русская — этого мы не знаем. Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого будет достаточно незначительного повода!».

Текст прокламации содержит едва ли не все основные концептуальные положения грядущего большевизма. Его исторические предшественники отчетливо сформулировали важнейшие элементы революционной стратегии, включая беспощадный террор, истребление правящей династии, войну как основную предпосылку восстания, реки крови, распад России.

История показала: программа «Молодой России» была грозным предостережением властям и образованному обществу страны, свидетельствуя о назревании острейшего исторического вызова и политического кризиса. Однако этот вызов практически не был замечен и, тем более, должным образом осмыслен. Общество не осознавало зарождавшихся на его глазах предпосылок надвигающейся социальной катастрофы и ничего не предприняло для ее предотвращения. Исторический финал известен — имперская государственность рухнула; в горниле гражданского конфликта погибли миллионы.

Прошло 100 лет. Советские ученые пытались предупредить руководство СССР о нарастании кризисных явлений. Были доклады — вначале группы ученых во главе с академиком Кириллиным (конец 1970-х годов), а затем группы ученых во главе с нынешним академиком РАН Геловани (1985 год). Причем вторая группа указывала, что при дальнейшем движении страны по инерционной траектории на рубеже 1990-х годов возможен коллапс. И вновь никаких выводов сделано не было.

Работая над одним из своих текстов, я решил посмотреть, что думают современные ученые-обществоведы о тенденциях постсоветской России. Мне не составило труда найти более 60 самых тревожных оценок тех системных рисков, которые вновь порождает движение России по инерционной, исторически тупиковой колее. Однако ни власть, ни общество на эти оценки и прогнозы опять-таки не реагируют. Где тут способность усваивать уроки истории?

Естественно, возникает вопрос: почему так? Сошлюсь на доклад присутствующего здесь Теодора Шанина, прочитанный им года три назад в дискуссионном клубе Билингва. По мнению господина Шанина, в России, в отличие от англоязычных обществ, постигавших себя в процессе развития социальных наук, российское общество постигало самое себя из литературы.

Игорь КЛЯМКИН: До Ключевского, как понимаю, так и не доберетесь?

Сергей МАГАРИЛ: Так я же как раз иллюстрирую его идеи, как они работают в нашем современном обществе и почему мы хронически не способны извлечь уроки из предостережений классика и мудреца. Сэр Исайя Берлин, проработавший в посольстве Великобритании в Москве с 1945 по 1955 год, в 1957 году написал статью, где, излагая свои впечатления о советской интеллигенции, затронул и качество образования в СССР. По его мнению, в молодежи скорее поощряется интерес к техническим наукам. А чем ближе к политике, тем хуже образование. Хуже всего оно поставлено у юристов, экономистов, историков современности.

И последнее. Социокультурный раскол в ходе сегодняшней дискуссии был упомянут несколько раз. Осмелюсь предположить, что именно он — социокультурный раскол — породил в XX веке в России такие механизмы национального самоистребления, как гражданская война, коллективизация, голодомор, массовые государственные репрессии. Было также сказано, что социокультурный раскол, к сожалению, воспроизводится. Действительно, об этом свидетельствуют чрезвычайно высокий уровень взаимного недоверия россиян, глубочайшая и продолжающая расти имущественная поляризация. Вновь воспроизведен и высочайший уровень отчуждения народа от власти.

Уважаемые коллеги! Сохранение и воспроизводство социокультурного раскола означает: в обществе сохраняются предпосылки для нового старта механизмов самоистребления. Нам всем есть над чем подумать. Именно мы транслируем в общество социогуманитарные знания. И нынешнюю правящую псевдоэлиту воспитали мы с вами, уважаемые коллеги.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо. Мы собрались обсудить, чем может быть полезна для понимания нашей истории — досоветской, советской, постсоветской — история Ключевского, а не для того, чтобы поговорить о русской истории вообще и ее уроках. Это другая тема. Дело не в том, что мы не хотим обсуждать ее в принципе, но она другая и уходит от предмета сегодняшней дискуссии.

Пожалуйста, Липкин Аркадий Исаакович.

Аркадий ЛИПКИН (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «У Ключевского нет понятийных инструментов, необходимых для осмысления современной сложной ситуации»

Буду краток. Я не историк, а философ, поэтому выскажу лишь ряд общих методологических тезисов.

Начну с того, что социокультурная структура и институты сегодня и последние 300 лет в России в основе те же самые. Отсюда актуальность анализа деятельности Петра. Но адекватность анализа зависит от того понятийного аппарата, тех понятийных инструментов, которые используются. Я считаю, что

таких инструментов у Ключевского нет. Он дает материал интересный, смотреть его надо, но вынести что-нибудь полезное сегодня, исходя из методики, которую он предлагает, нельзя, поскольку это все неадекватно, недостаточно для того, чтобы схватить современную сложную ситуацию.

Что касается вопроса о том, как с помощью западноевропейского ума научиться жить своим умом, то ответ на него, по-моему, очевиден: надо осваивать интеллектуальные средства, которые предложены Западом. Но они тоже могут оказаться недостаточными. И потому, что российский материал другой, и потому, что в связи с новым витком глобализации все качественно усложнилось, и аппарата, наработанного Западом, не хватает для решения даже его собственных проблем.

О других вопросах, предложенных для обсуждения. Утратило ли современное российское общество способность к «самоисправлению»? Кто же это знает? В любом случае надо «сбивать сметану». В каком объеме можно преподавать историю? Ну, во-первых, в таком, в каком школьники и студенты способны его усвоить, если хорошо преподавать. А во-вторых, преподавать лучше хорошо.

Несколько слов о невежестве и ответственности за невежество, о чем говорил один из выступавших. Здесь первый вопрос: невежество кого? Где те «прогрессивные» субъекты, которых призывают учесть взгляды экспертов? Таковых субъектов я не вижу, и это опять же связано с социокультурной структурой общества, причем не только сейчас. Как я уже сказал, она последние 300 лет в основном одна и та же. Как показывает анализ многих явлений (например, развития науки и техники), Октябрь 1917 года не является таким уж обрывом основной институциональной традиции «вертикали власти», являющейся аналогом «иглы Кощея». Многие досоветские структуры и институты были воспроизведены в советский, а затем и в постсоветский период. Но, повторяю, понять их природу Ключевский нам не поможет.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Аркадий Исаакович. Хотелось бы, конечно, побольше узнать о том, в чем именно заключается неадекватность инструментария Ключевского. Равно как и о том, какой инструментарий адекватен. Но времени на это у нас сейчас нет. Следующий — Александр Борисович Каменский.

Александр КАМЕНСКИЙ (декан факультета истории Высшей школы экономики): «Не надо делать из Ключевского икону»

Я заранее прошу извинения за то, что то, что я скажу, может показаться чересчур резким. Прежде всего, хочу спросить: мы на поставленные вопросы пытаемся найти ответы на основе научного знания или на основе исторических мифов? Если на основе исторических мифов, то тогда понятно, каков будет результат. То, что мы слышим сегодня, — это преимущественно относит-

ся к историческим мифам. И один из них — миф о Ключевском как великом русском историке.

Когда мы говорим «великий математик» или «великий физик», мы понимаем, что это определяется достижениями в науке. Достижения Ключевского в науке — это ряд написанных им монографий. А «Курс русской истории» — это не научное исследование, это именно курс лекций. Здесь несколько раз говорилось: «Ключевский писал...» Но он не писал, а читал лекции, которые за ним записывали. И то, что мы имеем, — это отредактированная им реконструкция записей его лекций. Это популярные тексты, за которыми по большей части не стоят научные исследования. И те примеры, которые сегодня прозвучали, в значительной степени это только подтверждают.

Вот, скажем, Алексей Алексеевич Кара-Мурза в самом начале сформулировал нравственный урок, извлекаемый из Ключевского, и подтвердил его двумя историческими примерами из XIV и начала XVII веков. Но интерпретация Ключевского полностью противоречит тому, что сегодня знают историки о событиях XIV века и Смутного времени. Или вот была приведена цитата Ключевского о екатерининской Уложенной комиссии. Она свидетельствует о полнейшем непонимании Ключевским того, что в Уложенной комиссии происходило. Говорилось также о Петре и о дискуссии о Петре. Господа, но давайте вспомним, что точка зрения Ключевского на Петра эволюционировала, она не была все время одинаковой, и немалое значение имело то обстоятельство, что Ключевский сыграл, мягко говоря, не очень красивую роль в судьбе Павла Николаевича Милюкова. Ключевский заблокировал присуждение ему докторской степени за диссертацию, в которой Милюков предлагал абсолютно иной взгляд на Петра и петровскую реформу. И те цитаты из позднего Ключевского, которые здесь прозвучали, свидетельствуют о том, что, сделав это, он, на самом деле, использовал материалы Милюкова, петровскую реформу переосмыслив. А Милюкова, в свою очередь, опровергли в XX веке. Есть исследования, в которых доказывается, что, вопреки Ключевскому, не было никакого уменьшения податного населения на 25 процентов. Не было этого! Неправильно он считал и пользовался недостоверными источниками. А у нас Василий Осипович — как икона.

Странно, что многие люди, пытающиеся осмысливать судьбы отечества и размышлять о его будущем, свои знания русской истории основывают исключительно на Ключевском. Если у него что-то написано, значит, так оно и было. Но после Ключевского прошло 100 лет. Написаны сотни научных исследований, которые почему-то никто не хочет читать. А я скажу, почему. Потому что, в отличие от лекций Ключевского, они написаны сухим научным языком. А у Ключевского (те цитаты, что сегодня прозвучали, об этом свидетельствуют) очень яркий, очень образный язык, который легко запоминается. Я, к примеру, всегда своим студентам говорил: Ключевский написал, что при Анне Иоанновне немцы посыпались на Россию как горох. Вы один раз это прочитали и сразу

запомнили. И вся Россия это запомнила. А этого не было, это было опровергнуто уже современниками Ключевского, и он, кстати, об этом знал.

Алексей Алексеевич говорил о философах XX века, которые своими представлениями о русской истории были обязаны Ключевскому. Я, честно говоря, не могу с этим согласиться. Я полагаю, что люди, имена которых упомянул Алексей Алексеевич, были гораздо образованнее — в том смысле, что они читали не только Ключевского. Их представления о русской истории далеко выходили за рамки того, что было предложено Ключевским. Поэтому мне кажется, что, прежде всего, не надо делать из него икону.

Да, я бы согласился с тем, что никто не превзошел Ключевского как популяризатора русской истории. Но когда мы всерьез думаем о судьбах отечества, давайте ориентироваться не на Ключевского, а на науку. И даже прозвучавшие нравственные уроки, как мне кажется, это не какие-то откровения, которые больше нигде нельзя прочесть и которые только у Ключевского и можно найти. Да нет, не так это.

Алла ГЛИНЧИКОВА (доцент кафедры политологии Московского государственного лингвистического университета): Не могли бы Вы назвать пару-тройку этих самых «других», то есть «настоящих» историков, которых следует читать?

Александр КАМЕНСКИЙ: Историография затронутых здесь сюжетов огромна. Был такой замечательный историк Александр Александрович Зимин, который писал в том числе о XIV веке. Из-под его пера вышло примерно полтора десятка монографий. Мы, скажем, вспоминаем, что Ключевский говорил о Сергии Радонежском. Но историки сегодня знают, что Дмитрий Донской не ездил получать благословление у Сергия Радонежского накануне Куликовской битвы. Это миф, который возник, по меньшей мере, через 150 лет после их смерти. Понимаете? Вот о чем идет речь. Если же мы говорим о XVIII веке, то я бы назвал Евгения Викторовича Анисимова, его работы. У него в 1982 году вышла монография «Податная реформа Петра I», в которой он рассматривает те же сюжеты, что и Милюков в своей монографии «Государственное хозяйство России», и в значительной мере Милюкова опровергает. Речь идет о сотнях работ, сотнях капитальных исследований.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо. Устроил Вас ответ?

Алла ГЛИНЧИКОВА: Не совсем...

Игорь КЛЯМКИН: В таком случае попробуйте обратиться к Александру Борисовичу в частном порядке. Есть еще желающие выступить? Пожалуйста, Олег Будницкий.

Олег БУДНИЦКИЙ (ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН): «Сейчас Ключевский — скорее хорошая литература, чем история, и именно за это давайте его любить»

Я бы хотел немного вступиться за Ключевского. В основном я согласен с Александром Борисовичем: смешно сейчас считать, что Ключевский — последнее слово науки. Но он все же читал лекции на историко-филологическом факультете МГУ. Да, они были открытые, но это не означало, что они предназначены для людей с улицы. Лекции читались для студентов-историков, и записывали их ученики Ключевского, а он их редактировал. Так что он отвечает за то, что там написано, и дело не только в стиле, но и в содержании.

Василий Осипович был человеком очень разносторонним, но отнюдь не столь благостным, каким выглядит в некоторых прозвучавших выступлениях. Александр Борисович об этом уже говорил. Когда Милюков защищал магистерскую диссертацию, а не докторскую, было предложено присвоить ему степень доктора. Ключевский восстал против этого, и восстал неправильно, потому что «Государственное хозяйство» было трудом, который бесспорно соответствовал докторской степени. Но он не смог преодолеть себя и позволить ученику сразу получить такое признание.

То, что я здесь сегодня услышал, было любопытно. Но мне кажется, что в некоторых выступлениях Ключевский был использован как «гвоздь», на который были «навешаны» рассуждения, либо не имеющие к Ключевскому никакого отношения, либо основанные на отдельных, вырванных из контекста фразах. Рассматривать сейчас работы Ключевского как некую основу для осмысления прошлого и будущего с точки зрения профессиональных историков просто нельзя. И здесь я совершенно согласен с Александром Борисовичем.

Другое дело — само отношение Ключевского к отечественной истории. Я хочу только на одну сторону обратить внимание. Ключевский чувствовал иронию истории, чего очень многим историкам и политическим деятелям не хватает. Я Ключевского читал давно и могу ошибиться, но я думаю, что он неспроста обратил внимание на замечание Екатерины II, которая, разбирая бумаги Петра, сказала, что для предотвращения беспорядка он был готов разрушить любой порядок. А как Василий Осипович относился к героическим мифам? Описывая поход русского флота, когда Алексей Орлов обещал Екатерине, что «скоро Вы услышите о чудесах», Ключевский иронизирует: «...И чудеса действительно начались: в Европе нашелся флот хуже русского». По счастью, это был флот турецкий, с которым произошло сражение. Надо было быть Ключевским, чтобы так суметь подняться над отечественной историей и посмотреть на нее иронически.

Многим из нас этого не хватает. Чересчур впадаем в пафос и не всегда чувствуем некоторую иронию истории, а иногда наши рассуждения приобретают, наоборот, чересчур катастрофичный характер. В жизни все лучше, чем нам иногда кажется. И вообще, когда мы пытаемся найти в истории смысл и пыта-

емся вывести закономерности, неплохо помнить о Шекспире: как говорилось в одном известном фильме (я перефразирую сказанное применительно к истории), история — это страшная сказка, рассказанная дураком; в ней мало смысла, но много шума и ярости. И это в значительной степени так и есть. XX век — наилучшее подтверждение: войны (особенно Первая мировая), самоубийство Европы, на ровном месте произошедшее. Но в то же время в истории, по счастью, есть и не только страшные и трагические, не только безумные страницы.

Работы Ключевского — душеспасительное чтение. Когда его читаешь, это как-то немного примиряет с прошлым и заставляет оптимистичнее думать о будущем. Надо только отдавать себе отчет в том, что сейчас Ключевский — скорее хорошая литература, чем история. И именно за это давайте его любить.

Игорь КЛЯМКИН: Евгений Григорьевич, теперь Вы.

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): «Я предлагаю нашим историкам написать такую историю России, которая была бы так же увлекательна для чтения, как курс Ключевского, и не имела тех недостатков, которые нынешние историки в этом курсе находят»

Выступления уважаемых историков, которые я здесь услышал, не изменили моего крайне почтенного, даже любовного отношения к Ключевскому. Мне показалось символичным, что Александр Борисович Каменский, говоря об историках, которые Ключевского «превзошли», называл имена авторов, труды которых посвящены отдельным историческим периодам. Наверное, эти труды хороши, наверное, они лучше, чем у Ключевского, документированы, в них многое уточнено и детализировано. Но выполнена ли современными историками та работа, которую для своего времени выполнил Василий Осипович? Есть ли у нас изложение российской истории в целом, в котором прослеживались бы какие-то сквозные линии, фиксировалась историческая преемственность и историческая динамика? Такую работу, кстати, в свое время осуществлял не только Ключевский, ее осуществляли и другие, но вы их не упомянули в числе тех, кто соответствует современным научным критериям. Пусть так, но факт ведь и то, что таких курсов, как у Ключевского, сегодня нет.

Александр Борисович противопоставляет науку и популяризаторство. Но я бы не стал столь пренебрежительно, как он, относиться к популяризаторской миссии историка. Потому что она очень важна. В противном случае наше общество не научится мыслить исторически, не научится видеть в современности следы истории, не научится извлекать из нее уроки.

Мне, например, был бы интересен популярный курс истории, в котором прослеживается то, что происходило в России с различными институтами. На мой взгляд, именно в институтах проявляется у нас влияние прошлого —

как правило, негативное. Оно, это прошлое, характеризуется тем, что в нем постоянно убивались любые попытки институционального контроля общества над государством. И сегодня люди должны знать, что ничего хорошего из этого в конечном счете не получалось. Они должны выучить этот урок, но наши историки им его, к сожалению, не преподают. А тех, кто такую работу пытается делать, они от своей науки отлучают, отводя им вторичную роль популяризаторов.

Я хочу предложить уважаемым господам историкам написать такую историю России, которая была бы так же увлекательна для чтения, как курс Ключевского, и не имела тех недостатков, о которых говорил Александр Борисович. Пока ничего похожего они не написали. Да, это делают другие: мне нравится, скажем, книга Александра Ахиезера, Игоря Клямкина и Игоря Яковенко «История России: конец или новое начало?» Однако они не историки. Историки же такую работу игнорируют, но и сами ничего похожего не предпринимают. И мне остается лишь пожелать им, чтобы они, чувствуя себя впереди Ключевского в смысле научности, не отбрасывали ту традицию исторического просвещения, которая в значительной степени связана именно с его наследием.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Евгений Григорьевич. У меня есть возможность по три минуты дать основным докладчикам. У Алексея Алексеевича есть желание. И у Ольги Анатольевны. Кто первый?

Алексей КАРА-МУРЗА: «Ключевский был не только историком, но и историософом, который отвечает на другие, чем “чистый” историк, вопросы»

Уважаемые коллеги, это хорошо, что Ключевского обсуждают представители различных специальностей. Я думаю, что для тех, кто понимает контекст сегодняшнего разговора, очевидно, что в нем участвовали не только историки, но и люди, занимающиеся историософией, философией истории. Но и для них, разумеется, совершенно очевидно, что та конкретная история «по Ключевскому», как она понимается «чистыми» историками, не могла не устареть. Такая «история» всегда устаревает при открытии новых источников и появлении новых текстов. Поэтому Зимин или Анисимов лучше узнали историю тех или иных периодов, чем знал ее Ключевский.

Но дело в том, что, в отличие от «чистых» историков, которые отвечают на вопрос: «Как это было?», Ключевский был еще историософом, и этим он близок тем людям, которые занимаются философией истории и философией культуры. А философия истории отвечает на другие вопросы. Как и почему то или иное в России возможно? В чем смысл русской истории?

У меня лично нет сомнений в том, что это различие было вполне ясно всем талантливым ученикам и последователям Ключевского. Например, тому же Павлу Милюкову, который, вопреки прозвучавшему здесь утверждению, вовсе

не стал «жертвой Ключевского», якобы из ревности «зарубившего» его докторскую диссертацию. Милюков, как справедливо заметил Олег Будницкий, защищал не докторскую, а магистерскую диссертацию, и хотя ряд членов Совета предлагали присудить ему сразу степень доктора, но большинство (включая Ключевского) посчитали это «непедагогичным» в отношении молодого исследователя.

И вообще, рассуждать о Ключевском как «злом гении» Милюкова — это крайне неисторично. Достаточно напомнить, что Василий Осипович, пользуясь своими связями, два раза буквально вытаскивал своего ученика, ушедшего в политику, из тюрьмы, много помогал молодой семье, так как жена Милюкова была любимой ученицей Ключевского и дочерью его друга. И сам Милюков после смерти Ключевского ответил ему глубочайшей благодарностью: прочитайте его обширный некролог на смерть учителя. Это самая лучшая и самая теплая мемуарная литература о Ключевском.

Напомню также, что Георгий Федотов, профессиональный историк, хотя и был выходцем из санкт-петербургской исторической школы Ивана Михайловича Гревса, всегда считал себя еще и учеником москвича Ключевского, в первую очередь в историософском плане. Федотов отлично понимал, что с точки зрения осмысления вновь открытых фактов сам он в своих «Святых Древней Руси» ушел намного дальше старых работ Ключевского по этой же теме. Однако фразы «Ключевский устарел», «Ключевский — это миф» прозвучали бы для Федотова кощунственно.

Ну и последнее — о том, что могло бы нас объединить в «теме Ключевского». В Москве нет ни одной мемориальной доски в память о Василии Осиповиче, который прожил в Москве полвека. Действительно, так сложилось, что много домов, особенно в Замоскворечье, где жил Ключевский, разрушены. Но два мемориальных места есть. Это знаменитая студенческая «общага» в Козицком переулке, где Ключевский прожил несколько месяцев, приехав из Пензы, где бросил семинарию, в Московский университет. И это хорошо сохранившийся дом на Малой Полянке, где Ключевский прожил двенадцать лет и где, кстати, будущий лидер русских либералов Павел Милюков и познакомился со своей будущей женой. Скажу, что возглавляемый мной Фонд «Русское либеральное наследие» собирается установить на одном из этих домов мемориальную доску, и я уверен, что Фонд «Либеральная миссия» станет нам в этом благородном деле хорошим партнером.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Ольга Анатольевна, пожалуйста.

Ольга ЖУКОВА: Ограничусь репликой в адрес уважаемых историков. Я думаю, фигура Ключевского такова, что разные позиции и оценки его вклада в русскую историографию неизбежны. Но, разумеется, мы как основные

докладчики, совершенно не стремились представить Ключевского как человека, который когда-то сказал последнее слово в науке. Это наивное обвинение, и принять его невозможно. Мы попытались показать Ключевского как человека, поставившего проблему понимания истории и предложившего свой осмысленный нарратив.

Большое спасибо, Евгений Григорьевич, за то, что Вы оценили работу Василия Осиповича в этом отношении. Нарратив Ключевского оказался ответственным словом историка, обращенным к будущему, и неслучайно здесь возникло имя Шекспира. Шекспир в своих хрониках «вышивал» по канве времени. Вероятно, Ключевский тоже «вышивал», но он предложил продуктивный ход, акцентируя вопрос о соотношении мысли и действительности. И это остается центральной проблемой нашего понимания истории и сегодня.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Ольга Анатольевна.

Алла ГЛИНЧИКОВА: У меня тоже реплика. Можно? Уважаемые коллеги, я только одну вещь хочу сказать: в ходе этой дискуссии, мне кажется, мы столкнулись с очень важной проблемой — проблемой, которая стоит сегодня и перед историками, и перед философами, и перед филологами. Мы часто мешаем друг другу вместо того, чтобы сотрудничать. Мы заражены высокомерием, мы не слушаем друг друга. А вырваться из тех стереотипов, в которых мы сегодня живем, можно в том случае, если мы откроемся друг другу и не будем лишать права философов анализировать русскую историю, лишать права историков вторгаться в сферу философии. Но это возможно, только если мы будем взаимодействовать между собой. От советского периода мы унаследовали очень узкую специализацию. И это мешает нам. Я призываю к конструктивному, доброжелательному диалогу без высокомерия.

Игорь КЛЯМКИН: «Актуальность Ключевского в том, что он, не зная ни советского, ни постсоветского периодов, ставит и пытается ответить на те же вопросы, которые волнуют нас сегодня»

Спасибо, Алла Григорьевна. Будем завершать. Я понимаю наших профессиональных историков: их наука со времен Ключевского ушла далеко вперед. Но Ключевский был не просто историком, его курс лекций стал общекультурным явлением, оказавшим на общество и его историческое сознание огромное влияние. И в этом качестве он интересен и сегодня, в этом качестве, осмелюсь утверждать, его никому еще превзойти не удалось.

Да, есть прекрасные работы советских и постсоветских историков — и тех, что были названы Александром Борисовичем Каменским, и еще многих других, которые упомянуты не были. В том числе и работы самого Александра Борисовича. Но чего мне лично в них не хватает? Мне не хватает в них концеп-

туальности, касающейся отечественной истории в целом, ее своеобразия. Мне не хватает постановки вопроса о том, почему она в тот или иной период развивалась так, а не иначе, и как этот период связан с периодами предыдущими и последующими. А Ключевского, как справедливо заметил Евгений Григорьевич Ясин, интересует российская история в целом. Его курс лекций, да и другие его труды — это не только ее описание, но и последовательные попытки ее концептуального осмысления, ее понимания как особого феномена. А выходит ли он при этом за границы «чистой» истории в область историософии или остается в этих границах, не так уж и важно.

Вот почему я не могу согласиться с характеристикой Ключевского только как популяризатора. Чтобы популяризировать, надо иметь то, что популяризировать. Можно популяризировать чужое понимание, а можно — свое собственное. Ключевский, как правило, популяризирует свое, а не чужое. И это свое, проявляющееся, прежде всего, в многочисленных аналитических отступлениях от излагаемого фактического материала, и представляет до сих пор интерес. Василий Осипович, не знавший ни советского, ни постсоветского периода, ставит и пытается ответить на те же вопросы, которые волнуют нас сегодня. Вопросы о специфических особенностях российской истории.

Мы, скажем, все еще не можем уйти от старого спора о том, является ли Россия Европой или не является, мы все еще в этом споре следуем старым славянофильско-почвенническим либо западническим схемам. А ведь Ключевский уже понимал ограниченность, неадекватность тех и других. Россия в его глазах — не Европа. И даже не отставшая Европа, как полагало большинство западников. Но ее самобытность он не склонен толковать и в славянофильско-почвенническом духе. Он пытается постичь ее своеобразие иначе, и этот его поиск, по-моему, актуален и сегодня.

Вспомним его замечание в диссертации об истории Боярской думы о том, что уже в Киевской Руси наблюдалась некоторая искусственность развития: в пору, когда она жила на черноземной почве, она торговала пушниной, а переместившись в леса и болота, стала выращивать хлеб.

Вспомним его утверждение о том, что Россия не знала европейского феодализма и феодализма вообще, а потому и с правом дело обстояло в ней иначе, чем в Европе.

Вспомним его констатации относительно того, что в Московии местное самоуправление, в отличие от самоуправления европейского, было инструментом центральной власти, а земские соборы, в отличие от европейских парламентов, призваны были не ограничивать единоличную власть, а укреплять ее.

Но если Россия не Европа, то что она такое? У Ключевского есть подступы к ответу и на этот вопрос. Я имею в виду его характеристику послемонгольской Московии как служилого государства с «боевым строем», как «служашей земли», устроенной по принципу «военного лагеря», как социума, состоящего

из «командиров, солдат и работников», командиров и солдат обслуживающих. Речь идет, говоря иначе, о милитаризованном государстве и милитаризованном социуме, не только в военное, но и в мирное время управляемом по модели управления армией, что, кстати, не могло не сказаться и на его духовно-нравственной природе. И этот концептуальный ракурс Ключевского до сих пор, по-моему, недооценен. Ракурс, который позволяет нам говорить о значении Василия Осиповича и для понимания отечественной истории XX века, принципы «служилого государства» реанимировавшего. Что касается понимания Ключевским логики послепетровской трансформации этого типа государства, то здесь он, на мой взгляд, не столь проникновенен. Однако нашим профессиональным историкам, насколько могу судить, его концептуальный подход не интересен вообще, как не интересна, по-моему, многим из них и сама концептуальность.

Алла Григорьевна Глинчикова призывала историков к более тесному содержательному сотрудничеству с представителями других областей общественно-научного знания. Думаю, это было бы полезно для всех. В частности, для развития такого направления, как историческая социология, в которой мы явно отстаем. Есть работы Бориса Николаевича Миронова, но больше мне лично ничего не попало. А ведь именно «устаревшего» Ключевского можно считать основателем исторической социологии в России. Так что призыв к взаимодействию историков и неисториков я, повторяю, поддерживаю. Но, зная ситуацию в нашей гуманитарной науке, я не уверен в том, что такой призыв найдет отклик.

Благодарю Алексея Алексеевича Кара-Мурзу и других докладчиков, а также всех выступивших в ходе дискуссии за участие в ней. По-моему, в целом обсуждение было полезным. К наследию старых русских историков и рассмотрению их современного значения мы будем возвращаться и впредь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЛАДИМИР ПАШИНСКИЙ

ТАК УСТАРЕЛА ЛИ ИСТОРИЯ «ПО КЛЮЧЕВСКОМУ»?

Прочитал на сайте «Либеральной миссии» материалы Круглого стола, опубликованные под заголовком «Устарела ли история “по Ключевскому”?». На мой взгляд, некоторые высказывания о ее «устарелости», прозвучавшие в ходе дискуссии, не соответствуют тому, что происходит в современной исторической науке. Что я имею в виду?

Участовавшие в Круглом столе историки А. Каменский и О. Будницкий твердо и уверенно оспаривали современную ценность «Курса русской истории» Ключевского как научной исторической работы. «Это популярные тек-

сты, за которыми по большей части не стоят научные исследования», — полагает Каменский. И он же: «Я бы согласился с тем, что никто не превзошел Ключевского как популяризатора русской истории. Но когда мы всерьез думаем о судьбах отечества, давайте ориентироваться не на Ключевского, а на науку».

Более мягкую позицию занял Будницкий, но и он утверждал, что «рассматривать сейчас работы Ключевского как некую основу для осмысления прошлого и будущего с точки зрения профессиональных историков просто нельзя». И предложил своего рода «компромиссный» взгляд на труды Василия Осиповича: «Работы Ключевского — душеспасительное чтение. Оно немного примиряет с прошлым и заставляет оптимистичнее думать о будущем. Надо только отдавать себе отчет в том, что сейчас Ключевский — скорее хорошая литература, чем история. И именно за это давайте его любить».

Все дело, однако, в том, что и суждения Каменского, предлагающего «ориентироваться не на Ключевского, а на науку», и оценки Будницкого, возражающего против использования «Курса русской истории» как одной из основ «для осмысления прошлого и будущего с точки зрения профессиональных историков», *противоречат практике современных историков*. По крайней мере, некоторых из них. Кроме того, такие суждения и оценки, как минимум, вводят в заблуждение тех, кто захотел бы использовать «Курс» именно «для осмысления прошлого и будущего с точки зрения профессиональных историков». Попробую эти свои утверждения обобщать.

Обратимся, например, к монографии Л. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса»⁴². Работа получила положительные отзывы в профессиональных исторических журналах. Я имею в виду рецензии в «Отечественной истории»⁴³ и в «Вопросах истории»⁴⁴, а также очерк «Многогранный талант исследователя» в журнале «Отечественная история»⁴⁵. В 2001 году монография была удостоена Государственной премии Российской Федерации, а сам Милов со временем стал академиком РАН. После 1999 года ссылки на эту работу в отечественной литературе даются исключительно в комплементарном тоне — достаточно обратиться к любой обзорной работе в основных исторических журналах.

42 *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 1998

43 *Павленко Н.И.* Л.В. Милов. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса // «Отечественная история». 1999, №2.

44 *Федоров В.А.* Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса // «Вопросы истории». 1999, №2.

45 *Булгаков М.Б., Горский А.А., Флоря Б.Н.* Многогранный талант исследователя // «Отечественная история». 1999, №4.

Вот несколько пассажей известного историка Н. Павленко из уже упомянутой рецензии в журнале «Отечественная история»:

«Лет тридцать мне не доводилось писать рецензий, но вот в руках оказалась книга, поразившая обилием достоинств, глубиной содержания, что и дало повод откликнуться на нее <...> Главным достоинством монографии Л.В. Милова я считаю раскрытие тезиса о влиянии географического фактора на исторический процесс <...> Л.В. Милов умело воспользовался самой темой исследования — сферой трудовой деятельности крестьян, где наиболее отчетливо видна зависимость результатов труда от почвенно-климатических условий.

Почвенно-климатические условия оказывали огромное влияние не только на результаты усилий пахаря, но и на его менталитет, веками формировавшийся характер, обычаи, навыки, требовали особого распределения трудовых затрат в течение годового цикла, разной степени напряженности труда в различные отрезки времени, в том числе мобилизации всех человеческих ресурсов — физических и умственных — в периоды, когда счет времени шел не на дни, а на часы. Это влияние в общей форме отметил еще В.О. Ключевский, но только Л.В. Милову удалось наполнить его конкретным содержанием»⁴⁶.

Вклад Милова, по крайней мере, в целом, вроде бы понятен. А что писал на эту тему Ключевский и что именно Милов «наполнил конкретным содержанием»?

В XVII лекции своего «Курса» Ключевский сначала отмечает, что «своеобразие климата и почвы обманывает самые скромные <...> ожидания» крестьянина-великоросса⁴⁷, а затем емко, в характерной для него афористичной манере высказывается следующим образом (обратите внимание, что именно эти формулировки и составляют квинтэссенцию взглядов Милова):

«В одном уверен великоросс — что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа опускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным неожиданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать споро, лихорадочно и скоро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда в короткое время, какое может развивать великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки

⁴⁶ Павленко Н.И. Цит. соч. С. 184–185.

⁴⁷ Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М.: Мысль, 1993. Кн. I. С. 278–279.

к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии»⁴⁸.

В тексте «Курса» это вполне законченный в концептуальном отношении отрывок составляет отдельный абзац. Именно этот текст имел в виду Павленко, когда упоминал имя Ключевского в рецензии. На этот же текст должен был бы сделать ссылку и Милов. Однако...

Однако Милов поступает иначе. Он действительно использует эти концептуальные положения Ключевского и даже дает ссылку. Но — весьма странным образом. Сначала Милов воспроизводит только последнее предложение абзаца, то есть общий вывод из всего рассуждения, и тем самым опускает первые предложения, обосновывающие этот вывод; в результате вывод повисает в воздухе. А в *следующем предложении* своей работы он обращается с критическим замечанием то ли к Ключевскому, то ли к читателям: «Тут необходима, конечно, и оговорка, что для ровного и постоянного труда у великоросса никогда не было и условий»⁴⁹. Притом что именно эту часть текста Ключевского он только что опустил. Более того: *сразу после этого замечания* Милов возвращается к сути пропущенного текста, а именно — к рассказу о краткости периода сельских работ и о влиянии климата на условия сельского труда: «Как писал И. Комов, "...в Англии под ярь и зимою пахать могут". А только в таких, роскошных для нас, условиях возможен и размеренный, постоянный труд»⁵⁰.

В чем же причина столь оригинального цитирования и фактического присвоения *современным* историком взглядов историка, *давно ушедшего*? Даже не касаясь этической стороны дела и ограничиваясь «профессионально-исторической», приходится признать, что концептуальные положения давно ушедшего историка нисколько не устарели. Что они по-прежнему настолько хорошо отвечают уровню *современных* концепций исторического знания, что воспроизводить эти положения в их органической целостности означает — по крайней мере, для такого исследователя, как Милов, умалить собственный вклад в *современную* историческую науку. Здесь особенно важно, что Милов — отнюдь не «середнячок» этой науки, а судя по отзывам на его труды, одна из ее «звезд».

Вот и судите теперь о том, насколько правы А. Каменский и О. Будницкий, оценивая взгляды Ключевского как устаревшие и считая его труды литературой, а не наукой. Но, может быть, «позаимствовав» концептуальные положения Ключевского, Милов действительно наполнил его идеи «конкретным содержанием», как об этом пишет в своей рецензии Павленко?

Да, Ключевский не дает численных данных, характеризующих бюджет рабочего времени крестьянина по годовичному циклу сельских работ. Но *не дает*

48 Там же. С. 279.

49 *Милов Л.В.* Цит. соч. С. 383.

50 Там же.

таких данных и Милов. Точнее, в его работе не приводится сведений, которые бы отличались от тех, что приводятся в монографии Р. Пайпса «Россия при старом режиме». Существенно при этом, что первое издание работы Пайпса, многое у Ключевского открыто заимствовавшего, вышло на русском языке еще в 1979 году, тогда как первая публикация Милова с *абсолютно той же концептуальной характеристикой* влияния географо-климатических условий на социально-политическое развитие России появилась лишь в 1992-м⁵¹.

Разумеется, в статье и монографии Милова есть отличия от работ Ключевского и Пайпса. К примеру, он приводит обширные данные по урожайности зерновых, каковых в «Курсе» Ключевского нет. Но эти данные не несут в себе *концептуального* содержания, которое можно было бы рассматривать как дополнение к сказанному Ключевским и Пайпсом. Достаточно положить с одной стороны XVII лекцию Ключевского и монографию Пайпса, а с другой — статью и монографию Милова, и сравнить их друг с другом, чтобы все сомнения насчет концептуальной ценности работ Ключевского именно для современного историка Милова тотчас отпали.

Что же касается новых (и действительно очень интересных) *неконцептуальных* сведений, сообщаемых Миловым, то было бы крайне удивительно, если бы за 100 лет, прошедших после смерти Ключевского, не появилось бы новых данных. О чем на круглом столе и сказала О. Жукова. Возражая Каменскому и Будницкому и выражая мнение тех, кто настаивал на актуальности наследия Василия Осиповича, она специально подчеркнула, что они «совершенно не стремились представить Ключевского человеком, который когда-то сказал последнее слово в науке. Это наивное обвинение, и принять его невозможно».

Между тем сохраняющаяся концептуальная продуктивность идей и подходов Ключевского не сводится к тому, о чем я говорил. Вот тот же Ричард Пайпс, столь нелюбимый многими российскими историками с советским бэкграундом. Однако списать его в разряд «устаревших» или «несовременных» не дано и им. А он, в отличие от них, обнаруживает у Ключевского еще одну важную концептуальную идею, способную и сегодня, пользуясь словами Будницкого, служить «основой для осмысления прошлого и будущего <России> с точки зрения профессиональных историков».

Значительная часть первой главы упоминавшейся монографии Пайпса (глава называется «Природные и социальные условия и их последствия») посвящена проблеме колонизации как своего рода магистральной оси, определяющей историческую траекторию России. А на кого он при этом ссылается? «Колонизация, — говорит Пайпс, — является настолько основополагающей чертой российской жизни, что Ключевский видел в ней самую суть бытия Рос-

51 *Милов Л.В.* Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // «Вопросы истории». 1992, № 4/5.

сии: "История России, — писал он в начале своего знаменитого "Курса русской истории", — есть история страны, которая колонизируется"⁵². И весь последующий текст данной главы (еще 13 страниц в издании 1993 года) посвящен обоснованию и развертыванию этого тезиса. Тезиса, который в глазах Пайпса именно для современного понимания российской истории является одним из ключевых.

К сожалению, большинство российских историков игнорируют эту «колониционную» составляющую отечественной исторической траектории. А вместе с ней — и вклад Ключевского в исследование российской социальной, исторической и политической динамики. Основная причина этого очевидна — таковы последствия светского периода.

Если отечественные историки начала XX века активно исследовали сходства и различия российских и западных форм социально-исторической эволюции, то в советские времена на тело российской истории в приказном порядке были напялены «европейские одежды». И они беспощадно, веревками и железом, прикручивались к ней вопреки не только историческим реалиям, но подчас и элементарному здравому смыслу. Инерция такого подхода проявляется и во многих постсоветских изданиях.

Я уже не говорю о том, что у нас до сих пор отсутствует *синтетическая* картина российской истории, представленной в ее внутренней органике и во взаимосвязи всех ее этапов, включая сегодняшний. Именно этим был силен Ключевский, но именно поэтому его, быть может, и поспешили объявить «устаревшим», имеющим отношение в лучшем случае к популяризации науки в студенческой аудитории, но не к самой науке. Иначе ведь трудно объяснить неисторикам, почему они «Курс» Ключевского так любят до сих пор читать. Однако таким способом нельзя объяснить, почему он вот уже целое столетие остается единственным «целостным изложением российской истории», в котором фиксируется «историческая преемственность и историческая динамика». Это я цитирую выступившего на круглом столе Е. Ясина, с которым нельзя не согласиться.

Но такая целостность стала возможной именно благодаря выдающемуся *концептуальному вкладу* Ключевского в изучение российской истории. Вкладу, который сегодня тоже почти не востребован. Поэтому трудно не согласиться и с ведущим круглого стола И. Клямкиным, который откровенно констатировал: «...Нашим профессиональным историкам, насколько могу судить, его (Ключевского. — В.П.) концептуальный подход неинтересен вообще, как неинтересна, по-моему, многим из них и сама концептуальность». Но если этот диагноз действительно верен, то ни российской (научной) истории, ни российским (профессиональным) историкам не следует рассчитывать на сколько-нибудь массовое внимание как со стороны исследователей-неисториков, так и со стороны «широкого читателя».

52 Пайнс Р. Россия при старом режиме. М.: «Независимая газета», 1993. С. 28.

Да, есть современные историки, влияние на которых Ключевского очевидно, и я попытался это показать. Возможно, есть и другие примеры такого влияния, но специально я, не будучи историком, данный вопрос не изучал. Однако есть ведь и оценки А. Каменского и О. Будницкого — людей, в своей области, безусловно, авторитетных. И если такие оценки доминируют, то это — свидетельство переживаемого нашей исторической наукой методологического кризиса.

Дело в том, что одно из основных (если не основное) направлений развития исторической методологии в XX веке — *социологизация* истории. Таково естественное следствие вольной или невольной социализации историков в мире господствующего научно-технического прогресса и господствующей естественнонаучной методологии. Поэтому синтез, предлагаемый «историком-социологом» Ключевским (так он сам назвал себя в своем «Курсе») для российских историков, хотя бы они того или нет, по-прежнему остается *единственным ориентиром* и в этом смысле *исходной точкой движения* в поисках *современных* исторических методов и концепций. Поэтому есть основания надеяться, что период «забвения» Ключевского долго не продлится.

Вряд ли надо добавлять, что по причине господства естественных наук гораздо большее влияние, чем на историков, Ключевский оказывает на исследователей-неисториков. Пожалуй, он до сих пор больше других своих коллег по цеху — прошлых и нынешних — делает для того, чтобы *научная* российская история была интересна не только профессиональным историкам. Но это уже несколько другая тема. А пока на основной вопрос круглого стола — «Устарела ли история “по Ключевскому”?» — можно ответить вполне определенно: «Нет, не устарела». И этот ответ не изменится, пока не появится второй Ключевский.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХАИКИ: ОПЫТ ПАВЛА МИЛЮКОВА

Игорь КЛЯМКИН: Уважаемые коллеги, сегодня мы продолжим разговор о крупнейших фигурах российского либерализма. Речь пойдет о Павле Николаевиче Милюкове, о разных направлениях его деятельности. Мы будем говорить о нем как об авторе оригинальной концепции отечественной истории, о том, какую роль эта концепция могла бы сыграть в формировании нашего исторического сознания. Мы будем говорить о нем и как о либеральном политике, лидере кадетской партии, о его драматической попытке европеизации России при отсутствии для этого достаточных предпосылок. И мы будем говорить о том, как сочетались в нем профессиональный историк и профессиональный политик, учитывая, что Милюков-политик всегда соотносил свою деятельность со своей исторической концепцией, выстраивал первую в соответствии со второй.

На обсуждение вынесены следующие вопросы:

1. Историческая и политическая концепции Милюкова — взаимоотношение или взаимоотталкивание?
2. Либеральная политическая субъектность при отсутствии субъектности социальной — утопия или реальная перспектива?
3. Актуальны ли история «по Милюкову» и история Милюкова?

Эту встречу мы проводим совместно с Фондом «Русское либеральное наследие». И первым выступит руководитель этого фонда Алексей Кара-Мурза. Прощу Вас, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Гениальный “шахматист” в политике, Милюков потерпел поражение, когда в российской истории наступил иррациональный период»

Спасибо, Игорь Моисеевич. Я выступаю здесь не только как соорганизатор заседания и президент Фонда «Русское либеральное наследие». Я изучал наследие Милюкова и в свое время с полной ответственностью взялся писать о нем в книге «Российский либерализм: идеи и люди», которая была издана под эгидой «Либеральной миссии» и выдержала уже два издания в 2004 и 2007 годах. Замечу также, что в последнее время нас особенно привлекают такие, как Милюков, политические фигуры, которые одновременно были и крупными историками. А таковых насчитывается немало.

Только в ЦК Конституционно-демократической партии было несколько выдающихся историков. Напомню об Александре Александровиче Корнилове — втором человеке в этой партии, секретаре ЦК по оргработе. Он вел всю

партийную документацию, руководил региональными избирательными компаниями. Выдающимся русским историком — пока, к сожалению, недооцененным — был и Александр Александрович Кизеветтер. Мы, Фонд «Русское либеральное наследие», давно планируем поставить Кизеветтеру мемориальную доску в Оренбурге. А Александру Корнилову мы в Иркутске мемориальную доску уже установили.

Были среди кадетов и другие замечательные люди, тоже выпускники исторических факультетов, но потом ушедшие в другие сферы деятельности.

Среди них — Сергей Андреевич Котляревский. Магистр, затем доктор всеобщей истории, впоследствии переориентировавшийся в основном на юриспруденцию.

Среди них — князь Петр Дмитриевич Долгоруков, заместитель Муромцева по Первой Государственной думе. Талантливый историк, ушедший в земское движение и политику. В 1951 году он, будучи восьмидесятипятилетним стариком, был замучен во Владимирском центре. Весной этого года мы собираемся поставить мемориальный крест на его могиле во Владимире.

Среди них — князь Дмитрий Иванович Шаховской, тоже выдающийся политик, член ЦК, заместитель председателя кадетской партии, управделами Первой Государственной думы. После революции он остался в России, не эмигрировал. И вот, когда большевики не дали ему возможности работать, он, выпускник исторического факультета, занялся наукой. Будучи внуком декабриста Федора Шаховского и внучатым племянником Чаадаева, он именно про этих своих предков и писал исторические труды в конце жизни.

Но профессиональных историков мы видим в рядах не только кадетов, но и других либеральных партий. Кто такой лидер октябристов Александр Иванович Гучков? Выпускник исторического факультета, учился на курс младше Милюкова, они там и познакомились. Или, скажем, такой ветеран русского освободительного движения, как Владимир Иванович Герье: окончил истфак Московского университета, ученик Грановского. Или князь Николай Сергеевич Волконский, один из лидеров левого крыла октябристов. Он ученик Ключевского, бывшего сначала его репетитором в имении Волконских в Рязанской губернии, а потом посоветовавшего своему подопечному поступить на исторический факультет.

А кого видим мы среди так называемых «либералов-центристов», находившихся в политическом пространстве между кадетами и октябристами? Вот «Партия демократических реформ» и ее основатель — Михаил Матвеевич Стасюлевич. Он был выдающейся фигурой городского самоуправления, но он же и знаменитый наш историк, сорок лет руководивший журналом «Вестник Европы». А вот представитель той же партии Максим Максимович Ковалевский. Да, он окончил юридический факультет, но всегда работал на стыке с исторической наукой: его докторская диссертация — об общественном строе средневековой Англии.

Итак, русскую либеральную демократию в значительной степени олицетворяли профессиональные историки, рядом с которыми работали и дипломированные юристы. Могут сказать, что это был недостаток этой демократии: ее, мол, возглавили «теоретики», оторванные от практической жизни. Но не будем спешить с выводами. У историков, по независящим от них обстоятельствам, не всегда получается делание истории, когда они за него берутся. Но это не значит, что профессиональное знание истории и реальная политика — вещи несовместные. Посмотрим на наших соседей в демократической Польше. Кто там возглавил освободительное движение? Кто такие были Яцек Куронь или Бронислав Геремек? Кто такой ныне здравствующий друг наш Адам Михник? Это все выпускники истфака Варшавского университета. А ведь у них, надо признать, многое получилось...

Перехожу непосредственно к Милюкову. Как сочетался в нем историк и политик? Как соотносились его представления об особенностях отечественной истории с практической деятельностью либеральной партии, которую он возглавлял?

Но начну все же с напоминания об интеллектуальном масштабе Павла Николаевича. Он был энциклопедически образованным человеком. И многократно демонстрировал это, хотя и не нарочито: даже близкие люди не могли до конца осознать обширность и глубину его познаний. Вот один только пример, который мне запомнился. Когда в 1911 году из Лувра украли «Джоконду» Леонардо, в кадетской газете «Речь», которую редактировали Милюков и Гессен, кто-то должен был написать об этом заметку. Но Бенуа, который руководил отделом литературы и искусства, был тогда за границей. И вот Павел Николаевич за ночь написал статью, причем про все вместе: про саму «Джоконду», про культуру и искусство итальянского Возрождения и т.д. А потом Бенуа, возвратившись, не мог поверить, что это написал Милюков, а не какой-то крупный специалист по истории искусства, ему, Бенуа, неизвестный.

Этот интеллектуальный масштаб проявился и в работах Павла Николаевича по русской истории. У него, как историка, была «сверхидея», которую мы сегодня будем обсуждать. И она проявилась не только в его научных изысканиях. Она-то, собственно, и привела его в политику, в кадетскую партию, потом к лидерству в «Прогрессивном блоке» в последней Думе, потом к министерскому посту во Временном правительстве. Проявившись сначала в магистерской диссертации, посвященной Петру Великому, эта «сверхидея» закрепились затем в знаменитых милюковских «Очерках по истории русской культуры». В чем же ее суть?

Милюков, безусловно, верил в европейский универсализм. И он считал, что Россия — это тоже Европа. Но он понимал и то, что Россия — это особая и наиболее проблемная Европа, что европеизм испытывает здесь особые трудности. Как же совместить в таком случае веру в европейский универсализм и понимание самобытности России? И как укрепить европейскую русскую

идентичность? Первые поиски ответов на эти вопросы мы и обнаруживаем уже в магистерской диссертации Милюкова по Петру Великому.

Петр всегда был культовой фигурой для русских западников. Ну да, он «уздой железной Россию вздернул на дыбы», но ведь прорубил-таки окно в Европу, втащил в нее Россию. И именно поэтому для очень многих русских западников (и не только прошлых, но и нынешних) Петр является фигурой не только культовой, но и в известной степени даже священной. Их политический ориентир — реформатор-западник во главе страны. И если он появляется, то и слава богу. А какой он, этот реформатор, как он проводит реформы, — вопрос другой и второстепенный. Так вот, молодой Милюков в своей магистерской диссертации начинает критиковать европеиста Петра... с позиций европеизма!

Это было нечто совершенно неожиданное. Ведь до того Петра критиковали, как известно, русские славянофилы, русские самобытники, наговорившие в его адрес множество оскорбительных слов. Западники же ему все прощали — «за результат». В критике Петра с позиций европеизма Милюкову суждено было стать первопроходцем.

По его оценке, петровский европеизм был в основном эмоциональным, импульсивным, а потому не мог и не смог стать (даже учитывая реформаторский гений Петра) европеизмом глубоким. Петр, по мысли Милюкова, оказался как бы в заколдованном круге. Он ценил в людях абсолютную личную преданность, но имел очень ограниченный кадровый выбор. И получалось так, что ни на один сколько-нибудь ответственный пост он не назначал человека самостоятельного, который сознательно играл бы в ту же реформаторскую игру, но без постоянной оглядки на императора. Петр, как писал Милюков, назначал на ключевые должности «фигурантов», «ничтожеств», не имевших особого понятия о деле...

Думаю, что это звучит актуально и сегодня. Не получили ли мы такого рода европеизм и во времена Бориса Николаевича Ельцина, когда многие считали, что демократия — это просто «власть демократов»? Главное, мол, пробиться наверх нашим ребятам, а уж они там все сделают, как надо. Что вышло из этого, мы знаем. И сегодня многие из тех ребят застенчиво оправдываются, что мы, мол, ни в чем таком особенно и не участвовали...

Актуален и вывод Милюкова-историка. Вывод о том, что ни один реформатор на троне полноценных европейских реформ в России не провел и не проведет. Для них нужна, как он говорил — это его любимое выражение, — «междуклеточная ткань социальных отношений». А она вырабатывается только культурным процессом. Лишь такая ткань может, писал Милюков, обеспечить «непрерывность социального действия». Потому что даже гений-реформатор на троне сегодня дал, а завтра взял. А если не он взял, то это могут сделать его преемники. Отсюда и главный вопрос: кто и как может обеспечить в России непрерывность социального действия, поступательный прогресс в направлении Европы?

В диссертации о Петре ответа еще нет. Приближение к нему мы находим во второй большой книге Милюкова (вернее, серии книг, оставшейся не законченной) — в «Очерках по истории русской культуры». Итак, кто же все-таки в России способен создать «междуклеточную ткань социальных отношений»? Стать субъектом «непрерывного социального действия»?

Уже в первом томе «Очерков» мы находим мысль о приоритетности создания в России *европейской политической среды*. Почему в России не получается Европа? Потому что хотя Россия в культурном отношении — все-таки Европа (благодаря христианской пуповине), здесь не хватает одного из важнейших элементов Европы — не хватает политики европейской, не хватает европейской политической культуры. И в первую очередь — идейного плюрализма. Россию можно тащить на Восток, можно на Запад, но это всегда в ней делается диктаторски. В Европу же может надежно привести только институционализированный идейный плюрализм через его проекцию в политике — развитый парламентаризм, опирающийся на правовое законодательство.

Таков вывод Милюкова. Но тут сразу же возникает следующий вопрос: а кто конкретно способен сделать это в самодержавной стране? Наблюдая предпоследнее и последнее царствования, Александра III и Николая II, Павел Николаевич понимал, что сверху прививкой европейской политической культуры добровольно заниматься никто не будет. Да и не сможет ее привить, даже если захочет. Милюков, развенчавший на примере Петра преобразовательный пафос героя-одиночки, не мог не считать крайне ограниченной возможность в России «модернизации сверху», кто бы наверху ни оказался. В условиях, когда связь властей с общественными интересами сведена к минимуму, когда никакой обратной связи в обществе нет вообще, не только самодержец, но и правящая бюрократия оказываются совершенно нечувствительными к социальным потребностям.

Скептическое отношение Милюкова к перспективам «модернизации сверху» проистекало и из понимания им одной из главных, по его мнению, проблем России. Проблема эта, полагал он, не в том, что в России очень мощная государственность. Различая понятия «государственность» и «власть», он считал, что власть-то в России есть, и она сильно давит, но это не государство. Наоборот, она есть наиболее антигосударственный, анархический элемент в русской социальности. Она пребывает во внеправовой сфере, она самодурна. И ее постоянные импровизации, по большей части, тоже неправовые — это как раз свидетельства слабости русской государственности, создать органичные механизмы которой не дано было даже Петру. Все при нем делалось в России личным усилием, «толканием», между тем как подлинного «сцепления» между властью и обществом, что и создает государственность, так и не возникло.

Но если не власть, то кто же все-таки может стать субъектом такого «сцепления» или, говоря иначе, субъектом российской европеизации? Очевидно, таковым должна стать какая-то *общественная сила*. Но какая?

Модернизаторский потенциал российского дворянства, как сословия, Милюков оценивает критически. Научиться чему-то на опыте высших сословий других стран оно, по Милюкову, не в состоянии. Да, есть, скажем, пример Англии, где именно аристократия начала либеральную модернизацию. Но, в отличие от западной аристократии, которая прошла долгую школу борьбы за личные права и свободы, русское дворянство, отмечает Милюков, было привилегированным сословием только в той мере, в какой оно была сословием служивым. Отмена обязательности государственной службы при Екатерине II дала, конечно, толчок развитию сословной самостоятельности и корпоративного духа дворянства, но в еще большей степени способствовала нарастанию в нем политической апатии. Тебе дали некоторые права — вот и сиди в своем имении. Это русская литература потом очень хорошо показала.

Итак, в реформаторский потенциал дворянства Милюков не верит: эти люди не будут биться за демократию, как то было в свое время в Англии. Тогда, может быть, ставка должна быть на третье сословие, сословие горожан, на тот средний класс, о котором мы сегодня так много говорим? Однако и это, по мнению Милюкова, нереально тоже.

Город в российском контексте — это совершенно другой город, чем на Западе. Там он был следствием внутреннего развития экономической промышленной жизни. В России же город был не автономным, эмансипированным от верховной власти образованием, а, напротив, «ханской ставкой», то есть максимально зависимой от самодержавия единицей. И Милюков так и пишет, что прежде чем город понадобился гражданам, он понадобился правительству. Городом манипулируют, потому что его население — это в основном люди, которые работают на патерналистскую структуру больше, чем на эмансипаторскую.

Но если ни дворянство, ни городское сословие на роль субъекта европеизации не подходят, то что же остается? Так Милюков — фактически методом исключения — приходит к осознанию особой роли в России интеллигенции.

Это не априорный вывод, а именно результат анализа. Если бы Милюков нашел в России какую-то другую, более подходящую общественную силу, он бы сделал ставку на нее. Но он таковой не нашел. А в пользу интеллигенции говорило то, что она является носителем национальной культуры, которая, в свою очередь, только и может создать «междуклеточную ткань социальных отношений». Интеллигенция, по Милюкову, это внеклассовое и надклассовое образование, которое способно формулировать национальные, общегражданские, а не узкокорпоративные интересы. Интеллигенция — это временный заместитель в России третьего сословия. Именно она должна дать импульс формированию гражданской нации, а потом уже начнет зарождаться нормальная буржуазия, развиваться нормальная городская жизнь.

Основная задача интеллигенции — инициировать формирование в России европейской политической культуры, создание на ее основе европейской

политической среды и политическую реформу, которая должна предшествовать социальным изменениям; сами такие изменения не пойдут. Иными словами, интеллигенции предстоит восполнить главный пробел русской истории, привнеся в нее европейскую политику. Эта «сверхидея» и стала той смысловой точкой, в которой Милюков-историк превращался в Милюкова-партийного лидера.

Как же воплощал он свою идею в своей политической деятельности?

Павел Николаевич был убежден в том, что только политические права и свободы могут стать надежной гарантией от произвола как власти, так и революции. Но, как историк, он не мог не знать, что и Запад на этот «третий путь» между анархией власти и анархией революции выбрался не сразу, что предварительно там пришлось пройти через целый каскад революций. И Милюков пытался заключить с революцией своего рода исторический компромисс. Он считал, что либеральную стратегию следует подкреплять революционной угрозой. «Мы, либералы, играем на сцене, — говорил он, — а шум за сценой создают другие...». Другие — это те, кто слева, но, как постоянно подчеркивал Милюков, «слева у нас врагов нет».

Таким образом, при определенных обстоятельствах Милюков готов был, как он опять же сам говорил, «двинуть Ахеронт». «Ахеронт» — в античной мифологии подземный хаос — одно из любимых словечек в русском освободительном движении. В отличие от правых либералов (октябристов), кадеты полагали, что, если не получится договориться с властью по-хорошему, можно «двинуть Ахеронт» или хотя бы обозначить его «призраком». С тем, чтобы угрозами революционного насилия достичь либеральных целей.

За эту идею Милюкова неоднократно жестко критиковали (и даже подвергали остракизму) — сначала в России, а потом в эмиграции. Особенно постарался Василий Маклаков: в своих известных мемуарах он убедительно, как многим кажется, показал, что милюковское заигрывание с «левыми» не могло не кончиться плохо для России, и что надо было, наоборот, идти на более существенные компромиссы с исторической властью. То есть надо было блокироваться не с революцией против власти, а с властью против революции. Та принципиальнейшая дискуссия, как вы знаете, продолжается и сегодня, хотя и без ссылок на Милюкова и его оппонентов. Недавно я написал предисловие к очередному изданию мемуаров Маклакова, в котором об этой неосознанной перекличке как раз говорится. По существу же можно сказать лишь одно: да, милюковская тактика не удалась, это очевидно, но что при иной тактике все могло быть иначе, — очень большой вопрос.

Если перечитать всего Милюкова (в том числе его работы эмигрантского периода, в которых он выступал равноценным оппонентом Маклакова), то становится понятным, что у Павла Николаевича была «своя правда». Он доказывал, что если бы российская власть была хотя бы немного более чутка к рациональной логике, то тогда, конечно, «Ахеронт» не надо было трогать.

Тогда либеральной оппозиции следовало бы договариваться с властью — как культурным людям с культурными людьми. Тогда надо было находить, например, союзников в среде просвещенной бюрократии и искать с ними взаимоприемлемые рациональные решения. Но дело-то как раз в том, что Милюков был глубоко убежден в том, что русская «историческая власть» была абсолютно иррациональна. И слишком многие факты из царствования последнего императора показывают, что у Милюкова были достаточные основания так думать.

Помните его знаменитую думскую речь конца 1916 года, в которой он приводил примеры абсолютно иррационального поведения власти в годы тяжелой войны с немцами? Помните его адресованный депутатам вопрос: «Что это, глупость или измена?»? И ведь значительная часть русского населения тогда думала, что это именно измена. Потому что трудно было представить, что власть могла позволить себе такие глупости, которые позволяла. Так что эта власть сама все сделала для того, чтобы разрушить русскую государственность. У Милюкова, возможно, есть другие грехи, но не этот.

Вопрос, который стоял тогда перед либеральной оппозицией, заключался в том, как вести себя с иррациональной властью. Ответ Милюкова: пугать ее иррациональными следствиями ее иррациональности. Если она импульсивна, эмоциональна, сама пугается и других пугает, то давайте тогда попугаем ее «Ахеронтом»: иррациональные страхи власти, возможно, заставят ее пойти на какие-то вменяемые действия, раз уж по уму не получается. Но если и это не помогло, то вряд ли в том вина Милюкова.

Было несколько моментов, когда царь мог предотвратить будущий обвал. Ну, например, договориться с тем же думским «Прогрессивным блоком» во главе с Милюковым о создании — на основе депутатских предложений — «правительства доверия» и проведении хотя бы минимальных либеральных реформ. То был мощный межпартийный блок в Думе и Государственном Совете, поддержанный военно-промышленными комитетами во главе с Александром Гучковым, Земским союзом во главе с князем Львовым, Союзом городов во главе с Михаилом Челноковым. Милюков протянул руку даже Пуришкевичу, крайне правому: мол, договоримся, что мы не трогаем «историческую власть» во время войны. Сначала победим немцев, а потом уж будем устраивать право-левые разборки внутри.

Не будет большим преувеличением сказать, что на программе «Прогрессивного блока» объединилась вся нация. И только узкая группировка наверху выступила против. Группировка во главе с царем и Распутиным, наиболее наглядно символизировавшим иррациональность тогдашней власти. На какой же основе с такой властью можно было солидаризироваться? И могла ли такая солидарность предотвратить революцию?

Когда сегодня приходится дискутировать с некоторыми нашими консерваторами и охранителями о Февральской революции, 95-летие которой мы

недавно отмечали, то я даже не понимаю, что они хотят сказать. На днях была специальная передача об этой революции в программе «Тем временем» Александра Архангельского. И что говорили там люди, которые позиционируют себя как просвещенные консерваторы? Они сошлись на том, что в феврале 1917-го в толпу надо было просто стрелять из пулеметов. И тогда, мол, никакой революции не было бы. О том, что стрелять ради защиты «исторической власти» в Петрограде не оказалось желающих, они почему-то не вспоминали.

Понятно, что в глазах таких людей Милюков и его единомышленники — главные виновники не только Февраля, но и Октября. Кстати, Павел Николаевич не был согласен с тезисом, до сих пор почти общепринятым, что Февраль привел к Октябрю. Он считал, что Октябрь (тот самый «Ахеронт») пришел раньше Февраля. Оказавшись у власти, Милюков и другие министры Временного правительства понимали, что «Ахеронт» поднялся без них. Они пытались оседлать эту стихию; была даже такая метафора: «Возглавить взбесившийся табун, чтобы отвести его от пропасти». Но вы помните, что князю Львову и блоку кадетов и октябристов это не удалось. И новому составу правительства во главе с более левым Керенским не удалось тоже. Не получилось, революция пошла дальше. Видимо, это закономерность любой революции: она не способна остановиться в центральной точке и обязательно доходит до крайнего предела...

Как бы то ни было, все разговоры о том, что Милюков своей европеистской концепцией накликал на нас большевистскую катастрофу, — прямое лукавство со стороны нынешних консерваторов, ищущих исторические обоснования своему охранительству. Вместе с большевиками они предают остракизму и людей Февраля. Мы столкнулись с этим еще пять лет назад, когда отмечалось его 90-летие, и очень много тогда сделали, чтобы не дать новому «агитпропу» охаять Февраль. Мне кажется, то был глоток свободы и шанс для России. К сожалению, Милюкову и другим людям Февраля не удалось затушить уже зажженный не ими большевистский костер. Не Милюков обрушил самодержавие, оно само сделало все, чтобы быть обрушенным. Кстати, и отречение императора, как вы знаете, принимал не лидер кадетов. Там были октябрист Гучков и правый монархист-националист Шульгин.

Да, Милюкову-политику не удалось воплотить в жизнь «сверхидею» Милюкова-историка. Но пример этого выдающегося русского либерала и олицетворяемого им типа политического лидерства чрезвычайно важен и поучителен. И потому, что проблема, которую он решал, до сих пор в России не решена. И потому, что в милюковском опыте ее решения есть, по-моему, вещи непреходящие. Прежде всего, я имею в виду опыт создания и длительного руководства кадетской партией.

Многое тут было обусловлено, конечно, его личными особенностями и дарованиями. Павел Николаевич был очень рассудочным человеком, учеником позитивистов Конта и Спенсера. Именно выдающиеся рационалистиче-

ские способности (в политической тактике, как говорили, Милюков был гениальным «шахматистом») и привели его к партийному лидерству и лидерству в освободительном движении. Но надо было еще уметь руководить этим сложнейшим конгломератом личностей, который назывался Конституционно-демократической партией. Сколько там было выдающихся людей! Милюков умел. Он никогда никого под себя не подминал. Наоборот, способствовал тому, чтобы каждый реализовал свои лучшие и сильные черты. Да и как еще можно было работать с «рюриковичами», с князьями Долгоруковыми, с Шеховским?

Сейчас, увы, таких лидеров, таких диспетчеров и таких «шахматистов» на нашем либерально-демократическом фланге нет. Лидеров, которые умели бы так вот, по-милюковски, работать с людьми. И таких политических трудяг, как Милюков, нет тоже. Не в последнюю очередь, возможно, и потому, что отсутствует интерес к предшественникам и их опыту, отсутствует живая историческая преемственность с отечественной либеральной политической традицией.

Нельзя, конечно, забывать и о том, что опыт Милюкова — это и опыт неудачи. Когда начался иррациональный период русской истории, рационалист Милюков с новыми задачами не справился. Но сами задачи были таковы, что с ними, наверное, не мог справиться никто. Возможности европеизации России были к тому времени упущены. «Революционный табун» уже никто не мог остановить, и потребовалась жесточайшая репрессивная диктатура, чтобы сохранить в стране какое-то подобие социальности. Но дальше углубляться в эту тему, по сей день вызывающую споры, я сегодня не буду.

Скажу лишь о том, что мы сейчас переживаем период, чем-то схожий с тем, который во времена Милюкова предшествовал вхождению страны в иррациональную стадию. Как и тогда, есть попытка рационалистического «нового класса», который мы называем «креативным», продумать какую-то стратегическую линию и предложить другую модель развития России. И есть нагнетание иррациональных страстей: запугивания образом врага, разговоры о «враждебном окружении», каком-то очередном «заговоре империалистов»... Что тут можно сказать? Да ничего, кроме того, что Павел Николаевич Милюков когда-то уже говорил, безуспешно пытаясь привнести в иррациональную русскую политику, ведущую к иррациональности «Ахеронта», рациональное начало.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на ключевую проблему, которую пытался решить Милюков. Докладчик говорил о том, что Павел Николаевич воспринимал Россию как «тоже Европу», хотя и особую. Но так ли это? Ведь в его описании начального периода Московии мы находим акцент не на ее сходстве с Европой, а на их принципиальном различии. В Европе, согласно Милюкову, государство выросло из общества, было продуктом естественного развития сословий. В России же государство само создавало сословия (точнее, квазисословия), кото-

рые использовало, как социальные инструменты, в своих интересах. И такой взгляд на российскую историю, как многим казалось и кажется, не очень-то органично сочетался с политической установкой Милюкова на европеизацию России.

Да, у него на такого рода возражения был свой ответ, и Алексей Алексеевич о нем говорил. Ответ заключался в том, что отечественная история вырастила собственный субъект европеизации в лице интеллигенции. Но ведь та же самая история наглядно продемонстрировала и слабость этого субъекта в сравнении с противостоявшей ему силой иррациональной самобытности — прежде всего «низовой». И получилось так, что сегодня мы в описании российской самобытности Милюковым-историком находим объяснение неудачи Милюкова-политика.

Напомню, кстати, что в 1920 году Павел Николаевич, бывший одним из инициаторов и идеологов Белого движения, признал его ошибкой, что, понятно, не добавило Милюкову популярности в эмигрантской среде. И осудил он его именно за «кадетизм». За то, что оно руководствовалось кадетской программой, плохо сочетавшейся с интересами и культурой большинства населения, русской историей сформированной.

Я напомнил об этом эпизоде не для того, чтобы мы сейчас стали его обсуждать. Я напомнил о нем только для того, чтобы обозначить колоссальную сложность проблемы, которую решал и не решил Милюков, оставив ее своим будущим последователям. Проблему европеизации страны с неевропейской историей. И вопрос, заслуживающий обсуждения, заключается, по-моему, в том, почему ее в начале XX века решить не удалось. Потому что она решалась неправильно? Потому что она была неразрешима в конкретных обстоятельствах той эпохи? Или потому, что она нерешаема в принципе?

Правда, Михаил Афанасьев, который выступит следующим, саму эту проблему, насколько знаю, представляет себе несколько иначе. Тем интереснее нам будет его послушать. Пожалуйста, Михаил Николаевич.

Михаил АФАНАСЬЕВ (директор по стратегиям и аналитике Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»): «Без научного и политического наследия Милюкова нам не обойтись при решении ключевой идеологической задачи — соединения модернизации и национальной идентичности»

Хочу поблагодарить Алексея Алексеевича за очень интересный, многотемный доклад. Пожалуй, главным для нашего обсуждения является вопрос, почему и чем может быть интересен нам сегодня Милюков. На этом вопросе я и сосредоточусь.

Сначала — о том, почему. Потому что все дебаты о порядке правления и путях развития России упираются в проблему национальной идентичности. Партия модернизации может оказаться во главе государства только в том

случае, если докажет свое соответствие этой идентичности. Между тем сегодня не только противники модернизации, но и многие ее сторонники в унисон доказывают обратное. Первые настаивают на ее вредности в силу несовместимости с нашей идентичностью, а вторые, фактически соглашаясь с ними насчет несовместимости, призывают эту несовместимость «преодолевать». Тот и другой подход, по-моему, лишают страну перспективы. Соединение модернизации и национальной идентичности составляет ключевую идеологическую задачу. Задачу, при решении которой нам, думаю, никак не обойтись без научного и политического наследия Павла Николаевича Милюкова.

Чем же актуальны это наследие и сама фигура Милюкова? Они актуальны именно тем, что в них модернизация и российская идентичность — не антагонисты, а союзники. Чтобы понять это, не надо даже глубоко копать, достаточно посмотреть в визитную карточку. Кто такой Милюков? Каково его идеологическое самоопределение? Милюков — это российский националист, даже империалист в разумных пределах. Он почвенник, но при этом не пафосный романтик: вместо «самобытного» пафоса у него, ученика Ключевского, отменное знание этой самой русской почвы. Но одновременно он и западник, либерал, конституционный демократ, причем то и другое в его сознании и мышлении бесконфликтно сочетается.

Между тем в сегодняшней России соединение этих начал в глазах многих выглядит чуть ли не противоестественно. Но, может быть, дело обстоит наоборот? Может быть, противоестественным является как раз их разрыв? Как бы то ни было, Милюков эти начала соединял. Он соединял их а) вполне органично и б) исходя из целостного мировоззрения. Существенно также, что Павел Николаевич не выглядел при этом политическим фокусником и не слыл чудачком-маргиналом. Наоборот, он был редактором очень популярной политической газеты и лидером одной из главных политических партий, пользовавшейся в обществе широкой поддержкой. Напомню, что притязания Конституционно-демократической партии, им возглавлявшейся, отнюдь не сводились к преодолению пяти- или семипроцентного барьера для прохождения в Государственную думу.

Это мировоззрение Милюкова проявилось не только в его политической деятельности, но и в его понимании отечественной истории, представленном в «Очерках по истории русской культуры». В этом труде с энциклопедической обстоятельностью обоснованы два фундаментальных для понимания развития русской культуры тезиса. На одном из семинаров «Либеральной миссии» я их уже в своей редакции излагал и сейчас изложу еще раз.

Тезис первый: по самой своей географии, ландшафтной и антропологической «преистории» и уже собственно истории — этнической и национальной — Россия является естественным продолжением Европы, заходящим в Азию.

Тезис второй: русская культура есть самобытный извод европейского корня, исторически запаздывающий и в сравнении с синхронной ему европейской культурой относительно примитивный. Поэтому в русской культуре всегда соединены подражательное копирование, националистическое отталкивание и творческое развитие европейских культурных образцов.

Главный вывод Милюкова таков: «Европеизм ... не есть начало, чуждое русской жизни, начало, которое можно заимствовать только извне, но собственная стихия, одно из основных начал, на которых эта жизнь развивается ...». Но если так, то где же оно, это европейское начало русской жизни? Показательно, что западник и конституционалист Милюков видит его в земстве. Да, в том самом земстве, в котором славянофилы видели русский «особый путь», а славянофильствующие реакционеры — даже альтернативу конституционному правлению.

По-моему, прав, безусловно, Милюков. Потому что бессословное земство, во-первых, являлось возрождением полисно-градского, гражданско-общинного начала — одновременно исконно русского и общеевропейского. Во-вторых, земство не только не заменяло конституционное правление, а на деле готовило к нему нацию.

Подготовка состояла в том, что земства и городские думы не получали и не «пилили» казенные деньги. Земские кассы собирались из взносов более или менее состоятельных людей, земские взносы нужно было делать сверх государственных налогов. Это было самообложение местной имущей публики, ее реальная самодеятельность. Чему естественным образом соответствовал цензовый характер выборов доверенных лиц — гласных, которые направляли земские средства на общественные нужды и цели местного развития. Подчеркну еще раз, что земство воплощало в себе как традицию, так и модернизацию.

Заключительный мой тезис касается неадекватно низкой оценки Милюкова в современном российском сознании. Это и вообще несправедливо в отношении фигуры такого масштаба, но дело не только в этом. Предубеждение относительно Милюкова в концентрированном виде выражает общее идеологическое расстройство нашего общества, которое, к сожалению, не просто повторяет, но и усугубляет вывих исторической судьбы России. Более семидесяти лет ВКП(б)-КПСС культивировала уничижительную оценку кадетов и их лидера. С конца восьмидесятых «великооктябрьский» идеологический тренд поменялся на противоположный: «Какую Россию мы потеряли!». Однако оценка кадетов и Милюкова при этом едва ли не ухудшилась: они, мол, раскачивали государство и тем самым расчищали дорогу к власти большевикам.

Подход популярный, но, на мой взгляд, совершенно чудовищный. Государство погубили социальная безответственность, косность и гнилость верхов плюс ненависть социальных низов, о чем Алексей Алексеевич уже говорил. А Милюков как раз пытался тому и другому противостоять, он стремился

к нормальному государственному развитию. Известная фраза Александра III: «Никогда русский царь не будет присягать скотам» — это ненормально, это историческая неадекватность. Большевистские диктатура и вождизм, «в комиссарах — дурь самодержавья» — ненормальность в квадрате. Уверенность же в том, что судьба России сводится к выбору между вариантами самодержавной дури, — это ненормальность в кубе.

Милюков, повторяю, идейно и политически противостоял такой ненормальности, он звал и вел Россию к норме. А норма есть создание нации и национального государства, nation building, как говорят англоязычные коллеги. И если мы забудем Милюкова и других больших и малых сторонников срединного пути России, если не докажем — самим себе и другим — *нормальность* русской культуры и европейскость русской идентичности, тогда и надеяться не на что. Полагаю, что у нас есть все основания для решения этой национальной идеологической задачи.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Михаил Николаевич. С тем, что в России были и есть люди с европейской идентичностью, как говорится, не поспоришь. Но политически они здесь постоянно проигрывают, и драма Милюкова — одно из многих тому подтверждений. То, чему они противостоят, до сих пор оказывалось сильнее их, и я не думаю, что это «то» не имеет отношения к национальной культуре и идентичности. Вопрос в том, как и в каком направлении культура и идентичность меняются.

Предоставляю слово Ольге Анатольевне Жуковой.

Ольга ЖУКОВА (профессор Московского государственного педагогического университета): «Одна из главных причин политической неудачи Милюкова — расхождение его душевно-психологических установок с установками теоретическими, которыми он руководствовался в изучении истории»

Я согласна с высокими оценками Милюкова, здесь прозвучавшими. И как историка, и как политика. Но как сочетались в нем эти два вида профессиональной деятельности? И как друг на друга повлияли? Ведь они предполагают две разные стратегии — исследовательскую и социально-практическую. Стратегии не только интеллектуальные, но и психологические. Такая постановка вопроса позволяет, как мне кажется, говорить о Милюкове как об определенном типе личности в истории отечественного либерализма. Равно как и о том, насколько этот тип репрезентативен для русской либеральной культуры.

Речь идет не о каких-то частных, второстепенных вещах. Личностные особенности Павла Николаевича в значительной степени предопределили и характер той новой общественно-политической коммуникации, которая складывалась в процессе строительства кадетской партии, и своеобразие стратегии и тактики этой партии. Мы располагаем свидетельствами нескольких блестя-

щих летописцев русского освободительного движения. В их мемуарах события почти столетней давности предстают перед нами как близкие и живые. Это и уже упоминавшиеся здесь воспоминания Маклакова, и воспоминания самого Милюкова, и заслуживающие, на мой взгляд, особого внимания воспоминания Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс.

Ариадна Владимировна точно фиксирует расхождение между исследовательским опытом Милюкова и его опытом как действующего политика. Милюков-историк, справедливо отмечает она, огромное внимание уделял психологическому фактору, как важнейшему в становлении и развитии культуры. Он исходил из того, что исторический процесс и жизнь отдельной личности должны рассматриваться как определенная историческая закономерность и быть сведены, прежде всего, к закономерности психологической. При этом главными институциональными факторами становления русской культуры у Милюкова выступали церковь и школа, а национальная идентичность определялась им через религиозную идею и психическое взаимодействие индивидов, которые обнаруживают себя в ценностно-смысловом пространстве языка. А что мы видим в практической деятельности Милюкова-политика?

В этой деятельности, пишет Тыркова, ничего похожего на психологическую стратегию, которую лидер кадетов вычитывал в становлении русской культуры, обнаружить было нельзя. Павел Николаевич был совершенно безразличен к проявлениям личностно-психологических свойств окружающих. Он как бы все это выносил за скобки политики. И при этом по складу своего мышления обладал повышенной предрасположенностью к схематизму, в чем признавался и сам: «Я вообще был склонен к схематизму и к стройности построений».

Продуманная схема и логическая последовательность — это даже похвальное для научной методологии и каких-то теоретических построений. Присущее Милюкову стремление к поиску непротиворечивой концепции плодотворно сказалось в его исследованиях русской истории и культуры. В них, повторяю, важнейшая роль отводилась психологическому фактору. Но когда речь шла не об объяснении истории, а об ее практическом делании, этот фактор полностью исключался. Как пишет Тыркова, «к людям, к отдельным личностям Милюков относился с холодным равнодушием. В общении с ними не чувствовалось никакой теплоты. Чужие мысли еще могли его интересовать, но чужая психология никогда, разве только женская, да и то только пока он за женщиной ухаживал, а потом он мог проходить мимо, не замечая ее. Люди были для него политическим материалом, в котором он не всегда хорошо разбирался».

Ариадна Владимировна — свидетель надежный. Как мы знаем, она была очень выдержанным и смелым оппонентом Милюкова. В частности, по поводу избирательных прав женщин: Тыркова выступала в их защиту, между тем как Милюков в своей программе женское избирательное право не рассматривал и за женщинами такого права не признавал. И в Милюкове-политике ее не устраивала не только его психологическая глухота, но и то, как проявлялся

в практической деятельности схематизм его мышления. «Обычно, — пишет Тыркова, — он давал синтез того, что накопила русская и чужеземная либеральная доктрина. В ней не было связи с глубинами своеобразной русской народной жизни, может быть потому, что Милюков был совершенно лишен религиозного чувства, как есть люди, лишенные чувства музыкального».

Это — серьезный упрек. По сути, речь идет о том, что приверженность Милюкова позитивистской традиции мышления совершенно исключила метафизическое начало. А его отсутствие не могло не привести к тому, что где-то он просмотрел Россию, ее национальную самобытность. Именно к такому выводу и приходит Тыркова. Либеральное начетничество, пользуясь ее терминологией, обернулось тем, что Милюков не понимал, не ощущал Россию исторической личностью, которую нужно любить. У него «для того ответственного места, которое он занял в общественном мнении, не хватало широты государственного суждения. Он не знал тех глубоких переживаний, из которых вырастает связь с землей. Держава российская не была для него живым любимым существом».

Я ссылаюсь на эти свидетельства вовсе не для того, чтобы поставить под сомнение роль и место Павла Николаевича в истории русского либерализма. Но у либерализма в России будет будущее только в том случае, если мы извлечем необходимые уроки из его прошлого. В нем есть много такого, чему следует учиться, и выступавшие до меня коллеги об этом очень хорошо говорили, но есть и то, чему учиться, по-моему, не надо. И я имею в виду не только Милюкова. Странно, казалось бы, такие вещи нам слышать, но, тем не менее, Тыркова настаивает на том, что многие кадеты, которые жаждали освободить разные этносы и национальности от старшего имперского русского брата, путали латышей с литовцами, калмыков с киргизами. И при этом хотели их освободить! Без почвенного и личностного отношения к России либерализм, думаю, в ней не привьется, глубоких корней не пустит.

Мы должны помнить об этом, размышляя и об уроках Павла Николаевича Милюкова. Особенности его личности не могли не сказаться не только на политической, но и на других сторонах его практической деятельности — в том числе редакторской и публицистической. Характеризуя его в этом отношении, Тыркова писала, что газета «Речь», редактировавшаяся Милюковым, «велась скучно, бледно, в ней не хватало занимательности, жизни. Милюков придавал значение только своим передовым, где добросовестно анализировал «шахматные» ходы думской политики и международного положения. Другие отделы его не интересовали. У него не было газетного нюха, да и публицистического таланта не было, этих двух свойств, которые помогли Суворину сделать из «Нового времени» одну из лучших русских газет». Напомню, кстати, что Ариадна Владимировна организовала издание газеты «Русская молва», альтернативной милюковской. С тем, чтобы внутри самого либерального лагеря могли публично звучать разные мнения.

Понимаю, что в ответ на все это вы можете сказать: мнение одного человека, даже столь яркого, как Ариадна Тыркова, еще не истина в конечной инстанции. Но в своих претензиях к Милюкову она была не одинока. По крайней мере, в тех, которые касались упомянутых особенностей его психологического склада. Показательно, что Василий Маклаков не пришел на празднование 70-летия Павла Николаевича, когда его пышно чествовала часть русской эмиграции. А Петр Струве тогда же высказал свое мнение относительно своего самого старого либерального оппонента в статье, опубликованной в газете «Россия и славянство». Он писал, что претензий чисто политического характера к своему либеральному собрату не имеет, что не сводит с ним никаких счетов по поводу результатов русской революции, как и всего того, что было до 1917 года. «Наши разногласия и разночувствия с Милюковым как политиком, — констатировал Струве, — вообще не укладываются в чисто политические рамки».

Это все о том же — о человеческом измерении личности политика. И еще о связи его психологического типа со способом его мышления. Упоминавший-ся выше мильюковский интеллектуальный схематизм Струве характеризует, как исключительное искусство располагать идеи и аргументы в определенном методическом порядке: «Он исключительный по ловкости аранжер и калькулятор, то есть устроитель и расчислитель идей и идейных комбинаций». И если бы, продолжает Струве, «политика была шахматной игрой и люди были бы деревянными фигурками, Милюков был бы гениальным политиком». Но это не так, а видеть и ощущать живых людей, им сочувствовать и сострадать Милюков роковым образом был не способен, что мешало ему на них влиять, ими управлять и распоряжаться. Характерно, что даже к трагедии, которую пережило Белое движение — крымской эвакуации, а по сути, бегству из Крыма, — Милюков отнесся очень холодно. А она, как пишет Струве, таким страшным образом ранила сердце всей русской эмиграции, что, конечно же, ее доверие к Милюкову как политику было еще больше подорвано.

Так что не только к настроениям и чувствам отдельных людей относился Павел Николаевич без должного внимания. Не всегда принимал он в расчет и чувства коллективные. Вот, скажем, в мае 1918 года левый кадет Оболенский предупреждает Милюкова об опасности приглашения в Россию иностранных войск для борьбы с большевиками: «Вам народ многих вещей не простит, зачем вы так поступаете, разве можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков?». Ответ Милюкова был парадоксален и страшен: «Народ? Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться».

Не принял он в свое время во внимание и обеспокоенность Александра Ивановича Гучкова судьбой русской армии, которая не могла уже, по его мнению, продолжать войну, на чем настаивал Милюков. По словам Гучкова, «Милюков был толстокожим, и впечатления у него были иные, чем у меня».

Думаю, что такие душевно-психологические установки, столь разительно отличавшиеся от милюковских теоретических посылок в изучении истории, в котором во главу угла ставился именно психологический фактор, очень сильно сказывались на принятии решений и в немалой степени предопределили политические неудачи Павла Николаевича.

И все же завершить свое выступление я хочу совсем на иной ноте. Это и в самом деле ненормально, что такая выдающаяся, как Милюков, фигура русского либерализма до сих пор находится в забвении. Его научное наследие и политический опыт представляют для нас огромную ценность, в чем я с Алексеем Кара-Мурзой и Михаилом Афанасьевым полностью согласна. У меня не вызывает сомнений, что современное наше либеральное движение и либеральная мысль должны находиться с этим наследием и этим опытом в преемственной связи, чего пока, к сожалению, не наблюдается. Но преемственность с интеллектуальной и политической традицией предполагает не только приращение, но и отталкивание. В противном случае мы можем вместе с воспроизведением «плюсов» прошлого получить и воспроизведение его «минусов».

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Ольга Анатольевна. Очень интересный предложили Вы угол зрения. Вроде бы речь идет, как говорил Михаил Николаевич, о «почвенном» политике, что проявлялось и в приверженности Милюкова имперско-державной государственной традиции, и в его ориентации на земское движение. А в психологическом складе и межличностных отношениях — какая-то «беспочвенность», что, однако, не мешало Павлу Николаевичу сохранять лидерство в кадетской партии.

Не думаю, что в этих индивидуальных особенностях надо искать главную причину неудачи русского либерализма начала XX века. Но нет ли в самом долговременном согласии именно на такой тип политического лидерства, сочетающего в себе либеральное доктринерство и эмоциональную глухоту, косвенного признания его безальтернативности в определенных условиях? В условиях, когда либеральная партия действует в инокультурной среде и пытается обрести широкую поддержку в социальных группах с разной, а порой и несовместимой идентичностью? Слушая Ольгу Анатольевну, я не мог отделаться от ощущения, что нечто похожее на милюковский психотип мы могли наблюдать и в психотипе некоторых либеральных политиков 1990-х годов.

Правда, во времена Милюкова в либеральном движении были и лидеры иного склада. Что же они противопоставили кадетам и каких достигли результатов? Об этом нам расскажет Нина Борисовна Хайлова.

Нина ХАЙЛОВА (доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член совета Фонда «Русское либеральное наследие»): «Взаимопритяжение исторической и политической концепций было характерно не для Милюкова, а для его оппонентов, либерал-центристов»

Оттолкнусь от одного из вопросов, вынесенных на сегодняшнее обсуждение: «Историческая и политическая концепции Милюкова: взаимопритяжение или взаимоотталкивание?» Скорее, на мой взгляд, имело место взаимоотталкивание. Свойственный Павлу Николаевичу схематизм политического мышления, о чем рассказала нам Ольга Анатольевна Жукова, — не просто особенность его личности. В этом я вижу и проявление того, что его политическая программа европеизации России не очень-то соотносилась с им же описанной историей страны, о чем говорил Игорь Моисеевич Клямкин. Истории самобытной и от европейской существенно отличающейся. А взаимопритяжение мы обнаруживаем у других либеральных политиков той эпохи — у либералов-центристов, бывших оппонентами Милюкова. Алексей Алексеевич в своем докладе о них уже упоминал, и я думаю, что их интеллектуальное наследие тоже заслуживает нашего внимания. В том числе и потому, что на их фоне рельефнее проявляются как ситуативные преимущества политиков милюковско-го типа, так и их сущностные слабости.

Речь идет о таких людях, как М.М. Стасюлевич, М.М. Ковалевский, К.К. Арсеньев, А.С. Посников, И.И. Иванюков. Коллеги, выступавшие до меня, сетовали на невостребованность Милюкова. Но имена, которые я назвала, сегодня, полагаю, вообще мало кому известны. Между тем большинство этих людей — патриархи русского либерализма, определившие его суть и программу еще в 1880-е годы. Под влиянием их идей сформировался и Милюков, политически от них впоследствии отдалившийся.

Каковы были главные идеи «старого» либерализма? Разумеется, во главу угла его представители ставили свободу, но — в сочетании с социальной справедливостью. Разумеется, они выступали за коренное обновление государственности, но одновременно и за ее укрепление. За развитие при сохранении исторической преемственности. И еще их воодушевляла идея патриотизма, понимаемая ими как одна из основных либеральных ценностей.

Изначально эти либералы брали на себя роль медиаторов. Их целью было решать вопросы постепенно, путем примирения враждебных сторон и сближения сил вокруг своей программы. Диктат, любые формы радикализма, насилия, террора ими безоговорочно отвергались. Думаю, что такой подход к решению российских проблем во многом определялся и глубоким знанием и пониманием истории — как мировой, так и отечественной. Истории, которая как раз и свидетельствует о том, что резкие, а тем более насильственные разрывы исторической ткани к утверждению либеральных ценностей не ведут.

Когда в России стали создаваться политические партии, патриархи отечественного либерализма горячо поддержали кадетов. Учитывая, однако, наличие сильных левых тенденций в этой партии, они решили не накладывать на себя «кадетское ярмо» и пустились в «свободное плавание». Вместе с правыми кадетами они занялись, по сути, формированием центристского течения в рус-

ском либерализме. Их поиск для России оптимальной («почвенной») модели либеральной партии сопровождался созданием ряда собственных, так называемых «малых» партий — Партии демократических реформ, Партии мирного обновления и других, которые, несмотря на краткий срок существования, привлекли к себе внимание и оставили след в истории российской многопартийности.

Важно при этом иметь в виду, что идеи либерал-центристов были созвучны программным заявлениям большого количества партий, создававшихся в регионах, и также не вписывавшихся в русло «кадетизма» или «октябризма». Думается, не случайно именно в рамках центристского течения уже под занавес существования Российской империи возникла идея создания национал-либеральной партии, органически сочетавшей либерализм с «почвенностью». Кроме того, либералы-центристы усиленно занимались поиском непартийных форм консолидации идейных сторонников, входивших в разные либеральные партии, поскольку уже тогда осознали « пороки» партийной жизни. И Арсеньев, и Ковалевский, и их младший соратник (о котором сегодня вообще практически никто не знает) Андрей Михайлович Рыкачев вели дискуссии по вопросам партийного строительства и с М. Острогорским, и с Р. Михельсом, и с П. Милюковым.

В эпоху партийного дробления либеральных сил центристы, неизменно выступавшие под лозунгом «В единении — сила!», стремились играть роль скрепы в либеральном движении. Они возложили на себя миссию «хранителей основ» старой либеральной программы, одновременно развивая ее применительно к нуждам современности. И результаты их деятельности не оставались невостребованными. Скажем, аграрная программа, разработанная одним из основателей Партии демократических реформ, крупным экономистом А.С. Посниковым, была в апреле 1906 года фактически заимствована кадетской партией.

Центристы не уставали призывать кадетов соблюдать чистоту тактических принципов. Как я уже говорила, они раньше, чем кадетское руководство, почувствовали опасность для России, исходящую слева. Путь диктата, насилия и террора — это был в их глазах путь в тупик, и они с самого начала призывали кадетское руководство безоговорочно такие явления осудить. Можно сказать, что либеральный центризм стал своего рода оппозицией левому кадетизму (И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев и другие), превалировавшему в партии Милюкова, который и сам тяготел именно к этому крылу.

Если попытаться коротко охарактеризовать самую главную черту лидеров либерального центризма, то она — в присущей им духовной целостности, неизменной верности своим принципам и идеалам. Это во многом обусловило и их политическую позицию, которую можно определить как позицию «поверх схватки». И в ней, как мне представляется, тоже обнаруживается глубокое, профессиональное понимание истории и опасности любых попы-

ток ее «опередить». Идеологи либералов-центристов не рассчитывали на быстрый эффект своей многообразной работы — парламентской и внепарламентской. Они, прежде всего, работали на перспективу, понимая, что быстро Россию не переделаешь, что с этим надо смириться и изо дня в день честно и в полную силу делать то, что считаешь нужным, и что от тебя лично зависит.

«Либерализм истинный, непоколебимый, покупается дорогою ценою учения и трудов, а не за стаканом вина», — эти слова молодого Стасюлевича вполне можно поставить эпиграфом к его собственной жизни, ставшей примером служения делу народного просвещения в родном отечестве. Бескорыстный, подвижнический тип деятельности был характерной чертой и других лидеров либерального центризма. Их приверженность так называемой теории «малых дел» и огромная эффективность этих самых дел в их исполнении — тема, достойная отдельного разговора. Думаю, что глубоко усвоенные ими «уроки истории», в которой прочно только то, что создано каждодневным трудом, были еще и источником их исторического оптимизма, позволяли «держаться удар» и не опускать руки, что бы ни происходило вокруг.

Как относились к либеральным центристам такие люди, как Милюков, избравшие другой политический путь? Послушаем самого Милюкова, его отклик на смерть М.М. Ковалевского в 1916 году. Павел Николаевич отводит своему соратнику-оппоненту роль ни больше, ни меньше, как знаменосца в освободительном движении:

«Если он не отрицал ни социалистического, ни "буржуазного" взгляда на задачи настоящего и будущего, то это потому, что, оставляя будущему решение принципиального спора между обоими мировоззрениями, он в настоящем объединял их в общем «западническом» взгляде на сущность и направление нашей общественной эволюции... Смотря на меняющийся калейдоскоп жизни поверх текущего момента, Ковалевский мог не отождествлять себя с той или другой определенной политической программой. Но он твердо держал общее направление, зная, куда идет дальнейшая дорога. Не всем дано стоять на той высоте, с которой видно, куда ведут события. Большинство из нас копошится в злобах дня, на них тратя все свои душевные силы. Но, как отдельные работники оркестра, все мы смотрим на то высокое место, где стоит дирижер. Он знает темп, и оркестр идет дружно... Ковалевский есть наше общее национальное богатство, которым мы горды, которого у нас никому не отнять».

Показательно, что тут нет даже попытки идентифицировать Ковалевского политически. А нет ее, возможно, и потому, что такая идентификация либералов-центристов в силу их идейной близости с другими либералами весьма затруднительна. Центрист — это прежде всего особый психологический тип, редкий в политической жизни во все времена. «Тенями грядущего» называли современники такого рода политиков в начале XX века, и именно эта оценка

звучит в отзыве Милюкова о Ковалевском. А вот что говорил он о другом видном центристе, графе П.А. Гейдене:

«Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой помыслов... Этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника оказался драгоценным, редким продуктом высшей культуры, случайно свалившимся в самый сумбур русской жизни с какой-то чужой планеты... Провести эти годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины — это счастье, которое достается немногим».

Но такие люди именно потому «тени будущего» в настоящем, что само будущее они видят в его преемственной связи с прошлым и настоящим. Вот мнение о том же Гейдене уже упоминавшегося в выступлениях коллег Петра Струве. «Гейден, — говорил Струве, — являл собой редкостный в России образец целовека, гармонически примирившего в себе консерватизм и либерализм. Вот в чем лежит удивительное обаяние графа Гейдена как политического деятеля». Эти характеристики с полным на то основанием можно отнести и к другим лидерам русского либерального центризма. И такие оценки их мировоззрения совпадают с их самооценками.

Вот как выглядит эта самооценка у Ковалевского, возражавшего против попыток современников «втиснуть» Партию демократических реформ — первый опыт организационного оформления центристов — в прокрустово ложе известных классификаций. «Нашу партию, — заявлял он, — нельзя считать ни правым, ни левым крылом, ни, тем более, центром. Поэтому вполне неправильно утверждение, что наша партия представляет правое крыло Конституционно-демократической партии, а по некоторым вопросам даже левое крыло Социал-демократической партии. Наша партия — просто *партия здравого смысла*, в том значении этого слова, что она признает необходимым считаться с историческим прошлым...».

Игорь КЛЯМКИН: То есть сами себя они центристами не называли?

Нина ХАЙЛОВА: Да, название это в определенном смысле условное, уместное лишь в пределах либерального спектра; на характеристику политической позиции оно не претендует. Речь идет, как я уже сказала, об определенном типе личности, в мировоззрении которой либерализм органично сочетается с консерватизмом, о чем говорил Струве, а образ либерального будущего соотносится с историческим прошлым, если пользоваться словами Ковалевского.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Нина Борисовна. Это любопытно, что при таком соотношении либерального будущего с историческим прошлым не получалось обеспечить политический контакт с настоящим. Или, говоря иначе, ради преемственности с прошлым приходилось это настоящее опережать настолько, что связь с ним почти полностью обрывалась.

Наверное, в критике милюковского «левого уклона» у либеральных центристов была своя правота. Но и отказ кадетов от левизны не привел бы к торжеству либерализма в России, а привел бы лишь к утрате кадетами того политического влияния, которое они первоначально получили благодаря поддержке в крестьянской среде. Да, впоследствии деревня отошла от них к более левым и радикальным эсерам, серьезно конкурировать с ними партия Милюкова не могла, для этого потребовалось бы пожертвовать своей либеральной идентичностью. Но, оставаясь либералами, они все же пытались учесть и общий вектор общественной эволюции, стихийно складывавшийся независимо от них. И вряд ли будет справедливо ставить им это в вину.

Сейчас я предоставляю возможность задать докладчикам вопросы. Обращайтесь непосредственно к тем, у кого вы хотите о чем-то спросить.

Максим НИКИТИН (профессор Высшей школы экономики): У меня вопрос к Михаилу Николаевичу Афанасьеву относительно отношения Милюкова к европейскости России. Как известно, в XIV–XV веках Русь состояла из трех частей: из Литовской Руси, Новгородской и Владимирской, ставшей потом Московской. Первые две части были европейскими, а третья — азиатской, и азиатская победила. И если, как Вы сказали, для Милюкова было характерно представление о европейскости России, то какую из этих частей он имел в виду?

Михаил АФАНАСЬЕВ: Дело в том, что Милюков вообще проигнорировал в своих «Очерках» наследие Киевской — правильнее бы сказать, Новгородско-Киевской — Руси. В результате генезис русской политической культуры, как культуры именно европейской, оказался вне его исследовательского внимания. Я считаю это серьезным упущением. В книге «Куда ведет кризис культуры?», недавно выпущенной «Либеральной миссией», представлен мой доклад, и я в нем как раз и говорю о том, что русское национальное начало типологически сходно с западноевропейским варварско-римским синтезом. В нашем случае это был славянско-варяжско-византийский синтез.

Игорь КЛЯМКИН: Да, но эта Ваша точка зрения, которая от милюковской отличается.

Алексей КАРА-МУРЗА: Можно мне кое-что добавить к сказанному Михаилом Николаевичем? В целом я с ним согласен. Но в вопросе упоминалась еще и Русь Литовская, которую Милюков тоже обошел вниманием. Возможно, это объясняется тем, что он все-таки не просто либерал и европеист, а либерал-имперец. Отложившаяся «русская Литва» ушла на периферию империи, но она, согласно Милюкову, должна в ней остаться и в будущем. Идею независимости и самостоятельности западных имперских окраин Милюков никогда не

поддерживал. Для Польши он хотел только автономии. Видимо, он рассуждал так: это западная часть «большой России», и, когда мы возьмем власть в центре, «западники» усилят европейский вектор развития страны.

Что касается Новгорода, то есть несколько свидетельств, что как историк Милюков очень сожалел о проигрыше «псковско-новгородской альтернативы». Однако как политик-рационалист он полагал, что это уже пройденный этап, и сейчас надо думать не о том, что было когда-то, а о том, как европеизировать ту Россию, которая исторически сложилась. Ту самодержавную Петербургскую Россию, которая выросла из допетровской Московии, псковско-новгородские вольности уничтожившей.

Игорь КЛЯМКИН: Это очень интересный вопрос, касающийся нашего исторического сознания. Того, откуда нам вести отсчет европейской традиции в России. Киевская Русь сейчас за пределами страны, Литовская — тоже. Новгород был разгромлен и свою культуру утратил. И нам надо определиться в том, от чего отсчитывать европейскую традицию, — от домосковского периода или от точек ее прорастания внутри самой Московии, а если не Московии, то Петербургской империи. Милюков склонялся ко второму подходу, который мне тоже кажется предпочтительнее первого. Киевско-Новгородская Русь и Русь Литовская — это все же другие государства, которые от возникшего под монгольским патронажем и влиянием государства Московского существенно отличались.

Еще вопросы, пожалуйста.

Валентин КУДРОВ (профессор Высшей школы экономики): Не знаю, кому из докладчиков адресовать мой вопрос. Наверное, Алексею Алексеевичу. Как Милюков относился к реформам Столыпина и лично к Петру Аркадьевичу?

Алексей КАРА-МУРЗА: В отличие от «правых кадетов» — Василия Маклакова, Петра Струве, Михаила Челнокова, которые поддерживали контакты со Столыпиным, Милюков всегда относился к нему резко негативно. И у него были на то свои причины.

Именно Столыпин, как известно, разогнал Первую Государственную думу, причем сделал это достаточно иезуитским способом. У нас сейчас мода на Столыпина, и его поклонникам хорошо бы эту историю знать. Есть рассказ сразу нескольких свидетелей о том, как накануне закрытия Первой думы, в пятницу, министр внутренних дел Столыпин позвонил в кабинет Председателя Думы Муромцева и попросил поставить в повестку заседания в понедельник его, министра, доклад. Муромцев согласился, а кадетская верхушка успокоилась: если Столыпин просит заслушать его в понедельник, значит роспуск Думы, которого все ожидали, по крайней мере, откладывается. Многие видные оппозиционные политики спокойно разъехались на выходные. Оказалось же, что

когда Столыпин звонил Муромцеву, у него в кармане уже был подписанный императором указ о роспуске Первой думы и о назначении его, Столыпина, премьером.

Такая вот была «разводка», такая «спецоперация». Подобная политическая стилистика вызывала у Милюкова отторжение. В своих мемуарах он впоследствии объяснит свое недоверие к Столыпину тем, что считал того не только политически нечистоплотной, но и политически несамостоятельной фигурой.

Конечно, в своем неприятии Столыпина Милюков был в кадетском руководстве не одинок. В этом руководстве были ведь не только свои «правые», но и «левые». Например, открыто ненавидел Столыпина, как «царского сатрапа», Иван Ильич Петрункевич — старый земец, лидер фракции в Первой думе, пользовавшийся абсолютным моральным авторитетом. Милюков, «левым» себя не считавший (он позиционировал себя в партии как центрист), в данном отношении был к ним близок.

Игорь КЛЯМКИН: По-моему, сегодня актуален вопрос не о взаимоотношениях Столыпина и Милюкова, а о нашем собственном отношении к тому и другому. Столыпин олицетворяет идею авторитарной социально-экономической модернизации, Милюков — идею модернизации политической. Мы все еще спорим о том, что важнее, хотя пора бы уже задуматься и об иной постановке вопроса.

В странах Восточной Европы эти две линии — Столыпина и Милюкова — удалось соединить. Там либеральные реформы в экономике следовали сразу же за либерально-демократическими преобразованиями в политике, это был единый процесс. А мы никак не можем определиться и продолжаем спорить о том, что первично, а что — вторично. В результате же и экономика у нас, мягко говоря, не совсем либеральная, а политическая система так и просто авторитарная. Еще есть вопросы?

Лев ИВАНОВ: Алексей Алексеевич, Вы говорили, что основная проблема Милюкова-политика заключалась в том, что присущий ему политический рационализм сталкивался с иррационализмом тогдашней власти. У меня не столько вопрос, сколько просьба чуть-чуть развить этот тезис.

Алексей КАРА-МУРЗА: Я все же отреагирую сначала на реплику Игоря Моисеевича. Можно, конечно, продолжать старый спор о том, прав или не прав был Милюков, не желавший играть в политические игры со Столыпиным. С точки зрения Милюкова, Столыпин — это беда России. Он развалил две Думы, он незаконно изменил избирательный закон, он всегда заискивал перед двором. Противоположная точка зрения заключается в том, что Столыпин был «великим либеральным реформатором» в социально-экономической

сфере — прежде всего, в аграрной, и его реформы при достаточной поддержке могли помочь России избежать катастрофы. Но сегодня этот спор если и интересен, то разве что в историческом плане. Потому что сегодня у нас нет столь мощного политического субъекта на либеральном фланге, каковым была кадетская партия с ее авторитетными лидерами. И претендента на роль Столыпина — даже потенциального — я не вижу тоже. Так что повторяю, никакого актуального политического значения такие споры сегодня не имеют.

Игорь КЛЯМКИН: Тем не менее споры о том, какой путь модернизации оптимален для России — авторитарный или демократический, продолжаются уже больше двадцати лет. И, соответственно, о том, какие реформы важнее — экономические или политические. Сторонники первой позиции ссылаются на Столыпина, а приверженцы второй в отечественной истории ориентиров не находят, хотя кадеты и их лидер на такую роль вполне могли бы претендовать. Возможно, потому не находят, что Милюков и его партия у власти не были и, в отличие от Столыпина, примера реального практического реформирования после себя не оставили. Но, может быть, в таком случае фигуру Павла Николаевича, как альтернативу Петру Аркадьевичу, как раз и стоило бы актуализировать?

Алексей КАРА-МУРЗА: Могли лишь еще раз повторить: политических субъектов, соизмеримых со Столыпиным и Милюковым, в России сегодня нет, а потому и замыкать наши споры на их фигуры нет никакого смысла. Ну, а если такие субъекты появятся, чего я вовсе не исключаю, тогда будет и предмет для более содержательного разговора.

Игорь КЛЯМКИН: Вас еще просили подробнее сказать о том, как рационализм Милюкова соотносился с «иррациональностью власти».

Алексей КАРА-МУРЗА: Да, я помню. Тут не о чем особо распространяться, потому что одно с другим не соотносилось никак. С кем во власти разговаривать? — спрашивал Милюков. И отвечал: разговаривать не с кем. Потому что там сплошная иррациональная бюрократия, которая мучается своими комплексами и погружена в придворные взаимоотношения и интриги. Публичный инструмент в руках этой придворной камарильи — Столыпин. Но и с ним рационально обсуждать какие-то вопросы бесполезно, так как он всего лишь функция императорского режима, лишенный в своих действиях какой-либо самостоятельности. Как только он начнет говорить с нами всерьез, его тут же снимут. Примерно такова была логика левых кадетов и Милюкова. Не будем забывать, кстати, что даже такого Столыпина иррациональная власть опасалась, а потому сама же его и убила, подставив под пулю провокатора.

Тем не менее Милюков-рационалист желал сохранения в России монархии, хотя и ограниченной конституцией. Он был практически единственным из крупных деятелей Февраля, который чуть ли не на коленях умолял великого князя Михаила Александровича занять престол после отречения Николая за себя и за сына. Потому что иррационализма «низов», разбуженного Февралем, он боялся не меньше, чем иррационализма «верхов». И это объясняет многие его решения и поступки.

Почему, скажем, так настаивал Милюков после Февраля на продолжении войны с Германией? Потому что полагал: пусть уж лучше армия держит фронт против немцев — это ее хоть как-то дисциплинирует. Если же эту разнуздавшуюся вооруженную силу в ситуации государственного распада запустить внутрь России, она разнесет все. Согласитесь, в этом была своя логика.

Драма Милюкова в том-то и заключалась, что ему приходилось воевать на два фронта с двумя иррационализмами — властным и низовым. Они противостояли друг другу, и они в конечном счете сплющили оказавшегося между ними рационалиста и позитивиста Милюкова.

Виктор ДАШЕВСКИЙ (историк): Алексей Алексеевич, мой вопрос навеян тем, что я только что от Вас услышал. Вы ставите в заслугу Милюкову то, что он уговаривал князя Михаила принять власть после отречения Николая, от чего Михаил, как известно, отказался. Скажите, пожалуйста, а Вы-то лично как считаете — мог он принять ее, Милюков правильно его уговаривал? Кто был прав, по Вашему мнению?

Алексей КАРА-МУРЗА: Я понимаю логику Милюкова. Это рационалистическая логика удержания лодки от раскачивания. Парадокс же в том, что коллеги Милюкова по Февралю, даже более «правые», чем он, недооценивали этой проблемы. Например, октябрист Александр Гучков был уже в феврале «морально готов» к республике, был, так сказать, «и вашим, и нашим». А еще более правый октябрист Михаил Родзянко, судя по всему, полагал, что именно республика вознесет его еще выше к власти и сделает русским президентом. Милюков, на мой взгляд, в той ситуации был рациональнее и трезвее всех.

Игорь КЛЯМКИН: Передача власти Михаилу Александровичу была юридически некорректной. Передать ее, согласно закону о престолонаследии, можно было только сыну Николая царевичу Алексею, права отречься за которого у Николая не было. Еще вопросы? Пожалуйста, Евгений Григорьевич.

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): Не мог ли бы кто-то объяснить мне, почему Милюкову так нужны были проливы, из-за которых шла война? Царь готов был за них воевать, но зачем они нужны были кадетам? Зачем вообще было поддерживать эту войну, приведшую в конечном

счете к тому, что Россия свернула с того пути, двигаться по которому начала в эпоху реформ Александра II? С пути, который вел ее в Европу?

Алексей КАРА-МУРЗА: Отвечу коротко. Милюков был одним из лидеров панславистского движения в России и Европе. Он считался личным другом многих славянских народов — в частности, другом Болгарии. И он полагал, что продолжает дело «освобождения славян» от османов, начатое Александром II. Тот не добился проливов, а Милюков мечтал о том, чтобы Россия ими владела.

Евгений ЯСИН: Он и националист, и империалист...

Алексей КАРА-МУРЗА: И еще панславист. Представляете, сколько недостатков в одном флаконе!

Михаил АФАНАСЬЕВ: Не забудем только, что Павел Николаевич — еще и либерал, желавший для России европейского будущего.

Евгений ЯСИН: Не забудем. Я как раз об этом и намереваюсь говорить.

Игорь КЛЯМКИН: Вы хотите выступить? Больше вопросов к докладчикам вроде бы нет, и я могу предоставить Вам слово. Попутно хочу только заметить, что имперскость — старая болезнь русского либерализма, до сих пор не излеченная. Пожалуйста, Евгений Григорьевич.

Евгений ЯСИН: «Нам могут быть полезны идеи Милюкова относительно того, как строить европейские институты в исторически недостаточно подготовленных для этого условиях»

Я не историк, и именно поэтому, быть может, мне было так интересно слушать сегодняшних докладчиков. Нам очень важно осознавать, что либерализм, как интеллектуальное и политическое течение, не является в России столь уж беспочвенным, каковым его часто изображают, что у него есть давняя традиция. Может быть, не очень сильная и не очень глубоко укоренившаяся, но она есть, а будет ли она развиваться и укрепляться, в немалой степени зависит и от нас.

Павел Николаевич Милюков, о котором сегодня шла речь, интересен нам и как историк, и как политик. Он интересен как историк, потому что, будучи сторонником европейского пути и европейского будущего для России, не подгонял отечественную историю под историю европейскую, а добросовестно фиксировал их различия. Это значит, что он отдавал себе полный отчет в сложности задачи, которую предстояло решать. А как политик, о чем здесь говорилось неоднократно, он интересен тем, что европейскую Россию вместе со своими единомышленниками пытался создать.

Да, у него не получилось. Но я не думаю, что причину следует искать в его психологических особенностях, хотя привлекательными их, конечно, не назовешь. Полагаю, что, будь Милюков даже самым человеколюбивым политиком всех времен и народов, либералам того времени воспрепятствовать приходу к власти большевиков вряд ли бы удалось. Их победа случилась не потому, что лидеру кадетов не хватало душевности в отношениях с людьми. Она случилась потому, что Россия была крестьянской страной с огромной крестьянской армией, ведущей войну. Страной, в которой столыпинскую аграрную реформу не удалось завершить, и в которой большинство крестьян тяготело к всеобщей уравнительности. Поэтому российская деревня переметнулась сначала от кадетов к эсерам, а потом к захватившим власть большевикам, которые приватизировали эсеровскую аграрную программу, составленную из наказов самих крестьян.

Игорь КЛЯМКИН: В этой программе было записано, что частная собственность на землю отменяется в России навсегда. Кадеты так далеко идти позволить себе не могли.

Евгений ЯСИН: Вот именно, они же либералы были. Далее, я спрашиваю себя: когда было больше возможностей для развития России по европейскому пути — во времена Милюкова или сейчас? Думаю, в определенном отношении их больше сейчас — Россия теперь уже не крестьянская, а городская страна, несопоставимо более образованная, чем сто лет назад, хотя и с сильной инерцией крестьянской ментальности. Но в другом отношении возможностей стало еще меньше.

Да, прочная политическая ткань для осуществления либеральных преобразований в России начала XX века отсутствовала, и тогдашним либералам приходилось ее создавать. Об этом говорил здесь Алексей Кара-Мурза, характеризуя историческую и политическую концепцию Милюкова. Но такого разрушения социальности, какое произошло при советской власти, российская история еще не знала. И на этих развалинах власть может позволить себе то, чего во времена Милюкова позволить себе не могла.

Недавно я прочитал в книге Дугласа Норта и двух его соавторов «Насилие и социальные порядки» (она переведена на русский язык) о том, как развивалась политическая жизнь во Франции XIX века. Во-первых, я обнаружил, что наш будущий президент очень многим напоминает французского президента Луи Бонапарта. Все те приемы, которые применяет в отношении своих политических противников Владимир Владимирович, применял и Луи Бонапарт. Но во Франции была и некая институциональная ткань, которая не позволяла, скажем, лишить оппозиционные партии любых источников существования. А в сегодняшней России такое возможно. И это — результат того разрушения социальности, которое произвели в России большевики.

Могут ли нам в таких обстоятельствах пригодиться идеи и политический опыт Милюкова? Думаю, что очень даже могут. Нам могут быть полезны его подходы к изучению российской истории, выявляющие ее отличия от истории европейской. Эти подходы нуждаются, конечно, в развитии с учетом опыта XX века и всего того, что нам от него досталось в наследство. Нам могут быть полезны и идеи Милюкова относительно того, как строить в России европейские институты в исторически недостаточно подготовленных для этого условиях. Идеи, которые получили столь яркое воплощение в создании и деятельности либеральной кадетской партии.

Наверное, была своя правота и у тех либеральных современников Павла Николаевича, которые ему оппонировали и о которых мы сегодня услышали много интересного. Но факт ведь и то, что столь влиятельной парламентской партии, пользующейся широкой поддержкой в обществе, им создать не удалось. Я не исключаю даже, что, не случись мировая война, при наличии такой поддержки кадетам вместе с октябристами (тоже влиятельной, но более консервативной партией) удалось бы предотвратить сползание страны к большевизму. Как бы то ни было, история свидетельствует о том, что никаких противопоказаний для появления сильной либеральной партии в России нет. Вот и давайте думать о том, что и как нужно делать, чтобы она появилась. Мы не начинаем с нуля, у нас были предшественники, заложившие интеллектуальную и политическую традицию, на которую можно опираться.

Да, драконовское законодательство последних лет и другие ограничители оппозиционной политической деятельности эту деятельность застопорили. Но сейчас, под влиянием пробудившейся после прошлогодних парламентских выборов общественности, кое-что начинает меняться. Не так и не в том объеме, как нам бы хотелось, но наши возможности эти перемены все же расширяют. А воспользуемся мы ими или нет, зависит уже от нас.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Евгений Григорьевич. Я хочу все же напомнить о том, что октябристы и кадеты имели широкое представительство в Думе, не в последнюю очередь, благодаря изначально жесткому избирательному цензу, который в 1907 году был ужесточен еще больше. В результате в Третьей думе, например, свыше 40 процентов депутатов составляли представители дворянства — при том, что в составе населения доля дворян была около полутора процентов. А представители крестьян, составлявших свыше 80 процентов населения, имели в Думе всего 15 процентов мест. Напомню и о том, что на выборах Учредительного собрания, проходивших без цензовых ограничений, либеральные партии начисто проиграли социалистам — деревня проголосовала за эсеров, а города — в основном за большевиков, получивших по стране около 24 процентов голосов.

Евгений ЯСИН: За большевиков или за социал-демократов?

Игорь КЛЯМКИН: За большевиков. Меньшевики вместе со всеми либералами собрали в несколько раз меньше.

Кто-то еще хотел бы выступить? Дмитрий Иванович, прошу Вас.

Дмитрий КАТАЕВ (член политсовета московского отделения движения «Солидарность»): «Осознание связи времен могло бы существенно помочь нам в преодолении совсем не детской “болезни левизны” в российском обществе»

Я тоже не историк и попросил слова лишь потому, что чуть ли не каждый выступавший говорил не только о прошлом, но и о настоящем. И это хорошо, что историки думают не только об истории. Что их интересует и сегодняшний день, интересует связь времен, которая была разорвана и которую они пытаются восстановить. Услышанное здесь для меня крайне важно, потому что разрыв связи времен меня тоже очень беспокоит.

Я много времени провожу в социальных сетях, где общаюсь с самыми разными людьми. В том числе и с коммунистами, с которыми пытаюсь вести диалог. И довольно часто вспыхивают дискуссии о Феврале и Октябре 1917 года. Поначалу разговор может быть совсем о другом — о жилищных проблемах, о медицинском обслуживании, о выборах, о чем-то еще. А потом он стихийно перетекает в историческую тематику. И тогда я могу наблюдать, сколь глубоко сидит в сознании людей предубеждение в отношении Февральской революции, основанное, с одной стороны, на вопиющем невежестве, а с другой — на глубоко укорененной отзывчивости к левой идее.

Читая то, что люди порой пишут, я не могу отделаться от ощущения: их исторический кругозор в лучшем случае ограничен сведениями и оценками, почерпнутыми когда-то из советских учебников. Какой Милюков? Какой Струве? Какая преемственность с их идеями? Об этом не только с пенсионерами, но, что еще печальнее, и с молодыми людьми говорить сегодня невозможно.

Разрывом связи времен мы, прежде всего, обязаны большевикам. Но дело все же не только в них. Дело еще и в том, что связь эта нередко восстанавливается уродливо, когда отрицание большевизма сопровождается отрицанием не только Октября, но и Февраля, а все, что было до него, идеализируется. При этом то, что происходит сейчас, людям может не нравиться, а то, что было в царской России, вызывать симпатии. Когда я такое слышу, вспоминаю своего деда, профессора истории, умершего в 1946 году. В 1914-м он написал книжку «Дореформенная бюрократия в России». Читаешь ее сегодня, и постоянно ловишь себя на том, что это написано не только о той, старой бюрократии, но и о нашей сегодняшней. А кто-то искренне считает, что 150–200 лет назад в стране был чуть ли не рай. Такая вот связь времен возникает порой в сознании после ее разрыва.

Казалось бы, примерно четверть века назад связь времен начала восстанавливаться иначе — как связь разных этапов на пути к демократии. Она

начала восстанавливаться, потому что в мире она никуда не исчезала, потому что мировая цивилизация существовала рядом с нами, и идущие от нее импульсы после семи с лишним десятилетий советской изоляции были Россией уловлены. Результатом стали события 1991 года, которые, в свою очередь, стали звеном в цепи демократических революций в стране. Но, к сожалению, в таком качестве эти события до сих пор не осознаны. Вспоминаю, как отмечалось двадцатилетие августовских дней 1991-го: никто ведь так и не сказал тогда, что те дни находятся в одном ряду с революцией 1905 года и Февралем 1917-го. Равно как и о том, что этот революционный процесс до сих пор не завершен, и что в будущем он неизбежно должен получить продолжение. В данном отношении разорванная связь времен все еще не восстановлена. И когда люди выходили на Болотную площадь, они тоже не думали об исторической цепи событий, звеном которой стали недавние митинги протеста.

Зато мы имеем левую и консервативную реакцию на август 1991-го, которая распространяется и на февраль 1917-го. То есть связь времен, понимаемая как цепь революционных демократических преобразований, оценивается не позитивно, а негативно, что означает стремление незавершенный процесс таких преобразований не только не завершать, но и навсегда исключить его продолжение как процесса заведомо вредного. Вот о чем я думал сегодня, слушая чрезвычайно интересные сообщения о событиях прошлого и тех людях, которые олицетворяли один из важнейших этапов демократических преобразований в России. Эти события и люди предстали перед нами живыми, вписанными не только в прошлый, но и в современный контекст. Можно сказать, что перед нами предстала связь времен в ее либерально-демократическом понимании.

Мне кажется, что такая просветительская работа должна быть непременно продолжена. В какой форме, судить не берусь, но оставлять эту тему нельзя. Сторонникам демократии нужно свое понимание связи времен, этих сторонников консолидирующее. Ее осознание могло бы существенно помочь нам в преодолении той совсем не детской «болезни левизны» в российском обществе, о которой я говорил. Равно как и в преодолении упомянутого Алексеем Кара-Мурзой охранительного консерватизма.

Игорь КЛЯМКИН: «Признавая неевропейскость российской истории, Милюков опирался на тенденции в ней, свидетельствовавшие, по его мнению, о предрасположенности России стать Европой»

Спасибо. Больше желающих выступить нет, и мы можем наше собрание завершать.

Тем, к чему призывает нас Дмитрий Иванович, мы в меру сил пытаемся заниматься, намерены делать это и впредь. Любым предложениям на сей счет будем рады и попытаемся их реализовать. То, что Дмитрий Иванович называет

восстановлением связи времен, я называю формированием либерального исторического сознания. Речь идет о том, чтобы в истории России, при всех ее отличиях от истории Европы, выделить европейские тенденции и именно их в историческом сознании актуализировать, настроить его на преемственную связь с ними. Задача, прямо скажем, непростая уже потому, что сами эти тенденции в нашей среде понимаются неодинаково.

Это проявилось и сегодня. Проявилось как в интерпретации концепции Милюкова-историка, его представлений о сочетании в ней самобытного и европейского начал, так и в оценках Милюкова-политика, чья деятельность сама является частью отечественной истории. Полезны ли такие дискуссии? Думаю, что полезны. Они полезны уже тем, что актуализируют российскую либеральную традицию, вводят ее в современный контекст. И, прежде всего, традицию интеллектуальную, включающую в себя и концептуальное осмысление истории России. Поэтому мы и выносим на наши обсуждения идеи и подходы старых русских либеральных историков, надеясь, что дискуссии по поводу этих идей и подходов помогут сблизить наши позиции относительно самой истории.

Несколько соображений хочу высказать конкретно о Милюкове — одном из крупнейших, на мой взгляд, ее исследователей.

Мне, как и Евгению Григорьевичу Ясину, представляется крайне важным то, что Милюков, будучи убежденным либералом-европеистом, сумел избежать соблазна представить историю страны более европейской, чем она была, а свои убеждения более соответствующими ей, чем они являлись. Не соблазнялся он и оценочными суждениями, что, впрочем, при его позитивистской методологии было естественно. Его интересовали только факты, главным из которых был факт самого существования российской государственности в ее самобытных проявлениях.

В свою очередь, главным среди таких проявлений Милюков считал изначально *военный* характер этой государственности. Возможно, именно поэтому он, в отличие от многих своих современников, считал и советский режим не аномальным отклонением от общего маршрута российской истории, а его продолжением, пусть и временным. Если, говорил Милюков, в Советском Союзе есть танки и есть солдаты, умеющие ими управлять и выигрывать войны, то этого достаточно для того, чтобы не считать советское государство искусственным политическим образованием. И такое понимание полностью соответствовало милюковской интерпретации отечественной истории. Как истории, принципиально отличающейся от европейской.

Я отдаю себе отчет в том, что Михаил Афанасьев может мне еще раз напомнить высказывания Милюкова, на которые Михаил Николаевич ссылался в своем выступлении. Высказывания, свидетельствующие о признании Милюковым наличия у России и русской культуры общих с Европой и ее культурой корней. Но такие цитаты, на мой взгляд, сами по себе еще ни о чем не говорят,

учитывая, что в конкретном исследовании Милюков показывал нечто прямо противоположное.

Да, он исходил из того, что мировая история подчиняется неким общим закономерностям, и потому в ее исходных точках между Россией, странами Европы и любыми другими существенных различий не существует. А так как реальная история разных стран все же разная, то это объясняется, по Милюкову, тем, что в них разной является конкретная среда, в которой развивается общественная жизнь. Какова связь между общими закономерностями и средой, из его текстов не очень понятно, но в данном случае это не важно. Важно то, что в российской истории, отсчитываемой им не с киевско-новгородского периода, а с XIV–XV веков, то есть с последнего периода монгольской колонизации, никаких признаков европейскости он не обнаруживает, а обнаруживает, наоборот, одни лишь отличия от нее.

О главном из этих отличий я уже по ходу дискуссии упоминал. Оно, согласно Милюкову, в том, что российское государство произошло не из общества, не из естественно развившегося сословного строя, как то было в Европе. Это государство, сложившееся в XIV–XV столетиях в виде «московской диктатуры», само формировало нужные ему для его целей квазисословные общности, всецело ему подчиненные и от него зависимые. И создавалось оно не внутренними, а внешними потребностями — прежде всего, военными, что и предопределило способ его организации, уподоблявший управление государством управлению армией.

Об этом до Милюкова говорил и его учитель Ключевский, но говорил вскользь. У Павла Николаевича такой ракурс рассмотрения государственной истории выходит на первый план. Под влиянием угроз от Литвы и осколков Орды, «Москва, — цитирую, — становится с конца XV века настоящим военным станом, главным штабом армии... Московские князья поневоле отвлекаются от своих хозяйственных забот и принимаются за устройство военного дела. В области внутреннего управления их интересы все более и более сводятся к добыванию средств, необходимых для содержания войска». И такая организация государства не могла не сказаться на повседневном жизненном укладе всех жителей Московии, сопровождаясь его милитаризацией. Милюков, правда, этим термином не пользуется, но суть описываемых им процессов именно в этом.

Милитаризация повседневности не означала, что все мужское население страны превращалось в воинов, как то было, например, у монголов. Потому что, в отличие от монголов, живших за счет дани с покоренных народов, Московия должна была кормить свое войско и оплачивать другие военные нужды сама. И Милюков показывает, как армейская организация государства распространялась на весь социум посредством *военных налогов*. Они были разные и взимались на конкретные цели: на содержание «пищальников», на изготовление пороха для ружей, на постройку укреплений и засек. Был

и отдельный налог на выкуп из плена тех, кто стал жертвой татарских набегов («полоняничные деньги»).

Евгений ЯСИН: Милитаризация проявлялась только в налогах?

Игорь КЛЯМКИН: Нет, конечно. Она проявлялась и в обязательной службе дворян в обмен на землю, и в крепостном праве крестьян, и в преимущественно военной функции городов. А вот как она сказывалась на других сферах жизни — церковной, образовательной, на характере искусства — Милюков не исследует, хотя и детально их описывает. Тут еще есть что изучать. Милюков же, повторю, милитаристскую природу Московского государства иллюстрирует, прежде всего, действовавшей в нем системой военных налогов.

Он показывает, как эта система менялась, как к прежним налогам добавлялись другие под влиянием внешних вызовов. Так Московское государство отвечало на появление в Европе новых видов вооружений и соответствующих им способов организации армии. Отвечало до Петра и отвечало при Петре, взвинтившего военные расходы до такого уровня, какого даже в Московии раньше не наблюдалось. Понятно поэтому, почему Милюков к европеизму Петра относился столь сдержанно. Петровское милитаристское государство, сила которого обеспечивалась за счет еще большего ослабления общества, имело очень мало общего с европеизмом самого Павла Николаевича. Европеизмом, который в его понимании предполагал нечто прямо противоположное, а именно — *освобождение общества от государства*.

В соответствии с таким пониманием Милюков и выстраивал свою либеральную политическую стратегию. Выстраивал, выслушивая упреки в том, что стратегия эта исторически беспочвенна, что выявленный Милюковым-историком контраст между русским и европейским развитием в прошлом несовместим с декларируемым Милюковым-политиком их единообразием в будущем. Естественно, что после победы большевиков и их укрепления у власти подобные упреки получили дополнительные фактические основания. Отвечая на них, Павел Николаевич начал корректировать свою историческую концепцию, к чему его подталкивало и желание дистанцироваться от появившихся на интеллектуальной сцене евразийцев, европейскость России в прошлом и, соответственно, в будущем отрицавших в принципе. Но я не думаю, что коррекции эти следует признать удачными.

Мне не кажутся убедительными попытки Милюкова обнаружить на ранних стадиях российской истории наличие феодального быта, идентичного европейскому. Не кажется мне убедительной и его оценка России как европейской страны, своеобразие которой лишь в том, что она в наибольшей степени подверглась азиатскому влиянию. Во всяком случае, такая оценка никак не вытекает из того, что сам Милюков писал о русской истории и ее принципиальных отличиях от истории европейской раньше. Сомнительным выглядит и его обо-

снование европейского будущего России с помощью стадийного подхода, хотя оно и представляет определенный интерес.

Милюков (скорее всего, под влиянием Спенсера) выделяет две фазы развития государств — военно-национальную и промышленно-правовую. При таком подходе Россия, застрявшая на первой стадии, представляет собой не альтернативу Европе, а *отставшую* в своем развитии Европу, переход которой в промышленно-правовую фазу неизбежен. Все мы, конечно, хотели бы, чтобы прогноз Павла Николаевича оказался верным. Но я все же не думаю, что уподобление военно-национальных фаз в России и Европе можно признать корректным.

В Европе эта фаза с присущей ей милитаризацией социума означала его феодальную организацию, а она, в свою очередь, предполагала то самое развитие сословий и правовых отношений, чего в России Милюков не обнаружил. Кроме того, европейская милитаризация с вхождением в Новое время осталась в прошлом, между тем как милитаризация российская, будучи по своему характеру принципиально иной, явилась, наоборот, *самобытным ответом на вызовы Нового времени* без освоения его ценностей. Так было в послемонгольской Московии и так же было в Московии советской. А между ними был длительный, не без попятных движений, период демилитаризации и европеизации страны, в конце которого заметную роль довелось сыграть и Павлу Николаевичу Милюкову.

Вот на этот европейский вектор, начало которого Павел Николаевич относил к царствованию Екатерины II, он и опирался в своей деятельности.

Евгений ЯСИН: То есть опирался на факты реальной европеизации, имевшие место и после Екатерины...

Игорь КЛЯМКИН: Да, причем европеизации углублявшейся, проявлявшейся в том самом освобождении общества от государства, которое Милюков ставил во главу угла. И именно поэтому я и в доэмигрантском периоде его жизни не нахожу противоречия между Милюковым-историком и Милюковым-политиком. Он не погрешил против истины, описывая российскую историю как историю неевропейскую, и остается лишь сожалеть, что в эмиграции он занялся искусственным подтягиванием первой под вторую. Но он не погрешил против истины и в том, что в самой этой неевропейской истории, отсчитываемой им не с Киевско-Новгородской Руси, а с ордынской и послеордынской Московии, обнаружил проявлявшиеся с XVIII века и со временем углублявшиеся европейские тенденции. Тенденции, свидетельствовавшие о потенциальной предрасположенности России *стать* Европой.

На эти тенденции и пытался опереться, их и пытался развивать Милюков-политик — с тем, чтобы превратить их в устойчивые традиции. И не его вина в том, что он пришел раньше времени. Что тенденции эти оказались слабыми,

что ни русская интеллигенция, ни земства, на которые он пытался опереться, не в состоянии были стать социальными субъектами, способными противостоять новой, на сей раз советской, милитаризации государства и социума.

Милюков не дожил до того времени, когда на смену этой второй милитаризации пришла вторая демилитаризация. Когда выяснилось, что и послесталинская демилитаризация, как когда-то послепетровская, есть не столько решение главной проблемы российской истории, сколько *сама эта проблема*. Проблема перевода демилитаризованного милитаристского государства в государство конституционно-правовое при отсутствии или слабости необходимых для решения такой задачи социальных и политических субъектов. Но в такой ситуации у русских европейцев нет сегодня иного выхода, кроме возвращения к опыту предшественников и восстановления с ним преемственной связи. Опыту формирования в России европейской политической культуры и европейской политической среды, способной вывести страну из ее исторической колеи, в которой бесправие жизни по приказу чередуется с произволом не упорядоченной законом «свободы». Из колеи, которая в наши дни выглядит еще более тупиковой, чем во времена Милюкова.

РУССКИЙ XIX ВЕК: ОТ ВЛАСТИ АВТОРИТЕТА К ВЛАСТИ ЗАКОНА

Игорь КЛЯМКИН: Сегодняшняя наша встреча приурочена к 150-летию со дня рождения Александра Александровича Корнилова — крупного политическо-го деятеля кадетской партии и известного историка. Широкой публике его имя мало что говорит, поэтому наше собрание в какой-то степени обречено быть ознакомительным. Не хотелось бы, однако, чтобы оно свелось только к этому.

Корнилов будет интересовать нас сегодня, прежде всего, как историк, изучавший российское XIX столетие. Именно на этом столетии сосредоточил он свое исследовательское внимание, посвятив ему несколько работ — в том числе обобщающий «Курс истории России XIX века». Такое пристальное фокусированное внимание не было случайным. Оно проистекало из общей оценки Александром Александровичем того периода, начало которого он отсчитывал с правления Екатерины II, как периода для России нового, принципиально отличного от предшествующего.

Корнилов описывает его как движение власти и общества от закрепощения всех сословий государством к регулируемой и защищаемой законом свободе. Движение, в котором шаги вперед чередовались с откатами назад, и которое ко времени, когда жил Александр Александрович, так и не завершилось. Оно, как мы знаем, не завершилось и до сих пор. Но это значит, что ответ на вопрос о том, что способствовало и что препятствовало движению России к правовому государству в прошлом, остается актуальным, соединяющим прошлое с настоящим и настоящее с прошлым. Равно как и вопрос о причинах циклического чередования реформ и контрреформ в России.

У Корнилова, правда, мы не находим концептуального объяснения фатальной российской цикличности и ее природы. Он — не из числа историков-концептуалистов. Но мы находим у него богатейший фактический материал, позволяющий судить о том, как в зигзагообразном движении от закрепощения к свободе и праву проявлялись самые разные интересы и ценности.

Мы видим, как и почему в то или иное время действуют верховная власть, различные группы дворянства, бюрократии, интеллигенции, как ведет себя крестьянство. Мы видим, какое влияние оказывают на эти действия меняющиеся внутренние и внешние факторы. Мы видим также, как на протяжении XIX века меняются различные институты: Корнилов детально описывает разнонаправленные перемены в государственном управлении и местном самоуправлении, в судах и армии, в политике, касающейся печати и просвещения. Нам, осведомленным об опыте всего XX и начала XXI веков, эта впечатляющая эмпирическая панорама представляет ценнейший материал для концептуаль-

ного осмысления отечественной истории. Ведь другого столь обстоятельного и многоаспектного описания русского XIX столетия, насколько знаю, в России после Корнилова не появлялось.

Как и на прежних наших встречах, посвященных крупным фигурам отечественного либерализма и проводимых нами совместно с Фондом «Русское либеральное наследие», вводный доклад представит руководитель этого фонда Алексей Кара-Мурза. Потом будут еще два докладчика. Прошу Вас, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Русская история XIX века — это для Корнилова принципиально другая история в сравнении со всей предыдущей»

Спасибо большое. Александр Александрович Корнилов, выдающийся русский историк и политик, родился в 1862 году и скончался еще не старым, но глубоко больным человеком в 1925 году в Ленинграде. Знатоки русской политики знакомы с ним в основном как с одним из лидеров кадетской партии, секретарем ЦК по оргработе. «Чистые» историки знают его как автора лучшего (по мнению очень многих) обобщающего труда по истории русского XIX века и как исследователя истории александровских реформ и общественного движения в России. Сегодня Корнилов будет нам интересен преимущественно в этом втором своем качестве. Однако не будем забывать и о Корнилове — практическом политике, о том, что он сумел успешно реализовать себя в двух видах деятельности, чем был схож со своим другом Павлом Милюковым.

Читатели работ Корнилова бывают обычно поражены обилием в них фактического материала и обстоятельностью изложения. Его принято считать строгим «объективистом» в описании истории. Между тем профессиональные знатоки его творчества усматривают в фундаментальных трудах Александра Александровича некий сквозной «стержень», хотя и формулируют его по-разному. Об этом наверняка еще будет сегодня разговор и, возможно, даже спор.

Я выскажу свою точку зрения: таким смысловым стержнем корниловских текстов является проблема прогресса в истории России, его цена, способы его достижения, обратимость и необратимость прогресса. Для Корнилова, как классического либерала, прогресс — это раскрепощение сословий, формирование гражданского общества и правового государства, эмансипация личности. Если формулировать конкретнее, то Корнилов, на мой взгляд, все время держит в уме один вопрос: что надежнее обеспечивает прогресс? Креативная сильная личность и ее авторитет, издаваемые государством законы или функционирующие в социуме общественные институты? Выяснить соотношение этих трех компонентов в истории России XIX века — это и есть главная исследовательская задача Корнилова.

Он исходит из того, что XIX век в России — век ее *новейшей истории*. И в этом — оригинальность его подхода. Вместе с тем Александр Александрович, по его собственному признанию, считает себя продолжателем работы своего учителя Ключевского — правда, учителя заочного, потому что Корнилов учился не в Москве, а в Петербурге, причем не на историческом, а на юридическом факультете. Ключевский, как известно, исследовал в основном более ранние периоды российской истории. Новейшая русская история, XIX век — это для Корнилова принципиально *другая* история, о чем Игорь Моисеевич уже упоминал. В чем же видит он ее своеобразие?

История, которой занимался Ключевский, — это, по Корнилову, история «собрания русских земель», формирования и укрепления государственной территории. Но эта задача, поставленная еще Иваном III, при Петре I и Екатерине II была в целом выполнена при параллельном ослаблении соседей — Швеции, Польши, Турции. И вот здесь-то в истории России и происходит поворот, здесь-то и начинается ее новейшая история. Теперь главной задачей вместо внешнего возвеличивания государства становится *благополучие граждан*. Теперь, как пишет Корнилов, «начинается постепенное раскрепощение сословий, закрепощенных в борьбе за территорию». И именно этот процесс раскрепощения, начавшийся с Екатерины, его и интересует, именно этот процесс он изучает и описывает. Изучает и описывает, имея в виду три упомянутых мной компоненты истории — личность, законы, институты.

Я остановлюсь лишь на первой из них. На том, какой видится Корнилову роль отдельных личностей и их идей в истории российского раскрепощения, в зигзагообразном движении России от власти авторитета к власти закона и институтов. Я имею в виду личности и идеи и царствующих персон, и тех, кто их окружал и оказывал на них влияние, и тех, кто выступал с программами преобразований от имени общества.

Эксцентрическая личность Павла I, правлением которого завершался русский XVIII век и начинался XIX век, стала, по Корнилову, первой преградой на пути к раскрепощению, начавшемуся при Екатерине II. Это был резкий разворот от прогресса к реакции, когда власть осуществлялась при полном небрежении к законам и институтам. Александр Александрович соглашается с Карамзиным, который писал, что Павел «господствовал всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти». Интересная деталь, на которую обращает внимание Корнилов: когда Александр I взойшел на престол, он амнистировал около 15 тысяч человек, репрессированных во внесудебном порядке лично Павлом.

Александр I, его личность и его реформаторские замыслы — объект пристального внимания историка. В том числе и потому, что на примере деятельности этого императора можно было наглядно показать, что для осуществления реформ необходимо не только желание правителя их осуществлять. Требуются еще и люди, которые готовы и способны реформы проектировать,

и которым можно было бы доверять. Между тем вокруг Александра, как показывает Корнилов, после убийства заговорщиками Павла таких людей, на которых новому императору можно было бы положиться, не обнаруживалось. Панину и Палену — инициаторам убийства — он не верит, других нет. Он получил власть в стране, где, по его собственным словам, сказанным еще в бытность великим князем своему наставнику Лагарпу, «все грабят, почти не встретишь честного человека».

Император, как известно, вызвал тогда — в основном из-за границы — своих «молодых друзей»: Строганова, Чарторыйского, Кочубея, Новосильцева. Они долгое время практически тайно (и от двора, и от страны) заседают в потайных комнатах Зимнего дворца, готовят планы будущих преобразований и законов. Именно в их кругу начинает свою карьеру Сперанский, которому и суждено было стать главным идеологом и разработчиком реформ, призванных обеспечить трансформацию власти авторитета во власть закона. Но его идеи столкнулись с идеями другой личности, имевшей другие, чем Сперанский, представления о прогрессе. Они столкнулись с идеями Карамзина.

В чем видел прогресс Карамзин, в первые годы после воцарения Александра бывший еще западником и либералом? Он видел его в просвещении и возращении роли общественного мнения, его влияния на деятельность должностных лиц. «Теперь лестно и славно, — цитирует Карамзина Корнилов, — заслужить вместе с милостью Государя и любовь просвещенных россиян». Таков карамзинский критерий прогресса применительно к государственному управлению: людям, его осуществляющим, важна не милость монарха, как было при Павле, а любовь граждан. Для Корнилова, однако, такой критерий явно недостаточен, и он усматривает в нем исток будущих идейных расхождений Карамзина со Сперанским. «Вот максимум гражданских мыслей и чувств, — восклицает он не без иронии, — до которых доходил тогда Карамзин!»

Попутно все же спрошу: много это или мало? Прошли ли мы хотя бы этот этап? Есть ли у нас сегодня государственные деятели, которых граждане просто любят за их, пользуясь словами Карамзина, «чистую добродетель»?

Как бы то ни было, спор Карамзина и Сперанского (в основном заочный) для Корнилова очень важен, для него это — первая важнейшая концептуальная развилка в истории российского раскрепощения. Да, он здесь всецело на стороне Сперанского, но и аргументацию Карамзина игнорировать не может.

Итак, тезис Сперанского (цитирую по Корнилову): «Сменить шаткое своеволие на свободу верную». То есть нужна не власть лиц, не власть авторитета, а власть закона и основанная на них власть институтов. Почему? Да просто потому, что власть авторитета падает, и правовое государство в этих условиях — не роскошь, а императив выживания. «Симптомами того, что момент для реформы созрел, — не без сочувствия пишет Корнилов, — он (Сперанский) признает падение в обществе уважения к чинам, орденам и вообще к внешним признакам власти, упадок нравственного престижа власти, рост духа критики

действия правительства. Он указывает на невозможность при таких условиях частных исправлений существующей системы... и приходит к выводу, что наступило время переменить старый порядок вещей».

А вот позиция Карамзина. В своей записке «О древней и новой России», представленной Александру I через великую княгиню Екатерину Павловну, Карамзин — к тому времени уже консерватор — высказывается против плана Сперанского и утверждает, что вместо всех реформ достаточно было бы подыскать 50 хороших губернаторов и обеспечить стране хороших духовных пастырей. А об ответственности министров Карамзин говорит так: «Кто их избирает? Государь. Пусть он награждает достойных своей милостью, а в противном случае удаляет недостойных без шума, тихо и скромно. Худой министр есть ошибка государева: должно исправлять подобные ошибки, но скрытно, чтобы народ имел доверенность к личным выборам царским».

Двести с лишним лет прошло после этой полемики, а она все еще актуальна. Потому что и в дальнейшем правители России, как и в начале XIX века, даже будучи инициаторами реформ, всегда склонны были в конечном счете больше прислушиваться к доводам карамзинского толка. А как это выглядело при Александре I, Корнилов описывает очень хорошо и подробно.

Кстати, о Карамзине хочу сказать и несколько слов от себя (все-таки он — мой пращур). Дело в том, что ко времени спора со Сперанским не так уж он и изменился, как пишут некоторые исследователи, по сравнению с временами «Писем русского путешественника» и раннего «Вестника Европы». Карамзин — либерал по отношению к самодурству Павла. По отношению же к законничеству Сперанского, он — консерватор. Такой тип людей в России тоже воспроизводится постоянно, мы можем наблюдать его и сегодня. По отношению к Сталину они — либералы, а по отношению к сторонникам европейской правовой государственности — консерваторы.

Еще одна развилка эпохи Александра I, которой Корнилов уделяет внимание, — столкновение личностей и идей уже не во власти и околоставных кругах, а в обществе. Или, говоря точнее, в «тайных обществах» будущих декабристов, где в последний период александровского царствования шли споры о путях русского прогресса. Споры сторонников двух позиций — «заговорщическо-якобинской» и просветительской.

Признанный лидер «якобинцев» — Павел Иванович Пестель. Он же и главный идеолог «Союза спасения, или Общества истинных и верных сынов Отечества» (по типу общества итальянских карбонариев). Но Пестель был вынужден покинуть столицу и уехать со своим шефом князем Витгенштейном в Южную армию, в Тульчин. И после его отъезда побеждает «просветительская» линия — преобразовать тайное общество по типу немецкого тугенбунда, то есть союза добродетели. В результате «Союз спасения» переименовывается в «Союз благоденствия», занимавшийся, помимо собственно просвещения (прежде всего,

в армии), помощью крестьянам, проектированием новой судебной системы и разработкой мер по развитию экономики (с публикацией, по возможности, соответствующих текстов в печати).

Эта развилка очень важна для Корнилова. Равно как и последующее возникновение на месте Союза благоденствия двух тайных революционных обществ — Северного, ориентированного на преобразование государства в ограниченную народным волеизъявлением монархию, и Южного (во главе с Пестелем), ориентированного на республику с предшествующей ее установлению временной военной диктатурой. Это для Корнилова важно, потому что похожие линии размежевания в российском образованном обществе, ориентированном на системные перемены, наблюдались и потом, и Корнилов описывает их не менее обстоятельно...

Игорь КЛЯМКИН: Он, насколько помню, не оценивает эти позиции.

Алексей КАРА-МУРЗА: Прямо он почти ничего не оценивает. Он описывает русскую историю как противоборство сил реакции и прогресса, показывая при этом, что представления о путях прогресса у разных людей были разные.

Следующий важнейший смысловой узел у Корнилова — начало реформ Александра II. Историк фиксирует ситуацию, очень схожую с той, что имела место в первые годы после восхождения на престол его дяди Александра I. Снова та же проблема: реформаторские замыслы некому переводить в конкретные проекты и проводить в жизнь.

Александр II досталась в наследство консервативная команда его отца: канцлер Нессельроде, военный министр Долгоруков, министр внутренних дел Бибииков, шеф жандармов Орлов, министр двора — Адлерберг. На этом фоне даже очень умеренные Киселев и Блудов считались в публике чуть ли не «либералами». Оказалось, что Александр Николаевич мог доверять только родному брату (на девять лет младше себя) Константину Николаевичу, да еще Якову Ростовцеву. Их давно сблизила совместная работа в Главном управлении военно-учебных заведений, шефом которых был наследник-цесаревич. Но в либеральных кругах у Ростовцева очень плохая репутация — известно было, что в ходе процесса над декабристами он все, что знал, «честно рассказал» императору Николаю.

О том, как и откуда пришла новая реформаторская команда, Корнилов пишет немного, но я этим вопросом занимался специально. Она пришла через салон тети императора, великой княгини Елены Павловны. Причем большую часть года этот салон был за границей — то в Риме, то в Ницце. Именно оттуда вышли практически все главные деятели будущих реформ. Среди них и Николай Алексеевич Милютин — главный мотор крестьянской реформы, кумир молодого Александра Корнилова.

Впоследствии, однако, Александр Александрович несколько скорректирует свои представления об «идеальном реформаторе». Его новым героем станет Виктор Антонович Арцимович, губернатор Калуги в 1858–1862 годах. Корнилов посвятит ему фундаментальное исследование, основанное полностью на архивных материалах, — «Крестьянская реформа в Калужской губернии при В.А. Арцимовиче». Чем же отличался Арцимович от Николая Милютина?

Прежде всего, тем, что он был не просто талантливейшим «либеральным бюрократом». Арцимович, как показал Корнилов, делал то, к чему Милютин расположен не был, а именно — давал простор общественным силам и на них опирался. В том числе, кстати, и на возвращенных из ссылки декабристов — Гавриила Батенькова, который в начале 1820-х годов в Иркутске сотрудничал еще со Сперанским, князя Евгения Оболенского и других. Повторю еще раз: прогресс в раскрепощении России Корнилов рассматривает не только с правовой и институциональной точек зрения. Он рассматривает его и с точки зрения личностных особенностей и идейных установок тех людей, на долю которых выпало раскрепощение осуществлять. И если вспомнить, скажем, о типологических личностных отличиях тех, кто проводил посткоммунистические реформы в России, от реформаторов Восточной Европы, то такой подход предстанет, по меньшей мере, как заслуживающий внимания.

В конце 1860-х жизненные пути Николая Милютина и Виктора Арцимовича пересеклись в Царстве Польском, где оба занимали самые высокие должности. Каждый понимал свой гражданский долг по-своему. Милютин проводил крестьянскую реформу, полагая, что земля сделает польского крестьянина лояльным русскому царю. Но при этом вел жесткую русификаторскую политику. Арцимович же считал принудительную русификацию не источником порядка, а источником потенциальной смуты. Может, потому, что сам был потомком польского шляхтича и католиком по вероисповеданию. И такой строй мыслей, в котором приоритет в процессе раскрепощения отдается не принуждению, а защищенной законом свободе, Корнилову был ближе, чем строй мыслей «либеральных бюрократов».

Между прочим, Корнилов и сам дважды пытался быть таким «либеральным бюрократом». Первый раз — как раз во время работы в Польше (1886–1892). После защиты магистерской работы на юрфаке Корнилов был назначен комиссаром по крестьянским делам в Конском уезде Радомской губернии Царства Польского. Там он проверял на практике свою тогдашнюю идею о государстве как потенциальном источнике и двигателе прогресса. Идею, от которой впоследствии отказался, придя к выводу, что главным субъектом раскрепощения общества может быть лишь само общество.

История повторилась в конце 1890-х годов в Восточной Сибири. Корнилов работал в Иркутске, где ему покровительствовал губернатор Александр Дмитриевич Горемыкин (не путать с печально известным Иваном Логгиновичем

Горемыкиным). Но на смену ему в 1900 году пришел новый губернатор Пантелеев, бывший до того командиром Отдельного корпуса жандармов, после чего Корнилов сразу ушел в отставку. Он и раньше уже начинал сомневаться в продуктивности для России самой идеи реформ, осуществляемых «либеральной бюрократией», а теперь распрощался с ней окончательно.

Я не случайно, говоря о Корнилове-историке, останавливаюсь на этих биографических подробностях. Они проливают дополнительный свет и на корниловский подход к изучению русского раскрепощения. Понимая его как движение от власти авторитета к власти закона и институтов, он, повторяю еще раз, исходил из того, что характер этого движения в значительной степени определяется качествами личностей, которые его осуществляют. В том числе и тем, насколько осознают они роль общества в данном процессе. А также тем, какие типы личностей выдвигает на роль своих лидеров само общество. И все это мы находим в его работах по русской истории XIX столетия. Но находим не в оценках тех или иных принимавшихся законов или исторических персонажей, чего Корнилов старается избегать, а в предельно объективном описании и конкретных действий представителей власти, и их личностных особенностей, равно как и действий и личностных особенностей представителей общества.

В заключение же хочу сказать вот о чем. Александр Александрович Корнилов — давнишний объект внимания нашего Фонда «Русское либеральное наследие». В 2005 году нам удалось реализовать проект в Иркутске, где Корнилов, как я уже говорил, работал чиновником по особым поручениям в канцелярии губернатора. Мы установили на этом здании (сейчас там один из факультетов университета) мемориальную доску. Я очень надеюсь, что до конца этого юбилейного для Корнилова года нам удастся провести аналогичные мероприятия в Саратове, где Корнилов работал позднее, в первые годы XX века — сначала журналистом, а потом числясь помощником присяжного поверенного. Собственно, в Саратове Корнилов стал по-настоящему профессиональным историком. Тем Корниловым, которого мы сегодня чтуем и обсуждаем.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Еще раз обращаю внимание присутствующих на то, что период, начавшийся с царствования Екатерины II, Корнилов рассматривает как принципиально новый в российской истории. Как период движения от власти авторитета к власти закона. Но Корнилов не берется объяснять, почему движение это было столь непоследовательным и зигзагообразным, почему за шагами вперед постоянно следовали шаги назад, почему либеральные реформы то и дело чередовались с антилиберальными контрреформами. Оригинальность же его описания в том, что возможность объясниться по поводу тех или иных действий он представляет самим историческим персонажам, действия эти осуществлявшим. Перед нами пред-

стает не только история событий, но и история *мотиваций*, ход событий определявших.

Докладчик воспроизвел некоторые цитаты из Карамзина и Сперанского, заимствованные у Корнилова. Но у Александра Александровича можно найти и массу других высказываний, в которых самые разные исторические фигуры — от императоров до революционеров — декларируют цели и мотивы своего поведения. Да, на собственное концептуальное осмысление русского XIX века Корнилов не претендовал. Тот факт, что он, наряду с ролью законов и социальных институтов в общественном развитии, рассматривал и роль исторических личностей, не свидетельствует, по-моему, о концептуальном осмыслении хотя бы потому, что одни и те же личности в разных обстоятельствах демонстрировали разные представления относительно необходимых стране законов и институтов. Но описанная Корниловым история мотиваций представляет очень ценный материал для такого осмысления.

И еще одно замечание. В своем сообщении Алексей Алексеевич опустил изложение Корниловым периодов царствований Николая I и Александра III. А между тем изложение это тоже представляет интерес. И именно потому, что историк, о котором мы сегодня говорим, привлекает наше внимание не только к действиям, но и к мотивам. Под этим углом зрения привычное нам деление эпох и исторических личностей на «реакционные» и «прогрессивные», которым руководствовался и Корнилов, не выглядит столь уж безусловным. Он показывает, например, что намерений освободить крестьян у «реакционного» Николая I было не меньше, чем у «прогрессивного» Александра I, но намерения эти вытеснялись другой мотивацией, которая под влиянием внешних и внутренних вызовов становилась доминирующей. Он показывает также, что аналогичный конфликт мотиваций имел место и в сознании Александра I, в результате чего в последние годы его правления «реакционное» тоже возобладало над «прогрессивным». И с Александром II случилось то же самое: уже после выстрела Каракозова в 1866 году, а отнюдь не после убийства императора в 1881-м, Россия, по мнению Корнилова, вошла в период реакции, который продолжался до 1905 года.

Такой подход можно принимать или отвергать, но именно акцент на субъективных мотивациях и их изменчивости, вызываемой различными (в том числе и случайными) обстоятельствами, и позволил, возможно, сделать изложение истории столь «объективистским».

Леонид ВАСИЛЬЕВ (профессор Высшей школы экономики): Можно Алексею Алексеевичу вопрос задать?

Игорь КЛЯМКИН: Можно, но попозже. После того как выступят все докладчики. Следующий — Андрей Анатольевич Левандовский. Он давно изучает наследие Корнилова, еще в советские времена написал о нем книгу. Его статья

предваряет и упоминавшийся курс лекций Александра Александровича, изданный в 1993 году. Пожалуйста, Андрей Анатольевич.

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ (доцент исторического факультета МГУ): «Александр Корнилов — это пример человека, у которого жизнь является продолжением его исторической концепции, а историческая концепция определяет жизнь»

Да, я волею судеб стал корниловедом. Мне мой незабвенный научный руководитель Иван Антонович Федосов подарил эту тему в середине 1970-х годов, за что я ему до сих пор благодарен.

Начну с того, что Корнилов был человеком в высшей степени работоспособным и продуктивным. Сохранился его совершенно потрясающий фонд. Шеф, помнится, мне сказал: «Ты, Андрюша, посмотри, там вроде фондик есть». Оказалось, что в «фондике» том, чудом сохранившемся, — 1678 единиц хранения. Там есть буквально все, начиная от детских записных книжек с каракулями и кончая всеми подготовительными материалами ко всем работам. И еще после него осталась огромная библиотека, которую его вдова передала в Салтыковку.

Александр Александрович оставил нам не только свой замечательный «Курс истории России XIX века». Его перу принадлежит и книга «Молодые годы Михаила Бакунина». Она не до конца продумана и местами неудачна, но это весьма интересная компоновка материалов из богатейшего архива Бакуниных. Кстати, именно эта книга и представленная в ней картина эпохи послужила основным источником для «Берега Утопии» Томаса Стоппарда. Много у Корнилова и популярных статей, очень умно и выразительно написанных.

Но наибольший вклад в изучение отечественной истории Александр Александрович внес, на мой взгляд, как историк академический. У него есть работа непреходящего значения, которая, правда, выходит за обозначенные тематические рамки сегодняшнего обсуждения. Корнилов очень интенсивно и, по-моему, как никто удачно работал с материалами губернских комитетов времен подготовки крестьянской реформы. Сохранились и подготовительные материалы к этой работе. В том числе и огромные листы бумаги, на которых выписаны данные по всем параметрам деятельности всех сорока с лишним комитетов. И, анализируя этот материал, Корнилов впервые в русской исторической науке отошел от идеалистической интерпретации реформы и борьбы вокруг нее как преимущественно борьбы идей, духовной борьбы добра и зла, прогресса и реакции, а не материальных интересов.

Он убедительно показал, что помещики, разрабатывая вопрос о реформе, постоянно думали именно о своих материальных интересах. Показал, как это отражалось в документах, и к чему это в конечном счете привело. В данном случае, как и во всех других, Корнилов пытался не отходить от своего основно-

го подхода к изучению отечественной истории, трактуемой им как история закрепощения и раскрепощения сословий государством. Подхода, при котором материальным интересам отводилась отнюдь не главная роль. Но в анализе конкретного материала Корнилов всегда очень добросовестен. И то, что в общей схеме выглядит второстепенным, в статье «Губернские комитеты по крестьянскому вопросу» выступило на передний план. Это тот редкий случай, когда тема была закрыта навсегда.

Теперь о корниловском «Курсе российской истории XIX века». Я согласен с тем, что «Курс» этот редкостно фактурен. И потому он представляет собой неумирающее произведение, которым до сих пор можно и нужно пользоваться. Его можно рекомендовать студентам, потому что такой грамотной и компактной компоновки огромного материала они больше нигде не найдут.

Игорь Моисеевич Клямкин сказал, что «Курс» этот лишен концептуальности. Мне, однако, так не кажется, хотя концептуальность, соглашусь, прослеживается в нем не всегда ясно, а идеи общего характера проходят как бы пунктиром. Тем не менее та же идея раскрепощения сословий на протяжении всего «Курса» проводится достаточно последовательно. Идея, согласно которой власть, собравшая и бюрократически скрепившая страну, свои возможности исчерпала, а потому и вынуждена была перейти от закрепощения к раскрепощению. Однако задачу эту, оставаясь прежней, она решить не могла, а потому и само раскрепощение стало борьбой за новую Россию, ведущейся некоей новой силой против обороняющейся власти. И эта сила у Корнилова обозначена, причем обозначена в своей исторической изменчивости и одновременно преемственности: сначала ее олицетворяют декабристы, потом общественные деятели 1840-х годов, проходящие обычно под брендом «Александр Иванович Герцен», затем земцы и, наконец (хотя в «Курсе» об этом прямо и не говорится), кадетская партия, к которой принадлежал и сам Александр Александрович Корнилов.

Противоборство власти и общества — вот тот концептуальный угол зрения, под которым рассматривается в «Курсе» весь российский XIX век. С таким подходом можно соглашаться или не соглашаться, принимать его или отвергать, но само его наличие у Корнилова оспорить трудно. Равно как и то, что сквозь его «объективизм» просматривается либерально-кадетская солидарность с противостоящей власти общественностью. Даже тогда, когда речь идет о таком событии, как убийство народовольцами Александра II, всегда вызывавшем в либеральном лагере исключительно негативную реакцию.

Если вчитаться в «Курс» и особенно в очень хорошую корниловскую книгу «Общественное движение при Александре II», то можно найти там отчетливо выраженное суждение в адрес властей: «Сами виноваты». Не шли навстречу пожеланиям общественности, не дали возможности России нормально развиваться, стали закручивать гайки — вот и получили то, что получили. И такое отношение к российской власти, проявившееся, прежде всего, в деятельности

Корнилова-политика, во многом было следствием его собственного жизненного опыта. А именно — опыта государственной службы. Алексей Алексеевич об этом уже упоминал, а я хотел бы к сказанному им кое-что добавить.

В юности Александр Александрович ориентировался на бюрократическую карьеру. Этому способствовали и традиции семьи (он был внучатым племянником севастопольского Корнилова и сыном военного офицера, а потом чиновника довольно высокого ранга), и его гражданские и нравственные идеалы: он полагал, что честное служение государству способно принести максимум пользы стране и людям. Как формировались эти идеалы?

В середине 1880-х годов Корнилов и группа его друзей по Петербургскому университету решительно отвергли революционную деятельность. Их первоначальная ориентация на науку и позитивное постижение действительности столкнулась, однако, с представлением о том, что такой выбор был бы нечестным по отношению к своей стране, в которой масса проблем, требующих решения. Это представление подталкивало их к либерализму, но и он их не вполне удовлетворял из-за своей кажущейся сухости и отвлеченного доктринерства. В результате же была предпринята попытка оживить либерализм этикой и создать некое сообщество людей, живо реагирующих на все, что их окружает, помогающих друг другу, интересующихся тем, что происходит в стране. Так возникло знаменитое Приютинское братство, в которое, наряду с Корниловым, входили такие фигуры, как В. Вернадский, Д. Шаховской, И. Гревс, братья Ольденбурги. Впоследствии они почти все стали членами кадетской партии, к чему шли разными путями. Путь Корнилова был через бюрократическую карьеру и последующее в ней разочарование.

Александр Александрович был, судя по всему, отличным чиновником. В одном из частных писем он писал: «Ни одного нет эпизода в моей деятельности, за который я могу себя упрекнуть. Все, что я делал, я делал по совести». И, тем не менее, службу он по собственной воле оставил.

В начале 1890-х годов Корнилов пишет любопытнейшее письмо матери, которую очень уважал и с которой всегда советовался. Он признается, что хочет заниматься государственной деятельностью, которая в конце концов изменит страну. Казалось бы, все карты в руки: Александр Александрович уверенно делал карьеру, в тридцать с небольшим он уже статский советник, это пятый чин, перед ним открывались блестящие перспективы. Но в том же письме он продолжает: «Я, работая в бюрократической среде, понял, что это совершенно невозможно, что государственная деятельность на благо страны в этой среде, то есть среде государственно-политической, невозможна абсолютно, потому что мне приказывают, потому что мне навязывают. Я так жить и работать не могу». И он в конце концов уходит в отставку. Уходит в журналистику, публицистику, в политическую борьбу. Уходит, придя к выводу, что не государственная власть, а только общественное движение может реально повлиять на судьбу России.

Неудивительно, что этому движению во всех его проявлениях на протяжении XIX века так много внимания уделяет и Корнилов-историк. Можно сказать, что перед нами тот случай, когда жизнь историка является продолжением его исторической концепции, а историческая концепция определяет его жизнь. Да, в трудах Корнилова его концепция может показаться слабо акцентированной, да, внешне они выглядят слишком объективистскими, слишком позитивистскими. Но я вижу в этих трудах другое. Я вижу, как добросовестно и тщательно исследователь работает с материалом и как, имея определенную концепцию, не позволяет ей этот материал уродовать.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Андрей Анатольевич. Я думаю, что вопрос о концептуальности Корнилова, который Вы подняли, заслуживает дальнейшего обсуждения. Да, в своем «Курсе» он много внимания уделяет общественному движению, это одна из сквозных линий его исследования. Но Вы меня пока не убедили в том, что вся история российского раскрепощения рассматривается Корниловым сквозь призму субъектности общества и его противоборства с властью. И потому, что кроме этой линии в «Курсе» есть и не пересекающиеся с ней линии другие. И потому, что такая концепция, будь она предложена, натолкнулась бы на сопротивление материала. Скажем, в первый период правления Александра I никакого общественного движения еще не было, а движение по пути раскрепощения имело место, и инициировалось оно не под давлением снизу, а исключительно сверху. Так что вопрос о концептуальности Корнилова, на мой взгляд, остается все же открытым.

Предоставляю слово Марине Сорокиной. Она тоже специалист по Корнилову. Пожалуйста, Марина Юрьевна.

Марина СОРОКИНА (заведующая отделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына): «Корниловский курс русской истории XIX века — это не традиционный академический труд, а плод рефлексии образованного, мыслящего, страдающего и деятельного человека по поводу того, что происходило и происходит в России»

Спасибо большое, Игорь Моисеевич. Сразу скажу, что специалистом по научному наследию Корнилова я все же не являюсь. Но я в течение нескольких лет занималась подготовкой к изданию неопубликованных мемуаров Корнилова о деятельности и деятелях кадетской партии, представляющих большой интерес. В том числе и потому, что Корнилов был первым среди лидеров этой партии, кто такие мемуары написал. Он писал их в основном в 1917–1918 годах, будучи еще свободным от необходимости вести полемику с набиравшими силу историками школы Покровского и большевистскими историками вообще. Свободен он был и от необходимости полемизировать с бывшими коллегами по партии — как эмигрировавшими, так и оставшимися

в России. Потому что к тому времени никто из них своих воспоминаний еще не написал.

Мемуары Александра Александровича — это довольно большая рукопись порядка 30 печатных листов, которые в полном объеме до сих пор не опубликованы. Печатались только фрагменты — сначала во французских изданиях, а в последние годы и в России. Их полное издание, которое, надеюсь, произойдет, существенно обогатило бы наши представления и о Конституционно-демократической партии, и о самом Корнилове.

Мой интерес к этой фигуре возник, можно сказать, благодаря «улице», ибо я принадлежу к тому поколению историков, которые начинали свою деятельность во второй половине 1980-х годов. То были, наверное, самые счастливые годы моей жизни, когда мы все были беременны свободой. Именно тогда историки получили, наконец, доступ к архивным материалам — если не ко всем, то ко многим. У меня же в то время как раз и появилась возможность поработать с воспоминаниями Александра Александровича Корнилова, рукопись которых сохранилась, между прочим, не в фонде самого историка, а в фонде академика Владимира Ивановича Вернадского, в архиве Академии наук.

С моей точки зрения, Корнилов — фигура с исключительно счастливой пожизненной судьбой. Мало кому из деятелей кадетской партии так повезло в советское время, что ему была посвящена целая монография. Ее автор — присутствующий здесь Андрей Анатольевич Левандовский. И я хорошо помню, что в те времена, когда мы занялись архивами — и Шаховского, и Вернадского, и братьев Ольденбургов, и самого Корнилова, — книжка Левандовского была у нас в руках и служила первичным ориентиром в нашем поиске. Так что, как говорит теперь молодежь, мой Вам, Андрей Анатольевич, респект.

А теперь, если позволите, я хотела бы привнести в наш разговор некоторую долю полемического задора...

Игорь КЛЯМКИН: Позволим. У нас это поощряется.

Марина СОРОКИНА: Дело в том, что Александр Александрович Корнилов, конечно, никаким историком в академическом смысле слова не был. После окончания юридического факультета он служил довольно мелким чиновником, причем значительную часть своей активной жизни, до 40 лет, провел в глубокой провинции. Не в Калужской или Тульской губернии, из которых можно было достичь обеих столиц довольно быстро, а в Сибири. В Сибирь же он, вообще-то говоря, поехал не столько за исканием правды, сколько за своей любовью. Его первая супруга была родом из Сибири и отказывалась жить в столицах, предпочитая пребывать в привычном кругу. И Александр Александрович по зову своего сердца поехал за своей избранницей.

Это я все к тому, что первый в стране обобщающий курс по истории России XIX века, впервые опубликованный, напомним, в 1912 году и неоднократно

переиздававшийся в постсоветское время, не был создан профессиональным историком. Он создавался не по архивным источникам, что для профессионального историка является обязательным. Что же представляет собой этот курс?

На мой взгляд, он представляет собой своего рода рефлексию образованного, мыслящего, страдающего и очень деятельного человека по поводу того, что происходило в России и почему происходило именно так, как происходило. Можно сказать, что это — своего рода воспоминание о будущем активного, полного жизни, всем интересующегося 40–45-летнего человека начала XX века.

Алексей КАРА-МУРЗА: Человека либеральных убеждений, одного из руководителей либеральной политической партии.

Марина СОРОКИНА: Да, конечно. Но у меня, кстати, есть и сомнения по поводу того, был ли Александр Александрович политиком в том классическом смысле, в котором мы привыкли это понимать. Он ведь не замечен (или почти не замечен) ни в каких публичных выступлениях. Это сугубо теневая фигура. Но Алексей Алексеевич Кара-Мурза абсолютно прав в том, что Корнилов был, если использовать физиологические термины, сердцем кадетской партии, тем внутренним ее механизмом, через который координировалось огромное количество связей, отношений, коммуникаций между различными деятелями и подразделениями партии.

Наконец, я хотела бы обратить ваше внимание, на еще одну сторону жизни Корнилова, о которой Андрей Анатольевич Левандовский уже начинал говорить. Она изучена мало, но представляет, с моей точки зрения, значительный интерес. Речь о том, на чем историки обычно не останавливаются, ограничиваясь беглым перечислением сведений, — я имею в виду детские и юношеские годы. Между тем в глубинах биосоциального таятся многие побудительные мотивы будущей деятельности политических и общественных активистов. Имена, которые называл Андрей Анатольевич — Дмитрий Иванович Шаховской, Сергей Федорович Ольденбург, к которым надо добавить еще Сергея Ефимовича Крыжановского, — это ведь люди, учившиеся с Корниловым в одном классе гимназии. И не просто гимназии, а Варшавской русской гимназии с совершенно определенной атмосферой, климатом и средой. Со всем тем, что было свойственно русской Польше.

В дальнейшем все эти люди пошли в Петербургский университет. Они учились на разных факультетах, но, тем не менее, не только сохраняли, но и расширяли и укрепляли свою общность. Общность, где и сформировалась та политическая команда, представители которой в дальнейшем стали не просто членами Конституционно-демократической партии, но и членами ее Центрального комитета. А в 1917-м как минимум половина из них вошла во

Временное правительство в должностях министров или заместителей министров.

О большинстве этих людей сегодня мало кто знает. Многим ли что-то говорит, скажем, имя уже упоминавшегося мной друга Корнилова Сергея Ефимовича Крыжановского? А он, между прочим, был правой рукой Петра Аркадьевича Столыпина и фактически одним из «полушарий мозга» столыпинских реформ. Истоки же их сотрудничества опять-таки уходят в студенческие годы: к той общности, сложившейся в Петербургском университете, о которой я говорила, на первых двух курсах примыкал и студент Петр Столыпин. А если вы посмотрите дневники Владимира Ивановича Вернадского, то увидите, что они со Столыпиным были тогда ближайшими друзьями.

Да, впоследствии траектории их судеб разошлись в противоположные стороны. Но мне интересно другое. Мне интересно, что был довольно значительный период, когда люди, ставшие в дальнейшем политическими оппонентами, имели общие ценности и в каком-то смысле даже общие цели. Это позволяет лучше понять, как в конце XIX — начале XX веков формировалась и развивалась политическая элита России.

Иногда я задаю себе вопрос: а что, если бы при премьере Столыпине министром просвещения был не Лев Аристович Кассо, а Владимир Иванович Вернадский? Повлияло бы это как-то на ход событий в стране, изменило бы его? Воспрепятствовало бы нараставшей конфронтации между обществом и властью, способствовало бы налаживанию их взаимодействия?

Ответа у меня, разумеется, нет, но вопрос, согласитесь, интересный. Хотя бы потому, что взаимоотношение общества и власти — это не только проблема нашего прошлого.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Марина Юрьевна, за интересные и уточняющие наши представления о Корнилове биографические подробности. Не знаю, согласятся ли с Вами два других докладчика относительно оценки Корнилова как историка. Я, честно говоря, в этом не уверен. Возможно, по ходу дискуссии они по этому поводу выскажутся. А пока у аудитории есть возможность задать выступавшим вопросы. Леонид Сергеевич, я помню, что Вы о чем-то хотели спросить Кара-Мурзу, Пожалуйста, спрашивайте.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Алексей Алексеевич, Вы мимоходом упомянули о двух графах, Киселеве и Блудове, как для проведения реформ непригодных, помните? Но насколько я знаю, Киселев был все-таки человеком, заслуживающим доброго слова. Ведь он при Николае I кое-что сделал для государственных крестьян — разве не так?

Алексей КАРА-МУРЗА: Да, и Корнилов об этой деятельности Киселева подробно рассказывает. Я Вам больше скажу — Дмитрий Блудов тоже непло-

хой человек. В молодые годы был членом общества «Арзамас», дружил с Жуковским и Батюшковым. Я другое имел в виду. Когда после воцарения Александра II общество, зная о личностных достоинствах этих людей, полагало, что именно они станут опорой реформ, оно ошиблось. Киселев и Блудов были отодвинуты, проведение реформ было поручено новой молодой команде.

Игорь КЛЯМКИН: У меня вопрос к докладчикам более общего порядка. Корнилов описывает зигзагообразное, с приливами и отливами, движение России от власти авторитета к власти закона на протяжении XIX столетия. И он же пишет о том, что только революция 1905 года позволила продвинуться в этом направлении достаточно далеко. А до того не получалось. До того шагами вперед следовали откаты назад. Почему же не получалось?

Сам Корнилов в своем «Курсе» на этот вопрос не отвечает и даже не пытается ответить. Но можно ли вывести ответ на него из того богатейшего фактического материала, который в «Курсе» содержится? Очевидно, что-то способствовало движению к правовому государству, а что-то препятствовало. Так что же способствовало, а что — препятствовало? И почему то, что препятствовало, оказывалось и до сих пор оказывается сильнее?

Алексей КАРА-МУРЗА: Давайте я попробую ответить. Движение вперед и откаты назад — это, в изложении Корнилова, довольно сложный процесс. Во-первых, откат — это никогда не возвращение в исходную точку, какие-то результаты предыдущего движения по пути прогресса всегда сохраняются. Во-вторых, откаты не происходят мгновенно.

Вот, скажем, Корнилов описывает приход к власти Александра III. Историк показывает, что первые два-три года новый царь вынужден был маневрировать, потому что над ним довлело как бы два авторитета. С одной стороны, авторитет отца, который вроде как завещал Конституцию, пусть и усеченную (проект Лорис-Меликова). С другой — авторитет тех людей, которых тот же отец оставил ему в наследство: там и Победоносцев, и граф Толстой, и князь Мещерский, вся эта контрреформаторская рать. Но сразу скрутить нового императора у них не получилось. Более того, некоторое время они вынуждены были по инерции продолжать работать в прежнем реформаторском направлении, постоянно стремясь при этом вставлять палки в колеса. Но и их победа не означала ведь возврат к дореформенным временам.

Не сразу удалось скрутить и Александра II после выстрела Каракозова в 1866 году. А чтобы полностью отыграть все назад, никто и тогда уже не помышлял. Да, Корнилов фиксирует поворот к реакции. Но из всего его описания этого поворота следует неопровержимый вывод, который он и делает: если уж появляются в стране законы и институты, коренным образом меняющие ее жизнь, то никакая личность не способна развернуть историю вспять.

Ну, уволил Александр II часть реформаторов, ну, подкрутил какие-то гайки, но этим и ограничился. И даже потом, когда террористы начали на него охоту, не возникало у императора и мысли о том, чтобы вернуться в исходную дореформенную точку. Не возникало такой мысли и у сменившего убитого отца Александра III.

Так что в России, по Корнилову, хоть и медленно все идет, не без откатов, но, тем не менее, идет. Потому что откаты эти всегда частичные. И я не уловил у Корнилова мысли о том, что дорога к правовому государству была проложена только революцией. Дорога эта, по его мнению (и здесь я согласен с Андреем Анатольевичем), прокладывалась и деятелями эпохи великих реформ, наследником которых Корнилов считал кадетскую партию, а значит, и самого себя. Конечно, революция, взорвав ситуацию, резко ускорила процесс, но лишь постольку, поскольку в стране были «старые либералы» и были новые люди, ощущавшие себя с ними в преемственной связи. Люди, которые еще до революции задавались вопросом о том, что и как нужно сделать, чтобы движение к правовому государству стало более последовательным. Над этим вопросом мучительно размышлял Корнилов-политик, равно как и его друг Милюков. Их ответ: нужна институционализированная общественная сила, а именно — партия, влияющая на власть и общество через парламент. Ответ, который и внушал им определенный исторический оптимизм.

Марина СОРОКИНА: Видимо, именно Корнилов был автором первой концепции политической партии в России. Еще в 1892 году он написал документ, который тоже хранится в архиве В. Вернадского и называется «О необходимости организации партии протеста». И исходил он при этом из того, что главная причина повторяющихся сбоев российских реформ — невключенность в них общества. А чтобы включить его, как раз и нужна партия.

Игорь КЛЯМКИН: Пока я, к сожалению, ответа на свой вопрос не услышал. Алексей Алексеевич говорил о том, что попятные движения после начавшихся реформ устраняют результаты реформ не полностью, а лишь частично. Но чем вызвана сама эта из раза в раз повторяющаяся цикличность реформ и контрреформ? Марина Юрьевна сказала, что причина сбоев — невключенность в общественные преобразования самого общества. Но зачем власть постоянно такие преобразования инициирует с тем, чтобы столь же постоянно их свертывать, пусть и частично? И меня интересует: может ли описанный Корниловым период российской истории, насыщенный, как никакой другой, реформами и контрреформами, помочь нам ответить на эти вопросы?

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Если внимательно читать тексты Корнилова, то ответ в них можно найти. Ответ заключается в том, что российская власть идет

на сколько-нибудь серьезные реформы не по доброй воле, а только под влиянием каких-то потрясений. Это, кстати, типичный ответ русского либерала, одной из отличительных особенностей которого является глубоко укорененное в сознании недоверие к власти.

Русские либералы, как правило, очень радикальные, к компромиссам с властью не расположенные. Если вспомнить тех же кадетов, то они шли на такие компромиссы крайне неохотно. А у Корнилова, возможно, недоверие к власти сложилось и под влиянием его собственного опыта государственной службы, подведшего его к мысли о тщетности упований на реформаторский потенциал бюрократии.

Вот конкретный пример. Александр Александрович еще работает в Иркутске. Он принимает активное участие в издании журнала «Восточное обозрение», пишет для него и сам. Однажды кто-то ставит вопрос о том, что необходимо освещать в журнале все те новации, которые исходят от власти. И Корнилов, сам будучи еще чиновником, устраивает скандал. Его позиция — от правительства ничего путного исходить не может, все его новации носят чисто бюрократический характер, а потому и нет смысла привлекать к ним общественное внимание.

Но если собственной доброй реформаторской воли власть лишена, то в обществе должна быть сила, оказывающая на власть постоянное давление и вынуждающая ее делать то, что сама она делать не хочет. Такова позиция Корнилова-политика, но при желании ее можно обнаружить и в его описании русской истории. Перечитайте, например, страницы его «Курса», посвященные террористической деятельности «Народной воли». Факты выстраиваются здесь таким образом, что деятельность эта выглядит общественно полезной. Да, прямо это не говорится, но из всего контекста следует, что именно в результате действий террористов появляется Лорис-Меликов, а вместе с ним и надежда на Конституцию.

Игорь КЛЯМКИН: Но те же террористы, убив царя, эту надежду и похоронили, вызвав очередной откат...

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Ну да, и Корнилов подробно описывает и это, склоняясь, как я уже говорил, к тому, чтобы в убийстве императора винить саму власть, хотя и в данном случае позицию свою открыто не декларируя. А вообще-то мне, в отличие от Алексея Алексеевича, кажется, что в корниловском изложении хода российской истории улавливается ощущение некоей тупиковости, никакого оптимизма я там не нахожу. Нахожу же, наоборот, свидетельство трагизма всего нашего либерализма XIX — начала XX веков. Трагизма положения, при котором у власти нет доброй воли к глубоким преобразованиям, а у общества недостаточно сил, чтобы понуждать эту власть к необратимым переменам. Как, впрочем, недостаточно и сейчас.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Андрей Анатольевич. Не могу сказать, что все стало ясно, но пойдём дальше. Ещё есть вопросы к докладчикам?

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета): У меня два вопроса. Насколько помню, Николай I скончался в 1855 году, а реформы начались всего шесть лет спустя. Это означает, что когорты либеральных реформаторов — творцов реформ — уже были в наличии. Каким образом удалось их вырастить в эпоху Николая I, отнюдь, как известно, не либеральную?

А второй мой вопрос — о современных реформаторах. Что помешало нам, уважаемые коллеги, воспитать в них с «добрую волю»? Ведь если судить по результатам реформ, то наличие такой «доброй воли» вызывает сомнения...

Игорь КЛЯМКИН: Кто ответит? Пожалуйста, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА: Я уже отмечал в докладе, что реформаторская команда при Александре II была сформирована чуть ли не из эмигрантов. Это второй эшелон деятелей николаевской эпохи, которые тогда на родине не прижились. Сделали какую-то карьеру, но среди крупных деятелей не числились и, по большому счету, оказались не у дел. Это и братья Милютины, и князь Владимир Черкасский, и будущий министр финансов Рейтерн, и Александр Головнин — будущий министр просвещения...

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Это выпускники российских университетов.

Алексей КАРА-МУРЗА: Выпускники российских университетов, которые большую часть времени проводили за границей, потому что в России им делать было нечего. Салон Елены Павловны, мной уже упоминавшийся, их всех объединил. Его атмосфера, кстати, хорошо описана в мемуарах Бориса Чичерина, который достаточно ещё молодым человеком был представлен Елене Павловне в Ницце. Там и создавалась команда будущих реформаторов.

Не могу не упомянуть и о журнале «Морской сборник», где помощником редактора был Корнилов-старший (отец Александра Александровича), а редактором — Александр Головнин. А это — главный мозг при великом князе Константине Николаевиче, мозг реформ будущих, которого называли «наш Ришелье». Но «Морской сборник» — это ведь тоже вне России. Журнал готовился и редактировался на кораблях российского флота, главнокомандующим которого был Константин Николаевич. Вот стоят они в Венеции и пишут будущий проект законодательства — Константин Николаевич, Головнин и Корнилов-старший. Потом плывут в Палермо на Сицилии, там работают. Потом в Неаполь, потом в Ниццу... Костяк будущей реформаторской команды формировался, повторю, за границей.

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Это все так, но эти люди для Александра II были все же чужими, а Николая Милютину он и просто терпеть не мог. И роль их, как реформаторов, оказалась недолговечной. За исключением разве что Дмитрия Милютина.

Мы много говорили сегодня об откатах, о том, что реформы сменяются контрреформами. Но это происходит в том числе и потому, что сами реформы осуществляются непоследовательно. А непоследовательно они осуществляются потому, что наши царствующие реформаторы всегда были одновременно и охранителями. И Александр II — не исключение. Отсюда и его настороженное отношение ко всей этой «заграничной» команде, о которой говорил Алексей Алексеевич. Он опасался, что она в своих действиях зайдет слишком далеко.

В данном отношении для меня всегда была ключевой фраза, сказанная императором Ростовцеву при назначении того главой редакционной комиссии, которая должна была подготовить окончательный вариант крестьянской реформы. Ростовцев поначалу отказывался: он ведь понятия не имел о крестьянском вопросе, у него, служивого дворянина, жившего на жалованье, даже и крестьян-то не было. И вот такому человеку император сказал (цитирую по памяти): «Я тебя прошу занять этот пост. Ты единственный, кому я доверяю, единственный, кого я на этот пост могу назначить». В результате же был проведен проект реформы, существенно подпорченный (в интересах дворянства) по сравнению с тем, который предлагался реформаторской командой. То была своего рода контрреформа уже по ходу разработки самой реформы. Обо всем этом Корнилов очень обстоятельно рассказывает. Привлекаемый им фактический материал убедительно свидетельствует о том, что именно половинчатость и непоследовательность реформ сохраняют возможность для последующих откатов.

Сергей МАГАРИЛ: Как я понял, когорта реформаторов александровской эпохи была все же воспитана российскими университетами XIX века. Реформаторов с «доброй волей». Почему же университеты XX века с этой задачей не очень справились?

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): Вы считаете, что рыночные реформы команде Гайдара не удались?

Сергей МАГАРИЛ: Если сравнивать с тем, что происходило в послевоенных Германии или Японии, то, мягко говоря, удалась не очень. Да и в посткоммунистической Восточной Европе результаты реформ иные, чем в России...

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Как Вы можете их с нами сравнивать? Это же совсем другие страны и народы!

Игорь КЛЯМКИН: Осмелюсь напомнить уважаемым коллегам, что мы собрались здесь в память об Александре Александровиче Корнилове. И пытаемся понять, чем его наследие может помочь нам в осмыслении отечественной истории. Понимаю, что приятнее говорить о чем-то более знакомом и привычном, но давайте отложим это на потом.

Вопрос Сергея Магарила о том, какую роль николаевская эпоха сыграла в кадровом обеспечении александровских реформ, показался мне интересным. Правда, сам Корнилов об этом не пишет, но другие, более поздние, историки говорят о том, что, скажем, в 1825 году судебную реформу провести было невозможно по той простой причине, что в стране для этого не было людей, не было юристов. Будущие судьи и адвокаты были подготовлены в российских университетах именно в николаевские времена, хотя и готовились они вовсе не для судебной реформы. Корнилов, повторяю, об этом не пишет, но у него есть более общая постановка вопроса об исторической готовности к переменам, которая формируется тогда, когда ни о каких таких переменах речь еще не идет.

Вот, скажем, Корнилов говорит о крепостном праве. Почему стало возможным отменить его? Ведь сделать это намеревались и Александр I, и Николай I, однако они не могли примирить свои благие намерения с интересами помещиков. Но к середине столетия ситуация изменилась. К этому времени, поясняет Корнилов, две трети крестьян было уже помещиками заложено под долги, реально эти крестьяне им уже не принадлежали, а денег, чтобы выкупить их, у помещиков не было. Это и создало возможность для компромисса с дворянством по поводу отмены крепостного права. В истории возможно лишь то, что самой историей уже подготовлено, — такой вывод напрашивается при чтении текстов Корнилова.

Еще есть вопросы? Нет. Тогда переходим к обсуждению. Пожалуйста, Леонид Сергеевич Васильев.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: «Идеи Корнилова побуждают задуматься о целостной картине истории России, начиная с древнейших времен»

Я с большим интересом слушал все доклады, многое в них для меня было нове, потому что трудов Корнилова я не читал. Мне показалась заслуживающей самого серьезного внимания его идея, согласно которой с Екатерины II начинается, а потом весь XIX век продолжается новая история России, принципиально отличающаяся от предыдущей. Последние годы я, как и многие, пытаюсь разобраться в сложностях и неясностях отечественной истории. И мои соображения, относящиеся к концу XVIII и XIX столетия, сводятся примерно к тому же, о чем здесь сегодня говорилось, хотя я оформляю их несколько иначе, используя подчас другие термины. Но идеи Корнилова побуждают задуматься и о целостной картине истории России, начиная с древнейших времен, а не только о том, что на определенном этапе история эта сменила свой вектор. Какой она была до того?

Начну с того, что Русь как реально существующее сколько-нибудь полноценное государство возникла не с появлением в районе хазарско-иудейского Киева (и, соответственно, в зоне расселения проторусских общностей типа полян и древлян) варяжской дружины во главе с Олегом и сыном Рюрика конунгом-князем Игорем в последней трети IX века. Поляне и древляне, в отличие от новгородцев, явно не приглашали варягов, но после прихода в Киев Олега и Игоря стали платить им дань, перестав платить ее хазарам. Это, собственно, и означало принятие ими чужой власти и превращение чужих конунгов в князей — своих вождей у полян и древлян до того не было. В результате возникает наиболее ранняя из известных истории форм государственности, а именно — племенное протогосударство, позже названное Киевской Русью. За счет умножавшихся в числе князей-Рюриковичей и создававшихся для каждого из них городов-центров она постепенно разрасталась, но государством даже по меркам того времени так и не стала. Заимствование византийского православия ее таковым не сделало, междоусобные войны между князьями ослабляли ее сопротивляемость кочевникам, наиболее удачливыми из которых оказались монголы, в середине XIII века сделавшие Русь своей колонией.

Игорь КЛЯМКИН: Леонид Сергеевич, Вы хотите донести до нас свое представление обо всей русской истории?

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Я хочу донести мысль о том, что привычные разговоры о тысячелетней истории российского государства не имеют под собой никакой почвы. Вряд ли многие отдадут себе отчет в том, что в домонгольской Киевской Руси, несмотря на ее внушительные размеры, институционализированного государства с администрацией и соответствующей структурой еще не существовало. Ни феодального, с сюзеренами и вассалами, ни какого-то другого. В лучшем случае это была рыхлая конфедерация слабых протогосударственных образований. Это была очень примитивная военно-политическая система, материальной основой которой служили еще более архаичные, почти первобытные сельские общины-миры, с которых князья собирали дань.

Монгольская колонизация в данном отношении мало что изменила. Рюриковичи во главе с Александром Невским стали служить ордынским ханам, объявив их по византийскому стандарту царями, и выплачивая им дань. Но при этом Русь по-прежнему оставалась механической совокупностью враждовавших удельных княжеств, правители которых — теперь уже под присмотром монголов — вели междоусобную борьбу. И так продолжалось до Ивана III, при котором с властью монголов было покончено.

С этого времени начался второй этап отечественной истории, известный как период «собираания земель» и формирования централизованного государства. Как бы в порядке компенсации за несостоявшееся государство в первое полу-

тысячелетие истории Руси и унижительное для князей-Рюриковичей долгое пребывание под монгольской опекой, период этот отличался крайней жесткостью поведения власти, принявшей форму самодержавия и опиравшейся на служилое дворянство. А оно, в свою очередь, в обмен на службу получило право существовать за счет закрепощенных деревенских миров, тщательно оберегавших свою архаичную традицию общинного существования.

Алексей КАРА-МУРЗА: Закрепощены были все, включая дворян. В этом и заключалась главная особенность периода «собирания земель». А с Екатерины II начался новый этап — этап раскрепощения, когда на передний план вместо территориальных выступили совсем другие цели. И впервые это четко зафиксировал как раз Александр Корнилов, которому посвящено наше сегодняшнее собрание.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Да я же не возражаю. Просто для полноты исторической картины счел нужным сказать о том, что этому новому этапу предшествовало. Принципиальную же новизну его я вижу в том, что называю *вестернизацией*. Это — процесс более глубокий, чем раскрепощение сословий, но он в России не был доведен до конца, а потому и раскрепощение не увенчалось здесь утверждением правового государства. Ни в XIX столетии, ни в XX, ни в начале XXI.

Вестернизация в эпоху западноевропейской колониальной экспансии была великим знаком совершенно нового времени, сигналом для начала энергичной трансформации всей неевропейской части планеты. И хотя все страны раньше или позже были вынуждены включиться в ее, вестернизации, необычайно мощный и всесторонний поток, Россия оказалась среди них одним из немногих исключений. В том смысле, что она и на новом этапе, уже приступив к раскрепощению сословий, противопоставила западной, буржуазной по своей природе, колонизации свою *собственную* колониальную экспансию. Экспансию, по своему типу отнюдь не буржуазно-западную. Успехи на этом пути и позволяли российской власти блокировать вестернизацию, понимаемую как утверждение капитализма, то есть антично-буржуазной частной собственности, свободного предпринимательства и свободного рынка. А если ничего такого в стране не утвердилось, то и правового государства в ней быть не может. Этого, насколько могу судить по выступлениям докладчиков, у Корнилова нет, и это мое к нему дополнение. Или, если угодно, коррекция его подхода.

Конечно, вестернизация не обошла стороной и Россию. Какие-то проявления «западничества» можно наблюдать уже при Иване III, а затем при Иване Грозном, Годунове, при самозванцах в период Смуты, потом при Алексее Михайловиче и его дочери Софье, не говоря уже о Петре I. Но как раз при этом великом без оговорок преобразователе России и выявилась в полной мере ограниченность вестернизации по-русски.

Ни своих, ни иностранных капиталистических предпринимателей и предприятий при Петре в стране не появилось. Он предпочитал таким предприятиям полуказенные заводы с приписанными к ним крепостными. Заимствуя на Западе все необходимое для усиления военной мощи империи, он не понял или не хотел понять важности капиталистического рынка и предпринимательской деятельности для ускоренного развития страны. Не распространялась эта дозированная вестернизация и на крепостные общинные миры, остававшиеся, наряду с дворянством, одним из социальных оснований самодержавной империи.

Община, которая вполне устраивала и самих общинников, пуще всего боявшихся любых перемен, а тем более совершенно чуждых ей западных новшеств, была сохранена. Но мощный импульс вестернизации, данный России Петром, погасить уже было нельзя, и она продолжалась. И проявилось это, действительно, в раскрепощении дворянства при Петре III и Екатерине II, которому, как я понял, Корнилов придает большое значение. Но дело ведь не в самом факте раскрепощения, а в его последствиях. Дело в том, что в стране появились качественно совершенно новые непоротые поколения с чувством собственного достоинства и склонностью к свободомыслию. Или, говоря иначе, появились люди западного типа, появились русские европейцы. Такие, как Пушкин, такие, как декабристы.

Не забудем и о том, что с начала XIX столетия все большее количество дворян годами жили в буржуазных странах Европы. Это превращалось в своего рода культурную норму, которая утверждалась под влиянием вестернизации, сопровождавшейся распространением хорошего западного образования и западных идей. И хотя буржуа в то время в России так и не появились, а в деревне сохранялись архаичные общинные порядки, этой вестернизации России обязана практически всем, чем славен для нас XIX век.

Ведь вся великая русская культура этого века не с неба же упала. Ведь раньше ничего такого в России не было. А вот открыли широкую дорогу вестернизации, и через какое-то время все появилось. Но это уже прошлое, XIX век, а XX столетие показало, как быстро можно всего полезного из заимствованного у Запада лишиться. Лишиться, если не ценить великих плодов вестернизации, выращенных с великим трудом на отечественной почве. Отказ с подачи большевиков от вестернизации при возвращении в гораздо худшем варианте к петровской практике дозированных военно-технологических заимствований и привел Россию в конце XX века к катастрофе...

Игорь КЛЯМКИН: Завершайте, пожалуйста, Леонид Сергеевич. Время нас поджимает. К сожалению, из Вашего выступления я так и не понял, почему России не удалось завершить вестернизацию.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Потому что в России была община-мир, все западное отторгавшая, а к частной собственности относившаяся откровенно враждеб-

но. Но было и стремление к вестернизации, которое даже при частичном воплощении сопровождалось замечательными историческими результатами. Община же не позволяла распространить вестернизацию на всю страну, на подавляющее большинство ее населения. Раскрепощение крестьян, в отличие от раскрепощения дворян, само по себе этому не способствовало — возможно, именно потому, что реформы Александра II не только не покушались на общину, но еще и укрепляли ее позиции.

Игорь КЛЯМКИН: У Корнилова об этом очень выразительно написано. О том, что, с точки зрения прав и свобод личности в их либеральном понимании, крестьянская реформа ничего не дала. Спасибо, Леонид Сергеевич. Еще есть желающие выступить? Сергей Магарил, прошу Вас. Только покороче, пожалуйста.

Сергей МАГАРИЛ: «Основные препятствия на пути России к правовому государству, о котором мечтал Корнилов, лежат в сфере культуры»

Мне тоже не доводилось раньше читать труды Корнилова, и потому слушать докладчиков тоже было очень интересно. Естественно, что говорить о нем я не буду, но о проблеме, которая в связи с ним здесь обсуждается, кое-что скажу. А именно о том, что препятствовало движению России от власти авторитета к власти закона.

В тех лекционных курсах, которые ваш покорный слуга читает, есть тема «Россия на пути к правовому государству — вехи неудач». Чем же обусловлены эти неудачи? У меня сложилось убеждение, что одно из мощнейших препятствий на пути к правовому государству в XIX и начале XX веках надо искать в области культуры. В том, что можно назвать элементарной неграмотностью подавляющей части населения. В свое время Кавелин писал об огромной невежественной массе мужиков, не знающих грамоты, не имеющих даже зачатков нравственного наставления. И полагать, что вся эта многомиллионная общинная крестьянская Россия может в своей ежедневной обыденности жить, опираясь на закон, действовать в рамках писаного права, было бы избыточно оптимистично. Во времена Корнилова, а тем более во времена более ранние проблема эта была принципиально неразрешима. Борис Миронов в работе «Историческая социология России» отмечает, что политические и правовые представления крестьян накануне 1917 года были на уровне петровского времени, а то и допетровской эпохи.

Естественно, что в период коммунистической диктатуры общество не могло приблизиться к правовому государству и не приблизилось. Потому что, будучи обученным грамоте, в правовом отношении оно удерживалось в полнейшем невежестве. Так не здесь ли, не в этой ли огромной тягчайшей гире правового невежества — основная тяжесть, которая не позволяет обществу двинуться к правовому государству? И что с этим делать, мы не знаем. Возможно, речь надо вести о преодолении того колоссального разрыва в качестве естествен-

нонаучного, технического и социогуманитарного образования, который образовался в советское время. Разрыва, который дает о себе знать до сих пор.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо большое. Больше претендентов на выступления, как понимаю, нет. Докладчики хотели бы что-то сказать в заключение?

Алексей КАРА-МУРЗА: У меня есть желание отреагировать на то, что Леонид Сергеевич Васильев сказал насчет «западничества». Вы знаете, я сам западник, но термин этот давно уже не употребляю. Потому что «западничество» — слишком амбивалентное понятие, которое может наполняться самыми разными смыслами. Вот, скажем, Павел I в изображении того же Корнилова — он кто? Да самый настоящий копиист-западник: все самое худшее тащил из Европы в Россию. А Петр I кто?

Если же речь идет о западничестве либеральном и демократическом, то это слово мне не нужно вообще. Тогда я говорю о либерализме и демократии. И тогда ясно, что ни Павел, ни Петр к этому отношения не имеют.

Да, русских либералов принято именовать западниками. Но ведь западниками в России были не только многие либералы (хотя либералами были и некоторые ранние славянофилы), но и жесткие охранители. Ну, например, граф Сергей Уваров — человек, которого совершенно обаяла Италия. Он к себе в Поречье, в имение, натащил итальянских картин и скульптур, разбил парк на манер флорентийского, в чем ему помогал Александр Брюллов. То есть Уваров для себя делал «Италию», а для народа — православие, самодержавие, народность.

Или, скажем, граф Сергей Григорьевич Строганов, знаменитый русский консерватор. Еще даже больший консерватор, чем Уваров. Это был обожатель той же самой Италии. Есть воспоминания Бориса Чичерина, где он рассказывает, как они вместе ездили туда с цесаревичем, первым сыном Александра II Николаем Александровичем, рано умершим. Рассказывает о том, каким убежденным западником был жуткий консерватор граф Строганов. За ним слуга таскал по музеям табуретку. Так и вижу, как он садится на нее в венецианской «Академии» (знаменитой художественной галерее) и часами смотрит на произведения Тициана, Беллини или Тинторетто. Это человек, прекрасно знавший и любивший Европу, могущий преподавать в любом западном университете, например, античную культуру или искусство Возрождения. А в России он — лидер антиреформаторской партии. Настоящий лидер, очень умный и опасный. Такой вот выдающийся русский консерватор-западник.

Понятно, надеюсь, почему для меня слово «западничество» лишнее. А все, что подразумевает под ним Леонид Сергеевич, для меня не западничество, а либеральная демократия.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Марина Юрьевна, хотите что-то сказать?

Марина СОРОКИНА: Нашего ведущего, как мне показалось, смутила моя сдержанная оценка Корнилова как историка. У меня, конечно, не было задачи как-то принизить образ Александра Александровича, я сама его нежно люблю. Но историком он все же не был. Историк должен работать с первичными историческими источниками. А какие первичные источники могли быть в Сибири или в Саратове?

А вот кем Корнилов был, так это одним из основателей в России того, что называется *political science*. Интеллектуальная работа Корнилова — это историко-политическая публицистика, это рефлексия по поводу сегодняшнего дня в соотнесении с историческим прошлым.

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Как корниловед, не могу не откликнуться. Корнилов работал с источниками. Скажем, все, что написано им по крестьянской реформе, основано на целом комплексе источников.

Марина СОРОКИНА: Он никогда не работал в архивах — кроме разве что личных...

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Ну и что? Работая над историей общественного движения при Александре II, он изучил всю доступную мемуаристику по теме, всю публицистику... По-моему, Марина Юрьевна, Вы слишком строги. Кстати, Вы вообще представляете себе лекционный курс, написанный на архивных источниках?

Марина СОРОКИНА: Не только представляю, но и сама такой курс читала.

Игорь КЛЯМКИН: Господа, давайте исходить из того, что прийти к согласию у вас не получилось. Андрей Анатольевич, у Вас есть потребность в заключительном слове?

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: Я все же полагаю, что лекционный курс допускает и использование опубликованных материалов. А сказать я хочу кое-что в продолжение разговора о роли образования и просвещения в подготовке реформ в эпохи, реформам предшествующие.

Помимо Корнилова, мне приходилось много заниматься Грановским и его временем. Чему учили тогда молодые профессора-правоведы Московского университета? Они учили уважать право. А Грановский, читавший историю, учил тому, что история — это процесс, что мертвых зон в ней не бывает, что всегда есть развитие. И еще он на материале европейской истории учит уважать личность. Личность как таковую.

Поразительно, но факт: жесткие николаевские порядки, строгий надзор, цензура, а Московский университет как бы относительно свободен. Не буду

сейчас говорить о том, почему так могло быть, но так было. И вот эти университетские кафедры вместе с журналами создали в образованном обществе ко времени реформ атмосферу, какой до того никогда не было. Вспомните судьбы прежних российских оппозиционеров и реформаторов: Радищев — одиночка, Сперанский не имел никакой общественной поддержки, у декабристов — несколько сот человек сочувствующих. А когда началась подготовка отмены крепостного права, вдруг оказалось, что чуть ли не все образованное общество выступает за реформы. С 1856-го по 1861 год никто не рискнул выступить с текстом типа «Не могу поступиться принципами». Мне не удалось обнаружить ни одной статьи в защиту крепостного права. Страшно было высываться. Действительно, русским интеллектуалам каким-то чудом при Николае I не только удалось подготовить реформаторскую команду, о которой говорил Алексей Алексеевич, но и общественную среду, ориентированную на реформы и с самого начала оказавшую им мощную поддержку.

У Герцена есть великолепное название того, что происходило в стране при Николае I, — «тихая работа». То была тихая просветительская работа, прежде всего, тех, кого тогда называли западниками. Работа, приведшая к совершенно удивительным результатам. И это интеллектуальное движение николаевской эпохи у Корнилова очень обстоятельно описывается в самых разных его проявлениях.

Игорь КЛЯМКИН: Но он же, Андрей Анатольевич, повествует и о том, что общество, будучи настроенным на перемены, очень плохо представляло себе, что и как нужно делать. Оно связывало свои надежды с новым императором, но ни самостоятельности, ни инициативы при этом не проявило, заявки на обеспечение своих собственных прав в управлении государством от него не поступало. Корнилов сравнивает это эмоционально-психологическое состояние с тем, какое было после воцарения Александра I: все воодушевлены начавшейся либерализацией, все ждут реформ, но каких именно, толком не знают, уповая исключительно на царя. Но разве после прихода к власти Горбачева не наблюдали мы примерно то же самое?

Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ: До осознания себя субъектом истории российское общество все еще не доросло. А власть обеспечить последовательное и необратимое реформирование государства никогда не могла, да и не хотела. Поэтому и двигаемся то вперед, то назад.

Игорь КЛЯМКИН: «Опираясь на описанную Корниловым правовую тенденцию внутри самодержавной традиции, либеральному историческому сознанию предстоит освободиться от влияния самой этой традиции»

Спасибо, Андрей Анатольевич. Спасибо всем докладчикам и всем выступавшим. Позвольте и мне высказать свое мнение об Александре Александровиче Корнилове и значении для нас его трудов.

Почему мы, я имею в виду «Либеральную миссию», обращаемся к наследию старых русских либеральных историков? Мне уже приходилось об этом говорить, но хочу повторить еще раз. Мы обращаемся к этому наследию потому, что остро ощущаем невыработанность в современной либеральной среде либерального исторического сознания. У почвенников и государственников оно есть, а у либералов отсутствует. И мы пытаемся понять, могут ли (и если могут, то чем) помочь в формировании такого сознания либеральные историки прошлого. Потому что помощи от современных историков в данном отношении поступает, мягко говоря, не очень много.

Никакое идеологическое течение не может претендовать на политический успех, если оно не опирается на какие-то традиции или тенденции прошлого. При отсутствии «своего» прошлого оно никаких политических шансов не имеет. И речь идет не только о прежних оппозиционных интеллектуалах и политиках, чьи идеи и проекты историей были когда-то отброшены. Разумеется, восстановление с ними преемственной связи очень важно, и мне не раз доводилось выражать восхищение той огромной работой, которую проводит на этом направлении Алексей Алексеевич Кара-Мурза и его Фонд «Русское либеральное наследие». Но ограничиваться только этим — значит искать исторические точки опоры исключительно в опыте исторических неудач и поражений. «Свое» прошлое нужно, по-моему, искать и в тех тенденциях, которые имели место внутри доминировавшего направления государственной эволюции. Что это означает?

Либеральное историческое сознание может опираться только на европейские тенденции в политической истории России. Это сегодня никому доказывать не надо. Но где, когда и в чем такие тенденции проявлялись? Откуда нам вести отсчет нашей европейскости? Тут-то и выясняется, что ответы на такого рода вопросы не столько консолидируют наше интеллектуальное сообщество, сколько разъединяют.

Одни находят эти тенденции в Киевско-Новгородской Руси или Руси Литовской, другие — во временах правления Ивана III, третьи — в реформах Петра I, четвертые — в жалованных грамотах Екатерины II, пятые — в преобразованиях Александра II, шестые — в Октябрьском манифесте 1905 года. Мне не раз приходилось по поводу этих точек зрения высказываться, повторяться сейчас не хочу. Скажу лишь, что европейская тенденция, на мой взгляд, впервые отчетливо проявляется в России в екатерининскую эпоху, когда в русскую жизнь вошла идея *права*, до того Россию не посещавшая. Первым же, кто это не только четко зафиксировал, но и предложил, исходя из этого, считать все последующее развитие новым периодом отечественной истории, как раз и был Александр Александрович Корнилов.

Мы пытались сегодня с его помощью разобраться в том, почему идея правового государства на протяжении XIX столетия жизненной реальностью в стране так и не стала. Почему движение к такому государству постоянно сменялось

движениями попятными, и почему циклическое чередование либеральных реформ и авторитарных контрреформ преследует страну по сей день. Не думаю, что, назвав движение от власти авторитета к власти закона вестернизацией, как предлагает Леонид Сергеевич Васильев, мы продвинемся в поисках ответов на эти вопросы. Почему вестернизации сменялись откатами назад? Потому что были дозированными и непоследовательными? Но почему они были такими? Потому что не покушались на сельскую общину? Однако и такой ответ влечет за собой очередное «почему?». К тому же общины давно уже нет, а хождения взад-вперед продолжаются.

На мой взгляд, цикличность отечественной истории и ее, цикличности, природе трудно понять, не отдав себе ясный отчет в том, *какое* государство приступило во второй половине XVIII столетия к раскрепощению сословий, и что означало их предшествующее закрепощение. То было, как следует из оценок и Ключевского, и Милюкова, и Корнилова, государство милитаристское, выстраивавшее не только военную, но мирную повседневность по армейскому канону. А закрепощение сословий, как и полагается в армии, означало принудительное подчинение всех частных и групповых интересов интересу общему, монопольно представляемому самодержавной властью. Когда же при Петре III и Екатерине II была инициирована демилитаризация всего этого жизненного уклада, когда частные интересы отдельных сословий были легализованы, когда дворянству и горожанам, до того знавшим лишь обязанности, были дарованы определенные права, тогда выяснилось, что для *такого* государства демилитаризация оказывается неразрешимой проблемой. Не в том смысле неразрешимой, что ее, инициировав, нельзя углублять, а в том смысле, что из нее нет выхода к иному, не милитаристскому типу государства. Выхода к государству правовому.

История российского XIX века в описании Корнилова и предстает как раз чередой попыток выскочить из этого тупика. Самодержавное государство, сложившееся и укрепившееся как милитаристское, намеревалось сделать себя правовым, оставаясь самодержавным. Корнилов приводит выдержки из манифестов, издававшихся российскими императорами после их восшествия на престол, во всех них декларировалось намерение укреплять законность. Однако соединение монопольной власти с принципами права давалось им с трудом. Когда же в данном отношении им удавалось продвинуться достаточно далеко, то им самим или их преемникам вскоре приходилось разворачиваться назад — пусть и не к исходным рубежам. Кстати, это циклическое чередование реформ и контрреформ, «оттепелей» и «подмораживаний» — оно ведь имело место в России не всегда, оно началось именно с екатерининского раскрепощения. Оно — продукт демилитаризации милитаристского государства, тщетно пытавшегося соединить идею самодержавия с идеей права, легализацию частных интересов с сохранением монополии на представительство интереса общего.

Это было тщетно, потому что легализованные частные интересы чем дальше, тем меньше соглашались с такой монополией мириться. И чем шире становился круг этих интересов, тем труднее их было согласовывать друг с другом и с интересом властной монополии в самосохранении...

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Это было тщетно без капиталистического свободного рынка и свободного предпринимательства, допуск которого в российскую жизнь по-прежнему государством ограничивался. А без такого рынка и такого предпринимательства, требующих гарантий права собственности и правового регулирования всех сфер жизни, откуда взяться правовому государству? На какой социальной почве оно может возникнуть?

Игорь КЛЯМКИН: Так потому и ограничивался, что такой рынок и такое предпринимательство с сохранением властной монополии было несовместимо. Разумеется, раскрепощение не могло не коснуться и русских купцов, пространство их свободы тоже постепенно расширялось, но базовыми опорами монополии по-прежнему оставались дворянство и бюрократия, удерживавшая частный бизнес в зависимом от нее состоянии. Проблемы же, проистекавшие из неразвитости рынка и предпринимательства, пытались, как Вы справедливо заметили, решать посредством имперской колониальной экспансии и после того как «собрание земель» вроде бы завершилось. Это, помимо прочего, был и способ сохранения права самодержавия на представительство общего интереса в стране, на протяжении столетий не знавшей иного понятия об общем интересе, кроме военного.

Евгений ЯСИН: То есть инерция милитаристской государственности сохранялась и в эпоху демилитаризации?

Игорь КЛЯМКИН: Демилитаризация заключалась в том, что милитаристское государство пытались сохранить, раскрепощая общество. И проявлялось это не только в колониальной экспансии, хотя страна, по Корнилову, в расширении территории уже не нуждалась. Это проявлялось и в державных амбициях, подтолкнувших, скажем, Александра I к войнам с Наполеоном в Европе, которые, как считает Корнилов, России тоже были не нужны. Эти же амбиции понуждали того же Александра I при отсутствии для того средств держать армию, соизмеримую по численности с армиями всех европейских государств, вместе взятых, для чего потребовалось создавать военные поселения, в которых земледельцам предписывалась одновременно быть и солдатами. Корнилов, кстати, об этих поселениях, означавших невиданную до того даже в России милитаризацию повседневности, обстоятельно рассказывает. Равно как и об отношении к ним крестьян, считавших их даже более тяжким наказанием, чем крепостное право.

Так что вовсе неспроста и в России, и за рубежом многие полагали, что милитаристская природа российского государства не изменилась. Соответствующие высказывания можно найти у Радищева, Бакунина, Герберта Спенсера. Но факт и то, что раскрепощение общества, наделение его определенными правами — это демилитаризация. Государство доекатерининское и послеекатерининское — не одно и то же, как не одно и то же государство сталинское и послесталинское. И такая демилитаризация оказалась для российского государства исторической ловушкой.

Раз запустив, ее нельзя уже было отменить: император Павел попробовал, но заплатил за это жизнью. В свою очередь, попытки перевести демилитаризованное милитаристское государство в государство правовое, сохраняя самодержавную монополию, вели к появлению у него вооруженных противников внутри страны. Сначала декабристов, потом террористов-народовольцев, от которых либеральная часть общества готова была публично защищать правительство только в обмен на конституцию, — показательно в данном отношении подробно описанное Корниловым поведение тверского дворянства во времена реформ Александра II.

Реакцией на такой ход событий и становились консервативные откаты от реформ к контрреформам. Но при этом опыты частичных ремилитаризаций в духе Николая I, вытеснявших либеральное вольнодумство культом чиновничества и бездумного исполнительства, имели своим следствием военные поражения, влекшие за собой новые попытки обручить самодержавие со свободой и правом. Со столь же закономерным последующим откатом. Дали, скажем, при том же Александре II права земствам, но уже при нем, как показывает Корнилов, стали их ограничивать; узаконили несменяемость судей, но вскоре после этого стали держать судебных следователей в роли исполняющих обязанности, на которых принцип несменяемости не распространялся. Итогом же такого безысходного застревания между милитаристским и правовым государством стал крах самодержавной государственности и утверждение новой его милитаристской версии в исполнении большевиков.

Чем интересна мне история русского XIX века, описанная Александром Корниловым? Да как раз тем, что это — описание периода, типологически сходного с переживаемым нами сегодня. Мы ведь тоже находимся внутри процесса демилитаризации сталинского режима, которая тоже происходила и происходит по принципу «вперед-назад», как и послепетровская. И из нее, демилитаризации этой, по ходу которой пал коммунистический строй и распалась советская империя, прорваться в правовое государство тоже не получилось и не получается. Но и новой, третьей по счету милитаризации теперь не получится. Просто потому, что никаких задач, даже военно-технологических, с ее помощью уже не решить. А раз так, то впереди у России или дальнейшая деградация и распад, или... правовое государство. Государство, которого в ней

никогда еще не было, но которое, тем не менее, предстоит создавать не с исторического нуля.

Тенденции, свидетельствующие о движении к нему, в России были, и Корниловым они зафиксированы. Зафиксирован им и момент времени, с которого правомерно вести их отсчет. На них и может опираться современное либеральное историческое сознание, считая их «своим» прошлым. Но сознание это должно включать в себя и представление о том, что при сохранении той или иной формы самодержавной монополии на власть правовое государство недостижимо в принципе. Опираясь на правовую тенденцию внутри самодержавной традиции, либеральному историческому сознанию предстоит освободиться от влияния самой этой традиции. Думаю, что чтение трудов Александра Александровича Корнилова, в которых описан поучительный опыт реформ и контрреформ XIX столетия, может в данном отношении оказаться полезным.

Еще раз всех благодарю.

РОССИЯ И СВОБОДА

Игорь КЛЯМКИН: Сегодня мы будем вспоминать Георгия Петровича Федотова, разговор о котором приурочен к 125-летию со дня его рождения. Надеюсь, что наши докладчики, представляющие Фонд «Русское либеральное наследие», не будут злоупотреблять мемориальной стороной дела, а сосредоточатся на значении Федотова для современности. Чем Федотов может помочь нам в понимании России, ее прошлого, настоящего и возможного будущего?

Это тем более интересно, что Федотов, по моим наблюдениям, один из самых цитируемых русских мыслителей первой половины XX века. Возможно, потому, что его творчество связано с тем концептуальным поворотом, который произошел в исследованиях России после октября 1917 года. Не Федотов был его инициатором, но у Георгия Петровича поворот этот получил одно из самых ярких своих проявлений. А именно — поворот к анализу культуры, который созвучен тем поискам и подходам, которые характерны для постсоветского времени.

Правда, в последние годы общественный интерес к Федотову, по-моему, падает. Даже в дискуссиях об интеллигенции, в изучении которой его вклад столь велик, ему уделяется все меньше внимания. В академической среде интерес к нему сохраняется, но из публицистики его имя практически исчезает. И я хочу, чтобы докладчики ввели нас в ту проблематику, которой занимался Федотов, и показали ее актуальность, которая у меня лично сомнений не вызывает.

Прежде всего, я имею в виду федотовский анализ русской истории. Ведь все свои конкретные сюжеты Георгий Петрович рассматривал исторически. При этом его интересовали практически все периоды — и киевский, и московский, и петербургский, и советский, и даже будущий постсоветский. И нам важно осознать, насколько его подходы сохраняют актуальность, учитывая в том числе и наш постсоветский опыт, которого у Федотова не было.

Основной доклад сделает Алексей Кара-Мурза. Потом выступают два его содокладчика — Ольга Анатольевна Жукова и Владимир Карлович Кантор. А потом, как всегда, свободная дискуссия. Алексей Алексеевич, пожалуйста.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Беда России, по Федотову, в том, что политика в ней съедает культуру»

Когда я писал для книги о русских либералах (она вышла в «Либеральной миссии» двумя изданиями в 2003 и 2007 годах) биографию Георгия Петровича Федотова, я предпослал ей в виде эпиграфа фразу из одной его знаменитой статьи: «Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе». На мой взгляд, эта мысль и глубока, и актуальна. Согласно Федото-

ву, проблема России не только в том, что здесь свобода очень часто подавляется силой. Проблема России еще и в том, что в ней подавлена сама *потребность* в свободе. Так что тема нашего круглого стола «Россия и свобода» сразу вводит нас в одну из центральных проблем творчества Федотова. Человека, который по ходу исследования именно проблематики свободы проделал самый сложный путь от атеистического марксизма сначала к христианскому социализму, а потом к христианскому либерализму.

Коротко напомним биографию Георгия Петровича. Он родился 13 октября (по новому стилю) 1886 года в Саратове в семье крупного чиновника. Санкт-Петербургский Технологический институт, в котором Федотов начинал учиться, он не окончил, так как за участие в революционных кружках был в 1905 году арестован, а потом выслан из страны. В Германии Федотов изучает историю в Берлинском и Йенском университетах. Там же, в Германии, он оказывается под влиянием христианской гуманистической философии и постепенно отходит от марксистского материализма.

Осенью 1908-го Федотов возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь он попадает в круг выдающегося педагога-просветителя, убежденного европейца и либерала Ивана Михайловича Гревса, вырастившего целую плеяду крупных историков и культурологов, среди которых такие корифеи русской мысли, как Лев Карсавин и Владимир Вейдле. Увлечшись, благодаря Гревсу, проблемами европейского средневековья, Федотов хочет уйти от политики. Но сама политика его «не отпускает». Он продолжает оставаться под надзором полиции и после нескольких обысков, опасаясь ареста, уезжает по подложному паспорту в Италию. Там он работает в библиотеках Рима и Флоренции, зарабатывая на жизнь частными уроками в семьях богатых русских. В своем четырехтомнике «Россия и Италия» я провожу своеобразное расследование о пребывании Федотова в этой стране, позволившее мне лучше понять истоки того огромного заряда свободомыслия, который он получил, изучая европейскую культуру.

Вернувшись в Россию, Георгий Петрович все-таки сдает университетские экзамены. А потом началась Первая мировая война, которую Федотов воспринял как совместную борьбу россиян за свободу в союзе с западными демократиями. Февральская революция 1917 года была встречена им без восторга: он предчувствовал, что русская демократия слишком хрупка и бессильна перед натиском разрушительных антикультурных сил. И предчувствие его не обмануло.

После большевистского переворота Федотов уезжает в родной Саратов, где становится профессором кафедры средневековой истории. Вскоре, однако, он вынужден был покинуть университет из-за своего демонстративного отказа посещать собрания, ходить на демонстрации и соблюдать другие разновидности советской обрядности. В 1925-м он получает французскую визу и выезжает сначала в Берлин, а затем в Париж.

Уже первые статьи-эссе Федотова («Три столицы» и «Трагедия интеллигенции»), опубликованные в 1926 году, получили широкую известность в литературно-политических кругах русской эмиграции. На молодого автора обратила внимание редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки». В нем Федотов потом многократно печатался, снискав себе славу «первого публициста эмиграции», «Герцена нового времени».

С 1926 по 1940 год Георгий Петрович преподавал историю западной церкви и латинский язык в парижском Богословском институте. В этот период он издал во Франции серию монографий по истории русской православной церкви, принесших ему европейскую известность. После оккупации Парижа немцами он перебирается на юг Франции, где арестовывается за нелегальный переход демаркационной линии. Однако при содействии друзей-американцев Федотову удалось получить визу в США, в которые он добирается сложнейшим путем через Бразилию, Сенегал, Марокко, Испанию, Кубу и Бермуды. В сентябре 1941-го он, наконец, оказывается в Нью-Йорке.

В Америке Георгий Петрович некоторое время работал при Йельском университете в Нью-Хэйвене, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда; затем стал профессором православной Богословской академии Святого Владимира в Нью-Йорке. 1 сентября 1951 года Георгий Петрович Федотов скончался в возрасте 65 лет в госпитале города Бэкон, штат Нью-Джерси, и там же был похоронен на православном кладбище. Так что в нынешнем, 2011 году мы отмечаем еще и 60-летие со дня смерти Федотова.

Эта выдающаяся фигура русской эмиграции очень поздно пришла в новую Россию. Некоторые из нас, конечно, знали Федотова, работая в спецхранах ведущих российских библиотек, но знали не очень хорошо. Я помню, как во время стажировки в Париже в 1990 году мне было разрешено бесплатно «ксерить» там тексты русских эмигрантов. Я привез с собой большой чемодан ксероксов практически всего Федотова (ну и не только его, естественно), после чего я и мои сотрудники буквально жили этим несколько месяцев. Только в 1992-м у нас в Питере вышел двухтомник Федотова «Судьба и грехи России» (тиражом 50 тысяч экземпляров), и тогда пошла мода на Федотова. Но потом она куда-то ушла. Судя по всему, выражаясь словами самого Георгия Петровича, *потребность в Федотове ушла вместе с потребностью в свободе*. Сейчас с огромным трудом заканчивается издание 12-томного Полного собрания сочинений этого мыслителя. За исключением очень узкого круга специалистов, потребности в нем я не замечаю. Издание начинали двухтысячным тиражом, а заканчивают вдвое меньшим.

Несмотря на то, что основные свои работы Федотов написал в эмиграции, мне кажется, что его культурно-политическое кредо, которому он оставался верен всю жизнь, было сформулировано им еще на родине. В марте 1918 года в Петрограде вышел первый номер полуподпольного религиозного журнала «Свободные голоса». Именно там появилась небольшая, но программная по

своему замыслу статья 31-летнего Георгия Федотова «Лицо России». В ней христианин Федотов обозначил свою принципиальную философско-историческую идею. Он полагал, что благополучие и величие нации создаются не там, где народ получает политическое право свободно ненавидеть свое государство (такие образования долго не живут — ненависть их убивает), но там, где появляются возможность и право свободно и личностно, а не под давлением и «коллективно», любить свою историю и свою культуру. Автор статьи верил, что история и культура России достойны свободной, преданной и надежно охраняющей цивилизацию Любви, давая для нее богатейшую основу. Однако, «чтобы быть живой и действенной, любовь должна быть личной. Но что способно породить такую свободную жертвенную Любовь, скрепляющую государственную целостность? — Только свободное же ощущение сопричастности к великой Культуре».

Вот этого «культурного иммунитета», удерживающего от соблазнов политического радикализма при отсутствии «ощущения сопричастности к великой культуре», и не выработалось в достаточной мере в России накануне мировой войны и революции. «Еще недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурно, какое-то дикое, девственное поле, — отмечает Федотов. — Нужно было... чтобы алчные до экзотических впечатлений пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна — предстала взорам». Сам Федотов счастливым образом сумел выработать в себе этот «культурный иммунитет» перед угрозами и искушениями политики. Став в ранней молодости политическим изгнанником, он сознательно пестовал в себе не чувство политической обиды и мести (как, увы, сотни и тысячи его соотечественников), а именно «чувство культуры» и в первую очередь культуры русской.

Однако благотворный процесс возвращения к культурным истокам был, согласно Федотову, далек от завершения и насильственно прерван войной, а потом и революцией. Беда России: *политика съедает культуру*. Потом он даст классическое определение тоталитаризма: тоталитаризм — это строй, где политика полностью съела культуру. Отсюда понятна и задача, которую ставил перед собой Федотов. Воспитанный в культуроцентричной «традиции Гревса», он, выражаясь словами его младшего друга и ученика Юрия Иваска, стал впоследствии тем русским мыслителем, который в XX столетии сумел воссоединить и сделать непротиворечиво-органичной русскую культуру, продуктивно совместив философско-исторические интуиции русского европеизма и русского самобытничества: «Он — Герцен, ставший христианином; он — Хомяков, опять вернувшийся на Запад...».

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилисти-

ческой и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской культураноцентричной тенденции открывала перед Россией перспективу свободного и полного развития. Но «судьба, увы, сулила иное», констатировал Федотов. Изучению причин крушения российской европейской культуры, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена главным образом политическая публицистика Георгия Петровича.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали новый импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития именно «культурной идеи Европы». «Петровская реформа, — писал Федотов в «Письмах о русской культуре» (1938), — действительно вывела Россию на мировые просторы... и создала породу русских европейцев». И эта русская европейскость, по мысли Федотова, вовсе не отрицает «старую русскость».

В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок) — скептикам, циникам, а порой и откровенным русофобам, в которых петровское «открытие Европы» лишь закрепило неверие в собственную страну, — русские европейцы, напротив, не потеряли ни связи с отечеством, ни силы национального характера. «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников... Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер». Именно эта плодотворная связка «старых» и «новых» русских, патриотов-москвичей и патриотов-европеистов, могла сформировать тип творческой русской элиты, способной, по мысли Федотова, обеспечить для России рывок в экономике, политике, культуре. Но, к несчастью для страны, человеческий тип «русского европейца» не успел достаточно развиться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и, в сущности, антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

Основная вина за большевистскую революцию, согласно Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье «Правда побежденных» (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к черносотенному стилю народной большевистской революции?».

В периоды стабильного развития глубинные пороки русской элиты — как консервативной, явно вырождающейся в тупую реакцию, так и оппозиционной, тяготеющей к антигосударственному нигилизму, — еще не были фатально

губительны для страны. Но в начале XX века, в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая порочность национальной элиты оказалась роковой.

Исследование причин трагедии России, в которой борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода». Вопреки известному изречению Ж.-Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», Федотов, напротив, полагал, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры». И это, по его мнению, «нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности».

Впрочем, отмечает Федотов, само по себе богатство культуры не гарантирует произрастание в ней свободы: «Даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем... Культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной религии и мысли, но... мы не найдем (в них. — А.К.) свободы как основы общественной мысли». Как сама культура — «исключение на фоне природной жизни», так и свобода — «исключение в цепи великих культур». Свобода появляется как результат культурного творчества *особого рода*. Она приходит не тогда, когда порядок подтачивается и разрушается, а, наоборот, тогда, когда укрепляется новый порядок — «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности».

Все виды свободы, согласно Федотову, могут быть сведены к двум основным началам. «Главное и самое ценное содержание свободы» — это «свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения». С другой стороны, «целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти...». Федотов называет эти две группы «свободой духа» и «свободой тела», убедительно показывая, что первая (и, по его мнению, фундаментальная) зарождается внутри христианской культуры средневековья, в то время как вторая — в результате политической борьбы нового и новейшего времени.

Итак, свобода, будучи феноменом развитой (и при этом христианской) культуры, не способна стать легкой добычей «голой», этически выхолащенной демагогической политики. Более того, при своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все, включая и формально элитарные слои, равны и беззащитны перед лицом деспота, подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы на время». В таком случае «они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают “ни для кого”. Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина».

Верный своей культурно-исторической концепции, Федотов и в эмиграции продолжал делать ставку на постепенное накопление в оставшейся далеко России творческо-европейского культурного потенциала. Разумеется, восставление его на родине, подвергшейся небывалой деевропеизации и массовому геноциду культурных слоев, представлялось ему делом долгим и трудным. Потому что, по мнению Федотова, при большевиках в России произошла тотальная победа политических отношений над отношениями свободного культурного сотворчества. «“Свободная профессия” стало каторжным клеймом в России... Россия кишит полуинтеллигенцией, полузнайками... Старые человеческие запасы иссякают...».

Сознательная девальвация русской культуры обрела в Советской России статус государственной политики, способом выживания режима. Федотов считал, что большевиков интересует только власть как таковая, а заодно и материальные ценности как объект властного вождения и, с другой стороны, опора той же власти: «Большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры». В свою очередь, культурная опустошенность советского режима, этический релятивизм его верхушки делают его (как ранее императорский режим, подвергшийся аналогичному культурному вырождению) крайне неустойчивым. Обвал этой конструкции, полагает Федотов, лишь вопрос времени. Вопрос, однако, и в том, что может прийти ей на смену.

«Проблемы будущей России» состояли для Федотова не только в том, что большевики оставят после себя культурную пустыню. Они еще и в том, что среди радикальных противников сталинизма он слишком часто встречал тот же самый антикультурный человеческий тип, который ранее, обрядившись в марксистские одежды, и привел Россию к катастрофе: «Дух ленинского имморализма оживает в стане реакции... в стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения... Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха... Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой всероссийской Чеки».

Федотов понимал психологическую подоснову реваншистских настроений, но категорически не мог принять их. «Гражданская война, — писал он, — во многих из нас воспитала политический цинизм, доходящий иногда до полного отрицания всякой связи между политикой и моралью. Крушение “белой мечты”

могло только обострить горечь озлобленных душ. Политический макиавеллизм легко развивается на чувстве бессилия и горечи поражений».

Георгий Петрович очень опасался людей, которые, не понимая греховности революции как таковой, мечтали лишь о «реставрации». По его мнению, постбольшевистское русское сознание должно быть в первую очередь христианским, то есть «прежде всего исполнено ужаса перед революцией, как своим грехом, грехом своего народа». Те же, кто мечтает просто о «переключении революционной энергии», стремятся лишь к «переворачиванию политики»: «та ярость, та одержимость злобы, которые сегодня направлены на построение классового и безбожного интернационала, завтра будут направлены на созидание национальной и православной России». «Какой кошмар! — восклицает Федотов. — Рука, убивающая сегодня кулаков и буржуев, завтра будет убивать евреев и инородцев. А черная человеческая душа останется такой же, как была: нет, станет еще чернее...». И самое страшное, полагает Федотов, что «в этой перспективе нет ничего невозможного. Ненависть, большая и ослепляющая, как и мания преследования, легко могут изменить свой объект. Народ, который за несколько лет до революции, избивал социалистов, стал избивать буржуев, — оставшись в сущности самим собой».

Доминирование в России человеческого типа, лишенного всякого «чувства культуры», — многовековая болезнь России, наследуемая все новыми и новыми режимами, формально различными, с виду чуть ли не антагонистичными, но в сущности своей однородными. Поэтому нейтрализации и устранения требует не столько конкретный режим, сколько сама психотипическая, антикультурная по своей природе подоснова русской власти. «Мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они не прикрывались, — писал Федотов. — Пора перестать сумасшедшим управлять Россией».

Не видя в ближайшей перспективе серьезных политических альтернатив советскому режиму (альтернатива, по его мнению, вообще не может быть чисто политической), Георгий Петрович в конце жизни радовался любому известию о возрождении на родине классической русской культуры. «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина», — писал Федотов в 1937 году, в год столетия со дня гибели поэта. — Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом».

Поздний Федотов надеялся на то, что классическая русская культура, русская литература прежде всего, помогут гуманизации национального сознания. В возвращении к гуманистической культуре ему виделся некоторый аналог духовной, религиозной реформации. Был ли Федотов наивен или, напротив, оказался одним из русских пророков XX века, как полагают неко-

торые, — это, по-моему, и было бы полезно обсудить в ходе нашей сегодняшней дискуссии.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. У меня есть два соображения, которые, может быть, полезно было бы учесть в процессе обсуждения.

Первое из них касается ментально-культурной трансформации, которая должна предшествовать трансформации политической и любой другой. Но как быть, если весь строй жизни препятствует в России формированию и утверждению нового для нее массового человеческого типа? У Федотова, по-моему, нет ответа на этот вопрос, который остается вопросом и сегодня. Поэтому в России до сих пор говорят о фатальном воспроизводстве старой ментальности, которое будет продолжаться и впредь. Этот тезис сближает радикальных либералов и с нашими традиционалистами, и с тем, что говорят кремлевские пропагандисты.

Второе мое соображение относительно того, что Федотов видел в истории и культуре России какие-то предпосылки европеизма. Да, видел, имея в виду христианство. И, прежде всего, в киевском периоде. Но он же говорил и о том, что христианство, пришедшее на Русь, пришло на нее отгороженным от античности, что изначально отличало русскую христианскую культуру не только от западноевропейской, но и от византийской. Георгий Петрович видел в этом проблему, и нам, обсуждая его наследие, тоже не стоило бы ее игнорировать.

Слово — Ольге Анатольевне Жуковой.

Ольга ЖУКОВА (профессор кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета): «Федотов видел шанс России обрести свободу на основе собственного культурного и религиозного предания»

Жанр моего выступления — это скорее не доклад, а проблематизированная реплика, своего рода заметки философа и культуролога на полях трудов историософа и политического культуролога Федотова. Мне кажется, самая главная трудность в оценке судьбы и творческого пути этого мыслителя связана с установлением его либеральной идентичности. Можем ли мы воспринимать его как носителя и выразителя либеральной традиции?

По моему убеждению, мировоззренческая и идейная эволюция Георгия Петровича свидетельствует в пользу той версии, что это либерал, причем в культурном смысле слова. Федотов — *христианский* либерал. И чем сильнее выражен в его трудах концепт культуры, тем ближе он к христианской либеральной позиции.

Именно мощная интуиция культуры и уберегла Георгия Петровича от столь свойственных русской интеллигенции идейных крайностей и метаний. И неслучайно упоминавшийся Алексеем Алексеевичем Юрий Иваск потом говорил, что все дело Георгия Петровича — дело всей его жизни — заключа-

лось в оправдании культуры. Как здесь не вспомнить и Петра Бернгардовича Струве, который сетовал по поводу русских интеллектуалов, отвергавших идею культуры то во имя мужика, то во имя Бога. А Георгий Петрович остановился на этой идее культуры и попытался посмотреть, как она произрастает из общего корня христианской цивилизации.

На мой взгляд, Федотов, как историк и философ, безусловно, актуален и интересен тем, что начинает пересматривать политические и ментальные стереотипы российской культурной истории. Исследовательская перспектива, заданная им в изучении отечественной истории, и его собственный опыт борьбы за Россию и свободу в России не вполне еще оценены. Здесь уже было сказано, что его популярность на волне спада. Персоны русского религиозно-философского ренессанса — Булгаков, Бердяев — безусловно, опережают его по популярности. Как представляется, наследие Федотова как историософа и политического мыслителя еще не освоено.

Для самого Федотова изучение России и философская критика ее исторического опыта была программой работы над национальным сознанием, о чем он определенно говорит в своей статье «Изучение России». В подобной критике исторического русского пути Федотов видел суд, буквально понимая слово «критика» именно как суд. Суд России над собой. И в этом трезвом покаянии — утверждение ее христианского самосознания. Вот его высказывание: «В служении истине крест Христов требует самоотречения, то есть постоянной готовности к отказу от заблуждений».

Приведенная цитата — из работы «Православие и историческая критика». Собственно, в этой работе создаются методологические основания подобной критики культурного христианского предания, которая приводит Федотова к масштабному замыслу, реализованному в его трудах «Святые Древней Руси» и «Русская религиозность». По сути дела, это род интеллектуального покаяния и подлинно христианская установка религиозной мысли. Это критика культуры, которой Федотов не боялся.

Общий вывод, к которому пришел Георгий Петрович в ходе исследований русской культурной истории, может быть выражен блестящей фразой из его известной статьи 1943 года — статьи «Новое отечество». Смысл этой фразы в том, что все тысячелетие своей истории Россия искала национальное равновесие между государством и культурой и — не нашла его. Вывод, более напоминающий приговор. А в другой программной статье «Судьба империй» возникает образ русской литературы как совести мира, который противопоставляется образу государства как пугала для свободы народов. В то же время Федотов не склонен рассматривать государство как исчадие ада, потому что за государством он закрепляет функцию отечества, метафорически растолковывая границы между отечеством и родиной.

Отечество — это рациональная государственная структура, которая обеспечивает основания для справедливого порядка и справедливого суще-

ствования людей. А к Родине отходит эмоциональное начало, которое больше связано с почвой, родом, племенем. Это то самое начало, которое возвращает национальную культуру. И первое (отцовское), и второе (материнское) выражения национальной культуры для Федотова, безусловно, важны. Но они ему даже в их совокупности не кажутся достаточными, в чем как раз и проявляет себя его христианская либеральная позиция. Ни материнское, ни отцовское начало не исчерпывает для философа мира личности. Еще одна дословная цитата: «Никогда им не вместить полноту духа, не заменить личной, сверхорганической и сверхрациональной жизни и ее условия — свободы».

В каком же смысловом ряду, в какой ценностной системе возникает понятие свободы у Федотова? Конечно, в смысловом и ценностном контексте христианской традиции. Более того, в статье «Рождение свободы» Георгий Петрович аргументированно доказывает, что *наша* свобода, как мы ее понимаем в европоцентристской модели, — это «поздний и тонкий цветок культуры», который возникает только в одной цивилизации — христианской. Алексей Алексеевич на это высказывание уже ссылаясь, а я ссылаюсь повторно, потому что оно очень важно.

Действительно, именно эта цивилизация допустила секуляризацию, приняв и поняв религиозный концепт свободы, онтологическую формулу христианства, согласно которой *где дух Господень — там свобода*. И она нашла этому концепту адекватные политические формы. Наша свобода, говорит Федотов, имея в виду Россию, все еще не обеспечена Грецией, но обеспечена культурным развитием христианской Западной Европы в двух ипостасях. Первая ипостась — это свобода духа, то есть свобода религиозных, политических, эстетических, моральных убеждений. И вторая — свобода тела, включающая неприкосновенность личности, собственности, личного пространства жизни. Речь идет в данном случае о тех границах, которые обеспечивают сохранность человека и гарантируют его от произвола власти.

Но самая главная христианская интуиция Федотова заключается в утверждении иерархии ценностей. Он говорит о том, что свобода без религиозно нагруженного смысла умирает: «Любая ценность вне ценности святого духа становится разрушительным началом». Самым важным и определяющим в европейской христианской традиции для Федотова является идеал Христа, взойшедшего на крест. «Христос, взойшедший на крест для того, чтобы спасти человека в свободе», — вот что для Федотова превыше всего. Свобода им понималась как абсолютная ценность личности, то есть души, и свобода выбора пути, то есть самоопределения по отношению к добру и злу. И вот почему для него современная культура, которая вычеркивает метафизический план из своего бытия, должна вернуться к исходному духовно-религиозному смыслу свободы; у Федотова возникает даже такая интересная формулировка, как *религия личности и свободы*.

Георгий Петрович потому и предпринимает свою грандиозную критически заостренную реконструкцию культурной истории Руси и России, чтобы отыскать в ней подлинные ростки свободы, как она понимается в общехристианском европейском предании. По мысли Федотова, на Руси, как и в Европе, свобода рождалась в культуре, но если в Европе пространство свободы постепенно расширялось, то в России путь был противоположным — от свободы к рабству. Одну из типологических моделей такого рабства Федотов связывает с Московской Русью, с византийско-татарским типом деспотизма, когда московский царь царствовал над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Вторая же модель обнаруживается им в Российской империи, когда рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием — созданием Империи на скудном экономическом базисе, что требовало бесконечного принуждения и перенапряжения сил.

Так есть ли все же у России шанс обрести свободу на основе собственного культурного и религиозного предания? Для Федотова ответ очевиден — он говорит утвердительное «да». Он видит и, более того, определяет задачу построения будущей христианской либеральной модели России через возвращение в традицию русской культуры, а через нее, как он говорит, и русского христианства, не снимая задачи интеллектуального самопокаяния. Не горделивое спасение мира должно стать делом России, а «служение своему призванию, не мессианство, а миссия, путь творческого покаяния, трудовой трезвости, переоценки, перестройки всей жизни. Вот путь России — наш общий путь».

Как мне представляется, своим опытом исторической критики Федотов обозначает предельно трудный, но возможный русский путь в Европу с ее христианским универсализмом, то есть путь синтеза либеральных принципов и национальной культуры на основе религиозно понятой свободы. Что должно стать здесь мерилom? Мерилом должна стать ценностная триада, которая моделирует европейский мир, — личностность, универсализм и свобода.

Критическая методология, которую предлагает Федотов, позволяет нам сегодня разграничить очень часто налагаемые друг на друга понятия, из-за которых происходит и методологическая, и мировоззренческая путаница. Я имею в виду понятия традиции и традиционализма. *Традиция* — это то, что должно сохранять, а *традиционализм* — это рутинизация, это то смешение социального порядка с варварством, от которого Россия должна освободиться. И при этом помнить, что нация есть результат совпадения двух величин — культуры и государства.

Любая версия национального сознания может быть и великой ценностью, и в то же время опасностью, если произойдет очередная подмена понятий в ценностной системе, если любые срединные понятия культуры выпадут из горизонта свободы и перестанут пребывать в духе и истине. А это уже катастрофа. Так Федотов рассуждает о судьбах всяческих национализмов.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Ольга Анатольевна. Я в Вашем выступлении — впрочем, как и в творчестве Федотова — улавливаю проблему, которой, может быть, тоже стоило бы в ходе дискуссии коснуться. С одной стороны, есть федотовский тезис о том, что свобода вырастает из культуры, и русская культура предоставляет для этого какие-то возможности, содержит какой-то потенциал. А с другой стороны, есть и воспроизведенный Вами, а до Вас — Кара-Мурзой, тезис того же Федотова о «свободе тела» и «свободе духа». Но если «свободу тела» мы все еще обрести не в состоянии, то это, согласно федотовской логике, потому, что для этого нам недостает «свободы духа». И как такое положение вещей сочетается с утверждением о потенциале свободы в русской культуре? Мне кажется, что здесь в наследии Федотова можно найти не столько ответ, сколько проблему, и хорошо бы ее обсудить.

Следующий — Владимир Карлович Кантор.

Владимир КАНТОР (профессор Высшей школы экономики): «Для Федотова не было принципиальной разницы между коммунизмом и фашизмом»

Я хотел бы говорить на тему «Федотов и фашизм». В каком-то смысле это тоже тема свободы. Ибо фашизм — это социально-духовная структура, которая полностью элиминирует человеческую свободу, причем не только духовную, но даже бытовую. И случился он на пространстве христианского ареала от Португалии до Дальнего Востока.

О Георгии Петровиче Федотове я писал не раз, он из тех русских мыслителей, что заинтересовал меня давно, и в конце советского периода за такой интерес я чуть было не попал в известное заведение на Лубянке. Это мыслитель, читать которого важно для понимания России и вчерашней, и сегодняшней. Но — не только России. Федотов важен и для понимания западной Европы, ее судьбы. Не случайно он начинал свою научную деятельность с текстов об Августине и Абелиаре. Это тот контекст, который определяет его взгляд на современность, дает ему оптическую и мыслительную перспективу, умение видеть поверх барьеров, понимание шанса на преодоление или изживания зла.

В свое время я писал о столкновении Федотова с русским эмигрантским богословием в Парижском богословском институте, когда его хотели изгнать оттуда за самостоятельность мысли. За него заступились два человека: Бердяев и мать Мария. Эту статью под названием «Философия национальной самокритики» я писал в связи с публикацией письма Франка, которое обнаружил в нью-йоркском архиве. «Вы, — писал Франк Федотову, — обрели право быть причисленным к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских умов, как Чаадаев, Герцен, Вл. Соловьев (я лично сюда присоединяю и Струве. — В.К.), знающих, что единственный путь спасения лежит через любовь к истине, как бы горька она ни была. Роковая

судьба таких умов — вызывать против себя «возмущение», которое есть не что иное, как обида людей, которым напомнили об их грехах или приятные иллюзии которых разрушены. <...> Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя».

Франк имеет в виду то, что постоянная критика Соловьевым национализма не была в России воспринята. И это правда. Для Федотова же эта тема стала одной из важнейших. В одном из последних номеров «Вопросов философии» (2011, №10) опубликована статья Георгия Петровича о национализме, подготовленная С. Бычковым. Национализм был для него главным врагом, так как именно в нем видел он истоки фашизма, истоки тоталитаризма. «Есть, — писал Федотов, — доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. <...> Но сам фашизм является скорее порождением националистической горячки, чем ее отцом».

У Федотова был круг друзей, с которыми он работал, — прежде всего, это те, с кем он сотрудничал в журнале «Новый Град». Это Федор Степун, это мать Мария. Я, кстати, нашел в архивах и опубликовал в тех же «Вопросах философии» довольно любопытную переписку Федотова и Степуна. То, о чем Федотов высказывался, было кредо группы «Нового Града», оно вырабатывалось всеми (Степун, Бунаков-Фондаминский, Федотов, мать Мария), но наиболее ярко прозвучало под пером Георгия Петровича.

Их положение среди эмигрантов из большевистской России — подыгрывавших большевикам евразийцев, ничему не научившихся оголтелых монархистов, винивших в российской катастрофе прежде всего Европу, — было, быть может, особенно сложным. А в их любимой Европе наступал на демократию фашизм. В передовой статье первого номера «Нового Града» (1931) Федотов писал: «Уже репетируются грандиозные спектакли уничтожения городов газовыми и воздушными атаками. Народы вооружаются под убаюкивающие речи о мире дипломатов и филантропов. Все знают, что в будущей войне будут истребляться не армии, а народы. Женщины и дети теряют свою привилегию на жизнь. Разрушение материальных очагов и памятников культуры будет первою целью войны. <...> Путешествие по мирной Европе стало труднее, чем в средние века. “Европейский концерт”, “республика ученых” и “corpus christianum” кажутся разрушенными до основания. <...> в Европе насилие, — в России кровавый террор. В Европе покушения на свободу, — в России каторжная тюрьма для всех. <...> Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы — прежде всего свободы духа».

В 1931 году он еще разделяет фашизм и коммунизм. Для него это совершенно разные структуры. Примерно ту же позицию в то время занимает и Степун, который пишет, что большевизм — это идея всемирности, которая всех подкупает, а фашизм — это национализм: «В большевизме есть всемирность

и потому острый соблазн для народов всех материков. Ничего подобного в национал-социализме нет. Кого кроме немцев может увлечь идея превосходства германской расы над остальными». Но вскоре становится понятным, особенно после прихода Гитлера к власти, что фашизм тоже может претендовать на всемирность. И Федотов задается вопросом: а что есть, строго говоря, фашизм?

Прежде всего, он отмечает, что фашизм утверждается в большинстве европейских стран того периода. Это Италия, это Германия, это Испания, Болгария, Португалия, Румыния... Но это, по Федотову, и ленинско-сталинская Россия. «Имя "фашизм", — пишет он, — создано в Италии и не принимается германскими наци, а тем более коммунистами. Но если согласиться употреблять его в широком смысле, обнимающим хотя бы Италию и Германию вместе, то всякое определение фашизма, которое могло бы быть органически выведено из анализа нового строя этих двух стран, неизбежно покроет все тоталитарные режимы нашего времени. Возьмем политический строй, столь характерный для фашизма и небывалый в истории: соединение единоличной диктатуры вождя, единой правящей партии и пассивно-революционного возбуждения масс, непрерывно поддерживаемого аппаратом партии. Эта система создана, конечно, Лениным и воспринята всеми его соперниками-учениками».

Таким образом, принципиальной разницы между фашизмом и коммунизмом для Федотова нет, причем в России первый фашист — это Ленин, а Сталин — его порождение. «За Сталиным и Зиновьевым, за всем разнообразием личных характеристик большевистских вождей, — пишет Федотов, — маячит зловещая фигура Ленина, который воспитал это поколение, который своим принципиальным, циническим аморализмом, своим отрицанием личной чести, правдивости и достоинства убил в зародыше возможность большевистского благородства. Растил палачей, но не героев. И по образу этих растленных, на все готовых слуг творил новую Россию — рабыню Сталина».

Итак, что есть фашизм? Это правление одной партии. Это фюрер, который один всем руководит. Это воля к власти. Это идея как устроитель государства — то, что потом называли «идеократией». И это отказ от разума, от самой идеи разума, от рационализма, который, как замечает Федотов, может ошибаться, но иррационализм — это ошибка всегда. В свою очередь, отказ от разума — это, по Федотову, и отказ от христианства, так как «христианство основано на разуме». Если же говорить о фашистском человеческом типе, то и в данном отношении разные формы фашизма абсолютно идентичны. Вскройте череп представителя фаланги, националиста, большевика, пишет Федотов, и там будет все то же самое — спорт, техника и тот или иной фюрер.

А каково отношение Федотова к антисемитизму? Многие говорят, что в его известной работе «Новое на старые темы», где он рассуждает о еврействе, есть

даже элементы антисемитизма. Зная его биографию, я не думаю, что это так. Алексей Алексеевич упомянул о том, что он уехал во время войны в Америку. Но кто его туда вызвал? Его вызвал туда Еврейский рабочий комитет. Была проблема уехать в Америку без виз, и вот Еврейскому рабочему комитету дали разрешение назвать пять-шесть имен людей, которых они приглашают к себе. Среди них был и Федотов. Добирался он до Америки, действительно, с большим трудом. В какой-то момент он попал в Испании в какие-то лагеря, и там чуть было не оказался на каторжных работах. И вытащил его оттуда опять-таки Еврейский рабочий комитет, приславший за ним и другими специальный пароход.

Чем же было для русского европейца Федотова еврейство? Вот его слова: «Подобно римскому католицизму, подобно (увы, столь хилому) культурному единству “республики ученых”, еврейство было одной из немногих сил, которыми держалось единство европейской культуры. Когда какая-либо нация хочет насильственно оборвать все связи, которые соединяют ее с человечеством, она прежде всего находит евреев и мстит им».

Для Федотова любой выход за пределы нации к всеевропейским смыслам в истории Европы был связан либо с еврейством, либо с католицизмом. Католицизм не вызывал у русских эмигрантов неприятия, как у некоторых русских мыслителей XIX века. Уже прошли они школу Владимира Соловьева и Вячеслава Иванова, принявших католицизм. Не забудем и о реалиях времени: подобно тому, как большевики уничтожали православных священников, Гитлер уничтожал священников католических (несмотря на конкордат с папой). Уничтожал почти с тем же рвением, что и евреев. Скажем, в лагере Дахау, который я посетил лет восемь назад, можно прочесть, что там лишились жизни почти четыре тысячи католических священников.

Отторжение фашизма, во всех своих разновидностях попиравшего христианские ценности, вело православного русского мыслителя Федотова, и не только его, но и Франка, и Степуна, к идее надконфессионального христианства. Ход мысли был простой: у нас один, собственно, учитель, одно существо, которому мы поклоняемся — это Христос. А Христос — вне конфессий. Когда-то я спросил у отца Александра Меня, как же он, православный священник, мог посетить Папу Римского. Он улыбнулся и ответил: «До Бога наши перегородки не достают». А задолго до отца Александра это же говорил Александр Сергеевич Пушкин: «Почему Чаадаев склоняет нас к католицизму, Хомяков к православию, когда есть Христос, который над всеми». Вот оттуда идет надконфессиональность отечественной мысли.

Наблюдая почти всеобщую фашизацию Европы, русские мыслители не могли обойти вниманием и то, что в Советском Союзе она осуществляется от имени марксизма, то есть учения последовательно интернационалистского. И они говорят о том, что в СССР произошла национализация марксизма, от которого, строго говоря, Советская Россия ушла, перебравшись на национа-

листическую почву. Больше всего эта тема интересовала Степуна, но не обошел ее стороной и Федотов. Он писал, что большевики не могли выкинуть Маркса, но объявили Россию страной, которая проложила путь всему человечеству, то есть истолковали марксизм националистически, превратив его, по сути, в национал-социализм. Гитлер же, в отличие от советских правителей, вообще забыл о социализме, оставив (и доведя до предела) один лишь национализм.

А альтернативу всему этому, о чем мои друзья и коллеги уже говорили, Георгий Петрович видел только в христианстве. Другой альтернативы он не видел, да и видеть не мог. Вот Игорь Моисеевич Клямкин сомневается в том, можно ли менять ментальность. Наверное, нельзя. А если другого выхода нет?

Игорь КЛЯМКИН: Я не говорил, что ментальность неизменна, как, впрочем, не утверждал и обратного. Я говорил о том, что вижу такую проблему у Федотова, хотя в этих терминах он ее не формулировал. Поэтому нам, говоря о нем, стоило бы иметь ее в виду.

Владимир КАНТОР: Когда-то Владимир Сергеевич Соловьев сказал: «У нас всегда задают вопрос, что делать? Я бы поставил вопрос по-другому — кто делатель?». Вот этот вопрос и есть самый главный, и Федотов ответил на него своей жизнью и своим творчеством, став, на мой взгляд, одним из тех, кто явился некоей вехой на пути развития русской мысли и русской свободы. Мы не можем исправить сегодняшний мир, говорил Мандельштам, но мы можем и должны держать тот духовный уровень, до которого доработалось человечество. Мы, говорил он, выходцы из XIX столетия, заброшенные на страшный материк XX века, и мы можем только хранить верность тем духовным идеалам, которые были выработаны в веке предыдущем. И Федотов действительно хранил верность идеалам XIX столетия. Он абсолютный и законченный христианский гуманист.

Я не очень уверен в правомерности использования по отношению к нему слова «либерал». Сам он называл себя христианским демократом. Другое дело, что в нашем современном понимании то, что Федотов называл христианским демократизмом, очевидно, стало либерализмом, потому что под демократизмом сейчас понимается нечто другое. Во главу угла Георгий Петрович ставил свободу личности, а она сегодня связана с либерализмом. И эти сдвиги в понимании слов надо учитывать, говоря о либерализме Федотова.

Ну а победителями зла в мире сем истинных христиан назвать трудно. Как говорил Семен Франк, мы с Ним, с Христом, как с вечно гонимым.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Владимир Карлович. В контексте сегодняшних споров о нацизме и сталинизме, о том, разная у них природа или одна и та же,

позиция Федотова представляет безусловный интерес. Хотя, конечно, в сегодняшнем контексте связь между этими политическими феноменами и национализмом выглядит не столь однозначно, как в первой половине XX века.

Все основные докладчики выступили. Есть ли вопросы к ним?

Юрий АФАНАСЬЕВ (историк, публицист): У меня вопрос к Алексею Алексеевичу Кара-Мурзе. Правильно ли я Вас понял, что у Федотова обоснование возможности свободы в России является едва ли не основной его темой? Так ли это? И если так, не могли бы Вы назвать какие-то работы или места в каких-то работах, где не просто есть слова «свобода» и «Россия», а где дается аргументированное обоснование возможности свободы в России?

Игорь КЛЯМКИН: Еще вопросы? Давайте зададим сразу все, а потом докладчики ответят. Пожалуйста, Леонид Сергеевич.

Леонид ВАСИЛЬЕВ: Все выступавшие говорили о том, что у Федотова понимание свободы связано с христианством. А о том, что европейское ее понимание связано еще и с античностью, не говорил никто, даже слово «античность» в выступлениях не прозвучало ни разу. И хотелось бы знать, почему. Потому что этого нет у самого Федотова или потому, что этот сюжет показался не заслуживающим внимания нашим докладчикам?

Григорий ГЛАЗКОВ: У меня три вопроса. Первый — к Ольге Анатольевне Жуковой. Вы говорили, что нация, по Федотову, это результат соединения культуры и государства. Что имеется в виду? Ведь культура в широком смысле включает в себя и государство, которое тоже есть культурный феномен. Что Федотов понимал под культурой?

Второй мой вопрос — о понятии «свобода». Дело в том, что оно имеет очень разные аспекты, и когда происходит цитирование того же Федотова на эту тему, существует риск вырывания тех или иных слов и фраз из контекста и превращения их просто в политические или какие-то иные лозунги. О чем все-таки у Федотова идет речь, когда он говорит о свободе? Учитывается ли такой ее аспект, как связь ее с законопослушностью, с ответственностью человека? С тем, что формулируется таким непереуловленным до сих пор на русский язык выражением, как *rule of law*? У нас его переводят как верховенство закона, но мне кажется, что оно подразумевает еще и законопослушность. Так вот, для меня невозможность перевести это выражение на русский язык неразрывно связано с теми проблемами, которые мы испытываем со свободой в нашей стране. Поэтому хотелось бы лучше понять федотовское толкование свободы.

И еще один вопрос — про тоталитаризм. Федотов писал свои труды в XX веке, когда происходило становление «массового общества» — этим

понятием начали пользоваться именно в 1930-е годы. И в общем-то, наверное, не надо доказывать, что массовое общество и тоталитаризм являются практически синонимами. По крайней мере, я так считаю. И вопрос мой о том, смотрел ли Федотов на тоталитаризм и массовое общество исторически или рассматривал их исключительно с нравственной и религиозной точек зрения.

Игорь КЛЯМКИН: Господа, вопрос — это предложение с вопросительным знаком на конце и больше ничего. Как Юрий Николаевич и Леонид Сергеевич сделали.

Валентин ГЕФТЕР (директор Института прав человека): Я не очень хорошо знаю наследие Федотова и потому хотел бы уточнить: было ли у него разделение на внутреннюю и внешнюю свободу?

Игорь КЛЯМКИН: Судя по вопросам, даже в этой аудитории Федотов до сих пор серьезного интереса до сих пор не вызывал. Кто еще хочет спросить?

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета): Здесь говорилось, что Федотов связывал возрождение России с такими процессами, как возврат к русскому православию, нравственное покаяние, возрождение религиозно понятой свободы. Что, на ваш взгляд, этому препятствует? Почему это в России не произошло и не происходит?

Игорь КЛЯМКИН: Кому адресован вопрос? Ольге Анатольевне?

Сергей МАГАРИЛ: Да, прежде всего, Ольге Анатольевне, поскольку у нее это прозвучало наиболее отчетливо.

Игорь КЛЯМКИН: Больше вопросов нет. Докладчики могут отвечать. Кто первый? Алексей Алексеевич, пожалуйста.

Алексей КАРА-МУРЗА: Спасибо, коллеги, за вопросы. Да, я утверждаю — это мой ответ Юрию Афанасьеву, — что проблематика свободы в творчестве Федотова — одна из главных, начиная с первой его крупной публикации «Лицо России» 1918 года. В то же время я считаю, что по-настоящему либералом он стал только в последнее десятилетие своей жизни. Некоторые его статьи этого периода стали просто классическими в антологии русского либерализма. Прежде всего, это «Рождение свободы» и «Россия и свобода».

Я согласен с Владимиром Кантором, что в парижский период у Федотова были скорее общедемократические взгляды. Его друг Федор Степун вообще предпочитал, чтобы их обоих называли «христианскими социалистами»

и демократами. Но, с какого-то времени, как я полагаю, Федотов стал классическим либералом.

Коллеги спрашивали о том, как он понимал свободу. Сначала отвечу Леониду Сергеевичу Васильеву насчет отношения Федотова к античности.

Во французский период, особенно в 1920–1930 годы он писал о ней много. Напомню его известную фразу о России: «Не захотели читать Эсхила — читайте теперь Каутского». То есть его понимание свободы включало в себя не только христианство, но и греческую античность. При этом в понимании самого христианства он не сторонник его греческой, византийской версии; в данном отношении Федотов — не византист, а европеист. В истории же Руси он особое значение придает тому периоду ее развития, когда она, по его словам, «заговорила не греческим, а своим собственным русским голосом». И заговорила она этим голосом в киевский период и, прежде всего, в Новгороде.

Григорий Глазков спрашивал о правовой проблематике у Федотова. Он, разумеется, не правовед, но когда он пишет о свободе, он имеет в виду и ее правовую сторону тоже. Я его слова сегодня зачитывал: свобода — это «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности». То есть правовой аспект в федотовском определении свободы, безусловно, наличествует.

Большой заслугой Федотова-интеллектуала я считаю разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий «свобода» и «воля». В статье «Россия и свобода» он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть, прежде всего, возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами...». Поэтому русская «воля», часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу, не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной: «Воля не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо...». Поэтому в известной степени борьба за свободу — это борьба против «воли», в том числе и самодурной воли тирана.

Относительно отношения Федотова к государству, о чем тоже спрашивал Григорий Глазков. Бывает два разных типа государства. Одно подминает под себя страну, а другое репрезентирует общество как страну. Иначе говоря, государство может быть самодовлеющим «Левиафаном», а может быть создающимся «снизу». Для Федотова понимание государства как «Левиафана» чаще всего негативно. С другой стороны, государство как культурный феномен, который является плодом культурного творчества граждан, — это совершенно другое государство, и оно в глазах Федотова желанно и позитивно.

И последнее мое замечание — еще раз вернусь к выступлению Владимира Кантора — о соотношении у Федотова либерализма и демократизма. На мой взгляд, в американский период Федотов является не просто классическим

либералом, но в известной степени и «антидемократом». Не удивляйтесь! Он показывает, что вся демагогия по поводу всеобщего равенства приводит в конечном счете к деспотии. Поэтому псевдodemократическая риторика о равенстве его в конце жизни крайне уязвляла. И это дает мне основания настаивать на том, что в последнее десятилетие Федотов в гораздо большей степени был либералом, чем демократом.

Юрий АФАНАСЬЕВ: На мой вопрос Вы так и не ответили.

Алексей КАРА-МУРЗА: Является ли проблематика свободы у Федотова основной? Да, является основной.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Я не про это спрашивал. Я спрашивал, есть ли у Федотова обоснование возможности свободы в России. Если есть, то в какой работе?

Алексей КАРА-МУРЗА: В работе «Россия и свобода» 1945 года. Я ее назвал.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Минуточку! Вот эта работа «Россия и свобода», она у меня в руках. И в ней говорится исключительно об истории несвободы в России, об истории нарастания этой несвободы. А о возможности свободы в России здесь не говорится ничего.

Алексей КАРА-МУРЗА: Конечно, крайний политический пессимизм Федотова...

Юрий АФАНАСЬЕВ: При чем тут пессимизм?

Алексей КАРА-МУРЗА: Потому что трудно со свободой в России.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Но на мой вопрос-то Вы можете все же ответить? Есть ли у Федотова обоснование возможности свободы в России?

Алексей КАРА-МУРЗА: Он обосновывает ее через христианство. Обосновывает через культуру, не через политику.

Игорь КЛЯМКИН: Юрий Николаевич задал, по-моему, важный вопрос, и я думаю, он заслуживает нашего внимания в ходе предстоящей дискуссии. Ольга Анатольевна, Вам тоже было адресовано несколько вопросов.

Ольга ЖУКОВА: Мне задан был вопрос по поводу объема и содержания понятий государства и культуры у Федотова. Отчасти Алексей Алексеевич на него уже ответил. Но кое-что к сказанному им я хотела бы добавить.

В работах Федотова мы не найдем столь тщательной методологической и терминологической проработки понятий, как, например, у Петра Струве. Георгий Петрович использует понятия без объяснения, как бы а priori предполагая, что государство — это рациональное устройство, это тело нации, а культура — ее внутреннее содержание. При этом у Федотова понятие культуры пропущено сквозь призму возрожденческой традиции, христианского антропоцентризма, христианского гуманизма. Он получает идею культуры уже в формах, легитимизированных эпохой Просвещения. Культура — это творческая деятельность человека, автономный разум, который признает над собой высшую ценность, ценность духа. Получается, что культура для Федотова — это и метафизическая вертикаль связи человека с Богом, и горизонталь социальной деятельности, то есть непосредственное творческое самовыражение человека, его личный вклад в память культуры. Другими словами, это всегда перекрещивание вертикали и горизонтали.

Что касается связи свободы с законопослушанием, то, по сути, здесь классическая проблема права и морали. Для Федотова право — это формальная сторона нравственного сознания. Мораль для него доминантна, но, тем не менее, он признает автономность и права, и морали. Более того, Федотов следует в данном отношении за Степуном, который говорит, что в русской традиции *правда всегда понималась могилой права*. В «Русской религиозности» у Федотова есть момент, специально посвященный этой болевой точке русской традиции, когда право угнетено, выключено из социальной жизни, а доминирует только нравственная установка, вольно трактованная. Как и для Кистяковского, который по этому поводу написал в «Вехах», для Федотова слабость правового элемента — родовая травма русской культуры. Поэтому, признавая доминирование морали, он утверждает право как самостоятельную сферу социального бытия человека.

Еще один вопрос — его задал Сергей Магарил — касается препятствий на пути к утверждению религиозно понятой свободы в России. У Федотова это четко и ясно сказано. Все движение к свободе — в частности, в западноевропейском мире — наткнулось на реакцию догматической церкви, которая, как пишет Георгий Петрович, цеплялась за все формы рабства и принуждения. Но с эпохи Возрождения, как можно понять Федотова, церковь выпустила из своих рук культурное водительство человечества, что стало проблемой для исторических церквей. Желая защитить традицию, они, возможно, не очень понимают, как должно быть обращено благовестие к современному миру. На мой взгляд, это и есть проблема соотношения внутренней свободы и ее внешней репрезентации, включая и ее политическое выражение, о чем спрашивал Валентин Гефтер. Но речь идет не просто о трансляции внутренней идеи свободы вовне. Речь идет еще и о соотношении традиции и модернизации.

Казалось бы, церковь, которая рождена опытом Духа, благовестием Духа, должна стоять на страже реальности свободы. Однако в истории она, став

институтом, активно вобрала в себя социальную структуру рабства, а закон иерархического подчинения сделала своей идеологической основой. И об этом в «Русской религиозности» применительно к византийской церкви как раз и пишет Федотов.

Игорь КЛЯМКИН: Пока я слушал вопросы и ответы, у меня складывалось впечатление, что мы к Федотову и к другим мыслителям, вернувшимся в нашу культурную жизнь после долгого отсутствия, относимся примерно так же, как нас призывали относиться к классикам марксизма-ленинизма. А именно, что у них должны быть ответы на все вопросы. Но ведь ответов может и не быть, а проблемы, которые им решить не удалось, очень даже могут быть.

Мне, как и Юрию Афанасьеву, не кажется, что Федотову удалось доказать возможность свободы в России. Ну и что с того? Его роли в русской культуре и истории русского свободомыслия это не умаляет. А по поводу античности у него прямо сказано, что ее влияния на русскую культуру не было, что христианство пришло на Русь в очищенном от античного наследия виде. Да, Федотов высоко ценил киевский период, видел в нем определенные предпосылки движения к свободе, но с античностью его не связывал, высоко ценил Новгород, но античного влияния не находил и там.

Нам очень важно восстановить русскую либеральную интеллектуальную традицию. В данном отношении то, что делают Алексей Алексеевич Кара-Мурза и его друзья, трудно переоценить. Но либеральные мыслители прошлого интересны нам не только ответами на сегодняшние вопросы, которых у них может и не быть, но и проблемами, которые они поставили, включая те, которые им решить не удалось. При ином подходе мы рискуем превратить их в новые иконы, призванные занять место выброшенных старых.

Владимир КАНТОР: Можно я отвечу по поводу античности? На самом деле, идея об отсутствии в русской культуре античной прививки не совсем федотовская. Первым ее сформулировал Густав Густавович Шпет, который сказал, что, к сожалению, мы получили Евангелие и все религиозные тексты не на греческом, а на староболгарском языке, называвшемся у нас церковно-славянским. Если Запад получил это на латыни, что обеспечило его связь с культурой Рима и культурой Греции через Рим, то мы очень долго, строго говоря, до XIX века, выходов к античности не имели. Мы не могли читать по-гречески ни Эсхила, ни Гомера, ни Платона с Аристотелем, поскольку читали на древнеболгарском, который стал для нас языком священных книг.

Этот вывод Шпета был очень жестким, позволившим ему говорить даже о катастрофе в данном отношении русской культуры. И он призывал вернуть в Россию античность, как это ни смешно звучало, учитывая, что вернуть предлагалось то, чего не было, и в советское время он продолжал думать о том же.

Или, как выговорил ту же мысль Ходасевич, о том, как «привить классическую розу к российскому дичку». Но из этого ничего не получилось.

После Шпета об этой трагедии русской мысли заговорил Федотов, а после него Степун. Все они сокрушались по поводу того, что мы могли бы читать Аристотеля, мы могли бы читать Платона, но мы их не читали и не знали. Я студентам задаю вопрос: «Когда в России прочитали Гомера?». Разброс в ответах невероятный, причем про XIX век знают единицы, а что Жуковский вообще перевел «Одиссею» не с древнегреческого, а с немецкого, вызывает неподдельное изумление. Вот проблема России.

Так что когда мы говорим о запаздывающей модернизации, нельзя забывать, что мы как следует к европейской культуре, к великой культуре Западной Европы прикоснулись только в XIX столетии. А именно культура и определяет национальную психею.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Владимир Карлович. Переходим к дискуссии. Начнет ее Вадим Михайлович Межуев.

Вадим МЕЖУЕВ (главный научный сотрудник Института философии РАН): «Если допустить, что свободы не было и не может быть вне христианства, то тогда все, что не христианство, обрекается на вырождение и гибель»

Я коллега выступавших здесь докладчиков по Институту философии и, как и они, хорошо знаком с основным корпусом работ Федотова. Считаю, что они достаточно корректно изложили общее направление и основное содержание его творчества. Поэтому в своем выступлении кое-что из сказанного ими мне придется повторить, но кое-что я попробую к этому и добавить — на мой взгляд, весьма существенное.

Георгий Петрович Федотов — не просто один из представителей русской интеллектуальной мысли за рубежом, но стоящий среди них особняком, выходящий из ряда, ни с кем не сравнимый. Среди многих блестящих умов первой волны русской эмиграции он, возможно, самый современный, наиболее созвучный нашему времени. И уж точно абсолютный антипод тех, кого у нас сегодня принято боготворить, — например, Ивана Ильина.

Хотя Федотов и дружил с Бердяевым, в его работах почти нет ссылок на философов Серебряного века, он явно не из их числа. Я бы его даже философом не назвал. Он в первую очередь историк, но историк особого рода, каких у нас сегодня мало или вообще нет, сочетающий в себе талант историософа, политолога, социолога, культуролога, обладающий редкой способностью видеть Россию в единстве ее прошлого, настоящего и будущего. По части понимания основных трендов русской истории ему, как мне кажется, нет равных. Не раз он поистине пророчески предугадывал будущее России, например, в 1929 году, когда опубликовал статью «Будет ли существовать Россия?», в которой с удивительной прозорливостью предсказал и описал ее распад в результате

правления большевиков. Прочтите ее и получите наиболее точный отчет о том, что произошло на наших с вами глазах.

Современные российские историки, обладая порой блестящим фактическим знанием отдельных периодов русской истории, не всегда способны представить целостный взгляд на нее и, как правило, затрудняются в вопросе об общей логике ее движения. В вопросе о том, что Федотов назвал «судьбой России». В понимании этой логики я опять-таки не знаю никого, кто может сравниться с ним. Даже Ключевский до него не дотягивает. У Федотова есть статья «Россия Ключевского», весьма критическая в отношении последнего. Можно сопоставить его и с Милюковым, написавшим «Очерки русской культуры». Оба они либералы. Но их выводы прямо противоположны. Для Милюкова история России завершается европеизацией России, а для Федотова она начинается как часть европейской истории, но с определенного времени оборачивается полным выпадением из нее.

В чем же современность Федотова? Он, как справедливо отмечали мои коллеги, был одним из первых, кто обратил внимание на то, что стало главным открытием в историографии XX века, — на решающую роль в истории любого народа не экономики и даже не государства, а культуры. История для него есть преимущественно история культуры, которая резюмирует в себе главный итог исторического развития любого народа. «Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности», — писал Федотов в статье «Рождение свободы». Однако в своем осмыслении русской истории Федотов концентрирует наше внимание не просто на культуре, но, во-первых, на ее связи со свободой и, во-вторых, на судьбе свободы в России. Этому посвящены две его поздние статьи «Рождение свободы» (1944) и «Россия и свобода» (1945), сегодня уже упоминавшаяся. И это именно то, о чем есть смысл поговорить более подробно.

Свобода, согласно Федотову, есть высший плод культуры, но не любой культуры, а ее особого типа — европейской и христианской. «Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры», что никак не умаляет ее первостепенной ценности («драгоценности», по выражению Георгия Петровича) для человека. Обозревая множество известных историкам цивилизаций, пишет Федотов, мы находим свободу только в «нашей цивилизации» и «нашем времени», хотя вопрос о том, что считать «нашим», требует пояснения. Во всяком случае, свободу в ее современном понимании мы не обнаруживаем ни в одной из предшествующих нам цивилизаций, даже в Древней Греции и Риме.

Греки, как считает Федотов, понимали под свободой независимость своего города-государства от иноплеменных захватчиков или демократическое самоуправление: «Это была свобода для государства, на которую не могли притя-

зять ни личность, ни меньшинственная группа». Индивидуальная свобода, присущая каждому человеку, конечно, неведома грекам. Свободными («свободнорожденными») они считали только граждан полиса, то есть самих себя, отказывая в ней всем остальным — иноземцам, рабам, слугам... Но свобода в их представлении — все же образ жизни людей, пусть и не всех, коль скоро они занимаются не домашним хозяйством или торговлей, а философией, политикой, искусством, то есть тем, что позже обозначат как сферу духовной культуры. Тем самым они уже понимали связь свободы с культурой. Иное дело, что свобода для них — это привилегия немногих, обеспечиваемая несвободой других, несвободой большинства людей.

Как культура, рассуждает далее Федотов, не есть прямое следствие природной эволюции, а выглядит исключением из общего правила природной жизни, так и свобода предстает исключением в общем ряду культурных явлений. Вообще искать «естественнонаучное» объяснение человеческой жизни, культуры, свободы — значит придавать им значение случайной и ничтожно малой величины на фоне количественно бесконечной (в пространстве и времени) Вселенной. Но если исходить не из количественных, а качественных критериев, то тогда следует признать культуру, равно как и свободу, «венцом и целью» всего мироздания.

Что же понимает Федотов под свободой? Прежде всего, личную свободу индивида от власти общества (коллектива) и государства. «Наша свобода — социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов». Это в первую очередь свобода человека как гражданина, политическая свобода, накладывающая на власть государства определенные ограничения. Здесь отчетливо прослеживаются либеральные корни федотовского понимания свободы.

Не вдаваясь в вопрос о достоинстве и недостатках такого понимания, отмечу главное, на чем настаивает Федотов, — наличие для всех форм свободы некоторых общих предпосылок, забвение которых и стало «главной причиной современного помрачения свободы». Из длинного списка свобод, защищаемых современной демократией, Федотов особо выделяет, помимо свободы от произвола государства, свободу веры как основу свободы любого убеждения. Здесь уже говорилось о том, что вторая из них символически обозначается им как свобода духа, а первая — как свобода тела, причем понятие тела трактуется предельно широко — и как собственность, и как часть, неотделимая от личности индивида.

Многие, отмечает Федотов, ищут исток так понятой свободы в великих революциях Англии и Франции, то есть полагают, что она рождается в пламени революционной борьбы. В действительности же, как он считает, свобода, как и вся наша культура, была рождена христианским средневековьем, хотя достигла полного расцвета только в XIX веке. Изначальной силой в борьбе за

свободу стала западная (католическая) церковь, противопоставившая себя светской власти государства и породившая своеобразное двоевластие — власти церкви над душой и государства над телом. В конфликте между Папой и императором, по мысли Федотова, и «окрепло первое, хотя и смутное сознание свободы».

Цитируя Руссо, согласно которому «человек рождается свободным, а умирает в цепях», Федотов считает такой взгляд на происхождение свободы ошибочным. Человек, как он поясняет, свободен не от рождения, то есть не по своей природе (в природе вообще нет никакой свободы), а в силу своей культуры, причем не любой, а только той, что родилась на христианском Западе.

Игорь КЛЯМКИН: Вадим Михайлович, это мы уже слышали от Кара-Мурзы...

Вадим МЕЖУЕВ: А от меня услышите и кое-что еще. Здесь нет смысла воспроизводить всю аргументацию Федотова в пользу подобного понимания происхождения свободы, во многом объясняющего и его понимание свободы в истории России, где степень свободы увеличивалась по мере сближения страны с христианской Европой и уменьшалась по мере удаления от нее. Однако, на мой взгляд, в этом пункте с Федотовым можно и поспорить. Ведь получается, что свобода — чисто христианская ценность, что вне христианства ее никогда не было и быть не может. Но тогда все, что не христианство, обречено на вырождение и гибель.

Мне кажется, что и Руссо Георгий Петрович интерпретирует не совсем точно. Когда Руссо писал, что человек рождается свободным, то имел в виду, что человек свободен в силу своей не просто биологической, а человеческой природы, которая изначально моральна, то есть движима не просто личным эгоизмом, а доброжелательностью к себе подобным. По Руссо, человек становится рабом своих страстей и других людей по причине своей не природы, а как раз культуры, оказывающей на него развращающее действие. И христианство здесь не исключение.

Свобода для Руссо есть следствие нравственной (она же и естественная) природы человека, его прирожденной общительности и добропорядочности, тогда как рабство есть результат его нравственной порчи под воздействием культуры. Но в таком случае свобода есть удел не одного лишь христианина, а любого человека, коль скоро он ведет себя соответственно своей человеческой (нравственной) природе. Видимо, человеческую свободу более правильно считать условием существования любой культуры — восточной и западной, хотя в разных культурах она осмысливается по-разному. Скажем, не как свобода человека, а как свобода только высших сил — богов и мифологических героев.

И еще одно возражение. Человеческая свобода, на мой взгляд, все же не религиозное, а философское открытие. Свободу человека, как уже говорилось, впервые открыли греки, хотя и только как собственную привилегию. В христианстве, открывшем свободу воли, она, действительно, была распространена на всех людей, но с одной оговоркой: свобода воли дана человеку Богом с единственной целью, а именно, чтобы он беспрекословно и добровольно, а не по внешнему принуждению исполнял Его волю. Всякое своеволие — источник греха, путь к Сатане. Об этом и история человеческого грехопадения. Так что в христианском понимании свобода — отрицательная величина. Ее позитивный, творчески созидательный смысл был открыт гуманистами эпохи Возрождения и теоретически осознан философами Нового времени.

Когда Федотов ссылается на Реформацию как на великий опыт свободы, вспоминается Лютер с его трактатом «О рабстве воли», написанном в ответ на трактат немецкого гуманиста Эразма Роттердамского «О свободе воли». Федотов, как и многие русские религиозные философы, не принимал эпохи Возрождения и ренессансного гуманизма, считая, что именно к той эпохе восходят истоки тоталитарных режимов. Но без Возрождения не было бы Реформации и Просвещения и, следовательно, не было бы и свободы в ее современном понимании.

Что касается России, то, на мой взгляд, главным пропуском в ее культуре был все же пропуск не христианства, а гуманизма и идущего из античности и возрожденного в Просвещении рационализма. Свобода базируется не только на вере, но и на разуме. В призыве доверять собственному разуму Кант видел главный лозунг Просвещения и одновременно необходимое условие достижения индивидом состояния личной свободы. В этом, собственно, и заключается мое разногласие с Федотовым, которого во всем остальном я считаю величайшим в нашей истории поборником человеческой свободы.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Вадим Михайлович. Вы проявили интеллектуальную свободу в отношении Федотова, и Ваши «поправки» к нему представляются мне очень интересными и содержательными. Особенно та, что касается жесткой привязки свободы к христианству.

Следующий — Юрий Николаевич.

Юрий АФАНАСЬЕВ: «На мой взгляд, Федотов очень убедительно показывает: если в отношении России и ее истории и можно говорить о чем-то в связи со свободой, то исключительно об истории нарастания несвободы»

Уважаемые коллеги, я, в отличие от Вадима Михайловича Межуева, полагаю, что Алексей Алексеевич Кара-Мурза в своем докладе некорректно представил

личность и мысли Федотова. Некорректно до состояния «совсем наоборот». Он приписал ему нечто такое, чего у Федотова не было в принципе — ни в мыслях, ни в текстах. Мой вопрос Алексей Алексеевич, к сожалению, наполовину оставил вообще без ответа, а наполовину ответ состоял из указания на ложный источник.

Докладчик утверждает, что Георгий Федотов обосновывал якобы возможность свободы в России. Мне кажется, любого мыслителя, в том числе Федотова, представлять прямо противоположным образом тому, что он собой представляет на самом деле, о чем думал и писал, — не на пользу ни постижению нашей истории, ни пониманию места в ней либеральной мысли. В разное время и в разных странах издано много книг Федотова. Некоторые из них я знаю практически постранично. Вот две его работы — среди них и та, на которую докладчик ложно указал как на работу, где якобы обоснована возможность свободы в России. Одна из них называется «Россия и свобода», другая — «Империя и свобода». И в обеих Федотов пишет нечто прямо противоположное тому, что говорил Алексей Алексеевич. Он пишет о России как о социокультурном антипode свободы и Русской империи как о государстве и жизнеустройстве, тоже представляющих собой такой антипод.

На мой взгляд, Федотов очень убедительно показывает: если в отношении России и ее истории и можно говорить о чем-то в связи со свободой, то исключительно об истории нарастания несвободы. Собственно говоря, обе названные мной работы — именно про нашу несвободу. Чтобы не увидеть главное, чем пронизано все содержание этих, как и многих других федотовских текстов, надо обладать каким-то особым, может быть, суперлиберальным или даже каким-то сверхъестественным умением.

Федотов также указывает — и не просто, не мимоходом указывает, а во многих работах конкретно перечисляет, по отношению уже к Западной Европе — необходимые условия свободы. Причем начинает он такой перечень условий свободы в Европе именно со времен синтеза античности и христианства, который трактует как уникальный для генезиса свободы случай в мировой истории. Потом Федотов развивает эту одну из своих магистральных идей на фактах и явлениях из истории средневековья и раскрывает сущность западноевропейского средневековья с точки зрения многовековой истории становления свободы именно в ту эпоху, то есть еще до Нового времени. Он показывает, как в сложнейших противоречиях и противоборствах выстраивались взаимоотношения и достигались согласия между городами, баронами, церковью и королевской властью и как в сложной драматургии борений и соглашений стали возможны символы западноевропейской свободы — Magna Carta и Habeas Corpus. Повторю еще раз: Федотов так внимательно всматривается в западноевропейскую историю, чтобы лучше понять и осознать глубинные основания отсутствия в истории России условий для становления свободы.

Сказанное — просто констатация некорректности доклада Кара-Мурзы.

Но у Федотова есть и мысли, весьма интересные в связи с либерализмом в истории России. Раскрыть их и достойно представить именно здесь, в «Либеральной миссии», было бы особенно полезно и актуально. Он пишет про русскую интеллигенцию, что «это есть группа, движение, традиция, объединенная идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Такую характеристику интеллигенции он персонифицирует, показывая, в чем отличие последней от таких интеллектуалов, как, например, Толстой, Достоевский, Чехов, и распространяя данную характеристику на декабристов, народовольцев и Ленина. Здесь же Федотов объясняет, что значит «идейность задач»: нечто почти неземное, некий возвышенный идеал, спускаемый откуда-то издалека, с неба, от Зевса для воинственного внедрения его на грешной земле, не имеющей к этому идеалу, к этим задачам никакого отношения. Отсюда и беспочвенность этих идей и этих задач.

Вадим МЕЖУЕВ: Федотов задал простой вопрос: если в России невозможна свобода, то как была возможна русская культура?

Юрий АФАНАСЬЕВ: Отвечая на вопрос о соотношении свободы и русской культуры, повторю еще раз: работы Федотова как раз и именно о том, о чем я сказал. Если их нормально прочитать и адекватно воспроизвести смыслы, очевидно следующее. Либерализма как устойчивой традиции в русской культуре нет. Нет его и как сущностной социокультурной характеристики русской цивилизации. Это прочитывается по всей глубине русско-славянской и угрофинской культуры, какой она была задолго до начала собственно российской государственности, то есть еще до XV века.

О чем свидетельствует федотовский анализ особенностей и наиболее характерных черт русской культуры и православной религии? Вот, скажем, Федотов рассматривает значение Печерского патерика в становлении этой культуры. Он описывает ценности и привычки его обитателей: в частности, как там относились к латинству, а через него и к европеизму вообще. Из его описания вы можете составить представление о том, знали там или не знали и как знали греческих авторов, через кого и насколько глубоко постигали основные постулаты христианства. Враждебность к латинству, поверхностность, внешняя обрядовость вместо постижения сущего, крещенность, но непросвещенность — вот что вошло в русскую культуру со времен Печерского патерика и отчетливо просматривается в ней по сей день.

Таков федотовский подход и его постижение смыслов русской истории. До самой своей смерти он с горечью, состраданием и любовью пытался проникнуть в ее глубины, чтобы добиться просветления русского сознания за счет расширения в нем сферы ratio. Но, увы. На семинаре, хотя вроде бы и в его

честь в годовщину его рождения, даже этой истины за ним в «Либеральной миссии» признать не хотят. Или не могут.

Игорь КЛЯМКИН: «Либеральная миссия» — это дискуссионная площадка. И наши докладчики представляют не «партийную», а свою собственную позицию, предлагая присутствующим высказать свое к ней отношение. В этом смысле они олицетворяют «Либеральную миссию» не в большей степени, чем Юрий Афанасьев, раз уж он счел допустимым для себя сюда прийти и что-то сказать. Если же говорить по существу его сегодняшних высказываний, то я согласен с тем, что докладчики действительно упустили важный момент, связанный с идейностью и почвенностью, который у Федотова один из центральных. Может быть, в своих заключительных выступлениях они этого коснутся. Но я хочу спросить Юрия Николаевича вот о чем. Вы действительно считаете, что Федотов сознательно пытался доказать в своих трудах, что свобода в России принципиально невозможна? Или он пытался найти такие возможности, но у него не очень получалось?

Юрий АФАНАСЬЕВ: С моей точки зрения, он последовательно воссоздавал историю нарастания в России несвободы и показывал причины, почему нарастает именно несвобода. Вот в чем суть Федотова, с моей точки зрения.

Игорь КЛЯМКИН: Повторю свой вопрос: можно ли утверждать, что Федотов сознательно доказывал не только то, что в России несвобода, но и невозможность свободы в ней?

Юрий АФАНАСЬЕВ: Я говорю, что у Федотова нет обоснования возможности свободы...

Игорь КЛЯМКИН: Нет обоснования, потому что оно ему не удалось, или потому, что он ставил перед собой цель обосновать именно невозможность свободы?

Юрий АФАНАСЬЕВ: Именно так. Не просто невозможность, но и нарастание несвободы он показал. А почему так у него получилось, это у Федотова надо спрашивать, а не у меня.

Игорь КЛЯМКИН: Да, и еще о том стоило бы спросить, почему он, обосновав невозможность в России свободы, призывал за нее бороться. Ведь если она невозможна, то ничего не остается, кроме как прислоняться к диктатуре. Это вывод, естественно вытекающий из такой точки зрения, которой, как понимаю, Вы придерживаетесь.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Не обязательно прислоняться. Зачем? Можно оставаться самим собой. Это уже непросто, но все-таки можно.

Игорь КЛЯМКИН: Я думаю, что публичное отстаивание идеи, согласно которой свобода в России невозможна в принципе, это и есть интеллектуальное прислонение к диктатуре. В своем заключительном слове я к этому еще вернусь.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Игорь Моисеевич, мне кажется, что об этом бы и поговорить, поспорить...

Игорь КЛЯМКИН: Так мы же и говорим. Не в первый и, надеюсь, не в последний раз. Предоставляю слово Аркадию Липкину.

Аркадий ЛИПКИН (профессор Российского государственного гуманитарного университета): «Пока авторитарная система может рассчитывать на массовую поддержку, маловероятно, чтобы идейные последователи Федотова пришли в России к власти и там удержались»

У меня несколько соображений по теме нашего собрания. Первое — об источнике свободы — где искать его в истории человечества? Конечно, свобода появляется в античности. Причем там возникают две ее формы. Одна форма (в Древней Греции) — это свобода делать, что хочешь. И там тиран был для многих понятным идеалом, потому что он мог это реализовать. А другая свобода (в Риме) — свобода от тирана, свобода подчиняться закону, а не тирану. Можно сказать, что в России доминирующим был греческий тип свободы, а на Западе — римский.

Была ли вообще свобода в нашей истории? В каком-то смысле, безусловно, была. В России всегда существовали две социальные подсистемы. В одной подсистеме были свободные люди, которые ощущали себя свободными. С конца XVIII века российская высокая культура — это культура европейская, которая свободой была вся пропитана. С другой стороны, была все время «народная масса», служившая основой авторитарной системы, почему последняя все время и воспроизводилась. Отсюда и русское «бегство от свободы».

Возможны ли либеральные ценности в традиции русской национальной культуры? Тут опять же все связано с двумя этими подсистемами. В русской европейской высокой культуре либеральные ценности были и есть, а в культуре «народной массы» их не было, а потому не было, соответственно, и во всей институциональной системе. Последняя и сегодня держится на патерналистских настроениях, которые широко представлены в массах. А есть ли перспективы изменения этого состояния или их нет, зависит от того, что происходит в поколении, которое на несколько поколений младше, чем мы, и что там будет

происходить дальше. Главным считаю изменение отношения к праву и его внедрению в практику.

Теперь по поводу того, что здесь было сказано о Федотове. Может ли культура после 1937 года снова вернуться к границе XIX–XX веков и что-то изменить? На этот вопрос вроде бы может быть ответ положительный, потому что советская культура 1960–70-х годов — это в значительной степени возрождение той самой культуры рубежа XIX–XX столетий. И опять же в этой культуре, которая явно не принадлежала большинству, свобода культивировалась. Но пока авторитарная система, в силу патерналистских настроений, может рассчитывать на массовую поддержку, маловероятно, чтобы идейные последователи Федотова, то есть русские европейцы, пришли в России к власти и там удержались.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Аркадий Исаакович. Федотов Вам, вижу, малоинтересен.

Вадим МЕЖУЕВ: А можно мне реплику? Федотов, как я понимаю, считал свободу в России ценностью для узкого слоя высококультурных людей, для интеллигенции, вышедшей преимущественно из дворянского сословия, но отнюдь не для всей народной — крестьянской или торгово-промышленной — массы. Свобода погибла в России после того, как этот слой был практически уничтожен в ходе революции. И возродится она лишь с появлением нового культурного слоя, если это когда-нибудь произойдет. Никакая буржуазия, никакая экономика сами по себе не могут привести к состоянию свободы без серьезных подвижек в области культуры. В этом, на мой взгляд, и состоит новизна федотовской мысли — индивидуальная свобода возможна в обществе лишь при наличии в нем достаточно мощного культурного слоя, способного повести за собой основную массу народа. Для появления такого слоя, как считает Федотов, России не хватило примерно пятидесяти лет.

Я бы выразил его мысль следующим образом: главным противоречием в обществе является противоречие не между бедными и богатыми, а между духовно и культурно образованными и необразованными людьми. В России, в отличие от Европы, необразованные победили образованных. В итоге установилась диктатура малокультурных людей, пусть в последующем и с дипломами в карманах. Разве не это мы наблюдали на протяжении всего XX века? И пока они у власти, о свободе можно только мечтать. Никакие технические модернизации и инновации, никакие экономические реформы сами по себе, без культурного класса в качестве ведущей силы общества не сделают свободу повседневной реальностью.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Вадим Михайлович. Больше желающих выступать нет. Предоставляю докладчикам возможность коротко отреагировать на услышанное.

Алексей КАРА-МУРЗА: Прежде всего, хочу поблагодарить всех за внимание и за стимулирующую критику. Такие споры, как сегодняшний, будут продолжаться. Профессор Межуев облегчил сейчас мою задачу, сказав главное. Конечно, у Федотова есть рецепт борьбы за свободу. Это — культура и ее развитие, без чего свободы не будет. Были ли в русской культуре предпосылки для нее? По Федотову, были, но недостаточные. Сказалась в том числе и отгороженность от античного наследия, о чем в ходе дискуссии много говорилось. Эта отгороженность сказывалась даже в Киеве и Новгороде, в которых Федотов находил культурные истоки русской свободы, и он видел здесь серьезную проблему.

А теперь — главное. Чем реальный пафос всего творчества Федотова отличается от того, каким пафос этот видится Юрию Афанасьеву? Отличие в том, что у Федотова это пафос преодоления в культуре того, что препятствует утверждению русской свободы. Он видел препятствия на этом пути, объяснял их природу, но приписывать ему мысль о невозможности в России свободы — значит, извините, ничего в нем не понять. Кстати, и вся религиозная проблематика у Федотова тоже не стоит особняком от темы свободы. Например, конфликт митрополита Филиппа с Иваном Грозным предстает в его описании как конфликт свободы и несвободы. Да, свобода проигрывает, но бороться-то надо!

Пример Филиппа показывает, что такая борьба может вестись и на почве христианских ценностей, то есть в конечном счете опять-таки на почве культуры. Тема соотношения либерализма и христианских ценностей стала у нас острой, она в известной степени может поляризовать нашу внутрилиберальную аудиторию насчет понимания рецептов и путей движения к свободе. Через что идти: через политику или через культуру? Я думаю, что некий вклад в эту проблематику внес круглый стол в одном из последних номеров журнала «Политические исследования» («Полис») на тему «Русский либерализм и христианские ценности», где участвовали и присутствующие здесь Владимир Кантор и Ольга Жукова. Мы там показываем либеральный потенциал, который можно обрести в христианстве, — разумеется, трансформированном и реформированном.

Мы часто задаем друг другу вопрос: почему в Европе, в отличие от России, либеральная модернизация получилась? А вы задумайтесь о том, что, как и почему там получилось. Что такое классическая либеральная концепция Джона Локка? Это же религиозная концепция! А что такое либеральная концепция Фридриха Наумана в Германии? Это тоже христианская концепция. Но отсюда следует, что и в России надо попробовать укоренять идею свободы через реформированное христианство и, конечно, через его философский и правовой синтез с античностью.

Думаю, что эту тему надо прорабатывать, основываясь на том, что в русской мысли уже наработано. А наработано немало, русская традиция христианского либерализма — это наша культурная реальность. Да, в России пока «не

получилось». И Федотов как раз и показывает, почему не получилось, и на каком пути может получиться. И, тем самым, дает нам новый шанс. Шанс попробовать идти к свободе со стороны культуры.

Ольга ЖУКОВА: Согласна с тем, что воспринимать творчество Федотова как приговор России и ее культуре в духе прозвучавшей гиперкритики, мягко говоря, некорректно. Сам Георгий Петрович к такой гиперкритике относился сугубо отрицательно, и неслучайно назвал свой опыт прочтения русской истории философской рефлексией, творческим покаянием. Его философская критика не убивает надежду на возрождение России. Не говоря уже о покаянии как о христианском таинстве исповеди, которое дает основание человеку для того, чтобы он возродился из греха и тлена для новой жизни в истине и духе. Так что если истолковывать Федотова по-федотовски, то надежды он нас не лишает.

Путь России к свободе программно обозначен у него как возвращение к русской культуре, а через нее и к русскому христианству. Зачем ему было писать так много о святых Древней Руси? Это что — исследование ради исследования? Нет. Это поиск в синтезе русской культуры и христианской духовности оснований для возможности дальнейшего развития духовной традиции.

И еще один момент. На каком-то этапе, и Федотов об этом прямо говорит, византийская традиция была принята на Руси в догматическом виде. Русь не имела школы философского мышления. И этот период древнерусской культуры Федотов именует не иначе, как периодом интеллектуального убожества. Он понимает, что церковь в отсутствие рефлексивной интеллектуальной традиции соединяется с существующим социальным порядком и изгоняет культуру из своего предания. Но он верит и в другую церковь, которая вернет культуру в предание. И именно этим завершает свой труд «Русская религиозность». Он говорит о том, что церковь должна быть готова к новой миссии воцерковления, но при условии возвращения культуры.

Владимир КАНТОР: Дорогие коллеги, я хочу высказаться против абсолютизации роли культуры, которая, как мне показалось, присутствует в некоторых выступлениях. Я согласен с Ольгой Анатольевной, что у Федотова святая русская литература несет в себе идеи христианства. Это — высшая точка русской культуры. Но культуры бывают разными. Фашизм — это ведь тоже определенная культура. Совершенно непонятно, что мы имеем в виду, когда это слово употребляем.

Наверное, можно говорить о христианской культуре. Но само христианство выше христианской культуры, оно выходит за ее пределы. Культура горизонтальна, а христианство вертикально, онтологично. Что это значит? Это значит, что исповедь, скажем, не может быть обращенной к человеку. Я могу человеку рассказать о своих проблемах, но исповедоваться могу только Богу. Только Он

может оценить степень моей греховности. Это совершенно иное измерение, и Федотов, конечно, живет именно в этом измерении. Свобода для него есть нечто, что существует поверх культуры, которая, повторяю, может быть самой разной.

Игорь КЛЯМКИН: «Возможность свободы определяется тем, есть ли в стране люди, готовые ее отстаивать»

Спасибо, Владимир Карлович. Вадим Михайлович Межуев в таких случаях говорит, что для верующего христианство выше культуры, а для неверующего оно — часть культуры. А что культуры бывают разные, то это, конечно, так. И что относительно понимания культуры конкретным мыслителем Георгием Петровичем Федотовым наши докладчики думают не одинаково, — это тоже так, и я желаю им содержательного продолжения их дискуссии в своем академическом кругу. Мы же говорим сегодня о том, как культура в представлении Федотова соотносится в России (и не только в России) со свободой. А также о том, заложена ли в русской культуре сама возможность русской свободы.

Об этом тут был спор между Алексеем Кара-Мурзой и Ольгой Жуковой, с одной стороны, и Юрием Афанасьевым — с другой. Спор, который показался мне далеко выходящим за смысловые границы академического «федотоведения», так как он выявляет некоторые существенные особенности нашего сознания и мышления. Точнее, линии различий в отношении не только к прошлому, но и к настоящему.

Я неспроста допытывался у Юрия Николаевича, что, по его мнению, хотел доказать Федотов, — возможность или невозможность свободы в России. Ведь если он доказывал ее невозможность, то место ему в одном ряду с Константином Леонтьевым, полагавшим, как известно, что русский народ специально не создан для свободы. Но в таком случае придется уличить Федотова в вопиющей непоследовательности. Если свобода России противопоказана, то показано ей только самодержавие, что и доказывал Леонтьев. Но Федотов-то видел в самодержавии главное зло России! Как же одно с другим у него соединяется?

Это «соединяется» у него только потому, что Юрий Николаевич прочитал Федотова в соответствии с собственным умонастроением. Афанасьев, как я понимаю, пытается совместить в своем мышлении федотовское неприятие самодержавия во всех его формах с леонтьевским представлением относительно невозможности в России свободы. Однако это то, что совместить нельзя. Вернее, можно, но такое совмещение окажется в пользу самодержавия. Потому что любой самодержец в ответ на критику Юрия Николаевича мог бы ответить: вот видите, даже враги мои говорят о том, что в России свобода невозможна! Что, следовательно, ничего иного, кроме самодержавия, ей не дано, и потому именно я воплощаю в себе ее почвенность, а мои враги

столь же беспочвенны, как описанная Федотовым старая русская интеллигенция.

Но нет, не доказывал Федотов принципиальную невозможность свободы в России. Можно спорить о том, насколько убедителен он в доказательствах ее возможности, подтверждение которой он находил в истории домонгольской и даже монгольской Руси. На мой взгляд, не очень убедителен, учитывая в том числе и им же отмечавшуюся оторванность Руси-России от античного культурного наследия и непройденность ею школы европейского феодализма, заложившего традицию правового обеспечения свободы. Но Федотов исходил из того, что возможность свободы определяется еще и тем, есть ли в стране люди, готовые дело свободы отстаивать. А они на Руси были всегда, они олицетворяют традицию русского свободолюбия и свободомыслия, и именно с ними ставит себя Федотов в один исторический и культурный ряд. Именно их он имеет в виду, когда призывает *возрождать* в стране потребность в свободе. Возрождать же, как известно, можно только то, что уже было.

В глазах Федотова эти люди, в отличие от радикальной интеллигенции, отнюдь не беспочвенны. Не беспочвен митрополит Филипп, не беспочвен Пушкин и великие писатели XIX века, не беспочвенны все те, кого Федотов называл русскими европейцами. Не беспочвенны, по его мнению, даже декабристы, поскольку они, будучи глубоко укорененными в дворянском жизненном укладе, выступали за свободу аристократии, для домосковской Руси отнюдь не чужеродную, с чего она, свобода, начиналась и в Европе. Исторические поражения дела свободы свидетельствуют, по Федотову, не об обреченности самого этого дела, а о том, что тому были причины, которые необходимо понять, и о том, что дело это надо продолжать, увеличивая тем самым возможности свободы. И Георгий Петрович оставил нам как блестящие образцы такого понимания, так и образец интеллектуальной борьбы за русскую свободу в условиях, когда она, казалось, была уничтожена окончательно и бесповоротно. Федотов же так не считал, и его прогноз относительно недолгой жизни советского режима, о чем здесь уже упоминалось, сбился на наших глазах.

И докладчики, и выступавшие в дискуссии справедливо указывали на главную роль культуры, которую Федотов отводил в своих исследованиях России и ее истории. Говорилось и о том, что именно в этом заключается его современность. Да, конечно. Но я хочу сказать и о том, что такое внимание к культуре вполне естественно во времена, когда происходит откат от свободы к реакции. Откат нуждается в объяснении — тем более, если он принимается широкими слоями населения. В таких ситуациях ссылки на экономику, политику, право кажутся поверхностными, а апелляции к культуре в ее духовно-психологическом и духовно-нравственном измерении выглядят не только более глубокими, но и некоей истиной в последней инстанции. Однако у такой абсолютизации, как и у любой другой, есть свои издержки.

Эти издержки мы можем наблюдать сегодня в бесчисленных рассуждениях о русской ментальности, обрекающей Россию на вечное пребывание в уготованной ей этой ментальностью исторической колее. Да, по отношению к мыслителям типа Федотова подобные рассуждения выглядят не творческой преемственностью, а эпигонством, потому что у самого Федотова его культурология историческую перспективу не перекрывала и русскую «колею» не увековечивала. Однако даже и у Федотова мы можем сегодня обнаружить уязвимые места, причем проявляются они именно тогда, когда он обосновывает почвенность идеи свободы в России.

Вспомним хотя бы отношение Георгия Петровича к Петру I. Казалось бы, более беспочвенную фигуру трудно вообразить — слишком уж очевиден петровский культурный радикализм. Но под пером Федотова первый российский император таковым не выглядит, его Петр вполне почвенный, так как он руководствовался не абстрактными идеалами, как впоследствии русская интеллигенция, а необходимостью решения конкретных задач. Да, но факт ведь и то, что Петр насаждал новую культуру насильственно — что же здесь почвенного?

У Федотова мы ответа на этот вопрос не найдем, как не найдем и самого вопроса. Почему? Потому что для него очевидно: без Петра в России не было бы и Пушкина, не было бы почвенного свободолюбия и свободомыслия русской литературы, не было бы культурного типа русского европейца. Такой вот у Федотова получился парадокс: петровская диктатура оказалась в исторической связке с русской свободой. И при федотовском культуроцентричном подходе это, думаю, не случайно.

Это не случайно, потому что сам подход предполагает абстрагирование от того, что сегодня мы бы назвали институционально-правовым обеспечением свободы. Во времена Федотова такая «односторонность» была объяснима — нечто подобное всегда сопутствует утверждению принципиально новых исследовательских парадигм. Но сегодня подход Георгия Петровича нуждается, по-моему, в некоторой коррекции.

Наши докладчики, отвечая на вопрос о месте права в концепции Федотова, ссылались на отдельные его высказывания, в которых им отмечается слабость правовой составляющей в русской культуре. Но этот ее пробел — на периферии его внимания. Поэтому ему не очень интересны и те реальные правовые тенденции, которые имели место в России, начиная с времен Петра III и Екатерины II, и которые получили затем продолжение в реформах Александра II и Октябрьском манифесте 1905 года. А ведь то были тенденции, свидетельствовавшие о том, что в российской государственной жизни постепенно пробивала себе дорогу не просто идея свободы, но идея свободы в сочетании с идеей права. Тенденции, благодаря которым, кстати, только и могло состояться явление России Пушкина. Его преемственная связь с Петром I была опосредована Екатериной II; при петровском же способе

правления певец империи состояться мог бы, но «певец империи и свободы» уж точно не мог.

Можно понять отношение Федотова к послепетровской государственной истории и к тем правовым тенденциям, которыми она была отмечена. Они не предотвратили большевизацию России, а потому привлекали к себе внимание, прежде всего, своими минусами, а не плюсами. В результате же на передний план и вышла в анализе культуры идея свободы в ее духовно-религиозном, а не институционально-правовом понимании. Возможно, сказалось тут и то, что в сталинскую эпоху акцент на институциональной стороне дела выглядел бы достаточно абстрактным и утопическим.

Федотова интересовали тогда главным образом сдвиги в сознании советских людей, которые могли служить свидетельством изживания советского режима, его культурного преодоления. Надо сказать, что такая направленность мысли распространена и сегодня — даже среди тех, кто Федотова никогда не читал. Главное, мол, в том, чтобы произошло изживание путинизма и его отторжение обществом. Но последние 20–25 лет должны были научить нас тому, что главное все же не это.

Эти годы должны были научить нас тому, что отторжение старого само по себе альтернативы ему не создает, а потому позволяет воспроизводиться ему в обновленной форме. Эти годы должны были научить нас тому, что главный вопрос, стоящий перед Россией сегодня, — не очередная смена людей у власти в результате отторжения ее населением, а изменение ее, власти, институционального устройства в направлении правового государства. Но отсюда следует, что и вопрос о возрождении потребности в свободе нужно ставить более конкретно, чем он стоял во времена Федотова. На первое место здесь нужно, по-моему, выдвигать именно его правовую составляющую, что означает, помимо прочего, и актуализацию тех правовых тенденций в нашей истории, о которых я упоминал.

Кто инициирует обычно такие процессы? Их инициирует интеллектуальная элита, формирующая соответствующее общественное мнение и прокладывающая тем самым дорогу для обновления элиты политической. Не надо, думаю, доказывать, что интеллектуалы, обосновывающие невозможность в России свободы по причине того, что народ у нас «не тот» и ментальность его «не та», ничего такого инициировать не могут. В ответ им могу лишь напомнить, что население наше при правовом государстве еще не жило, а потому не может и сознательно отторгать его. Пока мы наблюдаем такое отторжение разве что среди сменяющих друг друга политических элит, степень порочности которых со времен Федотова возросла еще больше, а в населении видим, наоборот, растущий запрос на верховенство закона. По сравнению с временами столетней давности, когда большинство людей знало лишь традиции обычного права, в массовых представлениях произошли огромные изменения. И нет сегодня ни у кого никаких доказательств того, что для выстраивания правовых

институтов происшедшие культурные сдвиги все еще недостаточны, и что идеи законности и права, как и столетие назад, остаются культурно беспочвенными.

Конечно, изменение представлений — это еще не изменение ценностей. Но правовые институты, как и любые другие, становятся ценностями только тогда, когда они утверждаются в жизни и сами, в свою очередь, начинают влиять на ценности. Именно это наблюдаем мы сегодня в посткоммунистических странах Восточной Европы, но они вовсе не первые, кто проходит путь от правовых представлений к правовым институтам, а от правовых институтов к правовым ценностям. У истоков же этого движения, напомним, стояли восточноевропейские интеллектуалы.

Отрицает ли такая постановка вопроса актуальность Георгия Федотова? Думаю, что не отрицает. Он актуален, потому что противостоит тем, кто дело свободы в России от имени русской культуры поспешил объявить фатально безнадежным. Сохраняет актуальность и его критика самодержавной политической традиции, равно как и критика абстрактной идейной беспочвенности, открывающей дорогу новому деспотизму. И отмечавшийся коллегами федотовский интеллектуальный синтез либерализма и христианства тоже, не исключено, может оказаться востребованным, притом что здесь возникает немало вопросов, поставленных, в частности, Вадимом Межуевым. Ну и, наконец, в значительной степени сохраняет свою объяснительную силу федотовский культуроцентричный подход к изучению отечественной истории и, прежде всего, роли в ней русской интеллигенции.

Однако Федотов жил все же в другое время, когда его культуроцентризм не мог соединиться с институциональной правовой проектностью, — в то время такого рода соединение могло казаться лишь очень отдаленной задачей. Но сегодня мы знаем, что чаемая Георгием Петровичем потребность в свободе без правового обеспечения не может быть реализована, а ее нереализуемость ведет к тому, что и сама такая потребность угасает. Вот почему сегодня задача институциональной трансформации политической монополии в правовое государство предстает перед нами как самая насущная и безальтернативная. У Федотова мы ответа на нее не найдем. Но, решая ее, мы будем решать общую у нас с ним проблему, выраженную им в названии статьи, которая не раз сегодня упоминалась. Я имею в виду статью «Россия и свобода».

Благодарю докладчиков и всех выступавших за участие в дискуссии. По-моему, она была интересной.

МИССИЯ ЛИБЕРАЛА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Игорь КЛЯМКИН: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема нашего сегодняшнего собрания была предложена Алексеем Кара-Мурзой. Он, как многие из вас знают, целенаправленно и, я бы сказал, энтузиастически занимается изучением интеллектуального наследия русских либералов и восстановлением утраченной ими традиции. Фондом «Русское либеральное наследие», им возглавляемым, проводятся конференции, издаются книги о либеральных мыслителях и политиках прошлого. Аналогичные издания инициированы и в регионах (о местных деятелях либерального движения). По инициативе фонда появились мемориальные доски в разных городах страны. Это огромная работа по восстановлению нашей исторической памяти. Работа, значение которой трудно переоценить.

Сегодняшняя наша встреча, по предложению Алексея Алексеевича, приурочена к двум датам: 100-летию со дня смерти Сергея Андреевича Муромцева, первого председателя Государственной думы России, и 155-летию со дня смерти известного ученого Тимофея Николаевича Грановского — двух русских либералов-европеистов, живших в разное время. И он же предложил использовать собрание, посвященное их памяти, и как повод порассуждать о том, что значит быть либералом в современной России, учитывая в том числе и опыт либеральных деятелей прошлого.

На обсуждение выносятся следующие вопросы:

1. Какова миссия российского либерала сегодня, в каких формах она может и должна выражаться?
2. В чем ее сходство и в чем отличие от миссии либералов в другие эпохи отечественной истории?
3. Чем поучителен для нас опыт прешественников?

Сначала Алексей Кара-Мурза расскажет нам о Грановском и Муромцеве, то есть обозначит исторический контекст нашей встречи. А потом мы будем говорить в основном о современности. Прошу Вас, Алексей Алексеевич.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН, президент Фонда «Русское либеральное наследие»): «Пример Грановского и Муромцева показывает, что в России возможно плодотворное сочетание либерального мировоззрения и патриотического чувства»

Спасибо, Игорь Моисеевич. Действительно, нас сегодня в известной степени здесь собрали Тимофей Грановский и Сергей Муромцев. Дело в том, что 4 октября (по старому стилю) — это, конечно, траурный день в истории российского либерализма. В этот день с разницей в 55 лет скончались от внезапных инфарктов два крупнейших русских либерала, олицетворявших каждый целые эпохи русской жизни. Это Тимофей Николаевич Грановский

и Сергей Андреевич Муромцев. На третий день после кончины, 7 октября, два выдающихся профессора Московского университета были отпеты в университетской церкви Святой Великомученицы Татьяны и похоронены: Грановский — на Пятницком (Крестовском) кладбище Москвы, Муромцев — на Донском.

Сегодня я и несколько моих коллег посетили сначала Пятницкое кладбище, где положили цветы на могилу Грановскому. Потом поехали на Донское кладбище, где положили цветы к могиле Муромцева, над которой стоит знаменитый бюст работы Паоло Трубецкого. Исторически очень известное место, но, к сожалению, подзабытое.

Это редкие два случая (Грановского и Муромцева), когда в России были с почетом похоронены великие русские либералы. Скажу вам, что Муромцев — единственный, кто по-человечески похоронен в России из председателей дореволюционных Государственных дум. Пять человек, как известно, председательствовали до революции в четырех парламентах. Федор Головин расстрелян в 1937 году, его могила вообще неизвестна. Николай Хомяков эмигрировал и скончался в Дубровнике; несколько лет назад я нашел его заброшенную могилу на местном кладбище. Могила Александра Гучкова на парижском кладбище Пер-Лашез утеряна и вряд ли восстановима. Михаил Родзянко похоронен в Белграде, и это сербы, братья-славяне, ухаживают за его могилой на деньги местных налогоплательщиков. Официальная Россия по-прежнему очень отстраненно относится к первым своим парламентариям.

Ну и масса есть других фигур русских либералов с трагической судьбой. Например, знаменитые братья — князья Долгоруковы, Павел и Петр. Павел расстрелян в 1928 году, могила неизвестна. Петр скончался в 1951 году, в тюремной больнице Владимирского централа. На местном кладбище нам показали примерное место, куда в те годы сбрасывали покойников и засыпали известью. Даже японцы поставили мемориал своим соотечественникам, умершим во Владимире в той больнице. Мы же долгое-долгое время не можем пробить подобных вещей. А ведь Павел Долгоруков был председателем кадетской партии, а Петр — заместителем Муромцева по председательству в Первой думе. Не найдена могила расстрелянного в 1939 году секретаря Первой думы (управляющего делами), выдающегося либерала князя Дмитрия Шаховского.

Извините, но это большая для меня тема, поскольку я пятнадцать лет занимаюсь восстановлением памяти «старых русских либералов», и осуществлено более 40 проектов в 20 регионах России. Скажу, что Москва — самое проблемное для нас место. Вот знаменитый дом Грановского в Петроверигском переулке: там при советской власти стояла мемориальная доска Грановскому. А новые собственники под видом ремонта куда-то ее выкинули. Что касается Муромцева, то я в зале сегодня вижу человек восемь моих коллег, которые подписались под коллективным письмом руководству Москвы с предложени-

ем открыть мемориальную доску Сергею Андреевичу. Уже полгода это где-то гуляет во властных коридорах. А сейчас, после отставки прежнего мэра, и вообще неизвестно, где это искать. Но надеюсь, что все-таки сделаем. Ну, а из вещей более радостных, скажу, что в ближайшее время будет открыт памятник Муромцеву в Орле (на Орловщине прошли его детские годы).

Личные судьбы Грановского и Муромцева принадлежат, конечно, к различным фазам общественного развития. Эпоха Грановского — это время, как он сам говорил, «тихого просветительства», время ночных дружеских споров, университетских лекций, редких публичных чтений и еще более редких книг и статей в подцензурной печати. Это середина XIX века, и несомненно, что для своего времени именно Тимофей Николаевич Грановский был «либеральный миссионер № 1» в России, и все его таковым и признавали.

А вот на рубеже веков «либеральным миссионером №1» был, конечно, Сергей Муромцев. Он стал таковым, еще председательствуя многие годы в Императорском юридическом обществе, которое за оппозиционность потом закрыли. Эпоха Муромцева — это время зарождения открытой политики, время дискуссий уже в солидных научных обществах, в городских и земских собраниях. Напомню, что Муромцев очень долгое время, несколько созывов, был гласным Московской Городской думы и представлял Москву в губернском собрании. То было время зарождения политических партий и, наконец, созыва всероссийского представительства — Государственной думы. Но при всем том, что эпохи Грановского и Муромцева были, повторяю, абсолютно разные, тип человека, представляющего либерализм эпохи в своем собственном лице, достаточно сходен. И об этом было бы интересно поговорить.

В отличие от многих русских интеллектуалов разных идейных направлений, талантливых самоучек, а потом публицистов по преимуществу, Грановский и Муромцев были учеными-профессионалами, на что я хотел бы обратить особое внимание. Это не случайно всплывшие люди, которые учились одному, а потом оказались принужденными делать другое. Это профессионалы, долгое время проработавшие в профессии и на основе этого оказавшиеся в политике. Их общим кредо были слова, сказанные когда-то Муромцевым: «Дилетантизм не совмещается с истинным трудолюбием, без которого не осуществима в надлежащей полноте никакая деятельность».

Грановский и Муромцев прошли хорошую университетскую школу. Это не люди провинциальных третьестепенных заведений, которых судьба вынесла потом на передний план. Так не бывает или, по крайней мере, не должно быть. Оба окончили главные юридические факультеты страны: Грановский — Санкт-Петербургского университета, Муромцев — Московского университета. И примечательно, что оба, обучаясь на юристов, долгое время предпочитали правоведению историю как наиболее универсальное, по их мнению, гуманитарное знание. Грановский со временем сделал именно историческую науку своей

основной профессией, но и Муромцев, надо сказать, был энциклопедически образованным историком, и выбрал в конце концов право в русле его именно «социо-исторической школы».

Огромную роль в научном становлении обоих сыграли европейские, в первую очередь немецкие, университеты. И Грановский, и Муромцев могли бы сказать про себя словами любимого ими обоими И.С. Тургенева, который, как известно, тоже учился на гуманитария и тоже в Германии: «Стремление молодых людей за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что земля его велика и обильна, а порядка в ней нет».

Действительно, тогда за умом ездили в Европу, хотя не переставали быть русскими патриотами. Обучаясь в Берлинском университете истории, философии и языкам, Тимофей Грановский испытал определяющее влияние со стороны светил европейской науки — таких, как историки и политологи Леопольд Ранке и Фридрих Раумер, географ Карл Риттер, юрист Фридрих Савиньи, философы Эдуард Гартман и Карл Вердер; это — первостатейные фигуры в гуманитарной науке Европы того времени. Сергей Муромцев также совершенствовал свои профессиональные знания в Германии, занимаясь сначала в Лейпцигском университете, а затем в Геттингене у такого корифея европейской науки, как Рудольф Иеринг.

Возвратившись после учебы за границей в Россию, Грановский и Муромцев очень быстро стали лидерами нового поколения университетских профессоров.

Игорь КЛЯМКИН: Вы рассказываете о них, как о современниках...

Алексей КАРА-МУРЗА: Они не были современниками, но мне важно представить их, как людей одного культурного типа. И тот, и другой оказались «западниками» и по подготовке, и по умонастроению. Приехав молодыми профессорами из Германии, они возглавили, условно говоря, фракции «молодых западников» у себя на факультетах и постепенно тренировали не только свои профессиональные навыки, но и, скажем так, «партийные». Это ведь были две большие партии: «стариков» и «новых западников». «Старики», как правило, были консерваторами и откровенными ретроgrадами, опиравшимися на официозную идеологию и «административный ресурс». Научное противостояние им неизбежно превращало молодых оппонентов в политических оппозиционеров.

Смены общественного климата в России сильно влияли, конечно, на личные траектории Грановского и Муромцева. Смерть Николая I и воцарение Александра II, казалось, открыли новую страницу в жизни Тимофея Николаевича Грановского. Московская профессура избрала его деканом историко-филологического факультета. Фактически западники пришли в Московском универси-

тете на историческом факультете к власти. Грановскому было пожаловано звание коллежского советника — гражданский чин 6-го класса в Табели о рангах, соответствующий воинскому званию полковника. Он был тут же награжден орденом Святой Анны 2-й степени. Однако, к несчастью, большое сердце давало о себе знать, и в сорок два года его постиг смертельный инфаркт дома. Дом стоял когда-то в Малом Харитоньевском переулке около Чистых Прудов. Дом этот не сохранился — на его месте находится теперь самый известный в Москве Дом бракосочетаний.

Развитие земского движения, становление открытой политической конкуренции выдвинули ученого-интеллектуала Сергея Муромцева в число ведущих политиков страны уже в начале XX века. Казалось, именно такие, как он и его коллеги по либеральному лагерю, способны взять на себя ответственность за Россию, провести ее между Сциллой реакции и Харибдой революции. Судьба, как известно, сулила, увы, иное.

Сергей Муромцев в последние годы проживал в известном в Москве доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, в каких-нибудь трехстах метрах от того места, где жил и умер Грановский. В ту роковую ночь — с 3 на 4 октября 1910 года — в квартиру к нему приехала дочь с семьей, и он уехал в гостиницу «Националь», чтобы поработать в тишине. Вот там, ночью, в гостиничном номере, он и скончался. Смерть 60-летнего Муромцева стала неожиданностью для всех — и друзей, и знакомых, и врагов тоже. Хотя недавнее трехмесячное заключение в Таганской тюрьме по делу о «Выборгском воззвании», конечно, сильно подорвало его здоровье, и друзья отмечали, как сильно он постарел.

После смерти Грановского его друзья собрались на его квартире. Потом они перевезли гроб с телом покойного в университетскую церковь на Большую Никитскую, где и провели остаток ночи перед похоронами. А 7 октября 1855 года, утром после отпевания, большая толпа людей двинулась вслед за гробом на Крестовское кладбище Москвы. Здесь университет приобрел участок в самом скромном месте, в 3-м разряде, где хоронили московскую бедноту. Друзья, ученики, студенты несли гроб на руках до самой могилы. Мы видели сегодня этот участок; там позднее, на студенческие копейки, был построен большой памятник, к которому сегодня мы и положили цветы. Кстати, в течение примерно пятидесяти лет после смерти Грановского в одну и ту же ночь (с 6 на 7 октября) у могилы Грановского собирались все, кто считал себя его другом и учеником. «Ученик Грановского» — до революции это почетное имя очень много значило.

Похороны Муромцева 7 октября 1910 года превратились в грандиозную общественную акцию, в которой участвовали (по скромным подсчетам) до 200 тысяч человек. Такого вообще в Москве никогда не было, и вряд ли что-то подобное когда-либо будет. Я знаю это по дневникам собственного деда, потому что он жил с Муромцевым в одном доме, в соседнем подъезде, был его

учеником по Московскому университету, а в 1910 году был уже присяжным поверенным. Так вот, он участвовал в организации похорон, на которые пришли многие известные в то время люди. Пришел и Иван Бунин, тоже приятель деда и знакомый Муромцева, хотя бы по той причине, что был женат на племяннице Сергея Андреевича — Вере Николаевне. На тех похоронах, грандиозной общественной акции, объединилась вся Москва. Прекратил работу даже Охотный Ряд, где были люди подчас черносотенного склада, но и они поняли, что происходит нечто исключительно важное, и разделили общую печаль.

Кстати, порядок в этот день в Москве охраняли московские студенты, поскольку полиция отказалась что-либо гарантировать. Тогда ректор Московского университета Мануйлов, человек влиятельный, гарантировал властям порядок в Москве. У него было только одно условие: если полиция ни за что не отвечает, то чтобы ни одного полицейского не было на улице в форме, иначе ректор за своих студентов не ручается. А это был 1910 год, разгар, как говорится, «столыпинской реакции», и нам даже трудно представить, что значил для того времени сам факт шествия 200 тысяч человек за гробом опального политика-либерала.

Для меня очень важно, что Грановский и Муромцев принадлежали к тому типу русских либералов (к сожалению, встречающемуся реже, чем хотелось бы), которые собственным авторитетом доказывали, что либерализм — это не просто набор постулатов, что его нельзя только декларировать, его надо предъявлять, и в первую очередь личным нравственным примером. В свое время Иван Тургенев, который в ранней молодости испытал большое влияние Грановского, заметил, что от того «веяло чем-то возвышенно-чистым, ему было дано редкое благодатное свойство не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого...».

Удивительно, но я нашел очень похожую характеристику и в отношении Муромцева. Она прозвучала из уст Павла Николаевича Милюкова у свежей могилы на Донском кладбище: «Сергей Андреевич не только учил нас началам правового государства, но и предсказывал их осуществление, предсказывал не словами, а сам собою, своей личностью, всем существом своим. В те времена, когда самая мысль о представительстве в России казалась бредом, люди проницательные, видя Муромцева в Московской Городской думе, в Московском земстве, могли предугадать, что представительный строй близится к нам».

Личные судьбы Грановского и Муромцева убедительно показывают: в России возможно плодотворное сочетание либерального мировоззрения и глубокого патриотического чувства. Только этот синтез, наверное, и может стать продуктивным, если мы хотим соединить величие России с ее свободой.

Однако я считаю, что главный урок Грановского, который он всегда давал своим ученикам, а именно — «учиться историей», пока недостаточно усвоен российским обществом. Как по-прежнему остается актуальным любимый диа-

лог Муромцева, почерпнутый им из библейской истории, и который на похоронах Сергея Андреевича припомнил его ближайший соратник Федор Федорович Кокошкин, тоже выдающийся юрист. Это когда на вопрос: «Сторож, близок ли рассвет?» сторож отвечает: «Еще темно, но утро близко...».

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Алексей Алексеевич. Насколько могу судить, фигура типа Грановского может появиться и сегодня. Более того, такие люди в наших университетах есть, и возможностей у них намного больше, чем у Грановского, которому было позволено читать курс европейской истории, не выходя за границы средневековья. А фигура типа Муромцева сегодня не может появиться в принципе — представить себе председателя Государственной думы его масштаба не поможет даже самое развитое воображение. Мы живем в другой исторической ситуации, а потому и миссия либералов сегодня несколько отличается от той, что была во времена созыва Первой Государственной думы.

Но у обеих этих фигур есть нечто общее, которое, безусловно, актуально. Оба они несли в Россию европейскую идею: Грановский — идею европейского исторического мышления, а Муромцев — идею европейского права и европейских институтов. И та и другая задачи остаются актуальными до сих пор. Давайте посмотрим, как они решаются.

Предоставляю слово Владимиру Александровичу Рыжкову.

Владимир РЫЖКОВ (политик, профессор Высшей школы экономики): «Одна из важнейших задач современного либерального движения — обратить внимание российского общества на чудовищный разрыв между писаной конституцией и реальной жизнью»

Прежде всего, я бы хотел отметить огромный труд Алексея Алексеевича Кара-Мурзы и его коллег. На протяжении многих лет они создают грандиозную, без всякого преувеличения, антологию российского либерализма. Их труд неопровержимо, на строго научной основе доказывает, что либеральная мысль, либеральная общественность — такая же важная и неотъемлемая часть русской истории, как и другие течения русской мысли. Их работа помогает разрушить популярный и культивируемый миф, что либерализм никогда не существовал на русской земле, никогда не имел массовой поддержки и что вообще это явление для России якобы чуждое. Напротив, они доказывают, что либерализм является одним из наиболее ярких и влиятельных течений русской общественной мысли. И это нас должно вдохновлять, укреплять в наших усилиях. Не мы первые, и уж точно — не мы последние.

Уже сама по себе впечатляющая история прощания с Сергеем Муромцевым показывает: сто лет назад это было не только интеллектуальное, но и массовое общественное течение. Неслучайно сегодня мы так часто обращаемся к пореформенной России, к началу XX века, к мыслителям и политикам той эпохи.

Кстати, если говорить о Сергее Муромцеве, то его все-таки вспоминали в юбилейные дни, когда праздновалось 100-летие Первой Государственной думы. Какие-никакие почести ему были отданы. И это было очень приятно.

По поводу миссии либерала сегодня. Тема широкая — много можно говорить о ней. Мне кажется, миссия либерала — и в России, и в любой другой стране — это борьба за свободу, борьба за человеческое достоинство. И чем больше в той или иной стране попираются свобода и человеческое достоинство, тем больше должны трудиться либералы для того, чтобы этого не было.

Безусловно, мы, русские либералы (люди с либеральными взглядами), работаем в крайне агрессивной среде. Сегодня демократия распространилась фактически по всему миру. В сотнях других стран, причем не только западно-европейских, политическая жизнь строится на основе либерального консенсуса. Консенсуса относительно того, что выборы должны быть свободными, пресса должна быть свободной, что должно быть верховенство закона, что права человека должны уважаться и соблюдаться. У нас же политическая жизнь проходит пока на основе антилиберального консенсуса: либеральные ценности совершенно осознанно подвергаются оскорблениям, диффамации. Практически вся пропагандистская машина государства работает на то, чтобы дискредитировать, прежде всего, либеральные ценности. Они подаются как извне принесенные, ложные, порочные, ведущие ко всяким бедствиям, развалу страны, коррупции и так далее. Поэтому нам приходится бороться за то, чтобы очищать либеральные ценности от всех этих оскорбительных искажений, за то, чтобы в конечном итоге в нашей стране возобладал либеральный консенсус.

Самое удивительное, что формально у нас действует либеральная конституция, в которой, собственно говоря, этот либеральный консенсус сформулирован. Но реальная политическая жизнь не имеет ничего общего с конституцией. Фактически все основные права, которые заложены в первой ее главе, поправлены как политической практикой, так и законодательством последних лет. Конституция сама по себе, жизнь сама по себе. И мне кажется, одна из важнейших задач нашего современного либерального движения — обратить внимание российского общества на чудовищный разрыв между писаной конституцией и реальной жизнью. Равно как и между конституцией и законами, которые приняты якобы в ее исполнение.

Ну, например, какое отношение имеет закон «О референдуме» к норме конституции о референдуме? Никакого. Его смысл прямо противоположен конституции. Какое отношение имеет закон «О митингах и демонстрациях» (и особенно практика его применения) к 31-й статье Конституции? Никакого. Какое отношение имеет статья о свободе слова и запрете цензуры к реальной практике в наших СМИ? Никакого.

В этом смысле ситуация хуже, чем сто лет назад. Потому что Конституция Николая II, как бы плоха она ни была, по крайней мере, более или менее соблю-

далась. Хотя тоже нарушалась, и мы это знаем. Однако в наше время практически уже вообще не осталось никакой связи между главным законом страны и реальной политической практикой и законодательством.

Конечно, все это усугубляется тем, что Конституционный суд не существует как институт: он перестал защищать наших граждан от грубого попрания Конституции федеральными законами. Фактически у нас создан корпус антиконституционного законодательства. И Конституционный суд молчит. Он просто игнорирует тот факт, что в России действуют сотни антиконституционных законов, которые применяются государством для подавления прав и свобод граждан.

Миссия либералов в современной России многообразна. Во-первых, мы должны бороться за умы, что делал Грановский, что делал Муромцев. Мы должны бороться за умы в ситуации, когда против нас целая армия «патриотов», фашистов, апологетов авторитарной власти. И при этом мы должны бороться в рамках той политической системы, которая нам навязана. Мы должны пытаться регистрировать партии, пытаться участвовать в выборах. Всем этим мы занимаемся и будем заниматься.

Часто спрашивают: а есть ли в современной России социальные слои, на поддержку которых могут опираться либералы, то есть слои населения, которые разделяют либеральные ценности? Мой ответ — да, есть. В подтверждение могу сослаться на данные двух социологических служб.

Так, Левада-центр по достаточно мягкой системе критериев фиксирует до 15 процентов людей, твердо разделяющих либеральные взгляды. Это 15 миллионов человек. Живут они в основном в крупных городах. Как правило, это люди с более высоким образовательным уровнем и с более высоким социальным и профессиональным статусом. Более жесткий фильтр, который применила Елена Башкирова («Башкирова и партнеры») дал 9 процентов. Но даже если брать эту минимальную цифру, получается 9 миллионов человек по стране. 52 процента из них — руководители и специалисты с высшим образованием. То есть значительная часть российской элиты, которая разделяет либеральные взгляды. У этих людей достаточно четкое представление о том, что происходит в стране. Причем две трети из них не видят сегодня политической силы, которая выражает их убеждения и интересы. И это объясняет низкие результаты на выборах двух либеральных партий, которые остаются зарегистрированными, — «Яблока» и «Правого дела».

Если посмотреть на иерархию озабоченностей и проблем, которые важны более чем для 75 процентов либерально ориентированных граждан, то она такова. На первом месте, как и среди других групп, идет большое и растущее социальное расслоение; на втором — правовое бесправие людей; на третьем — коррупция, взятки за согласование, откаты за контракты, контрабанда, семейный бизнес чиновников; на четвертом — засилье монополий. Дальше — отсутствие свободных и честных выборов, сращивание чиновни-

ков и бизнеса, засилье спецслужб и милиции, элементы милицейского государства. Еще дальше — навязывание одной идеологии и отсутствие в обществе дискуссии по важным вопросам. Потом идут привилегии чиновников, бюрократические препоны малому и среднему бизнесу, отсутствие реальной свободы слова и монополия «Единой России» в политике. При этом более 80 процентов либеральных граждан России не поддерживают отмену выборов губернаторов и переход к выборам парламента только по партийным спискам.

Названные мною позиции получают поддержку от 70 до 95 процентов либерального сегмента российского населения. Это означает, что либеральная часть общества очень отчетливо осознает всю несправедливость сложившейся системы, весь ее авторитарный и неправовой характер. И если либералы, помимо просвещения и уличных акций, сумеют создать политическую силу, которая выразит этот запрос либеральной части общества, она не только сможет сформировать крупную фракцию в парламенте в случае допуска на выборы, но и стать влиятельной политической силой в стране.

Что в итоге? Даже сегодня, после многих лет шельмования, дискредитации, оскорблений и искажений либеральной идеи, она имеет значительный политический потенциал в обществе. И миссия либералов, задача либералов — постараться реализовать этот потенциал.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Владимир Александрович. Прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я хочу обратить внимание присутствующих на то, что, кроме тех моментов, о которых говорил Рыжков, существуют и другие. Он говорил о том, что действовать приходится во враждебной среде, то есть о внешних условиях, ограничивающих возможности либералов. Но есть еще и вопрос о том, какова их собственная деятельность, каково ее позитивное содержание и насколько соответствует она ожиданиям общества.

Вы же помните, что в 2003 году при относительно благоприятной ситуации парламентские выборы были либеральными партиями проиграны. Так что я призываю всех нас более внимательно посмотреть и на самих себя, а не только на окружающую неблагоприятную среду. Мы ведь и собрались, прежде всего, для того, чтобы попробовать разобраться в том, насколько мы сами соответствуем времени, в котором живем.

Следующий выступающий — Михаил Александрович Краснов.

Михаил КРАСНОВ (профессор Высшей школы экономики): «Надо сделать лозунг правового государства таким же мощным, каким в свое время был лозунг демократии и рынка»

Должен сначала предупредить: буду говорить пунктирно, и о многом из-за недостатка времени придется умолчать. При этом все же позволю себе некоторые цитаты.

Не люблю «измы». Они не столько объединяют, сколько разъединяют. В одном могут скрываться настолько разные течения, что делают «изм» неузнаваемым. Вот и либерализм поворачивается совершенно разными сторонами. К несчастью, в последние двадцать лет такими, что отвращает от себя очень многих. Не думаю, что это онтологический порок данного мировоззрения. Напротив, либерализм — это идея благородства. Ортега-и-Гассет утверждал, что «либерализм — правовая основа, согласно которой Власть, какой бы все-мощной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм — предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле».

Правда, на самом деле самый благородный клич — это христианство. Достаточно вспомнить хотя бы завет Спасителя: «Больший из вас да будет вам слугою». Кстати, отрицательное отношение к христианству многих, если не большинства российских либералов лично для меня является существенным минусом.

Или вот что говорил министр просвещения (в царствование Александра II) Головин, о котором я прочитал в сборнике Алексея Кара-Мурзы, посвященном русским либералам: «По моему понятию, слово “либерал” означает человека, который, считая в теории других людей себе равными, не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других, который подчиняется только закону... и жертвует своими выгодами для осуществления своих идей. Можно ли после этого назвать либералами покорных слуг самодержавия, которые дорожат придворными званиями и звездами и никогда еще ничем не пожертвовали для осуществления либеральных теорий, то есть теорий равенства и законности с отрицанием всякого произвола?».

Вопреки всему этому, либерализм в его российской упаковке окрасился неким презрением к так называемым «неуспешным людям» — неудачникам, аутсайдерам, «лузерам». Думаю, потому, что главным в его понимании стало освобождение от любого и, прежде всего, от государственного гнета. Не могу утверждать, но, видимо, виной тому чрезмерная экономизация либерализма. Не случайно этим термином обозначаются разные экономические явления — например, «либерализация цен», «либерализация таможенных тарифов» и прочее.

Поэтому говорить о миссии либерализма можно, только четко обозначив его сердцевину. На мой взгляд, сердцевиной либерализма является даже не свобода, а обеспечение и защита человеческого достоинства. С этой миссией русский либерализм и должен выходить на публичную сцену. Но что означает человеческое достоинство? Сам я сейчас точно не смогу ответить. Но все

равно всем понятно, о чем идет речь: об отсутствии унижения — политическо-го, административного, социального.

Может ли демократия обеспечить защиту достоинства личности? Как раз нет. Демократия, даже в ее минималистской концепции, предполагает суверенную волю народа. Но эта суверенная воля может потребовать и абсолютно неправовых решений и действий. Особенно в обществе достаточно большом, и уж тем более в обществе, активно манипулируемом. Суверенная воля может дать такие решения, что от человеческого достоинства не останется и атома. Поэтому акцент на демократии и политических правах — это неверно не только тактически, но и принципиально. Основная цель и ценность — защищенность человеческого достоинства. Именно этого столетиями жаждет народ в России. Жаждет и не получает. Собственно, и лозунг демократии в конце 1980-х был так горячо принят лишь потому, что обещал уважение к личности возвести на уровень важнейшего принципа взаимоотношений государства и граждан. Но в действительности это дает не демократия, а правовое государство.

Кстати, обратите внимание, если кто-то читал Конституцию, в ее первой статье очень странная конструкция: «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Ни одной запятой нет! Почему? Думаю, разработчики взяли за образец немецкий Основной закон, где есть две статьи со схожей грамматической конструкцией. Смысл ее в том, что последнее слово и есть самое главное. То есть можно перефразировать: правовое государство Россия является демократическим и федеративным.

О том, что центральная идея — это не суверенная воля народа, а именно правовое государство, говорил один из видных русских юристов либерального направления А.С. Алексеев, который в 1910 году написал такие слова: «В правовом государстве не существует ни суверенной власти, ни суверенного органа, а существует лишь суверенный закон. Этот же закон не является предписанием того или иного учреждения (монарха или парламента), а представляет собою результат сложного юридического процесса, в котором принимают участие несколько органов, и притом в степени и в формах, установленных конституцией».

Наверняка сидящие здесь прекрасно понимают, что правовое государство означает ограничение власти на основе права, связанность государства правом. Другое дело, что мы понимаем под правом. Что это — закон или некие правовые принципы, существующие еще до закона? Тот же Сергей Андреевич Муромцев, например, в 1880 году в записке Лорис-Меликову писал о государстве законности. Можно понять русских либералов того времени: они еще не знали, что будут возможны «закон о колосках», акты о депортации народов, о придании обратной силы уголовному закону. Может быть, поэтому закон они приравнивали к праву. Но сегодня мы не можем этого делать. И, кстати, Парла-

ментская ассамблея Совета Европы приняла даже специальную резолюцию «Принцип Rule of Law». Эта резолюция, в частности, гласит, что «термин “Rule of Law” следует переводить на русский язык как верховенство права <...> Перевод термина “Rule of Law” как верховенство закона вызывает серьезную озабоченность, поскольку в некоторых молодых демократических государствах Восточной Европы все еще присутствуют, несмотря на верховенство права, определенные традиции тоталитарного государства, как в теории, так и на практике».

Между тем и сегодня у нас далеко не все понимают, что право нельзя приравнивать к закону, нельзя отождествлять с законом. Я мог бы приводить примеры бытового отождествления, но право и закон не различают и «сильные мира сего». Думаю, всем памятен выдвинутый в начале 2000-х годов лозунг Путина «Диктатура закона», хотя этот лозунг вроде бы быстро сняли. Но вот и Медведев, обвиняя народ в правовом нигилизме, на самом деле, обвиняет его в закононепослушании, то есть фактически тоже приравнивает право к закону.

Мало, однако, сказать, что правовое государство — это верховенство права. Важно понять и донести до людей, в чем проявляется правовое государство. Во-первых, это равноправие, приоритет прав и свобод человека, гражданина. То есть Конституция прямо говорит, что у нас система персонцентричная. Именно человек — высшая ценность, а не построение «светлого капиталистического» или «коммунистического» будущего. Далее, это наличие — и об этом мало кто вспоминает — строго оговоренных пределов допустимых ограничений конституционных прав и свобод. Владимир Рыжков сегодня говорил, и совершенно верно говорил, о том, что законодательство полностью перечеркивает конституционные права и свободы.

Правовое государство — это, безусловно, также доступная судебная защита, это принципы и правила правосудия, гарантирующие справедливую судебную защиту. Это презумпция невиновности и принцип «ne bis in idem», что означает: нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение. И еще право не свидетельствовать против самого себя и своих родственников; недопустимость использования доказательств, полученных с нарушением закона. Принцип недопустимости обратной силы закона, устанавливающего или отягчающего ответственность. Принцип отсутствия ответственности за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. Ну и, конечно же, едва ли не главное проявление правового государства — независимый суд, судебская независимость. Все это в совокупности только и способно защитить человеческое достоинство. Разумеется, если все это существует не только на бумаге, но и в реальности.

Но миссия либералов должна иметь, на мой взгляд, еще одно измерение. Повторю: либерализм исповедует человекоцентристскую философию. Однако

хотя в центре формально и находится человек вообще, но по существу имеется в виду «человек успешный». А такому правовая защита нужна гораздо меньше, чем Акакию Акакиевичу Башмачкину. Поэтому необходима обращенность, прежде всего, к «слабым мира сего». Тут, правда, возникает проблема взаимосвязи социального государства и правового. Некоторые исследователи говорят, что социальное государство вообще противоречит правовому, ибо нарушает принцип равноправия. Но это как понимать право. На мой взгляд, право — это средство примирения свободы и справедливости. Ведь когда закон предоставляет дополнительные гарантии депутатам, судьям, президенту, а, например, Трудовой кодекс — гарантии несовершеннолетним и женщинам, — мы же не говорим о нарушении равноправия. Впрочем, это отдельная большая проблема.

Либерализм в плане политическом — это отстаивание и создание соответствующих институтов. Ведь все те атрибуты правового государства, о которых я говорил, есть в нашей Конституции. Но люди по-прежнему ощущают, что их презируют. В чем же проблема? В том, что общество и элиты ставят перед собой, как говорил Карл Поппер, неверный вопрос. Они спрашивают, «кто должен править государством» вместо того, чтобы ставить вопрос принципиально иначе: «Как нам следует организовать политические учреждения, чтобы плохие или некомпетентные правители не нанесли слишком большого урона?».

Именно заботой об институциональном обустройстве правового государства либералы — и политики, и эксперты — отличаются от правозащитников. Поэтому А.С. Пушкина, который воззвал к свободе и «милость к падшим призывал», можно назвать только «кандидатом в либералы».

Впрочем, такое отличие не может быть оправданием для того, что на Руси называют барством. Тем более в информационном обществе, где публичный человек не может спрятаться ни от кого. Либерал не только идейно, но и в повседневной жизни должен демонстрировать отсутствие снобизма и не кичиться своей «суперуспешностью».

Итак, миссия либерала: сделать лозунг правового государства таким же мощным, каким в свое время был лозунг демократии и рынка!

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Михаил Александрович. На два момента в Вашем выступлении я хотел бы обратить внимание аудитории. Может быть, они получат развитие в ходе дискуссии.

Первый момент касается либерала как человеческого типа, о чем говорил и Алексей Кара-Мурза. Наш опыт показывает, что это действительно важная вещь, что человек не всякой ментальности, не всякого этического качества может выполнять историческую функцию либерала. В постсоветской России многие подвизались на этом поприще с пользой для себя и с ущербом для либерализма. Он, не в последнюю очередь, потому и переживает сегодня

в России кризис, что люди (не все, конечно), с ним отождествляемые, оказались несостоятельными в личностном плане.

Второй момент касается того, что Михаил Александрович говорил по поводу демократии и права. Боюсь, что в современном политическом и интеллектуальном контексте отодвигание демократии на второй план может быть неверно истолковано.

Существует точка зрения, сторонником которой выступает, например, Александр Александрович Аузан, что для России главное сейчас — утверждение правового государства, а не демократии, с установлением которой ради этой цели можно и подождать. И ссылается на Сингапур, где до демократии еще очень далеко, а принцип законности утвердился. И вопрос, по-моему, в том-то и заключается, возможна ли в современной России сингапурская модель, то есть возможно ли здесь движение к правовому государству в обход демократии. Хотелось бы, чтобы мы этот вопрос обсудили, раз уж он поставлен.

Михаил КРАСНОВ: Я вовсе не против того, что демократия нужна. Я говорил о том, что центральным должен все же быть лозунг правового государства. Но согласен и с тем, что невозможно представить построение такого государства вне демократических принципов.

Игорь КЛЯМКИН: Я так Вас и понял. Наш опыт показывает, что попытки строить демократию в обход идеи права ведут к тому, что демократия разлагается. Но меня смущает и ход мысли, ведущий к тому, что правовое государство предлагается возводить без демократии. У Вас этого нет, но есть определенный контекст, в котором Ваш тезис может быть неверно интерпретирован.

Слово — Борису Игоревичу Макаренко.

Борис МАКАРЕНКО (председатель правления Центра политических технологий): «Российский либерал всегда оказывается между молотом радикализма и наковальней консерватизма»

Я начну с того, что присоединюсь к словам Владимира Рыжкова, словам благодарности Алексею Кара-Мурзе за великое дело, которое он делает. Память о Муромцеве и Грановском, к счастью, в Москве жива благодаря прекрасному надгробию, над которым работали и Федор Шехтель, и Паоло Трубецкой в одном из лучших московских некрополей. А имя Грановского было хорошо известно советской номенклатуре, потому что на улице Грановского находился спецраспределитель. Распределитель сейчас, видимо, в другом месте, названия улицы нет, так что память надо хранить иными способами. Поэтому спасибо тебе, Алексей Алексеевич.

Я честно пытался подготовиться по теме «Миссия русского либерала», а получилось у меня скорее судьба русского либерала, причем судьба плачев-

ная. И формулировку я нашел, естественно, там, где находят самое мудрое, то есть у Пушкина:

*Он вышней волею небес
рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут,
в Афинах — Периклес,
а здесь он — офицер гусарский.*

В этом стихотворном высказывании о Петре Чаадаеве — квинтэссенция драмы русского либерализма. У либерала в России не получится стать ни борцом с тиранией (Брут), ни великим строителем демократического государства (Перикл). Он — со своими убеждениями — некто «сбоку припеку» от власти, то ли служит ей, то ли находится в отставке, то ли объявляется сумасшедшим, злопыхателем и не патриотом.

Миссия либерала в любом обществе — проповедь и утверждение не просто свободы личности, но политической максимы, что свобода личности и общественный порядок совместимы. И что в современном мире это сочетание предпочтительно любому другому общественному устройству. Иными словами, именно либерал предлагает решения консерватору, как расширить пространство свободы и политического участия граждан, чтобы избежать революции. В этом — сила либерала, потому что идея личной свободы высоконравственна и честна. Но в этом и его слабость: он оказывается между молотом радикализма и наковальней консерватизма.

Глубочайшее заблуждение, что политический режим либеральной демократии создают либералы. В нашем отечестве в одном с позволения сказать «политическом докладе» двухлетней давности на полном серьезе доказывалось, что либеральная демократия в России невозможна, потому что слишком сильный бы административный ресурс понадобился, чтобы привести к победе на выборах «Правое дело» и «Яблоко». Рейган или Тэтчер обиделись бы, если бы их назвали либералами, но если бы их спросили, какой конституционный строй они защищали и укрепляли на своих постах, они бы, не задумываясь, ответили: «Либеральную демократию».

История каждой успешной демократии — это история синтеза фундаментальных ценностей различных идеологий. В этот демократический консенсус либерализм вносит идею свободы личности и веру в ее благотворность, сотрудничая и конкурируя с традиционностью и этатизмом консерваторов и социальным равенством социалистов. Трагедия русского либерализма в том, что у нас этот синтез никогда не получался. Почему?

Главная беда — в особой густоте нашего консерватизма, порождающего крайний радикализм на другом конце политического спектра. Самодержавная неразделенная власть, сверхконцентрация собственности у «верхов»

и почти полное отсутствие мелкого и среднего собственника, порожденное этой конфигурацией бесправие и правовой нигилизм, последовательное подавление начал политической свободы и самоуправления, ликвидация любых предпосылок для взаимного доверия власти и общества — все это порождало антитезу власти в лице бомбистов, народовольцев и большевиков. При советском строе радикализм коммунистов слился с консерватизмом, причем в тоталитарном исполнении. И если в царской России либерал оттеснялся на периферию, то в советской — мог существовать только на собственной кухне.

Русский либерал призывался властью, когда метастазы консерватизма делали ситуацию почти неоперабельной — как к тяжелобольному призывают доктора, невзирая на его национальность и вероисповедание. Так призывали Сперанского, Лорис-Меликова, Муромцева, «буржуазных специалистов» в гражданскую войну или индустриализацию, так призывали Гайдара и Чубайса. И отправляли их восвояси, когда их усилиями преодолевалась острая фаза болезни, и с их уходом забывались и медицинские предписания о вреде чревоугодия, здоровом образе жизни.

Вослед «либералу, который сделал свое дело», летит либо опала, либо обвинения в непатриотизме как Чаадаеву или Лорис-Меликову, хаосе и развале страны, либо тюрьма (как Муромцеву). О том, что пришлось испытать Гайдару, позвольте промолчать. И уж, конечно, либерал всегда подвергался нападкам за непатриотизм — не только потому, что концепция либерализма западная или западническая, но и потому что проповедь личной свободы и социального мира — это проповедь тихая, не требующая бития себя кулаками в грудь, как любят делать «ура-патриоты» и революционные трибуны.

Победоносцев говорил императору Александру Второму о Лорис-Меликове: «О, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте <...> графа Лорис-Меликова <...> Если Вы отдадите Себя в руки ему, он приведет Вас и Россию к гибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет, — что я сам ему высказывал неоднократно. И он — не патриот русский. Берегитесь, ради Бога, Ваше Величество, чтоб он не завладел Вашей волей, и не упускайте времени».

Либерал в России никогда не был для власти партнером, а был в лучшем случае служащим. А в худшем — прислужником (помните русского либерала Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно?»). Либерал не опирался на устойчивый «антиконсервативный класс» — мелкопоместное дворянство, буржуа, «средний класс», а опирался в лучшем случае на своих идейных единомышленников из образованного класса. И именно это обрекает русского либерала на два сомнительных пути.

Первый путь — идти в услужение власти с риском либо действительно

изменить принципам, откровенно предпочесть конституции «севрюжину с хреном», поддаться на искушение того, что Ходорковский назвал «пиджаками за 1000 долларов», либо заслужить обвинения в «ренегатстве» (как обвинил либералов в этом Ленин, так ярлык и приклеился). Причем независимо от того, насколько такие обвинения заслужены. Да еще при этом быть и «козлами отпущения» — известно ведь, что «во всем виноват Чубайс».

Второй путь — отказать в доверии власти, не верить в ее реформаторские намерения, как не поверил Александровским реформам Герцен, встать к ней в непримиримую оппозицию, отдав, тем самым, реформы на откуп консерваторам. Примеров выбора такого пути немало и в наши дни. Вспомним и о «пути Муромцева», который вместе с товарищами по «Выборгскому воззванию» (обращение к народу большой группы депутатов разогнанной Первой думы с призывом к гражданскому неповиновению властям) провел несколько месяцев в застенке за то, что не поступился принципами. Но вспомним и то, что многие из подписантов Выборгского воззвания спустя всего несколько месяцев сами использовали «административный ресурс», чтобы определить своих сыновей в кадетские корпуса.

Еще одна беда русского либерализма — отсутствие либерального начала в отечественном «национальном мифе». Декларация независимости в США, Декларация прав человека и гражданина во Франции, Хартия вольностей в Англии, падение Берлинской стены в Германии — все это образы и события, краеугольные для истории соответствующих народов, создающие «генетическую память». В России же у либерализма с «историей успеха» действительно дела обстоят не лучшим образом.

Даже те конкретные события российской истории, когда либеральные идеи действительно звучали или оказывали реальное воздействие на судьбу страны, находятся глубоко на периферии сознания не только всего общества, но даже образованных слоев. В недавнем социологическом исследовании среднего класса при обсуждении темы выборов и референдумов ни один (!) респондент не вспомнил ни референдум «Да-да-нет-да», ни референдум о Конституции. Нет памяти ни о «Живом кольце» вокруг Белого дома, ни о «протоконституции» Лорис-Меликова, ни о присяге Василия Шуйского, которая звучала почти как Magna Carta, ни о Выборгском воззвании. Только усилиями энтузиастов поддерживается память о таких фигурах, как Муромцев и Грановский.

Тем не менее, хотя и приходится констатировать, что все беды, объективные и субъективные проблемы российского либерала никуда не делись, ситуация все же меняется. В дискурсе власти появилась модернизация; в него вернулась демократия без уточняющих определений — пусть пока и на словах. Меняется и общество: в нем появляется тот самый «буржуа» — собственник, хозяин, который является оплотом и непременным условием возникновения демократии. Эти новые надежды не свалились с неба: во многом они стали плодами

усилий либералов в прошлые два десятилетия и их активной гражданской позиции сегодня.

Выступая на Ярославском форуме, президент Медведев⁵³ сказал: «Демократия начинается только в том случае, если человек скажет сам себе: я свободен». Либерал — человек, который давно себе это сказал. Это чувство внутренней свободы определяет его мировоззрение и служит руководством к действию. Чувствовать себя свободным сегодня легче, чем в какой-либо прошлый период развития России. Сергей Муромцев и Тимофей Грановский были свободными людьми в куда более сложный период ее истории. Они смогли не изменить либеральным принципам. Светлая память о них — пример и ободрение для либералов нынешних.

Игорь КЛЯМКИН: Борис Игоревич действительно говорил не столько о миссии, сколько о судьбе либерализма и либералов в прошлой и современной России, имея в виду не только российскую власть, как Владимир Рыжков, но и российское общество, к этому политическому течению невосприимчивое. Но и в данном случае важен контекст, в котором звучит тезис Бориса Игоревича об отсутствии либерального начала в отечественном «национальном мифе».

Вот, скажем, господин Юргенс недавно публично заявил, что модернизация Медведева не идет из-за того, что народ ее не поддержал. И мне интересно, как он мог ее поддержать, если она не идет. Я полагаю, что такой перевод стрелок с власти на общество очень характерен для определенного течения современного российского либерализма, а именно — либерализма системного. Борис Игоревич говорил о нем в историческом плане, но явление это существует и сегодня. И вопрос, думаю, не в том, сотрудничать ли с властью в проведении реформ, а в том, сотрудничать ли с ней, когда она о реформах только разглагольствует, то есть помогая ей эти реформы имитировать.

Да, Сергей Муромцев, память о котором собрала нас здесь сегодня, тоже был системным либералом, сотрудничавшим с самодержавием. Но то не было обслуживанием самодержавия и его интересов, а было проведением собственной политической линии в заданных условиях. И мне хочется понять, как разные течения нашего нынешнего раздробившегося либерализма проявляются в сегодняшней ситуации. Хочется понять, служат ли они себе и своим целям или обслуживают интересы, с этими целями не совместимые. И вообще насколько оправданно сохранять ориентацию на одно лицо, которое вместо общества все за него сделает, а когда общество видит, что ничего не делается, винить его в том, что оно это лицо в его прогрессивных замыслах не поддерживает. Тем более что речь пока идет лишь о словах этого лица, в реальной политике никак не проявляющихся.

⁵³ Обсуждение проходило в октябре 2010 г.

Старые русские либералы так не делали. При том, что народ, с которым они имели дело, был намного дальше от либерализма, чем народ сегодняшний. Думаю, что здесь тоже есть тема для обсуждения.

Мы переходим к свободной дискуссии. Первой записалась Ольга Викторовна Крыштановская.

Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ (заведующая сектором изучения элиты Института социологии РАН): «Ставя задачу демократизации политической системы, надо в первую очередь говорить о монополизации власти, о разрушении самодержавия»

Спасибо организаторам Круглого стола, во-первых, за тему. Мне кажется, тема архиважная. Действительно, стоит думать об этом в наше время: в чем миссия либерала сегодня?

Но я хотела бы сделать ремарку по поводу выступления Михаила Краснова. Прозвучало, что равноправие или правовое государство важнее, чем демократия для России. Мысль интересная! Но так ли это? Демократия имеет несколько признаков, и среди них есть и выборы, и подотчетность властей, и свобода прессы, и верховенство закона, и разделение властей. Эти признаки демократии приняты ЮНЕСКО еще в 1970-е годы. Безусловно, одним из признаков демократии является правовое государство.

Когда Михаил Краснов говорил о том, что демократия для нас не так важна, как правовое государство, он имел в виду, мне кажется, только один признак демократии, а именно — честные выборы. И в таком случае, конечно, он прав: равноправие для нас важнее, чем голосование. Но есть вещь гораздо более важная, мне кажется, просто ключевая для развития либерализма в России, которая стоит на пути свободы. Это разделение властей. Не может быть равноправия без разделения властей! Пока суд несвободен, пока нет контроля общества над судебной ветвью власти, равноправие невозможно. Пока есть абсолютная власть, то есть самодержавие, правового государства не будет! Таким образом, для России равноправие важнее демократических выборов, но разделение властей важнее равноправия. Вернее — не важнее, а первичнее.

Поэтому, ставя задачу демократизации политической системы, мы в первую очередь должны говорить о монополизации власти, о разрушении самодержавия. И только после этого мы будем шаг за шагом продвигаться в направлении либерализации, только после этого появятся и честные выборы, и свободные СМИ, и равенство всех перед законом, и уважение человеческого достоинства. Это первая моя ремарка.

Вторая касается человеческого достоинства и того, как его измерять. Движемся мы куда-то в этом направлении или нет? В мировой социологии сегодня широко распространены национальные измерения счастья. Счастье — показатель какой-то странный, считают многие. Есть для русско-

го уха в этом слове что-то детское, беззащитное, даже стыдное. На самом деле, именно здесь проходит мировой тренд, связанный с переходом от индустриального общества к информационному, сетевому. Это очень глубокий и важный тренд, особенно когда мы говорим о либеральных ценностях.

Что было важнейшим показателем успешности государства в индустриальную эпоху? Конечно, валовой внутренний продукт — ВВП. То есть состояние экономики. Разумеется, экономика важна, и никто с этим не спорит. Но есть что-то еще более важное — это социальное самочувствие народа. Это человеческое достоинство. И это прямо связано с демократией. Человек социальный только тогда чувствует себя счастливым, когда он чувствует и безопасность, и равноправие, и материальное благополучие, и свободу, и солидарность.

Сейчас Россия стоит на 153 месте в мире по национальным индексам счастья. Наши люди редко чувствуют себя счастливыми. Они тяжело живут и рано умирают. Так, может быть, пришло время сменить ориентиры и перестать не замечать этот печальный для нас рейтинг? Может, пора перестать делать культ из ВВП? Может, поставить конкретную задачу — каждый год делать хоть что-то для сохранения народа, хоть чуть-чуть продвигать нашу страну вперед в этом рейтинге счастья? Создадим позитивную динамику — достигнем и других целей, я уверена.

Михаил КРАСНОВ: Разумеется, я понимаю все великое значение принципа разделения властей. Равно как и других составных частей демократии (идеологического и политического плюрализма, например). Иначе не мог бы преподавать конституционное право. Но я дисциплинированно готовился именно к сегодняшней теме, которая требовала сформулировать некую миссию российских либералов. А раз речь идет о миссии, она, на мой взгляд, не может состоять в отстаивании, пусть и очень важных, но все же инструментальных понятий. Лично для меня в этом смысле есть критерий, за что можно пожертвовать свободой и даже жизнью. За разделение властей — нет, а вот за человеческое достоинство — готов.

Леонид ВАСИЛЬЕВ (профессор Высшей школы экономики): Но откуда возьмется это достоинство? Откуда оно может появиться?

Игорь КЛЯМКИН: С тем, что первоочередная задача — демонтировать самодержавие, спорить трудно. Вопрос, во-первых, в том, как его демонтировать, а во-вторых, как избежать его восстановления после разрушения. В Украине, например, авторитарный режим во время оранжевой революции разрушили, там пять лет была демократия, каковой в постсоветской России не было, а теперь мы видим, как там все восстанавливается уско-

ренными темпами и, может быть, даже в худшем виде, чем во времена Кучмы.

Послушаем теперь Бориса Надеждина.

Борис НАДЕЖДИН (член федерального политсовета партии «Правое дело»): «Наша задача — добиться передачи власти оппозиции мирным путем по итогам выборов»

Друзья, хочу вам сказать, что участники подобных антигосударственных разговоров 250 лет назад были бы висечены, 150 лет назад — лишены прав состояния, а 70 лет назад — расстреляны. А сейчас мы говорим то, что говорим, не опасаясь неприятных для себя последствий. Поэтому у либералов должно быть чувство исторического оптимизма. Страна становится все более открытой, народ становится все более образованным, а рейтинги «Единой России» падают.

Это показали и выборы 10 октября 2010 года. Согласно официальной интерпретации, «Единая Россия» улучшила свой прежний результат. А на самом деле, это была агония «Единой России». Говорю ответственно, потому что я участвовал в этой кампании. Как обычно, меня с выборов сняли. Видимо, скоро я попаду в книгу рекордов Гиннеса: меня сняли с выборов трех субъектов Федерации за последние два года. Но, тем не менее, я полон оптимизма.

Во-первых, потому, что нашей партии «Правое дело» удалось провести более 100 человек на выборные должности. Можно что угодно про эту партию говорить, но внизу, на местном уровне, тон в ней задают абсолютно либеральные, правозащитные, здравые люди. Во-вторых, «Единая Россия» практически исчерпала административный ресурс. Все, больше из него ничего не выжмешь. При этом в целом она получила меньше 50 процентов голосов, а если не считать Дагестан, Новосибирск, Челябинск и Кострому, то можно сказать, что выборы завершились для нее полным провалом. Кстати, в Костроме, где результат «Единой России» 49 процентов, губернатор уволил всю администрацию.

Что из этого следует? Из этого следует, что на федеральных выборах, где явка будет гораздо выше, «Единая Россия» в принципе не может никаким разумным образом получить 50 процентов, то есть контрольный пакет в Думе. Это невозможно сделать. Если, конечно, не снимать с выборов все партии, кроме «Единой России» и ЛДПР. Тогда можно. Но я думаю, что это нереально сделать в нынешней ситуации.

Теперь пару слов по повестке дня. Какова сегодня в России миссия либералов? Согласен с тем, что говорил Владимир Рыжков, но выразил бы это более определенно.

Есть корневой вопрос. Его суть в том, что за всю многовековую историю нашей матушки России ни разу не произошла смена власти по итогам выборов в стране. Никогда не было так, чтобы бывший генеральный секретарь или

президент отдавал кабинет в Кремле своему конкуренту (а не назначенному преемнику) мирным путем. И наша задача — сделать так, чтобы это начало происходить в ближайшие десять лет. Задача абсолютно реалистичная, и она должна быть поставлена в повестку дня: добиться передачи власти оппозиции мирным путем по итогам выборов. До тех пор, пока в Кремле власть будет передаваться «по наследству», никакого разделения властей не будет.

Еще один вопрос — о нашей линии поведения, о чем говорил Борис Макаренко. Он очень точно передал и мое личное постоянное размышление. Если ты весь такой из себя либерал и при этом патриот, в твоём распоряжении есть две крайние поведенческие стратегии. Первая — полная «несознанка», Марш несогласных, Триумфальная площадь, проклятия в адрес режима и так далее. Вторая — это стратегия Кудрина. Думаю, все понимают, о чем я говорю.

Так вот, я уже долгое время умудряюсь быть и там и там. В течение одной недели я могу быть с Рыжковым и Немцовым на Триумфальной площади, а потом в кабинетах на Старой площади получать указания. В принципе интересно получается: чувствуешь себя необычно, я бы сказал. Но, тем не менее, я считаю, что здесь, в России, по-другому никак не получится. И единственное, что при этом важно, — это чтобы либералы, какую бы стратегию они ни избирали, чувствовали себя единомышленниками и соратниками и не разбредались в разные политические стороны.

Игорь КЛЯМКИН: Вы пробуете совместить в себе два типа либерала, о которых говорил Борис Макаренко, — системный и антисистемный. Интересно, что у Вас получится...

Борис НАДЕЖДИН: А нам и надо совмещать одно с другим. Чтобы стать европейской страной, необходимо наладить механизм передачи власти оппозиции без катастрофических рисков. А для того, чтобы это произошло, нужна определенная степень доверия между теми, кто резко «против», и теми, кто «встроен в систему», но при этом те и другие примерно одинаково видят ситуацию.

Игорь КЛЯМКИН: Когда Вы с митинга приходите в кремлевские кабинеты, Вы их обитателей поактивней уговаривайте передать власть оппозиции мирным путем. А потом расскажете нам, что у Вас из этого получится.

Борис НАДЕЖДИН: Могу сказать, что в результате моих походов в Кремль Медведев потихоньку либерализовал избирательное законодательство, а кое-где и избирательную практику. Но все не так-то просто...

Игорь КЛЯМКИН: Сдвиги, что и говорить, впечатляющие. Следующий — Леонид Михайлович Баткин.

Леонид БАТКИН (главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета): «Либерал должен смотреть не на свою среду, а в разные стороны и мыслить политически»

Уважаемые коллеги, для того чтобы моя следующая фраза была более адекватно воспринята, я начну вот с какой первой. Я присоединяюсь ко всем, кто с уважением относится к деятельности коллеги Кара-Мурзы и считает, что она обращена на сохранение памяти людей весьма достойных и примечательных в отечественной истории.

А обещанная вторая фраза будет состоять вот в чем. О Грановском я кое-что знаю, потому что я медиевист и Грановского читал. О Муромцеве я почти ничего не знаю. Но оба они мне сегодня как человеку, подобно вам всем, болеющему за происходящее в России, неинтересны. Не потому, что они плохи, а потому, что их опыт не может нам пригодиться. Это другой опыт, в совершенно других условиях. Можно даже спорить о том, был ли Грановский либералом (тогда еще либерализма в России не было). Либерал — это не тот, кто, будучи знаком с западными исследованиями, читал прекрасные по тем временам лекции.

Я согласен почти со всем, что сказал Владимир Александрович Рыжков, характеризуя черное поле, на котором мы действуем. Но это понимают более или менее все. Это понимают даже власти, потому что, при изобилии там негодяев, дураков в обычном житейском смысле слова там не так уж много. Поэтому я попытаюсь, прежде всего, откликнуться на призыв Игоря Моисеевича Клямкина поговорить о нас самих. Поговорить, что такое сейчас мы, считаящие себя, может быть, не без оснований, либералами. И как мы действуем.

Но прежде чем начать об этом говорить, позволю себе сослаться на свою заметку, опубликованную недавно на сайте «Новой газеты» в разделе «Мнения и комментарии». Она называется «Не пора ли опомниться». Я в значительной мере буду сейчас опираться на те тезисы, которые там уже высказаны.

И последняя оговорка. Не буду касаться того, с чем я не согласен или не совсем согласен в выступлениях коллег. На это просто нет времени. Я скажу только, что уважаемый коллега Краснов, конечно, увлекся, заявив, что демократия — это никакая не ценность. Думаю, он сам охотно возьмет свои слова назад.

Игорь КЛЯМКИН: Он уже разъяснил свою позицию.

Леонид БАТКИН: Итак, я хотел бы поговорить о политической и практической ситуации в либерально и демократически настроенной среде. Именно она меня преимущественно интересует, потому что я все еще считаю себя политиком, со времен перестройки. Хотя я давно уже уединился дома и политики касаюсь только в разговорах с друзьями и вот в таких редких случаях, когда можно публично выступить «среди своих».

Основное соображение в заметке, на которую я сослался, состоит в том, что все нынешние либералы, вообще правые оппозиционеры, будучи людьми достойными и нередко яркими, все же мыслят не политически. Ведь есть особая политическая манера мышления. Но эти люди скорее напоминают прежних диссидентов и действуют — не все и не всегда — отчасти в том же духе, инерционно.

Я думаю, что либерализм теснейшим образом сплавлен с понятиями личности и индивидуальности. А эти идеи (доказательству чего я посвятил последние двадцать лет конкретных историко-культурных исследований) возникают лишь примерно на рубеже XVIII–XIX веков. В России же, то есть в достаточно традиционалистском обществе, каким оно слишком долго оставалось и, может быть, до сих пор в какой-то мере остается, — в России большинство людей с ними не знакомо или понимает их превратно.

Первый сознательный индивидуалист, изучением которого я сейчас с увлечением занимаюсь, это Жан-Жак Руссо. Соответствующие слова и понятия возникают несколько позже. Например, у Гумбольдта. Они совершенно проявляются у великого Джона Стюарта Милля. Это поздние понятия, которые значительным числом людей не воспринимаются до сих пор, ибо индивидуализм обычно толкуется на бытовом уровне как желание перетянуть на себя одеяло. Понятие же высокого и по определению трагического индивидуализма мало кому известно, кроме части интеллигенции. Между тем ядром и пульсом либерализма как нового европейского феномена, я уверен, является высокий индивидуализм. То есть мысль о том, что каждый человек имеет право на свой образ жизни, на свое мнение, на свое высказывание, на свое поведение и так далее. Как ему нравится. Лишь бы это не задевало интересы других, таких же личностей.

А что касается демократизма, то это понятие, которое восходит, как все знают, к слову «демос», «народ». Ах, как мы любим это романтическое слово! Демократизм примерно на 2500 лет древнее либерализма. Конечно, он существовал в крайне примитивных, ограниченных, традиционалистских, архаических формах в древнегреческих полисах или в немногих независимых средневековых городах. Однако исходный его принцип состоит в признании при голосовании права большинства. Как проголосует большинство, так и будет. Таковы будут решения.

Следовательно, эти два понятия, либерализм и демократизм, не совпадают. Между ними есть очевидный зазор. Одно ориентировано на большинство, а другое — на отдельную личность, на «я». Вот так я считаю, так я собираюсь жить и так буду похоронен — так, как считаю нужным.

Но есть и сходжение между ними. Эти две идейные окружности имеют общий сектор. Настоящие современные демократы понимают, что нужно оберегать права меньшинства. Решать следует большинством голосов, но меньшинство должно сохранять, как всем известно, возможность высказываться,

действовать и в перспективе стать большинством. Именно ради принципа большинства и нужно ценить существование меньшинства. Иначе «большинство» потеряет динамику, омертвеет, станет политически формальным и бессмысленным.

А разумный либерализм, со своей стороны, понимает, что необходимо считаться не только с каждым индивидом, с каждой личностью, но и с миллионами индивидов, вне зависимости от того, в какой степени развито их индивидуальное самосознание. Значит, теоретически некая почва для схождения и преодоления этих различий есть.

Теперь о сегодняшних либералах. Я позволю себе заявить, и это совпадает с тем, что говорили некоторые мои коллеги, что как демократизма, так и либерализма в нашей стране сейчас нет. Так же, как нет интеллигенции. Есть либералы, то есть люди, страстно придерживающиеся либеральных воззрений и стремящиеся согласовать с ними свое повседневное поведение. Есть демократы, которые честны и верны своим взглядам. Обычно то и другое совпадает в одних и тех же персонажах. Но у нас, повторю, ни демократизма нет, ни либерализма нет.

Что я имею в виду? Индивидуализм, либерализм — это не только идеи и убеждения. Нет корпоративного духа ни в интеллигенции, ни среди либералов. Нет социальных структур и традиций, на которые они могли бы надежно и законно опереться. Нет и таких партий тоже. Все более или менее картонные. То есть я могу быть либералом в качестве самого себя и могу считать либералом Владимира Александровича Рыжкова. Но мы сидим с ним в разных углах и занимаемся разными делами. Если даже пять тысяч человек выступят за немедленное освобождение Ходорковского и Лебедева, то это еще ничего не значит. И если выступят сто тысяч, это тоже ничего не будет значить.

Тут говорилось о том, что сейчас в России безопаснее, чем в былые времена, заниматься политикой. Это — святая правда. Можно говорить все, что угодно, можно рассказывать анекдоты о Путине — тебя не посадят, не привлекут. Но это просто изменившиеся правила игры. Попробуйте вы эти же самые взгляды, которые мы здесь охотно высказываем друг другу, вынести на площадь, сделать публичными, попробуйте пройти на телевидение с этими взглядами — вырежут немедленно, прямой эфир практически исчез. Власть изменила свою структуру, стала слитной с крупной собственностью и сама состоит из крупных собственников, как недавно снятый Лужков или еще не снятый Путин. Все понимают, что у них есть многомиллиардные счета, но уличить их невозможно и не скоро станет возможным.

Либерализма как серьезной силы нет еще и потому, что состояние наших оппозиционных движений и партий, зарегистрированных и незарегистрированных, вызывает во мне величайшее разочарование. Я, конечно, не настолько глуп, чтобы думать, будто моя интернетовская заметка, которая

призывала к объединению не только всех либеральных и демократических сил, но и к объединению их с полудемократическими, четвертьдемократическими, околodemократическими силами, могла бы иметь какое-то значение и быть расслышанной. Я имею в виду такие внеполитические движения, которые заботятся о своих собственных, корыстных интересах. Я имею в виду движение обманутых дольщиков, рабочие забастовки и голодовки и тому подобное.

Между тем ситуация в стране сильно изменилась за последние десять лет, и не только к худшему. В этой системе за последние года два появились трещины. Я не буду сейчас обсуждать причины появления этих трещин, они, по-моему, достаточно очевидны и неизбежны. Их можно обосновать социологически, исторически, международными ситуациями, глобализацией, чем угодно. Трещины эти появляются, как появляются на фасаде здания. Когда оно обрушится — никто не знает. Но то, что власть начинает загнивать и заигрывать, как это делает и Путин, между прочим, с отдельными оппозиционными настроениями, то это не от хорошей жизни. Раньше не заигрывали.

С другой стороны, наши оппозиционеры начали недавно объединяться, но тем самым лишь усилили разъединение. Они более или менее слиплись в несколько комков и завзято не желают выступать вместе. Нет и на горизонте ничего похожего на Народный фронт, который возник в предвоенной Франции и который объединял всех, кто был против прихода фашизма.

Либерал сегодня должен в меньшей степени оглядываться на свой исходный путь (эта мысль тоже прозвучала сегодня), а больше оглядываться на совершенно внеполитические или четвертьполитические настроения обывателей. Назовем их этим старинным словом. Их обманывают, их грабят, и они начинают выходить на улицу. Без их поддержки, поддержки всех, от дальневосточных «партизан» до московских или химкинских экологов, без поддержки всех тяжело задетых интересов населения либерал не может быть либералом. Он должен смотреть не на свою среду, он должен смотреть в разные стороны и мыслить политически. Но объединяться нельзя с теми, кто носит портрет Сталина над головой.

Игорь КЛЯМКИН: Леонид Михайлович, завершайте, пожалуйста. Еще много желающих выступить.

Леонид БАТКИН: А вообще переговоры можно вести, оставаясь на своих позициях, даже с молодой частью коммунистов, склоняющихся к социал-демократизму. Разговаривать нужно со всеми решительно. А объединяться в действиях по точкам общего схождения. Вот по этим пунктам мы вместе. Всякие другие принципиальные расхождения оставим до будущих времен, когда уйдет в прошлое этот режим, когда вернется настоящая политика. Вот тогда мы, может быть, разойдемся.

В заключение о том, почему меня разочаровывает якобы слияние демократов, объединение в коалиции и так далее. Каждое такое слияние, насколько я могу судить, создает своего рода коллективного сектанта. Вы смотрите, я похвалил, было, Лимонова, который изменился, а ребята которого славное дело делают. Но Лимонов вдруг, к моему величайшему сожалению, заявил, что будет выставять себя кандидатом в президенты и никого другого поддерживать не будет, потому что это будут его соперники. То есть Лимонов, которого я хотел приблизить и к «Яблоку», и к «Солидарности», откололся.

Неудачно и раскольнически, на мой взгляд, ведет себя «Яблоко». Я был долгое время очень дружен с Григорием Алексеевичем Явлинским и сейчас отношусь к нему как к человеку по-дружески. Я с ним не ссорился, мы просто разошлись по некоторым тактическим политическим причинам, о которых я не имею времени говорить. Но что нынче делает «Яблоко»?

Насколько мне известно, оно предложило «Солидарности» и ее лидерам вступить в «Яблоко», образовать там фракции, после чего «Яблоко» сможет юридически выступить в поддержку «яблочных» кандидатов, которых выдвинут эти фракции. Учитывая историю взаимоотношений с «Яблоком» и обвинений, часто справедливых, которые были в адрес Григория Алексеевича, на это никто пойти не мог. Это было неумно, по меньшей мере, о чем я при возможной встрече скажу Григорию Алексеевичу в лицо. Надо было бы поступить иначе. Надо было сказать: вы, наши соратники по оппозиции, выдвигаете своих кандидатов, а мы, «Яблоко», всюду их будем официально поддерживать, как если бы они были нашими кандидатами.

Нам еще предстоит стать действенными активными либералами. Выходы на Триумфальную площадь, на мой взгляд, как и другие подобные чисто демонстративные акции, устарели. Так когда-то диссиденты собирались у памятника Пушкину. Бездейственны и отвлеченные общедемократические лозунги. Они не привлекают и не скоро вновь привлекут подавляющее число граждан. Все это нужно продумывать и решать заново.

Удастся ли это людям моего поколения, я не знаю. Но я желаю удачи более молодым и замечательным.

Игорь КЛЯМКИН: Спасибо, Леонид Михайлович, за интересное выступление. Очень трудно обеспечить соблюдение демократической процедуры в либеральной среде. Идея регламента ей противопоказана. И то, что его несоблюдение ведет к тому, что не все желающие получают возможность высказаться, нас, к сожалению, не волнует.

Игорь Чубайс, пожалуйста.

Игорь ЧУБАЙС (директор Центра по изучению России Российского университета дружбы народов): «Настоящая, работающая, а не деструктив-

ная демократия — это та, которая подчинена высшим ценностям — подчинена Богу, морали, человеку»

Мне было сегодня очень интересно. И, будь больше времени, я бы охотно с каждым поспорил. Любопытно, что в либеральном фонде собираются совершенно разные люди: если из их выступлений выстраивать концепции, то эти концепции не совпадут.

Не думаю, скажем, что все присутствующие согласны с Борисом Надеждиным насчет того, что «Единая Россия» проиграла последние выборы и что ее будущее, в отличие от нашего, не светлое. Это ведь не совсем так. Наверное, не все обратили внимание на выступление Сергея Миронова по радио «Свобода». Он произнес, цитирую почти дословно, следующую характерную фразу: только Путин может удержать эту страшную гидру «Единой России». Он, Путин, специально в нее не вступил, так как знал, что это такое, и теперь в борьбу с ней вступит «Справедливая Россия».

Иначе говоря, новая нанайская игра. Борьба двух партий, противостояние ЕР и СР — это розыгрыш. ЕдРо, мол, отработанный хлам, теперь ждите в гости «Справедливую Россию».

Но пока этот «хлам» определяет нашу жизнь. Фактически на наших глазах вернули отмененную 6 статью Конституции без всякого на то основания. 10 миллионов москвичей — нас всех — по факту объявили большим стадом баранов, которым, по мнению властей, не следует решать, кто же будет их мэром. Это руководящая партия решает...

А то, что думают какие-то там люди, ее не волнует. Я два месяца работаю на радио «Русская служба новостей» и недавно, когда только начинались эти душевные игры вокруг Лужкова, провел голосование слушателей, предложив им выбирать главу города не из номенклатуры, а из гражданских активистов. Среди них назвал и Евгению Чирикову. И 63 процентов слушателей проголосовали за нее!

Два слова хочу сказать Борису Игоревичу Макаренко, моему зеркальному тезке (я — Игорь Борисович), который вспомнил известную формулу: «Во всем виноват Чубайс». Так вот, я бы лично не переживал, если бы про меня такое сказали. Потому что эта формула — удачно найденный пиарщиками сильнейший рекламный ход. Ведь она высмеивает и сжигает любую критику! Она делает невозможным предъявление каких бы то ни было конкретных претензий власти (а серьезнейших претензий — ох, как много!). Это попадание в пропагандистскую десятку, но, конечно, именно в пропагандистскую.

Мне было интересно слушать Михаила Краснова, но я при этом пришел вот к какому выводу. Конечно, закон и право — вещи разные, что, по-моему, достаточно хорошо известно. Ведь и в III Рейхе на все были законы, но это самый неправовой режим XX века. Но если либерализм трактовать так, как Михаил Александрович, то мы придем к тому, что мораль и Бог, а не свобода, являются высшей ценностью.

Иначе говоря, христианская демократия не просто справедлива, но и несравненно выше либерализма. Настоящая, работающая, а не деструктивная демократия — это та, которая подчинена высшим ценностям. Подчинена Богу, морали, человеку. В абстрактной же либеральной демократии требуют и получают особые права инвалиды, этнические и сексуальные меньшинства, которые затем все и разрушают.

Игорь КЛЯМКИН: Ну да, особенно инвалиды — сплошные от них разрушения...

Игорь ЧУБАЙС: И, наконец, о выступлении основного докладчика, Алексея Кара-Мурзы. Я с огромным интересом его послушал и хотел бы сказать следующее.

И Грановский, и Муромцев — уникальные фигуры. Грановский в той России, которую любят «пинать» некоторые демократы, был своеобразным Сахаровым. Как пишут историки, лекции, которые он читал в небольшой аудитории МГУ, разлетались цитатами на всю Москву. То, что он говорил, становилось достоянием всего города. Вот такая фигура у нас была. И Алексей Алексеевич, на мой взгляд, совершенно справедливо переживает по поводу того, что мы забыли и Грановского, и Муромцева.

Но меня интересует в этой связи и более общий вопрос. Неужели не ясно, что у нас вообще нет истории XX века? Вся она цензурирована и отфильтрована. У нас в Москве есть названия сотни улиц, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, и нет ни одного памятника Первой мировой войне. Я думаю, многие были в Лондоне, в Париже и видели, как в центральных районах этих городов увековечена память о Первой мировой. А у нас ничего такого просто нет.

Все самые великие книги по русской истории были написаны более 100 лет назад: книги Карамзина, Соловьева, Ключевского. Они издавались и переиздавались даже в СССР. И теперь переиздаются. А где же советская история? У нас нет не только памяти о Грановском и Муромцеве, у нас нет истории собственной страны в XX веке. По-моему, нужно работать на то, чтобы вернуть свою историю, восстановить ее.

Игорь КЛЯМКИН: Есть история российского XX века, вышедшая под редакцией Андрея Борисовича Зубова. В ее написании участвовал, кстати, и Алексей Кара-Мурза...

Игорь ЧУБАЙС: Я говорил об исторической памяти в широком смысле слова, а не только о книжках. И еще мне кажется важным уметь вписать историю в современность.

Простой пример приведу. Пару лет назад наша бюрократия решила вернуть в школу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Ведь ей, бюрократии,

и теперь нужны люди, из которых можно выжать все соки, которые готовы погибнуть за власть. И вот один неглупый человек написал: очень хорошо, если эту книгу вернут в школьную программу, потому что сегодня прочитавшие «Как закалялась сталь» станут, скорее всего, Че Геварами и сбросят авторитарный режим. То есть, повторяю, историю надо не только знать, но и уметь вписать в современность.

Если время позволяет, я хотел бы еще...

Игорь КЛЯМКИН: К сожалению, не позволяет. Надеюсь, Вы никому не будете жаловаться, что Вам не дали высказаться до конца. Слово — Юрию Николаевичу Афанасьеву.

Юрий АФАНАСЬЕВ (историк, публицист): «Быть сегодня либералом — значит квалифицировать нынешнюю российскую власть так, как она того заслуживает»

Я, как и многие выступившие до меня, благодарен нашему главному докладчику за то, что он осветил эту очень важную тему. И я вполне разделяю его мысль о том, что и либералы в России были, и либеральная мысль в России была. Но что касается сегодняшнего дня, то я считаю, что либерализма как некоей силы, как некоего движения в России нет. В этом смысле я с Леонидом Баткиным согласен. Я имею в виду либеральную силу как некое консолидированное сообщество единомышленников, которая бы объединялась с какой-то общностью в трактовке основных проблем современной России и ее прошлого. Между тем на роль такой силы, как мне кажется, могла бы претендовать «Либеральная миссия», благодаря которой мы здесь сегодня собрались.

Потому что «Либеральная миссия» делает прекрасные дела. Она собирает такие форумы, как сегодняшний, проводит обсуждения очень важных вопросов, ведет издательскую деятельность, за которую, мне кажется, не только современники, но и будущие поколения будут ей благодарны, сотрудничает с Высшей школой экономики — прекрасным вузом, отличным университетом. Вокруг «Либеральной миссии» объединяется огромное количество прекрасных профессионалов, специалистов своего дела, превосходных людей, бесспорных с точки зрения своих позиций и убеждений.

Все это и позволяет мне говорить, что «Либеральная миссия» могла бы быть такой интеллектуальной общественной силой, о которой идет речь. Однако «Либеральная миссия» такой силой не стала, такой силы в России все еще нет. И я назову только две причины того, почему этого не происходит (может быть, есть и другие причины, но две — главные).

Первая причина, возможно, заключается в том, что «Либеральная миссия» как некое интеллектуальное сообщество не дает реалистичного взгляда на происходящее в России, на то, что представляет собой Россия сегодня. Много

разных и глубоких точек зрения о происходящем в разных областях жизни: и в экономике, и в политике, и в социальной сфере. Но что же все-таки представляет собой Россия? В какой точке она находится на кривой мировой истории и истории своей собственной? К сожалению, от этого вопроса все — в том числе и Евгений Григорьевич Ясин, который на «Эхе Москвы» давно уже ведет программу «Тектонический сдвиг», — старательно уходят.

А Россия представляет собой картину совершенно, как мне кажется, очевидную — картину деградирующего общества. Можно сказать и более жестко: она представляет собой уходящую с исторической сцены цивилизацию или уходящий тип культуры. Эта оценка может быть слишком жесткая, но что касается деградации российского общества, усиливающейся энтропии в нем, то, мне кажется, все это совершенно бесспорно, и имеет место в экономической, политической, правовой и нравственной сферах — в каждой в отдельности и во всех вместе.

Надо не только признать это, но и говорить об этом. Потому что я убежден, что такая деградирующая Россия, как умирающий тип культуры, представляет огромную опасность не только для ныне живущих и тех, кто будет жить здесь после нас. Она представляет колоссальную опасность и для Европы, и для всего мира. И только консолидированное мнение уважаемых людей из разных сфер науки (экспертов, опытных, профессионалов, историков, экономистов, социологов, психологов), их обращение ко всем ныне живущим, может быть, могло бы каким-то образом способствовать изменению ситуации.

Я имею в виду не то, что Россию в ее нынешнем виде надо спасать. Спасти ее нельзя. Как тоталитарное, авторитарное, самодержавное государство, она умрет неизбежно, уйдет с исторической сцены. И стремиться сохранять ее в таком качестве нет необходимости. Речь идет о том, чтобы Россию изменить по существу.

Что это означает? Это означает, что изменить предстоит тип культуры. Возможно ли, однако, такое в принципе? Это сложный вопрос, на который я отвечать не собираюсь. Ответ на него очень труден, потому что в мировой практике ничего подобного не было. Было два случая изменения культурной парадигмы в наше время: послевоенные Германия и Япония. Но это оказалось возможным в условиях оккупации и насильственной смены той парадигмы, которой придерживались эти страны. Кто-то, быть может, назовет еще и Турцию. Других же примеров такого рода, по-моему, нет.

Но если так, что же это все-таки значит — быть в современной России либералом? Думаю, что это прежде всего означает реалистичное признание положения, в котором Россия пребывает. Признание со стороны интеллектуального сообщества, на знамени которого написано «Либеральная миссия». Этого, с моей точки зрения, сегодня не наблюдается.

Второе, на чем я хочу остановиться, — отношение к нынешней власти. Еще

раз сошлюсь на Евгения Григорьевича, который иногда называет ее «мягким авторитаризмом». Я не согласен именовать ее ни мягким, ни жестким, ни средней жесткости авторитаризмом. Я считаю, что эти определения не просто ничего не дают, а уведут мысль далеко в сторону от предмета рассмотрения. Современная российская власть, с точки зрения ее античеловечности, превосходит и нацистскую власть Гитлера, и тоталитарную власть Сталина. Притом что формы, которые она использует, категорически и решительным образом изменились. То есть нет массовых репрессий, нет ГУЛАГа, нет той степени произвола, который был допустим при Сталине. Но нужно ли все это в наше время, если вполне достаточно для достижения тех же целей, которым служил ГУЛАГ, и массовой серии заказных точечных убийств?

Эту власть надо квалифицировать, с моей точки зрения, именно так, как она того заслуживает. И только это есть необходимейшее условие для того, чтобы называться либералом. В чем человечность? Не в перечисленных Владимиром Рыжковым пунктах, которые совершенно бесспорны. Но ведь суть всех этих пунктов в чем? В том, что население России исключено не только из политической, но и из экономической жизни. Власть лишила людей главного — возможности быть человеком, быть личностью. Она зачистила Россию, сделав политическое поле своей монопольной собственностью, и она не дает никакой возможности свободно участвовать не только в политической, но и в экономической жизни.

Я знаю, конечно, что есть бизнесмены, есть коммерция, что многие люди преуспевают, причем очень даже преуспевают, я знаю, что состояние людей улучшилось, причем количество этих людей исчисляется не тысячами, не десятками и даже не сотнями тысяч, а миллионами, быть может, и не одним десятком миллионов. Но при этом общество может деградировать, при этом энтропия его может усиливаться. Что, собственно говоря, и происходит. Потому что участие в коммерции предполагает некий торг. Человек что-то продает, от чего-то отказывается. Как правило, он лишается человеческих качеств и в первую очередь потребности в свободе.

Евгений Григорьевич, я отношусь к Вам с огромным уважением, я ценю колоссальные заслуги «Либеральной миссии». Но я не был бы самим собой, если бы не сказал, что «Либеральная миссия» является таковой только по интенции и только по намерениям. Что же касается фактического положения, то она своему названию совершенно не соответствует.

Евгений ЯСИН (президент Фонда «Либеральная миссия»): Позволю себе ответить сразу же. И я с большим уважением отношусь к Вам, Юрий Николаевич. Но то, что Вы нам предлагаете, могут делать только отдельно взятые люди или политические партии. Мы, «Либеральная миссия», не являемся ни отдельно взятым лицом, ни партией. Поэтому я с Вами не согласен. Что касается позиции, которую Вы изложили относительно состояния России и нынешней вла-

сти, то она для нас вовсе не новость и многократно была представлена в наших изданиях и на нашем сайте. Хотелось бы, чтобы у нас была еще возможность на эту тему поговорить. Но — в другое время.

Игорь КЛЯМКИН: Филиппов Петр Сергеевич, пожалуйста.

Петр ФИЛИПPOB (президент Ассоциации независимых профессионалов, председатель экспертного совета Санкт-Петербургского Фонда «Международный институт развития правовой экономики»): «Я призываю вас к практическим действиям: делайте, что должно!»

Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что по результатам наших фокус-групп, проводившихся в Петербурге, у людей — как имеющих какие-то политические воззрения, так и их не имеющих, можно сказать, обывателей — самый большой отклик вызывает тезис о необходимости противостоять произволу, с которым они сталкиваются. Им близок тезис о верховенстве права. Я подчеркиваю, что люди, даже высказывающие коммунистические убеждения, готовы идти вместе с нами в одной колонне. Поэтому именно под этим лозунгом надо объединять людей в попытке модернизировать страну.

Вот я вижу на столе книгу Гайдара, в которой Егор Тимурович очень справедливо отмечает, что за три дня до ГКЧП никто не мог представить, что союзное правительство скоро окажется в тюрьме. Не было таких представлений. Значит, наш лозунг должен быть прост: «Делай, что должно, а дальше как получится». Но в этом отношении потенциал, который есть у либеральной интеллигенции, используется далеко не на полную мощность. Элементарная арифметика. Посмотрите, сколько сайтов сталинистских. Огромное количество. А сколько сайтов противостоящих, ориентированных на молодежь? Один, два, три и все.

Недавно мы участвовали в саммите гражданского общества по противодействию коррупции. И выяснилось, что ключевая проблема в России сегодня в том, что люди боятся делать заявления, боятся быть информантами по фактам коррупции, по ее проявлениям. Наши коллеги из Владимира, которые занимаются практической деятельностью, отработали и реализовали методику, когда вместо наших трусливых сограждан выступают некоммерческие организации. Блестящая методика, которую нужно распространять. Такую практическую работу вести труднее, чем сетовать на жизнь или отрываться общими разговорами.

Другая сфера, где мы являемся аутсайдерами, и где требуются изменения. Есть такой институт права, как защита интересов неопределенного круга лиц, то есть защита общественных интересов. В России простой гражданин иск в защиту общественных интересов подать не может. Так сделано законодательство. Но когда мы пытаемся найти юристов, работающих по этой теме и спо-

собных сформулировать предложения по реформированию законов, то таких не находим. Некому заказать на эту тему даже статью в сборник по проблемам модернизации нашей страны.

Я вспоминаю 1992–1993 годы. Тогда я был депутатом Верховного Совета, и мне приходилось работать над законами о приватизации. Было поразительно, что и тогда люди были готовы произносить лозунги, но когда дело доходило до формулировки конкретной статьи, «уходили в кусты». Сейчас та же самая история.

Посмотрите, насколько лучше нас оказались в свое время польские либералы, которые в годы, предшествующие падению социалистического строя, сумели привнести в новое поколение иное понимание мира. Конкретное понимание того, что должен регулировать закон, каково должно быть его применение, как это реализовано в развитых странах. Я и призываю вас к практическим действиям: делайте, что должно! Если у вас хватит сил завести блог в интернете, хорошо. А если сайт на актуальную тему на двоих или на троих делаете, то люди скажут вам спасибо.

Игорь КЛЯМКИН: Очень важные вещи говорил, мне кажется, Петр Сергеевич. В нашей культуре — по крайней мере, если иметь в виду либералов, — очень слабо развито начало конструктивности, начало проектности. К этому вопросу я еще вернусь.

Следующий — Иван Стариков.

Иван СТАРИКОВ (член Федерального политсовета движения «Солидарность»): «В 2003 году мы пытались заключить контракт с дьяволом»

Борис Надеждин, к сожалению, ушел...

Игорь КЛЯМКИН: Он сделал свое дело — сказал, что хотел, и ушел.

Иван СТАРИКОВ: Жаль, мне было что сказать ему в ответ. Замечу только, что его предложение насчет совмещения участия в Маршах несогласных и в Стратегии-31 с походами в Кремль — это вопрос личной политической гигиены.

Я хочу отреагировать на реплику Игоря Моисеевича Клямкина по поводу проигрыша СПС парламентских выборов 2003 года. Действительно, упустив тогда шанс, нам потом надеяться было уже не на что. В чем была причина этого?

Мы тогда с Алексеем Алексеевичем Кара-Мурзой были в той партии, в ее Политсовете, на заседаниях которого всерьез обсуждалось: «Ну как же мы будем против Путина?» Имелось в виду, что две трети наших сторонников, особенно бизнес, его поддерживают, поэтому в оппозицию мы не пойдем. Я спрашивал: как же вы будете объяснять избирателям, что вы на две трети поддер-

живаєте Путина, а на одну треть не поддерживаете? И при этом почти всегда оказывался в меньшинстве. Поэтому исход для нас тех выборов был предreshен нами самими. Очень точно, на мой взгляд, подобную ситуацию выразил Игорь Губерман:

*Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови — по грязи — во тьму.*

Конечно, такое наше поведение было задано властью, но каждый заслуживает того, на что соглашается. У нас ведь был уникальный шанс, Леша, — это я к Кара-Мурзе обращаюсь. 25 октября 2003 года в Новосибирском аэропорту был арестован Михаил Ходорковский. И вместо того, чтобы сделать это событие политическим лейтмотивом кампании, мы послушно «прекратили истерику» по отмашке из Кремля и начали братоубийственную войну с «Яблоком». Мы тогда пытались подписать своего рода контракт с дьяволом самодержавной власти, продав свою душу. В итоге и без души остались, и, с точки зрения личной политической гигиены, «грязнулями» полными оказались. К тому же в Думу в результате так и не попали. А потом еще совершили и меркантильное самоубийство, распустив «Союз правых сил».

Что же делать сейчас? Я не думаю, что опыт Муромцева и других либералов начала XX века не имеет к нам никакого отношения — здесь я с Леонидом Михайловичем Баткиным не согласен. Более того, мы еще не извлекли из того опыта необходимые уроки.

Февральская революция 1917 года не привела в итоге к утверждению демократии, созданию в России европейского государства. Почему? Да в том числе потому, что либералы того времени, как и сейчас, не сумели объяснить народу смысл либерализма, его связь с жизненными интересами населения. А без этого какая может быть у либералов политическая миссия?

И, наконец, последнее. В своей лучшей книжке «Долгое время» Егор Тимурович Гайдар написал, что построить в России демократию очень трудно, если понимать ее не как муляж, который нам пытаются сейчас представить под видом демократии. Но эту задачу все равно придется решать. Ведь мы живем в XXI веке, когда характер общества очень сильно изменился. В том числе благодаря новым источникам информации. Вы посмотрите, что происходило в интернете, когда Путин ехал на этой «канарейке», какой стоял хохот миллионов пользователей. И именно этот изменившийся характер общества и происходящие в нем процессы не оставляют шанса на сохранение недемократических режимов. Господин Филиппов прав, говоря о том, что обвал нынешнего режима может произойти лавинообразно. Внутренней скрепы у него нет.

Игорь КЛЯМКИН: Но отсюда еще не следует, что обвал будет сопровождаться утверждением либеральной демократии. Население, как справедливо заметил Иван Стариков, плохо представляет себе ее связь со своими жизненными интересами. К тому же о демократии значительные его слои судят по опыту 1990-х годов, и потому суждения эти, мягко говоря, не всегда позитивные. Предстоит объяснять людям, что при либеральной демократии они еще никогда не жили, и я не думаю, что это — простая задача. К тому, что вне его опыта, массовый человек невосприимчив.

Александр Мадатов, пожалуйста.

Александр МАДАТОВ (доцент Российского университета дружбы народов): «Перспектива российского либерализма просматривается уже в том, что и представители властных структур не могут обойтись без апелляции к либеральным принципам»

Я тоже хотел бы присоединиться к благодарностям в адрес Алексея Алексеевича Кара-Мурзы за его интересное выступление. В свете того, что он рассказал о двух крупнейших представителях российского либерализма, можно сопоставить миссию либералов прошлого и настоящего. При подобном сопоставлении, на мой взгляд, выясняется, что главное, что объединяло и объединяет российских (а может быть, не только российских) либералов во все времена — это ответы на вызовы с либеральных позиций, то есть с позиций идеалов свободы.

Отсюда вытекает еще одно сходство в миссии российских либералов прошлого и настоящего. Это — просвещенческая миссия, о чем было сказано в выступлении господина Филиппова, хотя само это слово им не упоминалось. Другой вопрос: как и какими средствами реализуется эта миссия?

Мы часто задаемся вопросами типа: «Есть ли либерализм в России?», «Что представляет собой либерализм в России?», «Каковы перспективы российского либерализма?» Но чтобы ответить на них, предварительно целесообразно ответить еще на один вопрос: «О каком либерализме идет речь?». Ведь либерализм в истории всех стран, в том числе и западноевропейских, всегда был неоднороден. В истории же России к либералам относят не только С.А. Муромцева, но и М.М. Сперанского, М.Т. Лорис-Меликова, С.Ю. Витте и даже П.А. Столыпина. Потому что столыпинская реформа, если говорить об ее экономических целях, была либеральной. Между тем в установках между либералами-практиками (будь то Сперанский или Лорис-Меликов), либералами из среды университетских профессоров, писателей и литературных критиков, стоящих на либеральных позициях, имели место существенные различия.

То же самое относится и к современным российским либералам. У нас есть либералы-технократы (А. Чубайс, С. Кириенко, Н. Белых), которые и сейчас при-

существуют во властных структурах, то есть востребованы властью. Другое дело, в каком качестве они нужны власти. Здесь хотелось бы сослаться на книгу Лилии Шевцовой «Россия, потерянная в переходном периоде», где специальная глава посвящена либерал-технократам. Эта книга вышла на английском языке («Russia lost in transition»), и указанная глава названа «Либерал-технократы как украшение». И вот вопрос: являются ли вышеназванные деятели либерального толка лишь декоративным украшением? Либо это либералы-практики, востребованные властью?

Далее, наряду с либерал-технократами, существуют и либералы-правозащитники; яркий пример — Сергей Адамович Ковалев. И подобных примеров, связанных с различиями среди современных российских либералов, можно привести много. Здесь уместно упомянуть и Фонд «Либеральная миссия». Все это свидетельствует не о том, что в России нет либералов, а о том, что они все-таки не консолидированы. Причин здесь много.

Игорь Моисеевич Клямкин поставил вопрос о том, почему в 2003 году, когда условия были более благоприятные, чем позднее (и намного благоприятнее, чем сейчас) либеральные партии потерпели поражение. На этот вопрос Иван Стариков дал свой ответ. Я же, тоже немного зная ситуацию изнутри, так как состоял тогда в СПС, могу сказать, что главной причиной поражения СПС на выборах была бездарная избирательная кампания самой партии. Что же касается выборов 2007 года, то решающую негативную роль в ее поражении сыграли давление власти, административный ресурс и откровенная травля, развернувшаяся тогда против СПС.

Но перспектива у российских либералов все же есть. И об этом косвенно свидетельствует хотя бы то, что и сами представители власти — в том числе отдельные лидеры «Единой России» — время от времени говорят либеральным языком. Даже если либеральные пассажи со стороны представителей современной правящей элиты звучат неискренне, то это все равно говорит о том, что и представители властных структур не могут обойтись без апелляции к каким-то либеральным принципам.

И еще мне хотелось бы остановиться на проблеме, поднятой в очень интересном выступлении Михаила Краснова насчет достоинства, правового государства, свободы и демократии. Вряд ли эти вещи нужно противопоставлять. В истории политической мысли вплоть до настоящего времени некоторые авторы постоянно возвращаются к вопросу о совместимости демократии и либерализма. И в теории, и на практике демократия может принимать различные формы. Демократия всегда таит в себе угрозу (потенциальную или реальную) тирании большинства. Поэтому необходимо понимать, о какой демократии идет речь.

Только демократия либеральная, гарантирующая права и свободы личности (в том числе и от произвола большинства), может быть благом. Об этом в свое время обстоятельно писали просветители XVIII–XIX веков (Д. Мэдисон,

А. де Токвиль и другие). На эту сторону дела специально обращал внимание и русский мыслитель П.И. Новгородцев.

Игорь КЛЯМКИН: Уверен, что Михаил Александрович Краснов спорить с этим не станет. Сделав акцент на достоинстве и праве, он как раз и хотел, насколько понимаю, сказать, что демократия благо лишь тогда, когда она либеральная.

В списке записавшихся на выступление остался только Валерий Кизилов. Пожалуйста, Вам слово.

Валерий КИЗИЛОВ (экономист, культуролог): «Либералам предстоит преодолеть две политические крайности, одну из которых олицетворял Павел Милюков, а другую — Егор Гайдар»

Коллеги, я считаю, что Грановский и особенно Муромцев для нас сегодня важны и актуальны хотя бы потому, что с именем Муромцева связан самый большой политический успех, который либералы имели когда-либо на выборах в России. Это были выборы в первую Государственную думу, которые выиграли кадеты, и председателем которой стал Муромцев. На этом стоит немного остановиться, потому что это были первые (хотя и цензовые) выборы с всеобщим избирательным правом, и на них победили не социалисты, не монархисты, а именно кадеты, то есть тогдашняя либеральная партия.

Этот успех никогда больше либералы в России не повторяли, сейчас они к этому тоже не близки. Но и тот успех, что тогда был, обернулся в итоге поражением и, по-моему, важно кое-что сказать о причинах этого и последующих поражений. А также о том, как наше либеральное движение их осмысливало и осмысливает.

Тут существуют два основных подхода. Первый из них связан с попыткой найти причины вне либерального движения. В том, что народ в России неправильный, что у нас «не та» культура либо «не та» история страны, либо «не та» география. Или в том, что у либералов слишком сильные и злые оппоненты. А сторонники второго подхода исходят из того, что главная причина — внутри либерального движения.

По-моему, идея искать причины поражения вне либерального движения тупиковая. Она неизбежно выводит нас на такие риторические ходы, которые здесь справедливо критиковались как ненужное противопоставление либералов народу. Ну и, кроме того, есть много исторических примеров, когда культуры и общества, которые были либерализму чужды на протяжении всей своей истории, внезапно резко менялись именно в этом направлении. Вот посмотрите, что в Грузии сейчас происходит, или что происходило в Тайване во второй половине XX века.

Что касается внутренних причин поражений либералов, тут можно о двух важных вещах говорить. Первая — способность точно воспринимать сложив-

шуюся ситуацию и заключать правильные альянсы. Что произошло с тем же Муромцевым? Как мы знаем, Первая дума была распущена, в ответ ее депутаты подписали Выборгское воззвание, призвав народ к неуплате налогов и уклонению от призыва в армию. Но оно не имело результата, оно окончилось ничем. Самая популярная партия, которая отражала интересы большинства, ни финансовым бойкотом, ни чем иным не смогла противостоять авторитарному режиму. Почему? А потому, что незадолго до этого был заключен займ, Витте занял денег во Франции для царя, и отлично они обошлись и без налоговой базы в течение какого-то времени. А перед этим тот же Витте, будучи премьер-министром, предлагал кадетам нечто вроде альянса, который был отклонен. И так получилось, что партия кадетов до последнего дня монархии боролась против нее, а в результате вырастила себе губителей слева.

А наша новейшая история противоположный пример показывает. Партия, которая называлась «Демократический выбор России», всегда боялась как-то противопоставлять себя власти, практически никогда не выдвигала по отношению к ней никаких условий поддержки, и в результате полностью была съедена ею, о чем здесь тоже напоминали. Обе эти противоположные политические крайности, которые, с одной стороны, Милюков олицетворяет, а с другой — Егор Гайдар, оказались неудачными. Надо, следовательно, искать какую-то середину.

Если же говорить в общем плане о миссии либерала, то она предполагает понимание того, что значит быть либералом и ощущать приверженность именно тем принципам, на которых основан либерализм. Не надо думать, что либерализм — это такая позиция, которая за все хорошее. Что в мире или в каких-то его частях царит либеральная политика. Нет, это не так.

Либерализм — это конкретная философская идея, которая основана на индивидуализме, на представлении о том, что человек лучший судья в своих интересах, о том, что априорно каждый человек не имеет обязанностей по отношению к другим за исключением соблюдения их прав собственности и личной неприкосновенности. Но современный мир, на который мы ориентируемся, ушел от этого достаточно далеко. Мы все знаем, что в западных демократических странах есть и политическая цензура, и ведомство, которое решает, чем должны люди питаться, чтобы не повредить своему здоровью, и так далее. Не говоря уже о государственном контроле над экономикой. Поэтому если мы действительно хотим иметь понятие о миссии либерала, необходимо тверже быть в осознании того, в чем состоят либеральные ценности.

Игорь КЛЯМКИН: «Нашей культуре, включая и ее либеральный сегмент, свойственна институциональная беззаботность»

Спасибо, Валерий. Анализ Ваш показался мне интересным, но суть рекомендации я не уловил. Все, кто хотел, выступили. Позвольте и мне высказать свое

мнение по обсуждавшемуся вопросу.

То, что сказал Юрий Николаевич Афанасьев, желательно обсудить отдельно. Поэтому я предлагаю ему выступить у нас и более подробно рассказать о том, чем, по его мнению, следовало бы заниматься «Либеральной миссии». Если он, конечно, не возражает.

Юрий АФАНАСЬЕВ: Не возражаю.

Игорь КЛЯМКИН: Очень хорошо. В ближайшее время мы это сделаем⁵⁴.

Если говорить о миссии либералов, то она, насколько понимаю, заключается в том, чтобы дать свои ответы на проблемы, стоящие перед Россией. Главная же проблема, и с этим, похоже, большинство из нас согласно, заключается в архаичной государственной системе, ее неспособности обеспечить развитие страны. Соответственно, речь должна идти о выдвижении альтернативы этой системе. И я осмелюсь заявить, что такой альтернативы до сих пор не предложено. Она не проработана на интеллектуально-экспертном уровне, а потому туманно выглядит и в политических программах и декларациях.

Да, постоянно звучат призывы типа того, что нужна экономическая и политическая конкуренция, нужны честные выборы, нужны независимый суд и свободные СМИ. Но я пытаюсь представить себе ситуацию, на сегодняшний день фантастическую, что либералы, получив мандат от избирателей на проведение их идей в жизнь, оказались вдруг у власти. И, честно говоря, затрудняюсь ответить на вопрос, что и как они будут делать. У меня есть опасения, что при этом произойдет не преобразование архаичной системы, а всего лишь смена в ней одних лиц на другие.

Чтобы заменить власть персон властью демократически-правовых институтов, надо отчетливо представлять себе, как эти институты должны быть устроены. На сей счет существуют цивилизационные стандарты, обычно именуемые европейскими, но в России они до сих пор обществу не предъявлены. Как конкретно должна быть устроена судебная система, как конкретно должен быть устроен государственный аппарат, как конкретно должно обеспечиваться противодействие коррупции, — на эти и многие другие вопросы ответов нет. В том числе и потому, что никто не задается самими вопросами.

Нашей культуре, включая ее либеральный сегмент, свойственна институциональная беззаботность. В свое время известный монархист Лев Тихомиров

54 Обсуждение должно было состояться 20 февраля 2011 года. Юрий Афанасьев подготовил к нему письменный текст доклада, который 16 февраля был размещен на сайте «Либеральной миссии» (<http://www.liberal.ru/articles/5114>). Но в последний момент Юрий Николаевич заболел и встречу отменил. В итоге она так и не состоялась, а Афанасьев прочитал свой доклад о «Либеральной миссии» в нескольких передачах радио «Свобода». Ответ Игоря Клямкина Юрию Николаевичу был опубликован на нашем сайте 22 февраля 2011 года (<http://www.liberal.ru/articles/5120>).

писал о том, что слабость российского самодержавия обусловлена тем, что никто не думал о том, как оно должно быть устроено. Сменившие царей большевики шли к власти, думая только о ней, о власти, а не об ее институциональном обеспечении. Результатом стала новая версия самодержавия. Потом тот же путь проделали российские демократы — им важно было привести к власти «своего» Ельцина, а не создать институты, позволяющие демократии быть демократией. Результат нам сегодня тоже хорошо известен. А что предлагается, чтобы изменить положение? Да опять-таки ничего, кроме замены «плохого» Путина «хорошим» Медведевым.

Похоже, не только свой, но и чужой опыт для нас ничего не значит. Когда начинаешь говорить, например, о том, как выстраивалась система демократически-правовых институтов в посткоммунистической Восточной Европе, то обычно слышишь в ответ, что «их опыт не для нас, так как они другие». Они, конечно, другие, кто спорит. Но если пример восточноевропейских стран (тоже, кстати, очень разных) нам не указ, то это свидетельствует о нашем сохраняющемся пребывании в состоянии институциональной беззаботности. Правда, слова о важности институтов мы уже выучили, но думать о том, как они должны быть устроены, нам по-прежнему неинтересно.

Опыт институционального творчества в странах Восточной Европы не локален, а универсален. Он универсален в том смысле, что представляет собой последовательное, растянувшееся на пять-семь лет, а то и больше, движение к европейским цивилизационным стандартам как к определенной цели. И если он не для нас, то для нас, следовательно, более подходящим является очередной «особый путь» к не менее особой собственной цели. От этого вывода, разумеется, пытаются увильнуть, но такое увиливание наводит совсем уж на грустные мысли. Подобный сознательный или бессознательный самообман неизбежно влечет за собой обман других.

Евгений ЯСИН: Но есть же еще и проблема адаптации универсальных стандартов к специфике конкретной страны...

Игорь КЛЯМКИН: Да, есть. Но проблема именно в адаптации стандартов, а не в их имитации посредством переодевания российской архаичной специфики в универсальную европейскую форму, как у нас сплошь и рядом делается. У нас первичны не стандарты, а именно специфика, следование которой ведет не к адаптации, а к деформации этих стандартов. Скажем, действующая российская Конституция создавалась вроде бы по французской модели, но данная модель была откорректирована таким образом, что стала правовым оформлением обновленной версии русского самодержавия. Или, что то же самое, обновленной версией российского «особого пути».

Наша институциональная беззаботность сказывается буквально на всем.

Она проявляется, в частности, и в нашем отношении к отечественному прошлому. Я опять-таки представляю себе гипотетическую ситуацию, когда кто-то из нынешних либералов становится министром образования. И я не могу себе представить, как он будет решать вопрос об учебниках российской истории.

Ведь если и в данном случае руководствоваться европейскими институциональными стандартами, то в нашем прошлом придется обозначить тенденции, свидетельствующие о движении к этим стандартам. Но, как показывают последние дискуссии в «Либеральной миссии», по данному вопросу в нашей среде существует множество несовместимых подходов. Кто-то предлагает вести отсчет российской европейскости от Киево-Новгородской Руси, кто-то — от Ивана III, кто-то — от Петра I, кто-то — от Екатерины II, и это еще далеко не полный перечень. А если посмотреть телешоу «Суд времени», то напрашивается вывод о том, что и авторы этой передачи, и люди, представляющие в ней позицию либералов, о европейских тенденциях и каких-то системных вещах, за редкими исключениями, не думают вообще.

Они предпочитают спорить о лицах, а не о государственных системах и институтах. Предпочитают доказывать, например, что Троцкий лучше Сталина. Или, скажем, что Иван Грозный был душевнобольной злодей. Нетрудно понять, какое историческое сознание хочет сформировать у наших сограждан сторона, оппонирующая либералам. Она хочет сформировать сознание, благосклонное по отношению к неевропейской государственной системе. А чего хочет другая сторона?

Судя по всему, она не всегда даже задается этим вопросом. В той же передаче об Иване Грозном я с удивлением увидел, что либеральную позицию пригласили отстаивать Дмитрия Володихина, известного своим антизападничеством и приверженностью идеалу православной монархии. И он доказывал, что Иван Грозный был злодеем, потому что научился злодейству у европейцев. Наверное, подумал я, такого человека пригласили по неведению. Но на следующий день, когда продолжалась дискуссия на ту же тему, на скамейке либералов я увидел другого монархиста, который журил Грозного за отдельные отступления от монархического принципа. Так порой выглядит сегодня либерализм в том, что касается отечественной истории.

Острейший дефицит концептуальности наблюдается и в отношении к недавнему прошлому, а именно — к 90-м годам прошлого века. Конечно, надо противостоять их огульному охаиванию, тут нет вопросов. Но и некритичная комплиментарность, по моему, не лучше. Это опять-таки ведет к тому, что институциональный подход подменяется персоналистским: Ельцин, мол, хороший, а Путин плохой. И так соблазнительно забыть при этом, что в уже упоминавшейся мной ельцинской Конституции записано, помимо прочего, что президент определяет в России «основные направления внутренней и внешней политики». Это — юридическое оформление доминирования персон над институтами. И это же — предпосылка пренебрежения другими статьями

Основного закона, на что сетовали и Владимир Рыжков, и Михаил Краснов. И не так уж трудно понять, почему Путин на похоронах Ельцина хвалил последнего именно за Конституцию. А вот почему ни одна из либеральных политических сил не выступает с идеей конституционной реформы, понять гораздо труднее.

Реформаторы 1990-х и люди, к ним близкие, говорят обычно, что в конкретных обстоятельствах тех лет было сделано все, что можно, что большее было исторически не дано. Такая самооценка не лишена оснований, но сама по себе она оставляет нас в прошлом, интеллектуальной и политической актуальности она лишена. Для нас важно не только то, что было тогда сделано, но и то, что сделано не было. Мы должны ставить себя в преемственную связь с нерешенными в то время институциональными проблемами. Не была решена ключевая проблема отделения собственности от власти. А проблема утверждения политической конкуренции была в лучшем случае решена лишь наполовину: парламентские выборы Кремлем в те годы не контролировались. Но о выборах президентских сказать этого нельзя.

Меня смущает, что институциональный подход подменяется персоналистским и в оценке неоднократно упоминавшегося здесь Егора Гайдара. Егор Тимурович — историческая фигура, один из немногих в истории России либеральных реформаторов. И очень хорошо, что воздается дань его памяти. Но я не думаю, что Гайдар нуждается в посмертной кумиризации. По отношению к его деятельности преемственность тоже должна распространяться на нерешенные им проблемы, которые остаются с нами и сегодня.

Если либерала Гайдара критически оценивает либерал Илларионов, то, значит, есть повод для дискуссии. Но дискуссии нет. Не завязалась она и сегодня; заявка на нее прозвучала разве что в выступлении нашего молодого коллеги Валерия Кизилова. А такая дискуссия была бы, думаю, лучшим памятником Егору Тимуровичу, чем его кумиризация. И в ней, по-моему, могла бы утвердиться преемственная содержательная связь не только с достижениями 1990-х, но и с оставленными ими проблемами.

Завершая нашу встречу, хочу еще раз поблагодарить Алексея Кара-Мурзу за ее инициирование. Хочу поблагодарить также Владимира Рыжкова, Михаила Краснова и Бориса Макаренко, задавших тон дискуссии, равно как и всех, кто принял в ней участие. Уверен, что к обсуждавшимся сегодня вопросам мы вернемся еще не раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАВЕЛ СОЛДАТОВ

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СУДЕБНИК

Я уже несколько раз выступал на сайте «Либеральной миссии» со своими заметками, навеянными чтением книги Александра Ахиезера, Игоря Клямкина и Игоря Яковенко «История России: конец или новое начало?» (она вышла двумя изданиями в 2005 и 2008 годах). Но одного из главных сюжетов этой книги я до сих пор не касался. И не потому, что он меня не «зацепил». Наоборот, очень сильно «зацепил» — пожалуй, сильнее даже, чем другие сюжеты. Но я понимал, что погружение в него требует большой и длительной работы, на которую я долго не решался. Но со временем все же решился.

Авторы книги рассматривают историю российского государства как циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада страны, видя в этом главную особенность этого государства, его отличие от западных и восточных аналогов. Особенность не только политическую, но и культурную. И возникает естественный вопрос о том, как соотносится она с культурными и другими особенностями *русского народа*.

Можно ли утверждать, что описываемая в книге послемонгольская милитаризация жизненного уклада населения, достигшая крайних форм при Петре I, соответствовала какому-то народному запросу? А сталинская «осажденная крепость» — имела ли она корни в менталитете русских людей? И, наконец, ощущали ли эти люди какую-то разницу между циклами милитаризаций и демилитаризаций?

Главный источник, в котором можно попробовать найти ответы на такого рода вопросы, известен каждому. Это — русские пословицы и поговорки, собранные в свое время Владимиром Далем. Авторы книги на них иногда ссылаются в подтверждение тех или иных своих тезисов. Но вопросами, которые у меня возникли, они не задаются. И этот пробел я хотел бы в меру сил восполнить. Тем более что русские пословицы и поговорки, как мне кажется после довольно основательного ознакомления с ними, не только не опровергают, но и подтверждают концепцию трех авторов, делая ее более конкретной.

Забегая вперед, сразу же скажу, что российское государство, если судить по собранным Далем изречениям, народным сознанием отторгалось. И в милитаристских, и в демилитаризаторских его воплощениях. Да и само различие этих воплощений никакого отражения в этом сознании не находило. Под государством я подразумеваю его основные институты, а также те элитные социальные группы, которые его олицетворяли. Конечно, существовали отдельные институты (опять-таки забегая вперед, отмечу, что их было всего два), которые не отторгались, но они выводились народным сознанием за пределы государства, воспринимались автономными от него.

К выводу о «диссидентстве» этого сознания подталкивает уже сама судьба книги Даля, которая до конца царствования Николая I (умер в 1855 году) была запрещена для публикации. И это в то самое время, когда слово «народность» (наряду с православием и самодержавием) впервые стало одной из составляющих государственной идеологии. Ее неспроста окрестили официальной народностью. Эта идеология, по известному выражению ее творца графа Уварова, предполагала повсеместное возведение «умственных плотин», блокирующих перетекание в Россию западных идей. Но официальная народность стала аналогичной плотиной и для народности неофициальной, то есть той самой, которая только и имела право претендовать на это имя. И, тем не менее, она была объявлена николаевскими чиновниками небезопасной, посягающей на развращение нравов.

Показательно, что в русских пословицах и поговорках нет даже таких слов, как «держава», «державность», «империя», «великая Россия». Нет даже «самодержавия». Все это в народный язык не вошло, глубоких корней в нем не пустило. Все эти абстракции до людей, разумеется, как-то доходили, но никаким жизненно важным смыслом не наполнялись, а потому и собственным их языком не становились. «Что не болит, то и не плачет; что не дошло до народа, не касалось житья-бытья его, то не шевелило ни ума, ни сердца его, и того в пословицах нет; что впуталось, добром либо лихом, в быт его, то найдете и в пословицах», — так сам Владимир Даль обобщил результаты своей работы. И при этом считал нужным предупредить читателя: распознать глубину народных изречений, «дойти до верных заключений о быте народном» можно лишь в том случае, если внимание будет обращено не на «выборку того, что нам нравно», а на весь Свод пословиц и поговорок, в котором соединились и мудрость, и суетумудрие.

А соблазн выбирать из Свода то, что «нам нравно», возникает непроизвольно, в чем я убедился и на собственном опыте. То и дело ловил себя на готовности выхватить то, что подходит под строй собственных мыслей, и опустить изречения, несущие иной смысл, порой прямо противоположный. Но, как мне кажется, вовремя заставлял себя преодолевать соблазны одномерного прочтения и фиксировать разные смыслы, пытаюсь объяснить, почему они разные. Разумеется, было бы самонадеянно и даже глупо считать эти объяснения исчерпывающими и неопровержимыми.

Владимир Даль очень точно, по-моему, представил собранный им Свод народных изречений как *«своего рода судебник, никем не судимый»*. В нем мы находим оценку всех субъектов и институтов российской власти, равно как и характеристику народом самого себя, особенностей своего национального характера. И все это имеет отношение не только к прошлому. Если, скажем, партия «Единая Россия» объявляет себя партией консерваторов, то важно понять, что именно она пытается консервировать — идеологию официальной народности, претерпевшую после своего возникновения ряд превращений

и дожившую до наших дней, или ту народность, которая запечатлена в собранных Далем изречениях. Тот же вопрос возникает и тогда, когда мы слышим заявления представителей власти о том, что она строит современную российскую государственность с учетом отечественных «национальных ценностей и традиций».

Кто-то скажет, возможно, что ответы на такого рода вопросы очевидны. Что незачем погружаться в мир русских пословиц и поговорок, чтобы разглядеть преемственную связь нынешней формы российской персонифицированной государственности с прежней официальной, а не какой-либо другой народностью. Но в том-то все и дело, что эта официальная народность в одном пункте сливалась с народностью неофициальной. Этот пункт — «русский царь».

Образ царя

Начну с изречения, которое никакого отношения к царю и восприятию его образа не имеет, но для понимания этого восприятия едва ли не ключевое: «Велика святорусская земля, а правде нигде нет места». Конечно, эта всеобщая несправедливость русской жизни ассоциируется в народных представлениях с вполне определенными группами людей, о чем речь пойдет ниже. Пока же остановимся на зафиксированном в пословице парадоксе: земля святая (святорусская), а правды в ней нет.

Святость, изначальная чистота и непорочность — это, надо полагать, от Бога и его замысла относительно Руси. А несправедность, беспорядок и произвол — это, соответственно, от людей, погрязших в грехе. Где же искать выход из такого несоответствия, из такой святопадшести?

Послеордынская Московия нашла его в обожествлении русского царя — наместника Бога на земле, наделенного ничем не ограниченной силой и властью и ни перед кем, кроме Бога, за свои мысли и дела не отвечающим. Парализованное несправедностью сущего, народное сознание отыскивало выход в персонификации и сакрализации должного.

Вот как выглядит это в пословицах и поговорках:

*Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится
Бог на небе, царь на земле
Все во власти Божией да государевой
Все Божье да государево
Русским Богом да русским царем святорусская земля стоит
Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле
Без царя — земля вдова
Не судима воля царская
Царский гнев и милость в руке Божьей
Гнев царев — посол смерти
Грозно, страшно, а без царя нельзя*

*Царь да нищий без товарищей
Каков хан (царь), такова и Орда (народ)
Русский народ царелюбивый*

Я пытаюсь совместить эти изречения со словами историков Василия Ключевского (о «боевом строе государства» в послеордынской Московии) и Николая Алексеева (о том, что это государство было выстроено по образцу большой армии). На высказывания Ключевского и Алексеева ссылаются и авторы книги «История России: конец или новое начало?» в подтверждение своей концепции о милитаристской природе российской государственности. Но в народных изречениях о царе вроде бы ничего специфически военного, ничего армейского не просматривается. Царь в них — не верховный военачальник и не былинный герой. Не царь-воин и не царь-победитель других стран и народов.

Да и вообще военные столкновения с внешними противниками (ни победоносные, ни проигранные) почти не нашли отражения в русских пословицах, о чем в своем месте мне предстоит говорить подробно. По крайней мере, к XIX веку, когда Владимир Даль начал их собирать, в памяти народной сохранилось очень мало впечатлений о былых сражениях. Так что же — милитаризация повседневного жизненного уклада, выстраивание не только военной, но и мирной жизни по военной модели, о чем вскользь писали старые историки и в чем три современных исследователя обнаружили матрицу российской государственности, — народным сознанием не фиксировалось вообще?

Похоже, что не фиксировалось. И отход от милитаристской матрицы, начавшийся в послепетровскую эпоху, не фиксировался тоже. Потому что демилитаризации, выразившиеся, скажем, в указе Петра III и жалованных грамотах Екатерины II об отмене обязательной дворянской службы, подавляющего большинства населения не касались. Жизнь этого большинства начнет меняться уже после того, как Даль составил свой Свод пословиц и поговорок. И все же... Все же милитаристская природа российской государственности сказалась и в народных представлениях.

Что значит, что в святой Руси «правде нигде нет места»? Или вот это: «*Правдою жить — от людей отбыть; неправдою жить — Бога прогневать*»? Это значит, что люди, вопреки Божьей воле, *принуждаются* отступать от правды, не защищенной ни правом, ни соответствующими ей правилами, а на стороне несправедливости — *сила*, никаких и ничьих прав не признающая и никаким правилам не подчиняющаяся («*Знает сила правду, да не любит сказывать*»). Противостоять ей — дело опасное, требующее от человека выдающихся качеств, то есть готовности остаться в одиночестве и действовать, пользуясь языком философов-экзистенциалистов, без шансов на успех («*Кто за правду горой, тот истый герой*»). Реально же противодействовать ей может только богоугодный царь («*На сильного Бог да государь*»).

Но если так, то это подтверждает вывод Ахиезера, Клямкина и Яковенко: в послемонгольской Московии принципиальной разницы между войной и миром население не ощущало, границы между ними в его сознании были размыты. Однако «боевой строй государства» выглядел в его глазах воплощением не столько армейского *порядка*, как в глазах властной и окол властной элиты, сколько беспорядочного несправедливого насилия. Оно ощущало себя на территории, оккупированной вооруженными *своими*, которые мало чем отличались от чужих (конкретный разговор об этих «своих» опять-таки впереди). Но поэтому и царь виделся населению не военным вождем «оккупантов», не полководцем, не верховным военачальником.

Царь предстает в пословицах уполномоченным Бога, то есть властной фигурой, пребывающей вне несправедливого мира, стоящей *над* ним и ему противостоящей. Он — как бы внешнее по отношению к этому миру воплощение правды, своего рода идеализированный князь-варяг из древнерусской летописи или наделенный божественными добродетелями русский аналог монгольского хана, правившего Русью извне. Но в *таком* мире и он может действовать только силой. Он призван быть грозой для подданных, его предназначение — постоянно устрашать их возможным царским гневом, за которым следует суровое наказание либо смерть («Гнев царев — *посол смерти*», «Близ царя — *близ смерти*»). И иного устройства государства народная мысль себе не представляет: «Грозно, страшно, а без царя нельзя». Ибо «что грозно, то и честно». Ибо само по себе слово Божье на Руси бессильно («Русский народ не боится креста, а боится песта»).

Несправедному насилию противопоставляется, как идеал, праведное насилие царское. Главным и единственным источником порядка в народном сознании выступает кнут: «Кнут не мучит, а добру учит»; «Кнут не мука, а вперед наука»; «Не бить, так и добра не видеть». Да, иногда оно, похоже, начинает сомневаться в своей правоте («Бить — добро; а не бить — лучше того»). Но идеал царского «кнутопорядка» и «кнутодобра» такими сомнениями не разрушается, образа иного порядка и иного представления о пути к добру в русских пословицах и поговорках не обнаруживается. Не разрушается этот идеал и упованием на государеву милость, столь же божественную, что и государев гнев («Царский гнев и милость в руке Божьей»). Грозное потому и честно, что разборчиво, но и в милостях своих остается грозным.

Итак, все надежды народные возлагаются на царя-грозу и на Бога, наместником которого царь является, так как ими и только ими «святиорусская земля стоит». Ну, а если надежды не оправдывались? Если до времен Владимира Даля в памяти людей сохранялось представление о том, что на Руси «правде нигде нет места»? Ведь коли уж все зависит от царя, коли полномочия его сродни божественным, а всеобщая несправедливость из жизни не уходит, то разве не царь должен выглядеть главным виновником всех бед?

Таких вопросов в русских пословицах и поговорках нет. Но косвенные ответы на них при желании можно отыскать.

Во-первых, пока есть царь, надежды могут не сбываться, но их источник сохраняется. Без царя надеяться не на кого и не на что, благодаря нему свято-русская земля как-никак, но держится, а без него все обвалится, разорвется всеобщей несправедливостью.

Во-вторых, народное сознание подбирается к мысли о том, что все зависит от того, *каков царь*, что он может быть не только единственным источником правды, но и, в силу своего положения, главным источником неправды. Подбирается осторожно, используя, в частности, прием оценки своего через чужое: *«Каков хан (царь), такова и Орда (народ)»*. Но — не только. Есть в Своде Даля и изречения, которые не исключают отпадения царя от Бога. И тогда — катастрофа, тогда — смута, потому что царский грех искупить некому: *«Коли царь Бога знает, Бог и царя и народ знает»; «За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует»; «Народ согрешит — царь умолит; царь согрешит — народ не умолит»*.

Но отсюда следует, что народная правда несла в себе не только сакрализацию царя, но и возможность его делегитимации. А альтернатива царю, утратившему легитимность, может быть разной. Он может быть объявлен неподлинным, незаконным, и тогда альтернативой ему становится самозванец. А в крайнем случае может быть свергнут, даже признаваясь подлинным и законным, причем на какое-то время утратить легитимность может и сама царская идея. Но — лишь на какое-то время. А потом... Потом вместо народных пословиц и поговорок появляются «народные» песни:

*Над советской землей свет не сменится мглой,
Солнце-Сталин блистает над нею...*

Смотрите, как интересно: Бог рядом с царем исчез, как исчез и сам царь, но сменивший его атеистический вождь по-прежнему сакрализуется, отождествляясь с Небесным Светилом. Впрочем, так ли уж это ново? Вспомните: *«Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле»*.

Авторы книги «История России: конец или новое начало?» видят в подобных фактах проявление особенностей русской культуры, в которой христианское начало причудливо переплеталось с ветхозаветным и языческим. И в этом они правы, как правы, по-моему, и в том, что культура крестьянского народного большинства на протяжении веков оставалась в России догосударственной, родоплеменной, на зыбкой почве которой и было воздвигнуто российское государство.

Есть ли в русских пословицах и поговорках еще какие-то свидетельства в пользу этого тезиса? Есть, они обнаруживаются, например, в восприятии вселенского библейского Бога как Бога *русского*, а не вселенского. Напомню:

«Русский Бог велик. Русским Богом да русским царем святорусская земля стоит». И добавлю: «Велик Бог русский и милосерд до нас». Эта народная «приватизация» Бога есть не что иное, как его локализация и этнизация, с христианством несовместимая, по племенному принципу. Но раз так, то и народное восприятие русского царя как наместника русского Бога не освободилось еще полностью от восприятия его как племенного вождя.

А племенной вождь воплощал в глазах соплеменников порядок, во-первых, праведный, а во-вторых, милитаризованный, без четких границ между войной и миром. Но — на иной манер, чем в послемонгольской Московии. Русская народная альтернатива милитаризации — это не демилитаризация в духе Екатерины II, а *милитаризация другого, еще более архаичного, типа*, предполагающая не отказ от государственного жизнеустройства, а его коррекцию в соответствии с канонами догосударственной культуры.

Ее инерция поддерживалась замкнутостью подавляющего большинства населения в локальных сельских мирах, консервировавших архаичный догосударственный менталитет. Об этом в книге Ахиезера, Клямкина и Яковенко написано очень много, и повторять их суждения здесь нет необходимости. Замечу, однако, что царь, воспринимавшийся в какой-то степени по аналогии с родовым старейшиной или племенным вождем, выглядел и радикально от них отличающимся. Отличающимся уже тем, что находился вне локальных народных общностей, вне прямого контакта с ними. А также тем, что между ним и этими общностями расположилось множество представителей большого и малого начальства, в том числе и вооруженного, чего в архаичных догосударственных образованиях не наблюдалось.

В результате же, по мнению народному, и получилось русское царство неправды. И искоренить ее может только могучая царская сила, подотчетная исключительно Богу и ни от кого, кроме Него, не зависимая. Сила, внешняя по отношению и к царству в целом, и к отдельным его частям, и к населяющим его людям. И, соответственно, обреченная на одиночество.

Среди изречений, собранных Далем, есть, напомним, и такое: «Царь да нищий без товарищей». У нищего, надо полагать, друзей нет, потому что у него вообще ничего нет, и он никому не нужен. А царь — потому, что у него есть все, и очень многие хотели бы ему быть товарищами, движимые интересом личной выгоды; зная это, он никому доверять не может. Но слуги, исполнители его воли, ему, тем не менее, нужны. И вот против них, против этих слуг и исполнителей и направлено в первую очередь обличительное острие русского народного Судебника. То есть против тех, кто находился между царем и народом.

Образ боярства

До Петра I бояре были, как известно, правящим слоем Московии. Их представители составляли ближайшее окружение московских великих князей

и царей. Но если с верховными правителями население в повседневной жизни почти не сталкивалось («*До царя далеко, до Бога высоко*»), то бояр оно могло наблюдать непосредственно. И в их вотчинах, и на государственной службе в роли царских наместников, будь то «кормленщики» первого послеордынского столетия или воеводы, которым после Смуты начала XVII века была передана не только военная, но и гражданская власть на местах. Какой же осталась боярская аристократия в народной памяти?

Пословиц и поговорок, запечатлевших ее образ в коллективном сознании населения, Далю удалось собрать немного: очевидно, порядки допетровской Московии к XIX столетию успели подзабыться. Тем не менее образ этот полностью не исчез, в седой старине не растворился. Каков же он? А вот каков:

*Царь гладит, а бояре скребут
Жалует царь, да не жалует псарь
Царские милости в боярское решето сеются
Не от царей угнетение, а от любимцев царских
Не царь гнетет народ, а временщик
Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос
Царю застыят, народ напастят
Царю из-за тына не видать
Не ведает царь, что делает псарь
В боярский двор ворота широки, да вон узки (о кабале)
Красны боярские палаты, а у мужиков избы на боку
Без правды боярский царь Бога прогневит
Бывали были: и бояре волком были*

Первое и главное, что обращает на себя внимание в этих изречениях, — отделение бояр от царя. Призванные исполнять его добрую волю, они ею пренебрегают, руководствуясь волей собственной — злой и корыстной. Царь по неведению может кого-то из них считать товарищем, но — только по неведению: их дела ему «из-за тына не видать», а сами они могут лишь вводить его в заблуждение («*Царю застыят, народ напастят*»).

Таким образом, бояре воспринимались, в отличие от царя, движимыми в службе не общим интересом, а интересами исключительно частными и эгоистическими. То есть общий интерес, олицетворяемый царем, попирающими. Но ведь бояре в допетровской Московии представляли то, что называется государством; в пословицах, правда, данный термин не используется, но суть дела от того не меняется. Следовательно, враждебность к ним, в пословицах документированная, отражала враждебность населения к этому государству. Царь же от него отделялся, воспринимаясь как стоящая над государством властная инстанция, но упорядочить его бес- сильная.

Понятно, что при отсутствии другой моральной и политической инстанции, которая представлялась бы воплощением общего интереса, именуемого правдой, надежды на царя сохранялись. И потому, когда Иван Грозный оказался с боярами в открытом конфликте, московский люд поддержал царя и санкционировал учреждение опричнины. Создававшееся опричное войско и выглядело, очевидно, в глазах этого люда тем инструментом, который позволял царю стать тем, что от него ждали, — стать царем-грозой. Или, говоря иначе, к символической силе, внешней по отношению к царству и его обитателям, добавить силу реальную.

Я не собираюсь, разумеется, спорить с тем, что Иван Грозный — одна из самых зловещих фигур отечественной истории. Но мне кажется недостаточной критика его кровавой политики только и исключительно с позиции княжеско-боярской аристократии, как делает, например, Александр Янов. Или, говоря конкретнее, с позиции Андрея Курбского, объявляемого одним из столпов российского либерализма.

Нелишне принять во внимание и то, как вел себя Курбский в Литве, в которую бежал от террора Грозного и из которой слал тому свои обличительные письма. По отношению к обитателям своего литовского имения он вел себя так, что обитателей этих приводил в ужас. Такого произвола, который он себе позволял, они не могли даже вообразить. Но нетрудно вообразить, как вел себя Курбский и другие представители княжеско-боярской аристократии в самой Московии. Враждебность населения к боярам — она же не на пустом месте возникла.

Поэтому критику злодейств Ивана Грозного надо бы довести до критики боярства и, далее, до критики народной политической культуры, в которой не вызрело другой альтернативы произволу боярства, кроме антибоярского произвола царя. Или, что то же самое, не вызрело иной альтернативы сменяющим друг друга милитаризациям и демилитаризациям, кроме альтернативы милитаристско-опричной. Той, которая трансформирует государственное устройство, ориентированное на войны внешние, в устройство, ориентированное на войну внутреннюю. Разумеется, во имя торжества правды и подавления ее злостных противников. Идея соблазнительная, но то соблазн дьявольский, и российская история — едва ли не самый осведомленный на сей счет свидетель.

Опричники и их последующие аналоги, привлекаемые в разное время российскими правителями для упорядочивания жизни, не служили и не могут служить орудиями правды. До тех пор, пока существует самодержавная власть, какие бы формы она ни обретала, любые обновления корпуса ее слуг ради насильственного подавления слуг прежних ведут лишь к воспроизведению пороков тех, в отношении кого осуществляется кровопускание. Кровопийцы сменяют вору, чтобы стать ворунами самим. Я уже не говорю о том, что опричнины бьют не только по князьям и боярам; они всегда бьют и по тем, кто

князей и бояр ненавидит, и кто их террористическое подавление поначалу готов приветствовать.

«Кнутопорядок» и «кнудобро» — это русская народная утопия, нечувствительная ни к каким историческим урокам и имеющая свойство воспроизводиться снова и снова. То, что «кнудобро» оборачивается «кнутозлом», забывается. Вот и многомиллионные жертвы сталинской опричнины, коснувшейся не только коммунистических «бояр», из памяти вытеснены негативным образом «бояр» современных.

В русских пословицах и поговорках нет прямых упоминаний ни об Иване Грозном, ни об опричнине, ни о других событиях той эпохи. Но в одном из приведенных изречений (*«Бывали были: и бояре волком были»*) отношение к этим событиям выступает более чем отчетливо: вырезание аристократической элиты вызывает удовлетворение. И в этом без труда просматривается противодействие народной репрессивной культуры столь же репрессивной культуре элитной, всегда пытающейся прислониться к культуре царепочитания ради оправдания своей репрессивности и блокирования репрессивности низовой. Но это не получается увековечить именно потому, что в народном сознании царское и боярское начала друг друга исключают.

Естественно, что когда во времена Смуты возник феномен боярского царя в лице Василия Шуйского, он был мнением народным отторгнут: *«Без правды боярский царь Бога прогневит»*. А правды за таким царем быть не может. И дело не только в том, что Шуйский, восходя на трон, позволил себе открыто заявить, что бояр произвольно наказывать не будет, то есть добровольно отказался быть по отношению к ним грозой. За пределами узкого московского круга об этом вряд ли кто знал, но Шуйский все равно считался боярским царем, что изначально лишало его доверия подданных.

И плохо ведь кончил боярский царь Василий, не смог справиться со Смутой, скинули его с трона, а чтобы не было соблазна вернуться на него, постригли в монахи и отправили в качестве заложника полякам, которые сами претендовали в то время на московский престол. Потом вроде бы, как полагают некоторые историки, и Михаил Романов обещал боярам бессудно их не преследовать, но это его самоограничение, если оно имело место, вообще не было оглашено. Сама идея боярского царя со сложившимся божественным образом царской власти не соотносилась и могла лишь подрывать ее легитимность.

Хорошо это или плохо, что образ был именно такой, а не иной, я сейчас обсуждать не возьмусь. Замечу лишь, что без самоограничения элиты, без обуздания ею своих эгоистических частных интересов образ этот измениться не мог. А она к такому самоограничению и обузданию предрасположена не была. И потому в конечном счете кончила плохо.

Но если в народных представлениях обнаруживаются сомнения относительно праведности боярского царя, то тем более сомнительной выглядит власть бояр без царя. В таком виде она ассоциируется с безвластием Смуты.

В Своде Даля мы не находим упоминаний о боярском правлении в пору малолетства Ивана Грозного, эхом которого (правления) стало восстание 1547 года в Москве. Но о восприятии «семибоярщины» Смутного времени, названной народом «московской разнобоярщиной», мы можем судить достоверно. «У одной овечки да семь пастухов»; «У семи пастухов не стадо»; «Не велик город, да семь воевод»; «Видно город велик, что семь воевод»; «У семи нянек дитя без глазу» — это все как раз о том, что такое власть бояр без царя.

Такое вот отношение к боярской аристократии и ее государственным возможностям. Посмотрим теперь, как относился русский народ к ее историческому преемнику, а именно — к дворянству.

Образ дворянства

Народное восприятие этого сословия интересно уже тем, что творцы пословиц и поговорок могли наблюдать его еще чаще, чем старомосковских бояр. Интересен образ дворянства и тем, что в нем должна была проявиться не только народная историческая память, как в случае с боярами, но и актуальное народное сознание. Бояре остались в прошлом, а дворяне жили рядом с крестьянами, которые им принадлежали: напомним, что Даль собирал пословицы и поговорки за несколько десятилетий до отмены крепостного права.

Итак, народный образ дворянства:

*Душа Божья, голова царская, спина барская
Не прикасайтесь жида к самарянам, а мужики к дворянам
Белые ручки чужие труды любят
Дворяне сахарные, крестьяне аржанные
Ваше благородие черт зародил, а нас грешных Господь спосоздал
Хвали рожь в стогу, а барины в гробу
Мы и там служить будем на бар: они будут в котле кипеть, а мы станем дрова подкладывать
Барин за барина, мужик за мужика
Прихоти барские, а житье нищенское
Дом господский, а обиход сиротский
Слуги в шелках, а бары в долгах
Было сельцо, да сменял на кольцо, было польцо (поле), да за женину ласку сменял на коляску
Домом не управил, так и городом (волостью) не управить
Не ровны и бары: иной Бога боится, и за него Бога молят
На Руси дворянин, кто за многих один
Честь дворянин не кинет, хоть головушка погинет*

Чтобы охарактеризовать народное отношение к дворянам, достаточно одного слова, которое использовалось мной и в оценке отношения к боярам.

Это слово — *враждебность*. Помещики живут рядом, но они — чужие, какими самаряне были в глазах иудеев.

Я специально обратился к «Библейской энциклопедии», изданной в России еще в XIX веке, чтобы лучше понять это сравнение. Там отмечается, что «само название самарянин считалось у иудеев бранным и презрительным», и что вражда между теми и другими была «почти ожесточенной». Перечитайте приведенные изречения, и вы убедитесь, что эта аналогия не случайна, она вполне органична для народного мировосприятия.

Более того, помещик в этом восприятии — воплощение принудительного «кнутопорядка», но не того праведного, установление которого ассоциируется с царем, а совсем другого. Порядка не «кнутодобра», и «кнутозла». Помещик в этом восприятии — что оккупант-чужеземец. Он выглядит отпавшим и от русского Бога, и от русского царя, как они понимаются народным сознанием, и бесконтрольно распоряжающимся телом крестьянина, приневоливающим его гнуть на себя спину и прикладывающим к этой спине кнут или плеть, когда ему вздумается (*«Душа Божья, голова царская, спина барская»*).

Да, не все дворяне казались такими: *«Не ровны и бары: иной Бога боится, и за него Бога молят»*. Но подобная богобоязнь воспринималась исключением, индивидуальным отклонением от сложившейся нормы поведения. И потому, когда в феврале 1917 года весь старый «кнутопорядок» рухнул, крестьяне расправлялись с помещиками, как с врагами, богоугодных от небогугодных не всегда отличая — при том, что и крепостного права давно не было, и крестьянские спины барин не мог уже ни гнуть, ни сечь. И офицеров, выходцев из дворян, крестьяне в солдатских шинелях убивали сотнями, забыв о продолжавшейся мировой войне и враге внешнем.

Вражда к высшему сословию, вызревавшая веками, исподволь перерастала в жажду праведной мести, оправдываемой в том числе и квазирелигиозно: *«Ваше благородие черт зародил, а нас грешных Господь спосоздал»*. Мести, если и не в этом мире, то в загробном: *«Мы и там служить будем на бар: они будут в котле кипеть, а мы станем дрова подкладывать»*. В этом смысле (точнее, и в этом тоже), то есть в смысле предвкушения будущего возмездия, можно истолковать и предпочтение мертвого помещика живому: *«Хвали рожь в стогу, а барины в гробу»*. Но если смерть барина — благо, то умереть ему в таком случае можно и помочь.

Прямо это в народных изречениях не проговаривается, но намеки на *временность* дворянского господства, проистекающую из его открыто демонстрируемой несправедливости, улавливаются без труда. Самый известный из таких намеков, дошедший до дней нынешних: *«Будет и на нашей улице праздник»*. Но *«князь в платье и бояре в платье: будет платье и на нашей братье»* — это ведь тоже не только об уже оставшемся в прошлом московском боярстве, но и о сменившем его дворянстве. И не в том смысле, надо полагать,

что оно поделится своим платьем с крестьянами, а в том смысле, что это платье у него отнимут. Не может и его век, в отличие от века мужицкого, быть долгим: *«Бары липовые, а мужики дубовые»; «Бары кипарисовые, мужики вязовые» (и гнутся, и тянутся).*

Показательно, что, в отличие от бояр, чей эгоизм на государственной службе соотносится с отступлением от праведной царской воли, дворяне как царские слуги не воспринимаются вообще. Во всяком случае, в пословицах и поговорках такого восприятия не зафиксировано. И это при том, что царский государственный аппарат был в основном именно дворянским. Интересно, не правда ли?

Не возьмусь объяснять, почему дело обстояло именно так, а не иначе. Возможно, сказалось освобождение дворян от обязательной государственной службы Петром III, подтвержденное потом жалованной грамотой Екатерины II. Историки считают, что до обнародования этих документов отношение крестьян к дворянам было другое: они полагали, что, будучи крепостными, служат помещику, который служит царю, а потому и они через помещика служат царю тоже. Не исключено, что так оно и было, и какие-то следы этого в отдельных пословицах и поговорках можно уловить.

«На Руси дворянин, кто за многих один» — это, возможно, сохранившаяся память о старых московских временах, когда пожизненная служба была для дворян обязательной, до принудительной рекрутчины дело еще не дошло, и основная тяжесть войн ложилась именно на них. Отдается должное и дворянскому представлению о чести: *«Честь дворянин не кинет, хоть головушка погинет»*. Признается и то, что повиноваться голосу чести — нелегкое бремя: *«Дай Бог тому честь, кто готов ее снести»*. Но всем ли такое бремя оказывалось по плечу?

Думаю, что многочисленные негативные изречения о дворянстве можно считать отрицательным ответом на этот вопрос. И дело вовсе не в том, что народное сознание не отдавало должное ратным заслугам дворян, их воинской доблести. Может, и отдавало, хотя прямых свидетельств в пословицах и поговорках на сей счет нет, как нет и упоминаний о государственной службе высшего сословия на невоенных, гражданских должностях. Возможно, способность нести бремя чести оценивалась и на основании образа жизни дворян, включая их отношение к крестьянам. Кое-что из того, что увидел в помещиках Гоголь, могли, наверное, рассмотреть и их крепостные.

Но если дворяне не воспринимались государевыми слугами, то кем же они выглядели в глазах населения? Они выглядели частными лицами, освобожденными от труда и потому отличающимися от крестьян, благодаря даровому труду последних, даже внешним видом (*«Белые ручки чужие труды любят»*). При этом не оставалось незамеченным, что хозяйство свое они вели скверно и расточительно, что, в свою очередь, и укрепляло, очевидно, веру в исчерпаемость их господства.

Бедность большинства русских дворян при растущем желании многих из них жить на широкую ногу вызывала снисходительно-насмешливое к ним отношение и служила веским доказательством их жизненной несостоятельности («Дом господский, а обиход сиротский»; «Прихоти барские, а житье нищенское»; «Слуги в шелках, а бары в долгах»; «Было сельцо, да сменял на кольцо; было польцо (поле), да за женину ласку сменял на коляску»). Сквозь призму этой хозяйственно-бытовой ущербности рассматриваются, кстати, и возможности дворян в государственной службе: «Домом не управил, так и городом (волостью) не управить». Но само отправление этой службы в поле народного внимания, как я уже говорил, не попадало.

Таким образом, дворянство, как и сошедшее с исторической сцены боярство, в качестве опоры праведного царя не рассматривается. Приговор ему выносится суровый и окончательный. Но откуда же, из каких сословий рекрутировать тогда людей на государеву службу? Ведь «царь без слуг, как без рук», но где их взять — верных, преданных и честных? Может быть, людей, пригодных для такой роли, народное сознание видит в каких-то из сложившихся в России государственных институтах? Например, в русской армии — кому, как не ей, быть силой, способной помочь царю-грозе не только справляться с внешними угрозами, но и навести внутренний праведный «кнутапорядок»?

Образ армии

Сразу скажу, что об армии как институте, предназначенном для ведения войн, для обретения и поддержания державно-имперского статуса России, в Своде Даля какие-либо упоминания отсутствуют. Нет в нем даже самого слова «армия», как нет, о чем я уже говорил, ни «державности», ни «империи». Официальный патриотический язык народ не освоил и на нем не изъяснялся. Да и проблемы, касающиеся армии и войны, виделись ему, похоже, иначе, чем властной элите. В войне его, если судить по пословицам, интересовали не столько ее цели и результаты, сколько ее тяготы, а в армии не интересовало ничто, кроме фигуры солдата.

Вот как это выглядит в народных изречениях:

*Мир стоит до рати, а рать до мира
Войну хорошо слышать, да тяжело видеть
В мор намрутся, а в войну налгутся
Убей Бог солдата, утиши войну
Мир гинет, а рать кормится
На рать сена не накопишься, на смерть детей не нарожаешься
Всего света не захватишь
В некрутчину — что в могилу
Солдат — отрезанный ломоть*

*Солдат — казенный человек
 Солдат близко — кланяйся ему низко
 Солдата за все бьют, только за воровство не бьют
 Солдат — горемыка, хуже лапотного лыка*

Нет, не компенсирует война отсутствие правды; наоборот, усиливает ощущение несправедливости, прикрываемой мобилизующей героическо-патриотической риторикой («В мор намрутся, а в войну налгутся»; «Войну хорошо слышать, да тяжело видеть»). И сама же собственная воюющая армия воспринимается несущей с собой не правду, а ее попрание («Мир гинет, а рать кормится»; «На рать сена не накопишься, на смерть детей не нарожаешься»).

Но тогда снова возникает вопрос: улавливает ли народное сознание, отторгающее не только российский военный порядок, но и порядок мирного времени, какую-то связь между ними? Улавливает ли, говоря иначе, милитаристскую природу отечественной государственности, организующей и мирную жизнь на военный манер, о чем написали в своей книге Ахиезер, Клямкин и Яковенко?

Нельзя сказать, что безымянные творцы народного Судебника на этом сосредоточены. Но размытость границ между войной и миром порой фиксируется и ими («Мир стоит до рати, а рать до мира»). Других изречений такого рода я, правда, не нашел. Но то, что не доосмыслено и не досказано в этом Судебнике, порой доосмысливалось и проговаривалось самой властью, когда настроения подданных становились угрожающими и для нее.

Сошлюсь на документ, написанный через шесть лет после «рати» (победно завершившейся Северной войны Петра I) и спустя два года после смерти Отца отечества. Его ближайшие сподвижники, включая Александра Меншикова, в приверженности народным представлениям о правде не замеченного, озаботились тем, что при сохранении в мирное время милитаристской государственности власть может остаться без народа.

Вот что они написали (слог, конечно, несовременный, но смысл при желании уловить можно):

«Как вредительно государству несогласие, о том упоминать не надлежит; сие показывается не токмо в духовных и других государственных делах, но, и при бедных российских крестьянах, которые не от одного хлебного недохода и от подати подушной разоряются и бегают, как от несогласия у офицеров с земскими управителями, и у солдат с мужиками. И понеже армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, того рода и о крестьянах попечение иметь надлежит, ибо солдат с крестьянином связан как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата

<...> Ныне над крестьянами разве десять и больше командиров находится, вместо того что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшись, называться могут; тому ж подобные и многие прикащики, которые за отлучением помещиков своих над бедными крестьянами чинят что хотят. Того ради видится весьма потребно, чтобы всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки и ревизии и на экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров, кольми же паче страшны правож и экзекуция, о которых уже и так доносят, что крестьянских пожитков в платеж тех податей не достает, и что крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врознь бегут. И надлежит особливо при сем деле примечать, что хотя и прежде сего бывало, что крестьяне бегали, однако ж бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а ныне бегут в Польшу, в Башкиры, в Запорожье и в раскол, и тако нашими крестьянами удовольствуем не только Польшу, но и собственных своих злодеев. И сверх того часто переменные командиры такое разорение не чувствуют, ибо никто ни о чем больше не думает, кроме чтоб у крестьянина последнее в подать взять, и тем выслужиться, не уважая о том, что после крестьянин без ничего останется или и вовсе куда убежит».

Понятно, что какие-то меры после этого принимались — во всяком случае, армия была из деревень перемещена, производ ослаблен. Но в народных изречениях эти облегчения не фиксировались, как не нашла в них отражения и начавшаяся вскоре демилитаризация жизненного уклада — по причине того, что крестьянского большинства до реформ Александра II она не касалась. Эти изречения формулировались как бы поверх конкретных событий, какими бы те ни были; они описывали строй русской жизни в целом и, независимо от перемен в нем, оценивая его критически.

Казалось бы, такие события происходят в стране — Россия присоединяет при Петре I новые земли, обретает имперский статус, царь начинает именоваться императором, а народное сознание на все это не реагирует, державно-патриотической гордости не демонстрирует. Не вдохновляют его ни расширение имперского пространства («Всего света не захватишь»), ни ведущиеся империей войны, нужные зачем-то (зачем, непонятно) либо полководцам («Суворов не велел с австрийцем дружиться»), либо самому царю («Замирился бы с туркой, да царь не велит»).

Отношение народа к войне, если судить по пословицам и поговоркам, не государственническое, а житейское, не пафосное, а прозаическо-страдательное, о чем я уже начинал говорить выше. Он не расположен возвышать

повседневность апелляциями к военным победам. Он предпочитает, наоборот, оповседневнивать все, что с войнами связано («В доме у них словно Мамай побывал»; «Пропал как швед под Полтавой»; «Пропал как француз в Москве»).

Упоминание о французах особенно интересно, так как времени от окончания войны с Наполеоном до завершения сбора Далем его Свода пословиц и поговорок прошло совсем немного. Но и в данном отношении победно-героический пафос, присущий литературе и публицистике той эпохи, в народных изречениях обнаружить нельзя. А найти можно либо снисходительно-иронические замечания о посрамленных французах («Голодный француз и вороне рад»; «Пуганый француз и от козы бежит»), либо прозаические констатации их военной неудачи («Наступил на землю русскую, да оступился»), либо деловые технологические указания относительно способов народного противодействия противнику, оставшиеся в памяти со времен войны («Докалывай француз вилами»).

Итак, не ласкали народный слух ни идеологические мелодии «Москвы — третьего Рима», ни имперско-державные взлеты петровских и екатерининских времен. И даже оборонительная война с Наполеоном и победа в ней на мировосприятии основной массы населения существенно не сказались, ощущение несправедности жизни не ослабили. И русская армия, при всех ее впечатляющих успехах, инструментом правды не выглядела. Не только потому, что армией руководили офицеры из дворян, воспринимавшихся народом враждебно, — он судил о них только по их поведению в поместьях, а об их поведении в армии толком ничего не знал и потому пословицы об офицерах не сочинял. Инструментом правды не воспринимался и рекрутированный из народной толщи *русский солдат*.

Принудительно набранные рекруты, из которых при Петре I стала формироваться регулярная армия, на всю жизнь вырывались из своей среды (в самом конце XVIII века пожизненный срок службы был сокращен до 25 лет, но в родные места бывшие солдаты обычно не возвращались). Соответственно, и для этой среды они переставали быть своими, навсегда выпадая из ее поля зрения, а значит, и из-под ее влияния («В некрутчину — что в могилу»; «Солдат — отрезанный ломоть»). В глазах односельчан они (и такие, как они, из других мест) выглядели частью чуждой государственной машины. Выражалось это восприятие иначе («Солдат — казенный человек»), но смысл был именно такой.

Поэтому когда государственные сановники (см. цитированный выше документ) говорили, что солдат связан с крестьянином, как душа с телом, они выдавали желаемое за действительное. И дело не только в том, что армия нередко использовалась для подавления народных волнений, то есть выступала на стороне ненавистного барина. Дело и в том, что даже проход армейских частей через деревню мог наводить на ее жителей страх. Солдаты не

гнушались часто ни воровством, ни мародерством, ни другими бесчинствами (*«Солдат, как волк: где попало, там и рвет»*). И потому: *«Солдат близко — кланяйся ему низко»*. Надо кланяться и заискивать, потому что на солдатскую бесцеремонность по отношению к населению начальство обычно смотрит сквозь пальцы: *«Солдата за все бьют, только за воровство не бьют»*.

Но все же отношение к солдату, в отличие от отношения к барам, не враждебное. Потому что никакой выгоды от их вынужденной тяжелой службы им нет, и жизнь их еще хуже крестьянской: *«Солдат-горемыка, хуже лапотного лыка»*. И потому народный Судебник если и судит его, то снисходительно-сочувственно, с учетом обстоятельств его существования: *«Солдату не грех пожитья. Солдату не украсть, так негде взять»*.

В этом — народная правда: солдат за свои прегрешения заслуживает прощения. Потому что ему тоже плохо. Потому что он, хоть и чужой, но *свой* чужой. Однако защиты правды от него самого все же ждать не приходится. Как «казенный человек», он может служить только ее противникам. Как и вся русская армия. Ее образ как защитницы от внешних врагов вытеснен в народном сознании на периферию, а на переднем плане — связанные с ней тяготы. Понимаю, что сложившимся представлениям такое восприятие армии не соответствует. Но это значит, что сами сложившиеся представления о народном мнении не соответствуют народному мнению.

Так что пойдем дальше и посмотрим, как оцениваются в русских пословицах и поговорках другие государственные институты, находящиеся между царем и народом. На очереди — российский суд.

Образ суда

Сначала, признаюсь, я хотел рассмотреть отдельно и образ чиновника в народном сознании. Но потом, ознакомившись с соответствующими пословицами (их сравнительно немного), решил, что в этом нет необходимости. Люди, которые служили в государственных учреждениях, до Петра I именовавшихся приказами, в народных представлениях похожи на бояр — только начальственным рангом пониже и от царя находящихся подальше, а потому его порученцами не воспринимавшихся. Образ чиновника — это образ мздоимца и лихоимца, обирающего народ (*«Сколько увидит (приказной) денег, столько и давай»*) и отпавшего от Бога (*«Приказной черту брат. Приказной черту душу продал»*).

Судьи тоже были чиновниками, долгое время (до Екатерины II) даже формально не отделенными от администрации. Но им, в отличие от других чиновников, приходилось выносить приговоры о соответствии действий тех или иных людей закону. Следовательно, и восприятие самого закона, как мне казалось, не могло не зависеть от восприятия судебных решений. Вот почему я и выписал наиболее типичные народные изречения, относящиеся как к закону, так и к его служителям.

*Не будь закона, не стало б и греха
 Не зная закона, не знает и греха
 Где закон, там и преступление
 Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили
 Закон — дышло: куда захочешь, туда и воротишь
 Кто законы пишет, тот их и ломает
 Сила закон ломит
 Где сила, там и закон
 Нужда закона не знает, а через шагает
 Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы
 Законы святы, да судьи супостаты
 Не бойся суда, бойся судьи
 Неправдою суд стоит
 Тяжба — петля, суд — виселица
 Судейский карман — что поповское брюхо
 Перед Богом ставь свечку, перед судьей мешок
 Пред Бога с правдой, а перед судью с деньгами
 Судье полезно, что в карман полезло
 Судью подаришь — правду победишь
 Праведный судия одесную Спасителя стоит
 Судья праведный — ограда каменна
 С сильным не борись, с богатым не тягайся
 Богатому идти в суд — трын-трава; бедному — долой голова*

На первый взгляд, народные изречения подтверждают правоту президента России Дмитрия Медведева⁵⁵, говорящего об уходящей в глубь веков традиции «правового нигилизма» в стране и имеющего в виду все ее население. И в самом деле, как еще можно понимать изречения, согласно которым «не будь закона, не стало б и греха», «где закон, там и преступление»? Получается вроде бы, что закон — он и есть главный источник греха, источник преступлений. Чем не «правовой нигилизм», санкционированный самой национальной культурой?

Но нет, это не так. Совсем не так. Речь идет о том, что грех и преступление не могут таковыми считаться без *понятия* о законе, понимаемом, очевидно, и в религиозном смысле (закон-заповедь), и в светском юридическом, и как обычное право, по которому жила в начале XIX века русская деревня: «Не зная закона, не знает и греха». А если толковать смысл этих изречений иначе, то и апостола Павла придется записать в «правовые нигилисты». Ибо и он говорил, что «не иначе узнал грех, как посредством закона», сравнив с ним помыслы и дела свои. И что по-другому его узнать нельзя, так как «без закона грех мертв».

⁵⁵ Текст был размещен на сайте «Либеральной миссии» в июле 2010 г.

Один из главных вопросов, который меня интересовал: как соотносятся между собой народные представления о законе с представлениями о правде? Прямых ответов в Своде Даля я нашел немного, и смысл их в том, что одно с другим может не совпадать, а раз так, то *«хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили»*. И еще говорится о своего рода правде нужды: *«Нужда закона не знает, а через шагает»*. Интонация вроде бы не одобряющая, однако и не осуждающая. Она — понимающая и, следовательно, прощающая.

Но если рассматривать такие изречения не отдельно, а в совокупности с многочисленными другими, то в них обнаружится не столько «правовой нигилизм», сколько неприятие того строя жизни, в котором под сенью закона царят беззаконие и негарантированность физического выживания. Царит, можно сказать, узаконенный грех всех тех, кто расположился между царем и закрепощенным народом, для которого *«воля — свой Бог»* или, что то же самое, *«вольность всего дороже»*. Но ее-то, вольности, как раз и не было, и отнята она была закрепостительной юридической нормой. И при всем том, повторяю, принцип законности, как таковой, не только не отвергался, но и защищался.

Он защищался от тех, кто призван ему служить, но вместо этого его попирает. А именно — от судейского корпуса: *«Законы святы, да судьи супостаты»*; *«Не бойся закона, бойся судьи»*. Это они, судьи, по мнению народному, превратили закон в «дышло», они вертят им по своему усмотрению, позволяя от его предписаний откупаться.

Наверное, образ праведного судьи, который «одесную Спасителя стоит» и который «ограда каменная» — не только идеал, наверное, он тоже взят из жизни. Но такие исключения из правила, сколь бы много их ни было, выглядели именно исключением, правило подтверждающим. Точно так же, как и богобоязненные помещики в жизни встречались, но поколебать крестьянскую враждебность к дворянству были не в состоянии.

В Своде Даля фигура судьи — это фигура взяточника, чья корысть оттеняется нередко соседством в пословицах судьи и Бога: *«Пред Бога с правдой, а перед судью с деньгами»*; *«Перед Богом ставь свечку, перед судьей мешок»*. Другие социальные персонажи, о которых говорилось в предыдущих разделах моих заметок, такого соседства не удаивались (кроме царя, разумеется, но там смысл совсем другой). Возможно, потому, что в идеале судья считался служителем Божьей правды, а другие персонажи идеального народного образа не имели.

Такие, какие есть, они (кроме разве что солдат) вызывали вражду, а какими должны быть, не рассматривались: полагалось, очевидно, что иными они стать не могут. Да и не оценивало их население, судя по пословицам, полезными для себя в любом их качестве. А без судьи, обеспечивающего соблюдение законности и выступающего арбитром в конфликтах, жизнь, похоже, не мыслилась, его функция считалась необходимой.

Показательно, что в этом вопросе в народных представлениях обнаруживаются иногда зачатки институционального мышления. Здесь фигурируют уже не только судьи (в ряду таких социальных персонажей, как боярин, барин-дворянин, приказной, солдат), но и суд как институт. И отношение к нему неоднозначное: бывает, что лихоимство судей переносится и на него (*«Неправдою суд стоит»*), но бывает и так, что он от них отделяется и им противопоставляется (*«Не бойся суда, бойся судьи»*). И в этой — еще не всеобщей — готовности отделить суд, как институт, от царящего в нем произвола, равно как в уверенном противопоставлении закона и практики его применения, просматривается робкая и вряд ли осознававшаяся заявка на утверждение нового государственного качества.

Не только праведный царь, но и праведный суд, стоящий на страже закона, — таков идеал, который мы находим в народном Судебнике. Что касается обличаемых в нем за попрание закона судей, то они выглядят не просто корыстными злоумышленниками, творящими произвол ради собственной выгоды, но людьми, вписанными в порочную государственную систему и обслуживающими интересы всех тех, кто в пословицах и поговорках предстает народу враждебными. Тех, за кем сила власти и денег.

Просмотрите еще раз список отобранных мной изречений. *«Сила закон ломит»* — разве это только о судьях? Или вот это: *«С сильным не борись, с богатым не тягайся»*? Судьям не верят не потому, что они — главный источник беззакония, а потому что они, в силу характера их службы, наиболее наглядно демонстрируют беззаконие общее. Демонстрируют то, что на Руси «правде нигде нет места».

Можно, конечно, это неверие назвать и «правовым нигилизмом». А можно, как предпочитаю я, *народной судофобией*. Но она не причина, а следствие. Следствие того *государственного* правового нигилизма, который зафиксирован неизвестными авторами русского народного Судебника.

Таким образом, и в российских судах праведному царю опереться не на кого, потенциальных честных слуг народное сознание в них не обнаруживает, как не обнаружило среди бояр и дворян, в армии и в чиновничьем корпусе. Но, может быть, они есть в церкви? Ведь она, как и царь, тоже представляет волю Бога, но не в делах государственных, а во всем, что касается души и духа. Как же воспринималась она населением?

Образ церкви

В неоднократно упоминавшейся в этих заметках книге Ахиезера, Клямкина и Яковенко проводится мысль, что цивилизации отличаются друг от друга различными комбинациями в их жизнеустройстве трех факторов — силы, веры и закона. О том, как воспринимались русским народным сознанием сила, закон и их служители, я рассказал. Теперь, как уже было заявлено, речь пойдет о восприятии веры и, прежде всего, ее служителей и объединяющего их института.

Восприятие это выглядит следующим образом:

*Церковное стяжание — Божье
 Церковное достояние — убогих богатство
 Близо церкви, да далеко от Бога
 При церквах проживают, а волю дьявольску совершают
 Не тому Богу наши попы молятся
 Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньгу подавай
 Один хлеб попу, одна радость — что свадьба, что похороны
 Волчья пасть да поповские глаза — ненасытная яма
 Стоит ад попами, дьяками да неправедными судьями
 От вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, от попа не
 отмолюсь
 Поп — недобрая встреча. Поп сквозь каменну стену сглазит
 Каков поп, таков и приход
 Три попа, а заросла в церковь тропа
 Иной по две обедни слушает, да по две души кушает
 Читает: «Да будет воля твоя!», а думает: «Когда б то моя!»
 Помилуй, Господи! А за поясом кистень
 Добрый вор без молитвы не украдет
 Игумен за чарку, братья за ковш
 Поп в колокол, а мы за ковш
 Хоть церковь и близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, да
 хожу потихоньку
 Что тому Богу молиться, который не милует?*

Эти изречения — народный приговор русской православной церкви, вынесенный ей задолго до прихода к власти большевиков. Общий смысл изречений очевиден: в ней, в церкви, правды нет тоже. Она не может служить и не служит Богу, не несет людям слово Его истины; она от Него отпала («Близко церкви, да далеко от Бога»). В ней, как и в суде, бал правят корысть и мздоимство.

Но если так, то на Руси, согласно мнению народному, нет не только законности, но и морали, то есть нет ничего из того, что и ассоциируется в этом мнении с правдой. Устремленность к ней и сохранявшееся ожидание ее торжества можно назвать, конечно, и «особой духовностью». Но это — устремленность отчаяния и ожидание грядущего чудо-праздника всеобщего «кнутодобра». Это «духовность» тотального отрицания, несущего в себе гораздо большее зло, чем зло отрицаемое.

В отношении церкви народный Судебник еще определеннее, чем в случае с судом, отличает институт от людей, его представляющих. Институт церкви и важность его функций не отвергаются, как не отвергается и его право на

«материальную базу», этим функциям соответствующую: *«Церковное стяжание — Божье»; «Церковное достояние — убогих богатство»*. Институт правильный, но люди в нем — не те.

Не буду комментировать отдельные изречения, оценивающие поведение священников и его мотивы. Все они — об одном и том же: о греховной корысти тех, кто призван нести людям Слово Божье. И потому народная враждебность к ним — особая. Это враждебность к олицетворяемым ими лжи и лицемерию, к вопиющему несоответствию помыслов и дел проповедников тому, что они проповедают. Это враждебность к развращенности пастырей, ведущей к развращению паствы.

Потому что *«каков поп, таков и приход»*.

Потому что при таких священниках, какие они есть, приход от церкви неизбежно отпадает: *«Три попа, а заросла к церкви тропа»*.

Потому что от заросшей тропы протаптываются тропы в другом направлении: *«Хоть церковь и близко, да ходить склизко, а кабак далеконокко, да хожу потихоньку»*.

Потому что грех лицемерия, наблюдаемый в церкви, передается, как заразная болезнь, и тем, кто его наблюдает: *«Иной по две обедни слушает, да по две души кушает»; «Читает: “Да будет воля твоя!”», а думает: “Когда б то моя!”»; «Помилуй, Господи! А за поясом кистень»*.

Я не историк русской церкви и не исследователь особенностей русской религиозности и потому не берусь судить о том, когда началось на Руси это отпадение от церкви. Равно как и о том, настолько ли оно было глубоким, каким выглядит в пословицах и поговорках. Судя по знакомым мне трудам специалистов, в средневековой Московии люди старались избегать регулярной церковной исповеди, откладывая ее до смертного часа, что считается едва ли не важнейшим признаком слабости веры. А те, кто на исповеди являлись, порой свои грехи предпочитали утаивать и тем даже гордились: мол, не дураки же мы, чтобы перед попами раскрываться. И что тому было причиной — недоверие к священникам, чье благочестие уже тогда казалось показным, или слабая укорененность христианства на Руси — сказать трудно. Факт лишь то, что в народных изречениях, собранных в XIX веке, служители церкви выглядели воплощенным лицемерием, то есть людьми, попустительствующими всеобщей несправедливости и способствующими еще большему ее углублению.

Но от показного благочестия дорога вела не только в кабак. Для многих она стала дорогой в раскол ради обретения (или сохранения) благочестия не показного. А когда он в XVII веке произошел, официальная церковь стала *принуждать* людей к регулярной исповеди, чтобы выявлять и преследовать старообрядцев, исповедоваться в этой церкви считавших для себя невозможным, что в Своде Даля тоже зафиксировано: *«Кто Бога боится, тот в церковь не ходит»*. Прошло еще какое-то время, и на помощь ей пришло государство:

Петр I был озабочен тем, чтобы старообрядцы, в ответ на их легализацию, платили установленный для них двойной налог, который они платить не хотели и потому старообрядцами себя не объявляли.

Принуждение к исповеди — теперь уже государственное — проблемы, однако, не решало, так как священники за взятки готовы были записывать скрытых старообрядцев в число исповедовавшихся, хотя те таковыми не были. Разумеется, власть пыталась это пресечь, но на каждый ее шаг находился ответ, расширявший зону взяточничества. Подробно рассказывать дальше не стану, а отошлю к работам Виктора Живова, который обо всем этом повествует очень увлекательно. Я же хотел лишь показать ту атмосферу в русской церкви, которая не могла не сказываться на отношении к ней, зафиксированном в народных изречениях.

Ведь государственное принуждение к исповеди, направленное против старообрядцев, вытравляло ее религиозный смысл и в глазах тех, кто оставался в лоне официальной церкви. Такое приневоливание, идущее от светской власти, с понятием о благочестии несовместимо. Исповедь превращалась в предписанный формальный акт, который еще больше обострял ощущение церковного лицемерия, вызывавшееся пороками священнослужителей. И, быть может, оно-то, лицемерие это, и в XIX веке, то есть через полтора столетия после свершившегося раскола, продолжало отталкивать от церкви людей, которые лицемерить не хотели, и для которых благочестие не сводилось к его демонстрации.

Официальные проверки, проведенные правительством Николая I (а Владимир Даль, напомним, завершил сбор народных изречений именно во времена его царствования), показали, что распространение раскола и сектантства в народе в десять и более раз превышало официальные сведения, в некоторых губерниях охватывая до половины населения. И как же отреагировала на это власть? Она отреагировала высочайшим указом императора, торжественно объявившего, что он признает одною из важнейших обязанностей своих, наложенных Провидением, охрану «ненарушимости прародительской православной веры» в верноподданных. А инструментом охраны веры стали репрессии. Или, что то же, им стала сила, к вере принуждавшая.

Она, сила — и в этом Ахиезер, Клямкин и Яковенко опять-таки правы — была в российском государстве системообразующим фактором, первичным по отношению и к закону, и к религии, а в советскую эпоху — к официальной идеологии. Но духовное отщепление от такого государства и его институтов никакая сила предотвратить не в состоянии, что нашло свое выражение и в Своде Даля. *«Не та вера права, которая мучит, а та, которую мучат»* — это тоже из народного творчества раскольников-старообрядцев, жертвенно противопоставлявших себя государству и церкви, как духовную альтернативу им.

Ну а те, кто в раскол и сектантство не уходил, находили в себе мужество наедине с собой признавать, что заражения всеобщей несправедливостью, иду-

щей в том числе и от церкви, им избежать не удалось: *«Все люди ложь, и мы тож»; «Живут же люди неправдой, так и нам не лопнуть стать»; «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью»*. И это примирение не только с окружающей, но и с собственной неодолимой греховностью проливает, возможно, свет на природу главного парадокса русской ментальности. Я имею в виду все то же: Русь считается святой и — одновременно — несправедливой.

Признание ее святой, то есть богоизбранной, позволяло рассчитывать на ее спасение независимо от индивидуальных духовных усилий каждого. В русской религиозной (и не только религиозной) мысли такое упование на всеобщее, коллективно-соборное спасение трактовалось и трактуется нередко как некое преимущество. «Мое спасение в спасении всех» — это, мол, гораздо выше и богоугоднее, чем спасение индивидуальное, культивируемое западным христианством. Сам по себе данный принцип, может быть, и выше, но в русской ментальности он означал установку на спасение без личного участия в нем. Он означал надежду на Бога, на его изначальное расположение к Святой Руси и проистекающую отсюда готовность проделать за людей всю их собственную духовно-душевную работу. Отечественная история уже показала, чего стоят такие надежды.

Рано или поздно они ведут к отпадению не только от церкви, но и от Бога, от которого ждут того, что даже Он без духовного движения людей к Нему осуществить вряд ли в состоянии. *«Что тому Богу молиться, который не милует?»* — в этом вопросе слышится не только отчаяние. А в констатации: *«Люди темные: не знаем, в чем грех, в чем спасение»* — не просто растерянность от ощущения обнаружившейся духовно-душевной пустоты. В этом — потенциальная моральная и психологическая готовность отделить повседневную жизнь от Бога и примириться с земной властью, обещающей изменение этой жизни от своего собственного имени. Властью, претендующей, как и власть царя, на сакральный статус, но Бога при этом отвергающей, а религию объявляющей «опиумом народа».

Резюмируя все вышесказанное (не только об образе церкви), можно утверждать, что между царем и собой русский народ, судя по его пословицам и поговоркам, не находил ничего, что соответствовало бы его представлениям о правде и праведности. Он и в себе самом, похоже, на сей счет сомневался. Но все же его самооценку есть смысл рассмотреть и отдельно. Хотя бы потому, что у него был и собственный институт, в котором многие интеллигентные противники самодержавно-бюрократического государства видели готовую основу государства, ему альтернативного.

Посмотрим, как оценивается этот институт в народном Судебнике.

Образ общины (мира)

Этот образ интересен тем, что сельские общины в государственную «вертикаль власти» жестко встроены не были и существовали в определенной степе-

ни от нее автономно, на началах самоуправления. На общих сходах они принимали решения о переделах земли между семьями, о дележе луга во время косьбы и участков леса для вырубki, о начале и окончании полевых работ. Они несли коллективную ответственность за сбор податей (по принципу круговой поруки) и выполняли некоторые судебные функции — в случаях, когда речь шла о внутриобщинных отношениях.

В глазах людей, живущих в общинах, институт этот выглядел следующим образом:

*На мир и суда нет. Мир один Бог судит
Мир никем не судится, одним Богом. Мир судит один Бог
Что мир порядил, то Бог рассудил
Кто больше мира будет? С миром не поспоришь
Что миром положено, тому быть так
Мир за себя постоит. Мира не перетянешь
Одному страшно, а всем (миру) не страшно
То не страх, что вместеях, а сунься-ка один
Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи дойдут
Мир с ума сойдет — на цепь не посадишь
Мир сутки стоял, небо подкоптил и разошелся
Сошелся мир — хоть сейчас воевать; разошелся мир —
на полатах лежать
Сходка — голдовня: дым коромыслом, пар столбом, а ни тепла,
ни сугреву
Крестьянская сходка — земская водка
Мир на дело сошелся: виноватого опить
Мужик умен, да мир дурак
Быть на сходке — согрешить*

Нетрудно заметить, что общинный мир, как и царь, ставится рядом с Богом («На мир и суда нет. Мир один Бог судит»). Это значит, что в народном мнении существовали два сакральных института: один (персонифицированный) — на самом верху, другой (коллективный) — в самом социальном низу. А все, что между ними, казалось неподлинным, профанным.

Община сакрализируется, потому что выглядит самодостаточной, в своих решениях независимой и обеспечивающей выживание тех, кто в нее входит («Одному страшно, а всем (миру) не страшно»). Но — не только выживание, а еще и коллективную защиту от многих злоупотреблений, исходящих от помещика, его слуг или местных чиновников («Голдить, так всем голдить; а одному голдить, так пропадешь»; «То не страх, что вместеях, а сунься-ка один»; «Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи дойдут»). История России переполнена такими протестами и местными волнениями, и большин-

ство из них силой не подавлялись, а останавливались в ходе переговоров. И власти, и помещики с общиной предпочитали не враждовать, так как она вплоть до начала XX века считалась главной низовой опорой государственного порядка.

Именно здесь, в замкнутых сельских мирах и надо, по-моему, искать жизненный аналог религиозной формулы «Мое спасение в спасении всех», выдвигавшейся отечественными мыслителями в качестве основополагающего принципа русско-православной версии христианства. Другой аналог — воюющая армия, в которой судьба каждого зависит от ее общих успехов, от «одной на всех победы». В догосударственных родоплеменных общностях, управлявшихся не только вождями, но и народными собраниями, вождей выбиравших и смещавших, эти два аналога друг от друга еще не отделены. В России во времена Владимира Даля это давно уже было не так.

Армия, как мы видели, воспринималась казенным институтом, находившемся в профанном пространстве между объединенным в общины населением и царем. Оно не могло не выглядеть профанным, потому что было устроено не на иных, чем локальные сельские миры, принципах. Эти миры были носителями догосударственного начала в государстве и постоянной угрозы самому его существованию, которая из потенциальной к XX веку стала реальной. Но таковой она становилась лишь тогда, когда община возвращала себе военно-силовую функцию, когда становилась своего рода племенем внутри государства, ведущим против него боевые действия. В 1905-м и последующих годах такие действия предпринимались неоднократно, они имели место и в первое советское пятилетие. И они всегда санкционировались сельскими мирами.

Но община, будучи догосударственным образованием, могла быть лишь источником смуты, из которой ей не дано было выйти победителем. Она могла опрокинуть государство, но альтернативы иного типа государства в себе не заключала. Уже потому, что опиралась на сложившиеся обычаи и традиции, сквозь призму которых видела не только настоящее, но и будущее. К творчеству нового община была не приспособлена и смутно это осознала.

Она сакрализовала народ, то есть саму себя (*«Глас народа — глас Божий»*), но удерживала в памяти и другое: *«Глас народа Христа предал (распял)»*. Вроде бы одно с другим несовместимо, а на самом деле очень даже совместимо: глас народа сакрален, когда отстаивает неизменность и святость привычного (*«Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать»*). Но к восприятию того нового, что воплотилось в Христе, он не был расположен. Естественно, что для русского коллективного сознания, зафиксированного в Своде Даля, Христос — носитель не новизны, а привычности. В этом сознании сосуществуют два взаимоисключающих друг друга представления, потому что грех отторжения Христа воспринимается им не как собственный, а как чужой грех, грех другого народа.

Если бы народническо-эсеровская интеллигенция внимательнее читала русские пословицы и поговорки, то она, возможно, усомнилась бы в оправданности своих упований на крестьянскую общину и ее жизнестроительный потенциал. Интеллигенция уловила, похоже, лишь самосакрализацию сельского мира, на что и сделала идеологическую и политическую ставку. Но ведь община в народных изречениях одновременно и профанируется. Это — некий гибрид сакрального и профанного, к самостоятельному творческо-субъектному существованию не приспособленный.

Общинный мир может принимать спонтанные иррациональные решения, обязательные для исполнения: *«Мир с ума сойдет — на цепь не посадишь»*.

Он может быть подвержен коллективным эмоциям и игнорировать здравые голоса: *«Мужик умен, да мир дурак»*.

Он может после многочасовых словопрений оказаться неспособным принять какое-либо решение вообще: *«Мир сутки стоял, небо подкоптил и разошелся»*.

Он самовозбудим на сходке, но это возбуждение быстро сходит и сменяется апатией, когда сходка кончается: *«Сошелся мир — хоть сейчас воевать; разошелся мир — на полатах лежать»*.

Он склонен идти на поводу у наиболее горластых, через которых на него возможно влияние извне: *«Был бы запевала, а подголоски найдутся»*.

Он, как толпа, подчиняет себе отдельного человека, парализуя его волю. *«Попал в стаю, лай не лай, а хвостом вилай»* — это тоже о сельском общинном мире.

Его сходки — они же и пьянки: *«Крестьянская сходка — земская водка»*.

Нет, не выглядел институт общины альтернативой несправедливому государству. Поэтому и праведного царя народное мнение видело стоящим не только над сословиями и институтами, находившимися между царем и общинными мирами, но и над самими этими мирами. Потому что царь хоть и не воспринимался гарантированно застрахованным от греха, но реальной греховностью не наделялся. А общинный мир наделялся. *«Быть на сходке — согрешить»* — тоже ведь глас народа. Тот глас, который Божий, а не тот, что предал Христа.

Снова и снова пытаюсь понять парадоксальную двойственность русского менталитета, в котором сочетается представление о святости Руси с представлением о царящей в ней всеобщей неправде, пробуя подойти к этому парадоксу с разных сторон. И склоняюсь к мысли, что корень его надо искать именно в двойственной оценке народом сельских миров, которые одновременно сакрализируются и профанируются. Они не только праведные, но и неправедные — по крайней мере, в том смысле, что не кажутся полностью соответствующими тому идеальному жизнеустройству, которое отвечало бы Божьему замыслу о святорусской земле. А потому чаемый царский «кнутапорядок», утверждающий именем Бога царское же «кнутодобро», призван быть

распространенным, надо полагать, и на общину, дабы сакральность ее сохранить, а профанность устранить.

Теперь мы знаем, что такой идеал, представлявший собой очищенное от несправедности российское милитаристское государство, мог быть воплощен в жизнь ценой уничтожения не только государства прежнего вместе с царем, но и самой общины, замененной огосударственным колхозом. Такого исхода общинное крестьянство, разумеется, не хотело. Однако в смуте, которая привела к установлению большевистской версии «кнутапорядка», русская община сыграла не последнюю роль. Неспроста же смуту эту исследователи называют иногда «общинной революцией».

Еще до Столыпина, приступившего к практическому демонтажу общины, некоторые российские государственные деятели осознали идущие от нее угрозы.

«...Горе той стране, — говорил в 1904 году Сергей Витте, — которая не воспитала в населении чувства законности и собственности, а, напротив, насадила разного рода коллективное владение, которое к тому же не получило никакого определенного выражения в законе, а регулируется то неизвестным обычаем, то просто усмотрением. В такой стране могут рано или поздно произойти такие горестные события, подобных которым, может быть, нигде не было». Но за десять лет до того Витте говорил ведь нечто прямо противоположное. Он говорил, что мелкая (подворная) крестьянская собственность на землю, если она придет на место собственности общинной, более всего «способна создавать тот строй, который воспитывает вражду друг к другу, убивает понятия общественные, а с тем вместе и понятия о национальности, о национальной власти».

Не знаю, удалось бы России избежать «общинной революции», если бы российские реформаторы исходящие от нее опасности осознали раньше. Факт лишь то, что революция эта случилась после того, как столыпинский демонтаж общины был запущен, став на него реакцией. Восстановление привычного жизненного уклада казалось большинству крестьян делом богоугодным; сакральная ипостась общины в их сознании отодвинула профанную на задний план. Тогда глас народа казался ему гласом Божиим. Но у народов случаются самообманы, за которые приходится дорого платить. А можно ли таких самообманов избежать или только ими история и движется, пусть скажет тот, кто знает.

Однако народы, как известно, состоят из отдельных людей, и они таковы, каковы эти люди. Точнее, каков доминирующий в них человеческий тип и каково его самосознание. И потому нелишне рассмотреть и то, каким выглядит в русских пословицах и поговорках русский человек.

Образ русского человека

Представить сколько-нибудь полно его автопортрет я не смогу, потому что крупных и мелких штрихов этого портрета в Своде Даля — великое множе-

ство. В народном образе русского человека меня, прежде всего, будет интересоваться только то, что касается его способности к самоизменению. Изречения об общинном укладе, приведенные и прокомментированные выше, вроде бы однозначно свидетельствуют об инерционности его сознания и поведения. О его привязанности к устоявшемуся и привычному образу жизни — даже к тому в нем, что считается минусом, а не плюсом. Подтверждается ли это народной философией русских? Например, их представлениями о том, что есть судьба, и какова ее соотношенность с понятием времени и грядущего — «на нашей улице» — праздника? Или о том, как следует относиться к трудностям и невзгодам? И какое место в этой философии занимают русские «авось» и русская повышенная предрасположенность к спиртному, о которой вскользь уже упоминалось?

Сначала, как всегда, список отобранных мной изречений:

*От судьбы не уйдешь. Никто от своего року не уйдет
 Так рок судил. Видно судьба такая
 Судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет
 Видно, так на роду написано
 Покорись беде, и беда покорится
 С бедою не перекоряйся, терпи
 Бог терпел, да и нам велел
 Терпение — спасение. Без терпенья нет спасенья
 Терпеть — лучше спасенья
 Не потерпев, не спасешься
 Оттерпимся — и мы люди будем
 Ничего; мы подождем. Подождем, а свое возьмем
 Придет время — будет и наша пора
 Как жили деды да прадеды, так и нам жить велели
 Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь
 Авось не Бог, а полбога есть
 Русский на авось и взрос
 Держись за авось, поколе не сорвалось
 Живи, ни о чем не тужи; все проживешь — авось еще наживешь
 Выведет и авоська — да не знает куда
 На авось не надейся. Авосью не вовсе верь
 Авоська вор, обманет. Авоська почасти обманывает
 Великое слово небось
 Небось не Бог, а полбога есть
 Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает
 Мужик год не пьет, два не пьет, а как его прорвет — все пропьет
 Напьется, так с царями дерется, а проспится,
 так и курицы боится*

*Пьяного речи — трезвого мысли
Сохрани Бог от мора, от пожара да от нашего брата,
как угодит в бара*

Очевидно, что русский человек видит себя фаталистом, хотя, понятно, этого слова в пословицах и поговорках нет. Едва ли не наиболее красноречивы в данном отношении его суждения о судьбе. Судьба — это нечто изначально предопределенное, влиять на нее нет никакой возможности, а потому и восприятие ее покорно-созерцательное: *«От судьбы не уйдешь. Никто от своего року не уйдет»*. Следовательно, и со всем тем, что в жизни кажется несправедливым, остается примириться, под неправду подлаживаясь, принимая ее в себя, как заданную извне норму проживания, и себе же в том признаваясь. В объяснениях и оправданиях недостатка в таких случаях обычно не наблюдается, и соответствующие изречения я уже приводил. Смысл их в том, что иначе с людьми не уживешься.

В одном ряду с фаталистическим толкованием судьбы — вроде бы и апология терпения. Апология эта поднимается до вершин запредельных: *«Терпение — спасение. Без терпенья нет спасенья»*. И даже: *«Терпеть — лучше спасенья»*. Что, однако, имеется в виду? Что терпение исключает грех? Или что оно его искупляет?

Ответов на эти свои вопросы я в Своде Даля не нашел. Потом, правда, понял, что и не мог найти, так как сами вопросы неверно поставлены. А сначала — не понимал. И потому застрял на явной нестыковке изречений о терпении и спасении с изречением, приводившемся мной выше: мы, мол, люди темные и потому не ведаем, «в чем грех, в чем спасение».

Но есть и то, что было очевидно сразу. А именно, что русский человек склонен к толкованию своей готовности терпеть всеобщую несправедливость, включая его собственную, таким образом, что терпение это становится исполненным высшего религиозного смысла. Оно — своего рода духовный подвиг, соотносимый с подвигом Христа: *«Бог терпел, да и нам велел»*. Но во имя чего все же само терпение?

Крестная мука Христа, как толковала ее церковь, во имя любви к Богу. Можно ли, однако, толковать таким образом терпение по отношению к тому, что от Бога и его правды отпало, как отпала, по мнению народному, жизнь на святорусской земле? Ответ русского человека: да, можно.

Дело в том, что в его жизненной философии несоответствие святости Руси и царящей в ней несправедливости — это не навсегда, это рано или поздно должно кончиться. Праведность и несправедность разделены *временем*, которое и надо пережить-перетерпеть как *временное* состояние: *«Придет время — будет и наша пора»*; *«Ничего; мы подождем. Подождем, а свое возьмем»*; *«Оттерпимся — и мы люди будем»*. Кто-то, возможно, вспомнит, что о подобных настроениях уже говорилось в разделе об образе дворянства. Разумеется, на

него они распространяются в первую очередь. Но во вторую и в третью — на всех остальных временщиков. Точнее, на тех, кто таковыми воспринимается.

Но в таком случае проясняется и смысл терпения. Оно — не самоцель. Оно — мост между несправедливым настоящим и справедливым будущим, которое станет за терпение наградой. А раз так, то понятнее становится, почему терпение даже «лучше спасения». Мог бы, конечно, и раньше сообразить — ведь речь об этом уже шла, хотя и в ином смысловом контексте. Терпению отдается предпочтение перед спасением *индивидуальным*, которое к спасению общему считается не ведущим. И при таком толковании не зазорно не знать, «в чем грех, в чем спасение» на индивидуальном уровне. При таком толковании личная несправедливость становится проекцией несправедливости совокупной, что снимает и личную ответственность за ту и другую. Но тогда и вопросы, которые у меня поначалу возникали, и которыми я поделился с читателями, лишены смысла. Я их, однако, в тексте оставил: пусть будет виден и ход моих размышлений в направлении, оказавшемся ошибочным.

Итак, философия русского человека — это философия претерпевания временного состояния, которое воспринимается как время господства временщиков. Тех, что заполнили пространство между царем и народом. «Наша пора», которая будет, противопоставляется *их* поре, которая есть. Отношение к ним и в самом деле подобно отношению к оккупантам, чье время обречено стать навсегда прошедшим. Таким, очевидно, каким оно стало для монголо-татарской Орды, для вытеснения которой со святорусской земли не потребовалось даже решающего победного сражения. Ну, а если сами не уйдут, то есть ведь еще и Бог, который терпение во имя Него и Святой Руси не заметить не сможет, и есть царь, способный установить божественный «кнутапорядок», и в нем, разумеется, для «оккупантов» места оставлено не будет.

Когда-то мне казалось, что большевики придумали хитроумную политическую технологию, объявляя все трудности, ими создаваемые, временными. Надо, мол, потерпеть, устранить всех врагов, и все образуется, наступит всеобщее счастье. А теперь я понимаю, что их технология моментально обнаружила бы полную свою несостоятельность, не будь в народе многовековой привычки жить ощущением временности того, что есть, и предощущением качественно иного, чем существующее, жизнеустройства.

Жертвой этой ментальной особенности оказались в конце концов и коммунисты: когда надежды на них начали иссякать, они тоже стали восприниматься временщиками, как до них дворяне и прочая правящая публика. И так будет, скорее всего, с любой властью и любой элитой, пытающимися эксплуатировать народное терпение в своих интересах. Но верно, думаю, и другое: до тех пор, пока в менталитете рядового россиянина будет сохраняться апология терпения (во имя жизнеустройства иного и лучшего) без установки на самоизменение, качественных перемен он не дождется.

А изменить себя — значит взять на себя *личную* ответственность за свою судьбу. И еще, перестав уповать на Бога и царя, осознать, что новый порядок не может быть создан без твоей собственной включенности в жизнь государства, твоего надзора за ним и принятия на себя части ответственности за него. И еще понять, что новый порядок не может быть всего лишь очищенным от нежелательных примесей воспроизведением старого.

В народной философии, представленной в Своде Владимира Даля, ничего такого не обнаруживается. Чаемое торжество правды толкуется здесь как увековечивание очищенной от неправды старины: *«Как жили деды да прадеды, так и нам жить велели»*. Любая новизна отвергается (*«Все по-новому, а когда же по-правому?»*), как чужая новизна чужого времени. А в будущем «своем» времени никакой новизны не предусматривается вообще. «По-правому» — значит по-старому. Но ведь в этом старом, помимо корысти временщиков, есть еще и психология рядового человека, приспособившегося к состоянию, воспринимаемому как временное. И куда же она денется?

Эта психология запечатлена в известном, сохранившемся в коллективной памяти до наших дней народном изречении (*«Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь»*) и других пословицах и поговорках, передающих тот же смысл. Мне кажется, что читать это изречение надо не с начала, а с конца, то есть не с «авось», а с «как-нибудь». Именно «как-нибудь» лучше всего передает способ приспособления к общественному и государственному состоянию, воспринимаемому как временное. В таком состоянии «как-нибудь» более чем уместно: ведь настоящее обустройство жизни будет потом, когда временная несправедливость сменится вечной праведностью.

А «авось» и «небось» от этого производны. Надеяться на «авось» — значит рассчитывать не на достижение какой-то сознательно поставленной цели, а на случайную удачу. Цели не выдвигай, способы их достижения не ищи, делай все как-нибудь, авось что-то само собой и выгорит. Короче говоря, отдайся стихийному жизненному потоку — глядишь, и выбросит ненароком к какому-то кисельному берегу.

И «небось» тоже производно — от «авось» и, соответственно, от «как-нибудь». «Небось» — значит не бойся проживания на «авось», верь в то и другое, как в Бога. Или — почти как в Бога: *«Авось не Бог, а полбога есть»*; *«Небось не Бог, а полбога есть»*. Своего рода квазирелигия временного состояния.

Однако подобные упования устойчивого психологического комфорта не обеспечивают, постоянно порождая ощущение неопределенности и неуверенности (*«Выведет и авоська — да не знает куда»*), а то и опасности. Жизненный поток может вместо кисельного берега доставить и в омут (*«Авоська вор, обманет. Авоська почасту обманывает»*; *«Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает»*). Но такие обманы не воспринимаются как предписанные судьбой (*«Судьба не авоська»*). Они скорее воспринимаются как неизбеж-

ные проигрыши в игре с судьбой — в том узком пространстве индивидуального риска, которое человеку отпущено в предписанном ему способе существования.

Пребывание в состоянии, ощущаемом временным и требующим его стоического претерпевания, — это, согласно мнению народному, тяжкая ноша. Тем более добавлю от себя, что индивидуальным спасением человек в таком состоянии не озабочен, он ждет спасения общего, к которому личного движения (и, соответственно, личных духовных усилий) не требуется. А там, где нет собственного движения к желаемому, а есть лишь его пассивное ожидание, — там не «особая духовность», а пустота, которую долго выдерживать и в самом деле непросто.

Человеку трудно совершать каждодневный подвиг терпения, конца которому не видно, трудно притворяться, что несправедное сущее воспринимается им как праведное. Ему не терпится известную ему правду выговорить, но выговаривать ее страшно, и он черпает недостающую ему смелость в водке (*«Пьяного речи — трезвого мысли»; «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»*). Пьяная горячечная откровенность — оборотная сторона терпеливой покорности (*«Напьется, так с царями дерется, а проспится, так и курицы боится»*).

Но самое интересное, пожалуй, в том, как русская народная философия оценивает людей, к которым «авось» и «небось» (а может быть, и сама судьба) проявили особую благосклонность и вынесли их наверх. Ведь в начальство на Руси попадали и выходцы из низов, а попав, сразу же о праведном должном забывали и становились в глазах населения худшим из всех мыслимых воплощением несправедности: *«Мужик волость — пуций живодер»*; *«Сохрани Бог от мора, от пожара да от нашего брата, как угодит в бара»*.

Народный образ начальника из народа — это своего рода невольный приговор тому идеалу единой для всех общей правды, не предполагающей самозменения человека, консервирующей его в его сложившемся культурном качестве. «Народный» начальник хуже начальника-барина, потому что до своего восхождения способен был различать только барские пороки, которые после восхождения и старается перенять прежде всего, пороками их считать переставая. И если всех начальников сделать «народными», то тем, кто в начальство не попадет, мало не покажется. Кто помнит еще первые поколения начальства советского, набранного из «рабочих и крестьян», лучше других понимает, думаю, о чем идет речь.

Народная философия человека, представленная в русских пословицах и поговорках, — это философия противостояния человеку несправедному, будь то барин, чиновник, судья или священник. Но тот человек, который им противопоставляется, культурной альтернативы им в себе не заключает. Он — их негатив, другая сторона той же медали.

Этот человек-негатив настроен на изменение общего порядка вещей без изменения самого себя. Общие изменения должны произойти по воле Бога и богоугодного царя — других способов люди начала XIX века еще себе не представляли, до большевиков было еще далеко. Но при такой установке праздник «на нашей улице» если и может случиться, то неизбежно вновь сменится серыми буднями — скорее всего, даже более тягостными, чем будни допраздничные.

При такой установке общий порядок может менять лишь форму, не меняя прежней своей сути. Он будет оставаться порядком временщиков во власти, заражающих духом временничества и подвластный народ. Порядком, в котором продолжают править свой бал «как-нибудь», «авось» и «небось».

«Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь»

Народные образы реальности, представленные в пословицах и поговорках, — это, конечно, не реальность как она есть. Они могут ее искажать. Но народные образы реальности — тоже реальность. Культурная. Как и образы, создаваемые художественной литературой. Кстати, представители почвеннической мысли до сих пор обвиняют русских писателей XIX века в том, что они в ложном свете изображали российскую действительность. И чиновники, мол, были не столь плохи, и судьи, и другие служители государства. Но вряд ли кто станет спорить с тем, что авторы пословиц и поговорок произведения классической русской литературы не читали. А совпадения во взглядах на жизнь порой поразительные.

Образы реальности, точны они или нет, имеют свойство на нее влиять. И если реальность предстает в них в негативном свете, то она в конечном счете обречена — рано или поздно ей придется перед ними капитулировать. Тем более если речь идет об образах, складывающихся в народном сознании. А новая реальность будет в чем-то соответствовать тому альтернативному образу, который в этом сознании тоже всегда присутствует.

Меня, честно говоря, поразило то, как в русском народном мнении вызревал большевизм задолго до его появления. Не буквально, но в очень существенных его особенностях. «Кнутопорядок», большевиками установленный, отличался от того, каким он грезился коллективному автору народного Судебника. Но смутный идеал грядущего жизнеустройства, который мы в нем находим, — это идеал «кнутопорядка» и «кнутодобра».

Очень забавно слушать иных высокопоставленных кремлевских чиновников, выставляющих себя поборниками национальной политической культуры и уверяющих нас, что она — как судьба, от которой не уйдешь. Прислушайтесь же, господа, к голосу этой культуры. Да, в ней звучит надежда на богоугодного правителя, способного одолеть всеобщую несправедливость жизни. Но в ней же — тотальное отрицание всего и вся, что находится между правителем и народом. Отрицание всех институтов, которые в совокупности и составляют государство.

Я просматриваю данные социологических опросов и вижу, сколь сильна культурная инерция: власть правителей давно уже не сакрализируется, к божественной не приравнивается, но власть эта по-прежнему воспринимается высоко вознесенной над элитами и государственными институтами. Достаточно сравнить рейтинги российских лидеров с рейтингами этих элит и институтов, и сомнений на сей счет не останется никаких. И что же отсюда следует? Что персоналистская власть — наша судьба?

Если так, то судьба эта — печальная. Потому что такая власть государство заменить не может. И создать его не может тоже. А без государства, соответствующего современным стандартам, не будет ни обещанной модернизации, ни какого-либо развития вообще.

Ситуация выглядела бы тупиковой, если бы народная политическая и прочая культура во всех отношениях оставалась той же, что во времена Владимира Даля. Но она-то как раз в чем-то существенном менялась и меняется, а люди, апеллирующие к ней, как к судьбе, от ее изменений безнадежно отстают. Неплохо бы, кстати, эти изменения изучить, сравнив нынешнюю культуру с той, что запечатлена в русских пословицах и поговорках. Однако желающих изучать до сих пор почему-то не находится. Но и того, что мы знаем, для предварительных выводов более чем достаточно.

Да, негативное восприятие государственных институтов спустя почти двести лет, прошедших после составления Далем народного Судебника, осталось прежним. Да, верховный правитель (в одном лице или в двух, как сейчас), как и прежде, выглядит по отношению к ним некоей внешней инстанцией. Но я, снова обращаясь к данным социологов, вижу и колоссальные культурные сдвиги, далеко отодвинувшие мировосприятие нынешнего россиянина от того, которое мы находим в русских пословицах и поговорках. И они, эти сдвиги, не только в том, что вместе с сельской общиной осталась в прошлом и сакрализация общинного жизненного уклада, противопоставляемого укладу государственному, равно как и сакрализация правителей, как бы высоко они над этим укладом массовым сознанием до сих пор ни возносились.

Сдвиги проявляются и в изменении самого отношения к государству. Это слово для людей давно уже не чужое и чуждое, каким было когда-то, оно вошло в их словарь. В том числе и потому, что с государством ассоциируются важные для человека функции (прежде всего, социальные), чего в XIX веке не было и не могло быть по причине того, что государство тогда такие функции на себя не брало. Поэтому население выступает сегодня не против государства, как такового, а за то, чтобы оно было другим, чем есть.

Верховная власть, кстати, вынуждена на это реагировать, публично обличая чиновников так, как ни одна власть в России раньше себе не позволяла. Но обличения, не сопровождающиеся реальными изменениями, подрывают веру в эту власть, размывают ее легитимность. В свою очередь, такая власть все-

ръем ничего изменить и не может, потому что другой опоры, кроме коррумпированной гражданской и силовой бюрократии, у нее нет. И при этом ее идеологи не перестают внушать людям, что иного им не дано, что только такая власть соответствует народной культуре, а любая другая будет этой культурой отторгнута.

Но ведь отторгается-то ею совсем не то. Такой, какова она сегодня, ею отторгается та система имитаций всего и вся, которая подчинила себе государственные институты и публичные процедуры. Попробуйте доказать, что население не приемлет свободные и честные выборы, что оно против политической конкуренции. Не докажете. И при всем том выборы проводятся так, как проводятся, а политическая конкуренция профанируется. Неужели и здесь причина во все той же культуре-судьбе? Почему же тогда население относится к таким выборам все более и более скептически?

Глупо было бы, повторяю, спорить с тем, что в культуре этой пока много прежней архаики. В ней не изжиты еще ориентации на авторитарную власть. Но эти ориентации переплетены в ней с установками на утверждение не имитационных демократических институтов, на что в Своде Даля нет и намек. Время не проходило для культуры впустую, она менялась, и вместе с нею менялся и человек. Он мог бы развиваться и дальше, но его развитие пытаются искусственно остановить, нажимая на архаичные струны в его сознании и подсознании и заглушая звучание струн современных.

Опасная игра. С архаичным человеком модернизацию страны не проведешь. Ни технологическую, ни какую-либо другую. То, что могло получиться у Петра I или Сталина, сегодня не получится. Потому что в наши дни не получится милитаризация повседневности, без которой (милитаризации) петровская и сталинская модернизации были бы невозможны. Это вроде бы понимают и власти, равно как и их идеологи и политехнологи. И какой же тогда смысл навязывать людям представления о вековой культуре-судьбе, если сегодня она уже не позволяет делать то, что позволяла раньше?

Но мне, как я уже говорил, хотелось понять и то, насколько милитаристская матрица государственности, о которой пишут в своей книге Александр Ахиезер, Игорь Клямкин и Игорь Яковенко, соотносилась с народной культурой во времена, давно ушедшие. Для этого я и предпринял свой анализ русских пословиц и поговорок. И, как мог видеть читатель, прямых подтверждений, которые свидетельствовали бы о такой соотнесенности, я не обнаружил.

Скорее всего, милитаризация была способом управления, навязанным населению властью и элитой, которому население ничего не могло противопоставить. Возможно также, что во времена сталинской «осажденной крепости» дух милитаризации с элитного уровня спустился ниже, подчинив себе и массовое сознание. Но это требует дополнительного изучения.

Тем самым я не ставлю под сомнение концепцию авторов книги, а лишь несколько ее корректирую. Элитная милитаризация, начавшаяся еще в доре-

тровские времена и завершившаяся во времена петровские, — факт, оспаривать который невозможно. Факт и то, что эта милитаризация сменилась столь же элитной демилитаризацией при Петре III и Екатерине II. Со своей стороны могу добавить, что в народном сознании к началу XIX века никаких следов этих милитаризаций и демилитаризаций не осталось. О причине я уже говорил: очевидно, принципиальной разницы между ними оно не замечало, так как в глазах населения никакой разницы между тем и другим не было.

Могу добавить также в пользу концепции авторов свое наблюдение относительно того, что косвенно милитаристская матрица присутствовала и в мнении народном. Отрицая сложившееся государственное устройство, оно, в поисках альтернативы ему, подсознательно руководствовалось теми же милитаристскими принципами, в соответствии с которыми устройство это было создано. Или, говоря иначе, принципами насилия, перенацеливаемого на тех, кто его осуществлял. Я назвал народный идеал идеалом нового, на сей раз праведного, «кнутапорядка» и думаю, что этот термин вполне передает зафиксированные в Своде Даля смутные народные чаяния.

Имеет ли все это какое-либо современное значение? Хотелось бы, чтобы не имело никакого. И есть надежда, что иметь и не будет. Именно потому, что, как доказывается в книге трех авторов, модернизации посредством милитаризации себя исторически исчерпали и, следовательно, повторить их нельзя. А также потому, что руководители страны тоже вроде бы это понимают. И еще потому, что культуры, на которую они все еще пробуют опираться, давно уже нет, она разложилась и продолжает разлагаться.

С другой стороны, от модернизации стране никуда не деться — разве что на обочину мирового развития. Но осилит ли она ее, искусственно сохраняя архаичный тип государства? Не наблюдаем ли мы желание двигаться вперед, оставив время? Или, спрошу по-другому, желание модернизироваться, используя доживающую свой век архаику культурную? Да еще при идеализированном о ней представлении?

Закончу пословицей, которая, по-моему, очень точно передает смысл выбора, перед которым оказалась сегодня Россия. *«Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь»* — разве это не в самую точку?

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Под общей редакцией И.М. Клямкина

Выпускающий редактор – Михаил Ледовский

Дизайн – Мария Ратинова

Верстка – Наталья Яйцова

Корректор – Мария Плисецкая

Подписано в печать 14.11.2012

Тираж 800 экз.

